



התנאים

ברביעי

Грета ИОНКИС

ЕВРЕИ

И

НЕМЦЫ

в контексте истории и культуры

ישראל ואנא לכו אפילו וא
ידיכו בהלכותי יודא
ולסוכרין ומקצות נשרונו
אחיד יקים עמי לנכסי כהן
עוד חות ליבי ומחזיקי וכס
כארת כל ארעא וצבאות
הקנא דנא לאנטי ודא טו
לנית בקליה ביה בגדיה
בעד סד לאושבנהם
נערי וקוד הכניסה
מובות וסרניו
דאיתו עיר
על דתה רבני עמי
היה ורסוס לסלה הנן מדינה
ריאם ודאנו משרד הן שרסוס
רעה התקן הן והיסת' ליה
ר' אינו מעיד הן שרסוס
תנה לה מחיים מתק' ר' אינו
דרא ללכה ב' ודרא לרשע
מרהב' ב' יורה ע' ודא

דמ התקן והכלה בט' בענין דתקן
עמוריס כפוליס ומכוסים כנאי
דננה מ' תנאי
בטולם
בשורה באישות עמי ואם יבוא
הן הן לתק ולסרע ליד הבלה כנ
ולמסרה בנן לישר באוסן שית
ית לכל אדם
תקן הן יקסן
ולסכוד יו א'
בנה יעקד יו ואסי צביר וסמיער
או תקן יו או לאהריוס שאסר מס
אוי כעוס תרהי התקנ' רהיא
אוי רבסורה תרא כטילה וסבס
כה וכדבר שאין בו מלי
שלישי שאסר
מרהב' הן ולא יסאר יו
קייבא שית' שלוש' יוס
מחייב התקנ' להחיר לורע
ש' כניסה לו או או אס' יסאר
יוריס התקנ' כ' סני כקנא
יש את אשר
תקן הן ולא יסאר
ולמסרה ב' ודרא לרשע

Das „Hohe Haus“ wurde 1294 von Bischof Heinrich II v. Klingenberg u. seinem Bruder Reichsvogt Albert erbaut. Später im Besitz der Geschlechter Pfefferha Tettikosen u. Ehinger. Während des Konzils 1414/18 wohnte Markgr

Грета ИОНКИС

**Е В Р Е И
И
Н Е М Ц Ы**

**В К О Н Т Е К С Т Е
И С Т О Р И И И К У Л Ь Т У Р Ы**

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2006

Ионкис Г.

И75 Евреи и немцы в контексте истории и культуры / Грета Ионкис. — СПб. : Алетейя, 2006. — 400 с. ; ил. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 5-89329-897-7

Новая книга Греты Ионкис рассказывает о сложных многовековых взаимоотношениях двух народов — евреев и немцев. В книге поднят временной пласт от Реформации до наших дней и освещены наиболее значимые страницы жизни евреев на территории Германии. Автор персонифицирует эту неисчерпаемую по глубине тему: увлекательно и эмоционально рассказывает об исторических личностях и людях искусства, известных широкому читателю, а также о подвижниках, которых знают немногие. Здесь под новым углом зрения рассматриваются взгляды Мартина Лютера, Лессинга, Гёте, Ницше и других выдающихся немцев, в том числе и по «еврейскому вопросу». В эссе «От Лорелей до Освенцима» автор прослеживает эволюцию мировоззрения, приведшего к Катастрофе не только евреев, но и немцев.

Грета Ионкис поразительно точно удерживает равновесие между исследовательской объективностью и чётко выраженной авторской позицией. Читатель найдёт в этой книге новый фактологический материал и неординарный подход ко многим известным фактам.

Главный редактор издательства
И.А. Савакин
Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя», 192171,
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru,
aletheia@peterstar.ru (редакция)
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»: Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 336-45-32;
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55. Тел. (812) 327-26-37
Подписано в печать 11.08.2006. Формат 60×88/16. Усл.-печ. л. 24,4. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 1704
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии «Береста»
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28.

ISBN 5-89329-897-7



9 785893 298970

© Грета Ионкис, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2006
© «Алетейя. Историческая книга», 2006

БОЛЬ ПАМЯТИ (ПРЕДИСЛОВИЕ)

Книга Греты Ионкис повествует о жизни и судьбе немецких евреев. Это исторические очерки, по большей части — очерки-биографии. Герои очерков — евреи и немцы, люди всемирно известные и такие, с которыми многие читатели впервые встретятся именно в этой книге. Люди, о которых пишет Грета Ионкис, жили в разное время, занимались разным делом, их взгляды, условия жизни, их духовный мир и отношения с окружающим миром различны, но каждый по-своему полно выражал время, в котором жил, — его внутреннюю сущность и внешние проявления. «История, отражённая в одном человеке, в его быте, жизни, жесте, изоморфна истории человечества, — писал Ю.М.Лотман. — Они отражаются друг в друге и познаются друг через друга». Эта мысль усвоена Гретой Ионкис и реализована в её книге.

Но биографии героев книги воссоздаются и рассматриваются в ней не вообще, а в системе еврейско-немецких или немецко-еврейских отношений, и это придаёт им особость, побуждает по-иному осмыслить их, привносит в них новые краски, приводит к новым, подчас неожиданным оценкам. То, что в других жизнеописаниях тех же людей оставалось на периферии, опускалось, умалчивалось, здесь выдвинулось на первый план, обрело объём и силу. Мы слышим от Гёте и Ницше, от Гейне и Кафки то, чего не слышали прежде, что отодвигали в сторону, не полагали первостепенным. Более того: многое, что мы слышим со страниц этой книги, меняет наши привычные представления о некоторых чертах личности даже, казалось, хорошо знакомых её героев, их взглядах.

Книга выводит нас на бесконечные перепутья, где в разных и многообразных исторических обстоятельствах сходятся дороги, обнаруживаются скрещения судеб двух главных героев — двух народов, персонифицированных во многих, наделённых каждый своими собственными чертами внешней и духовной биографии, лицах, которыми она густо населена. Мы постигаем сложную диалектику возникающих на этих перепутьях общений, которая открывается в обоюдном или одностороннем притяжении и отталкивании, в завязываемых и прерванных диалогах, щедрости дарения и «перечне взаимных болей, бед и обид», но вместе с тем и в духовных явлениях поистине геологического масштаба, вроде сопряжения забот о сохранении языка Библии и становления немецкого языка или воздействия «еврейской мудрости» на искания немецкой классической философии.

В одном из очерков автор жалуется на определение, при этом, кажется (по-своему предположить), не ощущая в полной мере глубину и мощь сложившейся формулы: «Гёте был Спинозой поэзии», — пишет Гейне». В очерке фраза и в самом деле по-своему «проходная», необходимый мост между предыдущей и той, что идёт следом, но, извлечённая из контекста, она сама в своём диалектическом могуществе составляет тему книги, может быть, книг: Спиноза — Гёте — Гейне. Прибавим взятое из другого очерка: «По словам Альберта Эйнштейна, Спиноза был творцом “космической религиозности”». Ещё и Эйнштейн!

Грета Ионкис не идёт битыми дорожками, исследует область не слишком изведанную, закрашивает некоторые белые пятна на исторических и биографических картах. Предпринятые изучения, сами по себе интересные, становятся подлинно увлекательными и особенно впечатляющими от обилия и разносторонности привлечённого и обдуманного материала. Книга полнится сведениями, характерными и выразительными подробностями, сопряжением «далековатых понятий». Этому способствует образованность автора и, соответственно, богатство ассоциаций, свобода, с которой авторская мысль перемещается во времени и пространстве. Подмечаемые «странные сближения» — внутри отдельных очерков и в масштабе всей книги — делают текст объёмнее и осязаемее. нередко увеличивают его эмоциональную напряжённость. Наверно, есть какая-то поражающая мистическая связь в том, что озеро Ваннзее, где в начале XIX столетия возвышенный поэт-романтик Генрих фон Клейст, едва переступив возраст Христа, покончил с собой, в середине века XX-го стало местом «окончательного решения» еврейского вопроса. И когда в книге, где то и дело со страниц веет дымом Холокоста, при упоминании старинного городка Хамельна тут же как бы походя возникает тень давней сказки про Крысолова, некогда навсегда уведшего из города всех детей, — от этого, хоть очерк вовсе о другом, вдруду ощущаешь цепенящую жуть...

Книга названа «Евреи и немцы в контексте истории и культуры». Речь, по сути, о контексте Времени и Пространства.

По признанию Греты Ионкис, её волнует, мучает и привлекает как исследователя «времён связующая мысль». Для более зримого постижения протяжённости Времени иногда принято вводить шутовское понятие «рукопожатий». Сколько возможных «рукопожатий» связывает нас с веком Гейне, Гёте или Спинозы? Почти непременно оказывается, к удивлению, что не так много, как поначалу чудилось. Что до людей моего поколения, Гейне был старшим современником наших дедов (от Гёте их, дедов, отделяет теоретически одно «рукопожатие»). Эйнштейн и вовсе наш современник: я пожимал руку людям, которые обменивались рукопожатием с Эйнштейном.

Сюжет первых очерков — конец XV — начало XVI столетий, но, читая, мы держим в памяти и предысторию, частью обозначенную в тексте, частью самим читателем воскрешаемую и предполагаемую. Предыстория уводит нас в начало нашей эры, когда судьба рассеянного народа привела его на территорию Европы. Но предыстория в системе книги оборачивается и (условно) «постисторией» — постоянно предполагаемой и вынашиваемой идеей о возвращении к истокам и её осуществлением. Сюжеты последних очерков разворачиваются в наши дни.

Очерки расставлены по хронологическому принципу, но хронология не господствует в книге. Поиски «времён связующей мысли» побуждают сопоставлять события, отделённые одно от другого десятилетиями, даже веками, приглашать к «рукопожатию» людей разных эпох, выстраивать цепочки ассоциаций, подчас неожиданных. От очерка к очерку мы видим эту повторяемость явлений, фактов, стремлений, идей, предрассудков, — история здесь и в самом деле развивается по спирали; взгляд автора умеет следить за происходящим на протяжении времени, двигаясь не только по кривой, но и прокладывая прямые от витка к витку, — время в книге динамично и насыщено.

Пространство, в котором происходит действие, — многие города Германии: Кёльн, Берлин, Майнц, Франкфурт, замок Вартбург, но место действия каждого очерка не ограничивается классическим «единством места», как время

действия не уместается в рамки «единства времени». Оно, место действия, не уместается даже в границах одной страны, широко захватывает территорию Европы, оно опять-таки подвижно, чему причина — блуждающая судьба евреев, в данном случае евреев немецких, несущих с собой по белу свету своё несмыслаемое еврейство и вместе с тем свою привязанность к Германии, свою принадлежность к ней по рождению и становлению, свою духовную и душевную приверженность, как к отечеству, родине.

Крупнейший современный историк Фриц Штерн, известный глубокими исследованиями, посвящёнными еврейско-немецким связям, в эссе «Потерянная родина» пишет, что родина означает чувство защищённости, воспитывает «бессознательное самосознание», говоря сегодняшним языком, способствует идентификации.

Но особенность еврейской идентификации, еврейской приверженности к отечеству по рождению, еврейского чувства родины в том, что они формируются во многом не «благодаря», а «вопреки»: вопреки незащищённости, вопреки редко увенчивающемуся успехом стремлению чувствовать себя равноправными носителями общего «самосознания», вопреки неприятию их как чужих, «не наших», подозрительности, вражде, насилию.

Да и Фриц Штерн пишет своё эссе о судьбе народов-изгнанников (оттого и родина потерянная), конечно же, и о евреях в частности — о себе самом. Текст начинается словами: «Не забуду слёз моего отца, когда мы в конце сентября 1938 года покидали его родной город Бреслау» (будущему историку в ту пору только что исполнилось 12 лет).

У Пушкина находим незавершённый отрывок, исполненный глубины мысли и душевного откровения:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...

Евреев на протяжении многовековой истории рассеяния не раз отрывали от родного пепелища, от отеческих гробов, но и то, и другое вместе с образом земли, откуда были изгнаны, евреи неизменно брали с собой, хранили в памяти, предании, мечте, в глубоко проведённых чертах личности как значимую часть духовной и душевной «пищи», своего «самостояния» (тоже пушкинское слово). Здесь уместно вспомнить серьёзную истину: «Высшая степень любви — любить, не владея». Не случайно в книге приведены слова Ремарка, который, иронизируя, объяснял нацистским идеологам, что, поскольку он не еврей, он не может быть таким, как евреи, патриотом. И слова Гюнтера Грасса: «Когда всё полетит в тартарары, евреи будут последними истинными немцами»...

Когда-то В.В.Розанов, сопоставляя русских с другими народами, населявшими Россию, отдал русским «право первородства». Им, «перворождённым», должно «принадлежать всё»; прочие — «послерождённые» — «лишь соучаствуют» в жизни коренного народа, «лишь допущенные» — не более.

В книге Греты Ионкис показано, как мучительно трудно для обеих сторон складываются на немецкой земле отношения евреев и немцев, выявляются закономерности возникновения этих трудностей, их историческая неизбежность. Путь народов к общности существования тернист — не гадание на ромашке «любит — не любит».

Борьба евреев в странах рассеяния развивалась по общей, логически обоснованной схеме: борьба за право поселиться, за право укорениться, за элементарные человеческие права, наконец — за равные права с другими. Но закон, юридически утверждающий равные права, не властен над душами людей, над их глубинными представлениями, предрассудками, страхами. В ходе эмансипации русских евреев сложилась формула, действующая не только в России: «Дадим еврею все права, но не будем забывать, что он — жид». Эта чеканная формула — не формула лицемерия: это формула не преодолённого (доколе?) врождённого и вместе приобретенного представления о положении вещей. И так же не лицемерна формула, рождённая в среде эмансипирующегося немецкого еврейства: «На улице — в цилиндре, дома можно в ермолке»; речь о стремлении в плавильном котле адаптации не утратить себя как народ, преодолеть главное искушение, главное испытание рассеяния, в чём, может быть, и состояла мистическая цель его. Читая книгу, мы постигаем, как бились её герои в поисках изживания этой внешней и стократ более мучительной внутренней психологической двойственности, постигаем «устремлённость немецкого еврейства из гетто в большой мир и вместе с тем желание не отрываться от корней», как определяет трудный путь своих героев Грета Йонкис. Мы видим, как в смятённых поисках желанной и необходимой цельности на двух полюсах мировосприятия кристаллизуются и готовность к безоглядной ассимиляции, тоже своего рода «окончательное решение еврейского вопроса» («Еврейство внутри нас должно быть уничтожено даже ценой нашей жизни», — говорит одна из героинь книги: то есть не религия, не язык, не уклад, не культура, а еврейство как субстанция), и замена неприветливой реальной родины на выношенную мечтой «историческую». Концы с концами сводит Гейне, один из главных героев книги (ему не только посвящён значимый отдельный очерк, его исполненные глубокой мысли суждения по праву и необходимости тут и там возникают в тексте): «Евреи лишь тогда будут по-настоящему эмансипированы, когда христиане также полностью добьются эмансипации. Их дело тождественно делу немецкого народа».

Не законодательные акты, не имущественное положение, не место, занимаемое в промышленности, науке и культуре, а лишь внутреннее освобождение коренного — «перворождённого» — народа обеспечивает евреям возможность свободно чувствовать себя равноправными гражданами страны пребывания и при этом евреями. В успехе полной эмансипации важная роль падает на долю памяти, образная эмоциональность которой часто одолевает выработанные убеждения и объективность оценок.

В давние годы войны мне довелось познакомиться с почтенного возраста евреем, бывшим владельцем солидной берлинской фирмы, торгующей бельём. Бурная и горестная одиссея, в которой он потерял всё — семью, отечество, имущество, — привела его в далёкий Узбекистан, где продавцу белья суждено было сделаться погонщиком осла и доживать век на ворохе соломы без простыни и подушки. «Забыть есть взаимное дело, — сказал мне однажды в беседе неожиданный незнакомец. — Мы в Германии когда-то забыли, что мы евреи. По воскресеньям я надевал чёрный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: «Гутен таг». И я улыбался немцам, приподнимал цилиндр и говорил: «Гутен таг». Но пришёл Гитлер, и оказалось: немцы не забывали, что я — еврей. Они уже не говорили мне: «Гутен таг». Нельзя забывать, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие». Мой знакомец приподнимал цилиндр, а встречные немцы глубинной памятью видели на его голове ермолку.

Очерк о романе Фейхтвангера «Еврей Зюсс» рассказывает, как писатель, движимый объективными намерениями, создавал произведение, вовсе не желая, по собственному его признанию, «как-нибудь выгородить этого Иосифа Зюсса или разрушить антисемитскую легенду». Он полагал, что из-под пера «не иудея и не эллина» явится роман, в котором ничего не найдут для себя ни сионисты, ни национал-социалисты. Но там, где романист не хотел «выгораживать» и «разрушать легенду», нацистские идеологи высмотрели требуемую «ермолку»: по роману писателя-изгнанника, чьи книги сжигались в отечестве на кострах, был создан один из самых коварных антисемитских фильмов Третьего рейха, призванный пробуждать в памяти зрителей самые тёмные её страницы.

«Эйнштейн был горд, что он еврей, точно так же, как Хабер был горд, что он немец», — пишет уже упомянутый Фриц Штерн в парной биографии двух выдающихся учёных, так и названной: «Друзья в противоречии. Хабер и Эйнштейн». Национал-социализм по-своему выворачивал противоречия, отличавшие друзей: ему была так же чужда «еврейская» теория относительности, как не понадобилась неутомимая энергия еврея Хабера, считавшего себя немцем, ставившего свои научные открытия на службу «фатерланду». Изгнание стало судьбой обоих нобелевских лауреатов.

Долгий и трудный, с постоянно возводимыми препятствиями путь вхождения евреев в немецкое общество на разных его уровнях и в разные периоды истории даёт основания Грете Ионкис с горечью назвать этот путь «улицей с односторонним движением». Такое название таит в себе несколько толкований. Тут и необходимость упорной борьбы, которая требуется от евреев для равноправного укоренения на земле другого народа, и общность задач и целей, когда это, хотя бы в известной степени, удаётся, и то «одностороннее движение», о котором в книге страшно сказано: «Медленно движется колесо истории по германской земле, приближаясь к 1933 году».

Сейчас часто говорят об особой исторической связи, соединившей еврейский и немецкий народы. Но и в древности, и в течение многовековой истории рассеяния у евреев образовались свои особые отношения с каждым народом, с которым им приходилось общаться, тем более с народами, среди которых им приходилось жить. При этом, конечно, исторически выработывались и общие закономерности в отношениях с коренными народами стран, где народ-пришелец искал пристанища. В таком смысле немецко-еврейская историческая связь вряд ли смотрится более особой, чем, допустим, еврейско-русская, еврейско-польская, еврейско-испанская. Подлинную особость, неповторимость в отношении немецкого и еврейского народа внёс Холокост. Память о Холокосте по-новому соединила два народа как в сознании каждого из них, так и в сознании остальных народов мира. Эта память по-новому высвечивает прошлое, и не только эпоху Холокоста, но и неизмеримо более далёкое прошлое (в книге ассоциациями полнятся уже начальные очерки — события пятивековой давности), накладывает резкие пятна света и тени на настоящее, забрасывает тревожный луч в будущее.

Читая книгу Греты Ионкис, мы постоянно, о чём бы и о ком бы ни шла речь, ощущаем это присутствие, этот «бродячий призрак» Холокоста, события истории еврейского народа вне зависимости от хронологии сопрягаются, переключаются с тем, что произошло в 1933–1945 годах. Объективная реальность со-

едняется здесь с авторской установкой, направлением замысла книги: «Среди множества вопросов, приводящих в отчаяние, особенно мучителен один: что общего между немцами эпохи Гёте и народом Адольфа Гитлера? Неужели имеется связь между преступной сущностью нацизма и прежним духовным богатством Германии?» (Отметим эти «отчаяние», «мучителен»: эмоциональный настрой автора, конечно же, влияет на ход исследования). Один из очерков называется: «От Лорелеи до Освенцима».

Память о Холокосте возбуждается не только авторскими раздумьями о трагедии европейских евреев, но и самим материалом, на каждом шагу обжигающими сопоставлениями. Тема будущего в предлагаемых исторических очерках и оказывается, по существу, темой памяти.

В своё время известный учёный предположил (видимо, всё же символически), что после Холокоста люди не смогут писать стихи. Полвека спустя оказалось: нужно ещё доказывать, что вообще был Холокост. Дело не только в пресуппозитивных попытках определённых кругов заставить мир усомниться в непреложном или попросту забыть о нём. Дело в объективных трудностях укоренения исторического знания, об упрямой, вошедшей в пословицу неспособности людей извлекать из истории, из нашего прошлого уроки на будущее.

Что касается отношения немецкого общества к Холокосту, время военного и послевоенного поколений, познавших и переживших ужас содеянного в годы нацизма («Что же мы наделали!?!»), осталось позади. Нынешнее активно действующее поколение, тем более молодёжь — исторически совершенно справедливо — не хочет и не обязано принимать на себя вину за страшные преступления 60–70-летней давности. Место коллективной ответственности должно уступить место коллективной памяти. Об этом убедительно говорится в очерке о современном писателе, нобелевском лауреате Гюнтере Грассе. Боюсь только, что понятие «коллективная память» в ещё большей степени неопределённо (ибо менее эмоционально, несёт на себе меньшую нравственную нагрузку, менее «образно»), чем понятие «коллективная ответственность». Ответственность кое-как, с натяжками (знали — соучаствовали — догадывались — закрывали глаза — не хотели знать) ещё можно сделать коллективной. Сделать «коллективной» память — труднее. Коллективная память составляется из множества индивидуальных памятей. Иначе она не более как расхожий термин политиков и средств массовой информации. Навязывание «свыше» и «сбоку» подчас вызывает обратную реакцию, свидетелями чего мы не раз оказывались. Легче убедить человека, что он в чём-то виноват, нежели заставить помнить о том, чего он не знает и о чём знать не хочет.

В очерке «Гюнтер Демниг: споткнись и вспомни!» рассказывается об инициативе кёльнского скульптора, устанавливающего на тротуаре перед домами, где до Холокоста жили евреи, латунные таблички с надписью: имя, годы жизни, дата и место безвозвратной депортации. Табличка именуется *Stolperstein* (в немецком русском переводе: *камень, чтобы споткнуться*). Но споткнуться надо ещё захотеть. Тысячи пешеходов проходят ежедневно по улицам городов, отмеченных инициативой скульптора, не замечая маленьких латунных четырёхугольников перед подъездами зданий, тысячи автомобилистов проезжают мимо, не ведая об их существовании.

Становится жутко, когда набредаешь в книге (кажется, и не раз) на сложившийся в последнее десятилетие жестокий афоризм: «Немцы не простят евреям Освенцима». Память о перенесённых страданиях люди, как правило, хранят дольше, чем память о совершённых преступлениях. Память о страданиях

возвышает человека, память о преступлениях унижает. Перенесённые страдания застывают в памяти рубцами, совершённые преступления сглаживаются. Нацистский гауляйтер Кельна—Аахена вторую половину своей жизни, едва не четыре десятилетия, доживал крупным фабрикантом игрушек: изготавливал пасхальных зайцев и плюшевых мишек.

Тема Холокоста не забыта немецким телевидением (пишу именно о телевидении как о самом мощном средстве формирования общественного мнения). В документальных передачах разного уровня часто появляются лагеря уничтожения, печи крематориев, заполненные телами рвы. Дерзну сказать: может быть, слишком часто. Главное же, слишком часто тема Холокоста рассматривается в отрыве от общей темы преступной сущности национал-социализма. Сосредоточение еврейской памяти на исторически ни с чем не сопоставимой жертве, принесённой еврейским народом, вполне естественно. Но для немецкой памяти не менее значим Холокост, которому в мрачные годы национал-социализма подвергался народ немецкий. Испепеление духовных и нравственных ценностей, воспитание жестокости, страха, доносительства, единомыслия, националистической фанаберии, растрепание душ, уничтожение культуры, духовная убогость, назначенная идеалом, в народе, одарившем мир созвездиями поэтов, философов, музыкантов, — разве не *холокост* (жертва огню, как переводится слово)?..

Известна истина: нельзя освободить человека снаружи более, чем он свободен изнутри. Это глубоко понимал Гёте, завещавший своему народу приоритет общечеловеческих ценностей. Гёте посвящены в книге два очерка. Один («Гёте и народ Моисея») открывает читателю многогранные — биографические, духовные, творческие — связи великого писателя и мыслителя с еврейством. (Здесь между прочим находим знаменательные слова: «Национальная ненависть всего сильнее, всего яростнее на низших ступенях культуры».) Другой очерк вроде бы не связан напрямую с остальными материалами: еврейская тема как таковая в нём отсутствует. В очерке даётся своеобразный обзор духовной деятельности и творчества Олимпийца — имя, присвоенное Гёте современниками и сохранённое потомками. Но глубинно очерк всем своим содержанием и смыслом ложится в книгу органической и необходимой её частью. Гёте показан как «человек в его развитии» (берём хорошо знакомое русскому читателю определение — слова Гоголя о Пушкине); не случайно эпитафией взяты его слова: «Я живу в тысячелетиях». Особое внимание уделено мыслям Гёте о самовоспитании человека, необыкновенно важном в мире, в обществе, устроенном на насилии, в частности, если говорить о нашем сегодня, на массивном силовом формировании, навязывании взглядов и вкусов. «Я всегда считал, что каждому следует начать с себя и прежде всего устроить своё счастье, а это уж несомненно приведёт к счастью общему», — в этих словах Олимпийца ключ к искреннему, выношенному, а не декларированному пониманию коллективной ответственности, к искренней, жгучей коллективной памяти. По мысли Гёте, сообщество людей может стать подлинно нацией, лишь когда каждый станет подлинно человеком. Терпимость и снисхождение Гёте именуется «божественным» чувством, священным и дорогим для каждой нации. Именно это чувство приведёт к двустороннему — навстречу друг другу — движению на дорогах межнациональных отношений, обогатит межнациональные связи новым содержанием, обозначит торжество общечеловеческого. Вот только дождёмся ли когда?..

Владимир Порудоминский

ОТ АВТОРА

Эта книга родилась не вдруг. Около сорока лет я изучала и преподавала историю зарубежной литературы. Моей специальностью была литература Англии, США, Канады и даже Австралии. Но, оказавшись в 1994 году в Германии, я решила заняться новой темой: евреи и немцы. Я начала здесь писать о сложных взаимоотношениях этих двух народов. Тема эта актуальна уже много веков, а в XX столетии достигла небывалой остроты.

Почти две тысячи лет живут бок о бок евреи и немцы на германской земле. Велико было искушение назвать книгу «Две тысячи лет рядом», но не хотелось никаких намёков, тем более параллелей. Сопоставление двух народов не входило в мои планы, тем более что Владимир Соловьёв в своё время однозначно высказался: «Сопоставлять еврейство можно только со всем человечеством». Я не преследовала цель воссоздать историю непростых отношений немцев и евреев в хронологической последовательности и во всей её полноте. Свою задачу я видела в том, чтобы познакомить читателя с некоторыми наиболее интересными и значимыми страницами совместной истории обоих народов, показать, что их сближало и что разделяло, как они пересекались, какую роль играло это соседство в духовной жизни этих народов и как влияло оно на отдельные судьбы.

Право выбора наиболее важных моментов из истории взаимоотношений этих двух народов я оставила за собой (разумеется, помимо избранных мною можно назвать многие другие), и я использовала малейшую возможность продемонстрировать плодотворность доброжелательных контактов. Меня радовали пусть и немногие примеры взаимовлияния, дружбы и искреннего участия с обеих сторон, мимо них я не проходила. Работу над этой темой я считала одновременно своим правом и долгом, по причине чисто автобиографической: отец мой — немец, а мать — еврейка. И даже когда я в конце книги с горечью констатировала, что история отношений евреев и немцев напоминает улицу с односторонним движением, взаимное чувство, которое соединило моих родителей в далёкие 1930-е годы, поддерживало меня на моём исследовательском пути.

Мы вступили в новое тысячелетие. И опыт прошлого, и мысли о будущем говорят в пользу сближения народов, и хочется надеяться на толерантность и взаимопонимание. Холокост воздвиг, казалось, непреодолимую пропасть между евреями и немцами. Однако нам не отменить того, что происходило до победы нацистов (торжество которых продолжалось только 12 лет!), невозможно переписать историю, хотя попытки такие предпринимались и предпринимаются. Кто станет отрицать огромный вклад евреев в немецкую культуру после обретения ими гражданских прав? Разве можно пренебречь тем, что именно в Германии вызревали великие идеи современного еврейства? Возрождение еврейской мысли сопровождалось потрясениями еврейского сознания, связанными с движением еврейского Просвещения — *Хаскалой*, с появлением «науки о еврействе», реформизма и сионизма, которые привели к глубоким преобразованиям в

жизни еврейского народа. Однако из песни слова не выкинешь: то, что евреи в Германии даже в лучшие для них времена, будучи признанными, всё равно подвергались дискриминации, — факт очевидный.

Катастрофа европейского еврейства положила конец односторонним попыткам еврейско-немецкого «симбиоза». Немецкое еврейство было уничтожено или рассеяно. Восточноевропейские евреи, оказавшиеся после войны в Германии, не собирались надолго здесь задерживаться, для них это была транзитная станция. Общинная жизнь угасала. Но вот произошло то, чего никто не ожидал: на исходе XX века евреи бывшего Советского Союза, поверив в немецкую демократию, двинулись в Германию. Их приезд спас еврейские общины от естественного вымирания. Есть ли будущее у этих общин? Сумеют ли пришельцы стать немецкими евреями? Однозначного ответа у меня нет.

Как бы кто ни старался и ни ратовал за это, Холокост невозможно вычеркнуть из еврейской и немецкой памяти. Видимо, с этой памятью нужно научиться жить рядом друг с другом. Жить с открытыми глазами, без розовых очков. Предлагаемая книга и написана, прежде всего, для того, чтобы помочь читателю справиться с этой задачей.

Эссе, очерки и заметки, вошедшие в эту книгу, представляют целый ряд историй, из которых завязывается узел. Они писались в разные годы, когда мысль объединить их в книгу не возникала, потому могут встретиться повторы. Они прошли своего рода апробацию. Многие были опубликованы в Германии, России, Израиле и США. По их материалам читались лекции во многих больших и малых городах Германии. Некоторые мои выступления увенчались полезными дискуссиями. Мой друг, писатель Владимир Порудоминский, под впечатлением от лекции о мифологии древних германцев посвятил мне стихотворение, которым хочется предварить книгу, ибо их автор тоже увидел евреев и немцев в контексте, но в контексте Времени.

Германские нахмуренные мифы...
Ломает буря корабли о рифы,
Глощает волк багровый серп луны.
Горит земля от спички великана...
Мой милый друг, как всё, однако, странно,
Когда коснёшься пальцами струны.

Герой могуч, безжалостен, прекрасен.
Светловолос и светлоглаз, как ясень.
С ним дева — светлолистая ольха.
Их ждут дорог неведомые дали,
Смертельный бой, посмертный пир в Валгалле
И твёрдый шаг сурового стиха.

Дитя иных небес, иных напевов,
Мой смуглолицый предок из Бер-Шевы,
На Севере заканчивая дни,
Прищурясь, ловит холод ясных взглядов,
Внимая песен воинскому ладу, —
Шма, Израэль! Как молоды они!..

ПО ЗАЛАМ ЕВРЕЙСКОГО МУЗЕЯ В БЕРЛИНЕ (ВВЕДЕНИЕ)

9 сентября 2001 года в Берлине на *Lindenstraße* открылся Еврейский музей. Почти вплотную со старинным нарядным двухэтажным особняком под красной черепичной крышей выросло ультрасовременное здание неправильной угловатой конфигурации, без дверей и окон, точнее, с окнами-прорезями, напоминающими косые щели или амбразуры, да ещё и облицованное стальными плитами. Соседство этих далеко отстоящих по времени зданий ещё сильнее подчёркивает их стилистическую непохожесть, почти несовместимость. И во внешнем облике, и в интерьере нового сооружения доминируют контрасты, разрывы, изломы, зигзаги, но это не просто причуда архитектора. Форма в данном случае конгениальна содержанию, замыслу. Даниэль Либескинд сумел в самой архитектонике здания передать идею скрещения судеб двух народов через целую систему пересекающихся, подчас рвущихся линий и рассечённых плоскостей. Оценить глубокую символику его замысла и мастерство воплощения можно, лишь побывав в залах музея.

У входа в музей на больших полотнищах снизу вверх убегает надпись: «Два тысячелетия немецко-еврейской истории». Архитектоника Даниэля Либескинда, автора смелого музейного проекта, в зримых символах передаёт сложность этого длинного пути, богатого взлётами, провалами и неожиданными поворотами.

На церемонии открытия директор Михаэль Блюменталь заметил, что культурное и социополитическое значение музея шире почти двухтысячелетней истории отношений двух народов. Он справедливо отметил особую роль этого музея среди памятных мест Берлина и всей Германии. Прошло немало времени, прежде чем смогло появиться такое важное место *общей памяти*, где можно друг с другом открыто говорить об ужасном прошлом — о геноциде, а также об уроках, которые должны быть извлечены из этой исторической трагедии. «Наш музей есть итог стремлений последующих поколений Германии разобраться в прошлом, есть результат осознания, что будущее возможно лишь тогда, когда помнят о прошлом».

Музей адресуется евреям и неевреям, немцам и людям других национальностей. Интерес к нему растёт с каждым днём. Перед особняком на *Lindenstraße* змеится очередь. Кто в ней стоит? Молодёжь и старики. мужчины и женщины, дети. Звучит разноязычная речь: доминируют немецкий и английский, можно услышать и русский язык.

Интродукция: дороги Холокоста и изгнания

Любой современный музей, подобно книге, имеет помимо основной части введение и заключение. Начнём, как и положено, с введения. Оно необычно, как и весь музей, и производит колоссальное впечатление. Архитектор нашёл простое линейное и цветовое решение. Сама архитектоника подземного этажа символизирует линии судьбы немецкого еврейства в XX веке: эмиграцию, уничтожение, выживание.

Узкая лестница, ведущая вниз, выдержана в мрачных асфальтовых тонах. Её углы и изломы сразу наводят на мысль о вывихнутом мире. А сам спуск ассоциируется с вхождением то ли в подземное царство Плутона, царство мёртвых, то ли в дантовский ад. Ещё один шаг — и мы в этом пространстве. Всё строится на контрастах: чёрное — белое, на рассечении главной оси — Дороги Холокоста двумя расходящимися под косым углом лучами прочерчены Дороги Изгнания.

Дорога Холокоста — это путь немецких евреев на Голгофу. Он неумолимо прям, отклониться невозможно. Пройдя по нему до конца, попадаешь в Башню Холокоста. Но не станем спешить, помедлим на этом скорбном пути. Вчитаемся в скупые цифры. В 1933 году в Германии проживало 560 000 евреев. 276 000 эмигрировали. 200 000 были убиты. 4000 покончили жизнь самоубийством. 9000 выжили в лагерях уничтожения. 1500 были укрыты. 15 000 состояли в смешанных браках и уцелели. Цифры даны без комментариев. В этой части музея всё лаконично.

Левая стена, как бы рассечённая на плоскости, пуста. Вдоль неё как фриз тянутся надписи — география всех лагерей смерти: Дахау, Заксенхаузен, Собибор, Бухенвальд — и так до последних на Востоке: Освенцим, Трешлинка, Минск, Рига, Хелм. Читаешь названия — и леденеет кровь.

В правую стену вмонтированы глубокие витрины. Вокруг всё обтянуто чёрной тканью. Мы словно заглядываем во мрак, а оттуда, из мрака небытия, смотрят на нас прекрасные лица тех, кто более шестидесяти лет назад прошёл дорогой Холокоста. Семья Нафтали, Шарлотта Окс, Штеффи Мессершмидт... Они полны жизни и достоинства и не подозревают, что их ждёт. И эти снимки производят не менее сильное впечатление, чем фотографии: измождённых обритых людей в полосатых одеяниях или горы околеченных трупов, похожих на скелеты.

К нам взывают строки сохранившихся писем. Одно, выброшенное Шарлотттой Окс из окна поезда, который увозил очередную партию евреев из Берлина в Терезиенштадт. А вот последнее письмо матери 15-летнему сыну Манфреду Нафтали, которого она успела отослать в Англию прежде, чем её с двумя девочками, Марго и Гердой депортировали в Ригу, где все они погибли. Письмо семнадцатилетней Штеффи, схваченной в Бельгии, куда ей удалось уехать из Германии, и отправленной прямоком в Освенцим. Она обращается к отцу, композитору и дирижёру: «Мой дорогой папа!» И от этого казалось бы обыденного обращения ком подкатывает к горлу и становится нечем дышать.

В одной из витрин — портмоне, два небольших фото и визитка Вальтера и Элизабет Блюменталей. Когда грузовик отъезжал от их дома в Шарлоттенбурге, арестованный гестапо Блюменталь выкинул портмоне на тротуар. Его подобрал и сохранил прохожий, дочь которого подарила этот экспонат музею.

Марга Гусинофф передала в музей фото своего друга Альфреда Творогера, проживавшего в районе Веддинг. Его мать умерла перед «хрустальной ночью» (так красиво называется всегерманский еврейский погром, устроенный нацистами в ноябре 1938 года). Отец купил себе иностранный паспорт, а сына сдал в бордель. Через год хозяин заведения выдал юношу. Когда за ним пришли, Альфред выбросился из окна. Ему не было девятнадцати.

Из другой витрины смотрит на нас *Teddy Bear* — медвежонок Тэдди. Его маленький хозяин, Петер Розенбаум, погиб вместе с матерью в Освенциме. Отец Петера выжил и отдал осиротевшего игрушечного медвежонка в музей.

Посетители вглядываются в витрины, читают надписи на двух языках, но избегают глядеть друг другу в глаза. И вдруг давящую тишину вспарывает звонкий детский голос: «Мама, я не понимаю, почему немцы убивали евреев? Разве их солдаты воевали против нас?» немецкий мальчик лет восьми задал маме этот страшный вопрос, на который она не знала, что ответить, и ребёнок снова задал свой вопрос. Одна пожилая дама начала рыдать. Я скрываюсь в Башне Холокоста, поскольку непролитые слёзы давно просыхают наружу.

Высокое пустое помещение неправильной формы. Глухие бетонные стены. Из узкой щели в углу у потолка проникает свет. Различаю в стене множество глазков, но к какому ни припаду — за ними лишь мрак. Наконец попадаетесь один, сквозь который что-то видно. Но что же я увидела? Ещё один глазок! Дурная бесконечность, из которой нет исхода. Человек в Башне изолирован от внешнего мира. По словам архитектора, Башня Холокоста — напоминание обо всех, кто во время депортации и в концентрационных лагерях были изолированы и отрезаны от жизни. Это оглушительное молчание даёт почувствовать, каково было погибать в неизвестности, в полной, доводящей до отчаяния, изоляции.

Скорбный путь эмиграции заканчивается Садам Изгнания. 49 прямоугольных бетонных колонн, поставленных близко друг к другу и образующих правильную каре, несут определённую смысловую нагрузку. Это и каменный лабиринт, по которому пришлось блуждать эмигрантам, но это и намёк на то, что изгнание стало побудительным стимулом. Государство Израиль было создано в 48-м году. Потому — 48 колонн. Сорок девятая — в центре — заполнена землёй, привезённой из Иерусалима. В неё высажены вьющиеся растения, образующие пышную крону. Каменные колонны как бы образуют лес.

На церемонии открытия Еврейского музея, которому предстояло стать и хранителем памяти, и очагом воспитания толерантности, никто ещё не знал, что произойдёт через два дня. Много говорилось о том, что в быстро меняющемся обществе наступившего XXI века люди разного цвета кожи,

представители различных религий и этносов должны научиться жить мирно, отрешиться от вражды, ибо в нашем глобализированном мире и в новой Европе, где стираются границы, иного выбора просто нет, это жизненная необходимость. А впереди было 11 сентября. И разверзлась новая бездна...

Есть нечто провиденциальное в том, что музей распахнул свои двери накануне катастрофы в Нью-Йорке. Ведь одна из его задач — предостеречь человечество, продемонстрировав, из какой бездны оно вырвалось в 1945 году. Зная правду, человек способен понять, куда его хотят вновь ввергнуть силы мирового Зла. В недалёком прошлом эти силы действовали под знаком чёрной свастики, сейчас их объединяют иные символы и другое цветовое поле, но суть их — одна.

Посетить музей и пройти дорогами Холокоста и изгнания — это всё равно что получить своего рода прививку против опасных бактерий насилия. За этим шагом должен следовать другой — борьба с носителями смертоносных бактерий. Музей может дать только толчок, пробуждающий историческую память, а принимать законы и проводить их в жизнь призваны государственные институты.

Вверх по лестнице, ведущей в глубь истории

Еврейский музей в Берлине посвящён сложной, а временами мучительной теме: он рассказывает о том, как две тысячи лет назад пересеклись пути евреев и немцев в германских землях, как непросто в дальнейшем складывались их отношения, что на эти отношения влияло, какие тугие узлы завязывались. Переходя от экспозиции к экспозиции, видишь, как с течением времени менялись культурные границы, отделявшие один народ от другого, как возникали предубеждения, к чему это приводило.

Наш рассказ — попытка приоткрыть дверь в Музей и одновременно это краткое путешествие по страницам истории, это фон, необходимый для лучшего восприятия эссе, очерков и заметок, представленных в книге. Итак, вперёд, мой читатель!

Поднявшись по узкой высокой лестнице, наводящей на мысль о другой, той, что привиделась во сне библейскому патриарху Иакову, вы попадаете в первый зал музея, где вас встречает высокое, под потолок, гранатовое дерево. В еврейской религии это дерево (на иврите — *римон*) очень значимо. К новогоднему столу принято подавать спелый плод граната. Говорят, что он содержит 613 рубиновых зёрен, по числу заповедей, предписанных еврею Торой (проверить не довелось). Встреча с плодоносящим гранатовым деревом в самом начале экспозиции глубоко символична. Еврейское присутствие на чужой земле мыслится как благотворное, от союза двух народов рождаются добрые плоды. Так могло бы быть, могло бы...

Первые залы музея позволяют увидеть свет и тени Средневековья. Первый документ — эдикт императора Константина от 11 января 321 года, в котором магистрату города Кёльна предписывается назначать евреев на должности в курии, в городском управлении, поскольку за эту честь они

должны будут платить значительные суммы в пользу Рима, как и все прочие должностные лица. Этот документ мне знаком, его копию я видела в кёльнской ратуше, и не один раз (оригинал хранится в Ватикане), но всё равно испытала волнение, будто речь шла не о благоприятном для евреев решении почти двухтысячелетней давности, а о принятии меня на работу в немецкий университет.

Эдикт Константина — самое древнее письменное свидетельство пребывания евреев на земле германцев, но появились они здесь раньше: пришли, видимо, с римскими легионерами после разрушения Второго Храма. Однако история умалчивает о том, что происходило с их потомками в последующие века. Второе упоминание о евреях относится ко времени Карла Великого (768–814). Хронист-современник зафиксировал историю купца Исаака из Нарбонны (городок на юге Франции). Еврей был включен в посольство Карла Великого, направленное им в Багдад ко двору халифа Гарун-аль-Рашида в 797 году. Он оказался единственным, кто вынес это утомительное путешествие и спустя пять лет вернулся в Аахен. Он явился ко двору императора с белым слоном. Это был подарок халифа Карлу Великому.

В Аахене сохранились башня Карла Великого и собор, в котором он погребён. Эти камни видели и белого слона, и купца Исаака. В эту далёкую пору еврей-купцы были желанными гостями при дворах германских князей и епископов, они везли с Востока благовония, специи, ювелирные украшения, камчатные ткани, лекарственные снадобья.

Первые сведения о еврейских общинах на территории Германии относятся к раннему Средневековью. В X веке они уже существовали в трёх городах на Рейне — Шпаере, Вормсе и Майнце. В скором времени появились общины в Кёльне, Трире, Метце. В первом зале висит старинная карта Европы, где обозначены эти первые общины. Каждая община имела синагогу, кладбище и микву — место для ритуальных омовений. Уже в то время приобрели европейскую известность еврейские Дома учения: *ешивы*, *бет-мидраши*, действующие в крупных общинах. Да и как могло быть иначе, если в Майнце всю жизнь учил Рабби Гершом бен Иегуда (960–1028), а в Вормсе — знаменитый Раши (1040–1105), прославленный комментатор Талмуда. Тысячу лет назад Майнц называли германским Иерусалимом. В музее выставлены камни с резным орнаментом — фрагменты синагоги из Шпаера, а вот — уцелевшее окно не сохранившейся миквы. Чтобы увидеть средневековую микву XIII века, следует посетить Кёльн. Разбирая послевоенные развалины, прорубились в ранний культурный слой и открыли эту микву. Здесь находился некогда еврейский квартал. В память об этом месте, где сейчас находится ратуша, назвали *Judengasse* (Еврейская улочка).

С началом крестовых походов кончилась мирная жизнь для евреев Германии. Материальных следов страшных жестокостей и гонений, которым они подверглись во время первого крестового похода (1096 год), не сохранилось. Но есть свидетельства хронистов-летописцев как с еврейской, так и с немецкой стороны. Они рисуют страшные картины резни, когда число жертв разъярённой толпы достигало нескольких сотен и даже тысяч.

Показательно, что немецкий хронист не скрывает своего ужаса перед этими бесчинствами своих соплеменников, осуждает их. Он же свидетельствует, что епископы и князья подчас с риском для жизни, но безуспешно пытались защитить евреев: ярость толпы бывает несправедливой и страшной.

По прошествии времени уцелевшие евреи возвращаются в немецкие города. Они нужны. Их призывают вернуться, гарантируют защиту. На музейных стендах — выдержки из различных хроник, королевских ординасов и городских хартий, папских булл XII—XIII веков. Прекрасные миниатюры украшают дрезденский манускрипт «Саксонское зеркало» (1225). Евреи-всадники приносят присягу в обществе христиан, не отличаясь от них ни чертами лица, ни позами, ни одеждой. Еврей ещё является свободным человеком, имеющим право на ношение оружия.

В музее экспонируется старейший свиток Торы XIII века из синагоги *ашкеназим* (немецких евреев) и переписанная на пергаменте (особым образом выделанной тончайшей коже) Библия 1343 года. Ритуальных предметов, тем более бытовых, от этой поры не сохранилось, и это неудивительно: наступил катастрофический XIV век. Великий голод и «чёрная смерть» (чума) обрушились на Европу, сократив на треть её население. Не в силах понять причин этих бедствий, невежественные люди объясняли случившееся происками сатаны. А через кого мог действовать дьявол? Через евреев-отравителей! Евреи были обречены стать козлами отпущения.

Напрасно папа Климент VI обнародовал в 1348 году специальное послание — буллу, в которой он подробно разъяснил, что евреи умирают от чумы так же, как и христиане. Остановить чернь было невозможно. Ни одной крупной еврейской общине Германии не удалось избежать массовых убийств. На исходе средних веков евреи лишаются гражданских прав и становятся вечными странниками. Лишь несколько крупных городов согласились предоставить им приют, не гарантируя, однако, его постоянство. Показательна выдержка из хартии Людовика Баварского (1343): каждый еврей, достигший 12-летнего возраста, должен платить в императорскую казну один флорин. Дело не в размере налога, а в том, что, согласно средневековым порядкам, человек, который платил подушный налог, не мог претендовать на статус гражданина.

На гравюре XV века представлена жуткая сцена — сожжение евреев в Нюрнберге в 1348 году. Я побывала в Нюрнберге на исходе XX века, мой спутник привёл меня на площадь в самом центре города, где сжигали евреев, и поведал об этой истории, память о которой сохранилась благодаря хронисту.

Начиная с XIV века меняется христианская иконография: при изображении распятия заметно стремление освободить язычников-римлян от ответственности за богоубийство и возложить весь позор на евреев. Немецкие художники и в церковных каменных горельефах, и на гравюрах часто изображают евреев рядом со свиньёй, причём в непотребных позах — *Judensau*. Ассоциировать свинью с евреями — это верх поношения, ведь свинья, согласно иудейской религии, — нечистое животное. Большинство горельефов не сохранилось, но Гёте вспоминал, что фреска на этот мотив «украшала» старый мост в его родном Франкфурте до конца XVIII века.

На оскорбления и обвинения евреи отвечали презрительным молчанием. XV–XVII века — это эпоха, когда еврейские кварталы превращаются в гетто. Еврейская община окончательно замыкается в себе. Её члены ведут суровый и набожный образ жизни, мельчайшие детали их быта строго регламентированы.

Память об этих временах ещё жива в дошедших до нас воспоминаниях Глюкели из Хамельна (*Glikl bas Juda Leib*, 1646–1724), которой посвящён один из наших очерков. Мемуары Глюкель перевела на немецкий Берта Паппенхайм, известная поборница прав еврейских женщин. Она была так очарована их автором, что заказала свой портрет в одеянии XVII века, которое могла носить Глюкель. Портрет работы Леопольда Пилиховского (1925) пропал, в музее демонстрируется большая фотография с него.

Время в Еврейском музее Берлина бежит незаметно, при этом историческое время спрессовано в тематических экспозициях. Небольшой зал знакомит с династиями евреев-финансистов, которые в XVII–XVIII веках играли важную роль при дворах герцогов, великих курфюрстов и даже кайзеров: Оппенгеймеры, Ротшильды, Итциги, Фейгты... Они оказывались в мирное и военное время не только кредиторами, поставщиками, но и дипломатическими посредниками, весьма полезными осведомителями и при этом чаще всего оставались в тени. Судьба их, как правило, была полна превратностей. Яркий тому пример — история Йозефа-бен-Иссахара Зюскинда-Оппенгеймера. Таково полное имя человека, вошедшего в сознание миллионов как еврей Зюсс. Ему в книге посвящено большое эссе, к которому отсылаем читателя. В музее можно увидеть гравюры, воспроизводящие сцену его казни и поругания, а также модель клетки, в которой он был повешен. Сейчас в клетке размещены три плоских экрана. Нажав соответствующую кнопку, можно познакомиться с отрывками из трёх фильмов, посвящённых первому еврею, оказавшему влияние на ход немецкой истории — пусть в пределах одного герцогства.

Хаскала и её последствия

Спустившись с антресолей — царства Зюсса, попадаем в зал Мозеса Мендельсона, отца еврейского Просвещения — Хаскалы. Помимо изображений самого Мендельсона (особого внимания заслуживает его скульптурный бюст работы прославленного немецкого скульптора Шадова) в зале много портретов его сподвижников и учеников, частых посетителей квартирки Мендельсонов на *Spandauerstraße*. Чаше других бывали здесь молодой фабрикант, банкир и писатель Давид Фридлендер, врач Веньямин де Лемос, Соломон Маймон, выходец из литовского местечка, философ-самоучка, светлая голова, Бен-Давид — ещё один философ, Маркус Герц, известный врач и философ-кантианец, живший со своей молоденькой женой по соседству, на той же улице, Соломон Дубно, знаток древнееврейской грамматики и учитель детей Мендельсона, и, конечно, Нафтали Вессели — поэт и переводчик. Все они — пионеры Хаскалы, *маскилим* (просвещён-

ные). Теперь они смотрят со стен зала на посетителей, которые толпятся у витрин с книгами Мендельсона и его единомышленников. Здесь прижизненные издания. Что касается портретов, то многие оригиналы хранятся в музее Иерусалима.

Вот сочинение «Федон, или О бессмертии души» (1767), написанное в виде диалога между учениками Сократа — Платоном и Федоном. На долю «Федона» выпал ошеломляющий успех. Переведённая на все европейские и древнееврейский языки, книга эта на протяжении нескольких десятилетий поддерживала нравственность в обществе. Мендельсона после опубликования этого сочинения стали называть немецким Сократом.

Немецкий драматург и просветитель Лессинг гордился авторитетом своего друга, в судьбе которого он принимал горячее участие. Нравственным благородством, широтой ума и терпимостью Мендельсона он наделил героя своей последней пьесы в образе Натана Мудрого. В зале находится скульптурное изображение актёра Адольфа фон Зонненталя в роли Натана (1900).

В другой витрине — трактат «Об улучшении гражданского существования евреев». Его написал и опубликовал в 1781 году фон Дом, историк, экономист, чиновник министерства иностранных дел Пруссии, хороший знакомый Мендельсона. Работу фон Дома стали называть «Библией эмансипации», ибо он не только описал бедствия евреев, но и наметил гуманистический план решения «еврейского вопроса» на государственном уровне, согласно которому евреи должны были стать полезными и равноправными членами общества.

Словно отвечая на призыв фон Дома, австрийский император Иосиф II издал в следующем году «Эдикт о толерантности» для евреев Вены. Нафтали Вессели восторженно откликнулся на эдикт открытым письмом к венским евреям, в котором изложил программу Хаскалы. Он потребовал изменить систему еврейского образования. В еврейских школах, созданных Вессели и Фридлиндером, стали преподавать различные ремёсла.

Тесть Фридлиндера, придворный банкир Фридриха Великого, Исаак Итциг выделил средства на нужды школ (в одной из витрин представлены дружеские альбомы семейства Итцигов, своего рода «книги отзывов»). Мендельсон перевёл на немецкий язык Пятикнижие, Псалмы, Песнь Песней и часть Сионид (Песен Сиона) Галеви. Переводы эти переиздавались много раз в XIX веке в Германии, где язык идиш был уже повсеместно вытеснен немецким языком. Отдельные издания представлены в этом музейном зале.

Переходя в зал под названием «В лоне семьи» (в еврействе этот важный институт остаётся прочным и в наши дни), посетитель обходит *хулу*, под балдахином которой в иудаизме совершается обряд бракосочетания. Рядом — витрины с посудой для мясных и молочных блюд (верующему еврею запрещено их смешивать). В угловой витрине — старые свитки Торы и изящные серебряные указки, заканчивающиеся кистью руки с вытянутым указательным пальцем. Читающий Тору помогает себе такой указкой, водя по строкам справа налево, чтобы не прикасаться пальцами к священному тексту. Тут же — старинные и современные предметы культа: подсвечники, кубки, чаши, специальный сосуд для благовоний — всё для встречи и проводов царицы-Субботы.

В соседнем простенке — макеты двух синагог: Кёльнской на *Glockenstrasse* (она не сохранилась) и Новой синагоги в Бреслау, построенной в 1810 году. Здания объёмны, предполагают большую вместимость. Там, где нет потребности, такие храмы не возводятся. Строительство синагог в XIX веке служит свидетельством того, что, несмотря на добровольное крещение многих представителей еврейской верхушки, еврейская жизнь в Германии отнюдь не умерла. Но и процесс интеграции продолжался и набирал обороты.

Главным следствием Хаскалы стала эмансипация немецких евреев, которая развивалась в целом стремительно, хотя приливы то и дело сменялись отливами (всё зависело от отношения властей). Евреи выбрались из гетто не только в прямом, но и в переносном смысле слова. Реформировался традиционный образ жизни, евреи перешли на современную европейскую одежду, переняли многое из немецкой бытовой культуры. В зале «В лоне семьи» представлены семейные и персональные портреты — мужские, женские, детские, они свидетельствуют о произошедших переменах. В убранстве комнат, в одежде, в лицах изображённых на портретах людей нет ничего специфически еврейского. Эти просвещённые евреи ничем не выделяются из немецкой среды. На Рождество в некоторых еврейских домах стали даже наряжать ёлку.

Реформа еврейского образования (включая женское) способствовала овладению немецким языком, что разрушило языковой барьер между евреями и местным населением. Быстро освоив многие профессии, они пополнили ряды городских ремесленников, врачей, юристов. Это были новые для евреев специальности.

Последствия эмансипации евреев в Германии нигде, пожалуй, не проявились столь наглядно, как в облике и судьбах молодых образованных женщин из состоятельных семей. В богатых домах Берлина на рубеже XVIII—XIX веков образовались «кружки для чтения» и появились первые литературно-художественные салоны, попасть в которые почиталось за честь. В музее можно увидеть портреты хозяек и законодательниц этих салонов — Генриетты Герц и Рахели Левин (в замужестве Фарнхаген фон Энзе). Притягивает внимание роскошный портрет Альбертины Мендельсон-Бартольди (урождённой Гейне), жены молодого, но уже прославленного музыканта. Художник Август Казеловски представил её в наряде невесты. Красавица-аристократка, иначе не скажешь! Глядя на этот портрет, на парные портреты очаровательных детей из семьи Ратенау работы Леопольда Бендикса (1845), никто не решился бы оспорить утверждение адвоката и политического деятеля этой поры Габриэля Риссера: «Мы — не пришельцы, мы — уроженцы этой земли». Так отвечал вице-президент Франкфуртского национального собрания 1848 года противникам эмансипации, требующим гражданских прав для евреев.

В этом же зале — портреты Генриха Гейне и Людвига Бёрне работы еврейского художника Морица Оппенгейма, которого называли «художником Ротшильдов и Ротшильдом среди художников». Он достиг известных высот в обществе, не изменяя вере предков. Последние двадцать лет его жизни были отданы картинам из серии «Еврейская семейная жизнь». В

этих жанровых сценах предстаёт нечто более значительное, чем просто церемония *бар-мицвы* (совершеннолетия), свадьбы, празднования субботы или судного дня, они одушевлены глубоким национальным чувством.

Храня верность традициям, немецкие евреи в XIX веке культивировали и гражданский патриотизм, т.е. приверженность, преданность и любовь к Германии, ибо она стала их отечеством. Они участвовали в военных событиях, связанных с освободительной войной против Наполеона. Ещё большую активность проявляли евреи на общественно-политическом поприще. Когда в 30-е годы в Германии возникло либеральное движение «Молодая Германия», кто его возглавил? Еврей Людвиг Бёрне. Кто его активно поддержал своим блестящим пером? Генрих Гейне.

Первым объединённый ландтаг Пруссии в июле 1847 года впервые обсуждал вопрос о том, что евреи наряду с равными обязанностями должны получить и равные с христианами гражданские права. Франкфуртское национальное собрание 1848 года вынесло решение о равноправии евреев, но лишь при Бисмарке во Второй рейхе оно обрело форму закона.

Организаторы прогресса

Следующий зал не случайно носит такое название. 1870–1910-е годы — время политического либерализма. После официального уравнивания в гражданских правах цель евреев, казалось, была достигнута: они больше не евреи в Германии, а немецкие евреи! В 1870–80-е годы в Германии проживало 400 000 евреев. И теперь лишь половина из них была связана с торговлей, а до недавнего времени — 90%. Не менее 140 тысяч были заняты в промышленности и занимались ремёслами. Правда, в таких отраслях, как юстиция, образование и военная служба, для карьеры требовалось крещение. Нельзя было без этого стать профессором, офицером, судьёй. Что касается театра, прессы, литературы, изобразительных искусств, то эти профессии были открыты для некрещёных евреев.

Центром притяжения для евреев был Берлин. В 1895 году там проживала почти четвёртая часть всего еврейского населения Германии. Залы, посвящённые этому периоду и Веймарской республике, перенасыщены документами. Разительные перемены в облике Берлина, его модернизация связаны с ростом активности немецких евреев. Начинаясь когда-то с маленьких магазинчиков одежды, Вертхайм и Тиц создали сеть крупнейших магазинов в Берлине, в частности — пассаж на *Leipzigerstraße*. Название торгового дома *Hertie* («Херти») хранит память о еврее Хермане Тице. Вершиной усилий Адольфа Яндорфа стал настоящий Дворец торговли — огромный универсальный магазин — *Ka De We*, открывшийся в 1907 году. Неоновые буквы этого логотипа и сегодня впечатаны в ночное небо германской столицы.

На рубеже XIX–XX веков евреи внесли значительный вклад в развитие экономики тех земель, где они проживали. Среди пионеров тяжёлой промышленности, наряду с Тиссенем, Сименсом, Кирхдорфом, было немало ев-

реев. Как пример, Эмиль Ратенау, создавший в 1885 году AEG — предприятие, которое снабжало электричеством весь Берлин. Электротехническая промышленность Германии именно ему обязана своими успехами. Коммерческим директором AEG, председателем его правления были тоже евреи. Ратенау принадлежал к большой и уважаемой семье. В зале, посвящённом повседневной жизни еврейской семьи, мы уже видели их портреты. Из этой семьи выйдет и Вальтер Ратенау, преемник своего отца в AEG и будущий министр иностранных дел Веймарской республики. Плакат, на котором большими буквами выведено: *Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft Berlin 1888* — помещён в центре над портретами отца-основателя и руководителей Общества.

Пионером машиностроения был Йозеф Либерман, он занимался сельскохозяйственной техникой. Йозеф фон Хирш, банкир из Мюнхена, финансировал строительство железных дорог. Магнатами угольной промышленности были Фридлендеры-Фульды, химической — Монды, судостроительной — Баллин. Он стал генеральным директором крупнейшей линии Гамбург — Америка (*HAPAG*), которая действует и поныне. Баллин был желанным гостем и доверенным лицом кайзера Вильгельма II, тот видел в нём человека, который обеспечит господство Германии на морях. В музее можно увидеть их совместное фото.

Среди банкиров этой поры — Фюрстенберг, Варбург и Бляйхрёдер. Последний был придворным банкиром кайзера Вильгельма I. Тот пожаловал ему дворянство, не настаивая на том, чтобы банкир крестился. Дворец Бляйхрёдера охотно посещала прусская знать, но это не значит, что он был принят в их обществе. Вот карикатура из журнала «Симплициссимус». Читаем подпись: «Жаль, что Папа не может быть принят в наш аристократический клуб. А впрочем, какая разница, он ведь видит каждый вечер всех членов клуба у себя дома».

Пионерами издательского дела были евреи Ульштейн, Моссе и Рейтер. Известнейшее международное телеграфное агентство «Рейтер» в 1851 году было создано сначала в Лондоне. Ульштейн основал целую газетную империю («*Frankfurter Zeitung*», «*Berliner Illustrierte Zeitung*» — это его газеты). Моссе издавал иллюстрированные журналы и популярный «*Berliner Tageblatt*». Их издательства и типографии занимали красивейшее многоэтажное здание в центре Берлина, в южной части центрального района Фридрихштадт.

Немецкие евреи на рубеже XIX–XX веков внесли колоссальный вклад и в науку: ведь это было время настоящей революции в физике, химии, биологии. Достаточно назвать такие знаковые имена, как Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. Их сегодня знают все. Эйнштейн стал настоящей иконой, ликом разума. Наука о личности — фрейдизм — завоевала весь мир. Материалы музея напоминают многие имена. Это естествоиспытатель Герман Гельмгольц, физик Генрих Герц, который создал электромагнитную теорию, ставшую основой для телеграфа, философ Эдмунд Гуссерль, основатель феноменологии, электротехник Эмиль Берлинер, изобретатель телефона-микрофона и грампластинок, философ Герберт Кон, у которого учился Борис Пастернак.

На стенде мы видим фотографии трёх Нобелевских лауреатов-химиков — это Отто Валлах, Фриц Хабер и Адольф фон Байер. Они работали в основном в научно-исследовательском Институте кайзера Вилгельма (основан в 1911 г., сегодня известен как Институт Макса Планка). Ассистентом и достойным сотрудником Планка была еврейка Лизе Майтнер, одна из крупнейших физиков XX века.

Как не назвать врача профессора Клемперера, анатома Якоба Хенле, который был учителем самого Роберта Коха? Вместе с Кохом работала бактериолог Лидия Рабинович-Кемпер, первая женщина-профессор в Пруссии. Кстати, её сын выступал на Нюрнбергском процессе в качестве обвинителя с американской стороны.

Эти выдающиеся учёные-евреи прославили не только свои имена, они вывели немецкую науку на мировой уровень. Треть Нобелевских премий, присуждённых с 1901-го по 1933 годы, получили граждане Германии, из них третью часть составляли немецкие евреи, а в области медицины их доля была и вовсе 50%. Достижения Германии, представленные на первой Всемирной выставке в Париже, были настолько впечатляющими, что в мире заговорили о том, что наступивший XX век окажется не иначе как веком Германии. Предсказание сбылось с точностью «до наоборот»: Германия и впрямь сказала своё слово в новом столетии, развязав две мировые войны, принесла неисчислимые бедствия народам и обрекла собственный народ на страшные испытания.

В зале отведено место евреям — создателям новаторского искусства. Это композиторы и музыканты Густав Малер, Арнольд Шёнберг и Луи Левандовский, руководитель берлинской консерватории и первой музыкальной школы Юлиус Штерн, реформатор театра Макс Рейнхардт, художники Макс Либерман и Эфраим Лиlien, Франц Марк и Дессер Ури, немецко-еврейские писатели Якоб Вассерман, Артур Шницлер, Эмиль Людвиг.

Новая Германская империя была построена не только «на крови и железе», как утверждал Отто фон Бисмарк, но и на золоте, деловитости, научных открытиях и достижениях в разных областях культуры немецких евреев. Как же оценила немецкая нация их вклад в общегерманское дело? Судите сами. Уже в период Второй империи прозвучало: «Евреи — наше несчастье!» («*Die Juden sind unser Unglück*»). Часть населения считала, что расцвет науки и промышленности представляет несчастье для страны. Виновниками быстрой урбанизации и промышленного прогресса называли евреев. Капитализм в целом ассоциировался именно с этим чуждым племенем. Влиятельный журналист той поры Отто Глаугау породил ещё один хлёсткий афоризм «Социальный вопрос есть еврейский вопрос» («*Die soziale Frage ist die Judenfrage*»). После отставки в 1890 году «железного канцлера», как называли Бисмарка, антисемитизм приобретает более опасный характер, он переходит на рельсы национализма и расизма. Чтобы разжечь расовый антагонизм, все средства шли в ход. В музее представлены антиеврейские карикатуры конца XIX века. Текст подписей довольно безобиден, важно создание отвратительного образа еврея на чисто изобразительном уровне. Именно эти карикатуры стали основой стереотипов, которые вошли в сознание немецкого большинства.

«Дома и всё же чужие» — таково самоощущение немецких евреев. Неудивительно, что именно Германия в пору растущего антисемитизма оказалась родиной сионизма. Именно здесь вынашивались планы возвращения евреев из *галута* (рассеяния) на историческую родину и создания еврейского государства в Палестине. На стендах — портреты лидеров сионизма и материалы, раскрывающие цели и задачи этого движения. Скульптурный бюст Теодора Герцля, а под ним — первое издание его книги «Еврейское государство» (1896). Рядом — сионистский журнал «Die jüdische Rundschau» («Еврейская панорама») и ежемесячник «Ost und West». Высказывание одного из представителей сионистских кругов Германии начала XX века я взяла на вооружение: «Мы, евреи, могли бы стать солью в супе народов, но народам этот суп кажется часто пересолённым».

Немецкие евреи в годы Веймарской республики

Первая мировая война закончилась поражением Германии. В ней на немецкой стороне участвовало 100 000 еврейских солдат, среди погибших было 12 000 евреев (эти данные приведены в книге «Евреи и XX век»). В простенке между залами останавливает внимание увеличенная на высоту стены фотография: лето 1914-го, по берлинской улице движется отряд кавалерии, один из кавалеристов, Людвиг Бёрнштейн, склонившись, на ходу прощается с Фрицем и Эммой Шлезингерами. Супруги улыбаются на бегу, они явно гордятся своим молодым родственником: ему выпала честь защищать родной *фатерланд!*

Но ни преданность, ни подвиги на полях сражений, ни достижения в экономике, науке и культуре не могли извинить новых граждан в глазах националистов. Капитуляция Германии в 1918 году, Версальский договор, репарации — всё это, как кричали на всех углах «патриоты», было подстроено предателями-евреями. Из многочисленных свидетельств о Веймарской республике приведу только ёмкую характеристику Голо Манна (сына Томаса Манна): «Ужасный нравственный упадок и дикость под знаком поражения, всеобщая нищета и социальное деклассирование миллионов людей вследствие инфляции, все эти события, полностью выходявшие за пределы понимания обычного человека, обеспечили первый мощный отклик на призыв: “Евреи — наше несчастье!”. Я бы осмелился утверждать: никогда антисемитские страсти не кипели столь бурно, как в 1919–1923 гг.» Это свидетельство молодого немецкого писателя.

Назначение Вальтера Ратенау министром иностранных дел Веймарской республики в январе 1922 года не могло не обернуться его насильственной гибелью. Немецким Дизраэли ему не удалось стать. На пике кипения антисемитских страстей 24 июня 1922 года и произошло его убийство. Его посмертный портрет работы еврейского художника Орлика — один из экспонатов музея.

И вот уже университетская немецкая молодёжь вовсю толкует о «разрушительности еврейского интеллекта» и нападает на Эйнштейна и «ев-

рейскую физику», а ведь Нобелевским лауреатом он стал в 1921 году! Поносили не только еврея Эйнштейна, поносили Веймарскую республику. Германия оказалась не готова принять демократию, тем более что её ростки пробились в пору послевоенной разрухи и полной неразберихи. Антидемократизм, как показал опыт, — неотделим от антисемитизма.

Среди экспонатов — картина Феликса Нусбаума «Безумная (Парижская) площадь», на которой изображена группа молодых художников-новаторов, сгрудившихся со своими картинами перед Бранденбургскими воротами. Слева высится здание Академии искусств, куда стройными рядами движутся убеждённые седины академики в строгих чёрных костюмах. Над ними парят ангелы с трубами и стягами, а один, приземлившись, мечет им под ноги цветы. Справа — знаменитый на весь Берлин дом-мастерская президента Академии Макса Либермана. На крыше — сам хозяин у мольберта со своим автопортретом. Порхающие вокруг мастера ангелочки пытаются увенчать его золотым венком, но промахиваются, венок летит мимо. Картина подписана 1931 годом. А через два года старый художник с крыши своего особняка будет наблюдать факельное шествие победивших нацистов. А что касается непризнанных гениев, которых запечатлел Нусбаум, то одних ждут дороги Холокоста или изгнания, других, как автора картины — самоубийство, остальных — позор и поношение на выставках «Дегенеративное искусство». Нусбаум предвосхищает будущее: молодые художники на его картине выглядят отверженными, они — «белые вороны», это подчёркнуто их белыми одеяниями. Впрочем, зная судьбы персонажей этой картины, белые хламиды можно принять и за саваны.

Один из характерных признаков еврейской жизни в Германии той поры — возрастание культурной и религиозной роли восточноевропейского еврейства — *Ostjuden*. В Берлине восточноевропейские евреи составили 25% еврейского населения. Когда в Германию в начале XX века хлынули тысячи восточноевропейских евреев, спасавшихся от погромов, оказалось, что они никак не вписываются в общество немецких евреев, разительно отличаются от них и одеждой, и манерами, и языком. Это были люди как будто из другого века, из далёкого прошлого. Немецкие евреи в основном были людьми с достатком, исполненными самоуважения немецкими гражданами, пришельцы же — голь перекатная, забитые, согнутые вековыми унижениями и нуждой. Однако именно на этом «другом полюсе» еврейства сохранялась верность подлинному иудаизму.

Часть еврейской молодёжи (особенно студенты), вдохновлённая идеями политического сионизма, отрицала буржуазный образ жизни ассимилированных западных евреев, собственных отцов и дедов. В поисках подлинного еврейства интеллектуалы и художники из сионистских кругов всё чаще поглядывали на Восток, идеализировали мир местечка (*штеттл*). Лишь немногие пошли путём *халуцим* (пионеров-первопроходцев), отправившись заниматься крестьянским трудом на земле Палестины. Большинство немецких евреев, несмотря на рост антисемитизма, считали себя частью немецкого общества.

В годы Веймарской республики искусство театра и кино достигло в Берлине небывалого расцвета, в этом убеждают театральные афиши (в залах можно видеть афишные тумбы, знакомые моему поколению), фото-портреты режиссёров-новаторов, талантливых актёров, оригинальных кабаретистов, а также снимки сцен из нашумевших спектаклей. Макс Рейнхардт, Леопольд Йесснер и Эрвин Пискаатор, Марлен Дитрих, Хелена Вайгель и Роза Валетти, Эрнст Буш и Макс Палленберг, Бертольд Брехт и Курт Вайль — слава и гордость немецкой сцены. После 1933 года все они покинут Германию — кто из-за еврейского происхождения, кто — из-за нежелания жить в Третьем рейхе.

На стендах представлено много иллюстрированных журналов, со страниц которых на посетителей музея смотрят известные писатели, поэты, публицисты, среди которых — Вальтер Беньямин, Эрих Мюзам, Альфред Дёблин, Вальтер Газенклевер, Арнольд и Стефан Цвейг, Лион Фейхтвангер, Бруно и Леонгард Франк, Йозеф Рот, Франц Верфель, Курт Тухольский. Якоб Вассерман, Эльзе Ласкер-Шюллер, Маша Калеко... Все они — немецкие евреи.

1920-е годы — время развития культурного сионизма, центром его стал Берлин, а лидером — известный поэт Хаим-Нахман Бялик. В Берлине выходит журнал «Рассвет» — оплот радикально настроенного сиониста Владимира (Зеева) Жаботинского. Включив аппарат, можно увидеть отрывки из постановки «Диббука» в исполнении артистов еврейского театра.

В витринах — книги, первые издания. Книг много, и среди них — знаменитый роман Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац. Повесть о Франце Биберкопфе» (1929). В центре книги не евреи, а немецкое простонародье — от мелких лавочников до деклассированных криминальных элементов. Используя приёмы киномонтажа и коллажа, Дёблин смог изобразить, как точно подметил Илья Эренбург, «те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима».

Один из самых читаемых в Веймарской республике романист Вассерман в 1921 году опубликовал книгу «Мой путь как немца и еврея», резюме которой прозвучало так: «Тщетно заклинять народ поэтов и мыслителей во имя их поэтов и мыслителей... Напрасно полагать, что яд можно обезвредить. Они приготовят свежий. Пустое дело — жить ради них или умирать за них. Они скажут одно: он — еврей».

И вот наступает январь 1933-го. В последующее десятилетие слышны только звуки погребального колокола по европейскому еврейству. А дальше — тишина... После того как мы прошли дорогами Холокоста и изгнания, нет сил перечислять здесь все приказы и законы Третьего рейха, которые последовательно и неуклонно лишали евреев всяких прав, свободы и жизни. В 1939 году Мартин Бубер объявил о «конце еврейско-немецкого симбиоза». Отметив его необычайную плодотворность, еврейский философ сравнил его значимость с иудео-эллинской и иудео-испанской культурой, следы влияния которых никогда не сотрутся.

Зал, посвящённый настоящему времени, призван внушать надежду на будущее еврейства в Германии, но меня эта экспозиция не впечатлила. После войны в Германию приехали некоторые из уцелевших восточноевропейских евреев, но и у них преобладали «чемоданные» настроения. Многие, подзаработав, уехали в Израиль и США, кое-кто остался. В наших и собственных глазах они — старожилы. Приток евреев из бывшего Советского Союза в последнее десятилетие XX века был призван вдохнуть жизнь в умирающие еврейские общины. Численность общин и впрямь резко возросла. Из нынешних ста тысяч членов еврейских *гемайнд* иммигранты составляют 86%. «Русские» евреи, в отличие от многих «старожилов», сохраняют общекультурные ориентиры, их интеллектуальный потенциал в целом очень высок, благодаря им произошло культурное обогащение общин. Но вряд ли прибывшие евреи в обозримом будущем займут в жизни страны то место, которое в прошлом принадлежало немецким евреям. Сейчас их потенциал едва востребован немецким обществом, ситуация на рынке труда тому не способствует. У приехавших нет той пассионарности, которая отличала евреев Германии, вырвавшихся из гетто в начале XIX столетия. Их менталитет иной. К тому же немецкое общество за 200 лет так изменилось, что войти в него русскоговорящим евреям чрезвычайно сложно.

Впрочем, д-р Соломон Корн, председатель Франкфуртской еврейской общины и вице-президент Центрального совета евреев в Германии, смотрит на будущее оптимистично: «Мы находимся в настоящее время в историческом процессе, который приведёт к тому, что из евреев в Германии сформируются немецкие евреи, которые превратятся в еврейских немцев». Правда, он предупреждает, что процесс превращения и тем самым возвращения на круги своя будет нелёгким и весьма длительным. Энтузиастов, согласных положить жизнь во имя приближения этой отдалённой цели, среди вновь прибывших при всём старании не найти.

Но вернёмся в музей! Помню залов с постоянной экспозицией для юных и взрослых посетителей здесь есть читальный зал, обучающий центр, оснащённый компьютерной техникой, помещения для специальных выставок. Исследовательские проекты в рамках музея предполагают работу с архивами, подготовку выставок и печатной продукции. Среди вопросов, которые предлагались посетителям на выходе, моё внимание привлёк один: «Можете ли вы представить, чтобы президентом ФРГ в ближайшем будущем стал еврей?»

Прочла — и не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Впрочем, в США на пост вице-президента баллотировался ведь еврей Либерман, сенатор от демократической партии. Американцы, получившие свои идеалы (включая демократию, бережливость и любовь к детям) скорее от евреев, чем от саксонских предков, вполне могли отдать ему голоса и многие отдавали. Но чтобы в Германии! В чьей голове родился этот безумный вопрос?!

И тут вспомнился эпизод шестилетней давности. Моя молодая знакомая, немка, в ту пору студентка Майнцского университета, ездила с шестикурсниками в Бонн, на экскурсию в музей современной истории Германии. На вопрос, кто является президентом Германии, один из ребят, «заслуженный» второгодник, подумав, изрёк: «Я думаю — Горбачёв».

Ответ меня поразил, я возликовала: «Если пятнадцатилетний немец допускает, что президентом Германии может быть русский, это ведь прекрасно! Это говорит о толерантности, о полном отсутствии ксенофобии у молодёжи». Но моя знакомая не разделяла моих восторгов: «Грета, не обольщайся! Это говорит только о его дремучей невежественности. Имя Горбачёва мелькает на телевидении, в прессе. Он его запомнил, вот и всё». Спорить я не стала, но, признаюсь, ответ невежественного мальчишки согрел мне душу.

Знакомство с Еврейским музеем как способ введения в книгу позволило очертить круг тем, предлагаемых читателю. Но любой музей предполагает погружение в прошлое, реже — в настоящее, а так хочется узнать, что ждёт впереди. Возможно ли будущее для евреев в Германии после Катастрофы?

Сама жизнь неожиданно дала положительный ответ на этот вопрос. На исходе лета 2005 года римский Папа посетил синагогу Кёльна. Мне повезло присутствовать на встрече и стать свидетельницей нового этапа иудео-христианского диалога. Дружественная атмосфера встречи породила новые надежды.

«СПОР О ЕВРЕЙСКИХ КНИГАХ» КАК ПРОЛОГ К РЕФОРМАЦИИ¹

Тот, кто бывал в Кёльне, наверняка знает маленькую улочку, притаившуюся под сенью его «дымных громад», то бишь Собора. Её выразительное название *Unter Fettenhennen* (в переводе с немецкого — «У жирной курочки») заставляет сердца чревоугодников биться сильнее. Между тем жирная курочка, заботливая наседка, прячущая цыплят под крыльями — это эмблема вовсе не ресторанички, а старейшей в городе печатной мастерской, которая возникла здесь на заре гуттенберговой эры, т.е. на исходе XV века.

В типографии печатались не только церковные, но и светские книги. Произведения, заподозренные в ереси, сжигались на кострах, которые раскладывали по соседству, на соборной площади. Память об этих аутодафе была жива ещё в XVIII веке, и юный Фридрих Шиллер, сочиняя в *Карлсшутле* по ночам «Разбойников», заверял доверенных друзей, что пишет такую книгу, которая непременно будет сожжена рукой палача.

Перенесёмся на пятьсот лет назад! Предположительно, именно «У жирной курочки» печатались сочинения, положившие начало яростному длительному спору между церковниками и первыми немецкими гуманистами, спору, который получил название «диспута о еврейских книгах». В 1507 году крестившийся еврей Пфефферкорн, человек с темным прошлым, но претендующий на ученость, выступил с обличениями своих бывших единоверцев. Ох уж эти неопиты-отступники, желающие быть святее Папы римского! За три года он опубликовал в Нюрнберге и Кёльне пять антиеврейских памфлетов, латинские переводы которых, выполненные доминиканцами, злейшими врагами евреев, распространялись в католическом мире. Пфефферкорн требовал запрета «позорного» ростовщичества и... еврейских религиозных книг. Он ссылался на прецедент: в Париже в XIII веке Талмуд был объявлен книгой, вредной для христиан, и повсеместно сжигался. Поддержанный монашеским орденом доминиканцев Кёльна, он добился в 1509 году от императора Максимилиана мандата на повсеместное изъятие талмудической и кабалистской литературы якобы с целью проверки, не содержат ли она чего антихристианского. В случае обнаружения крамолы изъятые книги подлежали сожжению. Судьба их была предreshена.

Книгоборец начал с Франкфурта. Евреи города, которых именем императора принудили выдать бесценные древние свитки и манускрипты, а также печатные книги, стоившие больших денег, обратились к архиепи-

¹ Опубликовано в журналах: *Лехаим*. М., 2002. № 8; *Nota Bene*. Иерусалим, 2004. № 6.

скопу Майнца Уриэль Гиммингену с жалобой. Именно архиепископу Майнца, имперскому канцлеру, надлежало опекать евреев Священной Римской империи германской нации, заниматься их жалобами. Уриэль Гимминген был человеком просвещённым. Ещё в бытность свою деканом-настоятелем собора в Вормсе он подружился с тамошним епископом Иоганном фон Дальбергом, которого называли немецким Лоренцо Медичи. Оба были истинными людьми Возрождения, заря которого занялась намного раньше в Италии, оба поддерживали гуманистов. Гимминген доверял иудеям, судя по тому, что лечил его немолодой еврей доктор Липпман. Он-то и представил своему господину ходатая по делу франкфуртских евреев Йосельмана из Росхайма, который поведал архиепископу обо всём, что творил с еврейскими книгами недоучка Пфедферкорн. Однако недоучка вооружен императорским мандатом, потому даже человеку с таким положением, как Гимминген, следует действовать осмотрительно. Он не станет просить императора аннулировать мандат, он только попросит привлечь в качестве эксперта самого сведущего в гебраистике немца — имперского советника Ройхлина.

Доктор Иоганн Ройхлин — известный правовед (он был имперским судьёй Швабской лиги), но прежде всего выдающийся филолог и теолог, получивший блестящее образование в Париже и Базеле. Он — гебраист высокого класса, самый значительный авторитет в этой области. В те времена даже древнегреческий язык изучали лишь немногие, а обращение к древнееврейскому было чем-то из ряда вон выходящим. Пример Ройхлина едва ли ни уникален для Германии.

Архиепископ Майнца воззвал к императору, отметив недостаточную подготовленность Пфедферкорна как эксперта. Последовал высочайший указ об учреждении комиссии, которая должна была решить судьбу еврейских книг. В комиссию вошли богословы Майнцкого, Кёльнского, Эрфуртского и Гейдельбергского университетов. Иоганн Ройхлин был профессором в Гейдельберге.

Рабби Йосельману удалось встретиться с Ройхлином и заручиться его согласием выступить в этом споре экспертом прежде, чем к нему явился Пфедферкорн. Вот что услышал рабби в ответ: «Я не друг евреев, но я друг ваших писаний, поклонник замечательного кабалистического учения, но выше всего я почитаю божественный язык, именуемый ивритом (*Hebräisch*). Язык евреев прост, чист, свят, краток и прям. Им говорил Бог с Моисеем с глазу на глаз; на нём говорил Бог с пророками без посредников; на нём беседуют со смертными ангелы».

Йосельман покидал дом Ройхлина успокоенным: если император назначит этого мудрого учёного экспертом, священные книги евреев будут спасены. Он не ошибся в своих ожиданиях. Ройхлин категорически восстал против сожжения еврейских книг. Автор грамматики и словаря древнееврейского языка, он энергично защищал почитаемые им писания, указывал на значение еврейских книг для развития человеческой мысли и самого христианства, ссылаясь на то, что даже языческие авторы не уничтожаются, их книги переводятся и изучаются. Его отзыв содержал и такое положе-

ние: «Иудаизм как религия не представляет никакой опасности или угрозы христианству. То, что они не признают Христа, так это их вера, и никто не вправе поносить их за это».

Пфефферкорн обрушился на него в памфлете «Ручное зеркало» (1511), обвинил в невежестве и договорился до того, что ученый муж якобы подкуплен евреями. Против Ройхлина, «этого старого грешника и поклонника этих лживых евреев», активно выступали магистры теологии Кёльнского университета Арнольд Торнгский, Ортуин Граций и инквизитор города Кёльна Якоб фон Хохстраатен. Ройхлин ответил на их нападки резкой брошюрой «Зеркало глаз» (1511), в которой перечислил более тридцати ошибочных или заведомо ложных суждений, а то и просто подтасовок своих оппонентов. Кёльнские церковники приговорили её к сожжению. Он отвечает обскурантам новой брошюрой «Защита против кёльнских клеветников» (1513), где называет их не только архиклеветниками, но и фальсификаторами. Ройхлина потребовали к суду как еретика.

Известие о предстоящем суде над Ройхлином взволновало гуманистов Европы. Многочисленные сочувственные письма, полученные от культурных и государственных деятелей, мыслящих по-новому, Ройхлин напечатал в виде сборника «Письма знаменитых людей» (1514). А следом появилась настоящая боевая сатира против кёльнских схоластов и обскурантов — «Письма тёмных людей». Они были написаны в виде пародии: Ройхлину адресовались известные интеллектуалы, а Ортуину Грацию якобы писали «тёмные» (*obscuri viri*), т.е. неизвестные и невежественные авторы. В сатире использовался прием саморазоблачения, а главным предметом критики стала алчность и продажность католического духовенства, его бытовое разложение. «Письма тёмных людей» вышли в двух частях анонимно. Предполагается, что первая книга (1515) была написана Кротом Рубеаном, магистром из Эрфурта, ставшим впоследствии каноником в Галле, а вторая (1517) — его учеником, молодым гуманистом, известным поэтом-рыцарем Ульрихом фон Гуттенем.

Память об этих схватках ещё была жива во времена Гейне, и он не мог не откликнуться на события более чем трёхсотлетней давности. В поэме «Германия. Зимняя сказка» он «прошёлся» по кёльнским обскурантам:

Сетями гнусными святош
Когда-то был Кельн опутан.
Здесь было царство тёмных людей,
Которых высмеял Гуттен.

Здесь церковь отплясывала канкан,
Свиrepствуя беспредельно,
Доносы подлые строчил
Хохстраатен, Менцель Кельна.

Здесь книги сжигали, сжигали людей,
Губили их творенья
Под дикий звон колоколов,
Псалмы и песнопенья.

(Перевод В.Левика)

В защиту Ройхлина выступил и Эразм Роттердамский, уроженец Нидерландов, преподававший в ту пору в Базеле и тесно связанный с культурным миром Германии. К тому времени уже увидела свет его знаменитая сатира «Похвала глупости» (1511). Вся образованная Европа внимала ему с почтением. Но и противников у Ройхлина было много, в том числе и богословы факультетов в Левене, Кёльне, Майнце, Эрфурте и Париже. Однако на стороне Ройхлина оказались архиепископ Майнца, император и даже сам Папа. Еврейские книги были спасены.

В диспут о еврейских книгах оказались втянутыми все образованные люди Европы. «Теперь весь мир разделился на две партии — одни за глупцов, другие за Ройхлина», — писал немецкий гуманист Муциан Руф. Не напоминает ли это тебе, мой читатель, ситуацию, более близкую нам по времени? Разумеется, конец XIX века, дело Дрейфуса... Оно тоже поделило Францию и Европу на два лагеря. И опять еврей подал повод к противостоянию. Вот уж правда, не дают евреи другим народам застояться!

Всеобщая дискуссия, начавшаяся в Кёльне в 1507 году, продолжалась десять лет. Дело разбиралось Латеранским собором в 1516 году и решено было в пользу Ройхлина. Хотя спор вёлся вокруг еврейских книг, это не был спор антисемитов и филосемитов. Это был спор внутри католической церкви, можно сказать, перефразируя Пушкина, «домашний, старый спор», «семейная вражда», кончившаяся в XVI веке расколом, отпадением протестантизма. Во время спора о еврейских книгах остро встал вопрос о свободе мнений и свободе исследований, а это уже предвещало всякие реформы. В этом смысле роль Ройхлина невозможно переоценить, тем более что он практически выиграл дело. После победы Ройхлина Лютер смог начать Реформацию. Лютер, который в 1507 году только был посвящен в сан священника, а в 1512 году уже стал доктором теологии в Виттенбергском университете, понимал значение этой победы, хотя сам к круту гуманистов не примыкал.

Казалось, можно ставить точку. Однако нечто важное осталось недоговоренным. Почему судьба священных еврейских книг вызвала такой жаростный спор в Германии? Позиция гуманиста Ройхлина понятна: в нем говорил учёный-гебраист. Все эти годы он не только полемизировал с Пфедеркорном и иже с ним, но продолжал свои изыскания. Его «*Rudimenta Hebraica*» (1506) служила ключом к пониманию Библии. Кто хочет основательно постичь основы христианского вероучения, просто обязан, по его мнению, знать древнееврейский. Не случайно Лютер не расставался с книгой Ройхлина, когда он работал над переводом Библии. Но Ройхлина влекла не только Библия. Он был знатоком и приверженцем Кабалы. Познакомившись в Италии, куда он попал в 1485 году, сопровождая князя Эберхарда Вюртембергского (не забывайте, Италия — родина гуманизма!), с графом Пико дела Мирандола (который, будучи моложе его на семь лет, слыл настоящим полиглотом, блестящим эрудитом, искателем новых путей в философии и теологии), Ройхлин через него приобщился к еврейской кабалистике.

Во Флоренции при покровительстве правителя Лоренцо Медичи, или Лоренцо Великолепного, расцвела Платоновская академия — воль-

ное общество, нечто среднее между поэтическим клубом, научным семинаром и религиозной сектой. Платона здесь почитали наряду с Христом. Члены академии, среди них Пико, стремились к более чистой, внутренней религии как всеобщей основе человечества, что предвдвряет некоторые аспекты Реформации. Пико до бесконечности расширял горизонты философии и религии. Он почитал священные книги евреев. А в Кабале он «находил не только учение о числах, магию и астрологию, но и доказательство христианского вероучения, включая учение о триничности божества, о боговоплощении и о самом Христе» (А.Лосев). Пико отмечал сходство многих идей неоплатоников и Кабалы. На Пико дела Мирандола станет ссылаться эксперт Ройхлин в своём ответе императору, когда решалась судьба еврейских книг на Рейне.

Пико познакомил Ройхлина с тремя важнейшими книгами: Йецир, Зогар и Бахир. Немецкий гебраист погружается в их изучение. В 1498 году он вновь едет в Рим, где старается каждую свободную минуту посвятить изучению древнееврейского языка и литературы. Его учителем был известный толкователь Пятикнижия рабби Овадий Сфорно, и платил он ему за урок золотой гульден, баснословные деньги по тем временам.

В 1517 году, спустя двадцать лет, Ройхлин выпускает труд «Искусство кабалистики», который посвящает папе Льву X, желая склонить его на свою сторону. Ройхлин способствовал распространению кабалистики, справедливо усматривая её близость мистическим учениям, развившимся в эту пору в Германии. Он полагал, что христианство найдёт в кабалистике надёжного союзника. Ройхлин первым ввел изучение древнееврейского языка в университете. Но поддержавшие его гуманисты специально не занимались гебраистикой. Чем руководствовались они? Почему судьба еврейских книг была им безразлична? И что двигало их противниками — вышеназванными церковниками и стоящими за ними прелатами Ватикана, только ли примитивный антисемитизм? Вот и подошли мы к сути дела.

Всем известно, что Библию немцам дал Лютер (время работы над переводом 1522–1534 гг.), при этом он дал своему народу и немецкий язык. Неужели до Лютера никто не пытался перевести Ветхий и Новый Завет на немецкий? В курсе лекций по литературе эпохи Возрождения моего учителя, профессора Б.И.Пуришева, изданного после его смерти, в 1996 году, нахожу нужные сведения: между 1466-м и 1518 годом вышло 14 переводов Библии на верхненемецкий язык, с 1480-го по 1522 год — 4 издания на нижненемецком. Итак, переводили и до Лютера. А задумывались ли вы, с какого языка переводил Лютер Библию? Все его предшественники пользовались Вульгатой, переводом Нового Завета на латинский, выполненным св. Иеронимом, переводом, который считался в церковных кругах непогрешимым. Ветхий Завет существовал в переводе на греческий, он был выполнен в III–II вв. до н.э., это знаменитая Септуагинта. Первым нарушил традицию Эразм Роттердамский, который в 1517 году предпринял издание греческого текста Евангелия с его новым латинским переводом, указав в комментариях на многочисленные ошибки и произвольные добавления в Вульгате. Филологическая критика «священной книги» подрывала доверие к её многовековому официальному толкованию.

Лютер пошёл дальше: он обратился к древнееврейскому оригиналу (в Италии был издан Ветхий Завет на языке оригинала), но сверялся также с греческими и латинскими переводами. Его познания в древнееврейском были не очень глубоки, а потому в работе ему помогал его друг, ученик и сподвижник Филипп Меланхтон, любимый племянник Ройхлина, воспитывавшийся в доме основателя немецкой габраистики. Этого подвоха Рим Лютеру не простил.

Не прощали ему, видимо, этого, но совершенно по иной причине, и ревнители советской идеологии. Даже в прекрасном учебнике М.П.Алексева и В.М.Жирмунского по литературе западноевропейского Средневековья и Возрождения, изданном в 1947 году и четырежды переиздававшемся (последний раз в 1987), сведений о том, с какого языка переводил Лютер Библию, вы не найдёте. Не потому что авторы этого не знали, просто само слово «еврей» стало в Советском Союзе табуированным. Дм. Мережковский, писавший свою книгу о Лютере в 1937–39 годах во Франции, также не упоминает о древнееврейском источнике лютеровской Библии, поскольку с победой нацистов подобные упоминания оказались и там неуместными и даже опасными.

Вопрос, который может кому-то показаться частным, с какого языка переводил Библию Лютер, был, тем не менее, принципиальным. Потому-то с такой страстью нападали на Ройхлина сторонники сожжения еврейских книг. Ведь одновременно с их уничтожением было бы покончено с еврейским языком, а затем, глядишь, стало бы возможно «решение еврейского вопроса». Ведь само существование «божьего народа», хранящего уже столько веков свою святую, являлось своего рода вызовом Церкви св. Петра, глава которой, объявленный наместником Бога на земле, не имел никакой власти над этими жестковейшими иудеями.

Взглянем на существо дела глазами Генриха Гейне, для чего откроем его известный очерк «К истории религии и философии в Германии» (1834): «Знание еврейского языка было совершенно утрачено в христианском мире. Только евреи, втихомолку гнездившиеся там и сям в уголках этого мира, сохранили ещё знание этого языка. Подобно призраку, охраняющему доверенное ему некогда при жизни сокровище, этот умерщвляемый народ, этот народ-призрак сидел по своим мрачным гетто и хранил там еврейскую Библию; и в эти проклятые трущобы тайком спускались немецкие ученые, чтобы извлечь сокровище, чтобы овладеть знанием еврейского языка. (Таким ученым был и доктор Ройхлин. — Г.И.) Когда католическое духовенство почуяло, что ему с этой стороны грозит опасность, что этим окольным путём народ может добраться до истинного слова Божьего и разоблачить подлоги Рима, — то оно оказалось не прочь вытравить всё еврейское наследие; предложено было уничтожить все еврейские книги, и на Рейне началась преследование книг».

Таким образом, уже на заре эпохи Возрождения в Германии пересеклись судьбы еврейства и германского народа. Благодаря еврейской Книге стала возможна лютерова Библия. Спасение же еврейских книг, которым мы обязаны бесстрашному немцу Иоганну Ройхлину, означало сохранение

еврейского языка, языка Книги. Лютер и Реформация, в свою очередь, дали Книге новую жизнь. Генрих Гейне указывает на заслуги протестантизма в деле «открытия» и распространения Библии, и с ним нельзя не согласиться.

Меланхтон (имя которого носит ныне теологическая академия Кёльна), сподвижник великого реформатора, что не помешало ему осудить крайности позднего Лютера и «изменить» учителю с Эразмом Роттердамским, унаследовал от своего дяди и воспитателя Ройхлина приверженность Кабале. Последователем Ройхлина был Хайнрих Корнелиус Агриппа фон Неттесхайм из Кёльна, автор сочинения «О тайной философии», которое он посвятил памяти создателя «христианской Кабалы», Ройхлина. Влияние кабалистики испытал на себе и великий мистик XVII столетия Якоб Бёме, которого Гегель назвал первым немецким философом. Таким образом, еврейская мудрость явилась одним из источников немецкой философии, в том числе и религиозной.

ПРАВООЗАЩИТНИК РАББИ ЙОСЕЛЬМАН ИЗ РОСХАЙМА¹

Время на сломе веков, порубежье, обычно чревато всякого рода потрясениями. Период, на который пришёлся «спор о еврейских книгах», — не исключение. Для евреев наступили лихие времена. Судите сами. Вот документ, сохранившийся в архиве эльзасского города Кольмар (ныне во Франции), подписанный императором Максимилианом 25 апреля 1510 года, и в нём значится следующее: «Предупреждаем всех евреев и евреек, проживающих ныне в Кольмаре, что настоящим мы разрешаем любезному нам бургомистру изгнать всех евреев, которые до сих пор проживали здесь, в самый короткий срок и не разрешаем им когда-либо вернуться. Ежели когда-либо вам доведётся посетить Кольмар по торговым делам, ваша верхняя одежда должна быть помечена жёлтым кругом, а тот, кто не подчинится приказу, понесёт наказание». Обычно маркграфы и бургомистры не соглашались с императором своих действий по отношению к презренным иудеям, судьба этих париев была полностью в их власти. Курфюрст Бранденбурга Иоахим I из рода Гогенцоллернов сжег на рыночной площади Берлина 38 евреев, а остальных изгнал из своих владений. Случилось это в то самое время, когда евреи Кольмара с детьми, стариками и нехитрым скарбом тащились по просёлочным дорогам в поисках пристанища. Медленно движется колесо истории по германской земле, приближаясь к 1933 году. Проходят столетия, а отношение к евреям мало меняется...

А ведь было время — период раннего Средневековья — относительно благополучное для евреев. Карл Великий и его преемники, как и первые саксонские короли, благоволили к ним. При Каролингах (X–XI вв.) возникли крупные еврейские поселения в «епископских» городах Меце, Трире, Кёльне, Вормсе, Майнце, Шпаере, Регенсбурге, Магдебурге и Мерзебурге со своим общинным самоуправлением. К епископам, своим непосредственным хозяевам (епископы в то время совмещали религиозную и светскую власть, а нередко были и военачальниками), и к императорам евреи относились с признательностью. Враждебность проявляли народные низы, возбуждаемые чаще всего низшим духовенством, в то время как князья, епископы, короли, императоры и папы обычно покровительствовали и защищали евреев, поскольку нуждались в них.

Грамота Генриха IV о привилегиях евреям Шпаера составила основу средневекового европейского законодательства о евреях. Однако все эти

¹ Напечатано в журналах: *Лехаим*. Москва, 2002. № 10; *Nota Bene*. Иерусалим, 2004, № 6.

грамоты не смогли оградить их от бесчинств крестоносцев, которые до завоевания Гроба Господня не прочь были истребить неверных в Европе. «Как испуганное стадо овец, ожидая нападения хищника, сбивается в кучу, так и еврейство, видя себя среди врагов и ежедневно опасаясь взрыва народных страстей, всё более отдалялось от враждебной среды и замыкалось в сфере своих национальных интересов», — так объясняет ситуацию видный историк Дубнов. Евреи стали искать защиты у императоров за соответствующее вознаграждение. То, что давалось остальным гражданам по закону, евреи получали в виде «привилегии» (своего рода охранной грамоты) императора.

Последние Гогенштауфены, Генрих VI и Фридрих II, и впрямь защищали евреев, но в период «междоусарствия» (середина XIII в.) начались погромы и гонения, повторялись обвинения в ритуальных убийствах. В XIV веке положение не изменилось к лучшему. «Чёрная смерть», чума, виновниками которой были объявлены евреи, вызвала неслыханные зверства. Но если в этом «чумном» веке травля исходила снизу, то уже в XV веке её организовывали власть предержащие. Евреи были изгнаны из Кёльна, Аугсбурга, Саксонии, Баварии, Бранденбурга, Бамберга, Шпаера, Майнца, Ульма, Бреслава. Всё это были крупные центры еврейской жизни. Но всех превзошли размахом гонений «католические» короли Испании, Фердинанд и Изабелла, ополчившиеся против евреев в 1492 году. (Это был год открытия Америки Колумбом, который, по всей вероятности, был, как и Сервантес, из маранов, т.е. крещёных евреев). И в XVI веке в Германии евреев убивают, но чаще изгоняют из многих городов. Императорские эдикты об изгнании появились и в Нюрнберге, и в Вюртемберге, и в Регенсбурге...

Это довольно-таки длинное историческое отступление понадобилось, чтобы показать, в какое время и при каких обстоятельствах Йосельман из Росхайма принял на себя нелёгкое бремя быть ходатаем перед властями по делам гонимых и преследуемых евреев, быть их защитником, а то и спасителем. Да и нам, шагнувшим в XXI, век полезно знать, как непросто складывалась жизнь евреев в Германии в далёкие от нас времена. Ох уж эти уроки истории...

Наречённый именем Иосифа, Йосель бен Гершон Лоанц стал как бы духовным наследником своего библейского тезки. Служение еврейству Йосельман начал с участия в «споре о еврейских книгах». В эту пору ему было тридцать, и занимался он финансовой деятельностью, имея активную помощницу в лице жены, которой чем дальше, тем больше приходилось заниматься делами мужа, поскольку общественное служение поглощало все его силы и время. Рабби Йосельман принадлежал к семье известных талмудистов и кабалистов, из недр которой (по материнской линии) вышел когда-то Раши, великий комментатор Торы и Талмуда. Отец Йосельмана поселился в Эльзасе, и его первенец родился в Росхайме. Их родственник был личным врачом императора Фридриха III, ему доверял и Максимилиан I. Очевидно, это облегчило рабби доступ ко двору.

Рабби Йосельман оказался по своим делам в имперском городе Франкфурте как раз в тот момент, когда прозелит Пфэфферкорн начал там

своё чёрное дело: стал реквизиловать еврейские свитки и книги. Евреи Франкфурта растерялись, не зная, как быть: то ли попытаться откупиться от злодея (тот потребовал неслыханную сумму — 100 тысяч талеров), то ли обратиться с жалобой к императору в Зальцбург. Это ныне на экспрессе «Йоганн Штраус» от Франкфурта до австрийского Зальцбурга рукой подать. А тогда путь был не близкий. Пока доберётся ходатай до места, пока добьётся приёма (а может и не добиться), глядишь — книги окажутся в кофре. И тут рабби Йосельман подаёт соплеменникам спасительную идею — обратиться к архиепископу Майнца, тем более что Пфедферкорн в своём рвении уже добрался до его владений, реквизиловал еврейские книги в местечке Визенау. Это хороший предлог осадить ретивого наглеца. Задача состояла ещё и в том, чтобы опередить противника и предстать пред архиепископом до того, как Пфедферкорн успеет оболгать евреев в его глазах.

Удача сопутствовала Йосельману. Его визиты к архиепископу Майнца и к известному гебраисту Ройхлину, включённому в экспретную комиссию императора по решению вопроса о еврейских книгах, прошли успешно. Добровольный ходатай по делам евреев радовался, узнав, что Ройхлин не обманул его ожиданий. И в самом деле, отзыв Ройхлина был написан со страстью. Учёный защищал книги, говоря о том, что преступно лишать евреев их достояния, что из этих древних книг черпали на протяжении веков свою мудрость христианские теологи. В дневнике рабби Йосельман запишет (дневник сохранился!), что стал свидетелем настоящего чуда: нееврей отстаивал еврейские книги, и притом столь вдохновенно и убедительно!

Но, кроме Ройхлина, высказались ещё семеро. Неважно, что они повторяли лживые измышления Пфедферкорна, неважно, что они были невежами в гебраистике. Их было семеро! К тому же на их стороне оказалась любимая сестра императора Кунигунда Баварская. И рабби Йосельман собирается в путь-дорогу, он решает ехать в Зальцбург добиваться аудиенции у императора.

Император Максимилиан I почитался одним из величайших правителей из дома Габсбургов. Он был настоящим рыцарем, своевольным, амбициозным, склонным к рискованным приключениям и фантастическим прожектам. Были свидетели, что в Мюнхене он вошел в клетку ко льву и беспрепятственно открыл ему пасть, а в Ульме забрался на самую высокую башню собора и балансировал на железной перекладине, стоя на одной ноге. При этом сн был человеком живого ума и огромного честолюбия. Он никогда не забывал о своей главной миссии римского императора германской нации. Он мечтал о лаврах Цезаря, хотел быть достойным потомком Карла Великого. Он жаждал выкинуть турок из Европы и под своей эгидой восстановить старую Византийскую империю. Он первым заключил союз с Россией, рассчитывая на её мощь в своих далеко идущих планах. В своих мечтах он видел себя Папой римским. Письмо своей единственной дочери Маргарет, регентше Нидерландов, от 18.09.1511 года он подписывает: «Твой отец Максимилиан, будущий Папа». Стань он Папой, Максимилиан реформировал бы церковь. Идеи коренной, радикальной Реформации носились в воздухе, и он не был глух к ним. Вот каков был человек, перед которым предстал рабби Йосельман, ибо он сумел добиться аудиенции.

Выслушав еврея, его императорское величество повелел канцлеру огласить результаты «экспертизы». Увы! Большинство высказалось за сожжение книг, а воле большинства надлежит подчиняться. И тут Йосельман испросил разрешения рассказать одну историю. Это была притча о короле, сын которого очень опасно заболел. Король собрал сотню старейших и уважаемых людей города, среди которых были купцы, законники, художники, ремесленники и один-единственный доктор. Девяносто девять из собравшихся сочли нужным пустить кровь больному, лишь доктор посоветовал довериться природе, которая поможет больному организму исцелиться. Король не принял сторону большинства, а последовал совету того, кто остался в одиночестве, но это был совет специалиста. И королевский сын выздоровел.

Рассказав эту притчу, ходатай продолжил:

— Имперский советник Иоганн Ройхлин, единственный человек во всей Германии, кроме евреев, сведущ в иврите. Лишь его мнение заслуживает доверия.

— А мнение Ройхлина сводится к тому, — подхватывает канцлер, — что отцы Церкви многое почерпнули из еврейских книг при толковании Священного Писания. Глупцы полагают, что сейчас еврейские книги без надобности, поскольку всю премудрость из них уже якобы извлекли. Тот, кто заявляет, что прекрасно обойдётся и так, напоминает человека, который готов обойтись летним нарядом зимой лишь потому, что у него попросту нет тёплой одежды.

— Прекрасно! Узнаю своего храброго умницу Ройхлина! — воскликнул после этих слов император.

Прежде чем отпустить просителя, император пожелал узнать, действительно ли Талмуд содержит такие ужасные вещи, о которых твердят доминиканцы и Пфэфферкорн. Его интересовало, как Талмуд толкует вечное спасение, только ли евреи его достигнут или?..

Ответ о том, что по Талмуду, вечное спасение ждёт всех добродетельных людей, кто верует в единого Бога, творит добро и не делает зла своим собратьям, обескуражил, но и удовлетворил императора:

— Клянусь Богом, наша церковь утверждает то же самое! Как подумаешь, что большинство ждёт впереди вечное проклятие...

Последний вопрос к Йосельману прозвучал еретически:

— Скажи мне, почему маги и чародеи имеют власть над злыми духами, в то время как честный человек не может ничего добиться от ангелов?

Йосельман напомнил императору о том, что тот ведь был однажды спасён ангелом от смерти на скалистом уступе в Тироле. Максимилиан рассмехался и ответил, что спас его не ангел, а охотник, которому он за то пожаловал дворянство.

— Ваше величество, у евреев ангела называют *малах*, или посланец. Это была милость Божия — послать охотника, чтобы спасти вас, так что охотник был ангелом Бога, посланником божественного провидения.

Мысль о том, что на нём почиет милость Божия, произвела впечатление на императора, но ещё более поразило то, что этот пришлый еврей так просто и ясно объяснил случившееся и говорил так уверенно, будто ему была введома воля Божия.

— Не будь он евреем, сделал бы я его канцлером, — пробормотал Максимилиан и распорядился подготовить указ о возвращении священных книг евреям. На следующий день вместе с указом Йосельман получил мандат, удостоверявший, что он назначается попечителем и руководителем всего немецкого еврейства (*Befehlshaber und Regierer der Juden*, как сказано в документе).

Облечённый властью Йосельман попытался создать сплоченную организацию германских евреев. Он разделил их на десять групп, согласно десяти округам империи. Руководство организации находилось во Франкфурте. Дважды в год округа должны были посылать во Франкфурт своих представителей для обсуждения общих дел. В 1530 году рабби Йосельман представит рейхстагу в Аугсбурге свои «Уложение и правила», регулирующие жизнь евреев Германии, но это время — впереди.

Сокрушительное поражение разъярило не только Пфедферкорна, но и тех, кто стоял за ним, — кельнских доминиканцев. Они обрушились на Ройхлина как на спасителя Талмуда. Вот тогда и появился их памфлет «Ручное зеркало», ответ на него Ройхлина, а затем подоспели и «Письма». Ройхлин отважно сражался с обскурантами. Но и рабби Йосельман не сидел сложа руки. Книги были возвращены, но вместе с императорским мандатом он принял на себя бремя ответственности за свой народ. В его помощи и защите нуждались многие евреи. Вступаясь за них, он наживал могущественных врагов. К тому же цупальца Пфедферкорна тянулись не только к Ройхлину, но и к нему.

Бургомистр Оберенхайма Якоб Брант, затаивший злобу на Йосельмана из-за его успешного заступничества за незаконно брошенных в темницу евреев, а фактически за вмешательство в его епархию, охотно пошёл на союз с Пфедферкорном и, арестовав рабби Йосельмана, посадил его на хлеб и воду, лишив воздуха и света. В ту пору не только князья и маркграфы, но и бургомистры вели себя достаточно вольно и независимо. Якоб Брант повёл себя так, будто императорский мандат ему не указ. А между тем слух об аресте рабби Йосельмана ширился и не достиг слуха императора лишь потому, что двор в ту пору не находился в каком-то постоянном месте, а то и дело переезжал, и лишь немногие знали, где находится Максимилиан в данный момент. Двоюродный брат бургомистра, прославленный автор «Корабля Дураков» Себастьян Брант, поспешил из Страсбурга в Оберенхайм, чтобы предостеречь родственника, перегнувшего палку. Рабби Йосельман был освобождён, а Пфедферкорн вернулся в Кельн ни с чем.

Но в январе 1514 года внезапно умирает сорокапятилетний архиепископ Майнца, и евреи лишаются друга и заступника. Претендентов на вакантное место было немало, но далеко не все способны были выполнить два условия: выплатить Риму из своего кармана 20 000 золотых гульденов и изгнать евреев из Майнца и всех соседних земель (это требование было выдвинуто доминиканцами Кельна). В марте 1514 года архиепископом стал молодой маркграф Альберт Бранденбургский из рода Гогенцоллернов. Братья Гогенцоллерны были верными сынами Церкви: один из них был деканом Бамберга, другой — каноником Вюрцбурга, да и сам Альберт, несмотря на молодость, уже был архиепископом Магдебурга.

Вступив в должность, архиепископ Альберт должен выполнить взятые на себя обязательства. Не испытывая ненависти или личной неприязни к евреям, он тем не менее рассылает письма соседям, призывая их начать повсеместное изгнание. Уже в январе 1516 года во Франкфурте-на-Майне собрался съезд князей, где было принято решение о выселке. Лишь Фулда и Хессе-Хану, к их чести, отказались изгонять своих евреев, даром что в Фулде в XIII веке состоялся первый в Германии процесс по обвинению евреев в использовании христианской крови в ритуальных целях. Чтобы компенсировать утрату денег (изгнанные евреи ведь не станут платить налоги, которые существенно подпитывали папскую казну), было решено активизировать торговлю индulgенциями, которой занимались доминиканцы.

Вот тут-то не стерпел Лютер и прибил на двери собора в Виттенберге свои знаменитые Тезисы, положившие начало Реформации. На дворе стоял октябрь 1517 года. К этому времени «спор о еврейских книгах» закончился. Усилия немецкого гуманиста Иоганна Ройхлина, рабби Йосельмана из Росхайма и иже с ними увенчались победой. Можно и точку поставить. Дальше начинается Реформация, породившая Крестьянскую войну. Для евреев это было трудное время. Не успели они порадоваться тому, что удалось отбить у врагов священные книги, как само их существование в Германии оказалось под угрозой.

Что же рабби Йосельман? Его миссия не закончилась. Мы коснёмся лишь самых важных его деяний. Он понимал, что жаловаться императору бесполезно: хотя Максимилиан и изменил своё отношение к евреям, он не станет ради них ссориться с князьями, тем более сейчас, когда он постарел и более всего озабочен, в чьи руки попадёт его империя. Он хотел бы передать корону внуку Карлу, недавно унаследовавшему испанский престол, однако необходимо одобрение князей. Пожалованный званием «имперского ходатая по делам евреев», Йосельман знает: есть лишь один выход — ехать в Майнц. И вновь Йосельман в пути. На этот раз Пфёфферкорн успел его опередить, но это не помогло интригану. Он вручил новому архиепископу свой очередной памфлет «Позорное зеркало», где вновь атаковал Ройхлина и евреев. Он требовал максимально унижить последних: не убивать, но отнять всё имущество и заставить выполнять самые грязные работы — чистить улицы и отхожие места, детей их следует у родителей забрать и насильственно крестить. Прочитав памфлет, архиепископ сжёг его в огоне камина и передал Пфёфферкорну свой приказ: немедленно покинуть город и его владения, в противном случае автора постигнет судьба его клеветнического сочинения.

Йосельману стало известно, чем закончилась аудиенция его врага, и в сердце его затеплился огонёк надежды. Однако его слёзные просьбы снизить к несчастным евреям, не лишать их убежища, не превращать достойных благочестивых людей в нищих бродяг, не поколебали решения князя Церкви, поскольку он был связан словом: принимая свой сан, он обязался выполнить два условия, одно из них — изгнание евреев. Проницательный Йосельман понял, что ответ властителя не уловка, к тому же он не почувствовал ненависти к евреям в душе молодого архиепископа. А потому он решил рассказать о том, как принимал его император, как обещал он своё покровительство евреям. Эти слова заставили Альберта задуматься.

— Ты — умный человек, Йосельман, я вижу, дела твоих собратьев в надёжных руках. Поезжай к императору! Если Максимилиан запретит мне и моим соседям изгонять евреев, я повинюсь ему. Пойми, мне нужен приказ, не рекомендации, не совет, только приказ императора может освободить меня от данного слова. Успеха тебе!

Бог не покинул рабби Йосельмана, и спустя десять дней он предстал пред светлые очи государя. Максимилиан вспомнил их беседу шестилетней давности. Император знал, что привело к нему этого еврея из Росхайма, который ничего не просил для себя, а только для своих единоверцев. Этот благородный душой и мудрый человек ему симпатичен, но сейчас не время поддаваться эмоциям, не время ссориться с князьями. Йосельман тоже понимал, о чём думает Максимилиан, что его заботит. И он, как бы отвечая на мысль, гложущую собеседника, рассказывает ему библейскую историю сыновей Исаака, близнецов Исава и Иакова. Хоть Исава считался первенцем, хоть отец предпочитал его Иакову, всемогущий Бог распорядился так, что благословение Авраама и отца своего Исаака получил Иаков. — Поэтому, — пояснил свою мысль рабби, — не от расположения князей, а лишь от воли всемогущего Бога зависит, будет ли корона германской империи возложена на голову вашего внука или нет.

Поскольку император хранил молчание, Йосельман продолжил: — ваше величество, я бы не обеспокоил вас, если бы архиепископ Майнца, милостиво выслушавший меня, не обещал прекратить изгнание евреев при условии, что он получит от вас соответствующий приказ.

Когда рабби Йосельман появился во Франкфурте с письмом-приказом за подписью императора, евреи города целовали ему руки. Помимо письма к архиепископу Майнца он получил ещё один документ. Это было письмо императора к внуку Карлу, королю Испании, в котором император Максимилиан подтверждал, что еврей Йосельман из Росхайма был назначен им попечителем и патроном евреев Германии, характеризовал его как человека умного, честного, благородного и благочестивого и просил внука, если он станет императором, утвердить это назначение и быть милостивым господином и защитником евреев в немецких землях.

Ещё в 1514 году император написал письмо о защите евреев, проживающих в Германии, но оно не получало огласки вплоть до 1518 года, потому известие о письме, которое привёз рабби Йосельман за подписью императора, наполнило сердца евреев ликованием. Однако радость была недолгой: в январе 1519 года Максимилиан умер, и в июне во Франкфурте князья избрали императором его внука Карла V.

Евреи не знали, чего им ждать от юного монарха. Он родился в Генте, его матерью была единственная дочь «католических» королей Испании, Фердинанда и Изабеллы, которые в 1492 году обрушились на евреев. Карл рано лишился отца, но и материнской ласки не знал. Воспитывал его учитель Адриан Флорент, будущий Папа Адриан VI, первый немец на папском престоле. Карлу было шестнадцать, когда умер его дед Фердинанд и он унаследовал испанскую корону. К этому времени он уже знал семь языков. Ему предстояло стать «католическим» королём.

После смерти короля Фердинанда и до прибытия Карла страной управлял в качестве регента Хименес, кардинал-архиепископ Толедо и великий инквизитор. Он был широко известен как преследователь маранов, крестившихся евреев, втайне державших веру предков. Великие инквизиторы ежегодно сжигали сотни людей. Евреи обратились с петицией к юному королю, обещая выплатить 800 000 дукатов, если прекратятся преследования, но он оставил её без внимания. Наоборот разрешил инквизиции начать свою «деятельность» в Нидерландах. Воодушевлённые доминиканцы отправили депутацию к новому императору, призывая следовать примеру его предков Фердинанда и Изабеллы — сжигать еретиков (они имели в виду прежде всего Мартина Лютера, чьи сочинения уже пылали перед Кёльнским собором) и изгнать евреев из Германии.

Не дожидаясь высочайшего повеления, власти Регенсбурга, еврейская община которого была одной из старейших и самых известных в Германии, отдали приказ об изгнании евреев. Несчастных погрузили в лодки, и они двинулись вниз по Дунаю. Судьба их была печальна. Лишь семейству Ауэрбах, пользовавшемуся покровительством короля Баварии, дозволено было остаться. Эта страшная новость наполнила еврейские сердца трепетом и отчаянием, зато Пфэфферкорн ликовал.

Что делать? Ехать в Испанию? Но там с 1499 года действует закон: еврей, осмелившийся ступить на испанскую землю, будет предан смерти. С риском для жизни Йосельман в сопровождении раввина Мозеса Коэна из Франкфурта, переодевшись в платье богатых немецких горожан, весной 1520 года появляются на улицах Мадрида. Они смогли добиться высочайшей аудиенции и вручили императору Карлу V письмо его покойного царственного деда. Император ответил, что намеревается прибыть в Германию в начале следующего года и обещает на месте во всём разобраться. Такой же ответ получили и доминиканцы, которые жаждали к прибытию императора очистить Германию от евреев. Их зловецкие планы будут реализованы спустя четыре столетия: при Гитлере Германия станет *judenfrei*.

На исходе 1520 года Карл V въехал в Аахен, где и был коронован. В январе 1521 года открылся всегерманский рейхстаг в Вормсе под председательством молодого императора. Сейчас его помнят потому, что туда в марте был приглашён Лютер, от которого требовали отречения от «еретических» идей. Он предстал перед собранием в апреле, его речи произвели огромное впечатление на императора и князей, особенно последние слова: «Нет, я не могу и не хочу отречься ни от чего, потому что небезопасно и нехорошо делать что-либо против совести. Вот здесь я стою; я не могу иначе. Мне нечего добавить. Бог да поможет мне! Аминь».

Рейхстаг осудил Лютера как еретика. Но Йосельман, присутствовавший на рейхстаге (ведь он был не простой еврей, а облечённый по воле двух императоров особыми полномочиями), внимал ему с некоторой надеждой. И действительно, этот монах-августинец, а затем доктор теологии и профессор Виттенбергского университета, сражавшийся с папистами-доминиканцами, поднимет голос в защиту евреев. Сразу после посещения Вормса он засядет за брошюру «Иисус Христос родился евреем». Он опуб-

ликует её в 1523 году. Лютер надеется привлечь евреев к своей вере, но убедившись в тщетности ожиданий, он спустя двадцать лет обрушится на них с яростью, превосходящей всё, что они претерпели ранее, станет их хулителем и гонителем. И Йосельману придётся защищать евреев от Лютера, но прежде ему надо защитить их от толп восставших во время кровавой вакхалии Крестьянской войны. Время это не за горами.

А пока что Йосельман получил новую грамоту, подтверждающую его полномочия, и присягнул императору в присутствии вице-канцлера Циглера и архиепископа Альберта Майнцкого. Император гарантировал спокойную жизнь евреям Оберенхайма, сместив губернатора-самодура Бранта. Здесь же в Вормсе во время сейма окончательно рухнула карьера интригана Пфедферкорна. Эти победы могли бы тешить самолюбие любого, кто столько претерпел, но рабби Йосельман был выше сведения счётов. Да и жизнь то и дело подбрасывала ему и его народу такие испытания, что проделки Пфедферкорна начинали казаться безделицей. Рабби Йосельман не отступал.

Среди множества его многотрудных деяний на благо немецких евреев участие в Аугсбургском рейхстаге 1530 года по своей значимости заслуживает особого разговора. Император Карл V после девятилетнего отсутствия явился в Германию как триумфатор: его короновал Папа как императора Священной Римской империи германской нации, в битве при Павии он победил французского короля Франциска I, принудил его заключить мир с Папой, он подавил волнения в Испании, его конквистадоры завоевали Перу и Мексику. Ныне перед ним стояли две главные задачи: определиться с лютеранством и готовиться к крестовому походу против турок, которые чувствуют себя хозяевами на Дунае и чуть ли не штурмуют Вену.

Между тем недруги евреев распространили клеветнические слухи в народе о сотрудничестве евреев с турками. Понимая всю опасность этого навета, рабби Йосельман отправился к императору в Инсбрук для объяснения. В его дневнике имеется скупая запись о том, что Карл V подтвердил все прежние привилегии евреев. А в мае 1530 появился эдикт, в котором говорилось, что все свободы и права, дарованные им евреям при короновании в Аахене, он подтверждает ныне как римский кайзер. Но этим дело не кончилось.

За три месяца до открытия рейхстага в Аугсбурге появилось антиеврейское по замыслу сочинение обращённого в католичество еврея Антония Маргариты, в котором он толковал и комментировал еврейские молитвы и обряды. Оно вызвало такой интерес, что через месяц вышло второе издание. Автор оказался врагом куда опаснее невежественного Пфедферкорна. Он происходил из семьи талмудистов, его отец был раввином Регенсбурга, и его познания в иудаике были основательны. Однако в своих трактовках Маргарита повторял христианских теологов, пользовался их оружием и, переводя на немецкий язык еврейские молитвы, стал доказывать, что евреи изо дня в день, поутру, ввечеру и в полдень молят своего Бога, чтобы он искоренил Священную Римскую империю германской нации, уничтожил христианских пастырей и императорский дом, чтобы «кровь христианская обагрила стены». Маргарита предлагал евреям опровергнуть его обвинения, вызывая их на спор.

Когда императору стало известно об этом сочинении, он решил, что спор поведёт имперский еврей Йосельман из Росхайма. В Испании до изгнания евреев публичные диспуты между еврейскими раввинами и пастырями церкви были делом привычным, но в Германии это было нечто новое. Йосельман попал в непростое положение. Он не получил философского образования, не был профессиональным раввином, тем не менее отступить было невозможно, и он принял вызов. Йосельман поставил условие: если он выиграет спор, его оппонент должен навсегда покинуть Аугсбург.

25 июня 1530 года в присутствии кайзера, множества князей и знати Йосельман убедительно и доказательно оспорил три положения своего оппонента: что евреи поносили Христа и христианство, что они искали и завлекали прозелитов (новообращённых христиан), побуждали их уничтожать правителей, которым они прежде служили.

Убедительная победа рабби Йосельмана письменно зафиксирована свидетелями: вице-канцлером Маттиасом Хельдом и доктором Брандтом, а также отмечена в записях аугсбургского магистрата. Косвенное тому доказательство — отъезд Маргариты в Майсен, а затем в Лейпциг. Главное же — Йосельману удалось провалить проект выселения евреев из Богемии и Венгрии.

С целью устранить упреки в адрес евреев в том, что они нечестно ведут дела, обманывая «простодушных немцев», Йосельман вызвал в Аугсбург еврейских представителей от округов и принял совместное постановление-регламент, состоящее из десяти пунктов, относительно принципов еврейской коммерческой морали. Это постановление было внесено в официальные документы рейхстага. Его копия до сих пор хранится в архивах Страсбурга. За десятью пунктами «Уложения» следовало заключение: «Я и мои единоверцы, уполномоченные евреями, обещаем и обязуемся исполнять эти правила, если только правители, князья и бургомистры будут делать со своей стороны всё возможное, чтобы мы жили спокойно в местах проживания, чтобы нам не грозили изгнанием и предоставили свободу переезда с места на место, беспрепятственную торговлю и не измышляли бы против нас обвинений в убийствах и пролитии крови. Ибо и мы люди, созданные всемогущим Богом, чтобы жить на земле рядом с вами».

В результате 12 августа 1530 года Карл на рейхстаге подтвердил привилегии, дарованные евреям столетием ранее императором Сигизмундом, которые гарантировали им личную неприкосновенность, свободу вероисповедания, занятие кредитными операциями и свободу передвижения. Если бы эти гарантии соблюдались! Жизненные реалии оказывались иными, и Йосельману приходилось метаться из Брабанта в Инсбрук, из Праги в Аугсбург, из Регенсбурга в Ансбах, где судьба еврейских общин каждый



Карикатура на Йосельмана

раз висела на волоске. Как пишет французский историк, выходец из России Лев Поляков в своём известном труде «История антисемитизма», «он виртуозно владел двумя основными аргументами, к которым с тех пор всегда прибегали его последователи: защитительные речи морального и богословского характера и умело раздаваемые дары».

Реформация и её последствия скорее негативно сказались на положении евреев Германии. Подчас трудно было предположить, откуда придёт беда. В 1534 году в Мюнстере захватила власть воинственная апокалиптическая секта. Восставшие продемонстрировали «близость» Ветхому Завету, потому тень их иступлённых бесчинств легла на евреев, что негативно повлияло на отношение к ним немцев.

В 1536 году Йосельман не знал, что позиции Лютера по отношению к евреям кардинально изменились. В своём ответном письме Лютер писал, что его сердце по-прежнему открыто евреям, но он всё больше в них разочаровывается, поскольку они упорствуют в своих заблуждениях и не хотят принять его учения. А в 1539 году он признал своё поражение: обратиться к евреям не удалось даже Иисусу Христу, не то что ему, Мартину Лютеру. В 1542 году Лютер публикует исполненный ярости и гнева памфлет «Против евреев и их лжи», а спустя несколько месяцев вовсе издевательский — «Шем Гамфораш». Несдержанный на язык Лютер здесь превзошёл самого себя в напаках на евреев.

«Поистине он сделал нашу жизнь крайне опасной», — записал рабби Йосельман в своём дневнике. Он был проникновенен, этот мудрый имперский еврей, но ему и в страшном сне не могло привидеться, чем обернутся антиеврейские писания Лютера в XX веке, как страшно они «аукнутся», какую зловещую роль сыграют в судьбе европейского еврейства при нацистском режиме.

Отпущенные ему годы рабби Йосельман истово служил своим единоверцам. Он не ждал ни от кого благодарности. Он жил в согласии со своей совестью и деятельной натурой. Людская память недолговечна: могила его затерялась. Но имя и дела этого народного заступника время сохранило и донесло до нас.

ПАРАДОКС ЛЮТЕРА¹

Имя Мартина Лютера вызывает в еврейской среде однозначную реакцию: «юдофоб!» Что тут возразить?! Заслужил он эту репутацию. Но очень немногие знают, что приверженцы Римской Церкви называли отца Реформации при жизни не иначе как «объевреившийся Лютер», а если не щадить чувств читателя и говорить без обиняков, то надо сказать, что звали они его *полжида*. Чем заслужил он такую «честь»? И как совместить несовместимое?

В XVI веке к традиционным обвинениям в адрес евреев Германии прибавилось ещё одно: они якобы повинны в начавшейся Реформации. Подозревать, будто протестантское движение развязали евреи, было абсурдом, но ведь обвиняли же евреев в использовании христианской крови в ритуальных целях, в осквернении христианских святынь, и даже в шпионаже в пользу турок. Это тоже были нелепицы, наветы, но им верили. Новое обвинение противоречило очевидным фактам: Реформацию в Германии осуществил Мартин Лютер, его сторонники и последователи из числа его единоверцев-христиан. Однако было нечто, что дало повод противникам Реформации негодовать и возводить поклёп на евреев. Речь идёт о еврейском «колорите» раннего протестантизма (особенно его левого крыла), о присутствии иудейского элемента в реформистском христианстве.

Несмотря на возраставшее напряжение в отношениях между евреями и христианами, каждое реформистское движение, будь то гуситы, лютеране или пуритане, анабаптисты (перекрещенцы) или субботники, сопровождалось стремлением к обновлению христианства в апостольском духе, возвращением к истокам христианства, к Ветхому Завету, а следовательно — к еврейским духовным ценностям. Ведь и Иисус (Иешуа), и Павел (Савл), создатель христианской Церкви, вышли из еврейского народа.

Надежды на духовное возрождение занимали умы на протяжении многих веков. XIII век прошёл в Италии, на родине Ренессанса, под девизом: *renovatio, reformatio* (обновление, изменение). Этот девиз увлёк Данте. Помните, как об этом у Блока?

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счёт,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поёт.

¹ Опубликовано под названием «Реформатор Мартин Лютер и евреи» в альманахе *Гамбургская мозаика*, 2002. Вып. 5 и в журнале *Вестник*. Балтимора, 2002. №№ 23, 24.

«*Vita nuova*» («Новая жизнь») Данте и впрямь развивает концепцию обновления мира, в основе которой христианская идея возрождения. Это новозаветное понятие второго рождения вырастает из представлений об обновлении, которыми изобилуют ветхозаветные *Псалмы* и *Книги Пророков*.

А что происходит в Германии в начале XVI века? Там зарождается и набирает силу движение за обновление церкви — Реформация. Очевидно стремление реформаторов поставить Библию в центр христианской жизни. Наблюдается демонстративный отказ от пышности католицизма, доходящий до иконоборчества. Ширится протест против сложной системы католической теологии. Налицо намерение устранить посредническую функцию священников, возврат к простоте раннего христианства. Заметен растущий интерес христианских theologов к древнееврейскому языку, попытки прочесть древние писания в оригинале (эта тенденция усилилась после «спора о еврейских книгах» и победы Ройхлина), предпочтение персонажей Ветхого Завета в качестве образцов для подражания. Всё это давало почву папистам обвинять Лютера в «иудаизации», как обвиняли они в том гуманистов и Ройхлина, Меланхтона и Сервета, родоначальника унитаристского движения, Кальвина и пуритан. По мнению папистов, лютеранство ведёт к кальвинизму, кальвинизм — к унитаризму, унитаризм — к адвентизму (т.е. к секте субботников), а от адвентизма до иудаизма — один шаг.

Но так ли велика была опасность «иудаизации», исходящая от отца Реформации? И как соединить неизвестные большинству из нас обвинения Римской Церкви против Лютера в иудаизации с его стойкой репутацией страшного юдофоба? Писания Лютера против евреев следует рассматривать не изолированно, а в совокупности с другими работами, где он позитивно пишет о евреях. Но ещё важнее включить еврейскую тему в общий разговор о личности, жизни, учении и деяниях Мартина Лютера. Только в таком контексте может быть понята амплитуда его высказываний по еврейскому вопросу.

Монах-повстанец

Мартин Лютер родился в 1483 году в маленьком городке Эйслебене в Мансфельдском графстве. Там он и умер в 1546 году. За время между его рождением и смертью ничто в городке не изменилось, жизнь здесь как бы текла вне времени. Это была немецкая глубинка, где ещё долго сохранялась средневековая атмосфера. Средневековым был и облик городка: старинные церкви, любовно сбережённые, бюргерские дома и амбары, строения с незаделанными балками — *фахверки*, круглые башенки под островерхими крышами, мощённые булыжниками маленькие площади, ратуша, соединившая в себе архитектурные стили готики и Ренессанса.

Дед Лютера был крестьянином, отец, бросив деревню, переселился в город в поисках лучшей доли. В Эйслебене в это время как раз начинали добычу меди, и сюда стекалось множество таких же, как семья Лютера, вчерашних крестьян. Пройдёт немало времени, пока Гансу Лютеру удастся из

крестьянина и горняка-чернорабочего перейти в сословие бюргеров. Детство Мартина прошло в жестокой бедности и крайней строгости, он рос в атмосфере страха и подавленности. И в родительском доме, и в школе, куда его отдали восьмилетним, он знал лишь побой и голод. «Дайте хлеба ради Бога!» — этот жалобный припев сопровождал его детство и отрочество. Мило-стыней жил юный Лютер поначалу и в Эйзенахе, где он учился в церковной школе, куда отец отослал его в тринадцать лет. Здесь улыбнулась ему судьба в образе умной, доброй и состоятельной Урсулы Котт, которая стала опекать отрока, угадав незаурядность его натуры... Благодаря ей смог он в семнадцать лет поступить в лучший тогда в Германии Эрфуртский университет, получить в 1502 году степень бакалавра, а через три года стать магистром философии.

Добрая слава о нём дошла до отца, который к этому времени поправил свои дела и даже стал высылать сыну пособие. Отец в мечтах видел его юристом, законником. Мартин подчинился его воле, но летом 1505 года неожиданно для всех стал послушником в монастыре августинцев, а через год, вопреки воле отца, принял постриг. Карьере законника он предпочёл веру. О своей жизни в монастыре он пишет: «Я изнурял себя постами, бдением, молитвой, кроме того, я среди зимы стоял и мёрз, стриженный, под жалким капюшоном... Я всегда думал: о, когда же, наконец, я стану праведным и завуюю милосердие Божье?.. И всё-таки ничего не добился». Внешняя жизнь его шла своим чередом, а внутренняя, по его собственному признанию, «была адом»: «Под наружной святостью в сердце моём было сомнение, страх и тайное желание ненавидеть Бога». «Обида охватывала меня всякий раз, как я видел Распятого». При этом он иступлённо любил Иисуса Христа, это была мужицкая, простосердечная и назойливая страсть. Вот первый парадокс Лютера. Он хотел общаться с Богом прямо, без посредников, даже если таким посредником будет сам Папа. Он и говорил со своим Богом «бесцеремонно», по выражению Ницше. Так станет ли он церемониться со смертными?!

Главный наместник Августинского братства Иоганн Штаупиц, ставший духовным отцом и другом Лютера, направляет его в Виттенбергский университет, где он получает первую, а затем вторую учёную степень уже не по философии, а по теологии. В 1510 году по делам ордена он был послан в Рим, куда шёл три недели как паломник с посохом и котомкой и явился чуть живой. В Риме он пробыл четыре недели, не переставая удивляться и негодовать на этот «вертеп негодяев», где царит древняя Волчица — алчность, где, по словам Данте, «каждый день продаётся Христос». На обратном пути он посетил Зальцбург, чтобы повидать Штаупица и поделиться римскими впечатлениями. Тот молча слушал его, а затем сказал: «Потерпи немного, сын мой. Не минует Божья кара этих злодеев. Сохранилось древнее пророчество, что всё это рухнет, когда монах Августинова братства восстанет на Рим». Ни старец, ни брат Мартин в этот момент ещё не подозревают, что время это не за горами, а повстанец-монах — тот и вовсе сидит за столом напротив наместника.

Осенью 1512 года Лютер получил степень доктора теологии в Виттенбергском университете, стал его профессором. Одновременно его делают

помощником настоятеля монастыря. Он читает лекции студентам и проповеди монастырской братии и прихожанам, делит время между чтением, сочинительством, проповедничеством и писанием писем. В 1515 году Лютера избрали викарием деканата, под его началом оказалось 11 монастырей Тюрингии и бурграфства Мейсен.

Во время «спора о еврейских книгах» Лютер был на стороне Ройхлина, осудив в 1514 году разнuzданные выпады в адрес учёного со стороны доминиканца Ортуина Грация. Когда Лютера будут в дальнейшем упрекать в «иудаизации», он станет сравнивать себя с Ройхлином, защитником еврейских книг. Однако современные евреи не находились в центре интересов Лютера, как, впрочем, и Ройхлина. Его представления о них — всецело в духе средневековой христианской традиции, т.е. книжные, основанные на Евангелии и трудах отцов Церкви.

Евреи для него — народ, отверженный Богом за то, что они не признали Его Сына и распяли его. Признаки Божьего гнева налицо: разрушение Храма, само рассеяние евреев и их тщетное ожидание прихода Мессии. В его глазах, это — упрямый народ, отрекшийся от правды и упорствующий в своих заблуждениях. Вслед за средневековыми теологами Лютер резко высказывается против Талмуда, хотя его не знает. Он обвиняет евреев в богоульстве, считает, что их верования враждебны христианству, и не собирается деятельно участвовать в судьбе еврейства.

В 1516 году Лютер начинает учить древнееврейский язык, пользуясь учебником Ройхлина и грамматикой Кимхи, достаточно быстро продвигаясь в нём. Этот шаг продиктован его намерением перевести заново Библию, помогая себе текстом на языке оригинала. Древнееврейский язык для него — язык божественный, богатый и простой одновременно. Он усваивает гневные интонации грозного еврейского Бога. Его ученик, а в дальнейшем друг и сподвижник Меланхтон, слушавший Лютера с университетской кафедры, запишет: «Молниям были подобны иные слова твои, Лютер». Но это были ещё не молнии, а лишь зарницы великой грозы, которая разразилась в 1517 году.

Еретик и ниспровергатель

Гроза грянула не вдруг. Сразу после вступления в монастырь Лютер стал испытывать душевные терзания из-за того, что не мог совладать с искушениями, с «тройным вожделением», как он сам называл три человеческие страсти: похоть, гнев и гордыню. Напрасно он истязал себя аскезой. Сколько покаянных слёз пролил он перед Штаупицем! Он досконально проанализировал природу греховности перед студентами и прихожанами. Он был уже на грани отчаяния, когда вдруг повеяло долгожданным ветром освобождения. Перепробовав все виды самоограничения и не добившись душевного покоя, он понял их тщетность и иллюзорность. «Законы плоти властно влекут тебя к сатане, к греху и к нестерпимым мукам совести», — пишет он в 1516 году. Но грех не искупается аскезой! И вот, преодолевая

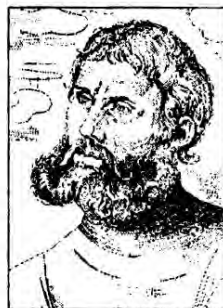
внутреннее сопротивление, Лютер приходит к убеждению, что спасением своим человек обязан одному лишь Христу, ибо Он своей жертвой искупил людские грехи. Бог после Искупления вообще простил все грехи, Иисус Христос утолил Божий гнев на людей. Лютеру наконец открылась Божья благодать. Спасшись от владевшего им отчаяния, Лютер понял свой долг в том, чтобы спасти от него других.

В Германию прибыли посланники из Рима с папской буллой о великом отпущении грехов. Саксонский курфюрст Фридрих Мудрый запретил продажу индульгенций в своих владениях, но горожане сбегались толпами в соседний городок поглазеть на торжественное шествие, послушать проповедь. Падали, падали монеты в железную кружку со многими печатями, и получали уплатившие пергаментные грамоты Папы. «Денежка в ящике звяк — душа из чистилища прыг!» — приговаривал монах-доминиканец.

Отпущение грехов, по мнению Лютера, — всё равно, что разрешение грешить вновь. «Нас, германцев, за скотов почитают в Италии», — заявил он 31 октября 1517 года, в канун праздника Всех Святых, когда он прибил к церковным дверям виттенбергского замка свои «95 тезисов», общий смысл которых выражен в одном из них: «Вечному осуждению подвергаются те, кто учит, и те, кто верит, будто бы отпущением грехов люди спасаются». Решаясь на этот шаг, Лютер следовал примеру Христа, а быть может, и чувствовал себя Христом, изгоняющим торговцев из Храма.

В течение месяца Тезисы распространились по всей Европе. Святейшая инквизиция донесла на еретика Лютера. Римская волчица ошетижилась. Продажа индульгенций — дело доходное. Папе нужны деньги, он строит собор св. Петра в Ватикане. Лев X не собирается менять планы из-за какого-то взбунтовавшегося монаха. Желая потушить пламя пожара как можно быстрее, Папа вызывает Лютера в Рим. Но Фридрих Мудрый, понимая, что дело пахнет костром, — а он не собирается лишать своё детище, Виттенбергский университет, такого авторитета, как Лютер, — настоял на том, чтобы разбирательство происходило в Аугсбурге. Оно состоялось в октябре 1518 года. Фридрих выхлопотал для своего подопечного императорскую охранную грамоту, но ведь в своё время подобная грамота не спасла Яна Гуса... Папскому легату не удалось склонить Лютера к покаянию в Аугсбурге.

В Лейпциге был назначен диспут Лютера с доминиканцем доктором Экком из Ингольштадта. Он продолжался шесть дней. Присутствовали герцог Саксонский, множество священников, монахов, аббатов, докторов богословия. В этом споре впервые со всей ясностью был поставлен вопрос, кто глава Вселенской Церкви — Папа или Христос? Иоганн Экк и вся Римская Церковь отвечают: «Папа!» Лютер и Реформация отвечают: «Христос!» Принципиально разошёлся Лютер с католиками и в том, что на первый план поставил индивидуальную, личную веру и противопоставил



Мартин Лютер.
Лукас Крапах
Старший. 1622

её выполнению церковных обрядов (по Лютеру, самое важное, — чтобы Бог был в сердце). Человек может спасти свою душу только посредством веры, которая непосредственно даруется Богом, без помощи Церкви. «Вера всегда есть дар Божий». «Бог не может и не хочет позволять господствовать над душой никому, разве лишь самому себе», — таковы положения Лютера. Учение Лютера о спасении или оправдании силою «одной только веры» стало основным постулатом протестантизма. Он пришел к отрицанию папства, духовной иерархии, celibата и даже монашества как учреждений, которые извратили дух первоначального христианства. «Восстав против монашеской жизни и оправдав тем самым свой индивидуальный бунт, Лютер нарушил баланс сил, долгие годы удерживаемый отцами Церкви». Лютер взорвал также и спасительное равновесие между Разумом и Откровением, которое было достигнуто в средневековой теологии. Тем самым он совершил доселе неслыханную революцию в христианском сознании.

За диспутом последовало в 1521 году отлучение еретика Лютера от Церкви. Лютер публично сжигает папскую буллу об отлучении, понося «чёртову свинью Папу» последними словами (натура страстная и притом мужицкая, он не стеснялся в выражениях). Однако и в пору открытой борьбы с Римом Лютера не покидают мучительные сомнения, и почти одновременно произносит он противоречащие друг другу слова: «Я готов подчиниться Папе, как самому Христу» и «Я теперь несомненно уверен, что Папа — Антихрист». На отлучение он отвечает обращением «К христианскому дворянству немецкой нации», призывая к реформе Церкви. Единственным авторитетом в вопросах веры им было признано Священное Писание.

Папа Лев Медичи, утончённый флорентиец, этот греческий философ в тиаре, друг Рафаэля, человек Ренессанса со всеми его достоинствами и пороками, «вероятно, посмеивался над бедным, целомудренным, наивным монахом, вообразившим, будто Евангелие есть конституционная хартия христианства и будто хартия эта есть истина!» — напишет позже Гейне. Возможно, Папа даже не захотел вникать в аргументы Лютера, но этот немец ему мешал. Значит, нужно было заставить его молчать.

Далее последовал вызов на рейхстаг в Вормс, где Лютер продолжал стоять на своём: «Я не верю ни в Папу, ни в соборы. Я не могу и не хочу отречься ни от одного из своих слов». Его упорство в отстаивании своей позиции потрясло не только очевидцев его речи, но спустя столетия стало, по верному замечанию С.Аверинцева, назиданием всем нам. Лютеровы слова *Hier stehe ich — ich kann nicht anders* стали девизом для Осипа Манделштама, их можно найти в набросках к стихотворению «К немецкой речи». Поэт вначале переводит изречение Лютера буквально: «Здесь я стою — я не могу иначе», а затем появляется другой вариант: «Вот я стою — и нет со мною сладу».

Сладить с ними и впрямь не удалось — ни с Манделштамом, ни с Лютером. Поэта убили, Лютера тронуть не решились. Папа в послании к императору требовал «покончить с этой чумой». Но Карл V не хотел восстановить против себя народ: «Здесь, в Германии, действие Лютера на все умы таково, что схватить и казнить его... значило бы поднять во всём народе восстание».

Лютеру удалось беспрепятственно покинуть Вормс и скрыться. Указом императора он был объявлен вне закона. Ходили слухи о том, что он убит фанатиками-папистами (такие попытки и впрямь предпринимались). На самом деле Фридрих Мудрый, эта старая Саксонская Лисица, глава оппозиции против императора, предоставил Лютеру убежище в своем замке Вартбург в Тюрингии, где триста лет назад проходили знаменитые турниры миннезингеров.

Поначалу он жил там как узник, но с отъездом императора на войну с Франциском I начались послабления. Лютер много работал. Иногда день и ночь напролёт читал, писал. Изучал древнееврейский и древнегреческий. Здесь написано им много акафистов, проповедей, трактатов, книга «О Христе и Антихристе». К этому времени у Лютера сложилась своя концепция религиозной свободы. Она на удивление близка еврейской трактовке понятия свободы.

Миссионер

У язычников человек был всецело подчинён богам. Четыре тысячи лет назад между евреями и остальным языческим миром возникла пропасть именно в силу особого понимания отношений между человеком и Богом. «Согласно еврейской религии Бог наделил человека свободой воли, а потому он может по своему выбору либо обратиться к Богу, либо отвернуться от Него. По еврейским представлениям, не всякая удача обусловлена благословением Божиим» (М.Даймонт). Человек может преуспеть и потому, что идёт на всё вплоть до преступления ради достижения цели, не считаясь с моралью, с другими людьми, и в этом случае он добивается успеха вовсе не потому, что ему помогает Бог. Это даёт, в свою очередь, свободу Богу возлагать на человека ответственность за совершённые поступки, как за добрые, так и за злые. Лютеровская трактовка отношений человека с Богом близка к еврейской. Так что упреки, которые бросали Лютеру в «объевреивании», не были совсем уж беспочвенными.

Впервые Лютер вступил в контакт с евреями в апреле 1521 года в Вормсе, где в ту пору существовала крупная еврейская община. Не Лютер, но сами евреи искали встречи с ним, желая понять, что представляет собой этот отважный монах из Виттенберга, в чём суть его учения и что может принести им его победа. Он принял их приглашение. Лютер говорил о том, что христианство, которое преследовало евреев в средние века, далеко от настоящего Евангелия. Из-за Папы, этого антихриста, из-за его дополнений и искажений учение превратилось в искусственный свод правил. Вполне закономерно, что евреи отшатнулись от извращённого христианства. «Будь я евреем, я бы предпочёл десять раз подвергнуться колесованию, чем принять папизм». Участники круглого стола признались, что Лютер евреям понравился.

Будучи не только теоретиком, но и практиком, Лютер, оказавшись в Вартбурге, вплотную берётся за «решение еврейского вопроса». Прежде всего, считает он, нужно переломить общественное мнение, необходимо

расположить народ к евреям. В первом же сочинении, написанном в июне 1521 года, Лютер, цитируя слова Девы Марии из Евангелия от Луки («Как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века»), утверждает, что милость Божия, которой Израиль сподобился через рождение Христа, в авраамовом семени, т.е. в евреях, будет длиться вечно. Лютер стыдил единоверцев за недружественное отношение к иудеям и объяснял, что «евреи — лучшая кровь на земле». «Только через них Святой Дух пожелал дать Священное Писание миру; они — Божьи дети, а мы — гости и чужие; мы, подобно ханаанской жене, должны довольны быть тем, что, как псы, питаемся крошками, падающими со стола своих господ».

Эрцгерцог Фердинанд Австрийский, брат императора Карла V, на рейхстаге в Нюрнберге обвинил Лютера в том, что он, причисляя Христа к Авраамову семени, отвергает его божественное происхождение, а это — богохульство. Вот тогда-то и пишет Лютер свой памфлет «Иисус Христос, рождённый евреем» (1523). Он адресуется не евреям, а единоверцам. Он всегда пишет о евреях в третьем лице: мы, христиане, — они, евреи. Он заключает памфлет призывом: «Советую, прошу каждого поступать с евреями по доброте и обучать их Евангелию. В таком случае мы можем надеяться, что они придут к нам. Если же мы употребляем грубую силу и носим их, обвиняем их в использовании христианской крови, чтобы освободиться от зловония, и не знаю, в каком ещё вздоре, поступаем с ними как с собаками, то чего доброго мы можем ждать от них? Наконец, как мы можем ждать их исправления, когда мы запрещаем им трудиться среди нас в нашем сообществе, вынуждаем их заниматься ростовщичеством? Если мы хотим им помочь, то мы должны относиться к ним не по папистскому закону, а по правилам христианского милосердия. Мы должны по-дружески их принимать, позволить им жить и работать вместе с нами, и тогда они сердцем будут с нами, а если некоторые и останутся при своём упорстве, что плохого в том? И из нас не каждый — добрый христианин!»

Эти слова дали основание видеть в Лютере друга евреев. Во всяком случае, немецкие евреи радостно приветствовали реформатора из Виттенберга, они даже отправили сочинение Лютера своим единоверцам в Испанию (в 1524 году вышел его перевод на латинский), ибо он даровал надежду. Их можно понять: на протяжении нескольких столетий перед евреями маячила угроза изгнания. Сердца их возрадовались, услышав защитительные речи Лютера, направленные против лживых наветов и против дискриминации.

Однако нужно иметь в виду, что главная цель Лютера была миссионерской. Прежде всего, считает он, нужно привлечь евреев добрым отношением и обратиться в христианство, убедив их в ошибочности ожидания Мессии, поскольку Мессия и есть Христос. В своём памфлете Лютер утверждает, что в Ветхом Завете содержатся зашифрованные упоминания о Богоматери, предсказания о рождении Христа, которые злодеи-талмудисты якобы скрывали от евреев, толкуя слово Божие вкривь и вкось. И если евреи прочтут Тору без «помощи» талмудистов, они обретут истину. В его попытке объединить христиан и евреев на основе Священного Писания не

было никакого коварства. Осуждая насильственное крещение, которым прославилась Римская Церковь, Лютер предлагал евреям вернуться к вере праотцев и пророков, не извращённой толкованиями (кстати, и в еврейской среде находились противники Талмуда — секта караимов, возникшая в IX–X вв.). Лютер призывал христиан протянуть евреям руку, ибо Библия учит: все мы — братья. Он понимал, что присоединение евреев к Реформации было бы веским аргументом для той значительной части немцев, которые пока не могли сделать выбор между католицизмом и протестантизмом.

Крушение иллюзий

Следует помнить, что главной заботой Лютера были всё же не евреи, а немцы. Весной 1522 года закончил он перевод Нового Завета на немецкий. «Я хочу говорить по-немецки, а не по-латински и по-гречески». «Я для моих немцев рождён, им и хочу послужить». Новый Завет в немецком переводе, сделанном Лютером, распространялся по германским землям, как пожар по сухому лесу. Очевидец вспоминает, что все, кто знал грамоту, жадно читали и перечитывали этот текст, обсуждали, спорили о нём друг с другом, и с людьми духовного звания. Появилось множество проповедников Евангелия, ходивших из дома в дом, из деревни в деревню. Мысль о равенстве перед Богом овладела умами бедняков. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином?» — вопрос этот не сходил с уст.

Весной 1524 года появились «Жалобы крестьян к двенадцатью просьбами». Швабские крестьяне, апеллируя к Лютеру, ссылались на его же книгу «О христианской свободе». Они просили его стать их ходатаем перед господами. Он отказался, а вместо того выпустил в 1525 году «Увещевание к миру в ответ на двенадцать требований швабских крестьян». Но примирить волков и овец было невозможно. Кто знает, представлял ли сам Лютер масштабы последствий его выступления против Рима и Папы? Вряд ли он предвидел, ударив в набат, какой крови это будет стоить. Вот уж поистине, как сказал поэт, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»...

Германия запольхала. Восставших возглавил Томас Мюнцер — бывший францисканский монах, доктор теологии, последователь Лютера. В толковании Слова Божьего он оказался радикальнее учителя. Обращаясь к народу, он цитировал Писание: «Говорил же Христос: я принес не мир, но меч». Себя Мюнцер называл «мечом Гедеона». Он стал проповедником Евангелия, которое, по его мнению, предписывало равенство и братство людей на земле: «Всё да будет общим!» Этот девиз воодушевлял тысячные толпы крестьян. Только в Швабии число восставших достигло трёхсот тысяч. «Бей, бей, бей! Куй железо, пока горячо! Раздувай огонь, не давай мечу простыть от крови, не щади никого... Бей, бей, бей!» — это призывы Мюнцера из его воззвания к народу.

Лютера, осуждающего мятежную ересь, восставшие как будто не слышат. Никогда он не был так глубоко ранен. Напрасно он взывает к ним: «Бог запрещает восстание... Дьявол радуется ему...» Не слышат. Они вни-

мают Томасу Мюнцеру: «Смотрите, самые подонки лихоимства, воровства и разбоя — вот кто есть наши великие мира и господа... Они распространяют заповедь Господню среди бедных и говорят: "Господь повелел: не укради!" Так они отягощают всех людей, бедного земледельца, ремесленника, и всё, что живёт, обдирают и обчищают, а если бедняк согрешит перед Всевышним, то должен быть повешен. И тут доктор Лгун (так он аттестует Мартина Лютера. — Г.И.) говорит: Аминь. Господа сами виной тому, что бедный человек — враг им. Причину восстания они не хотят уничтожить, как же это может продолжаться? Так говорю я, и вот я подымаюсь, вперёд же!»

Крестьянская война всколыхнула население многих городов, в особенности тех, что были подчинены сюзеренам-епископам. Она охватила не всю Германию, а больше южногерманские земли: Тюринго-Саксонский и Швабско-Шварцвальдский районы, Франконию, Тироль. Крестьяне штурмовали и захватывали замки и монастыри, занимали города. Все это оборачивалось большой кровью.

Вюрцбург столетиями страдал от зависимости со стороны епископов. Город встал на защиту восставших крестьян и горько за это заплатил. Войска епископа разбили крестьян, и началось жестокое избиение повстанцев. Так происходило повсеместно. Восставшие во главе с Мюнцером захватили власть в Мюльхаузене, их поддержали не только городские низы, но и мелкие бюргеры. Но отряд Мюнцера продержался недолго. Сам он был взят в плен, подвергнут пытке и обезглавлен. Он был в ту пору в возрасте Христа. Последователи его были казнены — простолудины повешены, а люди благородного происхождения обезглавлены...

Лютер осудил насильственные действия крестьян, поддержал князей, призвав владык «бить, душить, колоть восставших тайно и открыто, как поступают с бешеными собаками». Сто тысяч человек погибло в течение восьми месяцев. Крестьянское восстание в Германии походило на пугачёвщину, на русский бунт, который Пушкин, как известно, назвал «бессмысленным и беспощадным». Восстание внушало Лютеру ужас, восставшие рождали в нём ярость. Лютер сам не пролил крови, но он произнёс страшные слова: «Я, Мартин Лютер, истребил восставших крестьян; я велел их казнить. Кровь их на мне, но я вознесу её к Богу, потому что это Он повелел мне говорить и делать то, что я говорил и делал».

Однако вина перед крестьянами жгла Лютера. Сам того не желая, он спровоцировал их на бунт. Не в силах их удержать и остановить, он не пошёл с ними. Он слышал их ропот: «Предатель!» «Ты не хочешь признать этих бунтовщиков своими учениками, да они-то признают тебя своим учителем», — написал ему ненавистный Эразм Роттердамский. Прошло время, когда они глядели, как им казалось, в одном направлении, теперь пути их резко разошлись.

Предметом спора стал вопрос о свободной воле. Они скрестили мечи. Их оружие — книги. Эразм пишет работу «О свободной воле». Лютер парирует удар, отвечая сочинением «О порабощённой воле». Эразм утверждал, что человек по природе своей добр, надо только его соответственно воспитывать. По мнению Лютера, человек ничего не может сделать для своего

исправления, потому что его воля — рабыня греха, и помочь ему может лишь милость Божья. «Мир спасётся разумным сомнением» (Эразм). «Мир спасётся безумною верою» (Лютер). Этот спор привёл к их окончательному разрыву. Несдержанный на язык Лютер назвал Эразма ядовитой гадиной, отъявленным негодяем и Иудой-предателем.

Куда более тяжким ударом для Лютера станут расхождения с его любимым учеником Филиппом Меланхтоном (его имя носит сегодня теологическая академия Кёльна — *Melanchton Akademie*), с которым совместно написаны основные вероучительные документы лютеранства — «Аугсбургское вероисповедание» и «Апология». Меланхтон, который не порывал с Лютером несмотря на требования воспитавшего его Ройхлина (хотя согласно завещанию дяди племянник мог унаследовать его обширную библиотеку лишь при соблюдении этого условия), в конце концов стал тяготиться союзом с главным Реформатором. Он жаловался Эразму на крайности, грубость и неуступчивость учителя, которые мешают в деле объединения Церкви. Умеренный Меланхтон, получивший почётное звание *Praeceptor Germaniae* (в переводе с латыни — наставник Германии), занял промежуточную между Лютером и Эразмом позицию в вопросе о свободе человеческой воли, за что удостоился грубого окрика учителя. Он не отступился от Реформатора, но они чувствовали взаимно охлаждение и недовольство друг другом.



Филипп Меланхтон.
Альбрехт Дюрер

Расхождения Лютера и гуманистов не носят личного характера, они имеют более глубокую основу. Дело в том, что содержание и дух ренессансного гуманизма и Реформации развивались в одном русле или параллельно лишь небольшой отрезок пути. В своих истоках Ренессанс и Реформация имели одну идею — духовное обновление. В целом же протестантизм был продолжением средневековых культурных идеалов, под поверхностью Ренессанса средневековая культура продолжала перетекать в Реформацию.

Как пишет Ницше в своей книге *для свободных умов* «Человеческое, слишком человеческое», немецкая Реформация на фоне Возрождения «выделяется как энергичный протест отсталых умов, которые ещё не насытились мирозерцанием средних веков и ощущали признаки его разложения не с восхищением, как это следовало, а с глубоким недовольством». Строгое благочестие протестантов, их пуританизм и неистовая потребность в действии явно противоречат стремлению гуманистов к спокойствию, их фривольной индифферентности или пересмешничанью, языческим дерзостям, сосредоточенности на этико-литературных аспектах. Истинно народный (а по Ницше, плебейский) характер Реформации противостоял учёной элитарности Ренессанса, потому и неизбежны были расхождения Лютера с гуманистами. Конечно, такие мощные духом личности, как Лютер, Кальвин, Мюнцер, столь характерные для XVI века, явно *неренессансны*.

«Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времён в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь Средневековья», — читаем у Томаса Манна в «Докторе Фаустусе». Лютер и его присные питали ненависть к классическому образованию и усматривали в нём источник духовной крамолы. Впрочем, крамола таилась не только в гуманистическом просвещении.

В конце 1533 года дух Томаса Мюнцера, «этот бич гнева Божия», ожил в Мюнстере, где подняли мятеж анабаптисты (второкрещенцы). Было объявлено, что Христос возвращается на землю, чтобы установить царство справедливости. Лидер восставших Иоанн Лейденский объявил себя Мессией и царем Нового Израиля. Мюнстер переименовали в Новый Иерусалим. Переименовали все улицы, дни недели. Население обязано было принять новое крещение, сопротивлявшихся убивали. Выжившие стали называть друг друга «братья» и «сестры». Все имущество и съестные припасы были обобщены, деньги отменены. Все книги, кроме Ветхого Завета, были сожжены перед кафедральным собором. После краткого периода аскетизма установилась полигамия, многоженство. Город выдерживал осаду почти полтора года, живя по законам «военного коммунизма». За это время его обитатели прошли ускоренно весь исторический цикл — от всеобщего равенства до тоталитарного режима. Это был настоящий Апокалипсис.

«Что же мне сказать об этих жалких людях?» — так начинает Лютер свою «Новейшую летопись о второкрещенцах в Мюнстере». Главное в книге — не столько оценка безумных деяний мюнстерских еретиков, не иначе как одержимых дьяволом, по мнению Лютера, сколько его пророческие предостережения. Вот самое важное из них: «Нет столь малой искры, которой не мог бы Дьявол, при поущении Божьем, раздуть во всемирный пожар». Уж нам ли, «гревшимся» у костра, разгоревшегося от ленинской «Искры», не понять, не признать здесь правоту Лютера? «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» — ликует вольница у Блока, но сам поэт задохнулся в дыму этого пожара. Во времена Лютера погибли десятки тысяч, в России счёт жертв шёл уже на миллионы.

Предостережениям Лютера внимают лишь истинно верующие, остальные используют его вероучение для решения своих проблем. Крестьянская война — тому лучшее свидетельство. Конечно, для него это настоящая драма. Лютер переживает крушение многих иллюзий. Среди них — его надежды на обращение евреев. Его всё больше раздражает их упорство и «слепота». Натолкнувшись на глухое сопротивление, Лютер уже не надеется на диалог и видит в евреях противников. «Тот, кто сегодня поёт не с нами, тот — против нас» — этот принцип, отлившийся в поэтическую формулу, родился много раньше нашего поэта. Тот, кто противится божественной правде, кто не приемлет Христа, тот может быть только слугой дьявола. Такова логика мыслей Лютера, гложущих и ожесточающих его сердце.



Мартин Лютер.
Лукас Крапах
Старший. 1632

Юдофобские выступления

Когда в 1537 году известный ходатай по делам евреев Йосельман из Росхайма, заручившись поддержкой и рекомендациями реформатора Капито из Страсбурга, обратится к Лютеру с просьбой воззвать к курфюрсту Саксонии Фридриху, утишить его гнев против евреев (речь шла об их изгнании из саксонской земли), тот в ответном письме откажет Йосельману, сославшись на то, что евреи не оправдали его надежд и разочаровали.

Узнав о многих случаях, когда крестившиеся было евреи возвращались в лоно своей веры, Лютер напрочь отказывает им в доверии. В «Застольных беседах», которые были записаны, собраны и изданы наиболее преданными из его гостей, среди прочих высказываний читаем: «Если я найду еврея, желающего креститься, я отведу его на мост через Эльбу, повешу ему на шею камень и столкну в воду. Эти каналы смеются над нами и над нашей религией».

«У них нет постоянного местожительства, они прозябают в нищете и, как последние бездельники, все ожидают прихода Мессии. И тут же кичатся своим величием и особой ролью, которую возложил на них Бог, выделив их из всех прочих народов».

До Лютера доходят слухи, что «каналы» ещё и занимаются миссионерской деятельностью. На самом деле евреи никогда не стремились кого-то обратить в свою веру, левое крыло Реформации само тяготело к Ветхому Завету. Лютер узнаёт, что Михаэль Сервет в 1531 году выпустил свой первый трактат «Об ошибках в учении Троицы», в котором он оправдывал еврейский монотеизм, и, что особенно нестерпимо, реформатор Капито якобы отчасти с ним согласен. А второкрещенцы Мюнстера! Они ведь в 1534 году явно копировали древний Израиль, а признание Яна Лейденского Мессией — что это как не богохульство! А где истоки ереси? В иудаизме! Евреи всё ещё ждут своего Мессию, не признавая его в Иисусе Христе. Лютер считает, что второкрещенцы заслуживают ещё большего наказания, чем евреи.

А разве не погряз в иудаизме его бывший последователь, реформатор Карлштадт из Богемии?! И вообще что творят там саббатянцы-субботники?! Совершают обряд обрезания, празднуют субботу. Эти так называемые христиане просто объевреились! И Лютер раздражается первым, по существу, антиеврейским памфлетом «Против саббатянцев» (1538), где он полемизирует с еврейским Законом. Он взывает к христианам, не к евреям. И печально знаменитые памфлеты 1542 года «Против евреев и их лжи», «Шем Хамфорас», «Последние речения Давидовы» обращены к христианам.

Лютер, как известно, был несдержан на язык и часто использовал оскорбительные выражения не только против евреев, но и против папистов и еретиков. Но тут он превзошёл самого себя. А потому швейцарские протестанты, ознакомившись с антиеврейскими памфлетами Лютера, осудили их. Их мнение однозначно: «Даже если бы «Шем Хамфорас» был написан пастором свиней, а не пастором душ человеческих, его невозможно было бы

оправдать». Их возмутил тон, непотребная ругань, но не содержание. Содержание отвечало духу времени. Юдофобством были поражены даже такие прославленные гуманисты, как Эразм и Ройхлин. У Лютера на этой стезе было много предшественников — от блаженного Августина и Фомы Аквинского до Буцера.

Памфлет «Против евреев и их лжи» достаточно пространен. В первой части Лютер повторяет обвинения в том, что евреи возводят хулу на Христа и Деву Марию, называют её шлюхой, а её сына бастардом. Они не понимают, что за это они прокляты Богом. Упорствуя, они умножают свои мучения: до сих пор у них нет своего государства, они скитаются по земле, оставаясь везде чужаками. И даже еврейскому ожиданию Мессии Лютер даёт своё истолкование: они, дескать, его ждут потому, что видят в нём всемирного царя, который, как они надеются, уничтожит христиан, поделит мир между евреями и их сделает господами. Вот откуда берут начало бредни о всемирном жидо-масонском заговоре!

Во второй части памфлета Лютер впервые выдвигает против евреев аргументацию не теологического, а экономического порядка. Он обвиняет их в ростовщичестве, в алчности, нечестности и паразитизме: «Евреи, будучи чужестранцами, не должны ничем владеть, а то, чем они владеют, должно принадлежать нам, поскольку они не работают, а мы не приносим им даров. Тем не менее, у них находятся наши деньги и наше добро, а они стали нашими хозяевами в нашей собственной стране и в их изгнании... Они гордятся этим, укрепляя свою веру и ненависть к нам, и говорят друг другу: — Удостоверьтесь, что Господь не покидает свой народ в рассеянии. Мы не работаем, предаёмся безделью, приятно проводим время, а проклятые гои должны работать на нас, и нам достаются их деньги. В результате мы оказываемся их господами, а они нашими слугами!» Лютер использует силу своего красноречия, чтобы настроить, или, как он представляет дело, предостеречь, христиан против евреев. А для этого все средства хороши. Он воскрешает легенды о том, что еврейские врачи медленно отравляют пациентов-христиан. Он внушает пастве, что евреи — дьявольское отродье.

Семь советов-рекомендаций относительно того, как вести себя с евреями, которые он даёт властям, говорят сами за себя и не требуют комментариев.

«Во-первых, поджечь их синагоги и школы, а что не сгорит, сровнять с землёй, чтобы ни камня, ни пепла не осталось. И это нужно делать во славу нашего Господа и христианства, если мы и впрямь христиане.

Во-вторых, нужно разорить и разрушить их дома, тогда им негде будет укрыться, они будут изгнаны, как изгнаны из школ. Пусть поживут на чердаке и в хлеву, как цыгане, тогда они узнают, что не хозяева на нашей земле, как они похваляются.

В-третьих, схватить всех их книжников и талмудистов, пусть в темницах себе лгут, проклиная и богохульствуют.

В-четвёртых, запретить их раввинам под страхом смерти учить народ.

В-пятых, полностью лишить евреев охраны и выделения им улиц.

В-шестых, запретить им ростовщичество и отнять наличность и ценности из серебра и золота, пусть это станет предупреждением.

В-седьмых, дать в руки каждому молодому, сильному еврею и еврейке цеп, топор, лопату, прялку, веретено и заставить их в поте лица добывать хлеб своей...»

Таким образом, от теологической аргументации Лютер переходит к практическим рекомендациям. Он не призывает к уничтожению евреев, но советует уничтожить их образ жизни. В пору Реформации Лютер был не единственным «советником» по еврейским делам. За пять лет до него страсбургский реформатор, бывший монах-доминиканец Мартин Буцер, советовал ландграфу Гессенскому принудить евреев, ведущих денежные дела, заниматься тяжким физическим трудом: они должны работать в каменоломнях, лесорубами, углекопами, трубочистами, убирать падаль и чистить отхожие места. Хотя Лютер часто упрекал Буцера в отступничестве и непостоянстве, он явно опирался на этот документ, когда сочинял свои рекомендации.

Изменение отношения Лютера к евреям связано и с теми переменами, которые произошли с ним в последний период его жизни, когда он пересмотрел и другие свои позиции. Крестьянская война «перепахала» его душу. В одном из писем есть такое признание: «Я доныне думал, что можно управлять людьми по Евангелию... Но теперь (после восстания. — Г.И.) я понял, что люди презирают Евангелие; чтобы ими управлять, нужен государственный закон, меч и насилие».

От бунтарства — к проповеди послушания

В целом учение Лютера ведёт к «заземлению» религии. Лютеранство рассматривает мирскую деятельность человека как служение Богу. Католики, призывая служить Господу, убеждают в необходимости отвернуться от земного. Лютер утверждает противоположное: не в бегстве от мира, а в земной жизни человек должен искать спасения, но для этого его жизнь должна быть нравственной. Само по себе прекрасное утверждение, но проблема в том, что считать нравственным?

Специфически немецкие понятия долга (*Pflicht*) и нравственности (*Sittlichkeit*) не поддаются точному переводу на другой, в том числе и русский, язык. Добросовестно исполненный долг (*Pflicht*) — это и есть, согласно Лютеру, добродетель (*Sittlichkeit*). Долг немца, учит Лютер, есть послушание, в нём — добродетель, а сама добродетель, по Лютеру, и есть благодать Божия. Такова была мораль, которую он завещал немцам и которой они следовали несколько веков.

«Протестантство оказало самое благое влияние, способствуя той чистоте нравов и той строгости в исполнении долга, которую мы обычно называем моралью», — свидетельствует Гейне. Ницше же видит негативные последствия лютеровской Реформации в обмелении европейского духа. «Одобродушивание (*Vergutmütigung*) изрядно продвинулось вперёд», но оборотной стороной этого одобродушивания стало *плебейство духа*, по мнению философа.

Внутренней свободе, о которой Лютер говорил поначалу, он с годами противопоставил непоколебимый порядок вещей, установленный в мире Богом. Долг послушания выходит на первый план, христианин должен быть покорным и преданным подданным. В обмен на заповеди блаженства и царства Божия глава Реформации внушал немцам безусловную покорность государю, существующим законам, необходимость соблюдения порядка. Позиция Лютера однозначна: народ нужно держать в узде. Вот откуда растёт знаменитый немецкий порядок — *Ordnung!* Бунтовщик превращается в апостола послушания, повиновения, покорности. Со времен Лютера послушание стало национальной добродетелью: оно спускается, как по цепочке, от правителей к пасторам, от пасторов к пастве. Дух Реформации радикально повлиял на образ жизни и образ мысли немцев. Великий парадокс состоит в том, что человек, провозгласивший полную свободу христианина при обращении к Богу, духовно поработил немецкую нацию, поставив её под авторитарное ярмо.

Проходит 250 лет, и великий немецкий философ Иммануил Кант, этические представления которого близки учению Лютера, записывает: «Среди всех цивилизованных народов немцы легче и проще всех поддаются управлению; они противники новшеств и сопротивления установленному порядку вещей».

Французская писательница мадам де Сталь, хотя и была настроена пренебрежительно к немцам, тоже писала, что «современные немцы лишены того, что можно назвать силой характера. Как частные лица, отцы семейства, администраторы, они обладают добродетелью и цельностью натуры, но их непринужденная и искренняя готовность служить власти ранит сердце...» Она говорила об их «почтении к власти и умирении страхом, превращающим это почтение в восхищение». Почтение к власти, переходящее в восхищение — это сказано метко и сильно. Тот, кто читал роман Генриха Манна «Верноподданный», поймёт, что имела в виду французская писательница. Она подметила эту немецкую национальную черту — верноподданничество — ещё в начале XIX века. Генрих Манн написал свой роман в 1914 году, т.е. спустя столетие. Итак, лютеровский завет продолжал безотказно действовать, по крайней мере до 1945 года, когда нацистская Германия потерпела полный крах.

Никто не может сравниться с Лютером по степени воздействия на чувства и сознание немцев. Ни одна личность не оставила в Германии столь глубокого следа, как он. Причём любопытно, что с течением времени это влияние ещё больше возрастало. Если верить Томасу Манну, а у нас нет оснований не доверять ему, немецкая интеллигенция вплоть до Первой мировой войны воспитывалась на Лютере. Как у всякой медали, и у этой оказались две стороны. В условиях нацизма удушающие требования подчинения, долга, доведённые до абсурда, связали руки значительной части немецкой культурной элиты и мешали сопротивлению преступной, поистине сатанинской власти. Великий Реформатор оставил на века свою печать на значительной части немецкого народа, такова была сила его личности! Однако за

всё приходится платить. И немцы заплатили (и продолжают платить до сих пор!), но от Лютера не отреклись. Опрос общественного мнения, проведённый социологическим институтом Киля в 2003 году, показал, что Лютер сегодня по значимости и влиянию на умы сограждан занимает одно из первых мест.

Создатель национального языка

Лютер дал своему народу главное — язык. Он дал его вместе с Библией, над переводом которой работал долгих двенадцать лет. В крепости Вартбург в комнате, где Лютер приступил к этому неподъёмному труду, еще сегодня показывают на стене коричневое пятно. Говорят, что во время работы Лютеру привиделся дьявол, и он запустил в него чернильницей. Возможно, тот чёрт был воплощением дьявольской трудности, с которой сталкивался переводчик. Но скорее всего, ему и впрямь являлся нечистый, мучил, искушал, соблазнял. Лютер верил в нечистую силу, боялся её, как большинство нижнесаксонских крестьян. Ведь он происходил из семьи рудокопов, а рудокопы — народ суеверный. Но и сам дьявол не мог остановить этого человека, который принадлежал к тому грубо-кряжистому мужественному племени, среди которого христианство пришлось внедрять огнём и мечом, но, уверовав, они за свою веру стояли насмерть и готовы были других жечь (сжёг же Кальвин за расхождения в трактовке христианских таинств учёного реформатора Сервета!). Непреклонность и упорство, доходящее до фанатизма, — характерные качества этих людей.

Данные черты характера, в сочетании с гениальностью, помогли Лютеру свершить и этот подвиг — завершить перевод Библии. В университетской библиотеке Вроцлава (некогда Бреслау) за железными дверями книгохранилища можно увидеть первое издание немецкой Библии — книгу в серой коже, с металлическими застежками: «Ветхий Завет на немецком. М. Лютер. Виттенберг». Книгу иллюстрировал друг Лютера художник Лукас Кранах Старший. Он тоже жил и работал в Виттенберге. Сохранился его работы графический портрет молодого Лютера, в ту пору художника и стройного, и писанный маслом портрет его матери, Маргариты, измученной тяжким трудом крестьянки.

Работая над переводом Библии, Лютер обнаружил поразительное чувство языка. Гейне признаётся, что для него остаётся загадкой, как возник тот язык, который мы находим в лютеровской Библии. Он уверен лишь в том, что в течение нескольких лет язык этот распространился по всей Германии и возвысился до всеобщего литературного языка. «Все выражения и обороты, принятые в Библии Лютера, — немецкие, и писатель всё ещё может употреблять их и в наше время», — свидетельствует Гейне. Шедевром немецкой прозы называет лютерову Библию Ницше, упирая на то, что это шедевр величайшего немецкого проповедника: «Она выросла в немецкие сердца».

Лютер сам себя наставлял учиться родному языку «у матери в доме, у детей на улице, у простолыдина на рынке и смотреть им в рот, как они говорят, и сообразно с этим переводить, тогда они уразумеют и заметят, что с

ними говорят по-немецки». Народное красноречие явственно и в его проповедях, посланиях и памфлетах. В полемических писаниях он не избегает плебейской грубости, которая может одновременно и отталкивать, и привлекать. Манеру Лютера нанизывать и громоздить обвинения против своих врагов Ницше называет «болтливостью гнева». Наблюдая, как этот мужицкий апостол забрасывает противников словесными глыбами, Гейне называет его религиозным Дантоном. Впрочем, громовое красноречие Лютера заставляет вспомнить и Савонаролу.

Опираясь на традицию народных песен, Лютер создавал религиозные гимны и псалмы. Он любил музыку, и песни его были мелодичны. Он сочинил лютеранский церковный гимн «Наш Бог — нерушимая крепость», который называют Марсельезой Реформации. Вступая в Вормс со своими спутниками, он пел с ними эту боевую песню:

Господь — наш истинный оплот,
Оружье и твердыня,
Господь нас вызволит, спасёт
В беде, грозящей ныне.

Роль Лютера в развитии немецкого языка можно уподобить роли Ломоносова и Пушкина в России. Томас Манн поставил его имя рядом с именем Гёте, называя обоих великими творцами родного языка. Третьим столпом он назвал Ницше.

Самый большой и самый немецкий человек Германии

Лютер, как может сделать вывод читатель, — фигура сложная, неоднозначная. Это отмечал, в частности, Генрих Гейне, пытаясь определить значение Лютера для немцев, для истории. Он исходил из того, что Лютер — не только самый большой, но и *самый немецкий* человек в истории Германии, что в его натуре грандиозно сочетались все добродетели и все недостатки немцев. Гейне глубоко постиг и точно обрисовал двойственный, амбивалентный характер лютеровой природы: «он обладал качествами, сочетание которых крайне редко и которые обыкновенно представляются нам враждебно противоположными. Он был одновременно мечтательным мистиком и человеком практического действия. У его мыслей были не только крылья, но и руки. Он говорил и действовал. Это был не только язык, но и меч своего времени. Это был одновременно и холодный схоластический буквоед, и восторженный, упоённый Божеством пророк... Этот человек, который мог ругаться, как торговка рыбой, мог быть и мягким, как нежная девушка. Временами он неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, потом вновь становился кротким. Он был исполнен трепетнейшего страха Божьего, полон самопожертвования во славу Святого Духа. Он способен был погрузиться в область чистой духовности; и, однако, он очень хорошо знал прелести жизни сей и умел их ценить, и с уст его слетело чудесное изречение: "Кто к вину, женщинам и песням не тянется, на всю жизнь дура-

ком останется“ ... В нём было нечто первозданное, непостижимое, чудодейственное, что мы встречаем у всех избранников, нечто наивно-ужасное, нечто нескладно-умное, нечто возвышенно-ограниченное, *нечто неодолимо-демоническое*» (курсив мой. — Г.И.).

Гейне связывает с деяниями Лютера начало новой эпохи в Германии: Реформация нанесла смертельный удар по феодальной системе. Лютер отделил Церковь от государства. Гёте, критически настроенный по отношению к Церкви и высшему духовенству, тем не менее счёл необходимым указать на долг Германии Лютеру. Незадолго до своей кончины в разговоре с Эккерманом он заметил, что ещё не все поняли, сколь многим они обязаны Лютеру. «Мы сбросили оковы духовной ограниченности, благодаря нашей всё растущей культуре смогли вернуться к первоисточникам и постигнуть христианство во всей его чистоте. Мы снова обрели мужество твёрдо стоять на Божьей земле и чувствовать себя людьми, взысканными Господом». Осуждая убогое протестантское сектанство, он призывает протестантов и католиков отдаться во власть «великого просветительского движения, движения времени», подчиниться ему, а оно должно привести к единению. И тогда «мы мало-помалу от христианства слова и вероучения перейдём к христианству убеждений и поступков».

Гейне, как и Гёте, испытывал к Лютеру благодарное чувство. Нигде и никогда не упоминает он о юдофобии отца Реформации. Между тем в двухтомной «Истории антисемитизма» Льва Полякова (перевод на русский язык появился в 1997 году) Лютеру отведено «почётное» место. В глазах современного еврейства он — враг богоизбранного народа.

Предполагать, что Гейне не были известны антиеврейские памфлеты Лютера, нелепо. Он знал о них, хотя в середине XIX века их не цитировали. Они вообще не имели широкого хождения ни в XVII, ни в XVIII вв. Скорее всего, он их просто не читал, как не читал он, думается, «Аугсбургское вероисповедание», ему вполне хватало лютеровых «Застольных бесед». Любопытно наблюдать, как Гейне в статьях 1834 года, образовавших книгу «К истории религии и философии Германии», идентифицирует себя с немцами. «Мы, немцы, — пишет Гейне, — сильнейший и умнейший народ. Наши царствующие роды восседают на всех европейских престолах, наши Ротшильды господствуют на биржах всего мира, наши ученые верховенствуют во всех науках...» Обратите внимание на эти строки. Всё это плоды еврейской эмансипации. Ротшильды у Гейне в одном ряду с Гогенцоллернами, и для себя поэт тоже находит место в германском строю. Хоть он находится в Париже, он не отделяет себя от Германии, и потому в его устах совершенно естественно звучат признания, касающиеся Лютера: «Нам не пристало жаловаться на ограниченность его взглядов... Ещё менее пристало нам изрекать суровый приговор о его недостатках; эти недостатки принесли нам больше пользы, чем добродетели тысячи других». В 30-е годы XIX столетия еврей Гейне мог отпустить Лютеру его грехи. Спустя сто с лишним лет сделать это уже невозможно. Наш исторический опыт, память о Холокосте не позволяют.

Ректор кёльнской Теологической академии имени Меланхтона г-н Марквардт, узнав, что я пишу о Лютере, стал отговаривать меня и советовал заняться Меланхтоном. Ближайший друг и сподвижник Лютера, он всю жизнь был преданным учеником Эразма Роттердамского, человека всеобъемлющего духа. Кроме того, это был необычайно мягкий и благородный человек. Как личность он мне глубоко симпатичен и близок. Но я задаю своему оппоненту вопрос: «Положа руку на сердце, признайтесь, смог ли бы Меланхтон осуществить Реформацию?» И в ответ на его молчание продолжаю: «Нет, такое по плечу было лишь неукротимому Лютеру!»

В сослагательном наклонении об исторических событиях не говорят. Что толку задаваться вопросом, как бы пошло развитие Европы и Германии, если бы в споре Лютера и Эразма Роттердамского победил умеренный, считавший себя гражданином мира Эразм? Победа Лютера была неизбежна не только из-за его чувственной мощи, из-за его неистовой ярости, которой были наделены все настоящие герои, начиная с гомеровского Ахилла. Как справедливо заметил Стефан Цвейг, Лютера «переполняет и распирает мощь и буйство целого народа».

Цвейг писал книгу о бесконечно дорогом ему Эразме, но в ней он сложил гимн его противнику-победителю — Лютеру, а главное, объяснил, почему именно он возглавил Реформацию. «Он мыслит, инстинктивно ориентируясь на массу, воплощая её волю, взведённую до высшего накала страсти. С ним в сознание мира прорывается всё немецкое, все протестантские и бунтарские немецкие инстинкты, а поскольку нация принимает его идеи, он сам входит в историю своей нации. Он возвращает стихии свою стихийную силу». Написано это было в 1935 году, когда стихийность и фанатизм Лютера оказались востребованными. Нацисты умело манипулировали массовым сознанием, используя ту часть наследия Лютера, которую они смогли приспособить для своих целей.

Mea maxima culpa!

Мне довелось штудировать труд раввина доктора Райнхарда Левина «Отношение Лютера к евреям». Книга вышла в Берлине в 1911 году. Автор завершает её такими словами: «Семена ненависти к евреям, которые он посеял, дали при его жизни очень слабые всходы. Но они не исчезли бесследно, напротив, они прорастали спустя столетия; и всегда каждый, кто по каким-либо мотивам выступал против евреев, был уверен, что имеет право торжественно ссылаться на Лютера». Почтенный доктор имел в виду Т.Фриша, который в своём «Катехизисе антисемита» (1887) щедро цитировал поздние памфлеты Лютера. Поддержка мощная, ничего не скажешь.

В 1920-е годы антиеврейские писания Лютера использовал патологический антисемит Гитлер, а двумя десятилетиями позже его именем нацисты станут оправдывать свои зверства против еврейского народа. Во время Нюрнбергского процесса в апреле 1946 года был заслушан нацист-

ский преступник Юлиус Штрайхер, редактор скандальной антисемитской газеты «Штюрмер», которую Гитлер прочитывал от корки до корки. Вот что он заявил суду: «Сегодня на моём месте на скамье подсудимых мог бы сидеть Мартин Лютер, если бы суду было представлено его сочинение «О евреях и их лжи»».

Нацисты охотно прикрывались авторитетом Лютера. Они извлекли из его наследия то, что было им выгодно, закрыв глаза на ту его часть, которая противоречила их идеологии. Геббельс подчёркивал, что они следуют за Лютером в своих оценках евреев, почти ничего не добавляя. Геббельс привычно лгал, ибо Лютер не призывал к убийству евреев, но нацисты действительно использовали антиеврейские сочинения Реформатора как обоснование своих преступных действий.

Вы помните, когда произошёл всегерманский погром, когда запылали синагоги по всей Германии? В так называемую «хрустальную ночь» 9 ноября 1938 года — накануне дня рождения Мартина Лютера. Такой вот «подарок» приготовили «благодарные наци» великому Реформатору. Один из отцов Церкви, поддержавший «новый порядок», Мартин Зассе, епископ Тюрингии, обращаясь к пастве с памфлетом «Мартин Лютер о евреях: вон их!» (вышел стотысячным тиражом), радостно приветствовал «эту акцию, которой увенчалась Богом благословенная борьба нашего фюрера за полное освобождение нашего народа. В эти часы должен быть слышен голос немецкого пророка XVI века, — продолжает он, — который начал по неведению как друг евреев, но затем, движимый своим знанием, опытом и побуждаемый реальностью, стал величайшим антисемитом своего времени, предостерегшим свой народ против евреев». Тёзка отца Реформации, пособник нацистов, прощает Лютеру грех молодости: по неведению, дескать, отнёсся к евреям по-человечески, зато впоследствии полностью искупил грех, теперь он наш.

Антиеврейские советы Лютера долго дожидались своего часа. При Гитлере они были претворены в жизнь. Плох тот ученик, который не мечтает превзойти учителя. Нацисты в этом смысле оказались хорошими учениками, они «учителя» превзошли. Лютер не распространял свои советы на крестившихся евреев. Они считались интегрированными в христианское общество. Нацисты не признавали силы крещения, они следовали своим расовым теориям, которые были возведены в закон (Нюрнбергские законы 1935 года). Сейчас апологеты Лютера доказывают, что его юдофобия имела религиозную основу, была проявлением традиционного средневекового мировоззрения. И это так. Он был далёк от расовых теорий, составляющих основу современного антисемитизма. И это тоже правда. И всё же нельзя не заметить, что различие между юдофобией Лютера и антисемитизмом нацистов не столь уж велико. Это признают немецкие интеллектуалы.

В 1946 году известный немецкий философ Карл Ясперс принимал в Гейдельберге молодого американского писателя. Тот пытался говорить о великой немецкой культуре, упомянул было Гёте, Лессинга, но Ясперс прервал его: «Оставьте, этот чёрт давно сидит в нас. Хотите взглянуть на ис-

точник? — и, обернувшись к полке, он снял книжку Лютера «О евреях и их лжи». — Вот он! Здесь уже вся программа гитлеровского периода. Что Гитлер делал, то Лютер советовал, разве что кроме убийств в газовых камерах».

Отвратительный портрет еврея, который создал Лютер, несомненно, повлиял на общественное мнение, поддерживая если не ненависть, то неприязнь к евреям в немецкой среде. Об истории и исторических личностях не говорят в сослагательном наклонении, но если бы Лютеру довелось узнать всю правду о Холокосте или хотя бы посетить Освенцим, вряд ли он бы сказал: «Их кровь тоже на мне...» Скорее до смертного часа покаянно бы повторял: — *Mea culpa, mea maxima culpa!* (слова из молитвы на латыни — *Мой грех, мой великий грех!*) и, быть может, отрёкся бы от своих «советов»...

В 1983 году Германия отметила пятисотлетие со дня рождения Лютера. Юбилей этот был не похож на другие: ни шумных торжеств, ни новых памятников. И всё из-за отношения юбиляра к евреям. Немцы не могут гордиться и славить Лютера после Холокоста, как славил его Генрих Гейне. Он оказался запятнан. Как же быть с национальным гением? Неужто отдать его нацистам? Спустя два года после юбилея вышел из печати толстенный том статей «Мартин Лютер и евреи — Евреи и Мартин Лютер». Его предваряет вступительное слово Иоханнеса Рау. Похоже, это его речь на юбилейном собрании. Читая «Слово», почти физически ощущаешь, как мучительно немцам касаться столь непростой темы. Немалое мужество нужно иметь, чтобы публично оглашать эту неприятную, если не сказать постыдную, страницу родной истории, куда легче промолчать, перелистнуть или, как здесь говорят, сунуть её под ковёр.

«Сегодня мы должны сказать, хотя нам невыносимо это слышать, что у Аушвица (Освенцима. — Г.И.) есть христианская предыстория, — говорит Рау. — Мы не можем после Аушвица не думать о том, что евреи умирали не только от ядовитых газов в его камерах, но также из-за антисемитского ядовитого облака, которому уже сотни лет». Сотни лет ждали евреи этого слова.

Когда Вилли Бранд встал на колени на месте бывшего варшавского гетто, он каялся и просил простить не нацистов, а немецкий народ, стало быть, и Мартина Лютера. Зная, кем был Лютер и каков он был, никто не вправе проклинать его и предавать суду истории, но дать честную оценку его заблуждениям необходимо. Столь же важно восстановить историческую справедливость по отношению к евреям. К этому призвал Иоханнес Рау, ссылаясь на пример немецкого теолога Карла Барта, который сразу встал в оппозицию к Гитлеру, эмигрировал в Швейцарию в 1935 году, а в 1945 году сформулировал свои тезисы о коллективной вине немцев. Рау напомнил напутствие Барта тем, кто сегодня продирается сквозь тернии своей истории. По мысли Барта, сегодня нужно открыто сказать: еврей — естественный исторический памятник любви и верности Божьей, конкретное воплощение Его избранничества и милости, живой комментарий к Ветхому Завету и к тому же единственное убедительное, помимо Библии, свидетельство о Боге. Барт подчёркивает: «Чему мы хотели бы его учить, чего бы он уже не знал, чему, скорее, мы должны были бы у него

учиться?!» Рау согласен с подходом Барга. Без пересмотра и переоценки несправедливого лютерова и собственного отношения к евреям невозможен еврейско-христианский диалог, который только-только начинается.

А действительно ли он так необходим немцам, этот диалог с евреями? Ответом сомневающимся может служить маленькая, но весьма существенная деталь из разговора Фридриха Великого с Вольтером, которую так к месту напомнил Иоханнес Рау: «Приведите мне хоть одно доказательство существования Бога!» — потребовал прусский король. «Ваше величество, евреи», — отвечивал французский философ. Исчерпывающий ответ, не так ли?

ОЧКИ, ОТШЛИФОВАННЫЕ БАРУХОМ СПИНОЗОЙ¹



«Спиноза».
М. Антокольский.
Мрамор

Самым благородным и привлекательным из великих философов назвал Спинозу наш современник Бертран Рассел. Чем же влечёт к себе этот мыслитель, родившийся и умерший в далёком XVII столетии? Вот как отвечает на этот вопрос Генрих Гейне: «При чтении Спинозы нас охватывает то же чувство, что и при созерцании великой природы в её пронизанном жизнью покое. Лес возносящихся к небу мыслей, цветущие вершины которых волнуются в движении, меж тем как непоколебимые стволы уходят корнями в вечную землю. Некое дуновение проносится в творениях Спинозы, поистине неизъяснимое. Это как бы веяние грядущего. Дух еврейских пророков ещё покоится, быть может, на их позднем потомке. Притом в нём чувствуется сосредоточенность, какая-то самоуверенная гордость, какая-то величавость мыслей: она также кажется унаследованной, ибо Спиноза принадлежал к тем семьям-мученикам, которые в те годы изгонялись ультракатолическими королями из Испании. С этим сочетается ещё терпение голландца, также никогда не изменявшее этому человеку ни в жизни, ни в его произведениях». Таким предстаёт Спиноза и его учение в очерке Генриха Гейне «К истории религии и философии в Германии».

Барух Спиноза (правильнее д'Эспиноза, 1632–1677), один из величайших философов мира, родившийся и умерший в Голландии, по крови и воспитанию был евреем. Он не перестал им быть и после *херема* (проклятия, отлучения от общины), который был наложен на него в 1656 году. Отлучённый Спиноза не перешел в христианство. Многие в его жизни, полной перипетий, загадочно. Сама его личность окружена легендами, которые при ближайшем рассмотрении являют свою несостоятельность. Репутация безбожника и опасного «матерьялиста», тянущаяся за ним, как шлейф, из века в век, обеспечила терпимость ревнителёв советской идеологии, они его не «клевали», как философов-идеалистов, начиная с Платона и кончая Лосевым, но и не читали.

Стоит читать работы Спинозы — и эта ложная репутация рушится. Теорема 15 его знаменитой «Этики» звучит так: «Всё, что только суще-

¹ Опубликовано в журналах: 22. Тель-Авив, 2002. № 123; *Слово/Word*. Нью-Йорк, 2005. № 46.

ствует, существует в Боге, и без Бога ничто не может ни существовать, ни быть представляемо». Согласитесь, назвать атеистом человека, написавшего эти слова, можно лишь по злему умыслу. А Спиноза не просто выдвигает тезис, но доказывает свою теорему, используя при этом привычную терминологию своих противников-схоластов: все эти субстанции, модусы, акциденции, бесконечные величины. К этим терминам прибегал и его ближайший предшественник, восставший против догматической схоластики, Декарт, которому Спиноза многим обязан. Новалис называл Спинозу человеком, «опьянённым Богом», а спинозизм — «перенасыщением Божеством».

Почти все задаются вопросами: в чём причина отлучения и каковы его последствия? Юный Спиноза блестяще закончил в Амстердаме обычную школу, которая славилась в еврейском мире. Он прекрасно знал Библию, Талмуд, религиозную философию, древнееврейскую поэзию. Не забудем, что среди его сочинений имеется «Очерк грамматики еврейского языка». Вне школы он изучал, помимо родного испанского, португальский (в ту пору — язык общины), голландский и латинский языки. Посещая школу латинского языка известного вольнодумца ван ден Энде, он основательно изучил математику и естествознание, приобщился к основам древнегреческого языка. Латинский язык вывел Спинозу за пределы иудаизма, на латинском написано его раннее сочинение «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье» (1658–60). Он станет зачинателем библейской критики, опередив тюбингенскую школу на два столетия. Забегая вперёд, можно сказать, что, подвергнув Священное Писание историческому исследованию, Спиноза пришел к заключению, что Библию нельзя рассматривать как Слово Божье, продиктованное Богом. Это, по его мнению, человеческий документ, составленный разными авторами, в разное время и при различных обстоятельствах. Но она остаётся Словом Божиим в истинном значении этого слова, т.е. в том смысле, что в ней проповедуется истинная религия. А сущность религии заключается, по его мнению, не в следовании догмам, не в строгом соблюдении обрядов, но в любви к Богу. Лучшее выражение этой любви — благочестие и послушание, ведущие к добродетельной жизни. Эти мысли он изложит в своём «Богословско-политическом трактате» (1670) и разовьёт в «Этике» (издана после его смерти в 1677 г.).

Крамольные идеи бродили в его голове с юности, и он делился ими с друзьями. Смелость и независимость суждений молодого философа, видимо, навлекли на него гнев всемогущих общинных старейшин. В обосновании херема говорится, что Спиноза распространял чудовищно ложные учения и не поддавался никаким увещаниям. Действительно, не в его характере было отступаться от того, что он считал правильным. В ту пору херем в испано-португальских общинах был частым явлением: его использовали как средство поддержания дисциплины, им наказывали и за меньший грех, нежели инакомыслие (а таковым в глазах раввинов-ортодоксов являлось отступление от буквы Талмуда и тем более неортодоксальное понимание божественной сущности). Любое неповиновение грозило отлучением от общины. И далеко не каждое отлучение заканчивалось столь трагически, как в случае с Уриэлем Акостой.

Спиноза, в отличие от несчастного Акосты, не был в Голландии чужаком, и то, что соплеменники от него отвернулись, не сделало его изгоем. В Амстердаме он был душой кружка образованных людей, куда входили врач и писатель, лютеранин Майер и доктор медицины Боуместер, доктор Шуллер, родом немец, и купец Иеллес, владелец типографии и книжной лавки Ян Риувертс и Симон де Фрис. Последний предложил сделать Спинозу своим наследником. Философ отклонил предложение, однако согласился принимать от друга 300 гульденов ежегодно. Кружок *спинозистов* продолжал изучать и пропагандировать идеи учителя (а учитель был подчас моложе своих последователей!) и после его отъезда из Амстердама. Изгнанный из города по требованию руководства общины, Спиноза поселился неподалеку в деревушке Оверкерк, где его поддерживали друзья. Здесь он провёл несколько месяцев, после чего вернулся в город. Чем жил Спиноза в дальнейшем? Не желая всецело зависеть от друзей (отец его умер за два года до отлучения, и связи его с семьей оборвались), он научился шлифовать стёкла и достиг такого мастерства, что оптики охотно покупали его товар. Остальное время было заполнено научными и философскими занятиями.

Спиноза имел слабое здоровье, унаследовав от рано умершей матери туберкулёз. Он знал о своей болезни, потому отказался от мысли жениться, вёл жизнь скромную и размеренную. Бедность не угнетала его, он научился довольствоваться малым, более всего ценил возможность познания и независимого труда. Цена единения, он не был анахоретом, он был и всегда оставался любезным, благовоспитанным, полным достоинства человеком, общения с ним искали. В Амстердаме он провёл четыре года, покинул его добровольно в 1660 году, три года прожил близ Лейдена, а затем переселился в предместье Гааги.

В Амстердаме в 1663 году были опубликованы «Основы философии Декарта», единственное произведение, которое вышло при жизни автора под его именем. Финансировал издание Иеллес, а предисловие написал Людовик Майер, разъяснив особенности «геометрического метода» Спинозы. Книга выросла из лекций, которые он читал единственному ученику (бывают же такие счастливычки!), студенту теологического факультета Лейденского университета, сыну зажиточного амстердамского купца, который ради постоянного общения с учителем поселился в одном доме с философом.

Почему именно о Декарте вёл Спиноза беседы со своим учеником? Великий философ, математик, физик и физиолог Рене Декарт (1596–1650), всемирно известный своим постулатом: «*Cogito, ergo sum*» («Мыслю, следовательно, существую»), был старшим современником Спинозы и в известной степени соотечественником. Француз по рождению, Декарт всю сознательную жизнь провёл в Голландии, по образованию и благосостоянию превосходившей в ту пору другие европейские государства. Тихая, молчаливая страна была подходящей почвой для занятия философией. Её республиканское устройство способствовало свободомыслию. Учение Декарта, его «новая философия» (в её основе — дуализм души и тела, «мыслящей» и «протяжённой» субстанций) завоевали умы голландской про-

фессуры. Не только в голландских, но и в бельгийских и ближайших к Голландии университетах Германии преподавание философии было преобразовано в духе учения Декарта. Не занимая кафедры, он первым заявил о самостоятельности философии как науки. До этого философию изучали как придаток теологии, курсы богословия и философии читали одни и те же профессора.

Философия Декарта способствовала становлению Спинозы-философа. Он развил идеи Декарта; пытаясь решить вопросы, поставленные гением Декарта, он создал собственную систему философии. У Декарта он заимствовал математический метод изложения, который придал его сочинениям чёткую, ясную форму. О Боге, о душе, о человеческих влечениях он пишет так, как если бы речь шла о линиях, поверхностях, геометрических телах. Гейне считал геометрическую аргументацию недостатком Декарта и Спинозы. Но математика из всех наук была в ту пору наиболее авторитетной.

При параллельном чтении сочинений двух философов выявляются и различия позиций: в то время как Декарт придерживался дуализма, исходил из предпосылки существования двух субстанций — материи и духа, или бытия и сознания, Спиноза был монистом, т.е. отстаивал принцип абсолютного их единства. Согласно его учению, бытие и сознание — атрибуты одной субстанции, имя которой — Бог. Мир, по Спинозе, тождествен Богу. Бог действ. правит миром сверху, как системой, отдельной от Него. Бог пантеиста Спинозы пребывает в самом мире, ибо Он и есть мир.

Идея монизма не нова. Спиноза мог почерпнуть её из еврейской философии. Хотя его пантеистическая система противоречит традиционным еврейским верованиям (как еврей, разошедшийся с ортодоксальным иудаизмом, он даже попал в монографию Льва Полякова «История антисемитизма»), он стоит в ряду еврейских философов Нового времени, открывая ряд либеральных интерпретаторов иудаизма. Его идеи сложились под влиянием еврейских мыслителей Средневековья. Иоэль в своей книге «К генезису учения Спинозы» (1871) указал на зависимость Спинозы от религиозного еврейского философа Хасдая Крескаса, жившего в Барселоне в XIV веке и поколебавшего непогрешимость аристотелевского учения. Бог, согласно Крескасу, есть абсолютное добро, и природа Его состоит в вечном излучении благодати. Здесь учения Спинозы и Крескаса пересекаются.

Еврейских источников, откуда мог черпать Спиноза, немало. Крескас полемизировал с Маймонидом, выдающимся еврейским философом XII века, а Спиноза его не раз сочувственно цитирует. Маймонид утверждал единство Бога, полагал, что Бог есть субстанция, а материя и дух — Его творение. Греческая философия признавала первичную материю субстанцией наравне с божественной — будучи язычниками, эллины не признавали единого Бога. Маймонид, возражая Аристотелю, поставил материю в подчинённое положение по отношению к Богу.

Ещё дальше пошёл еврейский мыслитель XII века Гебироль, которого называют «еврейским Платоном»; его идеи были знакомы Спинозе через кабалистику. Гебироль утверждал, что материя есть эманация Бога, а потому ей присуща и духовность, но она менее духовна, чем мир интеллекта.

Спинозе были известны и теории сторонника Аристотеля Герсонида, еврейского философа, астронома, математика и врача XIV века, под высказыванием которого: «Тора не может запретить нам считать верным то, признания чего требует наш разум» — он готов был подписаться. Герсонид в свое время также был объявлен еретиком, что делало его особенно близким «маленькому еврею из Амстердама» (Гейне). Связь Спинозы с еврейской философской мыслью сильнее всего сказывается в его главном сочинении — «Этике». При меньшей научной эрудиции он обладал большей последовательностью, чем Декарт, у него сильнее было развито интуитивно-мистическое начало.

Везде Спинозу окружали друзья и почитатели, среди них встречались и знатные люди, и настоящие учёные, один из них — естествоиспытатель Христиан Гюйгенс, с которым Спинозу сближал интерес к Декарту и к механике (к тому же Гюйгенс умел отлично шлифовать оптические стёкла). По приглашению французского правительства (а значит, самого Людовика XIV) Гюйгенс переехал в Париж, где стал членом только открывшейся Академии наук, но его переписка со Спинозой продолжалась.

Близким другом Спинозы был Генрих Ольденбург, княжеского рода, представлявший Нижнюю Саксонию в Англии и ставший учёным секретарём лондонского Королевского общества (английской Академии наук). Он посетил Спинозу в его скромном сельском жилище, их переписка длилась семнадцать лет. «Люби меня, как я тебя люблю», — заканчивает Спиноза одно из писем к Ольденбургу. Ольденбург всего на три месяца пережил своего друга.

Значительную роль в жизни Спинозы сыграл Ян де Витт, лидер республиканской партии, вставший во главе Голландии в очень неспокойное время, в 1653 году. Страна только вышла из войны с кромвелевской Англией, понеся огромный ущерб. Неожиданная смерть Вильгельма II, лидера партии принцев Оранских, позволила прийти к власти республиканцам. Ян де Витт и его старший брат Корнелиус сумели добиться экономического подъёма Голландии и победы в новой войне с Англией, где в это время королевская власть была уже восстановлена. Это возбудило зависть и алчность французского короля Людовика XIV. Вначале его войска заняли Фландрию (по сей день жители старинного Брюгге не могут говорить спокойно об этих событиях), затем король-солнце вторгся в Голландию и захватил треть её территории, обосновавшись в Утрехте. Растерявшегося Яна де Витта отстранили от власти, власть перешла к молодому принцу Оранскому, который и впрямь стал спасителем отечества. Оранжевисты распространяли клеветнические слухи об измене Яна и Корнелиуса де Витт, и они были растерзаны науськанной озверевшей толпой. Случилось это 29 июня 1672 года чуть ли не на глазах Спинозы. Это был едва ли не единственный случай, когда он, будучи не в силах ничем им помочь, плакал от отчаяния.

Общение с мудрым правителем, каким, несомненно, был де Витт, его покровительство помогли Спинозе закончить и анонимно (!) опубликовать «Богословско-политический трактат». Ради этого он переехал в Гаагу в 1670 году. Его сосредоточенность на Ветхом Завете и истории еврейского

народа, библейская критика дали основание думать, что трактат написан в ответ на наложенный на него херем, однако последующие исследования доказали обоснованность этих предположений. Спекулятивный, т.е. умозрительный склад ума, созерцательность Спинозы не отменяли его интереса к современности. Между тем злобой дня являлось вторжение кальвинистского духовенства в государственную жизнь и его претензии на исключительную и руководящую роль в области умственной жизни. При этом свои непомерные притязания церковники основывали на авторитете Ветхого Завета, к которому они апеллировали, себя же они уподобляли библейским пророкам. Спиноза, живший в стране, которой управляли свободомыслящие и веротерпимые люди, понимал опасность партии оранжистов, которую поддерживали клерикалы, потому он выступил против иерархов Церкви в интересах свободной общественности. Направляя свою критику на библейских пророков, Спиноза метил в кальвинистов. Целью трактата было раз и навсегда установить отношения между религией и разумом, государством и Церковью. Спиноза доказал, что философия не имеет ничего общего с теологией и никак не может быть её прислужницей. Он отстаивал свободу мысли, свободу совести. Религия, которой он не отрицал, есть в его философско-этической системе религия разума.

Макс Даймонт в своей книге «Евреи, Бог и история» пишет: «Еврейский психиатр Зигмунд Фрейд приподнял завесу над тайнами человеческого разума. Открытие психоанализа революционизировало все представления человека о самом себе и об отношении духа к материи. За три столетия до Фрейда еврейский философ Барух Спиноза провозгласил освобождение философии от мистики, открыв тем самым путь к рационализму и современной науке».

Книга Спинозы вызвала в Европе настоящую бурю. Ярости богословов не было границ, они первыми обвинили анонимного автора в атеизме: «Автор построил здание своего атеизма с искусством сатаны». Картезианцы (последователи Декарта) поспешили отмежеваться от этого сочинения, чтобы снять с себя ответственность. Переведенная на голландский язык, книга была запрещена и конфискована сразу же после издания в 1671 году. Спустя три года она была осуждена специальным указом нового правителя. Продолжая работать над «Этикой», Спиноза не рассчитывал увидеть её опубликованной. Она была известна в рукописи его друзьям и ученикам.

Тем не менее, известность Спинозы росла. Неожиданно он становится объектом внимания двух монархов Европы. Спустя три недели после гибели братьев де Витт принц Конде, главнокомандующий французскими оккупационными войсками, приглашает Спинозу в Утрехт, где ему обещают высокое покровительство при условии, что он посвятит одно из своих сочинений французскому монарху. Ответив, что он посвящает свои сочинения только истине, Спиноза возвращается в Гаагу. Полгода спустя он получает предложение курфюрста Пфальцкого занять место ординарного профессора философии в Гейдельбергском университете. Профессор богословия Фабрициус в письме, написанном по поручению Карла Людовика, обещает: «Вы будете пользоваться совершенной свободой философствования; он

(курфюрст. — Г. И.) только надеется, что вы не злоупотребите этой свободой для подрыва и нанесения вреда господствующей религии». Но и это лестное предложение Спиноза отклоняет.

«Этика, доказанная в геометрическом порядке» состоит из пяти частей, в которых трактуется: I. О Боге; II. О природе и происхождении души; III. О происхождении и природе аффектов; IV. О человеческом рабстве, или О силах аффектов; V. О могуществе разума, или О человеческой свободе.

Пантеистическое мировоззрение Спинозы рационалистично, т.е. это воззрение, видящее в разуме сущность человека. Определяя смысл человеческой жизни, а ради этого пишется книга, Спиноза исходит из понятия Бога. Завершая первую часть своего труда, «окаянный безбожник» Спиноза пишет: «Я раскрыл, таким образом, природу Бога и его свойства, а именно — что он необходимо существует; что он един; что он существует и действует по одной только необходимости своей природы; что он составляет свободную причину всех вещей и каким образом; что всё существует в Боге и таким образом зависит от него; что без него не может ни существовать, ни быть представляемо; и, наконец, что всё предопределено Богом и именно не из свободы воли или абсолютного благоизволения, а из абсолютной природы Бога, иными словами, бесконечного его могущества».

Бывшие граждане страны Советов, «мы диалектику учили не по Гегелю», а потому многие положения спинозовой «Этики» повергнут нас в изумление. Читателя ожидает там много неожиданных открытий.

Человеческая душа, по Спинозе, есть часть мировой души. Человек не способен действовать по свободной воле, ибо все его поступки (как, впрочем, и бездействие) определяются единым, всеобъемлющим бытием, иначе говоря — Богом. По формальной логике, Спиноза вроде бы приходит к полному отрицанию нравственности, поскольку у человека, по его мнению, отсутствует внутренняя ответственность за свои действия. Но плодотворность теории Спинозы для этики как раз и заключалась в том, что он различал разумные действия и действия под влиянием аффектов. Человек, подчинённый аффектам, или страстям души, не свободен в своих действиях. Причиной аффектов — вражды, зависти, страха, скорби и др. — являются заблуждения, невежество. Чтобы достичь свободы, нужно совершенствовать свой разум. Свобода заключается в познании, в укрощении аффектов, наконец, в успокоении души, которое рождается от созерцания Бога. Спиноза заметил и то, что аффекты, подобно мыслям, могут быть рациональными и иррациональными, полное развитие человека требует рациональной эволюции обеих сторон и мысли, и аффекта. И в этом убеждении Спиноза опередил философов-просветителей. Истинное познание природы страстей освобождает и исцеляет от них, так достигается свобода.

Вот некоторые из «теорем» Спинозы:

Любовь и желание могут быть чрезмерны.

Весёлость не может быть чрезмерной, но всегда хороша, и наоборот — меланхолия всегда вредна.

Ненависть никогда не может быть хороша.

Аффекты превозношения и презрения всегда дурны.

Величайшее самомнение или самоуничужение есть величайшее незнание самого себя.

Объятый самомнением любит присутствие прихлебателей или льстецов, присутствие же людей прямых ненавидит.

Кто руководствуется страхом и делает добро для того, чтобы избежать зла, тот не руководствуется разумом.

Сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно.

Раскаяние не составляет добродетели, иными словами, оно не возникает из разума; но тот, кто раскаивается в каком-либо поступке, вдвойне жалок и бессилен.

Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни.

Человек свободный, живущий среди невежд, старается, насколько возможно, отклонять от себя их благодеяния.

Одни только люди свободные бывают наиболее благодарными по отношению друг к другу.

Человек, руководствующийся разумом, является более свободным в государстве, где он живёт сообразно с общими постановлениями, чем в одиночестве, где он повинуетя только самому себе.

Уверена, что некоторые из «теорем» вызовут недоумение, несогласие, в частности осуждение раскаяния и сострадания как неразумных и недобродетельных аффектов. Но это вполне в духе Спинозы: он считал, что человеколюбие должно проистекать из разума, а не из аффекта. Самое интересное следить за доказательствами теорем, не стану лишать читателя этого удовольствия. Читайте «Этику» Спинозы!

Спиноза учит нравственному совершенствованию. В его основе — знание и познание. Познание сопряжено, по его разумению, с радостью и блаженством. Блаженство — это не награда за добродетель, это сама добродетель. Высшее блаженство заключено в усовершенствовании общества, которое должно заботиться о духовном и телесном здоровье своих граждан, особенно молодёжи. Спиноза первым стал создавать не только индивидуальную, но социальную этику, при этом он принадлежал к философам, которые объясняли мир, и никогда не претендовали на то, чтобы изменить его. Он не давал конкретных рекомендаций. В нескольких теоремах он представил тип будущего общества с его требованиями гуманности и справедливости. Нынешняя модель западной цивилизации учла эти фундаментальные идеи Спинозы, но лишь в самом общем виде. Современный мир озабочен и обеспокоен духовным и телесным здоровьем/нездоровьем молодёжи. Непохоже, чтобы те, от кого зависит усовершенствование общества, достигли сегодня хотя бы первой ступени блаженства. Правда, Спиноза в том неповинен.

Спиноза в своей «Этике» знал лишь Бога и человечество, в ней не осталось места национальным различиям. По словам Альберта Эйнштейна, Спиноза был творцом «космической религиозности». Лишь в глазах несведущих потомков он прослыл атеистом.

Интерес к Спинозе пробудился в Германии в конце XVIII века. К тому времени немецкие философы переросли деизм, который ещё находил поддержку у французских энциклопедистов, в частности у Вольтера, насмеявшегося над Спинозой. В 1785 году президент Баварской академии, религиозный философ Фридрих Якоби, в ту пору ещё близкий друг Гёте, опубликовал трактат «Об учении Спинозы. Письма господину Мозесу Мендельсону», предварив его гётевским «Гимном о Прометее». Якоби изложил в трактате свой последний разговор с Лессингом, во время которого он прочёл Якоби гётевского «Прометеея». Вот отрывок из трактата: *«Лессинг: Позиция, с которой написано это стихотворение, — это моя собственная позиция. Ортодоксальные представления о Божестве теперь уже не для меня. Я не могу ими довольствоваться. Одно и всё. По-иному я не мыслю. То же имеется в виду и тут. Должен сказать, что стихотворение мне очень нравится. Я: Значит, вы более или менее согласны со Спинозой? Лессинг: Если надо быть согласным с кем-то, то я не мог бы назвать никого другого».*

Мендельсон, друг Лессинга, из желания защитить его от обвинений в спинозизме, то бишь в атеизме, возразил Якоби. Разгорелся спор. Гёте в письме Якоби пишет: «Гердера (немецкий историк, философ-просветитель. — Г.И.) очень развлекает мысль, что я по этому случаю пойду вместе с Лессингом на костёр». Гердер не раз отмечал «заикленность» Гёте на Спинозе: «Хоть бы раз Гёте взял в руки какую-нибудь другую латинскую книгу, кроме Спинозы!» Гёте был не одинок в своём увлечении: пантеизм стал тайной религией молодых поэтов и философов-романтиков. Их время было уже не за горами. В «споре о пантеизме», а фактически в полемике о Спинозе приняли живейшее участие Гёте, Форстер, Кант. Молодой Шеллинг пишет Гегелю, с которым он в одно время обучался в Тюбингенском университете: «За это время я стал спинозистом, ты скоро узнаешь, каким образом».

Якоби, открывший полемику с Мендельсоном, видел в системе Спинозы атеистический фатализм, она была для него лишь собранием формул, построением разума. Якоби же был, по словам Гегеля, «предводителем партии непосредственного знания, веры, человеком, полностью отрицающим значение рассудка». Вот почему Гёте со временем отошёл от Якоби. Гейне запальчиво назвал Якоби «старой маркитанткой религиозной армии». Но это отнюдь не окончательный приговор.

Для Гёте было чрезвычайно важно, что Спиноза подтвердил неразрывную связь Бога и природы. Этот философ обусловил ценность и достоинство единичных явлений тем, что установил обратную связь их бытия с божественной субстанцией. Это пусть Гегель считает, что «учение Спинозы было философией субстанциальности, а не пантеизмом» («Лекции по философии религии»), а для него, Гёте, Спиноза прежде всего философ, убедительно идентифицирующий Бога с природой.

Природа, по мнению Гёте, средство к успокоению современной души, вечный животворящий родник. «Природа немедленно отвергает как несостоятельного всякого, кто изучает и наблюдает её недостаточно чисто и честно». Прачувство живого бытия, единого в Боге, которое было ведомо и Спинозе, запечатлел Гёте в стихотворении зрелой поры:

Когда в бескрайности природы,
Где, повторяясь, всё течёт,
Растут бесчисленные своды
И каждый свод врастает в свод,
Тогда звезда и червь убогий
Равны пред мощью бытия,
И мнится нам покоем в Боге
Вся мировая толчея¹.

На Гёте производили впечатление не только спокойная строгость и точность в аргументации «Этики», но и сама личность Спинозы, и его жизнь, такая простая, достойная и гордая. В автобиографической книге «Поэзия и правда» Гёте отдал дань уважения этому «гению знания» и «самому чистому мудрецу», как позже назовёт Спинозу Ницше. Предоставим слово Гёте, ведь лучше не скажешь: «Этот великий ум, так решительно на меня воздействовавший и оказавший такое влияние на весь строй моего мышления, был Спиноза. После того как я везде и всюду тщетно искал средство, которое помогло бы формированию моей неучтимой и прихотливой сути, я напал наконец на его «Этику». Что я вынес из трактата Спинозы и что, напротив, в него привнёс, в этом я не сумел бы дать себе отчёта. Как бы то ни было, он успокоил мои разбушевавшиеся страсти, и словно бы в свободной и необъятной перспективе передо мной открылся весь чувственный и весь нравственный мир. Но, прежде всего, захватило меня в этом мыслителя полнейшее бескорыстие, светившееся в каждом из его положений. Удивительное речение: «Кто доподлинно возлюбил Бога, не станет требовать, чтобы Бог отвечал ему тем же», со всеми предпосылками, на которых оно основывается, со всеми следствиями, которые из него вытекают, заполнило все мои мысли... Всё уравнивающее спокойствие Спинозы резко контрастировало с моей всё будоражащей душевной смутой, его математическая метода была как бы зеркальным отражением моего образно-поэтического мышления, и его строго теоретическая метода истолкования, которая многими считалась недопустимой в применении к нравственным проблемам, как раз сделала меня его верным учеником и страстным почитателем».

Спиноза укрепил веру автора «Фауста» в божественное начало в этом мире, но при этом Гёте характеризовал себя как «решительного нехристианина». «Предпосылкой христианского мирозерцания — дьявола и первоначального греха — Гёте не принимал, следуя своему учителю Спинозе», — пишет, сокрушаясь, русский богослов Сергей Соловьев в статье «Гёте и христианство».

Когда Гёте впоследствии приступил к исследованиям мира и природы, знание, почерпнутое им у Спинозы, продолжало расти и развиваться и достигло со временем полного расцвета. Гёте был обязан Спинозе не только как мыслитель, но и как поэт. «Гёте был Спинозой поэзии», по словам Гейне. «Учение Спинозы вылетело из математической куколки и порхает вокруг нас в виде гётевской песни. Отсюда ярость наших ортодоксов и пиетистов против песен Гёте». (Гейне)

¹ Перевод А. Ревича.

Спинозизм Гёте имел глубокие последствия, ибо влияние такого великого ума на духовную жизнь немцев и человечества было значительным, а с этим влиянием приобретало господство над умами и учение Баруха Спинозы.

Спиноза сыграл заметную роль в философской революции, которую переживала Германия на исходе XVIII века. Он стал её соучастником благодаря молодому Шеллингу, на первых порах ревностному продолжателю Спинозы. «Шеллинг вновь восстановил природу в её законных правах, он стремился к примирению духа и природы, он хотел восстановить их в предвечной мировой душе» (Гейне). Учение Спинозы и натурфилософия, как её обосновал в молодости Шеллинг, по существу, представляют одно и то же. Он понимает натурфилософию как «спинозизм физики». Он пробует писать, используя математическую форму *a la Spinoza*. Ум Шеллинга, строгая мысль влекут его к автору «Этики». Но когда в 1801–1802 гг. он изложил в нескольких статьях свою философию, теоретик йенских романтиков Фридрих Шлегель откликнулся так: «Это действительно спинозизм. Но без любви, то есть без того единственного, что я ценю в Спинозе». Через несколько лет он повторит свой приговор: «Он вполне владеет буквой Спинозы, но только ею. Духа же Спинозы, а именно любви и красоты, короче говоря, того в Спинозе, что несравненно лучше его системы, в нём нет и следа». Шлегель в своих оценках не объективен, он увидел в Шеллинге только логику. Между тем Шеллинг не был панрационалистом, подобно Гегелю. Да, Шеллинг метался между Спинозой и Платоном, между Фихте и Кантом. Ум с сердцем были у него явно не в ладу. Если Гёте был поэтом-мыслителем, то Шеллинг чем далее, тем больше становился мыслителем-поэтом, разумеется, не для того чтобы угодить Шлегелю, просто он был одарён от природы склонностью к поэзии. Даже отойдя от натурфилософии, Шеллинг не устал пропагандировать спинозизм. В мюнхенских лекциях 1827 года встречаем его признание: «Спинозизм, невзирая на множество нападок и мнимых опровержений, никогда не становился чем-то пройденным в подлинном смысле слова, никогда не был по-настоящему преодолен, и, должно быть, никто не может надеяться достичь в философии истины и совершенства, не погрузившись хотя бы отчасти в своей жизни в бездну спинозизма». Он был пророком науки, который инстинктивно, по вдохновению овладевает истиной. Такие гении системы, как правило, не создают. Величайшую философскую систему смог создать товарищ студенческой юности Шеллинга рационалист Гегель.

Гегель довольно часто цитирует Спинозу, ссылается на него, полемизирует с ним и идёт дальше. Шеллинг, по его мнению, потерпел неудачу, поскольку «Спиноза не занимался натурфилософией, он трактовал другую часть конкретной философии — этику», откуда невозможно было извлечь метода, столь необходимого для науки о природе. Гегель ясно понял и указал на противоположность между философией Спинозы и материализмом. Материализм принижает дух до поглощающей его материи и тем самым разрушает основу нравственного воспитания человеческого рода. Спиноза одухотворяет материю и всё подчиняет возвышенному нравственному за-

кону: «Высшее определение, предназначение человека — это его направленность к Богу, чистая любовь к Богу, как говорит Спиноза, *sub specie aeternitatis*¹. Гегель своим авторитетом перечеркнул ложный знак равенства между спинозизмом и атеизмом и снял клеймо безбожника с «маленького амстердамского еврея». Советские идеологи, о которых шла речь выше, читали Гегеля очень избирательно, они прошли мимо его суждений о Спинозе.

Споры, которые велись в философских и окологосударственных кругах Германии в начале XIX века, выявили разброс мнений относительно учения Спинозы. Оказалось, есть такие разные спинозисты! Так, лидер йенских романтиков Фридрих Шлегель в «Разговоре о поэзии» (1800) пишет: «Я едва могу понять, как можно быть поэтом, не почитая и не любя Спинозы, не став вполне его приверженцем. Спустя шесть лет в письме брату Августу, тоже романтику первого призыва, он признаётся: «Я никогда не перестану восхищаться самим Спинозой, законченной формой его духа, его величием и красотой. Но я никогда не признавал спинозизма как единственной философии, как системы, исключающей всё остальное... Спинозизм, если в него верить как в систему и полную истину, разрушает самые благородные силы». Далее он называет ведущих романтиков, причастных спинозизму. А как им не быть ему причастными, если все они были пантеистами, подчас тайными?! Шлегель спокоен за Новалиса, который в своей сосредоточенности на загадках природы, в своих мистических озарениях добился «полной метаморфозы спинозизма». А вот в будущем Людвиг Тика Шлегель не уверен: «Причина меланхолии и бездеятельности Тика — в том, что он чересчур спинозист». Шлейермахер небезнадёжен. Он — спинозист «на оригинальный манер»: этику Спинозы он хочет сделать религией всех образованных людей.

Мимо Спинозы не мог пройти и Ницше, в своей философии как никто другой сосредоточенный на проблемах морали. Быть может, этот бесконечно одинокий мученик познания лучше других понял трагедию Спинозы, трагедию свободного ума и страдальца «во имя истины». В программном произведении «По ту сторону добра и зла» есть у него строки — предостережения, обращённые к философам, друзьям познания, к этим *рыцарям печального образа*: «Окружите себя людьми, подобными саду... изберите себе *хорошее* одиночество, свободное, весёлое, лёгкое одиночество, которое даст и вам право оставаться ещё в каком-нибудь смысле хорошими! Какими ядовитыми, какими хитрыми, какими дурными делает людей всякая долгая война, которую нельзя вести открыто силой! Какими *личными* делает их долгий страх, долгое наблюдение за врагами, за возможными врагами! Эти изгнанники общества, эти долго преследуемые, злобно травимые, — такие отшельники по принуждению, эти Спинозы или Джордано Бруно — становятся всегда в конце концов рафинированными мстителями и отравителями, хотя бы и под прикрытием духовного маскарада и, может быть, бессознательно для самих себя (доройтесь хоть раз до dna этики и теологии Спинозы!)...»

¹ С точки зрения вечности (лат.).

Ницше, надо думать, удалось «дорваться». Некоторые открытия помогли ему укрепиться в выстраданных им мыслях. В частности, он нашёл союзника в Спинозе в своих, идущих вразрез с большинством, взглядах на проблему сострадания. И в сочинении «К генеалогии морали», которое явилось дополнением к книге «По ту сторону добра и зла», Ницше пишет о том, что разошёлся со своим великим учителем Шопенгауэром в оценке сострадания, самоотречения, самопожертвования, которые Шопенгауэр «так долго озолачивал, обожествлял и опотусторонивал, покуда они не остались у него подобием «ценностей в себе». Ницше видит в этих инстинктах величайшую опасность, приманку и соблазн для человечества.

Предвижу хор возмущенных голосов: «Как?! Разве сострадание не благо? Ведь оно смягчает сердца! Разве не в сострадании весь пафос христианства? А этот Ницше, чего вообще можно ждать от создателя „сверхчеловека“, этой “белокурой бестии”»? Конечно, тем, кто знает Ницше по цитатам, вроде «Толкни слабого!», очень трудно что-либо доказывать. Но всё же предлагаю прочесть афоризм 225 из «По ту сторону добра и зла», который объяснит, о каком «слабом» говорил философ и что он имел в виду под «сверхчеловеком». Предлагаю поразмыслить над его словами о страдании и сострадании: «Воспитание страдания, *великого* страдания — разве вы не знаете, что только *это* воспитание во всем возвышало до сих пор человека?.. В человеке *тварь* и *творец* соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть и творец, ваятель, твёрдость молота, божественный зритель и седьмой день — понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что *ваше* сострадание относится к “твари в человеке”, к тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, — к тому, что *страдает* по необходимости и *должно* страдать? А *наше* сострадание — разве вы не понимаете, к кому относится наше *обратное* сострадание, когда оно защищается от *вашего* сострадания, как от самой худшей изнеженности и слабости?»

Философия самого Ницше явилась гигантским экспериментом саморазрушения «*твари*» в человеке для созидания в нём «*творца*», которого он назвал «сверхчеловеком». Теперь, надеюсь, станет понятно, почему он считал сострадание никчёмным и был рад тому, что Платон, Спиноза, Ларошфуко и Кант, четыре ума, различные во всём, сходились в одном: в низкой оценке сострадания. Впрочем, согласна с тем, что это философствование на лезвии ножа, то есть очень опасно, отсюда легко соскользнуть в бездну.

Подчас Ницше избирает Спинозу не союзником, а оппонентом. Так, в «Весёлой науке», написанной в виде отрывков, фрагмент 333 «Что значит познавать?» открывается словами Спинозы из «Политического трактата». Ницше цитирует его в оригинале, по-латыни, а мы дадим перевод. «Итак, что значит познавать? *“Не смеяться, не плакать, не клясть, а понимать”*», — говорит Спиноза с подобающей ему простотой и возвышенностью. А между тем что же, в сущности, есть это *понимать*, как не форма, в которой нами одновременно воспринимаются перечисленные три дейст-

вия?» По мысли Ницше, познание включает в себя борьбу всех трёх сторон, трёх побуждений. Познание это не примирение побуждений, а организация их отношений друг к другу. Эти побуждения способны терзать друг друга и причинять друг другу боль. «Возможно даже, — заключает Ницше, — что в нашей воюющей душе свершается некое скрытое *геройство*, но наверняка в ней нет ничего Божественного, вечно-в-себе-покоящегося, как полагал Спиноза». Даже к заблуждениям Спинозы Ницше относится как к заблуждениям великого философа.

Зачин из Генриха Гейне задал тон нашей беседе о Спинозе. Позволим же поэту и подвести итоги. Честнее и лучше о значимости наследия философа для Германии конца XVIII–XIX века не сказать: «Все наши новейшие философы, быть может, не отдавая себе в том отчёта, смотрят сквозь очки, отшлифованные Барухом Спинозой».

«НАТАН» ЛЕССИНГА, ИЛИ АПОЛОГИЯ ЕВРЕЙСКОЙ МУДРОСТИ¹

Берлин. 7 сентября 1945-го. Развалины уже не дымятся, но ещё не разобраны. Общественный транспорт по вечерам не ходит. Ещё действует комендантский час. Тем не менее, изголодавшаяся по театральным зрелищам и голодная в прямом смысле слова берлинская публика спешит на торжество. Премьера в *Дойчес-театре!* Фриц Вистен (режиссёр-еврей, выживший в лагере Заксенхаузен) открывает сезон постановкой пьесы Лессинга «Натан Мудрый». Это программный спектакль. В роли Натана — семидесятилетний Пауль Вегенер, известный актёр, прославившийся в спектаклях Макса Рейнхардта.

Как будут реагировать немцы на историю еврея, жена и семеро сыновей которого были сожжены? Зал заполнен отнюдь не пособниками рухнувшего режима, судя по тому, что, когда один из персонажей по ходу пьесы произносит: «И Спаситель наш был иудеем», раздаётся взрыв аплодисментов. Многим из присутствовавших хотелось бы очиститься от скверны, которая покрыла даже тех, чьи руки не запятнаны кровью невинных. Им предстоит трудный расчёт с нацистским прошлым.

Чем продиктован выбор пьесы и как она воспринимается? Как запоздалое признание вины и шаг к искуплению? Почему востребован Лессинг? Что может он, интеллектуал XVIII столетия, сказать современным людям? Сходным вопросом задавался Томас Манн в 1929 году, когда отмечали двухсотлетие просветителя. По случаю юбилея он произнёс антифашистскую речь. Томас Манн усомнился в том, что его соотечественники, не просто питавшие недоверие к разуму, но ныне «утрюмо поклоняющиеся божеству иррациональности», захотят услышать рационалиста Лессинга. Он был прав: не захотели. Бесноватый фюрер оказался массам ближе: объяснял доходчиво, говорил то, чего от него ждали: «Евреи — наше несчастье, все беды от них». Но, кто знает, быть может, Лессинга услышат теперь, когда недавние идолы повержены, разбомблённая и расчленённая Германия лежит в руинах и наступила пора скорбного безмолвия?

Прошёлся по стране — от края и до края —
Безумный меч войны. Позорно умирая,
Хрипит Германия. Огонь её заглох.
На рейнских берегах растёт чертополох.
Смерть перекрыла путь к дунайскому верховью.
И Эльба, чёрною окрашенная кровью,
Остановила бег своих утрюмых вод¹.

¹ Опубликовано в журнале: *Лехаим*. М., 2004. № 1.

Если не знать, что эти стихи Мартина Опица написаны на исходе братоубийственной Тридцатилетней войны, вспыхнувшей в ХУП веке от религиозной нетерпимости, можно подумать, что они созданы в середине ХХ века. Как могло такое статься с ними, с их землёй? Божья кара? Возмездие? Неужели им нужно было пройти через такой кошмар, чтобы наконец прилечь к Лессингу и принять его уроки? Он — первый из немецких писателей, кто хотел, пытался быть ваятелем и воспитателем своей нации. Он мог бы преуспеть, но ведь процесс воспитания, как известно, требует усилий обеих сторон.

Гёте ещё в 1825 году говорил о том, что немцам нужен такой человек, как Лессинг. Дело даже не в его высочайшем интеллекте. Умных и образованных людей не так мало. По словам Гёте, «его величие — в характере, в твёрдости!» Мужеством и бескомпромиссностью отмечен весь путь Лессинга, но явственнее всего эти качества проявились при создании «Натана Мудрого». Нелегко далась ему эта драма. Конечно, трагедия «Эмилия Галотти» куда совершеннее по форме. Но «Натан» — это главное слово, это его духовное завещание немцам, это «Лессинг Лессинга», по выражению Фридриха Шлегеля, одного из немногих, кто по достоинству оценил гений «отца немецкой литературы»: «Тот, кто понимает «Натана», знает Лессинга». Чтобы понять «Натана», нужно проследить путь Лессинга, закономерное завершившийся этой пьесой.

Как шёл Лессинг к «Натану Мудрому», о чём его драма, какова её диалектика? Ответив на эти вопросы, мы поймём, почему Фриц Вистен остановил в 1945 году свой выбор на произведении, написанном драматургом-философом в 1779 году, за два года до смерти. Автор опубликовал её и распространял по подписке, друзья постарались, набралось около трёхсот желающих купить и прочесть пьесу. Кое-кто из его знакомых, прочитав, поджал губы и предпочёл промолчать, а некоторые просто отвернулись. Лессинг так и не дождался её постановки, он не верил в то, что немцы готовы принять «Натана». «Я не вижу ни одного места в Германии, где эта пьеса может быть поставлена сегодня», — написал он в набросках к предисловию. Горькое признание. Смысл пьесы можно понять лишь в контексте религиозно-философских исканий Лессинга и той полемики, которую он вёл с церковниками в последнее десятилетие своей недолгой жизни.

Личность, а стало быть, и жизненный путь Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781) отличаются редкой цельностью: ни метаний, ни скачков, ни зигзагов. Борец по натуре. Страстный полемист. Мощный, глубокий и острый ум. Превыше всего ценил дело, действие: «Человек создан для действия, а не для умствования». По мнению Гейне, он был величайший гражданин в немецкой литературе. Наше старшее поколение помнит строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Этому требованию Лессинг отвечает полностью. Именно потому Черны-

¹ Перевод Л. Гинзбурга.

шевский, главный идеолог русского демократического движения, поставил Лессинга выше Гёте и посвятил ему основательный труд — «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность».

Оценили ли соотечественники его гражданственность? Вышедшая в Германии на исходе XX века книга, где собраны многочисленные документы, рецензии, доклады, отзывы о произведениях Лессинга, названа так: «Лессинг — непоэтический поэт». Такая вот оценка в глазах потомков. И действительно, если задуматься, ведь его творчество — это не чистая поэзия, а скорее смесь литературы, полемики, остроумия и философии. Искусством, богословием, археологией, поэзией, театральной критикой занимался он с равным воодушевлением. Необычайная полнота критического таланта постоянно оплодотворяла художественные стремления Лессинга. Особенно ярко это проявилось в «Натане Мудром».

«Он был живой критикой своего времени, и вся его жизнь была полемикой», — пишет о Лессинге Гейне в своей известной работе «К истории религии и философии в Германии». А между тем предшествующее Лессингу время в Германии было бесцветным, оно отмечено печатью скудоумия, догматизма и убогого провинциализма даже в области поэзии. И вдруг в этом сонном царстве появляются такие титаны, как Лессинг, Гёте, Шиллер, Кант! Этому удивлялся ещё наш Герцен. Лессинг, выделявшийся широтой мышления и видения, полемизировал не только и не столько с теоретиками искусства, сколько с представителями философской мысли, с теологами и церковниками. Он полагался на силу Разума. Лессинг не был восторженным идеалистом, он понимал, что Просвещение в Германии находится лишь в начале своего пути. Даже грамотным немцам недостаёт образования души, человеколюбия. Как просветитель, он воевал с отжившими представлениями и застарелыми, но стойкими предрассудками. С юных лет защищал он идею естественного равенства людей. В одной из ранних пьес, ещё лишённой художественного совершенства, двадцатилетний драматург попытался разрушить и вековое предубеждение немцев против евреев.

Пьеса так и называется — «Еврей». В основу её положен эпизод, характерный для того времени. На барона и его дочь во время путешествия нападают разбойники, от которых их спасает незнакомец (он назван Путешественником), поразивший всех отвагой, благородством манер и изяществом одежды. Необычность ситуации состояла в том, что разбойниками оказались неверные слуги барона, переодетые и замаскировавшиеся под евреев, а спасителем стал настоящий еврей. Барон, не зная этого, готов отдать ему дочь в жёны, но незнакомец признаётся: «Я — еврей!» Барон немало раздосадован этим «роковым препятствием». «Ну и что?! В чём же разница?» — спрашивает девушка. Служанка дёргает её за локоть и шепчет: «Тссс, фрейлейн! Тссс! Я вам потом скажу, в чём разница». Её устами говорит простонародье, сохранившее чуть ли не со времён Средневековья страх и ненависть по отношению к евреям. Эту часть населения идеи Просвещения не затронули, как впрочем, пока не коснулись они и благопристойных бюргеров, и аристократии.

Путешественник произносит монолог, выражающий позицию юного Лессинга. Приведём его без сокращений: «В качестве вознаграждения я не желал бы от вас, господин барон, ничего другого, кроме того, чтобы отныне вы говорили о моём народе в более умеренных выражениях. Я не скрыл от вас мою религию, но, отмечая, что вы проявляете ко мне лично столько расположения, сколько отвращения вы испытываете к моим единоверцам, я счёл достойным вас и меня воспользоваться дружбой, какую я имел счастье внушить вам, чтобы разрушить в вашем сознании несправедливые предубеждения против моего народа».

В европейской литературе традиция негативного изображения евреев была устойчивой. Лишь в эпоху Просвещения такие немецкие писатели, как Клопшток, Виланд, Иффланд, Коцебу стали искать в еврее человеческое начало. Лессинг и здесь опередил многих. Лишь Христиан Геллерт за три года до него в романе «Жизнь шведской графини фон Г.» вывел группу богатых и притом бескорыстных евреев. Один из них спасает мужа графини из русского плена. Но этот первый опыт изображения «добрых евреев» прошёл незамеченным, зато пьеса Лессинга вызвала в немецком обществе полемику.

Насколько трудно преодолеть предубеждение, можно судить по тому, что после опубликования «Евреев» в 1754 году в «Гёттингенских учёных ведомостях» появился отклик на пьесу явно антисемитского толка. Писал просвещённый богослов из лагеря «рационалистов», профессор-ориенталист Йоханн Михаэлис. Рецензент счёл характер главного героя неправдоподобным: такой благородный характер, дескать, просто не мог развиваться в еврейской среде. «Даже заурядная доброта и честность очень редко встречаются между евреями, так что немногие примеры не могут в значительной степени смягчить ненависти (по мнению богослова, вполне заслуженной. — Г.И.) к этому народу».

Лессинг ответил Михаэлису публично, при этом для вящей убедительности он сослался на возмущенное мнение по поводу рецензии своих знакомцев, евреев. Он цитировал письмо своего друга Мозеса Мендельсона, адресованное доктору Соломону Гумперцу, принадлежавшему к известной семье просвещённых придворных евреев (*Schutzjuden*) из Берлина. Именно доктор познакомил молодого драматурга с Мендельсоном, когда пьеса уже была написана, но ещё не опубликована, и встречались они поначалу за шахматной доской. Вот как Лессинг характеризует своего друга: «Он действительно еврей, молодой человек лет двадцати трёх или четырёх (Мендельсон был ровесником Лессинга. — Г.И.), достигший без всякого руководства больших знаний в языках, математике, философии и поэзии. Я предвижу, что он будет чеством своего народа. Его честность и философское направление его ума предвещают в нём нового Спинозу».

В письме Михаэлису Лессинг сообщает кое-что и о себе. Приведём этот набросок ранней автобиографии, он полон самоиронии: «Что особенного, кроме своего имени, может сказать о себе человек не служащий, не имеющий связей, не имевший особенного счастья? Родом я из Верхнего Лаузица (Саксония. — Г.И.), отец мой — пастор в Каменце. Какими похва-

лами я мог бы превознести его, если бы речь шла о постороннем человеке! ...Учился я в Мейсене, потом в Лейпциге и Виттенберге, но если бы меня спросили, чему я учился, ответить было бы трудно. В Виттенберге я получил степень магистра. В Берлине живу я с 1748 года и лишь раз отлучался из него на полгода. Я не ищу себе в Берлине никаких должностей, а живу здесь только потому, что не имею средств жить ни в одном из других больших городов. Если я означу ещё свои лета, коих насчитывается 25, то и кончена моя биография. Что будет дальше, представляю я на волю Провидения».

А дальше было двадцать пять лет активной, но скудно оплачиваемой литературно-критической работы, были лишения, вынужденные переезды, отсутствие семейного гнезда, непонятная болезнь, неудачи и несчастья, интриги врагов, непонимание, клевета, смерть дорогих и близких. Конечно, были и победы, ведь Лессинг по природе был бойцом. Его пера боялись, он знал радость творчества. Огромный успех принесла «Мисс Сара Сампсон» (1755), положившая конец подражанию французам на немецкой сцене и одновременно явившаяся первой «бюргерской трагедией». Однако литературный труд не приносит материального благополучия, и ему приходится искать место службы. Из-за необходимости стабильного заработка Лессинг вынужден покинуть Берлин, а ведь там сложился тесный круг друзей-единомышленников, куда входят потомственный книготорговец и издатель Фридрих Николаи и еврейский философ Мозес Мендельсон. Судьба обрекает Лессинга, человека живого, порывистого, общительного, на духовное и личное одиночество, от чего он и страдал более всего.

Лессинг готов был даже ехать преподавать в неведомую Россию, где основывался Московский университет, уже шли переговоры, но выбор пал на другого. И он едет в Лейпциг, где принимает предложение богатого купца Винклера сопровождать его в трёхгодичном путешествии по европейским странам (тот хотел пополнить образование). Они успели посетить Голландию, а на пути к ней — ряд немецких городов: Магдебург, Брауншвейг, Гамбург, однако известие о начале Семилетней войны, развязанной Фридрихом Великим в августе 1756 года, заставило их прервать путешествие. Лессинг возвращается в Берлин.

В эту пору в Берлине, как пишет Гейне, царили два Фридриха. Прусский король Фридрих Великий писал французские стихи, недурно играл на флейте, нюхал табак и верил лишь в силу пушек. Коронованный прагматик откровенно презирал немецкий язык, а потому этот «Соломон Севера», как назвал Фридриха почитаемый им Вольтер, никакого воздействия на немецкую литературу иметь не мог. Надо ли говорить, что Лессинга он просто не заметил. А ведь тот ходатайствовал всего лишь о скромной должности в Королевской библиотеке, но получил отказ.

Второй же Фридрих, книготорговец Николаи, в течение сорока лет издававший журнал «Всеобщая германская библиотека» (1765–1805), которому предшествовали журналы «Библиотека изящных искусств» и «Литературные письма», неустанно трудился на благо немецкой литературы. Его в Берлине считали главным просветителем, что не мешало ему быть посто-

янным объектом критики и насмешек. Суховатый, прагматичный Николаи не скрывал радости по поводу возвращения Лессинга в Берлин, ибо именно ему в первую очередь были обязаны лучшими публикациями и успехом у читателей его журналы. И Николаи, и ещё в большей степени Мендельсон, также сотрудничавший в этих журналах, испытывали благотворное влияние гения Лессинга, почитали себя его учениками.

Когда Лессинг познакомился с Мендельсоном, этот сын бедного переписчика Торы из Дессау уже четыре года жил в Берлине, куда он прибыл без гроша в кармане, едва умея говорить по-немецки. В момент их знакомства он служил бухгалтером у богатого коммерсанта, у детей которого прежде был домашним учителем. Юноша непрерывно занимался самообразованием.

Лессинг оценил способности молодого еврея, его пылкий ум и был очарован не только глубокой эрудицией, но и редким душевным благородством и кротостью. Сам он, в юности любитель танцев и фехтования, резкий, мужественный, энергичный человек, бесстрашный и беспощадный полемист, казался полной противоположностью Мендельсону. Тем не менее, они привязались друг к другу, и ничто не смогло омрачить их многолетней дружбы. Когда Лессинг станет писать «Натана», он вложит в уста героя свои заветные мысли, но наделит его чертами своего друга, главные из которых — добродетельность, мудрость и терпимость.

Пока же, в первые годы их знакомства, Лессинг благотворно влияет на своего друга и оказывает ему посильную помощь. Некоторые трактаты они пишут сообща. Он помогает Мендельсону публиковаться и вводит его в круг берлинских учёных. Не будь Лессинга, ему, скромному бухгалтеру еврейской фирмы, вход туда был бы закрыт. Восприимчивый молодой человек сумел развить в себе такое чувство прекрасного, что его эстетические теории, в свою очередь, оказали влияние на Лессинга. Оно сказалось в знаменитом трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). Трактат был написан в Бреслау, куда уехал из Берлина Лессинг в поисках заработка, устав сверх меры от журналистской подёнщины. Пять лет служил он секретарём при губернаторе Силезии, нередко сопровождал генерала к местам военных действий, ко двору Фридриха. Но при этом он не упускал случая покопаться в прекрасной библиотеке, имевшейся в Бреслау, много писал, продолжая свою одинокую борьбу за новые пути развития Германии и её искусства.

Комедия «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье» (1767), написанная также в Бреслау, закрепила его славу ведущего немецкого драматурга. Он, коренной саксонец, не побоялся представить в ней прусского офицера человеком благородным, честным, чуждым узкого национализма. А ведь только закончилась Семилетняя война, в которой Пруссия противостояла Саксонии! Сознавая ущербность местного патриотизма, считая его признаком провинциализма и просто дурного тона, Лессинг указал немцам на общечеловеческий характер добродетели.

В эту же пору получает признание его деятельность критика и теоретика драмы и театра. А критиком он был первостатейным. Шиллер на пороге XIX века писал Гёте: «Совершенно бесспорно, что из всех немцев,

живших в одно с ним время, Лессинг вернее всех судил об искусстве, проницательней и вместе с тем либеральней всех о нём рассуждал, самым неукоснительным образом ухватывая при этом главное».

Новым этапом в борьбе за немецкий театр стала книга его статей «Гамбургская драматургия» (1767–1768). Однако надеждам обосноваться в вольном ганзейском городе Гамбурге не суждено было сбыться. Уже в мае 1767-го, спустя месяц после открытия новой сцены, Лессинг писал брату: «С нашим театром творятся дела, которые мне не по душе. Антрепренёры вздорят и ссорятся друг с другом, и никто не может понять, кто же, собственно, повар, а кто слуга». Театр, куда он был приглашён на роль драматурга, просуществовал около полутора лет и закрылся. Сформировать нового зрителя Лессингу не удалось. Гамбургская публика была, по его словам, «равнодушна ко всему, кроме своего кошелька». Здание театра стоит ныне, его показывают туристам, а вот дом, в котором заседала масонская ложа, членом которой стал Лессинг, не сохранился.

На последних страницах «Гамбургской драматургии» Лессинг подвёл неутешительный итог: «Пришла же в голову наивная мысль основать для немцев Национальный театр, когда мы, немцы, не являемся ещё нацией...»

Попытки найти службу в Берлине были безуспешными. Впрочем, в это время Лессинг уже глубоко разочарован в берлинских «свободах», о чём, не таясь, он пишет Николаю: «Пусть найдётся кто-нибудь в Берлине, кто захотел бы возвысить голос за права подданных против эксплуатации и деспотизма, ему скоро станет ясно, какая страна в Европе по сей день — самая рабская».

В 1770 году принимает Лессинг скрепя сердце приглашение герцога Брауншвейгского, самодура-деспота, каких в Германии было предостаточно, и направляется в Вольфенбюттель библиотекарем. В этой должности он состоял до конца жизни. Хоть его и возвели в надворные советники и избрали в Берлинскую Академию, заработок остался мизерным, подчас он терпел жестокую нужду, однако при этом регулярно помогал матери и сёстрам. В Вольфенбюттеле написал он трагедию «Эмилия Галотти» (1772), здесь создавался и «Натан Мудрый» (1779).

Здесь испытал он недолгое счастье супружества. В 1776 году он наконец обвенчался с любимой Евой, с которой был давно помолвлен. Ева была вдовой знакомого купца, матерью четверых детей, заботу о которых он принял на себя. Перед Рождеством 1777-го она родила Лессингу сына, но на второй день мальчик умер, мать пережила его лишь на две недели. «Радость моя была недолгой: я лишился сына и горько его оплакиваю, ибо в нём было столько разума, столько разума! — писал Лессинг своему верному другу профессору Эшенбургу в Брауншвейг. — Не подумайте, будто короткие часы отцовства успели превратить меня в такого одуревшего папашу-болвана. Я знаю, что говорю. Разве это не было проявлением разума, что его пришлось тащить на свет железными щипцами? И что он сразу распознал неладное? — Разве это не было проявлением разума, что он воспользовался первой же возможностью, дабы снова покинуть этот мир? Правда,

маленький негодник того и гляди утащит за собой и мать, ибо надежда, что мне удастся сохранить её, всё ещё слаба. Единственный раз я захотел обрести те же нехитрые радости, что и прочие люди. Но, видно, не судьба».

Мендельсон посетил Лессингов за две недели до трагедии и порадовался счастью друга. Сам он был уже женат, стал отцом трёх сыновей и трёх дочерей. В Вольфенбюттеле его приняли как родного, и он покидал друга со спокойной душой, отметив несвойственное ранее Лессингу состояние умиротворённости, которое «господину Мозесу» было куда ближе бурлящей язвительности.

В беседах друзья то и дело возвращались к истории, которая случилась вскоре после выхода мендельсонова «Федона». Это была неприятная история, но она заставила Мендельсона проявить твёрдость, которой от него многие не ожидали. Лессинг письмами поддерживал его и радовался победе. Суть же дела была такова. Иоганн Лафатер, молодой пастор-визионер из Цюриха, прочитав «Федона», написанного в платоновском духе, пришёл к заключению, что философ-иудей на пороге обращения в христианство, и спровоцировал его на публичное объяснение. Мендельсон вступил в навязанный ему бой. Лессинг гордился другом и поддерживал его решение выступить с открытым забралом, тем более что они оказались в этом вопросе единомышленниками.

Порвав ещё в юности с религиозной ортодоксией, Лессинг стал деистом. Сторонники этой «естественной религии» признавали Бога-творца, Бога как мировой разум, давший природе законы и движение, но отрицали Его дальнейшее вмешательство в самодвижение природы (промысел Божий). Традицию немецких вольнодумцев Лессинг обогатил пафосом демократической публицистики, острие которой было обращено против клерикалов. Их попытки искать помощи у философии привели его в бешенство. Насколько спокойнее реакция Генриха Гейне, который уверенно заявлял: «С того момента как религия начинает искать помощи у философии, её гибель становится неотвратимой». Но он утверждал это в 1835 году, когда словопрения theologов уже никого, кроме них самих, не занимали. Лессингу выпали другие времена. Гёте назвал это время *убогим*. Между тем активность Лессинга напоминала лавину, и в последний период его жизни достигла своего пика. Тогда он и пришёл к Спинозизму. Да, он принял Спинозу и его учение, в чём сознался Якоби во время беседы с ним незадолго до смерти.

Бичом немецкой философской мысли XVIII века был дух догматизма и схоластики. Кафедры во многих университетах занимали протестантские богословы, изо всех сил старавшиеся приспособить философию к нуждам религии. Целая армия «просвещённых» theologов трудилась над примирением науки и веры, философии и религии. Лессинг первым углядел в этом симбиозе опасность. Он понял, что «новомодные священники», теологи-рационалисты, которые стремились подчистить религию, скрестить её с наукой, даже опаснее представителей лютеранской ортодоксии, этих догматиков, для которых вечной истиной оставалось каждое слово Лютера. Лессинг был убеждён, что единственно возможное отношение науки к христианству — это историческое отношение.

В руки Лессинга попала рукопись незадолго перед тем умершего гамбургского учёного-деиста Реймаруса «Апология разумных почитателей Бога», содержащая беспощадную критику Ветхого и Нового заветов. Почтенный старец так и не решился напечатать свой труд. Восхищённый смелостью суждений, но не будучи во всём согласным с Реймарусом, Лессинг решает публиковать фрагменты из его сочинения со своими комментариями. Он дал слово дочери Реймаруса Элизе, доверившей ему рукопись (он был с ней дружен), не раскрывать имени автора, и он придумывает ход: «Апология» — якобы рукопись неизвестного автора, найденная им в анналах библиотеки Вольфенбюттеля. Лессинг дал Мендельсону прочитать рукопись, его робкий друг советовал воздержаться от публикации, но Лессинг рвался в бой. Ведь он признавался, что нуждался в борьбе для собственного роста, полемика была для него счастьем и отрадой. Лессинг воспользовался правом и обязанностью директора публиковать выпуски-сообщения о своих разысканиях в герцогской библиотеке. Появление в 1774 году отрывков из «Апологии...» с его комментариями вызвало настоящую бурю в тихой, сонной Германии.

Лессинг выступил как предшественник той исторической критики христианства, которая развернётся в XIX веке, он опять оказался в первых рядах и... в полном одиночестве. Вслед за Реймарусом Лессинг утверждал, что противоречия, которыми полна Библия, не могут быть устранены никакими натяжками. Попытки «новомодных теологов» подчистить и согласовать между собою четыре Евангелия, дать имеющим место противоречиям псевдонаучное истолкование, по его мнению, обречены. Задача сейчас в том, чтобы объяснить возникновение догматов и самой религии, показать, как она развивалась в связи с общим ходом развития культуры. Он убеждён: наука не может существовать для избранных, в то время как народ пребывает в плену суеверий, предрассудков и невежества. Пора открыто обращаться к народу, способствовать его просвещению и освобождению от духовной власти церковников.

Согласно трактовке Лессинга, Новый Завет возник в результате длительной работы поколений. Первые христиане не знали евангельских книг и располагали разноречивыми устными рассказами о жизни Христа. Записи этих легенд составили первоначальный свод, который до нас не дошёл. По мнению Лессинга, записи были сделаны на древнееврейском языке, в них отразились многие постулаты иудаизма. Затем путём перевода и обработки были созданы позднейшие Евангелия. Лишь четыре, принятые Церковью, стали каноническими. Противоречия между ними оказались неизбежными. Только последнее — Евангелие от Иоанна — говорит о божественности Христа, первые три представляют его как пророка. Именно Евангелие от Иоанна способствовало превращению христианства из скромной секты в мировую религию.

В небольшом лессинговом диалоге «Завещание Иоанна», который Чернышевский счёл необходимым включить в свой труд о Лессинге, высказано убеждение, что основа христианского учения имеет моральный ха-

рактир и сводится к проповеди смирения и взаимной любви: «Милые дети мои, любите друг друга!» Лессинг закончил диалог ремаркой: «Ученики и братья, наскучив тем, что вечно слышали одно и то же, сказали:

— Учитель, почему каждый раз говоришь ты одно и то же?

На то он дал им ответ, достойный Иоанна:

— Потому, что это заповедь Господа, и если её одну исполнять, то и довольно».

Лессинг обращался, прежде всего, к протестантским теологам: «Благословляйте, а не кляните — благословлять, а не клясть учил Христос».

Реформа Лютера, имевшая не только позитивные, но и негативные последствия, оставила Германию расколотой. Лессинг понимал, что взаимная нетерпимость протестантов и католиков — непреодолимое препятствие на пути к национальному единству. Не находя иной объединяющей идеи, он обращается к учению Христа: «Попробуйте защищать учение Христа, проповеданное рыбакам и младенцам, и это учение защитит вас. Оно недоступно никаким насмешкам остроумия, никаким возражениям учёности. Оружие врагов опустится перед учением Христа, и они назовут вас братьями своими».



Как это ни парадоксально, Лессинг, а не протестантские богословы оказался достоин Лютера, в нём жил его бойцовский дух. После того как Лютер возвысил Библию до единственного источника христианства, его адепты превратили его учение и слово Библии в догму, стали служить букве, а не духу. Лессинг не мог с ними не схлестнуться, ибо безграничное презрение к букве было основной чертой его характера. Лессинг, как никто другой, боролся за освобождение немецких умов от этой тиранической буквы. Потому-то Гейне и утверждал: «Со времён Лютера Германия не произвела более значительного и более прекрасного человека, чем Готтольд Эфраим Лессинг». Но разве гений мог быть счастлив в Германии? И разве понят был Лютер?

Характер мировоззрения Лессинга, его широта, быть может, ярче всего проявились в его сочинении «Воспитание человеческого рода», которым он сопроводил последнюю публикацию фрагментов из «Апологии неизвестного» (1777). Различные религии, по его мнению, «были лишь необходимыми ступенями на пути воспитания человечества». Когда человечество поднимется на высшую ступень, его не нужно будет пугать сказками об адских муках и соблазнять райским блаженством. Люди будут руководствоваться правилами человеческого общежития, поступать разумно и справедливо, руководствуясь своей свободной волей и разу-

мом. Лессинг не соблазняет скорой возможностью осуществления этой мечты, в которую он верил. К светлому будущему ведёт трудный и мучительный путь, наступит оно не скоро.

Забыв разногласия, ортодоксальные лютеране и «просвещённые» церковники и впрямь на время объединились, но лишь с одной целью, с какой всегда объединяются посредственности — сообщая растоптать еретика Лессинга: ведь скопом легче душить свободу мысли. В ход была пущена грязная клевета: пастор Гёце из Гамбурга договорился до того, что за напечатание фрагментов «Апологии...» амстердамская еврейская община якобы заплатила Лессингу тысячу талеров. Навет подхватили такие же мелкие душонки. Лессинг отвечал на нападки полемическими статьями, из которых наибольшую известность получили памфлеты «Анти-Гёце». Кто бы сегодня помнил имя этого невежественного пастора, если бы не поединок Лессинга с ним?! Понимая, что в полемике он проигрывает, Гёце пошёл проторенной дорожкой: он обратился с жалобой-доносом к властям, и они заставили вольнодумца Лессинга замолчать. В августе 1778-го он получил одно за другим распоряжения герцога: запрет на дальнейшую публикацию «Фрагментов», указ об изъятии у него рукописи «Апология неизвестного», запрет на антигёцевские сочинения, лишение права передавать в печать «что бы то ни было по вопросам религии как здесь, так и за границей, как под собственным, так и под любым другим вымышленным именем».

У многих при таких обстоятельствах опустились бы руки, но Лессинг уже 11 августа пишет брату: «У меня была странная фантазия этой ночью. Много лет назад я сделал набросок драмы, содержание её имеет некоторую аналогию с моими нынешними спорами, которых тогда я не смог даже представить себе. Я думаю, что всё это будет читаться очень хорошо и, разумеется, этим я сыгрую с теологами ещё более злую шутку, чем моими десятью «Фрагментами». Так родилась идея «Натана», и Лессинг сразу засел за работу.

Через два месяца он сообщает брату, что в «Натане» у него есть возможность напасть на врага с фланга: «Моя пьеса не имеет ничего общего с нынешними церковниками, и я сам не хочу отрезать ей всякий путь в театр, хотя бы это и произошло через сотню лет. Теологи всех религий Откровения будут, вероятно, ругать её про себя, но вряд ли решатся выступить против неё публично».

Замысел пьесы родился у Лессинга при чтении «Декамерона» Боккаччо. Его заинтересовала знаменитая новелла восточного происхождения о трёх кольцах, которую рассказывает султану еврей Мельхиседек. В одном роду из поколения в поколение отец передавал любимому сыну драгоценный перстень. Получивший перстень становился главой и правителем рода независимо от права первородства. Последний владелец реликвии имел трёх сыновей, которых он одинаково любил. Почувствовав приближение конца, отец заказал ювелиру ещё два перстня, неотличимые от первого, и, умирая, вручил наедине каждому из сыновей по кольцу. После смерти отца начались склоки, свары и вражда. Братья не могли различить, какой из

перстней был древнейшим. Чьё кольцо настоящее, не поддельное? Так же обстоит дело и с религиями, утверждает Боккаччо: претензии христианской религии на единственную истинность не обоснованы. Параллель, проведённая итальянским гуманистом, заинтересовала Лессинга, да и позиция Боккаччо была ему близка, но он пошёл много дальше.

Действие пьесы переносит читателя в эпоху крестовых походов. События разыгрываются в Иерусалиме. Только что неудачно для христиан закончился третий крестовый поход (1189–1192 гг.). Крестоносцам во главе с Ричардом Львиное Сердце и Фридрихом Барбароссой после двухлетней осады удалось взять крепость Акко в Палестине, где они и обосновались. В Иерусалиме продолжал хозяйничать Саладин (Салах ад-Дин), который за два года до похода вышиб крестоносцев из этого святого города.

Битва происходила в Кане Галилейской в 1187 году. Хроники сообщают: это было настоящее побоище. Июль, жара несусветная. Закованные в доспехи весом до 35 килограммов, верхом на конях, тоже отягощённых латами, несчастные крестоносцы двинулись в бой. Их было 1200 человек. Все рыцари до единого и полегли здесь. Что до Лессинга, то его отношение к крестовым походам было выражено ещё в «Гамбургской драматургии»: «Ведь эти самые крестовые походы, затеянные интриганской политикой папства, на деле были рядом самых бесчеловечных гонений, в которых когда-либо был повинен религиозный фанатизм». Лессинг своей пьесой бросил ещё один вызов религиозной и национальной нетерпимости, подогреваемой церковью. Главная идея, одушевляющая его пьесу-поэму, — идея веротерпимости, или, как сейчас говорят, толерантности.

Развитие сюжета этой философской пьесы происходит в традиционном со времён Еврипида и Плавта ключе: всё замешано на тайне происхождения героев и узнавании, отсюда много неожиданных поворотов и случайностей. Присутствует даже традиционная кормилица, владеющая тайной своих господ и ведущая интригу. Действуя из любви и христианского долга, но не забывая и свой интерес, она чуть не становится причиной общего несчастья. Подозрения, недоверие, неприязнь рассеиваются лишь под конец. Добро побеждает зло. Но обо всём по порядку.

В доме Натана живёт горячо им любимая дочь, прекрасная Рэха, при ней — её кормилица-христианка. В отсутствие купца в доме случается пожар, и Рэху спасает из пламени незнакомец в плаще храмовника, рыцарь ордена тамплиеров. Она влюбляется в спасителя, готова видеть в нём чуть ли не ангела, но рыцарь-христианин сторонится еврейского дома. Возвратившись, Натан узнаёт о случившемся, находит благородного смельчака. В начале беседы храмовник обращается к нему презрительно: «Жид!», но постепенно мудрость и внутреннее благородство Натана открывают путь к сердцу собеседника: рыцарь принимает приглашение Натана побывать у него в доме и под конец разговора даже называет ему своё имя — фон Штауфен.

Ещё недавно храмовник вместе с другими крестоносцами, нарушившими перемирие, был пленён и ждал казни. Султан Саладин, поражённый сходом молодого рыцаря со своим погибшим братом, пощадил лишь

его. Но пленник чувствует себя чужим в этом городе и тяготится дарованной жизнью. Тем временем патриарх Иерусалимский, одержимый идеей борьбы с неверными, подсылает к рыцарю послушника, который передаёт задание — прикончить Саладина. Храмовник возмущён этим подлым предложением. В ответ слышит:

Но патриарх сказал, — пусть пред людьми
Сие есть подлость, но не перед Богом.

Двойная мораль патриарха вызывает негодование храмовника. А далее он, поражённый красотой и умными речами дочери Натана, влюбляется в прекрасную иудейку и просит у Натана её руки. Тот не спешит с согласием, и это повергает рыцаря в ярость, а тут ещё кормилица успела ему нашептать, что Рэха — приёмная дочь Натана, христианка, которую он якобы воспитал в законе иудейском. Влюблённый рыцарь обращается за советом к патриарху, несмотря на то что «самодовольный, ражий, жирный поп» ему отвратен. Имя Натана в беседе не было названо, но храмовник внутренне содрогнулся, когда услышал трижды повторенный приговор патриарха: «Жид должен быть сожжён!»

Натан ещё не знает, какая угроза над ним нависла. Он озадачен другим — срочным приглашением к султану. Полагая, что Саладину нужны деньги, он приготовился поделиться с ним своим богатством, но султан повёл речь о вере и задал ему непростой и коварный вопрос: какую религию из трёх — иудаизм, мусульманство или христианство — он считает истинной? Из этого испытания Натан вышел с честью: он рассказал старую историю о трёх кольцах, дав ей своё толкование. Султан, потрясённый тем, что их мысли во многом совпали, устыдился своих прежних, довольно-таки низких мыслей о евреях, уверовал в мудрость Натана и назвал его своим другом. Тот же воспользовался расположением властителя, чтобы замолвить слово за пленного рыцаря.

Между тем Натану предстоит встреча со старым послушником. Ему патриарх поручил найти преступника-жида, который, приютив у себя христианское дитя, лишил его вечной благодати. И тут выясняется, что пути послушника и Натана уже пересекались. Невольно вспоминается трагедия Софокла «Эдип-царь», сцена встречи Эдипа и старого пастуха, владеющего роковой тайной, предвещающая страшную развязку. У Лессинга, восторженного почитателя античности, развязка вовсе не катастрофична. Зритель узнаёт, что христианскую девочку когда-то вручил Натану нынешний послушник, вручил в страшный для еврея момент, когда тот пребывал в безутешном горе, оплакивая гибель жены и семерых сыновей, сожжённых живо христианами во время погрома в Гате. Натан принял девочку, как дар Божий, посланный в утешение, и возблагодарил Всевышнего, хотя ещё недавно корил его и клял. Послушник, отдавая ребёнка, сообщил, что мать девочки была из рода фон Штауфенов. Теперь же, при новой встрече, он вручает Натану молитвенник, который снял с груди погибшего в бою близ Аскалона рыцаря, отца девочки, слугой которого он был в ту давнюю пору.

Как это ни удивительно, но записи в молитвеннике немецкого графа, носившего имя фон Фильнек, сделаны персидской вязью. Натана это не удивляет: он был знаком и даже дружен с этим славным рыцарем, он знал, что тот по происхождению не немец, хотя бывал в Германии, принял христианскую веру и женился на женщине из рода фон Штауфенов.

Тайна, которую Натан хранил, раскрыта: его Рэха и влюблённый в неё храмовник — брат и сестра. Но это — ещё не всё: их погибший отец, скрывавшийся под именем фон Фильнека, — родной брат султана. Открыв молитвенник, Саладин узнаёт почерк брата. Финальная сцена завершается молчаливыми объятьями.

Лессинг обещал: «это будет такая же трогательная пьеса, какие я писал всегда». Но ни одна из его пьес не вызвала такой бури. Лессингу не простили критики христианства. Гёте сразу почувствовал, в кого метил автор: «“Натан Мудрый” — пьеса против попов». Единственный отрицательный персонаж пьесы — это патриарх Иерусалима. И если этим ещё не всё сказано, приведём некоторые критические оценки, которые принадлежат не только мусульманам — султану и его сестре, но самим христианам.

Возражая Саладину, правителю великодушному и щедрому, далёкому от фанатизма и предрассудков соплеменников, его сестра указывает на избыточность его мечты о мире с крестоносцами, который он хотел бы упрочить браком между своими родственниками и родственниками Ричарда Львиное Сердце:

Не знаешь ты христиан и знать о них не хочешь!

Спесивая их гордость: не людьми,
А христианами не быть, так слыть.
Ведь даже милосердие Христово,
Не заглушённое их суевьем,
Не человечностью прельщает их,
А только тем, что так вещал Учитель.

.....

Будто лишь у христиан
Царит любовь, которую Всевышний
Вложил в сердца всех женщин и мужчин.

Как не узнать в этих словах отзвуков полемики Лессинга с Гёце и иже с ним, ведь упреки адресованы догmatикам, для которых буква учения важнее его духа, тем, кто считает своё вероучение единственно истинным.

Молодой храмовник в беседе с Натаном указывает на иудеев, как на народ, который принёс в мир идею своей избранности и заразил ею представителей других конфессий:

Натан! Я ненависти не питаю
К народу вашему, но не могу
Не презирать его гордыни, нами
Воспринятой и миром мусульманским:
«Лишь наш Господь есть истый Бог!»

Некоторые иудеи отметили этот критический пассаж и напряглись: не такой уж, дескать, юдофил Лессинг, вот и он бросил камень. Но я, не будучи ортодоксом, в Лессинга камня не брошу. Разумеется, храмовник далёк от понимания значимости монотеизма, родившегося у еврейского народа и со временем одолевшего язычество. Он не настолько просвещён, чтобы видеть в иудаизме источник двух других мировых религий. Он определяет идею богоизбранности, родившуюся у евреев, как гордыню. При том этот герой, честный, независимый, нравственно стойкий, преодолев предрасудки, поднимается до осуждения религиозных братоубийственных войн и тем самым осуждает дело, которому должен служить. Разве этого мало?

Вам странно, что я, храмовник, это говорю?
Но где, когда слепое изуверство
С таким свирепым рвением решалось
За веру биться в «Бога своего»,
Провозглашать Его лишь истым Богом,
Навязывать его другим народам?
Когда и где такое ослепленье
В столь чёрном облике себя являло,
Как не сейчас и здесь? Ужель повязка
Не упадёт с прозревших глаз людских?
Но смотрят и не видят!

Это уже сам Лессинг вопиет устами своего героя. Он хочет докричаться до своих соплеменников и современников. Разъяснять его слова нет необходимости, они ясны. Имеющие уши да услышат. Но слышать его не хотят.

И если слова храмовника могли как-то «зацепить» евреев, то речь послушника, обращённая к Натану, должна была бальзамом пролиться на их душевные раны:

А детям... любовь нужней, пожалуй, веры христианской.
Христианином стать всегда успеешь!
Росла бы девочка здоровой, доброй,
Под бдительным надзором вашим, Бог
Её считал бы той, чем та была.
И разве христианство всё не вышло
Из иудейства? О, как часто я
Досадовал на то и слёзы лил
Над тем, что христиане забывают,
Что и Спаситель наш был иудеем.

Послушник как бы предвосхищает молодого Лютера, который, до того как стать антисемитом, обратился к пастве с памфлетом «Иисус Христос рождён был евреем». Лессинг позволил себе напомнить это своим врагам. Для тех, кто смотрел спектакль в сентябре 1945 года, слова эти были потрясением.

В беседе с послушником молодой рыцарь высказывает другую крамольную, но весьма трезвую мысль:

Религия, как я успел постичь,
Есть та же партия, и как бы ты
Ни мнил себя вне партии стоящим,
Ты сам, того не сознавая, ей
Оплотом служишь.

Однако ни султан, ни храмовник изначально не свободны от преубеждений против евреев. Лишь постепенно проникаются они уважением к Натану, который превосходит их мудростью и терпимостью. Философское зерно пьесы составляет притча о трёх кольцах, которую Натан рассказывает султану. Сохранив канву новеллы Боккаччо, Лессинг внёс в неё новые мотивы, значительно меняющие смысл. Натан наделяет родовой перстень чудесным свойством: «кто с верою носил его, угоден был и Господу, и людям».

У Лессинга рассорившиеся после смерти отца братья обратились к судье, чтобы он решил распрю и сказал, какое из колец истинное. И тут последовал ответ поистине неожиданный. Судья напомнил, что кольцо обладало таинственной силой привлекать благоволение, между тем три брата ожесточены друг против друга, отсюда вывод: все три кольца поддельны.

Быть может, ваш отец не захотел,
Чтоб воцарилась в роде тирания
От перстня *одного*. Он вас любил,
Как видно, равно всех, не потому ли
Он не решился двух из вас обидеть
На пользу одному? Так подражайте ж
Отцу в любви, и строго неподкупной,
И чуждой предрассудков. Силу перстня,
Какой кому вручён, друг перед другом
Наперерыв старайтесь обнаружить...
И если та же сила неизменно
Проявится и на потомках ваших, —
Зову их через тысячи веков
Предстать пред этим местом. Здесь тогда
Другой судья — меня мудрее — будет.
Он скажет приговор...

Согласно Лессингу, не религиозная принадлежность, а деяния должны служить мерилom при оценке личности и народов. Задача каждого состоит не в том, чтобы провозглашать своё вероучение единственно верным, а в том, чтобы завоевать уважение других своей жизнью, делами. Идеи гуманизма пронизывают не только притчу о кольцах, но и всю драму: герои, разделённые религиями и преубеждениями, встречаются в финале, чтобы узнать о своём родстве и обнять друг друга. Утопия волею автора реализована. Век Просвещения ещё питал надежды, но XX век их похоронил.

«Натан Мудрый» — драматизированное изложение начал обновлённой религии, полной благородства, простоты и свободы, предполагающей объединение христианской Церкви. Имя ей сегодня — экуменизм. В пьесе, по словам Шлегеля, передан «восторг перед нравственной силой». Христианская среда не готова была принять, с одной стороны, идею веротерпимости, с другой стороны, — еврея Натана. То, что имя его вынесено в название пьесы, что он представлен носителем лучших человеческих качеств, что мудрость еврея возвышает его над остальными героями и потому ему доверены революционные для того времени мысли автора, не могло не задеть немцев. Но Лессинг, отстаивая свои позиции, не деликатничал. Он знал цену своим согражданам.

Известен анекдот: к Лессингу пришёл директор провинциального театра, напыщенный немец, и торжественно объявил, что он хочет поставить «Натана Мудрого».

— Кто же сыграет Натана? — удивлённо спросил драматург.

— Натана буду играть я, — самодовольно ответил гость.

— В таком случае кто сыграет Мудрого?

Анекдоты на пустом месте не возникают.

Многие уверовали, — евреи даже в большей степени, чем немцы, — в то, что Натан — это портрет Мендельсона. Они заблуждались: Натан — образ-символ, воплощение идеального человека. Мендельсон послужил моделью для Натана: многолетняя дружба, сердечная привязанность к философу-иудею повлияли на характер и повадки сочинённого Лессингом литературного героя, включая даже такую частность, как увлечение Натана шахматами.

Сразу после смерти друга Мендельсон, оценивший философскую глубину пьесы, пишет письмо Карлу Лессингу, брату покойного. Там есть такие строки: «Говорят, что Коперник открыл свою систему и умер. Биограф Вашего брата сможет сказать, что он написал «Натана Мудрого» и умер... В своей деятельности он обогнал своё столетие более чем на один человеческий век».

Гражданская позиция Лессинга неприятно поразила немецкое общество. Это сказалось даже на последующих оценках некоторых историков культуры. Отдалённые потомки, начиная с Дюринга, продолжали обвинять Лессинга в любви к «этим евреям». В 1919 году Адольф Бартельс выпустил книгу «Лессинг и евреи», проникнутую просто зоологическим антисемитизмом. Её переиздали в 1934 году и очень чттили нацисты. По этой причине сегодня в библиотеках эту книгу не выдают на дом, её запрещено копировать. В «исследовании» Бартельса всё предсказуемо, но идеи его живучи.

Любопытно другое: Франц Меринг в известной и во многом блестящей книге «Легенда о Лессинге» (1893), борясь с фальсификаторами, навещающими хрестоматийный глянец на великого немца, напротив, представляет автора «Натана» свободным от пристрастий, особенно от симпатий к евреям. Меринг — левый социал-демократ, его не заподозришь в антисемитизме, но ему бы хотелось провести Лессинга по ведомству марксистов-интернационалистов, и потому он утверждает: «Всякая нетерпимость была

ему глубоко противна, и он бичевал её всюду, где находил, — у христиан ли, у евреев или у мусульман». Заявление о том, что Лессинг бичевал еврейскую нетерпимость, представляется спорным. Меринг полагает, Лессинг вступился за преследуемых евреев «лишь в той степени, как он вступился бы за преследуемых иезуитов». Приравнивать притеснения, которым подвергались евреи, с гипотетическими преследованиями иезуитов — явная натяжка. Видимо, и левые, и правые уклоны в оценках Лессинга ведут к искажению его облика.

Как просветитель Лессинг верил в действенную воспитательную силу Искусства. Сцену он рассматривал как своего рода трибуну. «Натан Мудрый» был поставлен в Берлине вскоре после смерти автора, но принят был холодно. Лишь после того, как пьеса стараниями Шиллера и при содействии Гёте была сыграна в Веймаре, разговоры о её «несценичности» утихли. С тех пор много воды утекло. В век крушения гуманизма увяла и вера в силу искусства. «Каким бы суровым обвинением ни являлось искусство, оно никогда не могло воспрепятствовать победе зла. Всё осмысляя, оно никогда не преграждало дорогу самой кровавой бессмыслице», — это горький итог размышлений Томаса Манна.

И вот 7 сентября 1945-го берлинцы смотрят спектакль «Натан Мудрый». Их жжёт стыд позора, но это огонь не смертельный, в нём не сгорают. А о тех, кто сгорел в другом пламени, кто стал дымом и пеплом, им ещё не раз придётся вспомнить. Немецкая история оказалась жёстким драматургом. Почему «Натана» играют в сентябре 45-го как пьесу, которой запоздало хотят исправить непоправимое? Почему в ней раньше не видели поучительной пьесы, почему её не прочли своевременно, не поняли и не оценили? На эти отнюдь не риторические вопросы немцы отвечают уже полвека. Некоторые устали отвечать, кое-кому вопросы надоели. Австрийский драматург Гуго фон Гофмансталь в юбилейной речи ещё в 1929 году высказался очень определённо: «Значение Лессинга для нации состоит в его противостоянии ей». Не захотели прислушаться: против нас, значит, не с нами. Способна ли сегодня Германия следовать за своим Воспитателем?

РАББИ МОЗЕС ИЗ ДЕССАУ — ОТЕЦ ХАСКАЛЫ



«От Моисея до Моисея не было равного Моисею». Вот какую оценку заслужил у своих современников Мозес (Моисей) Мендельсон (1729–1786). Казалось, такую репутацию никто и ничто не в силах поколебать, ведь первый этап социальной эмансипации немецких евреев по сей день называют *мендельсоновым*. Однако спустя полвека в его адрес всё чаще бросают упрёк — «отступник», ибо одним из последствий *Хаскалы* (Просвещения), этого широкого идейного, культурного и общественного движения, возникшего во второй половине XVIII века и исчерпавшего себя к концу XIX столетия, стала ассимиляция евреев Германии.

Особенно категоричны в своих обвинениях представители восточноевропейского еврейства. Те, кто объясняют Холокост проявлением Божьего гнева и наказанием за отступничество (а с такими трактовками приходится сегодня сталкиваться в среде не только ортодоксальных евреев, но даже христиан), видят в Мендельсоне пусть не виновника бедствия, но лицо причастное. Правы ли они? Думается, искать причины Холокоста в грехах еврейского народа — дело неблагодарное. Вопрос же о причинах молчания Бога перед лицом человеческого страдания — этот вопрос возник не в XX веке, он занимал умы еврейских мыслителей ещё три тысячи лет назад.

Наша задача много скромнее — выявить роль Мендельсона как идеолога *Хаскалы* и в самых общих чертах обозначить её цели и реальные последствия для судеб европейского еврейства. Жизнь и деятельность Мозеса Мендельсона стала для его единоверцев воодушевляющим примером того, каких высот и какого уважения может добиться еврей в немецком обществе, не изменяя при этом вере своих отцов. Забудутся его книги, но это достижение, обусловленное его личностью, — никогда. Жизнь и судьба Мендельсона по-своему поучительны.

Иудейский юноша на тернистом пути познания

Четырнадцатилетним отроком явился он в Берлин из Дессау, где родился в бедной многодетной семье некоего Менделя, совмещавшего обязанности учителя и *сойфера* (переписчика Торы). Мозес отправился в столицу Пруссии вслед за своим учителем-талмудистом, которому предложили в Берлине место раввина. Тщедушный, с искривлённым из-за болезни позвоночником, подросток добирался до Берлина пешком. Пять дней он провёл в пути. Вечером того дня, когда он с трудом добрёл до Розентальских ворот, через которые вошёл в город (пользоваться другими воротами евреям было запрещено), таможенник записал в своём кондуите: «Сегодня здесь прошли шесть быков, семь свиней и один еврей».

Происходило это в 1743 году, когда повсеместно действовал закон: при переезде из одного города в другой еврей должен уплатить личную пошлину (лейбцоль) в размере, установленном для ввоза скота. Маленький Мозес тоже уплатил мзду. Запись свидетельствовала о железных тисках, в которых находились евреи даже в Бранденбурге — Пруссии, где степень терпимости к ним была выше, чем в других немецких государствах. Впрочем, Фридрих Великий, гордившийся репутацией просветителя, не скрывал своей нелюбви к евреям. Граф Мирабо, известный деятель Французской революции, посетивший Берлин в 1786 году (в год смерти Мендельсона и Фридриха), назвал его регламент о евреях (1750) «законом, достойным каннибала». Под сенью этого закона протекала жизнь Мендельсона в Берлине.

Любознательный юноша с помощью новых знакомцев, молодых образованных евреев, гигантскими шагами продвигается в изучении не только немецкого, но французского и английского языков, а также латыни, постигает основы математики и естествознания. Огромное впечатление произвёл на него труд средневекового еврейского философа Маймонида (известного как *Рамбам* — аббревиатура от рабби Моше бен Маймон) «Наставник колеблющихся» (1190), в котором автор попытался согласовать учение Аристотеля с Талмудом. Юноша просиживал над ним ночами при свете копилки, поражаясь смелости мудреца, который убедительно доказывал, что разум и вера — два одинаковых источника Откровения, что знание физики Аристотеля не отменяет веру в Бога, что самые радикальные философские идеи не обязательно противоречат религиозному праву. Эти мысли, казавшиеся некоторым ортодоксальным раввинам даже спустя шесть столетий крамольными, были созвучны его, Мендельсона, размышлениям. Маймонида называли при жизни — «второй Моисей». Вот и протянулась через века духовная нить от Моисея до Моисея...

Продвинувшись в латыни, Мендельсон обращается к труду английского философа-материалиста Джона Локка «Опыт о человеческом разуме» (1690), где разработана эмпирическая, т.е. основанная на опыте, теория познания. Ещё больше он обязан немецкому философу, математику и физики Лейбницу, сочинение которого «Новые опыты о человеческом разуме» (1704) стало его настольной книгой. Мендельсон считал себя его уче-

ником и последователем. Помимо идей, их, несомненно, роднили душевная мягкость и религиозное чувство. Мендельсон воспринял идеи европейского Просвещения и всю жизнь исповедовал деизм и естественную религию, оставаясь противником пантеизма (спинозизма).

Дружба на всю жизнь

Знакомство в 1754 году с молодым Лессингом (они — одногодки), быстро переросшее в дружбу, благотворно повлияло на развитие Мендельсона. Лессинг признал в нём благородного еврея. В ранней пьесе «Евреи» (1749), движимый идеей гуманности, Лессинг создал именно такой образ. Молодой драматург был счастлив тем, что подобный человек — не плод его фантазии, а, оказывается, существует в реальности. Во время публичной полемики по поводу пьесы с профессором Михаэлисом, считавшим, что подобный тип человека просто не может возникнуть в еврейской среде «при тех правилах, образе жизни и воспитании, какие мы видим у еврейского племени, и при дурном обращении с ними» (евреями. — *Г.И.*), Лессинг не преминул рассказать о своём друге и включил в свой текст строки из письма Мендельсона. Так имя Мендельсона впервые появилось в печати.

По совету Лессинга Мендельсон перевёл только что вышедший трактат Руссо «О происхождении неравенства между людьми» (1755), это было и своего рода упражнение в немецком слоге. Совместно они написали трактат об английском поэте Александре Попе, заинтересовавшись его философско-дидактической поэмой «Опыт о человеке» (1734). Вывод их поразил многих: «Поп — метафизик!», а все-то думали, что он — классицист.

Лессинг радовался фантастически быстрым успехам друга и, когда Мендельсон вручил ему год спустя после знакомства рукопись «Философских разговоров» (1755), он опубликовал этот труд. Многих поразило, что этот еврей укоряет немцев в том, что они, недооценивая своих возможностей, преклоняются перед французскими образцами: «Неужели немцы никогда не осознают собственного достоинства? Хотят ли они вечно обменивать своё золото на мишуру соседей?» А ведь пример поклонения всему французскому подавал не кто иной, как прусский король Фридрих Великий. И что же? В критических статьях, которые Мендельсон публиковал в берлинских журналах своего нового друга Николаи «Библиотека изящных искусств» и «Литературные письма», он осмелился критиковать монарха за отвращение к немецкому языку, затронул он и его поэтические опыты, не поднявшиеся выше версификаторства.

Существует легенда, будто король, которому услужливые придворные донесли о дерзости Мендельсона, вызвал наглеца в Сан-Суши. Вызвал в субботу: пусть еврей знает своё место! Мендельсон не стал отрицать своего авторства, однако находчивым ответом утишил монарший гнев и был отпущен с миром.

Мендельсону было тридцать три, когда он отправился в Гамбург свататься к двадцатичетырёхлетней дочери купца, Фромет Гугенхайм. Хоро-

шенькая голубоглазая блондинка при виде невзрачного жениха заплакала. Оставшись наедине с нею, он рассказал ей историю, сохранившуюся в фамильных анналах: «Когда еврейский ребёнок должен родиться, на небесах решается, с кем ему предстоит вступить в брак. Накануне рождения и мне была предназначена жена, к тому же было известно, что она будет горбатой. И я обратился с мольбой к милостивому Богу: пусть лучше горб достанется мне, а девушка пусть растёт стройной и милой». Фромет была растрогана до глубины души и ответила согласием. Мендельсон поспешил поделиться с Лессингом своей радостью. Его брак и впрямь оказался счастливым.

Летом молодожёны обосновались в небольшом, но уютном домике в Берлине на *Spandauerstraße*. Из каждого угла на обитателей и гостей дома взирали фарфоровые обезьянки в натуральную величину. Одни мартышки были печальны, другие корчили рожи. Чтобы рассеять недоумение, поясно: согласно указу Фридриха Великого каждый вступающий в брак еврей обязан был сделать покупку в королевской фарфоровой мануфактуре. Управляющий фабрикой вопреки желанию покупателей-евреев навязывал им товар, не упуская возможности унижить, поиздеваться. Вот и стали молодожёны обладателями целой стаи из двадцати обезьянок. С появлением на свет детей, по мере их роста обезьянье поголовье заметно уменьшилось, ибо дети имеют обыкновение шалить, даже если это дети философа, а фарфор имеет обыкновение биться.

Через год после женитьбы Мендельсон по настоянию Лессинга принял участие в конкурсе, который объявила в начале 1763 года берлинская Академия. Предлагалось высказаться по вопросу: «Способны ли философские положения к такой же ясности, как положения математические?». В конкурсе участвовал молодой Иммануил Кант. Трактат Мендельсона «Об очевидности в метафизических науках» получил первую премию, Кант оказался на втором месте. Преимущество исследования Мендельсона состояло в ясности и доступности изложения. Обе работы в качестве поощрения были переведены на французский и латинский языки за счёт Академии. Время показало, что автор «Критики чистого разума» стоит в иерархии философов много выше Мендельсона, но пока что в лучах славы купался молодой еврей. В том же году указом Фридриха Великого Мендельсону была дана существующая со средних веков привилегия покровительствуемого еврея (*Schutzjude*). Наконец-то он мог вздохнуть свободно: исчезла угроза быть в любую минуту высланным из Берлина.

«Федон», или Прелюдия славы

Ошеломляющий успех выпал на долю сочинения Мендельсона «Федон, или О бессмертии души» (1767), написанного в виде диалога между учениками Сократа — Платоном и Федоном. Образцом ему служила работа Платона «Федон», в которой шла речь о последних часах Сократа перед тем, как он выпил чашу с ядом цикуты. В ней обсуждались вопросы бессмертия

души. Появление сочинения Мендельсона было донельзя своевременным. Под натиском идей Просвещения христианская религия переживала глубокий кризис. Уже прозвучал призыв-приговор Вольтера в адрес Церкви: «Раздавите гадину!» В обществе царило смятение умов.

Не пройдёт и десяти лет, как в Германии после выхода романа начинающего Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774) начнётся настоящее поветрие самоубийств (хотя, с точки зрения любой религии, жизнь — дар Божий, и, отказываясь от этого дара, человек берёт на свою душу тягчайший грех).

Мендельсон возвращал образованной части немецкого общества надежду, которую было похоронили материалисты, а именно — веру в бессмертие души, в возмездие по заслугам. Переведённая на все европейские и на древнееврейский языки, книга эта на протяжении двух десятилетий поддерживала нравственность в обществе. Ведь если нет Бога, если душа смертна, то неважно, праведно ли ты живёшь или нет, иначе говоря — всё дозволено. Подобное вольнодумство вызывало в Мендельсоне ужас. В конечном счете, он боролся за человеческое достоинство, и читающая публика была ему благодарна. Христиане были потрясены тем, что получили утешение от иудея. Именно «Федон» обеспечил Мендельсону широкую известность и статус немецкого философа. Берлинская академия даже пожелала принять его в свои ряды, но в тот год баллотировалась в академики российская императрица Екатерина II, и Фридрих вычеркнул имя еврея, сочтя невозможным, чтобы оно оказалось в списке рядом с именем монаршей особы.

Многие иностранцы, прочитавшие «Федона», бывая в Берлине, жаждали засвидетельствовать почтение автору. Каково же было их удивление, когда выяснялось, что мудрец ещё совсем молод, но ещё больше поражало то, что встретиться с ним можно было только в лавке, где торговали шелками: мудрец служил здесь счётным работником (и заметим, был счастлив такому везению, ибо расположенный к нему хозяин-еврей в своё время приписал его к своей семье, иначе бы прости-поощай, Берлин).

Спор с Лафатером

С «Федоном» связана неприятная история, которая, с одной стороны, добавила славы его автору, а с другой — стала причиной его длительной нервной болезни. Иоганн Лафатер, молодой пастор-визионер из Цюриха (он был двумя годами моложе Мендельсона), увлекавшийся физиогномикой, был представлен Мендельсону и буквально влюбился в него, считая, что лицо философа есть отражение его прекрасной и благородной души. Попутно замечу, что выразительный и одухотворённый облик Мендельсона вдохновил известного немецкого скульптора Шадова, работы которого украшают все значительные европейские музеи, и он изваял в мраморе голову философа. Прочитав «Федона», Лафатер пришёл к заключению, что философ-иудей на пороге обращения в христианство. И вот, переведя на

немецкий с французского брошюру женевого евангелического теолога — «Об истинном христианстве», Лафатер предпосылает переводу посвящение Мендельсону. При этом он предлагает ему или опровергнуть доводы женевого профессора, или принять их, «как поступил бы сам Сократ на его месте». После выхода «Федона» Мендельсона, с лёгкой руки Гёте, называли не иначе как немецким Сократом. Со стороны Лафатера это, скорее, была бестактность, нежели злой умысел. Однако Мендельсон вынужден был отвечать публично.

До сих пор он не предавал огласке своё отношение к иудаизму. В своей частной жизни и в еврейском кругу он вёл себя как правоверный еврей, придерживался традиционного уклада жизни, перед лицом своих христианских друзей он не скрывал, но и не афишировал своё еврейство. Теперь же ему предстояло открыто высказаться об иудаизме и христианстве. Консигория, полагаясь «на его мудрость и скромность», разрешила ему опубликовать ответ без просмотра цензором. Он был миролюбивым и мягким человеком, он не хотел спора, тем более что понимал, какие опасности он таит для еврея: «Моя религия, моя философия и моё положение в гражданской жизни предоставляют мне важнейшие причины, по которым я должен избегать всяких религиозных споров, и в сочинениях, предназначенных для публичности, говорить только о таких истинах, которые должны быть равно важны для всех религий».

Тем не менее, Мендельсон поклялся перед лицом Бога, что он верен религии своих предков, поскольку она не заключает в себе положений, противоречащих разуму и логике. Он подчеркнул как её преимущество то, что иудаизм не задаётся миссионерскими целями: «Живи между моими современниками Конфуций или Солон, я, по правилам моей религии, мог бы любить этого великого человека и удивляться ему, и мне никогда не пришла бы в голову смешная мысль обратить Конфуция или Солона в мою веру».

Он впервые открыто говорил о приниженном положении своих единоверцев в обществе. «Презрительное мнение, которое имеют о евреях, я желал опровергнуть добродетельною жизнью, а не полемическими сочинениями», — писал Мендельсон. Он обратил внимание оппонента на нетерпимость, которую проявляют иноверцы к евреям. «Ведь по законам Вашего родного города, — пишет он Лафатеру, — Вашему обрезанному другу даже посетить Вас в Цюрихе запрещено».

Дом, где проживал Лафатер и где он не смог принять Мендельсона, сохранился: потемневший кирпич, высокие окна с частыми переплётами, мемориальная доска. А в современном Берлине не сохранилось не только дома Мендельсона, но даже могильная плита, на которой было начертано: «Здесь покоится рабби Мозес из Дессау», была взорвана нацистами в 1943 году при уничтожении старейшего еврейского кладбища.

Спор Мендельсона и Лафатера расшевелил церковников, они ополчились против «дерзости презренного иудея». Некий Келбеле из Франкфурта осыпал философа бранью и опустился до язвительных упреков в том, что «хлебное местечко еврейского бухгалтера выгоднее положения христиан-

ского профессора». Грубостью он оттолкнул от себя даже тех, кто не был на стороне Мендельсона. Что касается Лафатера, то он публично извинился перед философом. Ответ лишь возвысил Мендельсона в общественном мнении: «Придите, обнимемся мысленно! Вы — христианский проповедник, я — еврей, но разве это мешает нам?»

Об этом споре помнили и через сто лет. Еврейский художник Мориз Оппенгейм написал картину, запечатлевшую трёх участников дискуссии: Лафатера, Мендельсона и... Лессинга. Мысленно Лессинг в эти трудные дни и впрямь был рядом с другом, но никогда они втроем не сходились за



общим столом, полемика велась в печати. Однако картина Оппенгейма убеждает своей художественной правдой, пересилившей правду факта.

Отвечая Лафатеру, правдолюбец Мендельсон критически высказался не только по адресу христианства, но и иудаизма. Он заметил, что за многие века в учении евреев накопилось немало произвольных прибавлений и неверных истолкований, виной тому ошибки многочисленных переписчиков и комментаторов Танаха и Талмуда. Это высказывание вызвало крайнее недовольство еврейских ортодоксов, раввин Берлина потребовал объяснений. И хотя Мендельсон сумел

объясниться и избежал отлучения — *херема*, он вдруг остро осознал двойственность своего положения: быть правоверным иудеем и универсальным философом в век Просвещения оказалось почти невозможным. Poleмика на два фронта сказалась на его душевном состоянии, привела к нервному срыву, надолго уложила в постель.

«Трепет забот иудейских»

В одном из писем Мендельсона находим такое признание: «Философия должна сделать меня счастливее... Из всех систем мудрецов я выбираю только то, что может сделать меня счастливее и в то же время лучше. Философия, которая стремится вызвать во мне недовольство людьми или самим собою или сделать меня равнодушным ко всему прекрасному и доброму, такая философия не моя». Мендельсон пришёл к заключению, что в Торе для философа не меньше материала для размышлений, чем у его любимого Платона. Он находит созвучия между мудростью Торы и греческой философией. Но можно ли и как соединить эти два источника? Он не находит ответа.

По мнению историка Греца, иудейство было дорого Мендельсону тем, что заключало в себе религиозно-нравственные истины. Вместе с тем он ощущал, что верность иудаизму, строгое соблюдение всех законов и обрядов воздвигает барьер между ним и его просвещёнными друзьями — неевреями. Между тем они ему были ближе многих ограниченных ортодоксов, которых он называл «нашими еврейскими Келбеле».

Он размышлял не только о своей ситуации, но и об удручающем положении евреев в Германии. Как можно его изменить? По мнению Мендельсона, многое зависело не только от власти предрержащих, но и от самих евреев. Он не собирался реформировать иудаизм, но ему казалось необходимым приобщить евреев к общечеловеческим ценностям, к немецкому языку и культуре, без этого не преодолеть их традиционной обособленности, не вывести из гетто. Между тем евреи в массе своей оставались чуждыми культуре тех народов, среди которых они были рассеяны. Немецкие евреи, говорившие на идиш (этот язык, возникший в пору Средневековья от смешения древнееврейского с местными германскими и романскими диалектами, в Германии считался жаргоном), не понимали и не могли оценить красоты священного иврита Ветхого Завета, не знали они и литературного немецкого языка. Мендельсон считал такое положение нетерпимым, а потому он и его сторонники повели атаку на *мамелошн* (идиш). Как результат: в середине XIX века немецкие евреи на идиш уже не говорили.

Свою первостепенную задачу Мендельсон видел в светском просвещении единоверцев. Начал он с самых близких. Его дом, открытый для еврейской молодёжи, стремящейся к знаниям, становится местом встреч, бесед, дискуссий, если угодно, своеобразным лекторием. Чтобы прийти сюда, приглашения не требовалось. Чуть ли не ежедневно на *Spandauerstraße*, 68 с утра пораньше стекались друзья и знакомцы философа. Чаще других бывали здесь молодой богатый купец Давид Фридлендер, считавший себя учеником Мендельсона, Соломон Маймон, выходец из литовского местечка, философ-самоучка, светлая голова, Бендавид — ещё один философ, Маркус Герц, известный врач и философ-кантианец, живший со своей молодой женой по соседству, на той же улице, Соломон Дубно, знаток древнееврейской грамматики и учитель детей Мендельсона, и, конечно, Нафтали Вессели — поэт и переводчик. Все они — пионеры Хаскалы, *маскилим* (просвещённые). Заглядывали сюда и неевреи — издатель Николаи (он тоже жил на *Spandauerstraße*), молодые братья Вильгельм и Александр фон Гумбольдты, будущие светила немецкой науки, молодой профессор эстетики, знаток античности Карл Филипп Мориц, в котором вскоре Гёте найдёт единомышленника, историк фон Дом. В тесный круг допущены исключительно мужчины, но для Брендель, старшей дочери философа (она больше известна под именем Доротей) и её подруги Генриетты Герц сделано исключение.

Мозес Мендельсон — заботливый отец. Из десяти появившихся на свет его детей выжило шестеро. Он печётся об их образовании. По утрам он занимается с ними сам, под его руководством они изучают философию и религию. Для своих детей Мендельсон перевёл на немецкий язык Пятикнижие Моисеево. Уступая настоятельным рекомендациям друзей, восхищённых качеством перевода, он опубликовал его пробный экземпляр в 1778 году, напечатан он был еврейскими буквами. В письме другу он писал по поводу этого издания: «После долгих размышлений я решил, что могу, пожалуй, принести пользу как своим детям, так и многим из моих братьев, если я дам им хороший перевод Торы с соответствующим комментарием.

Этим будет сделан первый шаг по пути просвещения, от которого мои соплеменники, к крайнему моему сожалению, настолько далеки, что можно порою отчаиваться за будущее еврейского народа. Мой долг поэтому сделать всё возможное для его блага». Переводом Мендельсона будут пользоваться долгие годы не только в Германии, но и в Польше. С этого перевода и началось еврейское Просвещение — Хаскала.

До спора с Лафатером Мендельсон не участвовал в борьбе за улучшение гражданского статуса евреев и вообще редко обращался к еврейской теме, но в 70-е годы картина меняется. Он включается в движение в защиту их прав, он не упускает случая помочь каждому, кто ищет его участия. Когда в Швейцарии появился новый декрет против евреев, он не остановился перед тем, чтобы потратить Лафатера просьбой о заступничестве (1775). По аналогичному поводу он обратился к высокопоставленному лицу в Саксонии, воспользовавшись его личным расположением (1777).

В этом же году к нему воззвала еврейская община Кёнигсберга с просьбой опровергнуть утверждения, будто некоторые еврейские молитвы, в частности *Алейну*, носят антихристианскую направленность. Мендельсон смог убедить оппонентов в том, что в молитве (авторство её приписывают Иисусу Навину, преемнику Моисея), в которой иудеи прославляют Бога за то, что он избрал их и дал им иную судьбу, нежели другим племенам, речь идёт о язычниках, а не о христианах. Действительно, говорить о христианстве в XIII веке до Р.Х. — полный абсурд. Объяснение Мендельсона было настолько убедительно, что удовлетворённые власти Кёнигсберга решились отменить обязательное присутствие христианского цензора на еврейских богослужениях.

Единомышленник философа фон Дом и его трактат в защиту евреев

Когда к Мендельсону в 1780 году обратились эльзасские евреи с просьбой составить докладную записку на имя Государственного совета Франции о даровании им равноправия, Мендельсон переадресовал их просьбу своему давнему знакомцу — историку, экономисту, чиновнику министерства иностранных дел Христиану Вильгельму фон Дому. Фон Дом принадлежал к либеральной интеллигенции, захваченной идеей толерантности, которую он надеялся реализовать, реформируя государство. В 1781 году появился трактат фон Дома «Об улучшении гражданского существования евреев». Автор обратился к немецким правительствам с призывом взять на себя инициативу и предоставить еврейским общинам те же права, что имели другие социальные группы. Трактат фон Дома по сей день остаётся убедительным документом, рисующим картину бесправия немецкого еврейства на исходе XVIII столетия. Его переведёт на французский язык Мирабо, и он будет учтён при подготовке законодательства о даровании евреям равноправия во времена Наполеона.

Предоставим слово автору — высокому прусскому чиновнику: «Есть государства в составе Германии, где жительство евреям совершенно запрещено... В большинстве других государств евреи допускаются лишь на самых тяжёлых условиях, и не только в качестве граждан, сколько в качестве подданных или жителей. Еврейским семьям разрешается селиться в стране только в определённом числе, но и это разрешение обыкновенно ограничивает их пребывание известными районами и обуславливается уплатою значительной суммы денег. Во многих странах необходимым условием допущения на жительство является определённый уже приобретённый капитал. Поэтому большие еврейские массы стоят перед запёртыми воротами городов и бесцеловечно отгоняются от всех границ...

Если еврейский отец имеет нескольких сыновей, то только одному из них он имеет право оставить льготу на проживание в стране, а прочих он должен отсылать с частью капитала в другие страны... Когда еврею дано разрешение на пребывание в стране, он должен ежегодно вновь покупать это право уплатою за него значительной подати. Он не может вступать в брак без новых на то расходов и без особого разрешения, зависящего от разных обстоятельств. Каждый рождающийся ребёнок увеличивает налог, которым он отягощён, каждый шаг его обложен данью.

При таком обилии различных податей способы заработка для еврея чрезвычайно ограничены. Он лишён чести служить государству как на мирном, так и на военном поприще. Везде главнейшее из производительных занятий, земледелие, ему запрещено, и почти нигде ему не дозволяется непосредственно владеть недвижимым имуществом. Всякий ремесленный цех счёл бы за бесчестье для себя, если бы обрзанный был принят в число его членов, и поэтому евреи почти везде устранились от занятия ремёслами. Лишь немногие даровитые люди, несмотря на угнетение, имели достаточно мужества и энергии, чтобы добраться до наук и искусств... Но и эти редкие люди, достигшие высоких степеней в науках и искусствах, и даже те, которые своею безупречною жизнью делают честь человечеству, пользуются уважением только в кругу немногих благородных христиан, народная же масса не может, даже ради выдающихся качеств ума и сердца, простить таким людям вину их принадлежности к еврейству.

Для лишённого отечества несчастного еврея, деятельность которого обставлена всякими ограничениями, который нигде не может развивать своих дарований, не остаётся никаких других средств к жизни, кроме торговли. Но и торговля обставлена многими ограничениями и отягощена налогами, и очень мало евреев обладает достаточным капиталом для основания значительного торгового предприятия. Вследствие этого евреи поставлены в положение, позволяющее им заниматься одной лишь мелкой торговлей, при которой только быстро денежного оборота даёт прибыль, необходимую для их жалкого существования, или же они бывают вынуждены отдавать свои деньги взаймы, не имея возможности самостоятельно извлекать из них пользу».

Цитата получилась длинной, но, не зная степени еврейского бесправия, невозможно оценить жизненного подвига Мендельсона, который в

этих условиях сумел стать «немецким Сократом», прототипом Натана Мудрого в одноименной драме Лессинга, воспитателем поколения еврейской молодёжи, выведенного им из гетто. Без знания того, в каких стеснённых условиях протекала жизнь немецких евреев почти до самого конца XVIII века, нельзя оценить ни масштаба, ни стремительности процесса их эмансипации. К тому же честный фон Дом с его непредвзятостью заслужил право на наше благодарное внимание, ведь его сочинение убедило часть просвещённого немецкого общества «в том, что бесправие и гражданское унижение являются главными причинами упадка еврейской массы и её социальной отчуждённости» (С. Дубнов). Отношение к евреям в Германии на рубеже XVIII–XIX веков стало меняться. Однако следует иметь в виду, что удалось достучаться только до просвещённой элиты, но не до массового сознания.

Работу фон Дома стали называть «Библией эмансипации», ибо он не только описал бедствия евреев, но и наметил план решения «еврейского вопроса» на государственном уровне, согласно которому евреи должны были стать полезными и равноправными членами общества. Он высказал мысль о необходимости перехода евреев от торговли к производительному труду, это, по его мнению, должно было способствовать нравственному совершенствованию евреев и одновременно заставить замолчать юдофобов, трубивших о том, что занятия торговлей лишают евреев права на гражданское равенство. Эта мысль нашла отклик у многих *маскилим*, в частности у Вессели и Фридлендера. В созданных ими еврейских школах стали преподавать различные ремёсла.

Словно отвечая на призыв фон Дома, австрийский император Иосиф II издаёт в 1782 году «Эдикт о толерантности» для евреев Вены. Вессели восторженно откликается на эдикт открытым письмом к венским евреям «Диврей шалом ве-эмет» («Слова мира и правды»), в котором излагает программу Хаскалы. Он требует изменить систему еврейского образования. В программу обучения кроме Закона Божьего он предлагает включить «общечеловеческие науки»: арифметику, естествознание, географию, историю, государственный язык, основы нравственности и правила этикета. Тот, кто овладевает только «божественными» науками и при этом игнорирует «человеческие», становится обузой обществу — таков его суровый приговор.

Мендельсон, однако, не спешит ликовать по поводу «Эдикта о толерантности» и в письме другу пишет: «Пока из-за кулис выглядывают замаскированные *ассимиляционные* цели, я считаю подобную лицемерную игру в толерантность гораздо более опасной, чем открытое преследование».

Вклад в дело эмансипации

Мендельсон был противником ассимиляции, он выступал за гражданское равноправие евреев. По его мысли, они должны были стать немцами иудейского вероисповедания. Он разделял оптимистическую веру просвети-

телей в то, что естественная эволюция общества приведёт к решению «еврейского вопроса»: «улучшение положения евреев неотделимо, если не равнозначно, прогрессу человечества».

Мендельсон принял непосредственное участие в проекте Давида Фридлендера: в Берлине была открыта еврейская школа для детей немущих — *Фрайшule* (Свободная школа), где обучение было бесплатным и где помимо Торы преподавались общеобразовательные предметы. Аналогичная школа стала действовать и в его родном городе Дессау. Он поддержал идею Фридлендера издать «Книгу для чтения для еврейских детей» и специально для неё перевёл 13 отрывков из сочинения Маймонида, которое так поразило его в юности.

Мендельсон перевёл на немецкий *Псалмы*, *Песнь Песней* и часть *Сионид* (*Песен Сиона*) Галеви. Эти переводы, во-первых, открыли читателю поэтические красоты древнего текста, во-вторых, они способствовали усвоению еврейской молодёжью немецкого языка, знание которого открывало им путь в немецкое общество и к западной культуре. Переводы эти переиздавались много раз в XIX веке в Германии, где язык идиш повсеместно вытеснялся немецким. Мендельсон снабдил свои переводы комментариями, это отвечало традиции. У него был опыт подобной работы: в молодости он написал комментарии к *Книге Козлета* (Екклесиаста), но на этот раз он привлёк к комментированию знатоков: поэта, лингвиста и экзегета (толкователя) Нафтали Вессели, учителей Нафтали Хомберга и Арона Ярославла.

Раввины старого закала, среди которых было немало авторитетных, восстали против мендельсоновых переводов, опасаясь, — как показало время, не без оснований — что они отвлекут молодёжь от изучения Талмуда. Они видели в Мендельсоне блудного сына дома Иакова, реформатора, чуть ли не еврейского Лютера и готовы были предать его анафеме. Гейне пишет о Мендельсоне: «Он ниспроверг авторитет талмудизма, он основал чистый мозаизм» (религию, опирающуюся на Пятикнижие Моисеево без позднейших наслоений, но понять «мозаизм» можно и как собственное учение рабби Моисея).

Гейне так характеризует Талмуд: «Это иерархия религиозных законов, которые часто касаются ничтожнейших, забавнейших мелочей, но так остроумно подчинены и соподчинены друг другу, поддерживают и несут друг друга и действуют при этом с такой страшной последовательностью, что они образуют некое колоссальное целое, устрашающее в своём упорстве и несокрушимое». Мендельсону Гейне возносит хвалу за то, что «он ниспроверг, по крайней мере, в Германии, это еврейское католичество». Оставим на совести поэта сравнение Талмуда с католицизмом. Крещёный вольнодумец Гейне для религиозных евреев не авторитет.

Но вот что пишет о состоянии еврейских школ-хедеров в своей многолетней «Истории евреев» Генрих Грец, полжизни прослуживший доцентом в раввинской семинарии Бреслау, будучи к тому же профессором тамошнего университета: «Тора, хотя многие евреи знали её наизусть, стала для них самой непонятной книгой. Комментаторы — раввины и кабалисты — до того извратили смысл Торы, что в ней можно было найти что

удбно, кроме истинного содержания. Польские учителя (а других и не было) с ферулой (розгой. — *Г.И.*) в руках вдалбливали в головы детей и подростков дикие вещи, которые они якобы нашли в этой священной книге, объяснялись плохим языком, приписывая Моисею эту тарабарщину. Удалённость от светской науки, которая росла с каждым столетием, способствовала тому, что Книга, которая должна была служить услугой души, отравляла сознание». Перевод же Мендельсона, по мнению Греца, «способствовал умственному раскрепощению евреев и их нравственному возрождению».

Маскилим довольно быстро вытеснили прежних *меламедов* (учителей), система которых основывалась на изучении Талмуда. В школах, создаваемых в различных городах Германии по образцу берлинской (после революции во Франции и вторжения Наполеона в Европу они стали расти, как грибы после дождя), Талмуд больше не изучался, зато было введено обучение ремёслам.

Современный американский культуролог Гордон Крейг в своей книге «Немцы» (1982) так характеризует деятельность просветителя евреев: «Мендельсон считал, что евреи должны вырваться из духовного гетто, где они прозябали веками, перестать рассматривать себя как особый народ, принять немецкую культуру как собственную, освободить свою религию от устаревших ритуалов и попытаться занять достойное место среди других членов общества».

Это справедливая, но излишне радикальная характеристика. Мендельсон хотел, чтобы евреи в равной мере владели культурным достоянием как своих предков, так и немцев, рядом с которыми они проживали. Он хотел, чтобы они жили не рядом, а вместе. При этом он верил в избранность своего народа, заключившего завет со Всевышним, и не призывал отказаться от традиций.

Благодарный фон Дому за заступничество, Мендельсон был не во всём с ним согласен. В отличие от фон Дома он не считал, что занятие торговлей предосудительно, что евреям надлежит «исправиться». Мендельсон ведь сам стал купцом после того, как хозяин сделал его своим компаньоном, а затем полностью передал ему торговлю шёлком, и никто при этом не мог обвинить его в безнравственности.

Мендельсон об иудаизме

Мендельсон одним из первых попытался ответить на вопросы, поставленные Новым временем перед иудаизмом как мировоззрением. В 1783 году Мендельсон перевёл с латинского на немецкий трактат апологета иудаизма Менаше (Менассии). Автор происходил из семьи маранов (испанских евреев, принявших насильственное крещение, которые тайно исповедовали иудаизм, а позже многие открыто возвратились к вере предков). Он переселился в Амстердам, где основал в 1626 году первую еврейскую типографию. Мендельсона явно интересовала личность этого незаурядного человека, дружившего с Рембрандтом (в Иерусалимском музее хранится его гравированный портрет с картины Рембрандта), подвергнувшегося отлучению — хе-

рему (Мендельсон сам дважды рисковал быть отлучённым). Испанский еврей снискал благоволение Кромвеля и добился-таки разрешения для евреев селиться в Англии. А ведь несколько столетий их нога не ступала на землю Британии. Во время пребывания Менаше в Англии и написан его трактат «В защиту евреев» (1656), который через полтора века привлёк внимание немецкого еврея.

Мендельсон снабдил свой перевод предисловием, в котором благодарил фон Дома, но при этом выступил против наделения еврейской общины правом применять к своим членам суровые наказания в виде херема. Предисловие это, как и трактат фон Дома, бурно обсуждались в еврейских и нееврейских кругах. Особое неудовольствие ортодоксов вызвали мендельсоновы требования отделения религии от государства и полной свободы совести. Ему опять стали вменять в вину покушение на Закон Моисеев.

И вот тогда Мендельсон публикует свой главный труд «Иерусалим, или Иудаизм и религиозная власть» (1783), где он свёл воедино мысли о государстве и религии, которые не давали ему покоя уже многие годы. Он не оправдывался, он доказывал.

Главные религиозные догматы иудаизма: существование единого Бога, божественного провидения и бессмертия души — не являются, по его мнению, специфически еврейскими, они являются общечеловеческим достоянием. Евреев отличают от других то, что они первыми стали монотеистами и получили на Синае Скрижали Завета и Тору. То, что Бог говорил на Синае через Моисея со своим народом, для Мендельсона — факт, не нуждающийся в доказательствах: «несомненность синайского откровения основывается на авторитете неподдельной традиции, как всякое другое историческое событие, не допускающее сомнения».

«Иудейство признаёт внутреннюю свободу религиозного убеждения; древнее истинное иудейство поэтому не представляет никаких обязательных догм; иудейство вообще не предписывает веры, а только знание и познание, оно требует внимания и любви к Учению; в этой религиозной сфере каждый может мыслить, думать и ошибаться, как ему угодно, не подвергаясь обвинениям в ереси; право наказания начинается только тогда, когда дурная мысль переходит в очевидное действие. Почему? Потому что иудейство не религия Откровения, а откровенное законодательство. В данной Богом конституции государство и религия едины; отношения человека к обществу и Богу совершенно сливаются и никогда не могут прийти в столкновение; Бог, создатель и хранитель вселенной, был и царём народа; вся гражданственность имела религиозный вид, гражданская служба была вместе с тем и служением Богу; всякий грех, т.е. всякое действие, противное закону, считалось противным Богу».

С разрушением Храма, с падением государства гражданские узы народа были разорваны, и нарушения или отступления от религиозных догматов перестали считаться преступлениями против государства. Настаивая на отмене освящённой авторитетом Талмуда практики отлучения (херема), Мендельсон писал о том, что наказание не является прерогативой религиозных органов.

Государственная же теория Мендельсона такова: «Правительство имеет право только на действия людей, но никак не на их мнения и мысли; правительство может обложить наказанием поступки, противные закону, но не имеет никакого права вмешиваться в область, самую дорогую для человека, область внутреннего его убеждения; ещё меньше прав имеет религия; вся её сила заключается единственно в *учении и утешении*; религиозные наказания, исключения, отлучения, а тем более гонения и сжигания — не что иное, как высокомерное злоупотребление и заблуждение, которые, хотя повторялись часто, были достаточно отомщены; всякое вторжение религии в правовую сферу немыслимо». Мендельсон не хотел ссориться с ортодоксами, но во имя обретения евреями гражданских прав он выступил в защиту светского государства. Такому государству нет дела до религии его граждан, его девиз — свобода совести и мысли.

«Иерусалим» вызвал большие споры. Кант откликнулся письмом, где были и такие строки: «Я считаю эту книгу провозвестницей великой реформы, которая должна произойти не только для Вашей нации, но и для других. Вы сумели соединить Вашу религию с такой степенью свободы совести, какую прежде в ней вряд ли было возможно предположить и какою ни одна из других религий не может похвастаться». И это написал Кант, который, как известно, отнюдь не был юдофилом.

Книга эта произвела глубокое впечатление и на либерального француза, графа Мирабо. К этому времени он уже прочёл «Натана Мудрого» Лессинга. Посетив Берлин в 1786 году, через два месяца после смерти Мендельсона, он побывал в его доме. Мирабо изучил не только сочинения Мендельсона, но и вышеупомянутый трактат фон Дома о положении евреев. В 1787 году он опубликовал в Париже монографию «О Мозесе Мендельсоне и политической реформе для евреев», где решительно потребовал, чтобы «эта талантливая нация была освобождена от всех ограничений». Будучи во время Французской революции избран депутатом в Генеральные штаты от третьего сословия, Мирабо немало поспособствовал еврейскому равноправию.

Спор о Спинозе

Интерес к Спинозе пробудился в Германии в конце XVIII века. К тому времени немецкие философы переросли деизм, который ещё находил поддержку у французских энциклопедистов, в частности у Вольтера. Мендельсон оставался до конца на позициях деизма. Бог действителен правит миром сверху как системой, отдельной от Него. Бог пантеиста Спинозы пребывает в самом мире, ибо Он и есть мир. В глазах своих ближайших потомков Спиноза прослыл атеистом, таковым он был и в глазах Мендельсона.

В своей последней книге «Утренние часы» (1785), куда вошли многие из бесед, которые он вёл с друзьями в своём доме на *Spandauerstraße*, Мендельсон развивает идею «очищенного» спинозизма. Он уверен, что, наряду с имманентным существованием мира в Боге, существует и мир вне Бога, хотя и в зависимости от Него. Мендельсон уверяет, что и его недавно умерший друг Лессинг признавал идею личного Божества.

На книгу Мендельсона тут же откликнулся президент Баварской академии, религиозный философ Фридрих Якоби. Он ответил трактатом «Об учении Спинозы. Письма господину Мозесу Мендельсону». Мендельсон из желания защитить друга от обвинений в спинозизме, то бишь, по его мнению, в атеизме, конечно же, возразил Якоби, ответив страстной статьёй «К друзьям Лессинга» (1786). Он писал её из последних сил в прямом смысле. Сразу после публикации статьи Мендельсон умер. Но спор немецких интеллектуалов продолжался. В «споре о пантеизме», а фактически о Спинозе, приняли живейшее участие Гёте, Гердер, Форстер, Кант.

Якоби, начавший полемику с Мендельсоном, видел в системе Спинозы атеистический фатализм, она была для него лишь собранием формул, построением разума. Сам же Якоби оказался, по мнению Гегеля, «предводителем партии непосредственного знания, веры, человеком, полностью отрицающим значение рассудка».

Что до Мендельсона, то как философ он остался сыном Просвещения, с Якоби ему было явно не по пути, но и примкнуть к новому направлению философской мысли оказалось не под силу. А между тем пантеизм становился тайной религией молодых романтиков — поэтов и философов. Их время было не за горами. Что касается новейших философов Германии, то они, по выражению Гейне, смотрели «сквозь очки, отшлифованные Барухом Спинозой». Мендельсону эти очки не подошли.

Последствия Хаскалы в судьбах немецкого еврейства

Мендельсон оказался духовным лидером Хаскалы, это и определяет его место и значимость, ибо Хаскала стала поворотным пунктом в новой еврейской истории. Главным последствием Хаскалы стала эмансипация европейских евреев, которая развивалась в целом стремительно, хотя приливы в этом процессе то и дело сменялись отливами. Евреи Германии в начале XIX века выбрались из гетто не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Реформировался традиционный образ жизни евреев, они перешли на современную европейскую одежду, переняли многое из немецкой бытовой культуры. Реформа еврейского образования (включая женское) набирала обороты и способствовала овладению немецким языком, что разрушило языковой барьер между евреями и местным населением.

Ярким примером еврейско-немецкого симбиоза стали берлинские салоны, основательницами и законодательницами которых были молодые еврейские женщины: Доротея Мендельсон (в первом браке Фейт, во втором — Шлегель), Генриетта Герц и Рахель Левин (в замужестве Форнхаген фон Энзе). Выйдя за стены гетто, дочери израилевы жадно припали к источникам знаний, с энтузиазмом восприняли гуманистические идеи эпохи и заразились немецким идеализмом. Образованность стала почитаться в эту пору как своего рода аристократизм, и причаститься такому аристократизму можно было независимо от происхождения и вероисповедания. Это соблазнило многих. Евреи быстро поняли, что образование и культура — верное средство добиться респектабельности, а быть может, и признания.

Со временем немецкие евреи превратили культуру в своего рода религию. Из желания приобщиться к немецкой культуре некоторые дали сыновьям имя Эфраим Готхольд в честь дружественного к ним, а потому любимого Лессинга, а многие приняли фамилию Шиллер. Хотя к имени Гёте евреи в подобных случаях не обращались, именно они создали его культ. В каждом еврейском доме можно было найти его сочинения, и даже раввины цитировали Гёте во время служб.

Новое поколение эмансипированных образованных евреев включилось в дело, начатое Мендельсоном, желая пробудить силы в самом еврействе и способствовать его интеграции в немецкое общество. В 1819 году в Берлине усилиями молодого доктора права Ганса и историка еврейской литературы Цунца возникло Общество науки и культуры евреев, преследовавшее, прежде всего, просветительские цели. У Общества имелись филиалы в Гамбурге, Франкфурте и других городах, где проживали евреи. В 1822 году членом Общества стал молодой студент Генрих Гейне. Он принял настолько активное участие в работе Общества, что и сам начал вести занятия по немецкому, французскому языку и истории Германии. Даже после того как Общество распалось в связи с крещением его председателя Ганса, многие его члены были заняты подготовкой преподавательских кадров для школ, основанных на принципах Хаскалы. Для этой цели в Берлине, Дессау, Мюнстере, Ганновере и других городах были созданы учительские семинарии.

Благодаря деятельности учеников Мендельсона и членов Общества в образованных еврейских кругах возрос интерес к библейскому ивриту и еврейской философии, была заложена основа науки о еврействе, чему немало способствовал ученик Мендельсона Вессели. Исследование еврейской истории не только обогатило евреев знанием о прошлом их народа, но способствовало росту их авторитета в глазах не евреев. Следствием Хаскалы стало возникновение гебраизма — движения за возрождение древнееврейского языка — иврита.

Маскилим — просветители ставили главной целью интеграцию евреев в немецкое гражданское общество. Ради этого, по мнению некоторых (среди них выделялся радикальными настроениями Давид Фридлиндер), стоило поступиться частью национально-религиозных традиций. В Гамбурге в 1818 году открылась синагога с реформированным богослужением, органом, хором и проповедями на немецком языке. Генриху Гейне эти попытки улучшить положение евреев путём «европеизации» еврейского богослужения, перевода его на немецкий язык, привнесения в него некоторых элементов католической обрядности казались несостоятельными. Инициаторов этого процесса он иронически назвал «мозольными операторами».

Реформационное течение в иудаизме, зародившееся в Германии уже после смерти Мендельсона, получило самое сильное развитие в США. В самой же Германии многие представители богатой еврейской верхушки, не дождавшись полной эмансипации, но горя желанием стать уважаемыми гражданами, оказались на пороге крещения и бестрепетно переступили этот порог. Можно только догадываться, какую боль испытал бы Мозес Мендельсон, узнай он, что трое из его детей тоже перешли в христианство.

Возлагать на Мендельсона ответственность за отступничество части иудеев было бы неверно, да и недостойно. Ассимиляция немецкого еврейства — процесс объективный, дань новым веяниям. Времена насильственного крещения миновали. Утверждать, что германские власти в XIX веке поощряли крещение, — значит идти против правды. Оно стало пропуском в общество, куда вход для граждан, исповедующих Закон Моисея, был закрыт. В таких областях, как образование, юстиция и военная служба, требовалось крещение. Без этого нельзя было стать профессором, офицером, судьёй.

Мендельсон, живший на переломе эпох и не обольщавшийся относительно своих соплеменников, сознавал, что воспользоваться этим пропуском захотят многие. Обращаясь к ним, он писал в своей главной книге: «Я не понимаю, каким образом даже те из нас, кто принял христианскую веру, могут освободить свою совесть от требования Закона? Иисус из Назарета никогда не давал понять, что он пришёл, чтобы освободить от Закона дом Иакова... Всё его поведение, как и поведение его первых апостолов, соответствует раввинистическому принципу: Кто не родился в Законе, тот не связан Законом, но кто родился в Законе, должен жить по Закону и умереть по Закону...» Вот к чему призывал он евреев. Сам он жил и умер по Закону.

В этом вопросе Мендельсон не был белой вороной. Среди тех, кто достиг высокого общественного положения, не изменяя вере предков, — известный художник Мориц Оппенгейм, Амалия Бер, мать Джакомо Мейербера, придворный банкир Бляйхрёдер... Кайзер Вильгельм пожаловал банкиру дворянство, не настаивая на крещении. Его предшественник король Фридрих-Вильгельм III наградил Амалию Бер за участие в освободительной войне против Наполеона орденом Луизы. Но поскольку евреи не носили крестов даже в виде ордена, он приказал изготовить его для Амалии в виде овального медальона. Казалось бы, мелочь, но ведь за этим — уважение к чужой вере. Это нечто новое.

Во второй половине XIX века, особенно с начала 70-х, после того как при Бисмарке евреи стали полноправными гражданами, во многих городах Германии возводятся прекрасные синагоги. Многие из них рассчитаны на значительное количество прихожан, их убранство пышно и богато. Там, где нет потребности, подобные храмы не строят. Параллельно с ассимиляцией происходит расцвет еврейских общин. Это было время больших ожиданий.

Проходя сегодня по залам Еврейского музея Берлина, можно своими глазами увидеть, как преобразилось немецкое еврейство в результате усилий рабби Мозеса и его последователей. Каждый имеющий глаза способен оценить эти наглядные последствия Хаскалы для евреев и немцев, убедиться, какой глубокий и широкий след оставили евреи в экономике и культуре Германии и особенно в облике Берлина всего за одно столетие. В начале XIX века в Берлине проживало 3 432 еврея, а к концу столетия — 116 000. Это почти четвёртая часть еврейского населения Германии. Если раньше 90% евреев были заняты торговлей, то теперь таковых было менее 50%. Сыновья и внуки малограмотных уличных торговцев, мелких лавочников, ремесленников и подмастерьев сформировали целые плеяды банкиров,

промышленников, инженеров, физиков, химиков, математиков, врачей, юристов, журналистов, издателей, музыкантов и исполнителей высокого класса. Таковы были последствия Хаскалы.

Но были у неё и другие последствия. Пассионарность евреев, их неожиданно высокая конкурентоспособность одновременно испугали и озаботили немцев. Рост и успехи индустриализации, которыми она была в не-малой степени обязана еврейским предпринимателям, вызывали недовольство ремесленников и мелких производителей. И вот уже прозвучали страшные в своей несправедливости слова: «*Die Juden sind unser Unglück!*» («Евреи — наше несчастье!») И уже в 1881 году организованные антисемиты стали забрасывать правительство петициями с требованием отменить равноправие евреев. Под петициями подписалось 225 000 человек. Бисмарк не дрогнул. В защиту еврейского равноправия публично выступили 76 учёных, среди которых такие известные, как Теодор Моммзен и Рудольф Вирхов.

Усиление германского национализма и антисемитизма способствовало развитию сионизма как еврейского национального движения. Как это ни парадоксально на первый взгляд, подготовила его рождение тоже Хаскала, она способствовала не только ассимиляции, но и пробудила самосознание евреев. Не случайно родиной сионизма стала Германия, а провозвестником его был Мозес Гесс, стоявший также и у истоков немецкой социал-демократии. В книге «Рим и Иерусалим» (1862) он озвучил горькую истину, первым обратив внимание на новый, расовый характер современного ему антисемитизма: «Немецкий еврей из-за ненависти, которой он окружён, склонен отказаться от всего еврейского и даже отречься от своей расы. Он решается на крещение не под давлением немецких ненавистников. Немцы меньше ненавидят религию евреев, нежели их расу, меньше их своеобразную веру, чем их своеобразные носы. Ни реформы, ни крещение, ни образование, ни эмансипация не открывают немецким евреям полностью крепостей социальной жизни». Гесс видел единственный путь для евреев — создание собственного государства в Палестине. Его идеи подхватит и разовьёт Теодор Герцль.

Генрих Гейне десятилетием ранее заметил, что антипатия к евреям среди высших классов не имеет уже религиозных корней, а среди низших классов она с каждым днём всё больше и больше превращается в *социальную ненависть*. Незадолго до смерти он пишет, что еврейский вопрос в Германии — это, прежде всего, немецкий вопрос. Освобождение евреев невозможно без раскрепощения, без эмансипации самих немцев: «Евреи ...лишь тогда будут по-настоящему эмансипированы, когда христиане также полностью добьются эмансипации. *Их дело тождественно делу немецкого народа...*» (Курсив мой. — Г.И.)

За десять лет до Гейне выходец из буржуазной ассимилированной семьи Карл Маркс в статье «К еврейскому вопросу», которую впоследствии охотно станут цитировать нацисты, наметил «спасительный выход»: «Какова мирская основа еврейства? — задавался вопросом двадцатипятилетний выпускник юридического факультета. — *Практическая потребность, корысть. Каков мирской культ евреев? Торгашиство. Кто его мирской бог?*

Деньги. Отлично! Но в таком случае эмансипация от *торгашества и денег*, то есть, от практического, реального еврейства, была бы самоэмансипацией нашего времени». По Марксу, «практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями». Спасти «объевреившееся» человечество, по мнению молодого Маркса, можно, если обществу удастся упразднить эмпирическую сущность еврейства, рынок и его предпосылки. И сами евреи тем спасутся: их сознание очеловечится. Вот такой путь предложил «основоположник».

Эти разные векторы устремлений немецких евреев нашли своих сторонников и последователей, но одно стало очевидно: просветительский оптимизм оказался иллюзией. Просветители были убеждены, что возможно достичь прогресса с помощью просвещения. Их трагическая ошибка состояла в твёрдой вере в то, что приобщение к культуре может изменить саму человеческую природу. Когда эта высокая мечта явила свою несостоятельность, идеология Хаскалы пришла в упадок. На протяжении целого века она, несмотря на внутренние разногласия, которые с течением времени в ней наметились, определяла жизнь европейских евреев и привела к радикальным переменам в их сознании.

ГЁТЕ И НАРОД МОИСЕЯ¹

В кабинете веймарского дома Гёте стояла небольшая бронзовая копия *Моисея* Микеланджело. Человеку свойственно желание иметь в поле зрения лишь то, что, как теперь принято говорить, вызывает у него положительные эмоции. Следовательно, *Моисей* находился тут не случайно. И в самом деле, фигура Моисея имела огромную эмоциональную значимость для Гёте. Образ Моисея был близок Гёте и как поэту, и как министру двора. Моисей восхищал его как герой, как избавитель своего народа, сумевший вывести его из рабства и вновь привести к Богу. Занимаясь в течение многих лет государственной деятельностью, Гёте свою задачу понимал как организательную, воспитательную, образовательную. Он заботился о духовном воспитании своих сограждан, немцев, и всего человечества. Моисей, в известной мере, был для него образцом.



Любопытную трактовку микеланджеловского *Моисея* находим у Фрейда, который считал, что гениальный скульптор модифицировал тему разбитых скрижалей. У него Моисей не разбивает их, а укрощает свой гнев во имя заботы о своём народе: «Гигантское творение с его огромной физической мощью становится конкретным выражением высшего духовного свершения, какое только возможно для человека: успешное преоборение внутренней страсти во имя того дела, которому он себя посвятил». Если помнить, сколь важно было для Гёте контролировать свои эмоции, владеть страстями, можно предположить, что Гёте бессознательно самоотожествлял себя с Моисеем, не понятым своим народом, но всё же способным сдерживать гнев и продолжать работу.

Секретарь Гёте Эккерман, находившийся при великом старце почти безотлучно, вспоминает в своей книге «Разговоры с Гёте» беседу по поводу этой скульптуры. Ему показалось, что руки *Моисея* непропорционально велики. На это Гёте очень живо возразил: «А две тяжелые скрижали с десятью заповедями, вы думаете, безделица поднять такую махину? И ещё не забывайте, что Моисей командовал целой армией евреев, которую он должен был держать в узде, ну как ему было обойтись обыкновенными рука-

¹ Опубликовано в журналах: *Крещатик*. Киев, 2001. № 1; под названием «Гёте и евреи» — *Вестник*. Балтимора, 2002. № 19.

ми?!» Если читать между строк, а мы обучены этому искусству волею обстоятельств, то не трудно понять, что евреи в глазах Гёте представляли как народ беспокойный, своенравный, жестоковыйный. Чтобы управлять таким народом, нужна твёрдая рука.

Тот же Эккерман вспоминает, как в доме Гёте обсуждали оперу Россини «Моисей». Одни гости хвалили музыку и порицали либретто, другим не нравилась музыка. Гёте же возразил, что их нельзя отделять и противопоставлять друг другу: опера — это союз зрительных и слуховых ощущений. Гёте считал, что начало оперы Россини и впрямь нелепо: как только открывается занавес, зрители видят толпу молящихся евреев. По его мнению, это неестественно, так как сцена — не место для молитвы.

Эккерман пишет далее о реакции Гёте: «Я бы сделал для вас совсем другого “Моисея”, да и либретто начал бы по-другому. Прежде всего, я бы показал тяжкий подъяремный труд детей Израиля и то, как они страждут от тирании египетских надсмотрщиков, дабы нагляднее стал подвиг Моисея, сумевшего освободить свой народ от позорного ига.

И Гёте, к восторженному изумлению гостей, восхищённых потоком его мыслей и неисчерпаемым радостным богатством фантазии, с необыкновенной живостью продолжал сочинять оперу — сцену за сценой, акт за актом — остроумно, со всей полнотой жизни и в строгом соответствии с исторической правдой». Этот вечер запомнился не только Эккерману.

Интерес к еврейству: откуда он у Гёте?

Интерес к еврейству, а точнее к еврейской истории, у Гёте пробудился очень рано. Он родился из постоянного чтения Библии. Родители поэта — лютеране, и Библия была в доме настольной книгой. Письма матери Гёте пестрят библейскими изречениями. Объёмистые отрывки из Моисеева Пятикнижия мальчик знал наизусть. Его отец, советник права, уважаемый человек во Франкфурте, очень этим гордился. Пятикнижие Моисеево было усвоено юным Гёте и глубоко прочувствовано, и когда в пожилом уже возрасте он столкнулся с его беспощадной критикой, то, не будучи ортодоксальным верующим, резко выступил против нападок на Ветхий Завет. Это было для него святыней.

Очень рано, чуть ли не в десятилетнем возрасте, Гёте осознал себя поэтом. Библия оказалась для него неиссякаемым кладом поэтических образов и сюжетов. В детстве и отрочестве он сочиняет драму «Иезавель», трагедию «Вальтасар», эпическую поэму в прозе «Иосиф и его братья», поэму о Самсоне. Собираясь на учёбу в Лейпциг, он сжёг часть написанного. Вернувшись из Лейпцига, он перед отъездом в Страсбург уничтожил остальное. Но всё же некоторые школьные тетрадки уцелели.

Знакомство Гёте с еврейством не было сутобо книжным. Во Франкфурте-на-Майне, где он родился в 1749-м году и жил до 1765 года, существовал еврейский квартал, называемый Еврейским закоулком. По свидетельству Гёте, он «состоял едва ли не из одной улицы, втиснутой, как в

клетку, в малое пространство меж городской стеной и оврагом». Теснота, грязь, давка производили тягостное впечатление на тех, кто решался в него заглянуть. В таком виде гетто просуществовало до 1811 года, когда евреям было разрешено его покинуть.

В своей автобиографической книге «Поэзия и правда» Гёте признается, что Еврейский закоулк в силу своей таинственности и пугал, и притягивал его мальчишеское любопытство. «При этом в юном воображении проносились старые сказки о жестокости евреев к христианским детям, отвратительные картины каковой были запечатлены на страницах Готфридовой хроники. И хотя в новейшее время мнение о евреях изменилось к лучшему, но картину, клеймившую их стыдом и позором, всё ещё можно было разглядеть на стене Мостовой башни, и она тем более оскорбляла достоинство этого народа, что была заказана в свое время не каким-нибудь частным лицом, а общественным учреждением». О чём здесь пишет Гёте? Что за Готфридова хроника, что за картина, которая запала в его детскую память?

Речь идет о картине «Поношение евреев», которая красовалась на башне моста вплоть до 1811 года, т.е. до тех пор, когда мост не был разрушен. Её сюжет и образы были заимствованы из средневековой *Готфридовой хроники*, на которой воспитывалась франкфуртская элита, к которой семья Гёте, несомненно, принадлежала. Гравированную копию этой картины мы воспроизводим. В верхней её части изображен убитый христианский младенец, якобы невинная жертва еврейского культа, а ниже — преступники-евреи рядом со свиньёй, этим нечистым животным: один припал к её сосцам, другой заглядывает ей под хвост. Позор и поношение! Обвинение-навет в том, что евреи убивают христианских младенцев и их кровь подмешивают в мацу, о котором упоминает Гёте, преследовало евреев на протяжении многих веков, являясь причиной или поводом для гонений на них, для погромов и убийств. Часто погромы устраивались именно перед Песахом или во время праздника.



Мне довелось побывать в Фульде, где в далёком 1231 году состоялся первый в Германии процесс по обвинению евреев в использовании крови христианского младенца в ритуальных целях. Сейчас Фульда, этот форпост католицизма в Германии, известна как город барокко. Разумеется, и сегодня главный Собор, где покоятся мощи св. Бонифация — место паломничества всех римских пап, — католическая святыня. Однако в облике города, в лицах его мирных жителей ничто не напоминает о жутких драмах, которые разыгрывались здесь в средние века. Между тем суд 1231 года приговорил к смерти не только подозреваемого в убийстве, но всю еврейскую общину, а насчитывала она 34 человека. И хотя кайзер Фридрих II Штауфен полгода спустя снял это обвинение с евреев Германии, стоило через два сто-

летия случиться эпидемии чумы, как вновь в этом бедствии обвинили евреев, и началось их поголовное истребление. Лишь два города, Эрфурт и Штутгарт, отказались принять в нём участие. Идут столетия, сменяя друг друга, а этот кровавый навет, как шлейф, тянется за еврейским народом.

Зрелый Гёте (вышеприведённые строки относятся к 1811 году) однозначно осуждает подобные обвинения, но, будучи ребёнком, он разделял предрассудки своих единоверцев, верил этим сказкам и опасался заглядывать в еврейский квартал. Вернёмся, однако, к его воспоминаниям. Гёте пишет: «И всё же евреи оставались избранным народом Божиим и, невзирая ни на что, жили среди нас олицетворённым напоминанием о древнейших временах. Вдобавок они были люди энергичные, обходительные, а самое упорство, с каким они придерживались своих обычаев, невольно вызывало уважение. Девушки их были хороши собой и охотно терпели, когда христианский юноша, встретившись с ними в субботу на Рыбацком поле, оказывал им знаки внимания. Поэтому-то меня и разбирало любопытство поближе узнать их обряды. Я не мог успокоиться, покуда не побывал несколько раз в еврейской школе (синагоге. — Г.И.), не увидел собственными глазами их свадьбы и обряд обрезания, не составил себе представление о празднике Кущей. Повсюду меня встречали приветливо, радушно потчевали и просили приходить ещё...» Можно добавить, что дядя Гёте по материнской линии был связан по роду своей деятельности со многими евреями-коммерсантами, очевидно, именно он устроил племяннику эти посещения.

Под впечатлением маленький Гёте делает зарисовку, которая сохранилась. Он хочет удержать в рисунке внешние приметы ритуала, связанного с праздником Кущей, или Суккот (сукка́ — шалаш), его необычное убранство: ковры, подвешенные ветки с плодами нового урожая, побеги пальмовых листьев и сами евреи в талесах, со своеобразными «букетами» в руках из четырёх только им ведомых растений, совершающие определённую серию движений во время молитвы.

Не подлежит сомнению, что в случае с юным Гёте мы сталкиваемся не просто с мальчишеским любопытством, а с глубоким, осознанным интересом, поразительным в столь юном возрасте. И то, что он, несмотря на свои страхи и предрассудки, отправляется в квартал париев (а евреи в ту пору считались париями — отверженными), вступает с ним в контакт, говорит о многом.

Ему не было и десяти лет, когда он придумал себе игру, помогающую превратить скучные занятия по иностранным языкам в увлекательную забаву. Он решил писать роман, в котором шестеро братьев, рассеянных по свету, обменивались бы письмами и сообщали друг другу о своей жизни и новых впечатлениях. Старший брат рассказывает о своих странствиях на хорошем немецком языке. Другой, изучающий богословие, прекрасно пишет по латыни. Третий, служащий по торговой части, пользуется английским. Четвертый, живущий в Марселе, отвечает по-французски. На итальянском пишет брат-музыкант, находящийся на стажировке в Италии. Все эти языки прилежно изучал маленький Гёте. «Наконец, младший, нахальный желторотый птенец, для которого у меня в запасе уже не было ино-

странного языка, изъяснялся в письмах на некоем немецко-еврейском диалекте, приводя в отчаяние адресатов своими ужасными каракулями». Как вы поняли, маленький Иоганн-Вольфганг называет «причудливым немецко-еврейским диалектом» язык идиш.

Отец одобряет склонность сына к полиглотству. Для обучения его идишу нанят сержант военного арсенала из выкрестов. Пунктуальный доктор права, Иоганн Каспар Гёте занёс в книгу расходов сумму гонорара, выплаченного «учителю» — 1 гульден 30 крейцеров. Не густо! Видимо, занятия были непродолжительными и результаты не очень блестящими. Ну, какова цена, таково и качество.

Как можно судить о том, насколько Гёте продвинулся в идише? Сохранилась и была напечатана посмертно написанная им в детстве «Еврейская проповедь» (*Jüdenpredigt*). Сейчас она стала предметом научного изучения. В основе этой проповеди лежит эсхатологическая легенда о приходе Мессии, который явится после Страшного суда, соберёт еврейский народ и спасёт его, переведёт через Красное море. За Мессией пойдут и неевреи, мост рухнет, но евреи достигнут берега, а остальные утонут.

«Еврейская проповедь» была включена в вышеназванное сочинение, т.е. в детский роман-игру. Однако знакомством с идишем дело не закончилось. «Я вскоре заметил, — пишет Гёте, — что мне недостает знания древнееврейского, без которого невозможно найти правильный подход к современному, пусть испорченному и искаженному, еврейскому языку, но всё же восходящему к своему древнему прообразу. Посему я тотчас же объявил отцу, что мне нужно изучать древнееврейский, и стал настойчиво помогать его согласия». Отец договорился с ректором франкфуртской гимназии о ежедневных уроках. Как видите, отношение к ивриту у отца было более почтительное, чем к идишу: ведь иврит — язык Библии. Потому и учитель приглашается уважаемый и знающий.

Рассказ Гёте о сложностях, с которыми он столкнулся при изучении иврита, не лишен юмора, хотя и уступает в комизме известному рассказу Марка Твена «Об ужасающей трудности немецкого языка». Мальчик легко усвоил алфавит, чтение справа налево не затрудняло, камнем преткновения стали огласовки. «На меня надвинулось целое полчище мелких буквочек и значков, точек и чёрточек, которые, собственно, должны были изображать гласные... Вдруг некоторые из первых крупных букв, оставаясь на том же месте, утрачивали свое значение во имя того, чтобы маленькие их потомки не стояли здесь понапрасну. То они подавали знак к легчайшему придыханию, к более или менее твёрдому гортанному звуку, а то вдруг являлись либо подтверждением, либо отрицанием».

Каждый, кто начинал учить иврит, поймет муки двенадцатилетнего школяра. Впрочем, ребёнку было легче: он привносил элемент игры в свои занятия, он забавлялся тем, что присваивал титулы этим значкам, там были императоры, короли и герцоги. И всё же он добился своего: он прочел на иврите книги Моисея. «Мои старания изучить язык и постигнуть смысл Священного Писания свелись к тому, что в моей фантазии ещё живее воз-

ника прекрасная и достопочинная страна, её окружение, соседи, а также наоды и события, на тысячи лет вперед прославившие сей клочок земли».

Для многих, для большинства европейцев эта земля освящена пребыванием на ней Христа. Для Гёте она священна, прежде всего, как земля Авраама, Исаака, Иакова. И это очень существенно. В «Поэзии и правде» он слагает гимн и этой земле, и еврейским праотцам: «И снова выходит оттуда родоначальник (Авраам. — Г.И.), но уже более счастливый, ибо ему удаётся передать ярко выраженный характер потомству и тем самым навеки создать из него великую нацию, единую, несмотря на все перемены мест и превратности счастья». Если у кого-то возникали сомнения насчёт отношения Гёте к евреям, я полагаю, они рассеются после того, как они вчитаются и вдумаются в эти строки. Антисемитом Гёте не был: он слишком широко мыслил, чтобы им стать, и злобная ненависть ему была чужда.

В «Поэзии и правде» Гёте не просто пересказывает книги Моисеевы, волновавшие его детское воображение, он пишет о них, будучи шестидесятилетним поэтом, достигшим европейской славы. Важно обратить внимание на то, как он излагает библейские сюжеты, как трактует характеры патриархов и судьбу еврейства.

Древняя история иудеев интересует Гёте больше, нежели современная, это очевидно. Но ведь и Греция влечёт Гёте не в современном обличье, а прежде всего как гомеровская Греция. Когда Гёте призывает: «Пусть каждый будет греком на свой лад, но пусть всё же каждый будет греком», он в качестве образца имеет в виду мудрость Сократа и Платона, нравственное благородство героев Софокла, красоту, сотворённую Фидием и Поликлетом, иначе говоря, Грецию эпохи высокой классики.

Еврейские образы и мотивы в творчестве Гёте

В «Фаусте», над которым он работал всю жизнь, можно найти множество образов и реминисценций из Ветхого Завета, начиная с *Пролога на небесах* и кончая финальной сценой смерти Фауста. Учёные насчитали 200 примеров перекличек и совпадений. Особенно явственны реминисценции из *Книги Иова*, самой любимой библейской книги Гёте. В *Прологе* у Гёте даётся римейк библейского диалога Бога с сатаной, которым открывается *Книга Иова*. Бог задаёт сатане вопрос: «Обратил ли ты внимание твоё на раба моего Иова?» И у Гёте Бог спрашивает Мефистофеля: «Ты знаешь Фауста? Он мой раб». И дело не только во внешних сходствах, а в глубинной перекличке: человека подвергают испытанию, испытывается его дух.

В образе Фауста, в его разочарованности (начало трагедии, сцены в кабинете ученого) явственны отголоски книги *Экклесиаста*, с его лейтмотивом «суеты сует», тщеты человеческих усилий. А вот во второй части «Фауста» в характере главного героя проявляются черты библейского Моисея. Кстати, одно из исследований, появившееся в 1912 году под эгидой Прусской королевской академии, книга Бурдаха Конрада, так и называется «Фауст и Моисей». Можно отыскать и другие ветхозаветные реминисценции в «Фаусте»: из *Песни песней*, из истории коварной Иезавели и т.д.

В юношескую пьесу-фарс «Ярмарка в Плундерсвейлерне» (1773) Гёте включил библейскую историю Эсфири (Эстер) из *Танаха*. Эта история в свое время вдохновила Расина и Ганса Сакса, чьи произведения Гёте были известны. Судя по «ломаному стиху», он явно пародирует «Комедию царицы Эстер» Сакса, но не исключено, что обращение к этой волнующей странице еврейской истории связано с посещением *Judengasse* во время праздника Пурим, где он видел традиционные *пуримшпили* по мотивам *Книги Эстер*. История Эстер у Гёте получает комическую интерпретацию, подана не в серьёзном, а в бурлескном ключе. Детские впечатления помогли ему с блеском сыграть роли Амана и Мордехая, когда это «маскарадное действие» было поставлено пятью годами позже при веймарском дворе.

Среди «Набросков и фрагментов», созданных между 1816-м и 1819 годами, сохранилось два эскиза гётевского плана восстановления Храма Соломона. Они отражают его юношеское увлечение архитектурой и одновременно свидетельствуют о глубине интереса к еврейской истории. Кстати, там же находим план истории еврейского народа, который демонстрирует не только знание предмета, но и широту подхода к нему. Среди набросков имеется незавершенная *Кантата*, которую Гёте писал по случаю 300-летия начала Реформации. Первая часть этой *Кантаты* основана на Ветхом Завете и являет собой поэтические картины разных этапов развития еврейского народа, начиная с явления Бога на Синае. Композитор Цельтер, близкий друг Гёте, был в восторге от первой части *Кантаты* и намеревался положить её на музыку, но Гёте так и не написал второй части, замысел которой был связан с Новым Заветом. Темой *Кантаты* являлись вера и одновременно неверие в торжество последнего. Эта тема очень занимала и волновала Гёте с молодости. Противники часто обвиняли Гёте чуть ли не в атеизме. Но они, возможно, просто не доросли до уразумения его веры.

Гёте не был атеистом, но он не был и христианином в прямом смысле этого слова. Он был пантеистом: Бог, по его мысли, — это Природа. Свое собственное религиозно-философское представление о мире Гёте начал составлять в 19 лет, вернувшись из Лейпцига. Ответы на свои духовные запросы юный Гёте нашёл у еврейского мыслителя Баруха Спинозы, авторитет которого он признавал до конца жизни.

В позднем романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» (1821) его герой, принятый в Общество башни (подобие масонских лож XVIII века), ведёт жизнь странника, как того требует устав Общества. Во время странствий он попадает в некую процветающую провинцию, при описании которой автор исходит из утопических представлений о возможности построения справедливого буржуазного государства и о воспитании нового человека. Его знакомят с педагогическим центром, своего рода храмом науки и нравственности. Не вдаваясь в анализ трёхступенчатой религии, которую исповедуют здесь (в ней угадывается внецерковное христианство), обратим внимание на оценку иудаизма. «...Перед судом Богом народов задаётся вопрос не о том, лучше ли остальных какое-нибудь племя, а лишь о том, долговечно ли оно, способно ли сохраниться. Израильский народ был далеко не безгрешен, за что тысячекратно слышал упреки от своих

предводителей, судей, старейшин и пророков; он не наделён достоинствами других народов, но делит с ними пороки; зато по самостоятельности, твёрдости, храбрости, а если этих свойств мало, то и цепкости, ему нет равных. Это самый упорный народ на земле, он был, есть и будет, дабы имя Иеговы славилось во все времена». И потому в зале всемирной истории, где проходит первый этап обучения и воспитания детей процветающей провинции в романе Гёте, еврейский народ избран главным примером, главным предметом изображения.

Последние годы и в научных трудах, и в прессе часто фигурирует понятие иудео-христианской цивилизации (после 11 сентября 2001 года ей всё чаще противопоставляют мусульманскую, отмечая при этом обозначившийся конфликт цивилизаций). Гёте был одним из немногих, кто не устал твердить о наследственном иудео-христианском союзе.

Показательно его отношение к «Натану Мудрому», который стал лебединой песней Лессинга. Сам автор не верил, что Германия готова принять его «Натана». В предисловии он написал: «Я не вижу ни одного места в Германии, где эта пьеса может быть поставлена сегодня. Удача и хорошее будущее ожидает то место, где она будет впервые поставлена». Гёте, который оказал содействие Шиллеру в постановке пьесы в веймарском театре в 1801 году, заметил: «Конечно, Лессинг имел в виду этическую и религиозную респектабельность города, который пойдёт на этот шаг. Мы счастливы, что наш театр смог поставить эту пьесу, это повышает к нему уважение».

В 1805 году Гёте ездил на спектакль по «Натану» в Лаухштедт. В 1815 году он вновь вернулся к «Натану» и заявил следующее: «Пусть эта хорошо известная история напоминает немецкой публике во все времена о необходимости не просто взирать на неё, но прислушаться к ней и постичь её. Пусть божественное чувство терпимости и снисхождения, выраженное в ней, останется священным и дорогим для нации». Слова эти сегодня определяют общественный климат Германии. Но нацисты их в упор не слышали. Сумев использовать и приспособить себе на потребу творчество ряда поэтов и музыкантов прошлого, при этом искажая и извращая его, они ничего не смогли поделать с Олимпийцем. Принимая его как классика, они не смогли использовать его в своих гнусных целях, приспособить его произведения для своей расовой идеологии.

О предрассудках Гёте по отношению к еврейству

Разговор об отношении Гёте к народу Моисея будет неполным, если умолчать о его негативных высказываниях, касающихся еврейства. В них явно проступают не преодоленные им предрассудки времени и среды, из которой он вышел. В письме Шарлоте фон Штайн от 28 октября 1782 года, упомянув о визите к нему еврея Эфраима, Гёте замечает, что у него возникло большое желание вставить героя-еврея в свой роман. Роман, о котором идёт речь, — «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796). Но, по-

видимому, Гёте не владел необходимым для этого материалом, и такой герой в его романе не появился.

Вильгельм Мейстер, увлекающийся театром, отыскивает среди театральных костюмов рясу священника, а также одеяния мага-чародея и еврея. Еврей был излюбленным персонажем всяческих комедий, объектом карикатур и насмешек. Желających играть роль еврея было мало, поскольку еврею не аплодировали, это был герой отрицательный. Главное направление обвинений в адрес евреев — их занятия, связанные с деньгами, с ростовщичеством в частности, которые порождают нечестность, алчность.

Многим неведомо, что почти тысячу лет назад евреям Европы была запрещена всякая иная деятельность, кроме как в сфере денежной (менялы, ростовщики, банкиры — все они в пору Средневековья и позднее были евреями). Еврей не мог быть хлебопашцем, ремесленником и даже торговцем. Денежное дело, хоть и обслуживало торговлю, считалось в ту пору презренным, бесчестным. Представление это распространялось на евреев. Между тем в Торе трижды повторён запрет ростовщичества (*Второзаконие 23: 19–20*). Талмуд, где рассмотрены самые различные виды сделок, допускает денежный рост, выговоренный и даже случайный. Но и здесь отмечается, что рост при займе возможен лишь с иноверца. Однако в средние века, когда денежное дело стало основным и почти единственным занятием евреев (остальные были запрещены), деньги уже рассматривались как товар, который может дать прибыль. Гонители евреев обвиняют их в том, что они занимались непроизводительным трудом, и это — лицемерие, ибо их лишили права заниматься производством товаров. А далее — знакомые обвинения: *шахер-махеры*, мошенники, обиралы, кровопийцы...

Гёте не прибегает к оскорбительным характеристикам, его упреки делаются словно бы незначай. Так это выглядит и в «Фаусте». Когда мать Маргариты увидела у дочери сундучок с драгоценностями, которые ей подсунил Мефистофель, она решила пожертвовать эти ценности «заступнице небесной», т.е. фактически Церкви. Капеллан охотно принял дар, сопроводив поступок прихожанки такими словами:

Вы приняли разумное решение,
Мир вашей добродетельной душе:
Кто жадность победил, тот в барыше.
А церковь при своём пищеваренье
Глощает государства, города
И области без всякого вреда,
Нечисто или чисто то, что дарят,
Она ваш дар прекрасно переварит.
(Фауст при этом бросает реплику.)
Как и всеядец ростовщик-еврей
И главный королевский казначей.

Т.е. ростовщик-еврей включен в общий ряд тех, для кого главное — нажива, для кого деньги не пахнут: церковники, королевский казначей и ростовщик-еврей. Он не хуже и не лучше тех, кто в этом ряду.

Во второй части «Фауста» казначей жалуется императору на пустую казну и замечает: «А я ростовщику-жиду / Так много задолжал в году, / Что по своей бюджетной смете / Концов с концами не сведу». Пастернак при переводе опустил такую деталь: казначей сетует на то, что пока еврей не продаст им свиного сала, придётся корочкой сухой питаться. Известно, что евреи не только не употребляли свинину в пищу, но в прежние времена Закон не разрешал им даже торговать свининой. Евреев-свиноторговцев во времена Гёте не существовало в природе. Были евреи, торговавшие лошадьми, скототорговцы. Гёте, конечно, схулиганил, пойдя на такую трансформацию. Это сродни свиному уху, которым гоголевские персонажи дразнят старого еврея.

Несомненно, обидным покажется одно из правил утопического сообщества, довольно схематические очертания которого обозначены в романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера». Это своего рода христианская секта, члены которой исповедуют христианство по-своему. Один из группы сектантов, готовящейся эмигрировать в Америку, в общих чертах рассказывает об их уставе и при этом замечает: «Потому мы и не терпим в нашей среде евреев; это можно счесть излишним педантизмом, но нельзя не признать, что это логично: ибо почему должны мы уделять от высшего просвещения тем, кто отверг его исток и начало?».

Нежелание членов сообщества видеть в своих рядах евреев совпадает с нежеланием большинства евреев быть членами христианской секты. Так что, если поразмыслить, в этом правиле нет ничего унижительного и оскорбительного для еврея. Но эти слова дали основание Льву Полякову, вслед за Отто Вейнингером, зачислить Гёте в воинство антисемитов. Несчастного Вейнингера (еврея и при этом патологического юдофоба) можно понять: ему нужен был для опоры такой авторитет. А Полякову следовало бы быть поосторожнее с выводами.

Среди бесед, записанных Эккерманом, был и разговор, касающийся происхождения человека. На Арапате вроде бы нашли окаменевший кусок Ноева ковчега, речь пошла о разных расах, населяющих землю, и возник спор, могли ли они все произойти от Адама и Евы. Гёте считал, что нельзя слепо следовать Священному Писанию, и напирал на то, что природа сильна своим многообразием. Согласно его мнению, от Адама и Евы пошёл избранный Богом народ, то есть евреи. Все прочие имели других прародителей. «Думается, наши уважаемые гости будут согласны с тем, что мы во многих отношениях отличаемся от подлинных детей Адама и что они, хотя бы в денежных делах, значительно нас перегнали». Вроде бы Гёте почтительно выделил евреев, ведущих род от Адама, но похвала его оказалась двусмысленной, недаром гости его засмеялись. Заметим попутно, что Гёте не терпел клан Ротшильдов, своих разбогатевших земляков, и охотно рассказывал о них анекдоты.

Во время путешествия в Швейцарию Гёте остановился в Хайльбронне, о жителях которого отозвался с большим уважением, как о людях вежливых, демонстрирующих доброту, естественность, спокойствие, гражданские добродетели, и коротко добавил: «Евреев здесь не терпят». Он никак не

прокомментировал этот факт. Однако уже то, что нетерпимость, нетолерантность хайльброннцев к евреям не помешала Гёте их лестно характеризовать, говорит само за себя. Ведь речь идёт не об утопической секте, а о реальном немецком городке, куда вход евреям был заказан, и было это не в глухие времена Средневековья, а на пороге XIX столетия.

Эмансипация евреев, которую очень затормозило поражение Наполеона и решения Венского Конгресса, пусть медленно, но продолжалась. Известные свободы получили и евреи Веймара. В 1823 году был издан закон, разрешающий смешанные браки между евреями и христианами. Гёте отнёсся к нему резко негативно. Позиция, казалось бы, достойная осуждения. Однако не будем спешить бросать камень. Ведь известно, что ещё ветхозаветный пророк Неемиа запрещал смешанные браки. Однако то, что мы принимаем от своего пророка, в устах немца — пусть это даже Гёте! — звучит как обида. Вот такие грехи по отношению к евреям числятся за Олимпийцем.

Личные контакты Гёте с евреями

Судьба современного еврейства находилась на периферии интересов Гёте. Будучи по природе борцом, он не сражался за равноправие евреев, как это делал Лессинг, которого Гёте чтил. Но при этом трудно назвать другого нееврея этой эпохи, кто демонстрировал бы столь глубокий интерес к еврейской истории, кто испытал бы столь значительное влияние еврейской мысли, кто имел бы столь разнообразные личные контакты с евреями.

Контакты Гёте с евреями характеризуют не только его отношение к сыну Израиля, но помогают кое-что узнать об общественном положении евреев — современников Гёте в условиях начавшейся эмансипации.

Вернувшись во Франкфурт из Страсбурга по окончании университета, Гёте в день своего двадцатидвулетия подаёт прошение с просьбой принять его в коллегии адвокатов. Почти четыре года будет он заниматься адвокатской практикой. Гёте провёл 28 процессов, и в семи из них он защищал евреев. Сохранились соответствующие документы, и исследователи раскопали их, изучили, описали. Интересующихся отсылаю к книге: Waldman, Mark. Goethe and the Jews. A Challenge to Hitlerism, в которой этой теме посвящена целая глава. Эту книгу, изданную в Нью-Йорке в 1934 году, я отыскала в городской библиотеке Кёльна, располагающей большим отделом «Иудайка». На форзаце — дарственная надпись автора: «Господину Иозефу Шлоссбергу, гуманитарию, борцу за совершенствование пролетариев физического и умственного труда». Книга была подарена американским евреем соплеменнику сразу после выхода. Как сложилась судьба владельца книги? В Кёльне, который, по свидетельству Теодора Герцля, был «главным плацдармом немецкого сионизма», до прихода нацистов существовала большая община — 15 000 человек. Многие из них были уважаемыми бюргерами, достойными людьми, большинство

оказалось обречено. Уцелел ли «гуманитарий» Шлоссберг или прошел «крутым маршрутом» вместе с одиннадцатью тысячами кёльнских евреев? Лагерь в Дойце — Терезиенштадт — Освенцим — таковы его этапы. Последний транспорт с обречёнными ушёл из Кёльна первого октября 1944 года. Всего их было 23.

Во времена Гёте мысль о возможности Холокоста никому бы не пришла в голову. Напротив, это было время Хаскалы, еврейского Просвещения, движения, сущность которого заключалась в стремлении немецких евреев интегрироваться и стать полноправными членами общества. Отцом и идейным вдохновителем Хаскалы был Мозес Мендельсон, философ-просветитель XVIII века. Гёте были известны его сочинения, в частности его труд «Федон, или Три диалога о бессмертии души», написанный по образцу платоновских диалогов. Нашлось лишь одно свидетельство о том, что Гёте вроде бы посетил Мендельсона во время своего единственного приезда в Берлин и Потсдам в 1778 году. Проверить это не представляется возможным.

Известно, что Мендельсон весьма прохладно отнёсся к ранним произведениям Гёте — к драме о Гёце и к «Страданиям молодого Вертера». Как и его друг, Лессинг, автор «Федона» не приветствовал движение «Буря и натиск». С подачи Мендельсона молодой берлинский поэт Николаи написал пародию на роман Гёте: «Радости юного Вертера. Страдания и радости Вертера, мужа». Пародия не отличалась остроумием, но Гёте задела. Он ответил Николаи не очень пристойными стихами, а по Мендельсону прошёлся в эпиграмме. Но когда обиды прошла, спустя несколько лет в письме к своему другу Якоби он называет Мендельсона «еврейским Сократом». И это высокая оценка.

Скорее всего, им не довелось встретиться, но Гёте общался с сыном Мендельсона, Авраамом, а внук философа маленький Феликс Мендельсон, будущий композитор, нашёл в доме уже немолодого Гёте радушный приём. Гёте обожал мальчугана. Слово «обожал» очень точное: он видел в нём икру Божью, божественное присутствие в его даровании. Да и всё веймарское общество, которому он представил этого вундеркинда, было от него в восторге: «*Sonntagskind!*» (т.е. отмеченный Богом, рождённый в сорочке — так называли его окружающие.)

Гёте пророчил мальчику великую славу и не ошибся. Особенно он любил слушать Моцарта и Бетховена в его исполнении. Он просил мать мальчика присылать его к нему почаще. Они переписывались, маленький Феликс писал стихи и песни, и Гёте публиковал их в еженедельнике своей невестки.

Выражал бы Гёте столь пылко свои чувства, если бы мальчик оставался некрещёным? Трудно сказать. Конечно, крещение было пропуском для еврея в высшее общество, а Мендельсоны (сын и внук философа) принадлежали к высшим кругам, сравнившись с аристократией. Двойная фамилия Феликса Мендельсон-Бартольди не имеет отношения к итальянцам. Некоторые думают, что это фамилия жены композитора. На самом деле *Бартольди* происходит от старонемецкого имени *Berathold*. Когда крестился

отец Феликса, он вслед за своим шурином взял это имя. Но и после крещения сами Мендельсоны продолжали считать себя евреями, да и в глазах окружающих они таковыми оставались.

Гейне, который тоже перешёл в христианство, заметил: «Когда я был евреем, христиане меня ненавидели, теперь ненавидят и те, и другие». Известный русский композитор и пианист Антон Рубинштейн сказал ещё более точно: «Евреи называют меня христианином, христиане — евреем, немцы — русским, русские — немцем». Такова участь ассимилированных.

Мы привыкли к насильственной ассимиляции. В царской России еврейских мальчиков-рекрутов и кантонистов крестили насильственно. Родителей-евреев кое-где обязывали отдавать детей в светские церковно-приходские школы. Мой муж, уроженец Бессарабии, которая до 1940 года входила в состав Румынии, окончил такую школу в 1938 году, а моя бабушка — ещё в позапрошлом веке. Известно, что в СССР иврит, начиная с 1930-х годов, был под запретом как язык сионистов, еврейские школы и техникумы были в последнее время закрыты даже в Биробиджане, столице искусственно созданной Еврейской Автономной области. Посещение синагоги, как, впрочем, и церкви, могло иметь печальные последствия для карьеры.

Между тем нельзя сказать, что в Германии ассимиляция евреев в XIX веке проходила под давлением сверху. Власть имущие не спешили раскрыть объятия для обращённых евреев, хотя крещение, согласно неписаному закону, было пропуском в общество, но известна реплика прусского кайзера Фридриха на этот счёт: «Они думают, что веру можно перелицевать, как пальто». Немцы не настаивали на ассимиляции евреев, к ней стремились сами евреи Германии.

Гёте общался в основном с евреями ассимилированными. Среди верных поклонниц его таланта выделялась Рахель Левин, ставшая женой дипломата и известного литературного критика Фарнхагена фон Энзе, и её подруга Дженни фон Паппенхайм. В берлинском салоне Рахель царил настоящий культ Гёте. Там встречались представители знати, писатели, журналисты. Говорили, что она сделала невозможное возможным. Благодаря толерантности и человеколюбию она сломала барьер предрассудков против евреев. Гёте несколько раз встречался с Рахель и высоко отзывался о личных качествах и способностях молодой женщины.

Он был также знаком с дочерью Мозеса Мендельсона Доротеей, рано вышедшей замуж за берлинского купца Симона Фейта, с братом которого Гёте водил знакомство. Доротей поначалу была почитательницей Гёте, но после крещения стала высказываться против его религиозного свободомыслия, а оказавшись в гуще романтических исканий, она и вовсе превратилась в идейную противницу веймарского классициста, активно выступала против его «язычества». До конца своих дней были в дружбе с Гёте сёстры Марианна и Сарра Майер, дочери богатого берлинского коммерсанта-еврея. Гёте познакомился с Марианной в 1795 году в Карлсбаде, ещё до её перехода в христианство, и был поражен её красотой и блестящим интеллектом. Он признался Шиллеру, что влюбился. У неё было много претендентов и помимо Гёте. Она согласилась на морганатический брак с прин-

цем Анри XIII и приняла фамилию фон Эйбенберг. Её сестра Сарра вышла за лифляндского барона фон Гроттхуса. Марианна блистала в аристократических кругах Берлина и Вены, она неоднократно встречалась с Гёте в Веймаре, о чём он вновь писал Шиллеру, выражая сожаление по поводу того, что она не появилась несколькими годами ранее. Она была слаба здоровьем, и Гёте часто справлялся о её состоянии у Каролины фон Гумбольдт. Узнав о её смерти, Гёте написал Сарре: «Вы знаете о моей любви и расположении к Вашей незабвенной сестре».

В Карлсбаде Гёте вошел в контакт и с еврейками, сохранявшими веру предков: речь идёт о жене венского банкира барона Эскельса и его сестре Франциске. Он часто бывал у них и охотно читал им свои вещи. Его привлекали живость их ума, быстрое и глубокое понимание. Они проявляли к его творчеству больше внимания и неподдельного интереса, нежели «настоящие немцы». Доктор Ример, проживший в доме Гёте несколько лет в качестве секретаря, полагает, что причина расположения Гёте к его еврейским слушателям кроется в особенностях их менталитета: немцы медлительны, тугодумы, еврейский же ум много живее.

Чаепитие во времена Гёте



Дружеские отношения связывали Гёте не только с представительницами слабого пола. Он симпатизировал молодому художнику Морицу Оппенгейму, уроженцу франкфуртского гетто. Гёте ему покровительствовал: устроил выставку его работ в своем доме, добился от Карла-Августа профессорского титула для своего протеже. Иллюстрации молодого Оппенгейма к его «Герману и Доротее», пожалуй, самой немецкой вещи Гёте, так восхитили Олимпийца, что он долго говорил о немецком духе этих графических работ. А между тем Оппенгейм прославился не только как иллюстратор Библии, как портретист (он написал портреты молодого Гейне и Людвига Бёрне; больше других пользовалась его услугами семья Ротшильдов), но он создал массу жанровых картин о еврейской жизни. Оппенгейм не скрывал своего еврейства, в одном из писем он упоминает, что графиня, в доме которой он оказался гостем, внимательно следит за тем, чтобы ему подавали *кошерную* пищу. Эти детали показывают, насколько далеко простиралась религиозная терпимость в культурных немецких кругах.

Свыше 20 лет состоял Гёте в переписке с Давидом Фридендером, учеником Мозеса Мендельсона. Их связывали интересы коллекционеров. Фридендер был нумизматом высшего класса, Гёте интересовался старыми монетами, кроме того, оба коллекционировали медали и обменивались ими. Но они обсуждали и такие темы, как качество лютеровского перевода Библии, смысл образа Мефистофеля и многие другие интересные их моменты. Оба дружили с музыкантом Цельтером, он часто был посредником между ними.

Более близкими были отношения Гёте с профессором Маркусом Герцем, выдающимся врачом и известным философом, работавшим в берлинском университете. Герц был дружен с Кантом и был последователем его философии. Используя игру слов (фамилия Герц, или *Herz* по-немецки, означает «сердце»), Гёте часто называл его *Наше сердце*, т.е. он безусловно включал профессора-еврея в своё окружение. Корреспонденткой Гёте была и жена Маркуса Герца Генриетта, женщина незаурядного ума и необыкновенной красоты. Она превратила свой берлинский дом в салон, который посещали крупнейшие учёные и писатели, в их числе дочери Мендельсона, Шиллер, Жан-Поль Рихтер, скульптор Шадов.

Ещё один кантианец-еврей вызвал интерес и симпатию Гёте. Речь идёт о Соломоне Маймоне, родом из Литвы, выходец из ортодоксального еврейства. Жизнь и личность Соломона Маймона настолько необычны и интересны, что заслуживают отдельного разговора. В его недолгой жизни было много неожиданных поворотов, трудностей, испытаний. Систематического образования он не получил, но был гениальным самоучкой, проявив незаурядные способности и в медицине, и в математике. Ему было уже за 30, когда он, едва освоив немецкий, прочитал «Критику чистого разума» Канта. Он подметил слабые стороны его учения, что впоследствии сделал и Фихте. Маркус Герц, который ввёл Маймона в свой дом и оказывал ему покровительство, послал рукопись книги Маймона Канту, с которым Герца связывали дружеские отношения.

Кант, прочитав рукопись «Попытка подхода к трансцендентальной философии», заметил, что Маймон — единственный критик, кто ухватил идею его философии. Но когда книга еврея вышла из печати, Кант всё же почувствовал себя задетым. Через два года Соломон Маймон выпустил свою большую автобиографию, которая возбудила громадный интерес в немецких образованных кругах и которую сравнивали с «Исповедью» Руссо. Гёте серьёзно подумывал пригласить в Веймар бедствующего философа. Его не останавливало еврейство Маймона. Просто Маймон нашёл другого мецената. Но когда Шиллер пригласил Маймона сотрудничать в их с Гёте альманахе «Оры», тот с радостью принял это предложение. Маймона высоко ценили Фихте и Шеллинг. Он умер в 1800 году в возрасте 46 лет.

Евреем был и Давид Фейт, с которым Гёте свёл личное знакомство. Фейт принадлежал к respectable берлинской семье банкиров и коммерсантов. Он изучал медицину в Йене и прибыл в Веймар в 1793 году с рекомендательным письмом. Гёте принял его дружески и пригласил приезжать ещё. Так что они встречались несколько раз в Йене и Карлсбаде.

Один эпизод особенно показателен. Молодой Фейт посетил представление веймарского театра. Он был весьма удивлен, когда Гёте, премьер-министр двора и директор театра, сел рядом с ним и завел беседу о спектакле, интересуясь его мнением. Чувства еврейского студента можно понять, это была высочайшая честь, и ей был удостоен молодой еврей, хотя в зале было достаточно молодых немцев. Неудивительно, что он станет страстным почитателем Гёте.

Среди молодых людей, подающих надежды в области искусства, Гёте выделил музыканта, композитора и музыкального критика Фердинанда Хиллера, тоже еврея, который был близким другом Феликса Мендельсона-Бартольди. Он тоже был из породы вундеркиндов, свою первую композицию для оркестра Хиллер опубликовал в 15 лет, а концертировал с десяти. Гёте посвятил ему в 1827 году короткое стихотворение.

Другое молодое еврейское дарование — поэт и драматург Михаэль Бер, родной брат выдающегося музыканта Джакомо Мейербера (настоящие имя и фамилия — Якоб Либман Бер). В свои 19 лет он поставил в Берлине первую трагедию «Клитемнестра» (на античный сюжет). Гёте откликнулся на это записью в дневнике. Через четыре года новая трагедия Бера из еврейской жизни «Пария» была поставлена в Берлине. Она побудила Гёте написать эссе «Три парии». Михаэль Бер прибыл в Веймар для личного знакомства с Гёте, его пьеса была поставлена в 1824 году в веймарском театре. Гёте написал короткое предисловие к ней, в котором он отстаивает права евреев, хотя и указывает на обобщенный символический образ «парии». По мнению Гёте, это символ всех угнетённых и презираемых, униженных и оскорблённых, независимо от национальности. Жизнь Бера рано оборвалась, ему было отпущено всего 33 года.

История знакомства Гёте и Гейне и отношение Гейне к Гёте могут стать темой особого разговора. Гейне был представителем нового молодого поколения. Его суждения об Олимпийце неоднозначны. Гейне защищал Гёте от нападок «патриота»-националиста Вольфганга Менцеля (1827–1828 гг.), который заявил, что Гёте, конечно, талант, но не гений.

Молодежь, играющая в демократию, нападала на старика. Тон задавал Людвиг Бёрне, еврей, родившийся во франкфуртском гетто. Его настоящее имя, до крещения, было Лоев Барух. Бёрне не отрицал гениальности Гёте-поэта, он нападал на него за его близость к аристократии, обвинял в сервильности, в заискивании перед сильными мира сего. «Рифмованный холоп» — так он аттестовал Гёте, Гегель же в его глазах был «холопом нерифмованным». Бёрне считал, что Гёте и Шиллер обращены к прошлому, в то время как Лессинг и Вольтер смотрят в будущее. Таково было его мнение. Гейне ответил ему изничтожающей статьёй. Он всячески защищал Гёте от нападок, несмотря на то что их единственная встреча, имевшая место в 1824 году, не удалась, желанного благословения Олимпийца Гейне не получил, а ведь он считал себя его наследником.

Что касается Джакомо Мейербера, то Гёте, не будучи лично с ним знаком, восхищался его музыкальным гением, хорошо знал его оперу «Роберт-Дьявол». И Эккертан вспоминает, что когда Гёте, работая над второй частью

«Фауста», решил опубликовать отрывок из неё, где речь идёт о Елене, он заговорил о своём желании увидеть свою трагедию на подмостках. «Если бы только музыку написал действительно большой композитор! Такой, как Мейербер, который столь долго прожил в Италии, что его немецкая сущность смешалась с сущностью итальянской». Заслуживает внимания не только сам выбор Гёте, но и то, что он говорит о немецкой сущности, или немецком духе еврея, нимало не смущаясь и не ставя под сомнение такую возможность. Точно так же он оценивал и художника Морица Опленгейма.

Через два года, т.е. в 1829 году, Гёте вновь заговаривает о том, какой ему видится музыка ко второй части «Фауста»: «Моцарт, вот кто бы мог написать музыку к “Фаусту”. Ещё, пожалуй, Мейербер». Иначе говоря, Гёте видит в Мейербере гениального немца, в еврее он открывает немецкий дух. Доживи Гёте до времен Третьего рейха, его главари этого «оскорбления нации» ему бы не простили.

Нацисты плохо изучали родную историю, иначе бы знали, какой вклад внесли евреи в развитие Германии в XIX и XX столетиях. Вряд ли им было известно, что, когда после революции 1848 года во Франкфурте был создан первый парламент, его председателем был выбран профессор права из Кёнигсберга, выдающийся оратор, крещёный еврей Эдуард Симсон. Франкфуртский парламент разрабатывал общегерманскую конституцию и установил «Основные права немецких граждан». На одной из сессий парламента молодой Бисмарк, в ту пору министр-президент Пруссии, превысив свои права, нарушил этикет, и Симсон должен был призвать его к порядку, на что Бисмарк отвечал: «Мне отлично известно, что пристало знатному джентльмену», дав понять, что не Симсону учить его этикету. На что Симсон холодно ему возразил: «Мой род намного древнее вашего. Разве вы не знаете, что я прямой потомок великого первосвященника Аарона? И потому я просто обязан знать, что подобает джентльмену». Бисмарк после этих слов извинился. Возможно, эта история из области слухов, фольклора, но она просочилась в печать, и я её нашла в вышеупомянутой книге Марка Вальдмана. Когда «железный канцлер» Бисмарк создал Второй рейх, крещёный еврей Симсон был избран в рейхстаг. Он стал президентом Верховного общегерманского суда, который заседал в Лейпциге. В 1888 году ему было пожаловано дворянство. Сейчас об этом мало кто вспоминает, возможно, просто по незнанию.

Эдуард Симсон тоже имеет касательство к Гёте. За несколько лет до смерти Олимпийца он посетил Веймар, эти немецкие Афины, и был принят Гёте. Через несколько лет после кончины Гёте Симсон стал учредителем и президентом первого Гётевского общества. Сейчас им несть числа.

Евреи — почитатели и исследователи творчества Гёте

Захваченная идеями Просвещения, вырвавшаяся из гетто еврейская молодёжь поначалу избрала себе кумирами Лессинга и Шиллера, увлечённая их революционным пафосом. В книге Людвиг Гайгера (L. Geiger) «Немецкая

литература и евреи» отмечено, что «Шиллер был поэтом гетто», в то время как Гёте считался поэтом элиты. Путь к нему был непростым, требующим больших усилий, но уж очень он прельщал, этот трудный путь к вершинам. Культ Гёте в среде просвещённых немецких евреев стал складываться стараниями Рахели Левин и её окружения. Начало ему положили анонимная публикация в 1814 году брошюры «О Гёте. Отрывки из писем» (за ней скрывалась Рахель) и сборник, выпущенный Фарнхагеном в 1823 году, — «Гёте в свидетельствах современников».

Однако после смерти Олимпийца интерес к нему в Германии упал. Писатели «Молодой Германии», задававшие тон накануне революции 1848 года, немало постарались, чтобы дискредитировать Гёте в глазах либеральной молодёжи: он и враг революции, и монархист, одним словом, — «рифмованный холоп». Особенно постарался Людвиг Бёрне. Даже титул *Олимпийец* звучал в их устах как укоризна.

Тем не менее, любовь светских евреев к Шиллеру и Гёте была искренней и нежной. Между тем канонизированные после смерти поэты стали национальным достоянием. Поклоняясь национальному немецкому канону, евреи, как им казалось, становились немцами. Их отождествление себя с немецкой культурой было настолько полным, что скоро евреи стали преобладать среди жрецов национальных культов. Первыми и самыми успешными — вдумчивыми, дотошными, точными — издателями, текстологами и комментаторами Гёте оказались евреи. Они заложили основы гётеведения как раздела филологической науки.

О способности евреев к мимикрии писали многие — от юдофоба Розанова до раввина Штейнзальца. Прочитав этого известного израильского религиозного мыслителя: «Наша адаптация — это внутреннее преобразование. С языком чужого народа к нам приходят глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа. Более того, спустя некоторое, и часто недолгое, время мы оказываемся в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам понимает себя...» Так что не стоит удивляться тому, что в литературоведении Германии евреи стали играть столь заметную роль.

Длинный ряд гётеведов открывает Бертольд Ауэрбах, выступивший в 1861 году с докладом «Гёте и искусство повествования». Огромное впечатление на слушателей произвела его первая фраза: «Мой доклад пришёлся на 21 февраля, день смерти Спинозы». И акцент на спинозизме Гёте, и блестящий анализ его повествовательной техники — всё стало сенсацией.

Эпохальный труд «О критике и истории гётевских текстов» (1866) принадлежит также еврею Михаэлю Бернайсу (*M. Bernays*). Крестившись, он сделал блестящую академическую карьеру, стал первым профессором новейшей истории немецкой литературы. Его брат, тоже филолог, от крещения отказался, он стал первым исследователем и апологетом Фридриха Ницше, чем и прославился, но с братом-отступником отношения порвал. Лейпцигский книготорговец и издатель Соломон Хирцель (*S. Hirzel*) с по-

мощью М.Бернайса издал в 1868 году письма Гёте Ф. А. Вольфу, а в 1875 году выпустил собрание сочинений молодого Гёте в 3-х томах.

Людвиг Гайгер, сын пионера *Хаскалы* Авраама Гайгера, одного из основателей новейшей науки о еврействе, с равным рвением служил еврейской общине (он написал двухтомную «Историю евреев Берлина») и выполнял долг перед отечеством, решая задачу национального масштаба, участвуя в сохранении и изучении наследия Гёте. В 1879 году он основал *Гётевский ежегодник*, который выходил его стараниями почти 35 лет, вплоть до 1913 года. Когда Гайгер начал выпускать *Гётевский ежегодник*, в Германии ещё не существовало даже Гётевского общества, оно возникнет лишь в 1885 году, по инициативе ещё одного эмансипированного еврея, Эдуарда Симсона.

На протяжении столетия пальму первенства среди пропагандистов Гёте удерживали евреи. Потом это будет им тоже поставлено в вину: нацисты обвинили еврейских гётеведов в «иудаизации» немецкого классика. Людвиг Гайгер, неоднократно переиздававший биографию Гёте, написанную англичанином, решил сам выпустить книгу под названием «Гёте: Жизнь и творчество. Немецкому народу адресована» (1901). В эту же пору появляется ещё пять биографий Гёте, принадлежащих перу еврейских авторов. Среди них — удостоенная премии книга Рихарда Морица Майера (*R.M. Meyer*) «Гёте» (в трёх томах).

Ещё один выдающийся еврей, известнейший датский литературный критик и писатель Георг Брандес, создал биографию Гёте в начале XX века. Но наибольшей известностью в Германии пользовалась работа Альберта Бильтшовского (*A.Bielschowsky*). Двухтомное издание «Гёте: его жизнь и его творчество» (1896) менее чем за 20 лет выдержало 42 переиздания. Книга в кожаном переплёте, с золотым тиснением была излюбленным подарком подросткам ко дню *конфирмации* у христиан, к празднованию *бармицы* или *батмицы* у немецких евреев, не порвавших с иудаизмом. Соперничать с ней могла лишь трёхтомная биография Гёте, изданная Эмилем Людвигом в 1920 году. За короткий срок она выдержала 34 переиздания. В Москве она вышла в сокращённом переводе с немецкого в серии *ЖЗЛ* в 1965 году. Издатели ни словом не обмолвились об авторе, а между тем Эмил Людвиг был немецким евреем. Кстати, ему принадлежит первая на Западе биография Сталина, написанная ещё при жизни этого тирана.

Самые значительные исследования творчества Гёте в пору Веймарской республики принадлежали Фридриху Гундольфу, которого даже недруги признавали «немецким гением». Гундольф скончался в Гейдельберге накануне столетнего юбилея со дня смерти Гёте. За несколько недель до смерти он завершил юбилейную речь, написанную по заказу Парижского университета (она вышла отдельной брошюрой в Берлине в 1932 году). Её можно рассматривать как его завещание. Гундольф начал с того, что Гёте был творцом и воплощением общеевропейского гуманизма. А закончил он свою речь, коснувшись чрезвычайно актуальной, но и опасной уже в ту пору темы, указав на глубокое духовное родство еврейской и германской сущности. «Германской судьбой считалось вечное становление, незавершённость, нарушение мирового покоя постоянными стремлениями, беспокой-

ными порываниями. Гёте — наш величайший гений ещё и потому, что он как личность мучительно переболел этой немецкой незавершённостью и победил её: именно как личность, ибо другого пути избавления нет».

Накануне прихода нацистов к власти слова Гундольфа звучали вызывающе, но это не был одинокий голос. Гётевская речь Томаса Манна в Берлине и Веймаре тоже прозвучала предостережением. В марте 1932 года евреи Кёльна, как и других городов, отметили столетие со дня смерти Гёте. Выступления в еврейских общинах и речь Гундольфа совпадали в основных моментах. Сохранился апрельский *Листок общины* с субботней речью кёльского раввина д-ра Кобера, произнесённой в синагоге на *Roonstraße*: «Еврейство чтит мужа, высочайшая заслуга которого состояла в том, что ему принадлежат слова: «Я был прежде всего человек», поэта, который в своём «Фаусте» раскрывает нам глубины нравственного идеализма и при этом учит твёрдо и неуклонно держаться реального, ходить по земле, придерживаться оптимистической веры в конечную победу царства Божия». В Кобленце в ректорском доме состоялись гётевские торжества, куда были приглашены представители кёльской еврейской общины. В одном из докладов говорилось о силе демократии в Германии и о «невозможности склонить к насилию немцев или, по крайней мере, христиан Кёльна». Увы, увy, увy, какая роковая ошибка, за которую заплачено миллионами жизней!

Нацистам Гёте казался подозрительным уже потому, что он «оказался в руках еврейской клики», как писала *Völkischer Beobachter* от 10.02.1932 г., а кроме того, нацисты обвиняли великого поэта в желании быть гражданином мира, в интернационализме, в его тайном пренебрежении к «почвенникам». В тот период, когда слова «кровь» и «почва» стали ключевыми в лексике нацистов, старые упреки в адрес Гёте в «решающем» 1932 году обрели новое звучание. Гёте был чужд и враждебен любому национализму, этого ему не прощали те, кто размахивал знаменем народности, играл на патриотических чувствах своих соплеменников. Желая уколоть Олимпийца, они называли его космополитом. Гёте же принимал это звание с гордостью. В истории советских евреев был период, когда их тоже звали не иначе как безродными космополитами. И впрямь, бывают странные сближенья ...

НЕМЕЦКИЕ ГЕРНГУТЕРЫ, ИЛИ ПРОТОСИОНИСТСКИЕ ИДЕИ ЮНГА-ШТИЛЛИНГА¹

Кто такие гернгутеры? С этим вопросом я ещё до приезда в Германию тщетно подступала к знакомым немцам. Но где-то в году 1991-м Элли Карловна Пиларино, возглавлявшая центр немецкой культуры в Кишинёве, сама неожиданно заговорила о них. Её предки, выходцы из Швабии, принадлежавшие к протестантской секте гернгутеров, в числе других сторонников Юнга-Штиллинга, одного из мистических пророков рубежа XVIII–XIX веков, отправились после смерти Учителя в 1817 году в далекую Россию искать тысячелетнего Царства Божия, ибо Юнг-Штилинг, уверовавший перед смертью, что в нём воплотился Христос, заверил их, что Второго пришествия следует ожидать именно там, в России. Он назвал даже место: за Кавказом, у горы Арарат. Члены общин из Вюртемберга и Баварии, распродав имущество, двинулись в указанном направлении. Их было почти девять тысяч, менее половины добрались до Измаила, остальные погибли в пути. Некоторые осели в Бессарабии и вблизи Одессы, но 500 семей продолжили путь в Грузию. Полтора года потребовалось, чтобы достигнуть цели. И какой ценой! Сколько бедствий претерпели они и их потомки! (О «крестном пути» третьей волны эмиграции немцев в Россию в 1817 году см. подробнее: *Immanuel Walker. «Fatma». Eine wahre Lebensgeschichte. Stuttgart, 1900.*)

Элли Пиларино (урождённая *Krohmer*) появилась на свет неподалеку от Тбилиси, в Катариненфельде (сегодня это город Болниси), где её отец возглавлял колхоз, пока в 1937 году его не арестовали, и он навсегда сгинул в бескрайних просторах ГУЛАГ^а. Учитель по профессии, он рассказывал дочери историю их семьи, потому Элли, тоже прошедшая «крутым маршрутом» российских немцев, знала о гернгутерах. Она утверждала, что гернгутеры были юдофилами. Меня это заинтересовало.

Вспомнилось, что это загадочное слово «гернгутеры» я мельком слышала от профессора-германиста Бориса Ивановича Пуришева, который вёл на нашем курсе спецсеминар по «Фаусту». Он как-то заметил, что «Признания прекрасной души» (так назывался вставной рассказ в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера») проникнуты духом пиетизма. Я полагала, что «пиетет» — это уважение, благоговение («относиться к кому-либо с пиететом»). Однако профессор пояснил, что пиетизм — это мистическое учение, распространённое в Германии в XVIII веке, тогда же обмолвился он о гернгутерах. На дворе стоял 1955 год, приоткрыть перед студентами завесу над мистикой, тем более подробнее рассказать о гернгутерах

¹ Опубликовано в альманахе *Вторая навигация*. 2006. № 6.

пуганный советской властью профессор не решился. Некоторое время ещё я пребывала в неведении относительно мистики, мистицизма, мистического, ставя знак равенства между этими словами и тайной, таинственностью, тайным. Это сейчас, обратившись к книге В.М.Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика», вышедшей в 1914 году и наконец переизданной в 1996-м, можно узнать, что пиетизм — это «вера в возможность для чувствительного сердца непосредственно общаться с Богом», а мистическое чувство есть религиозное чувство, но тогда...

Между тем наступила хрущёвская «оттепель». На исходе пятидесятих вышло собрание сочинений Гейне под редакцией филологов-классиков В.М.Жирмунского и Н.Я.Берковского, где уже в комментариях мелькнуло имя графа Цинцендорфа (1700—1770), основателя протестантской общины гернгутеров, близкой по духу пиетистам. Её название происходит от поместья Гернгут в Саксонии, которым владел Цинцендорф. По молодости лет Гейне излишне категоричен в оценках графа («святоша») и его паствы («несносная секта», «пичужки-крестушки с их смиренным чириканием», «рассадник лжи и лицемерия»). У Гейне был свой счёт к спиритуализму немцев. Свою несправедливость по отношению к гернгутерам он признаёт позже, о чём — ниже. В комментариях указано, что идеи этого движения восходят к учению моравских, иначе богемских, братьев.

Мои начальные познания о моравских братьях были почерпнуты из дилогии Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольфштадт». Моравские братья — потомки последователей Яна Гуса (1371—1415), ректора Карлового университета в Праге, провозвестника чешской Реформации. После его казни-сожжения как еретика (он был осуждён Собором в Констанце) гуситы разделились на две враждебные группы. Табориты, более радикальные, подняли восстание под руководством Яна Жижки. У советских историков правды о них не узнаешь. В Советском энциклопедическом словаре о Яне Гусе и о вожде таборитов Яне Жижке сказано одними и теми же словами: национальные герои чешского народа. После взятия Праги войсками Сигизмунда в 1421 году таборитов и гуситов жестоко преследовали, и они бежали на запад и на восток. В Германии их присутствие зафиксировано уже в XV веке. Итак, желая лучше узнать корни гернгутеров, углубимся в историю.

Восстанавливая «генеалогическое древо» гернгутеров и добравшись до гуситов, натолкнулась на чрезвычайно интересный материал, объясняющий истоки их юдофильства. Профессор Л.-И. Ньюмэн, автор книги «Еврейское влияние на христианские реформаторские движения», изданной в США в 1925 году, исследует и объясняет «долг» Гуса и его последователей евреям, а точнее, их священным книгам.

Оказывается, Гус старательно изучал древнегреческий и древнееврейский, что в его время делали очень немногие. Его теологические сочинения пестрят цитатами из книг Бытия, Екклесиаста, Иеремии. Особенно часто он обращается к книге Исаяи и псалмам. Он обнаруживает не только отличное знание Ветхого Завета, но и трудов его еврейских толкователей — Раши, Гершома, Маймонида. Глубокое знание Библии он проявляет не только при её переводе на богемский (чешский), но и в многочисленных трак-

татах на библейские темы. Гус явно искал в Ветхом Завете обоснования своей деятельности, он чувствовал свою общность, свою близость многим героям Книги. Подобно Моисею, он ощущал себя посредником между Богом и своим народом. Отстаивая право чехов на независимость, на собственный язык, Гус в «Изложении декалога» цитировал последнюю главу книги Неемии, где речь шла о том, как Неемия выступал против браков евреев с иноплемёнными жёнами, заботясь о сохранении веры и языка. Когда в Констанце его книги приговорили к сожжению, он писал друзьям, что пророчества Иеремии тоже были сожжены, но по воле Бога он, находясь в темнице, повторил их. Гус не расставался с Библией и во время суда, и в доминиканской тюрьме. За преданность этой священной Книге он и был сожжён. Это если судить по гамбургскому счёту, как теперь говорят. А вообще перечень его «прегрешений» был длинным.

На церемонии поругания, которой Ян Гус подвергся перед сожжением, епископ сорвал с него его священнические одежды, воскликнув: «О ты, проклятый Иуда, порвавший с достойным крутом, ты якшался с евреями!» В приверженности еврейству обвиняли не только Гуса, но многих реформаторов, в том числе и Мартина Лютера. Сравнение с евреем было оскорбительным, а потому один из гуситов, понося своих ортодоксальных оппонентов, сказал, что они «хуже евреев и фарисеев, распявших Христа». Это была обычная брань, которая легко срывается с языка. Но обвинения в приверженности иудаизму, выдвинутые официальной Церковью против Гуса и гуситов, имели под собой более основательную почву.

Яна Жижку также воодушевляли библейские тексты, он уподоблял себя еврейским судьям, а врага своего — Амалеку. Табориты были яркими иконоборцами. Исходя из запрета в еврейской религии изображать Бога и его воинство, они громили церковную скульптуру, уничтожали картины. Они были противниками монархии, сторонниками республики или выборного короля. Они первыми избрали *Второзаконие* из Пятикнижия Моисеева в качестве модели и образца общественного устройства (впоследствии их примеру последуют Кромвель и основатели Американской республики). В своём лагере табориты распевали гимны рабби Авигодора, учителя и друга молодого короля Венцеслава. Но когда табориты овладели Прагой, евреям города было предложено креститься под угрозой смерти. Многие предпочли быть сожжёнными. И это следует помнить, когда мы говорим об «иудаизации» (существует английский термин *Judaizing*) представителей многочисленных ересей и реформистских движений, начиная от гуситов и кончая пуританами. Любовь к Книге отнюдь не влечёт за собой автоматически любви к народу Книги.

Разобравшись в «родословной» гернгутеров, я решила поближе познакомиться с Юнгом-Штиллингом, их духовным наставником. Оказывается, и пути исследовательские тоже бывают неисповедимы. Думала ли я, беря в руки «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина, что отыщу там ниточку, которая приведёт меня к немецкому мистика рубежа XVIII–XIX веков?! Дивясь в юности гротескным фигурам этого романа, я считала их порождением мрачной фантазии сатирика и даже не могла предположить,

что за этими монстрами стоят конкретные исторические личности. Действительно, ведь трудно их увидеть в Органчике или градоначальнике с фаршированной головой. Оказывается, почти у каждого персонажа был реальный прототип. В градоначальнике Грустилове выведен наш самодержец Александр I, а за его пассией, аптекаршей Пфейфершей, скрывается сразу два прототипа. Один из них — баронесса Юлия Крюденер (не путать с баронессой Амалией Крюденер, дружившей с Фёдором Тютчевым), личность весьма примечательная, приятельница Жермены де Сталь, к тому же писательница. Её роман «Валери читал в Михайловском в 1825 году Пушкин, а ныне можем прочесть и мы (он недавно переведён и вышел в 2000 году в издательстве «Наука» в серии «Литературные памятники»). Юлия Крюденер объявила себя духовной дочерью Генриха Юнга-Штиллинга, патриарха мистической Европы, и в качестве таковой не только имела доступ к русскому царю Александру I, но и оказала на него определённое влияние.

В трудах известного историка конца XIX столетия А.Н.Пыпина много страниц посвящено баронессе Крюденер (Крюднер) и часто упоминается имя Юнга-Штиллинга. Российский император, в своих реформаторских устремлениях выдвигнувший было идею евангельского, т.е. общехристианского, а не православного государства, очень заинтересовался идеями Юнга-Штиллинга. В 1809 году он познакомился с ним в Германии и вёл долгие беседы об истинной вере. С этого момента Александр I становится его покровителем.

Редактор популярного в то время журнала «Сын отечества», Николай Греч, в своих «Записках» отмечает поворот в религиозных мыслях императора: «В 1813 году, во время перемирия, посетил он (Александр. — Г.И.) гернгутерские селения в Силезии (Гнаденберг, Гнаденфрей и пр.); там восхитился он порядком, опрятностью и смиренным жителей (моравских братьев), взял у них несколько книг духовного содержания и погрузился в мистику».

Последствием этого поворота явилось создание под председательством князя А.Н.Голицына Российского Библейского общества (1812–1826), членом которого стал сам царь. Оно стало печатать Библию на употребительных в России языках и рассылать издания по стране. Помимо того стараниями мистика, ученика масона Н.И.Новикова, А.Ф.Лабзина, издававшего журнал «Сионский вестник», в течение десяти лет на русском языке были опубликованы важнейшие книги немецкого мистика XVI века Якоба Бёме, переводы из Сведенборга, сочинения Юнга-Штиллинга и других немецких мистиков. Эти книги столетие спустя находили в крестьянских избах в самых отдалённых уголках России. Николай Бердяев свидетельствует, что русские сектанты считали «тевтонского философа» Якоба Бёме, крестьянского сына и сапожника по профессии, святым. Его земляки-современники, однако, объявляли его еретиком и безумцем. Но были и преданные последователи и единомышленники, которые переписывали и хранили его рукописи. Спустя полвека после смерти философа нашёлся один амстердамский купец, который положил немало сил и средств, чтобы собрать неизданные произведения Бёме, сличить автографы со списками и издать собрание его сочинений в четырнадцать томах. Юнг-Штилинг был воспитан на сочинениях Бёме, на идеях моравских братьев.

О том, насколько эти идеи были распространены в России в 20-е годы XIX века, можно судить и по воспоминаниям Л.Н.Толстого, которые он начал писать на исходе жизни. Он рассказывает о десяти-одиннадцатилетнем брате Николеньке, который объявил младшим братьям, «что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, — комментирует Толстой слова любимого старшего брата, — о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья)». Николенька уверял, что тайна эта написана им на зелёной палочке, и палочка зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа. «Как теперь я думаю, — продолжает Толстой, — Николенька, вероятно, прочёл или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приёма в их орден, вероятно, слышал о Моравских братьях и соединил всё это в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас».

Муравейное братство и таинственная зелёная палочка, по его собственному признанию, произвели на Толстого впечатление настолько сильное, что писатель просил похоронить его в Ясной Поляне на зелёном склоне оврага, где он с братьями в детстве искал зелёную палочку, желая приобщиться к тайне муравейных, то бишь моравских братьев. «Идеал муравейных братьев, льющих любовно друг к другу... под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же», — признаётся Толстой. Идеал этот был близок Юнгу-Штиллиngu и гернгутерам.

На рубеже XVIII–XIX веков протестантские мыслители, к каковым принадлежит и Юнг-Штиллинг, были одержимы протосионистскими идеями. Мы уже имели возможность убедиться в том, насколько значимым было еврейское влияние на реформаторское движение в Германии. Случай Юнга-Штиллинга — это не просто ещё один пример подобного влияния, но это значительный шаг вперёд в христианском филосемитизме. А поскольку юдофильство — это далеко не массовое явление в христианской среде, представляется уместным задержать на нём внимание, тем более что Юнг-Штиллинг заслужил доверие и расположение многих своих современников и знакомцев, среди которых Гёте, Гердер и Кант.

В автобиографической книге «Поэзия и правда» Гёте вспоминает об их знакомстве в Страсбурге, где он в 1770 году изучал юриспруденцию, а Юнг-Штиллинг — медицину. Они столовались в одном пансионе и регулярно встречались. И вот, вспоминая об этом много лет спустя, Гёте так характеризует своего знакомого, с которым продолжал долгие годы переписываться и встречаться: «Во всём его облике, несмотря на старомодную одежду и даже несколько грубоватые манеры, сквозила какая-то нежность. Парик с волосьяным кошельком не портил его значительного и приятного лица. Голос у него был тихий, не будучи слабым или надтреснутым, но становился силен и благозвучен, когда обладатель его распался, а это случалось нередко. При ближайшем знакомстве он обнаруживал здравый смысл,

основывавшийся на чувстве и потому легко поддававшийся влиянию симпатий и страстей; из этого же чувства рождалось его восторженное отношение к добру, истине, справедливости в их чистейших проявлениях. История жизни этого человека была очень проста, но богата событиями и разнообразной деятельностью. Источником его энергии была непоколебимая вера в Бога и в помощь, непосредственно от Бога исходящую, которая так очевидно выражается в непрестанном Божьем промысле и непрременном извращении от всех бед и напастей».

Гёте был уже знаком с такой породой людей, которая старается усовершенствовать себя чтением Святого Писания и благочестивых книг, а также взаимными поучениями и исповеданиями. В юные годы во Франкфурте он общался с «благочестивыми людьми», пиетистами, знакомцами его матери, в круг которых Гёте ввела их родственница и близкая подруга матери Сусанна фон Клеттенберг. Именно её он вывел в образе Христовой невесты в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера». В своих верованиях члены кружка были близки гернгутерам. Гёте дивился высокой культуре этих людей, независимо от их сословия и возраста, и пришел к заключению, что основывается эта естественная культура «на простейшей основе нравственности, благожелательности и благотворительности». Он находил этих людей «естественными и наивными». Таков был и Юнг-Штиллинг. «Направление его духа было мне приятно, а веры в чудеса, которая так его поддерживала, я старался не задевать», — признаётся Олимпиец.

Слушая историю его жизни, Гёте уговаривал приятеля всё это записать. Спустя четыре года во время встречи в Эльберфельде, где оба посетили кружок пиетистов, Юнг-Штиллинг вручит ему на суд рукопись своего жизнеописания «Детство Генриха Штиллинга». Гёте одобрил сочинение, книга была опубликована в 1777 году. За ней в 1778 году последовали ещё две: «Юношеские годы» и «Странствия». В третьей книге автор рассказывает о встречах с юным Гёте и о том впечатлении, какое они на него произвели.

Юность Юнга-Штиллинга сложилась очень тяжело. Уроженец Вестфалии, сын бедного деревенского портного, он семь раз безуспешно пытался утвердиться в качестве учителя. Потерпев неудачу, пускался странствовать, возвращался, брался за профессию отца и бросал портняжное ремесло. Ему не давали покоя неясные стремления, ему казалось, что его ждёт более высокое поприще. Он рос в краю, где пиетизм владел массами, где люди верили в Новый Иерусалим и жаждали восстановления чистого христианства. Ожидание тысячелетнего Царства Божия и Второго пришествия воодушевляло людей, среди которых он родился и вырос.

Тысячелетнее царство, предсказанное в Апокалипсисе, связывалось в народных чаяниях и представлениях со Страшным судом, с торжеством справедливости. Официальная Церковь стремилась освободиться от буквального понимания Откровения Иоанна. Святой Августин уже в V веке объявил мечту о Царстве Божьем на земле осуществившейся якобы в христианской Церкви. Однако осуждённые Августином идеи то и дело овладевали массами. Проповедь тысячелетнего Царства Божия обрела новую актуальность в Германии в

годы Реформации. Образованный католический священник Томас Мюнцер поначалу поддержал Лютера, но Царство Божие на земле понимал по своему. Он считал, что избранные должны силой оружия расчистить дорогу для Второго пришествия, и поднял в 1525 году крестьянское восстание в Тюрингии. Мюнцер говорил о евангельском Христе и о «духовном» Христе, который рождается заново в достойной этого христианской душе.

Мистики, в том числе и католические, учили: для того чтобы родить в себе Христа, нужно пройти через Страсти Господни, т.е. пострадать. Состояние богоподобия достигается годами аскезы, в ходе которой ученик, по-христиански — подвижник, проходит школу мистических откровений и дорастает до святости. Мюнцер не был оригинален, когда утверждал, что тот, кому Христос вошел в душу, свободен от греха и негодуден человеческой морали, ибо он сам как Бог. Он повторял откровения спиритуалов и либертинов, известных в XII–XIV веках как секты Свободного духа.

В 1163 году одиннадцать адептов Свободного духа были схвачены и сожжены под Кёльном как еретики. Надпись в келье отшельника на Рейне, найденная в XV веке, гласит: «Совершенный человек и есть Бог. Он достиг того же союза с Богом, какой Христос имел со своим Отцом». Общины Свободного духа тайно действовали в Баварии, Силезии и Голландии ещё даже в XIV веке. К братству Свободного духа принадлежал известный нидерландский живописец Иероним Босх, современник Мюнцера. Эсхатология мистиков этого времени близка к движениям социального протеста, но не совпадает с ними. Однако в случае Мюнцера произошло совпадение. Реформация для него означала не только религиозный, но и социальный и политический переворот.

Вожди Реформации — Лютер, Кальвин — считали апокалиптические секты опасными, открыто их обличали. Лютер осудил идею справедливого Царства Божия на земле как еретическую. Но эта еретическая идея спустя два с лишним столетия вновь овладела немецким простонародьем, подогреваемая народными проповедниками и самозванными пророками. Семья Юнга-Штиллинга была заражена общими настроениями. Один дед Юнга-Штиллинга был алхимиком, другой имел видения, отец вёл дружбу с приверженцами Якоба Бёме и Парацельса. Однажды юноша пережил волнующие мгновения: какая-то неизъяснимая сила охватила его душу. Он почувствовал божественное присутствие и заключил с Богом тесный союз, отдавшись полностью во власть Провидения.

Будучи в услужении у купца, Юнг-Штилинг неожиданно получил предложение от хозяина изучать медицину. Он увидел в этом перст Божий. Ему было почти тридцать, когда он оказался в Страсбургском университете, где встретил Гёте. Со временем он стал уважаемым глазным врачом, но иногда случались неудачи, которые он переживал настолько болезненно, что в конце концов оставил эту профессию и, написав несколько книг по сельскому хозяйству и лесоводству, стал профессором *камеральных наук*, преподавал в Марбургском университете административные и экономические дисциплины, необходимые для управления хозяйством двора и государства. В конце концов он нашел себя в роли писателя на религиозные темы.

Французская революция ужаснула его. На Россию он стал смотреть как на спасительный оплот против французской угрозы, против бесчинств и неверия. Герцог Баденский призвал его в 1803 году в Гейдельберг в качестве советника (гофрата), а в 1806 году он последовал за герцогом в Карлсруэ. О всех этапах своей непростой жизни он рассказал в автобиографических книгах: «Семейная жизнь» (1789), «Ученические годы» (1804), «Старость Генриха Штиллинга» (1817). Таков был человек, по призыву которого предки Элли Карловны Пиларино последовали в Россию.

Учение гернгутеров восходило, как уже говорилось, к религиозному учению моравских братьев и предписывало членам общины суровый, аскетический образ жизни. Смысл жизни для гернгутеров — в подражании Христу и в личном общении с ним. И аскетизм, и вера в первородный грех оттолкнула Гёте от гернгутеров. Ведь если человек испорчен грехопадением, он не может полагаться на собственные силы, а лишь на благодать Господню и её воздействие. На том стоят и кальвинисты. Для активной, полной неутомимой энергии творческой природы Гёте, жаждавшей дойти до предела человеческого сил и даже выйти за него, непрестанно доказывая своё «олимпийство», подчиниться такому учению было выше всяких сил.

Однако известен поэт, который был связан с гернгутерскими крутами. Это Фридрих фон Гарденберг, или звёздный романтик Новалис (1772–1801). Вера в личного, христианского Бога отличала Новалиса от других романтиков с самого начала. Мистическое восприятие жизни Новалиса нашло оправдание и подтверждение в учении Якоба Бёме. Это было, по его мнению, учение, прежде всего, Поэта. Новалис охотно погружался в особую атмосферу его сочинений. «Утренняя заря в восхождении», позже названная «Авророй», — любимая его книга. Через мистика Бёме приобщился Новалис к народной идее Тысячелетнего царства.

«Духовные песни» Новалиса, созданные в 1799 году, за два года до его смерти, посвящённые Христу, Богородице, религиозной вере, мистическим восторгам от созерцания природы, в которой он ощущает божественное присутствие, любовному экстазу, исполнены глубоко личного религиозного чувства любви к Спасителю, благодарности и смирения. Так верили в начале XVIII века пиетисты и гернгутеры. В стихотворении Новалиса, посвященном другу, поэту-романтику Тику, возникает образ Якоба Бёме. Мальчику, пришедшему на могилу этого визионера, является дух великого учителя, мечтавшего о преображении человека. Якоб Бёме завещает отроку свои прозрения:

Явил мне таинства рассвета
Тот, кто вселенную творит;
Ковчег Новейшего Завета
Передо мною был открыт.

Я вверил буквам дар чудесный,
Таинственный завет храня.
Я умер, бедный и безвестный:
Господь к себе призвал меня.

.....

Будь верен Книге! Бог с тобою!
Росой глаза себе промой.
Омытый глубию голубою,
Прославишь прах забытый мой.

Тысячелетнюю державу,
Как Якоб Бёме, возвести,
И, сам прославленный по праву,
С ним снова встретишься в пути.

Юнг-Штиллинг и был этим отроком, который, следуя завету учителя, возвестил новым поколениям в начале XIX века «Тысячелетнюю державу». Вера в близость тысячелетнего Царства Божия пронизывает его сочинение «Победная повесть, или Торжество веры христианской» (1799, в русском переводе оно опубликовано в 1815 году в Санкт-Петербурге).

Обратившись к Библии, он, подобно многим мистикам-пиелистам, особый интерес проявил к таинственному и пророческому в Книге. Он дал свои толкования Апокалипсису, которые митрополит московский Филарет нашёл в некоторых местах замечательными. Книга вызвала бурную полемику не только в среде русского духовенства, но и среди членов Российского Библейского общества. Велико было влияние книги на русских сектантов. Как это ни парадоксально, этот противник французской революции и рационалистов в России прослыл «революционистом и вольтерьянцем». Именно так был аттестован Юнг-Штиллинг архимандритом Иннокентием, ректором Петербургской семинарии; эти же обвинения присутствовали в доносе на имя императора (август 1816 г.) некоего губернского секретаря Степана Смирнова¹.

Что особенно поражает в «Победной повести» Юнга-Штиллинга, так это её юдофильский дух. Ссылаясь на Четвёртую главу *Книги Ездры*, на отцов церкви и английского историка XVIII века Гиббона, автор утверждает, что десять пропавших колен Израилевых на самом деле не исчезли, а дали начало всем нынешним европейским народам. Если бы Юнг-Штиллинг дожил до конца XIX века, он бы подвергся обструкции создателей «научного антисемитизма», а о том, что бы его ждало в 1930-е годы, не хочется и думать. По его мысли, десять колен Израилевых были уведены в Ассирию, а оттуда пошли на север, в места не населённые, чтобы «спокойно служить Богу своим образом».

«Народы, от коих нынешние обитатели Европы происходят, пришли именно из этих стран, и весьма вероятно, что остаток или рассадник сего племени Авраамова и теперь находится в Тибете под правлением Далай-Ламы.

По сим соображениям, бóльшая часть оных десяти колен поселилась в России, Польше, Богемии, Венгрии, Греции, Германии, в Северных землях, в Великобритании, Франции, Испании, Португалии и Италии».

Главная теософская мысль Юнга-Штиллинга состоит в отождествлении Нового Иерусалима с «ветхозаветным» Израилем через признание *кровного* родства христиан с евреями. А вывод он делает такой: «Ежели мы также Израильяне во плоти, то великие утешительные обетования, проречённые в пророках Ветхого Завета Израилю, и до нас касаются, и *иудеи суть наши братья во плоти*. И ежели когда они обратятся и возвратятся в Иерусалим, то и мы имеем право идти туда же с ними, понеже Авраам столько же Отец и наш, как и их.

Всё содержание всей Библии состоит в следующем: что *весь человеческий род* в падении, и что Христос жизнь свою на земли, страданием и смертью искупил его из оногo» (Выделено автором. — Г.И.)

¹ См. подробнее: *Пытин А.Н.* Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000.

Здесь что ни слово — крамола. Поставлен знак равенства между арийцами и семитами. Высказано предположение об их генетическом родстве. Наконец, автор пошёл наперекор Церкви, которая не признаёт за евреями никаких прав на Сион и объявила его достоянием «нового Израиля».

Протосионистские идеи получили дальнейшее развитие в сочинении Юнга-Штиллинга, которому его переводчик масон А.Ф.Лабзин дал странное название «Угроз Световостоков», требующее комментария. Книга написана от лица человека, носящего это необычное имя. Сам он объясняет его так: «Угрозом называюсь я потому, что я имею как бы грозный вид, по причине грехов человеческих редко бываю весел; Богдановичем потому что происхожу от Бога! Наконец я Световостоков по отечеству, ибо отечество моё есть вечный *Восток*. В моей стороне царствует вечное утро, я всегда имею туда стремление или *тоску по отечеству*...» Поскольку Угроз является выразителем мыслей автора, остаётся лишь заметить, что Юнг-Штилинг готов был признать Россию, на дальней восточной оконечности которой занимается рассвет, своим духовным отечеством.

В отделе редких книг Государственной Российской (бывшей Ленинской) библиотеки в Москве мне удалось получить этот труд, изданный в Санкт-Петербурге в 1805–1815 гг., все восемь томов в потёртых кожаных переплётах. На внутренней стороне обложки, на форзаце некоторых томов были указаны, с соблюдением правил старой орфографии, имена владельцев: «Из книг Александра Михайловича Фралова», «Иеромонах Антонин», «Иеродиакон Антонин», «Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Главная библиотека». На полях имелись пометы давно опочивших духовных особ, читавших некогда это сочинение. Оно явно волновало их. И меня не оставили равнодушной страницы, где речь шла о евреях, особенно комментарий Угроза Световостокова к главе 60-й ветхозаветной *Книги пророка Исаяи*, где речь идёт о воскрешении Иерусалима и народа Израилева. Комментарии написаны в виде диалога между Угрозом и его оппонентом.

Вот как звучит Стих 14 Главы 60: *И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева.*

А вот комментарий Угроза (Юнга-Штиллинга): «С каким презрением обходились всегда с Иудеями! Их почитали не иначе как бы за извергов человечества; и ныне ещё, когда стали поступать с ними благосклоннее и человеколюбивее, всё нечто бесчестное заключается в слове *Жид*. Но это переменится. Как Иудеи должны были смиряться перед Христианами, происшедшими из Язычников, и терпеть презрение и поругание, так тогда Христиане, из Язычников происшедшие, должны будут смириться перед ними, что согласно и с Божескою правдою».

Оппонент Угроза выражает сомнения в возможности возрождения народа Израиля, в которых легко узнаются традиционные обвинения в адрес еврейского народа: «Отец мой! Народ сей так охолодел ко всему духовному, благочестивому, всё своё попечение обращает на любостяжание, на собиранье золота, и думает только о земном; так жаден к корысти, так подл и притом мстителен, что нельзя кажется ожидать такой перемены в его характере».

Угроз отвечает на это ссылкой на *Книгу пророка Иезекииля*, где содержится рассказ о том, как слово Господне, речённое через пророка, ожило даже иссохшие кости. Нынешнее бесчувственное состояние иудейского народа не помеха его обращению. Угроз продолжает объяснять пророчества Исайи.

Стих 15 Главы 60: *Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил чрез тебя, Я соделаю тебя величием на веки, радостью в роды родов.*

Комментарий Угроза: «Действительно Иудеи ныне так оставлены и ненавидимы, что где лишь покажутся, там бегут от них, как от язвы; удаляются сообщества их, не хотят иметь с ними никакого дела: но по тому-то самому Бог отцов их награждает их за презрение славою, за долговременное терпение радостно непрекращающеюся. И это праведно; надлежит, чтобы нынешние Иудеи, кои Царя славы не распинали, и в продолжении стольких веков закону Моисея и Иеговы своего остались верными, обрели наконец милость Господа и соделались особенно народом его. Для сего-то Господь и сохраняет их в течение стольких веков от смешения с прочими народами, чему нет другого примера. Ежели бы он хотел совершенно их отвергнуть, то они смешались бы с прочими народами так, что совершенно бы погибли, как древние Египтяне, Греки, Римляне и другие: но Он сохраняет их и в разсеянии по всему миру, так, что они ни с каким другим народом не смешиваются. Если всё сие разсудить хорошенько: то не будет никакого сомнения в том, что они наконец соберутся из разсеяния и возвратятся паки в землю свою».

Вот как Юнг-Штиллинг воспитывал юдофильство у своей паствы, вот как убедительно опровергал он вековые предрассудки христиан против евреев. Его пророчествам внимали с доверием, они трогали сердца. Доказательством тому — надпись на полях иеродиакона Августина, которая идёт через всю страницу (текст приведён выше): «Истинное пророчество!» И помету эту чётким каллиграфическим почерком вывела рука православного священнослужителя!

Достоевский и даже Гёте не считали евреев пригодными к христианскому братству. Юдофильство Юнга-Штиллинга выделяет его среди современников. Россия не была готова признать в иудеях своих братьев. Очевидно, эта мысль казалась дикой и многим немцам, но было меньшинство, которое безоговорочно поверило Юнгу-Штиллингу. Это были гернгутеры.

Гёте в «Поэзии и правде» оставил не только выразительный портрет Юнга-Штиллинга, но дал живую характеристику общины гернгутеров, её духа. Ему довелось побывать на Синоде — собрании представителей общин гернгутеров в замке Мариенборн под Франкфуртом в 1769 году, и он признается, что собравшиеся внушили ему глубочайшее уважение: «Пожелай они того, я бы стал их единоверцем». Он оказался на Синоде не как сторонний наблюдатель. По его признанию, он изучал историю движения гернгутеров, их учение, его истоки и развитие, мог всё это изложить и радовался случаю побеседовать со сведущими людьми. Вот что он пишет в своих воспоминаниях: «Любая позитивная религия всего обаятельнее, когда она находится в становлении; приятно переноситься мыслью во времена апосто-

лов, в пору, когда всё было ещё так свежо и поистине духовно. Братская община имела в себе нечто магически привлекательное именно потому, что она продолжала и как бы увековечивала это первичное состояние... Важнейшим было то, что религиозная жизнь сплеталась здесь в единое и неразрывное целое с жизнью гражданской, что учитель одновременно являлся повелителем, отец — судией. Более того: глава этой общины, которого в делах духовных дарили безусловным доверием, был также призван решить дела земные; вынесенные им решения в делах, касающихся всех или только отдельных лиц, воспринимались со смирением, как приговор божественной воли. Благодатный покой, на первый взгляд повсюду здесь царивший, был очень привлекателен, хотя, с другой стороны, миссионерская работа требовала напряжения всех сил, заложенных в человеке».

Последователи радикального протестантизма, уходя от преследований у себя на родине, основывали свои утопические коммуны там, куда им разрешали въезжать. После издания Екатериной II манифеста о приглашении в Россию колонистов гернгутеры одними из первых основали в 1765 году свою колонию неподалеку от Царицына. Там протекала речка Сарпа, название которой породило у гернгутеров ассоциацию с Сарептой Сидонской, где было явление ветхозаветного пророка Илии некой вдове, потому назвали они свое поселение Сарептой. Миссионерские планы гернгутеров особых успехов не имели, но хозяйство они создали крепкое и процветающее. Их община благополучно просуществовала в Сарепте почти до конца XIX века.

Личная жизнь членов общины находилась под её контролем. Браки заключались «по усмотрению общинного начальства», причем «выбор невесты определялся по жребию». Гернгутеры оказались плохими психологами, они не поняли, что человеческая природа не может обойтись без семьи, частной собственности и свободы выбора. Историк советского времени, ученик М.Д. Бонч-Бруевича, большой эрудит, А.И.Клибанов в книге «Народная социальная утопия в России» даёт этим фактам иную интерпретацию: усматривает в них предрасположенность сектантов к коммунистическому общежитию. Но даже эта предрасположенность не защитила потомков пришлых гернгутеров от советской власти, провозгласившей построение коммунизма своей главной задачей. Сейчас, когда от Братства ничего не осталось, но стоит старое здание вокзала и несколько домов на бывшей торговой площади (*Marktplatz*), архитектурой и окраской напоминающие немецкие постройки XIX века, вряд ли найдётся хоть один житель села, который знает имя Юнга-Штиллинга, может внятно рассказать о гернгутерах и объяснить название места — Старая Сарепта. А уж юдофильство гернгутеров здесь совсем не в почёте. Оно не привилось в этих краях.

Переселенцы-гернгутеры, поднявшиеся по призыву Юнга-Штиллинга (к ним принадлежали и предки Элли Пиларино), встретили в александровской России благожелательный прием. Но век Александра I кончился в декабре 1825 года. Напутанный выступлением на Сенатской площади, Николай I отменил все послабления сектантам, возобновились гонения на эту «язву государственную». Библейское общество было закрыто как преступное, о нём даже нельзя было упоминать.

Между тем в Европе Библейские общества (первое основано в 1804 году в Англии) успешно развивались. Их развитие совпало с периодом Реставрации, когда, с одной стороны, усилилась политическая реакция, а с другой — появилась масса тайных революционных обществ. Наряду с этими крайними, полярными общественными настроениями существовало пиетистское, давшее начало Библейским обществам. Просветительский филантропизм, терпимость к язычникам и ко всем направлениям в христианстве, включая секты — это великая заслуга Российского библейского общества. Однако когда Общество заявляло, что борется с «ложной философией» (читай — с рационализмом просветителей), с «порождением злого духа» (читай — с Французской революцией), оно навлекало на себя обвинение демократической части общества в обскурантизме. Причины выпадов молодого Гейне против гернгутеров кроются именно в этом. К тому же язык и стиль духовных отцов гернгутеров, Бёме и Юнга-Штиллинга, казались поэту ужасающе старомодными. Характеризуя немецкого историка Эдгара Кине, личность ему в высшей степени симпатичную, Гейне в «Лютеции» пишет: «Лицо милое, честное, меланхолическое. Серый мешковатый сюртук, сшитый как будто Юнгом-Штиллингом; сапоги, к которым подмётки прибивал, может быть, Якоб Бёме».

Проходит время, меняются взгляды Гейне, и перед смертью из-под его пера выходят «Признания» (1854), своеобразный эпилог к его известной книге «К истории религии и философии в Германии» (1834). Главное признание поэта — отречение от атеизма: «Я увидел, что атеизм вступил в более или менее тайный союз с жутко оголённым, лишённым всякого фигового листка грубым коммунизмом». С благодарностью Гейне пишет о «провиденциальной миссии» Библейских обществ и отмечает, что там, где со времён Реформации население подвергалось воспитательному воздействию Библии, уже сейчас в нравах, образе мыслей и чувств ощутил отпечаток палестинского духа, выраженного как в Ветхом, так и в Новом заветах. Гейне признаёт, что «протестантские секты, которые все черпают жизнь в Библии», по обе стороны океана (в скандинавских, англо-саксонских, германских и отчасти в кельтских странах) «педантично копируют ветхозаветный быт». Поэт считает, что «контуры рабски верны», но в жизни сектантов нет солнечной красочности обетованной земли. Однако он верит, что ситуация может измениться: «Подлинное, непреходящее и истинное, а именно нравственность древнего еврейства, расцветёт в этих странах столь же благодатно, как некогда на берегах Иордана и на высотах ливанских. Не требуется ни пальм, ни верблюдов, чтобы быть добрым, и доброта лучше красоты».

Тяга к своеобразному правдоискательству и к безобразному богопочитанию привела в своё время Лютера к восстанию личного произвола против объективных уложений и устоев Церкви. Тому, что произошло в лоне Римской Церкви, суждено было через сто с лишним лет повториться в недрах самого протестантизма в виде восстания проповедников благочестивых чувств и сокровенных духовных радостей против окаменелой ортодоксии. Пиетизм, как некогда лютеранство, способствовал реформаторскому оживлению переживавшей кризис, отмиравшей религии.

Идеи Юнга-Штиллинга нашли живейший отклик в среде русских сектантов. Основу вероучения мистических сект (в России к таковым относили хлыстов и скопцов, бегунов, субботников и жидовствующих, а молокане, духоборы, баптисты и другие, испытавшие протестантское влияние, считались сектами рационалистическими) составляет ожидание Апокалипсиса, Второго пришествия и грядущего за ним тысячелетнего Царства Божия. Это новое царство, по их разумению, будет без брака, без семьи, без быта. Идея полного перерождения человека (вплоть до избавления от пола у секты скопцов) составляла основу духовных поисков «сектаторов». Что касается до юдофильских настроений Юнга-Штиллинга, то русских сектантов они не могли оттолкнуть. Наряду с традиционным хлыстовством, или «Старым Израилем», на юго-востоке России возникла и очень разрослась к началу XX века хлыстовская община «Новый Израиль». До настоящего времени сектанты признают в евреях Богом избранный народ и чужды антисемитизма.

Статистика раскола, в море которого растворились пришлые немецкие гернгутеры, искажалась духовными властями, но у Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» есть любопытное свидетельство, вложенное в уста сельского священника: «В моём приходе числится / Живущих в православии / Две трети прихожан. / А есть такие волости, / Где сплошь почти раскольники, / Так как тут быть попу?» По расчётам Павла Милюкова и М.Д. Бонч-Бруевича, в начале XX века в России было более 20 миллионов старообрядцев и сектантов (показательно, что, несмотря на полярность политических взглядов и позиций авторов, цифры совпали!).

Известно, что на «христианский коммунизм» сектантов делали ставку и русские народники, и социал-демократы. Ленин, очень интересовавшийся анабаптистами, хилиастом Мюнцером и апокалиптическим царством Иоанна Лейденского в Мюнстере, на втором съезде партии в Лондоне в 1903 году зачитал доклад Бонч-Бруевича «Раскол и сектантство в России». Предполагалось привлечь сектантов к революции, под красное знамя большевизма. Об этих намерениях и конкретных шагах, предпринятых новой властью, можно прочесть сегодня в захватывающей книге Александра Эткинды «Хлыст».

Сектанты уклонялись от союза с властями и не спешили расконспирироваться. Попав в XX столетии под железную пяту двух тоталитарных режимов, они оказывали им пассивное сопротивление. Оно было тихим, молчаливым, но на редкость упорным. И сегодня, когда посещаешь *Яд Вашем*, Музей Катастрофы еврейского народа в Иерусалиме, проходишь Аллею Праведников мимо деревьев, посаженных в честь христиан, с риском для жизни спасавших евреев в чёрные годы нацизма, не следует забывать, что некоторые из них исповедовали идеи пиетистов и немецкого мистика Юнга-Штиллинга.

ДОЧЬ МОЗЕСА МЕНДЕЛЬСОНА — АМАЗОНКА НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА

«Поговорим о романтизме!» — приглашал Пушкин друзей, любителей поэзии. Тема и впрямь волнующая, тем более что определение романтизму так никто и не смог дать. «Поэзией поэзии» назвал романтизм Фридрих Шлегель, и большинство с ним согласилось. Как известно, родиной романтизма была Германия. Именно отсюда Владимир Ленский, «с душою прямо гёттингенской», привёз и учёности плоды, и вольнолюбивые мечты.

О, эти романтические дали! О, это томление по бесконечному! О, этот голубой цветок! Сколько говорено, сколько написано о тебе! Однако до сих пор остаются в тени подруги, супруги, музы и вдохновительницы бурных гениев, эти амазонки немецкого романтизма. Подобно представителям древнего мифического племени, эти женщины рубежа XVIII–XIX веков тоже были воительницами, но сражались они не против, а вместе, рядом с мужчинами-романтиками. Одной из них — если не первой! — была старшая и любимая дочь Мозеса Мендельсона.

Какими ветрами занесло честную еврейскую девушку в стан романтиков? Лаконичный ответ: ветрами Просвещения, Французской революции и еврейской *Хаскалы*, но пояснить нелишне. Последствия эмансипации евреев в Германии нигде, пожалуй, не проявились столь наглядно, как в судьбах молодых образованных женщин из состоятельных семей. К этому времени роль женщины в обществе если и не изменилась кардинально, то вдруг обнаружилось, что она не только домохозяйка, хранительница семейного очага и супружеского ложа, то есть существо консервативное, но её отличают и особая восприимчивость, и впечатлительность, и душевная тонкость, и открытость прекрасному и новому. Немцы романтики, заявившие о себе в конце XVIII века, утверждали, что женское чувство стоит ближе к бесконечному и божественному, нежели мужское, они провозгласили Душой мира Вечную Женственность.

Еврейские девушки и молодые женщины, вкусив плодов Просвещения, приобщившись к сочинениям Лессинга, Гёте, Шиллера, романтиков, открыли новые миры и стали тяготиться патриархальным укладом жизни их отцов и дедов. А тут ещё грянула Французская революция с её требованиями свободы, равенства и братства. Она воодушевила не только юношей, уже переживших увлечение «Бурей и натиском», затрепетали и женские сердца. Тогда как во Франции бушевала социальная революция, в Германии началась философская. Если в Париже кипели политические страсти, то в Берлине произошла настоящая революция нравов, втянула она в свой водоворот и молодых еврейских женщин.

В богатых домах Берлина на рубеже веков образовались «кружки для чтения» и появились первые литературно-художественные салоны, попасть в которые почиталось за честь. Еврейский ум оказался восприимчивее и живее немецкого. Так сложилось, что берлинские салоны были по преимуществу еврейскими салонами. Высокую духовную и интеллектуальную атмосферу создавали и поддерживали в них женщины. Молодой философ-теолог Фридрих Шлейермахер пишет из Берлина в 1798 году: «Молодые учёные и люди с художественным вкусом охотно посещают здесь дома известных евреев. Все, желающие пользоваться хорошим обществом без особых стеснений, стараются быть представленными в таких домах, где весьма любезно принимают людей с талантом». Хотя навсегда салонами являлись не только поэты, музыканты, философы, учёные, но и представители знати, дух этих салонов был демократичным. Среди тех, кто задавал в них тон, была дочь известного философа Мендельсона.



Имя Брендель, полученное при рождении, она отвергла уже в отрочестве как неэстетичное. Для всех она раз и навсегда стала Доротеей. Будущей нрава независимого, девятнадцатилетняя девушка тем не менее не встала против желания родителей видеть её женой Симона Фейта, богатого молодого купца из хорошей семьи. Её замужняя подруга Генриетта Герц в своих воспоминаниях пишет, что после свадьбы было заметно: Доротея счастья не обрела. Но пошли дети. Из четырёх в живых осталось два сына, к которым она была очень привязана. Оба впоследствии стали художниками.

Постоянно занятый делами Фейт был рад тому, что по четвергам в его доме собирается общество, приятное его образованной жене, гордился тем, что она играет роль первой скрипки. Сам он держался в тени. Рядом с Доротеей почти всегда была её сестра Генриетта и две подруги — Генриетта Герц, жена известного врача, и Рахель Левин, которая позже станет женой прусского дипломата Фарнхагена фон Энзе. В скором времени Генриетта Герц и Рахель откроют свои литературно-художественные салоны. Вместе они образуют в 1787 году «Лигу добродетели» (*Tugendbund*), где реализуется один из лозунгов французской революции — братство! Символом тайного сообщества был знак Солнца. Их тесный дружеский союз, где все были на «ты», и впрямь некоторое время был братством, держался он во многом на энтузиазме Доротеей и Генриетты Герц.

В «Лигу» входили молодой философ Фихте, ещё не успевший встать против Канта, братья Гумбольдт, с которыми Доротея познакомилась в девичестве в отцовском доме, теолог и философ-кантианец Шлейермахер, поэт-романтик Людвиг Тик, Карл фон Ларош, сын писательницы, создавшей первый женский роман в Германии, и будущая жена Вильгельма фон Гумбольдта — Каролина фон Дахерёден. Они образовали костяк кружка. Собирались к пяти часам, ближе к вечеру. Разговоры велись о литературе, те-

атре, музыке и философии. Читали стихи, музицировали, по ролям разыгрывали пьесы. Здесь возможно было говорить о Вольтере по-французски, о Данте по-итальянски. Но более всего разговоров и споров велось о немецкой литературе. Главной темой был Гёте, предмет их поклонения.

Доротея блистала умом, но не красотой. Современники отмечали необычайную выразительность её больших глаз, в которых светился не только живой ум, но и благородная, достойная любви душа. Её брак с Фейтом давно превратился в привычку, а между тем в этой несколько громоздкой нескладной женщине дремали страсти. Они проснулись, когда в салоне Генриетты Герц Доротея познакомилась с Фридрихом фон Шлегелем, одним из двух братьев-философов, родоначальников и теоретиков немецкого романтизма, которых общее мнение оценивало так: старший, Вильгельм Август, — талант, но не гений, Фридрих — гений, но не талант. Она тут же пригласила его к себе, и вскоре они стали неразлучны. Фридрих был младше её на семь лет, но это их не остановило. Их бурный роман столь же бурно обсуждался в берлинском обществе, и только Симон Фейт пребывал в счастливом неведении.

Вместе с любовью в Доротею открылись новые миры, которые как бы дремали на дне сознания этой одарённой женщины. Это заметил и оценил прежде всего её молодой возлюбленный, и он пишет в письме «О философии», обращённом к Доротею: «Твоя склонность к философии — это, конечно, не тщеславное любопытство... Почему бы не отдаться тебе своей склонности? Вряд ли тебя мог удержать от этого страх перед тем, что скажет так называемый свет». Удивительно, как этот молодой человек понял натуру Доротеи: «Суеверие, как и всё пошлое, ты презираешь настолько, что считаешь его даже недостойным презрения. Обычная суета толпы настолько тебе безразлична, что ты редко вспоминаешь об этом своём безразличии — оно едва ли существует для тебя. И я не могу не одобрить этого, это вообще не твоё дело заботиться о свете». Всё, что он вычитывает в её душе, Фридрих спешит донести до неё, он раскрывает ей глаза на самоё себя, как бы подготавливая к решающему шагу, который скоро последует. И завершает своё длинное письмо он так: «Я сам поразился и сознаю теперь, что, собственно, это ты посвящаешь меня в философию».



Фридрих Шлегель.
С.Д.Кюстин

Письмо это Шлегель опубликует в журнале «Атенеум», который он выпускал в Берлине вместе с братом в 1798–1799 гг. Журнал был в ту пору главным печатным органом романтической школы в Германии. Письмо это было не столько личного, сколько публичного свойства. Романтики были мастерами превращать личное во всеобщее в искусстве.

Фридрих Шлегель, нашедший себя в любви, заканчивает и издаёт роман «Люцинда» (1799), в котором скандализованные читатели тотчас узнали историю отношений автора и дочери почитаемого Мозеса Мендельсона. Если даже «шалун» Гейне

назовёт роман годы спустя «романтически-беспутным» (хотя он будет переиздан именно представителями *Молодой Германии*), не трудно представить чувства, которые испытали почтенные бюргеры, перелистав эту книгу. Трактровка этого романа в учебнике времён моей студенческой юности очень походила на приговор, который в ту же пору вынес Жданов Анне Ахматовой: смесь монахини и блудницы.

А вот В.М.Жирмунский назвал «Люцинду» замечательной книгой. «Неистовый эротизм» романа, который ужаснул многих (сегодня он кажется старомодным, как само целомудрие), молодой филолог трактует как проявление мистической любви, в которой радость чувства и есть великая святость. Герой романа Юлий объясняет Люцинде, что они были предназначены друг для друга: «мы цветы одного растения или листья одного цветка». «Через тебя, — говорит он Люцинде, — я понял жизнь и великолепие всех вещей. Всё для меня одушевлено, всё говорит со мной, всё свято. Когда так любишь, как мы с тобой, то и природа в человеке возвращается к её первобытной божественности». Вопреки общему мнению о том, что Шлегель — разрушитель семейных основ (ведь он увёл чужую жену), в романе он прославляет брак, но брак, основанный на любви, на единении душ.

Роман посвящён чувственной страсти. В ту пору вольномыслие шагнуло так далеко, что тема эта свободно дебатировалась в философских кругах. Фихте отстаивал двойной стандарт поведения: «разумность» полового наслаждения — для «сильного» пола и «неразумность» — для «слабого». Кант, а за ним и Шлегель высказывались за равные права на наслаждение. Шлегель считал признаком мужественности способность не только получить наслаждение самому, но и дать его женщине. И в романе он пишет о «высоком художественном чутье в области сладострастия», которое даётся от природы как дар и достигается воспитанием.

В этом фрагментарном романе, сюжет которого организован вокруг истории возмужания героя, есть глава, состоящая из порой бессвязных реплик, которыми обмениваются любовники в момент близости. Она шокировала многих. Однако невозможно не признать, насколько гармонична была эта близость. Близость телесная рождает близость духовную, и Юлий вдруг понимает, что это и есть любовь, к которой так стремилась его душа.

Для многих мистические взгляды автора на любовь остались областью непонятой и чуждой, им запомнилась промелькнувшая деталь: широкие бёдра Люцинды, освещённые пламенем камина. Караул! Порнография! Между тем все любовные переживания и все чувственные порывы этого романа для автора святы, ибо чувство бесконечности, проявляющееся в романтической любви, открывает святость и значительность всего конечного.

И хотя многие знакомцы после скандала в семействе Фейтов отвернулись от Доротеи и Фридриха, романтик Шлейермахер, завсегдадай салона Генриетты Герц, анонимно опубликовал положительную рецензию о романе «Люцинда», где писал: «Как можно говорить о том, что здесь не хватает поэзии, когда здесь столько любви. Через любовь это произведение становится не только поэтичным, но также религиозным и нравственным».

Любовь одолевает предрассудки, даёт силы, и Доротея решается на смелый шаг. После выхода «Люцинды» она покидает богатый дом мужа и следует за своим возлюбленным вначале в Йену, затем в Париж и Кёльн. Её ждёт десять лет скитаний, бездомная, безбытная жизнь, безденежье, но она ни разу не пожалела о содеянном.

В Йене она оказалась в центре романтического содружества, которое получило название *йенской школы*. Университетский город Йена находился по соседству со столицей немецкой культуры Веймаром, где жили в ту пору Гёте, Гердер и Виланд. Йенский круг романтиков был профессионально пёстрым, в него входили и лирики, и физики (И.В.Риттер, физик и натурфилософ, автор ряда важных открытий в области гальванизма и электрохимии, естествоиспытатель и философ Х.Стеффенс). Они размышляли и творили совместно. На их собраниях (лучше бы сказать — сборищах, которые они именовали симпозиумами) царил праздничность, карнавальность, «фестивальность», как именовали эту атмосферу Шлегели. Здесь создавалась новая литература (её творцы — Новалис, Людвиг Тик, братья Шлегель), новая философия (Шеллинг, Шлейермахер), здесь пародировали, много смеялись и забавлялись, царил весёлый дух игры. Здесь формировался и новый тип человеческих отношений. Душой кружка была Каролина, жена Августа Шлегеля. Они поселились в Йене первыми, в 1790 году. Со временем Август стал профессорствовать в университете.

Каролина встретила Доротею, к огорчению последней, весьма прохладно. До этого они были знакомы лишь по переписке. Причина сдержанности коренилась не в двусмысленности положения прибывших (Доротея была гражданской женой Фридриха, вначале ждала развода, потом долго не решалась креститься, поэтому брак был заключён лишь в 1804 году в Париже). У Каролины было своё прошлое, она побывала в ситуациях куда более щекотливых, так что не ей было забрасывать камнями нарушительницу супружеского долга. Просто она была дочерью профессора из Гёттингена, того самого Михаэлиса, который в полемике с Лессингом усомнился в возможности еврея быть благородным человеком. Позже будет он полемизировать и с Мендельсоном. То ли Каролина оказалась дочерью своего отца, то ли почувствовала в Доротее соперницу, потому не проявила дружелюбия и открытости. Речь шла не о женском соперничестве, тут у Каролины были все преимущества.

Похоже, Каролина не хотела делить с Доротеей роль музы и вдохновительницы романтиков, потому и оказала холодный приём. В отличие от Каролины Доротея много писала. Именно здесь в Йене написан ею роман «Флорентин», в котором она явно следовала «Вильгельму Мейстеру» Гёте. При этом по структуре, по духу он оказался настолько близок к «Люцинде», что возникло подозрение, будто она была и её автором, тем более что Доротея нередко публиковалась под именем мужа. Пафос «Флорентина» — отречение от устаревших форм и норм жизни и устремлённость к неведомому новому.

В биографии героя много белых пятен, и в душе его всё неясно, всё в брожении. Отца он не знал, мать хотела отдать его в монастырь, чтобы он

замаливал её грехи, но он сумел себя отстоять. Известно, что он был на военной службе, скитался, мечтал переселиться в Америку. Его влечёт новое и неизведанное. В замок графа его приводит случай: он спас на охоте жизнь владельцу замка. Здесь он подружился с дочерью графа Юлианой и её женихом. Между ним и Юлианой завязываются особые отношения, но тем не менее свадьбу играют, как назначено. В этот день Флорентин внезапно покидает поместье. На этом роман обрывается.

Почему он бежит? Доротея, как истинный романтик, предоставляет читателю свободу толкований. Романтики предпочитали разомкнутость финала, дали, бесконечность. И Доротея Шлегель была среди пионеров романтического движения, которые формировали его эстетику. «Люцинда», где Доротея была героиней, и «Флорентин», где она была уже автором, — это первые опыты *романтического* романа. Её мечта осуществилась: она оказалась среди пролагателей троп. А так как романтизм в Германии не был только литературным фактом, но стал новой формой чувствования, чуть ли не новым образом жизни, то становится понятно и стремление Доротеи устроить жизнь сообразно с этими новыми принципами. В борьбе за право на самовыражение она пошла до конца, не боясь осуждения, игнорируя не только предрассудки, но и то, что принято называть здравым смыслом.

Всех членов йенского кружка объединяли религиозные искания, неотделимые от эстетических, ибо основа романтизма — это поэзия и философия мистического чувства. Вера в бесконечность и божественность души человеческой были главным содержанием переживаний Фридриха Шлегеля. Он полагал, что он и его друзья-единомышленники на пути создания новой религии. «Я хочу основать новую религию или, вернее, помочь её появлению, ибо и без меня она придёт и победит, — пишет он Новалису. — Ты будешь Павлом новой религии, которая начинается повсюду — одним из первенцев новой эры — религиозной. С этой религии начинается новая мировая история...»

«Речи о религии» Шлейермахера стали завершением исканий йенских романтиков. Новое мистическое чувство, принимающее и благословляющее мир и всякую отдельную жизнь, не находило себе места в рамках существующих вероисповеданий. Шлейермахер указывает на новую религиозную эру, к которой стремятся и философский идеализм, и натурфилософия, и новое искусство. И он, и его друзья верили, что все романтические чаяния найдут разрешение в новой религии: грядёт новое Евангелие!

Члены йенского кружка воспринимали себя как своего рода секту, как собрание боговдохновенных пророков. Здесь столько говорилось о религии, о религиозном чувстве, об ответственности за приближение Царства Божия, что Доротея о своём новом круге выразилась в письме так: «Вся синагога теперь в сборе». Некоторая доля иронии в этих словах присутствует. Её мысли так высоко не заносились, её религиозное чувство в эту пору не было глубоким и тем более всепоглощающим. Трезвый взгляд оказывается сильнее восторженности. Описывая Шлейермахеру свои впечатления о Гарденберге (Новалисе), она признаётся, что он её ещё не покорила. «Он

выглядит, однако, как духовидец и весьма своеобразен, этого не приходится отрицать. Христианство здесь а l'ordre du jour (на повестке дня); но эти господа несколько увлекаются. Тик трактует религию, как Шиллер судьбу; Гарденберг думает, что Тик полностью придерживается его мнения; я же готова поспорить, что они не понимают ни себя, ни друг друга».

И Каролина, и Доротея вносили в йенский кружок дух непосредственности, «опрощения», не позволяя мужчинам навсегда унести в заоблачные выси. Они не «заземляли» их на быте, но побуждали слушать пульс времени. В этом содружестве, где впервые заговорили о синтезе искусств, где началось сращение поэзии с философией, они осуществляли синтез культуры с жизнью. Лишённые предрассудков, они были открыты новым веяниям. Они были подругами и союзницами своих мужей, а не безгласными служанками и наложницами, как было принято в немецких, и не только в немецких, семьях того времени.

Первый год нового столетия оказался катастрофическим для содружества. Неожиданно скоропостижно ушёл из жизни двадцативосьмилетний Новалис, творец *голубого цветка*. А затем Каролина Шлегель влюбилась в молодого философа фон Шеллинга, недавно поселившегося в Йене и вошедшего в их круг, и оставила мужа. Тот женился на ней по страстной любви, она — из чувства благодарности и долга. Теперь эти чувства умолкли, отступили перед половодьем любви. Фридрих и Доротея приняли сторону Августа Шлегеля. Вскоре оба брата и Доротея покинули Йену.

Годы пребывания в Париже (1802–04) и в Кёльне (1804–08) были одновременно и трудны, и радостны, а главное — плодотворны. Правда, Фридриху и здесь, как и в Йене, не удалось получить кафедру, и средств они были почти лишены. Помощь приходит неожиданно. Симон Фейт, отпустивший к Доротее в Париж сыновей, выделяет деньги на их содержание и не забывает о бывшей супруге. Гейне, которому это станет известно, не упустит случая задним числом лягнуть Фридриха Шлегеля: «соблазнил жену в доме своего друга и долго ещё потом жил подачками оскорблённого супруга».

Философы и впрямь не «добытчики», хотя бездельником Шлегеля не назовёшь. Он издаёт журнал «Европа» (выходит во Франкфурте), где публикует свои путевые заметки о Франции и многочисленные статьи о живописи, о старинных итальянских и нидерландских мастерах. Он частным порядком читает лекции по истории древней и новой литературы для небольшого круга учеников. Это не университетские курсы с их «учённостью», литература превращалась в них в «предмет сердца», они давали возможность слушателям думать и переживать вместе с лектором. Доротея сопереживала вместе с мужем.

Шлегель задумал издать сочинения Лессинга, в том числе и не публиковавшиеся. Колоссальную работу по подготовке томов к выходу провела Доротея, ребёнком видевшая Лессинга в доме отца. Она принимала самое активное участие во всех издательских начинаниях мужа, при этом и сама отдавалась творчеству. Сборник её лирических стихов был издан анонимно. Доротея много переводит. В ту пору это был нелёгкий труд: не

было хороших словарей, отсутствовал справочный аппарат. Следуя примеру мужа, который сделал большие успехи в санскрите, она взялась за изучение испанского.

Доротея трудилась как литературный негр: для заработка она написала, пользуясь французскими источниками, многостраничную историю Орлеанской девы, экзотичную Маргариты Валуа, жены будущего короля Франции Генриха IV, и вариации на темы рыцарских романов. Эти исторические (или, скорее, псевдоисторические) сочинения, как и бесчисленные журнальные статьи, рецензии и обзоры музыкальной и театральной жизни Парижа, Доротея публиковала под именем мужа или анонимно.

Их квартира на улице Клиши всегда была открыта для друзей, их дом даже называли «шлегелевской гостиницей». Довольно долго под их кровом жила юная эксцентричная Вильгельмина фон Чези, внучка поэтессы Анны Луизы Каршин, унаследовавшая её дар. Её экстравагантные костюмы, кочевой образ жизни мейстерзингера, детская непосредственность вызвали недоумение и насмешки многих, но только не Доротеи, которая приветила её и даже привязалась к молодой женщине. В дальнейшем Гельмина (она так себя именovala), ставшая писательницей, автором многих оперных либретто, подругой Жорж Санд, навестит Доротею в Вене, где она в конце концов поселится.

Всю зиму 1802 года у них прожили молодые почитатели Шлегеля из Кёльна — братья Сульпиц, Мельхиор Буассере и Иоганн Бертрам, искусствоведы и коллекционеры, буквально заразившие хозяев своим интересом к старинному нижнерейнскому и нидерландскому искусству. Интенсивное духовное общение приносило радость всем, оно и заменяло недостаток. Гости из Кёльна в юности с восторгом читали «Федона», им и не снилось, что когда-нибудь их будет принимать у себя дочь самого Мендельсона. Они смотрели на неё с почтением и обожанием, с ними посещала она Оперу и концерты, поскольку Шлегель проводил вечера за письменным столом. Его имя открыло перед супругами двери домов многих парижских интеллектуалов, никто не знал, что Доротея — лишь гражданская жена. Однако обстоятельства и бывший муж потребовали официального оформления брака, в противном случае мальчики должны были вернуться в Берлин. Между тем они делают большие успехи, в школе ими не нахвалятся, и Доротея счастлива. Годы в Париже были лучшим периодом в её браке со Шлегелем.

А в Кёльне Доротея почувствовала себя бесконечно одинокой, в письмах то и дело всплывает это горькое слово: «Если бы вы только знали, в каком одиночестве я живу». Подступили болезни. При ревматических болях и головокружениях так тяжело карабкаться на третий этаж, под самую крышу. Дом на *Kasinostraße*, в котором они прожили пять лет, сохранился. Стоит он напротив одной из старейших романских церквей Кёльна — *St. Maria im Kapitol*. Над входом — большая памятная доска о том, что в нём жил основатель немецкого романтизма Фридрих Шлегель. О Доротее — ни полслова.

В католическом святом граде Кёльне, в этом «немецком Риме», евреев в то время днём с огнём было не найти, да и на протестантов смотрели косо,

потому круг общения Доротеи во время её жизни в Кёльне непривычно узок. Друзья юности далеко. Сыновья вернулись в Берлин. Фридрих в делах житейских непрактичен и безалаберен, но при этом любит вкусно поесть и сладко выпить. Денег катастрофически не хватает. Он не знает и даже не задумывается, откуда они берутся. Богатые братья Йозеф и Авраам (их банкирский дом — один из крупнейших в Берлине) от неё отступились сразу после её ухода из дома Фейта. Выручали друзья. В одном из писем к подруге она просит прислать, сколько та может, сколько не жаль, ибо вернуть она вряд ли сумеет.

Культурная жизнь Кёльна не идёт ни в какое сравнение с парижской, а что уж говорить о литературной — её просто нет. Правда, Шлегель теперь увлечён готикой. То и дело он пакует чемодан и уезжает в прирейнские города, в Бельгию и Голландию, сопровождаемая друзей — братьев Буассере, где тем удаётся приобретать за дешёво настоящие шедевры старинной живописи для своей коллекции. Коллекция Буассере произведёт колоссальное впечатление на Гёте, когда он прибудет в Кёльн по их приглашению в 1815 году. А ведь первое своё приобретение — средневековую картину — братья рассмотрели в тачке, которую кто-то катил по кёльнской рыночной площади.

Братья Буассере — католики, быть может, потому они особенно восприимчивы к сакральному искусству. Их вклад в его сохранение и расшифровку памятников готики оценён по заслугам: сегодня в Кёльнском художественном музее Вальрафа и Рихарца можно увидеть мраморные бюсты не только этих основателей музея, но и братьев Буассере. Их дух витает сегодня и в залах музея, и в Кёльнском соборе, изучению и сохранению которого они посвятили многие годы жизни.

Каждый раз Доротея с нетерпением ждёт их возвращения. Других знакомых здесь у неё нет. Того, что ранее заполняло жизнь: салоны и кружки, встречи с романтиками, подруги и дружеский круг — всего этого она лишена. Эгоизм мужа её больно ранит. Она чувствует себя старой, измочаленной. Никогда она не была в такой бедности, в таком одиночестве, в таком отчаянии. Но никогда она не была и столь творчески продуктивна, как сейчас.

Творческая работа Доротеи в Кёльне не знает перерывов. Здесь созданы её лучшие переводы и переработки. Она переводит Кальдерона, а также Сервантеса, о котором ей с восторгом столько говорил её Фридрих. Он его ставил рядом с Шекспиром. Продвигается и пьеса, которую они пишут совместно со Шлегелем. Она делает переводы для собрания средневековых поэтов, которое задумали издать братья. «Историю волшебника Мерлина» она написала ещё в Париже в соавторстве с Гельминой, опираясь на средневековые источники. История Мерлина составила первый том этого собрания. Теперь Доротея работает над очередной темой для него, одновременно берётся и за продолжение «Флорентина».



Доротея Шлегель.
Филипп Фейт

В романтических кругах Доротея известна, её ценят. С её мнением считаются романтики «второго призыва» (так называемая *гейдельбергская школа*). Один из них, Клеменс Брентано, именно ей доверяет в письмах самые сокровенные мысли об искусстве.

Здесь, в Кёльне, в 1808 году, накануне переезда в Вену, где Шлегелю наконец предложили место секретаря при дипломатической миссии, Доротея вслед за мужем переходит в католицизм. Одновременно она обращает в католичество обоих сыновей. Этот шаг повергнет в недоумение и отдалит от них родственников Фридриха (все они были протестантами) и многих берлинских и йенских друзей. Он приведёт к полному разрыву с Гёте, которому ещё десять лет назад они курили фимиам. А теперь Доротея *не может простить* ему пантеизма и любви к Спинозе.

Фридрих Шлегель перешёл в католичество по убеждению, его поворот был логическим завершением его религиозных исканий. Переход этот означал для него отречение от мечты о новой религии, что было, несомненно, трагедией. Доротея, скорее всего, продемонстрировала верность мужу. Тут трудно установить истину. «Искусство перетянуло меня к католичеству» — эти слова на разные лады варьируются в её письмах. Других объяснений нет.

В Вене Доротея почти безвыездно прожила последние двадцать лет своей жизни. Лишь в 1818 году, после того как Фридрих отбыл по службе во Франкфурт на неопределённое время (их разлука продлится три года), она предприняла длительное путешествие в Италию, в Рим, где учились живописи её сыновья. Они принадлежали к кругу немецких художников-«назарейцев», куда в ту пору входили Овербек, Корнелиус, Вильгельм Шадов, сын известного скульптора. Несколько позже к ним примкнёт и Мориц Оппенгейм. Все они жили на вилле, принадлежащей очень модной в ту пору художнице Анжелике Кауфман.

В Риме Доротея получила письмо от своего бывшего супруга. Умирающий Фейт просил у неё прощения и брал всю вину за их развод на себя. Потрясённая его благородством, Доротея отвечает: «Твои слова меня глубоко взволновали. Знай, что ты ни в чём не виноват! ...Я одна виновна в нашем разводе и во всём, в чём меня простит Бог, как ты меня простил!» Фейт умер в октябре 1819 года.

В Италии переживает она счастливейшие дни. Её Фридрих вернулся, весной 1819 года он приехал к ней. Её сыновья отнеслись к нему дружелюбно, да и все «назарейцы» почли за честь принимать самого Шлегеля. Филипп, сын Доротеи, повёз их в Неаполь, Помпеи. Целый месяц совместной жизни в Риме! Её бурное чувство к мужу улеглось. Он, в свою очередь, понял, что она — единственный человек, на кого он может положиться. Их переполняет глубокое дружеское чувство друг к другу, которое выросло из их любви. После двадцати лет брака она ясно видит сильные стороны и слабости супруга. Она по-прежнему восхищается им, но знает, в чём она его превосходит. В отличие от Фридриха, который в свои пятьдесят витает в облаках, может быть наивным и задиристым, как мальчишка, она обеими ногами стоит на земле, неизменно руководствуясь стремлением осуществить самой себя, «прорваться». «Доротея производит более значительное

впечатление, нежели её муж», — это отмечали их общие знакомцы в Вене. И встретивший Шлегелей в Неаполе австрийский драматург Грильпарцер нашёл «главного апостола нового католицизма» несимпатичным: «Супруги являют собой полный контраст: насколько Доротея светла и солнечна, настолько мрачен толстый Фридрих».

Ровно через десять лет Фридрих Шлегель скоропостижно уйдёт из жизни. Но этого никто ещё не знает, а Доротея к тому же не допускает мысли, что переживёт мужа. Похоже, и он такого же мнения, потому что выражает намерение после смерти Доротеи уйти в монастырь. Но в январе 1829 года в Дрездене, куда Шлегель сопровождал свою племянницу и где был принят при дворе, а главное — почти ежедневно встречался с другом молодости Людвигом Тиком, он умирает от инсульта.

В 1829 году еврейские общины Германии широко отмечали столетие со дня рождения Моисея Мендельсона. Казалось бы, его дочери и сыновья, внуки, племянники и племянницы, должны были испытывать чувство гордости и единения в этот день. Но разность религиозных убеждений вызвала рознь и отчуждение в семье. И если к переходу в протестантство здесь относились с пониманием, то католичество — это перебор, а потому Доротея и её сыновья — чужаки. Приходится признать, что потомки Мендельсона не унаследовали от него завещанную им терпимость.

После смерти Шлегеля, которого Доротея пережила на десять лет, она намеревалась переехать к сыну в Италию, но Филиппу предложили место директора Художественного музея во Франкфурте. Значит, не судьба ей кончить свои дни в Риме. Она ещё успела прочесть книгу Генриха Гейне «Романтическая школа» и убедилась в том, что этот «последний романтик» не понял глубинных основ их движения. Разве «ясновидческие очи» её Фридриха были устремлены только в «дорогое его сердцу прошлое»? Разве можно его называть «пророком наизнанку»? Ведь это выражение самого Фридриха, так он определил положение историка. Впрочем, просветитель Николаи, друг её отца, тоже нападал на романтиков, мало смысла в их эстетике. С ним они воевали. Возражать представителю *Молодой Германии*, полемизировать с Гейне у неё желания не было. Спасибо на том, что её Фридриха он поставил куда выше его брата Августа, этого надутого боннского профессора, к которому она тщетно взывала с просьбой помочь расплатиться с долгами покойного мужа. Да, Августу досталось от этого Гейне, и поделом. Уж он-то никогда её не любил, как и его Каролина.

Как, однако, давно всё это было... Каролина ушла первой, вслед за Новалисом. Потом умер Шиллер. Он не простил ей острой критики его пафосности и назвал её, Доротею, «Мефистофелем в юбке». Бог с ним, она его простила. Она ведь и впрямь была личностью пассионарной, да ещё и колкой на язык. Даже бессмертный Олимпиец Гёте оказался смертен. А теперь и его страстная почитательница Рахель Левин умерла. Кажется, ещё недавно она с подружкой прогуливалась по родной *Spandauerstraße* в Берлине, и вот Рахели нет. Осталась лишь её любимая подруга *Jetti* — Генриетта Герц. Царица берлинских салонов ныне часто хандрит, её письма полны жалоб. Доротея ей отвечает меланхолично: «Приходится смириться с тем, что мы

подобны цветам и растениям, которые выполняют своё предназначение: процвести, доставить радость и — исчезнуть». Однако временами в ней вспыхивает прежний дух, тогда она пишет подруге: «Всё, что мы, дети Вселенной, называли поэзией жизни, всё это — далеко-далеко. Я бы тоже могла, как и ты, сказать, что я этим сыта по горло. Но я, тем не менее, этого не скажу. Прошу и призываю тебя: не говори так больше никогда. Твой долг быть мужественной! Не позволяй этой пресыщенности властвовать над собой! Напротив, думай постоянно о том, что эта несовершенная жизнь была тебе отпущена не в собственность, не для случайных прихотей, не для приятного времяпрепровождения. Каждый день сам по себе — чудо милосердия, капитал, который ни зарыть, ни отбросить невозможно».

Свой последний год она проводит в доме своего сына Филиппа во Франкфурте. И кто бы узнал в этой благообразной старушке, мирно дремлющей под звуки клавирина над своим вязаньем в гостиной, обставленной солидной мебелью в стиле *бидермейер*, в окружении четырёх внуков, кто бы узнал в ней отважную амазонку немецкого романтизма...

Когда сегодня заходит разговор о романтизме в Германии, без достижений которого немыслимы были бы ни Ницше, ни Вагнер, ни русский символизм, не следует забывать, что в первом ряду его зачинателей была и Доротея, дочь Мозеса Мендельсона.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ БЕРЛИНА И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЫ

Плоды Просвещения

Берлинские литературные салоны конца XVIII — начала XIX вв. — характерная примета века Просвещения. мода на них пришла из Парижа, там в аристократических салонах царили женщины. Пример подала ещё в XVI веке принцесса, впоследствии королева, Маргарита Наваррская, при дворе которой возник поэтический кружок. Литературно-музыкальные салоны во Франции XVIII века — будь то салон мадам Рекамье или мадам де Сталь — влияли и на политический климат страны, чего нельзя сказать о берлинских салонах. Сфера их влияния была скорее духовная, культурная. При этом берлинские салоны были более демократичными: выходцы из третьего сословия чувствовали себя тут на равных с титулованными особами. Но самое удивительное заключалось в том, что хозяйками этих салонов по большей части были дочери и жёны состоятельных берлинских евреев, которые в годы *Хаскалы* (еврейского Просвещения) сумели сблизиться с образованным немецким обществом.

Резиденция прусских королей, лежащая на Шпрее, в стороне от морских и торговых путей, лишь к началу XIX века обрела черты столичного города. Именно в это время сформировалась здесь крупная буржуазия, которой были присущи независимость, образованность, особый шик. В 1781 году был опубликован известный трактат фон Дома «Об улучшении гражданского положения евреев», а вскоре их эмансипация шла уже полным ходом. Евреи, которых ещё недавно подозревали и обвиняли в ритуальных убийствах, поджогах, отравлении колодезцев, стали жить так, будто их предки не переживали всех этих унижений и гонений, они не оглядывались назад, они были устремлены в будущее. Они были открыты наступающим переменам, их дома стали средоточием культуры. Немецкое просвещённое общество Берлина (этот слой был очень тонок!) отошло от традиционной веры ради нового культа — культа Разума. Критически и космополитически настроенные немецкие аристократы готовы были к сближению с отошедшими от иудаизма богатыми евреями. Прусская знать и высокопоставленные чиновники теснились на приёмах, которые устраивали в своих особняках преуспевшие берлинские евреи. Немцы с удивлением узнавали, что многие еврейские семьи связаны родственными узами со всеми крупнейшими городами Европы. И что особенно поражало — это нерастратенный интеллект женщин из этих пошедших в гору семейств. Фридрих Шлейер-

махер, теолог и философ, вхожий в дома известных евреев Берлина, был поражён тем, «насколько хорошо образованны еврейские женщины, способные не только вести беседу, но и достигшие немалых успехов в той или иной области искусства».

Выйдя за стены гетто, еврейские женщины жадно припали к источникам знаний, с энтузиазмом восприняли гуманистические идеи эпохи и заразились немецким идеализмом. Образованность стала в эту пору своего рода аристократизмом, и войти в этот аристократический круг можно было независимо от происхождения и вероисповедания. Пример Мозеса Мендельсона, которого друзья-просветители чтили как немецкого Сократа, воодушевлял. Поняв, что образование и культура помогают добиться респектабельности и даже признания, немецкие евреи превратили культуру в своего рода религию. Некоторые даже дали сыновьям имя Эфраим Готхольд в честь дружественного к ним, а потому любимого Лессинга, а многие приняли фамилию Шиллер. Хотя к имени Гёте евреи в подобных случаях не обращались, именно они создали его культ, и самой верной его почитательницей была хозяйка берлинских салонов Рахель Левин. В каждом еврейском доме можно было найти его сочинения, и даже раввины цитировали Гёте во время служб. Близкий друг Гёте Риммер отмечал, что восхищение личностью и творчеством автора «Вертера» и «Вильгельма Мейстера» в еврейских кругах было сильнее, чем среди его соотечественников. Риммер объяснял это большей гибкостью и многогранностью еврейского интеллекта в сравнении с немецким. Он считал, что у еврейских женщин эти качества — живость ума и восприимчивость к прекрасному — проявлялись в совершенно очаровательной форме, потому-то Гёте и предпочитал их общество и охотно читал в их кругу свои новые стихи.

Высоко чтили просвещённые немецкие евреи и философа Канта, игнорируя его высказывания о том, что «иудаизм не содержит совершенно никакой религиозной веры», а «репутация евреев как мошенников вполне заслужена». Несколько поколений евреев-кантианцев трудились над возведением пьедестала, достойного этого философа. Известный философ-кантианец Козн, учеником которого был наш поэт Борис Пастернак (Козн преподавал в Марбургском университете и перед Первой мировой войной выпустил книгу *«Deutschtum und Judentum»* — «Немецкость и еврейство»), считал, что Кант есть и должен оставаться основой немецкого гуманизма. Глубокая приверженность немецких евреев к этическому учению Канта проявилась в книге Соломона Фридлендера, выпущенной для детей в виде катехизиса в 1920-х годах. Задав детям вопрос: «Кто на пути к истине наш настоящий руководитель?» (автор употребил слово *Führer*), сам же и ответил: «Иммануил Кант!» А кое-кто из немцев уже отвечал: «Адольф Гитлер!» Вступившие на путь эмансипации евреи были наивны, они верили лозунгам Просвещения, их заворожила идея человеческого братства.

Ингеборг Древиц, автор небольшой, но ёмкой книги о берлинских салонах (1984) утверждает, что в конце XVIII столетия в Берлине наблюдался своеобразный симбиоз богатых еврейских семей с наиболее просвещёнными

ми слоями прусской аристократии и верхушкой среднего сословия. Известный философ современности Ханна Арендт в книге о Рахель Фарнхаген (подзаголовок — «История жизни берлинской еврейки из круга романтиков») замечает, что идиллия продолжалась около трёх десятилетий. По её мнению, еврейские салоны, эта, казалось бы, воплотившаяся мечта о свободном и равноправном общении евреев и немцев, явились продуктом случайного стечения обстоятельств в переходную эпоху и отнюдь не служат доказательством укоренённости евреев в немецком обществе. Свою книгу Арендт заканчивала в 1933 году, и это обстоятельство сделало её взгляд на проблему немецко-еврейских отношений особенно острым и, как показала жизнь, пророческим.

На исходе правления Фридриха II идеи ассимиляции носились в воздухе. Мендельсон, стремясь сломать барьер между евреями и неевреями, превратил свой дом в место встреч интеллектуалов. Его примеру последовал его друг-немец, издатель Николай, живший по соседству на той же *Spandauerstraße*.

Дочь Мендельсона, Доротея Фейт, возглавила «читательское общество», которое собиралось у них в доме дважды в неделю и привлекало берлинских писателей и учёных независимо от их религиозных убеждений. Сюда по вечерам приходили сёстры и подруги Доротеи, дочери и жёны еврейских купцов и представителей других профессий. После её скандального ухода от мужа общество в доме Фейта больше не собиралось, но тем активнее потекла салонная жизнь в доме Маркуса и Генриетты Герц и в мансарде Рахель Левин (в замужестве — Фарнхаген фон Энзе), выросшей тоже на *Spandauerstraße*. Здесь много говорили о литературе и искусстве, читали стихи, музицировали, разыгрывали сцены из полубившихся пьес, здесь спорили и рассуждали о жизни и смерти, о загадках человеческой души, о самореализации личности, о ценности человеческого «Я» и, конечно же, о любви.

Салон Маркуса и Генриетты Герц

Маркус Герц, родившийся в середине XVIII века в бедной еврейской семье, был отправлен отцом в Кёнигсберг в надежде, что сын преуспеев в коммерции. Но юноша увлёкся философией и попал в круг внимания самого Канта. Герц стал ревностным пропагандистом кантовской философии. С рекомендательным письмом Канта к Мендельсону он отправился в Берлин. На средства Давида Фридендера Маркус получил образование и звание доктора медицины в Галле. В 1777 году он уже в Берлине, где с огромным успехом читает лекции по медицине для врачей и по философии — для узкого круга интеллектуалов. Его лекции посещали многие учёные, политические деятели и даже представители королевского дома. Прусский король даровал ему титул лейб-медика и профессора.

Накануне этого события Маркус Герц женился на молоденькой дочери своего коллеги и патрона де Лемоса, известного врача, возглавлявшего больницу еврейской общины, предки которого, португальские ев-

реи, на исходе Средневековья эмигрировали в Германию. Де Лемос, взяв в жёны немецкую еврейку, нарушил традицию: обычно *сефарды* (выходцы из Испании и Португалии) и *ашкеназим* (*Ашкеназ* на иврите — Германия) не смешивались. Плод этого необычного союза явился на свет в Берлине в 1764 году. Генриетта была ослепительно красива, на улицах прохожие оборачивались и глядели ей вслед. Её воспитывали в патриархальной скромности, в традиционном еврейском духе, но веяние перемен коснулось и дома де Лемосов. Девочка проявляла необычайные способности к языкам, а потому кроме немецкого и древнееврейского (иврита) она изучала английский, французский и итальянский. В ней играла южная кровь предков, она рано сформировалась и была выдана замуж чуть ли не в пятнадцать лет. Став замужней дамой, Генриетта и не подумала следовать предписаниям иудаизма и покрывать голову платком, как это делала её мать. Её прекрасные чёрные волосы, убранные в локоны, волной спадали на спину, оттеняя белизну её прекрасного лица.



Маркус был более чем вдвое старше Генриетты и относился к ней почти по-отечески, тем более что брак их оставался бездетным. Муж развил и шлифовал интеллект своей молоденькой жены. Она оказалась способной ученицей, иначе вряд ли ей удалось бы в скором времени стать настоящей царицей их салона, хотя до конца дней в ней оставалось что-то детское. Её образование не было систематическим. Генриетта читала много и без разбора. Она самостоятельно стала изучать латынь и древнегреческий. Ученики её мужа, посещавшие их дом, просвещали молодую женщину в математике и физике. А иврит она знала настолько хорошо, что сама давала уроки Александру фон Гумбольдту.

В салоне Герцев часто бывали братья Гумбольдт со своими коллегами-физиками, охотно заходили сюда племянник Фридриха II принц Луи-Фердинанд и сотрудник шведского посольства Густав фон Бринкманн, Шиллер и граф фон Дона с женой. Время от времени появлялись сёстры Сарра и Марианна Майер, прелестные дочери берлинского банкира-еврея, которые несколько позже войдут в круг близких Гёте людей. Завсегдатаями были Карл фон Ларош, сын писательницы, создавшей первый женский роман в Германии, и будущая жена Вильгельма фон Гумбольдта — интеллектуалка Каролина фон Дахерёден. Еженедельно приходили Доротея Фейт со своей сестрой Генриеттой и Рахель Левин. Всё чаще бывали у Герцев и новые люди с характерным для них поэтическим восприятием жизни: романтики Август и Фридрих Шлегели, Тик, Шлейермахер, эти создатели культа мистического чувства, с характерным для них поэтическим восприятием жизни. Это в их салоне Доротея Мендельсон-Фейт встретила Шлегеля, а Рахель Левин — Фарнхагена фон Энзе. Среди почётных иностранных гостей — знаменитая в ту пору писательница мадам де Сталь и граф Мирабо.

В 1787 году по инициативе Генриетты её юные друзья и подруги, явно вдохновлённые масонскими и пиетистскими идеями, распространившимися в немецком обществе в эту пору, создали тайный кружок «Лига добродетели» (*Tugendbund*). Это было время расцвета тайных обществ на мистической основе. Литература отразила этот процесс: Жан-Поль сочинил роман «Таинственная ложа», Фридрих Шиллер — «Духовидца», Захария Вернер — «Сыновей долины», Гёте привёл все нити «Вильгельма Мейстера» к скрытой деятельности «Общества башни». Заметим, что и Гердер, и Лессинг, и Гёте, как и большинство образованных немцев того времени, были членами какого-либо тайного общества. Евреи следовали их примеру: отец и дядя Генриха Гейне тоже были членами масонских лож. Разумеется, *Tugendbund*, в котором все были на «ты», где увлечённо играли в фанты, сочиняли буриме, разгадывали шарады, где, едва распрощавшись друг с другом, спешили обменяться высокопарными письмами, где шаловливая фривольность скрывала незрелую юношескую эротику, — был не более чем следованием моде. Здесь доминировала атмосфера игры. Сентиментальная Генриетта до седых волос будет хранить верность тому духу братства, который недолго владел членами её тайной «Лиги». И добродетель была для неё не пустым звуком. Кое-кто находил Генриетту скучной. Ведь заметил же романтик Новалис, что «добродетель — это проза, невинность — поэзия».

Разумеется, роскошная красота хозяйки салона, её царственная осанка (на портрете Анны Доротеи Тербуш Генриетта Герц изображена как Церера, богиня плодородия) действовали неотразимо. Молодой в ту пору скульптор Готфрид Шадов, основатель немецкого классицизма, чьи работы украшают все значительные художественные музеи Германии (его квадригу с Аполлоном, венчающую Бранденбургские ворота в Берлине, знают все), посещал в 1790-е годы салон Герцев и вызвался извять мраморный бюст Генриетты. Её спокойный нрав, доброжелательность располагали. Не лишённая честолюбия, она тянулась за своими подругами — это были дочери Мендельсона, Рахель Левин; и хотя в познаниях и литературных способностях она уступала Доротее и Рахель, вскоре её общества стали искать известные поэты, литераторы и философы рубежа веков. А знаменитый проповедник, теолог и философ Шлейермахер, представленный тридцатилетней Генриетте, ставший её верным паладином, вскоре уже признавался, что Генриетта — «самое близкое существо», без которого его жизнь потеряла бы смысл.

В салоне Генриетты Герц романтики проповедовали воспитание, образование и освобождение женщин. Фридрих Шлегель восхвалял нравы спартанок, которые воспитывались вместе с мужчинами. Он с восторгом рассказывал о Сафо, о гетерах, стоявших на высоте античной культуры. Он не столько говорил о равноправии женщин, сколько о равноценности женской и мужской культуры. Шлегель допускал даже, что женщины, воспитанные в добре и красоте, в неясном чувстве, угадывающем истину, превосходят мужчин. Позже он назовёт это неясное чувство религией и в женщине увидит существо по преимуществу религиозное.

Тик зачитывал отрывки из «Фрагментов» своего друга Новалиса, которые воодушевляли впечатлительную Генриетту: «Женщина — символ красоты и добра; мужчина — правды и справедливости. В мужчине главное — разум, в женщине — чувство. С женщинами родилась любовь, и они родились с любовью. Женщины похожи на растения».

Романтики полагали, что необходимо, не отрывая женщину от мистических глубин её существа, в которых она является инстинктивной носителем чувства бесконечного и всего хорошего, что с ним связано: любви, поэзии и религии, освободить её от предрассудков, развить и воспитать. Судьбы некоторых участниц *Tugendbund`a*, да и самих романтиков свидетельствуют о том, что они в своих стараниях раскрепостить женщину немало преуспели. Однако идеи романтиков относительно женской эмансипации не были восприняты немецким обществом.

Со смертью Герца (1803), внезапной и безвременной, гостеприимный дом опустел, круг друзей сузился. Во время начавшихся наполеоновских войн одни покинули Берлин, другие отошли в мир иной. Граф Дона, потеряв жену, предложил Генриетте руку и сердце, но она отклонила это предложение, предпочтя любви его дружбу. Накануне смерти Герца в их доме появился семнадцатилетний Людвиг Бёрне, будущий литератор и вождь «Молодой Германии». В ту пору он ещё звался Лоев Барух и намеревался изучать медицину под руководством Герца. Его состоятельный отец, франкфуртский банкир, мечтал видеть сына врачом. Юноша не на шутку влюбился в сорокалетнюю даму, величественная красота которой достигла расцвета. Генриетта тактично настояла на его отъезде в Галле, где он продолжил обучение. Напрасно влюблённый забрасывал её пламенными письмами. Некоторые считали её чопорной, но она просто не смогла переступить границы, которые сама для себя очертила.

Она не осудила Доротею, свою ближайшую подругу, когда та отдалась страсти и покинула Фейта и сыновей. Она переписывалась с нею всю жизнь и, как могла, помогала в трудные минуты. Но к роману Шлегеля «Люцинда», где откровенно говорилось об этой страсти, Генриетта отнеслась весьма сдержанно. Её друг Шлейермахер откликнулся на книгу восторженной рецензией (правда, под псевдонимом), но и это не заставило её изменить своё мнение: интимное не следует выносить на всеобщее обозрение.

Дочь Мендельсона была не единственной, решившейся на столь смелый шаг. Рост женского самосознания в кругах, близких романтикам, давал о себе знать на исходе ХУШ века. Тереза Гейне, дочь гёттингенского философа, член их *Tugendbund`a* (она была связана с Генриеттой длительной перепиской), тоже покинула мужа, забрав двоих детей. Её муж, Георг Форстер, совершивший в юности вместе с Джеймсом Куком кругосветное путешествие и описавший его, — известная в Европе личность. Он был исследователем в области естественных наук, профессорствовал в Касселе, Вильно, и всюду Тереза следовала за ним. С 1788 года он служил библиотекарем в университете Майнца. После занятия города революционными французскими войсками Форстер стал их фанатичным приверженцем и возглавил тамошний якобинский клуб. Тереза разделяла его революционный энтузи-

азм, и её внезапный отъезд в 1793 году, перед тем как город был отбит пруссаками и началась расправа с якобинцами, многим показался необъяснимым. На этот шаг её толкнуло чувство к другому, с которым она и соединила свою дальнейшую жизнь. Форстера этот разрыв обрёл на страдания, от которых его избавила скорая смерть (он умер в 1794 году Париже, где оказался в статусе политического беженца). Каролина Бёмер (в последующих браках Шлегель и Шеллинг), которой после отъезда Терезы пришлось короткое время вести дом Форстера, сочла её шаг в высшей степени неправильным, эгоистичным, она так и охарактеризовала его в своём дневнике. Но Генриетта не стала осуждать Терезу.

Не бросила она камень и в саму Каролину, в биографии которой было немало авантюрных страниц. Дочь профессора-востоковеда Михаэлиса, она вышла замуж за доктора Бёмера, с которым испытала тихие радости семейной жизни и родила обожаемую дочь. Рано овдовев, она круто изменила жизнь. Находясь во время революционных событий в Майнце, она влюбилась в молоденького лейтенанта французской армии. Он и ввёл её в кружок Форстера. После отступления французов беременная Каролина была брошена пруссаками в тюрьму как пособница врага. От тюремного заключения и социального ostrакизма её спас Август Шлегель, женившись на ней.

Генриетта, не будучи лично знакома с Каролиной, но наслышанная о ней от Доротей, Тика и Шлейермахера, а также обоих влюблённых в Каролину Шлегелей, поняла, что Каролина — удивительная женщина, воплощённая тайна женской души, проникнуть в которую дано лишь избранным. Пусть другие злословят о Каролине, которая покинула Августа Шлегеля и ушла к молодому философу Шеллингу. Слух Генриетты замкнут для обывательских сплетен: уроки мужа и друзей ею усвоены основательно. Десятая заповедь «Разумного катехизиса благородной женщины» Шлейермахера гласила: «Ты должна возделеть к образованию, искусству, мудрости и чести мужчин». Она и шла указанным путём.

Со временем духовное влияние Шлейермахера на Генриетту возросло. Уступая доводам друга, она в 1817 году, после смерти матери, примет крещение, хотя ещё недавно её не смогла склонить к этому даже перспектива стать воспитательницей принцессы Шарлотты (будущей русской императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая I). Это предположение было и лестным, и соблазнительным: после смерти Маркуса Герца его вдова жила в стеснённых обстоятельствах и зарабатывала уроками. Одно время в её доме столовались студенты. К своим подопечным она испытывала материнские чувства. Вильгельму Гумбольдту удалось выхлопотать для неё небольшую пенсию.

Её длительная дружба со Шлейермахером была предметом пересудов и сплетен, а также многочисленных карикатур в берлинских газетах, но оба хранили поистине олимпийское спокойствие и были выше злословия. Генриетта с увлечением внимала другу. Мысли о религии и религиозном чувстве, которые он перед нею развивал, были революционными для того времени. Для Канта и его школы мистическое чувство есть продукт вооб-

ражения, мечтательности. Шлейермахер, как истинный романтик, полагает, что религиозное чувство слагается из созерцания бесконечного. Религиозный человек созерцает мир в его бесконечных проявлениях, с благоговением прислушивается он к тихому ходу жизни и, как дитя, безвольно отдаётся её непосредственному воздействию. Он видит всё конечное как часть бесконечного, как проявление, как отпечаток жизни Вселенной. Поэтому весь мир кажется ему чудом.

Генриетте, отошедшей от иудаизма, были близки его мысли о том, что каждый человек может иметь свою религию, это будет зависеть от того, какое чувство бесконечного ему особенно близко. Она готова была поверить пророчествам друга о наступлении новой религиозной эры, к которой стремятся и философский идеализм, и натурфилософия, и новое искусство. Генриетта была благодарной слушательницей, даже она, при её спокойствии и невозмутимости, загоралась его предчувствиями, его верой в то, что все романтические чаяния найдут разрешение в новой религии. И как не поверить! Ведь друзья Шлейермахера в один голос твердили о том же. Фридрих Шлегель: «Наступило время разорвать покрывало Изиды, время основать новую религию». Новалис: «Надвигается новый Золотой век, с глубокими, тёмными глазами, время пророческое, творящее чудеса и чудесно исцеляющее, утешающее и обещающее вечную жизнь».

Действительность их ожидания обманула. Один за другим ушли Новалис, Шлегель, Шлейермахер. Генриетта их всех пережила, ей остались лишь воспоминания. Она решила в старости доверить их бумаге. Память иногда её подводит. Подчас в её записках сквозит мелкое тщеславие, но оно не лишает ценности её свидетельства. Закат романтизма совпал с её увяданием. Умерла она осенью 1847 года, накануне революции, прокатившейся по Европе.

Принц Луи Фердинанд Прусский незадолго до своей гибели (он погиб в первом же сражении с Наполеоном в 1806 году) призывал свою приятельницу Паулину Визель присмотреться к Генриетте Герц повнимательнее и предрёк: «Она не будет столь любима, как она того заслуживает». И в самом деле, над ней подтрунивали даже близкие знакомые. Брат Рахель Левин, принявший при крещении имя Людвиг Роберта, сочинил насмешливый стишок о Йетти Герц, где назвал её египетской маркизой, Юноной-великаншей, добродетельной сверх меры, скорее верной, нежели любящей, бессердечной, беспечальной, холодной, слишком юной для своего возраста. Её чопорность, в старости граничившая с ханжеством, и впрямь давала повод для насмешек. Но сосредотачиваться на этой слабости Генриетты или упрекать её в недостаточной образованности — значило бы проявить неблагодарность и забыть о главном: о том, чего добилась эта женщина, принадлежавшая по рождению к «людям второго сорта» (ведь так воспринимали евреев её современники в подавляющем большинстве), чего достигла она самообразованием и самовоспитанием. На протяжении двух десятилетий её салон, как магнитом, притягивал берлинскую интеллектуальную элиту и был центром культурной жизни прусской столицы, и этим всё сказано.

Рахель Левин и её первый салон

Рахель Левин оставила в памяти современников глубокий след. Датский писатель Георг Брандес назвал её «первой великой современной женщиной в немецкой культуре». По существу, с неё начинается женская эмансипация в Германии. Она первой выступила с решительной критикой существующего положения женщины. «Может ли баба тоже быть человеком?» — с горечью размышляет она в 1793 году и приходит в отчаяние от собственного положения: «Будь моя добросердечная мать достаточно твёрдой и знай она, каково мне придётся, ей бы лучше задушить меня при первом моём крике. Бессильное создание, которому не на что рассчитывать, лишь сидеть дома, а коль захочешь что-то изменить, против тебя восстанут небо и земля, люди и твари». Рахель всегда сознавала себя аутсайдером по двум причинам: и как женщина, и как еврейка. Вместе с тем она ощущала в себе силы необычные, нечто родственное великим художникам, философам и поэтам: «Мы из одного теста и принадлежим одному кругу. Просто мне досталось остаться ростком, к тому же основательно присыпанным. мне не пробиться».

Как писательница Рахель не состоялась, статьи и рецензии она публиковала анонимно, они до сих пор не собраны. Но её неповторимый — ни с кем не спутать! — голос доносится к нам из её писем. Ведь это было время расцвета эпистолярного жанра. Её муж, Карл-Август Фарнхаген фон Энзе, известный критик и переводчик (он первым перевёл Пушкина на немецкий), сразу после смерти жены подготовил к печати шесть тысяч её писем более чем трёмстам адресатам (по несчастью, более двадцати её писем к Генриху Гейне сгорели в доме его матери во время страшного пожара в Гамбурге). Сохранилось 13 тетрадей её дневников и коротких заметок, он их тоже использовал при публикации. В июле 1833 года Фарнхаген выпустил книгу: «Рахель. Книга воспоминаний для её друзей». С тех пор она не раз переиздавалась. В ней живёт великая душа этой маленькой женщины.

Рахель родилась в мае 1771 года в Берлине на *Spandauerstraße* в семье банкира и торговца ювелирными изделиями Маркуса Левина. Это был третий брак её пятидесятилетнего отца, первые два были расторгнуты по причине бездетности. Мать её, Хая, родила мужу пятерых детей. Рахель, крошечная, слабенькая, появилась на свет первой. Она стала отцовской любимицей, у матери в любимчиках ходил старший сын Маркус. Но хозяйственная, домовитая и отнюдь не глупая Хая не имела права голоса в семье, была покорной женой, никогда не вступалась за детей, а отец был деспотичен сверх меры. Рахель от этого немало страдала, даже если его гнев обрушивался не на неё. Брата Маркуса, которого отправили к богатым родственникам в Бреслау обучаться коммерческому делу, она наставляет: «Запомни. жалоба на папу тотчас оборачивается против мамы».

Рахель получила отличное по тем временам образование, владела ивритом и французским, обучалась музыке и посещала танцкласс. Отец её был театралом и часто брал с собой свою любимицу. В их доме собирались

актёры и аристократы, по большей части должники её отца. Посетители отмечали глубокий и острый ум ребёнка. Но сама Рахель не встречала понимания в семье и страдала от этого. Она считала себя дурнушкой: коротышка с маленькими ручками и ножками. А главное несчастье — подбородок торчком. «У меня никакой грации, ни внешней, ни внутренней, возможно, не уродина, но неказиста», — такой суровый и беспепелляционный приговор она вынесла себе в девичестве. Как сказали бы ныне психологи, её самооценка была явно занижена: ведь ею увлекались, в неё влюблялись. Всякий при знакомстве прежде всего видел её прекрасные глаза, высокий чистый лоб, а не злосчастный подбородок. А её речь! Она просто околдовывала своих собеседников. В этом искусстве с ней никто не мог сравниться.

Повзрослев, Рахель меньше жаловалась на свою внешность, она поняла, что есть нечто пострашнее: самым большим несчастьем для неё стало еврейское происхождение. Делясь с другом детства Давидом Фейтом душевной мукой, она пишет: «У меня была странная фантазия: мне представилось, что, когда меня забросили в этот мир, неземное существо, выпуская меня в жизнь, вырезало в моём сердце ножом следующие слова: “Ты наделена необыкновенной чувствительностью, ты сможешь видеть вещи, недоступные для глаз других людей, ты будешь благородной и великодушной, тебе будут доступны мысли о вечности. Но при этом ты будешь еврейкой!” Из-за этого вся моя жизнь превратилась в медленную агонию».

Освобождение от иудаизма, по мнению Ханны Арендт, стало главным стремлением её жизни. Западная культура, в первую очередь литература и философия просветителей, а затем и немецких романтиков, формировала её взгляды и идеалы. Рахель, подобно многим евреям периода *Хаскалы*, стала смотреть на иудаизм сквозь очки немецкого Просвещения. Как считает Лев Поляков, автор известного исследования «История антисемитизма», «в результате неизбежного отчуждения они (сторонники *Хаскалы*. — Г.И.) стали видеть самих себя чужими глазами... Логика жизни быстро привела последователей и учеников Мендельсона к повороту против иудаизма, т.е. против самих себя». Этот душевный разлад преследовал Рахель всю жизнь.

После смерти старого Левина его дело перешло в руки матери и брата, а девятнадцатилетняя Рахель, всецело зависящая от родни, занялась обучением младших братьев и сестры и стала вести дом. Одновременно она учила английский, упражнялась на скрипке, переводила с французского «Опасные связи» (известный роман Шодерло де Лакло), читала философов.

Рахель была очень общительной. Уже в юные годы она имела множество знакомых и приятелей, среди которых — Генриетта Герц, дочери Мозеса Мендельсона, дочь берлинского банкира Фанни Итциг, Марианна и Сарра Майер (в замужестве одна из сестёр станет графиней фон Эйбенберг, другая — баронессой Гротгус), актрисы Маркетти и Унзельман. Среди доверенных друзей — студент-медик Давид Фейт, из семьи берлинских банкиров, Густав фон Бринкманн, шведский посланник, и Вильгельм фон Гумбольдт. С одними она переписывалась, с другими часто встречалась. Огромное впечатление произвело на неё письмо Давида Фейта, в котором

он сообщил о своей встрече с Гёте. Она не переболела, в отличие от многих, «вертерской лихорадкой», но «Ифигению» и особенно «Тассо» не выпускала из рук. Её Гёте — прежде всего автор «Вильгельма Мейстера». Ей предстоит скоро увидеть своего кумира на водах в Карлсбаде. Уж конечно, она отнесётся к этой встрече с большим пиететом, чем Доротея Фейт. Когда её подруга встретила на променаде в Йене гостившего у Шиллера Гёте, она внимала не столько Олимпийцу, сколько своему обожаемому Шлегелю. Доротея назвала Гёте в письме «старое божественное превосходительство», а это — намёк на то, что время Гёте вышло — уже дерзость! Нет, она, Рахель, никогда ему не изменит.

В 1793 году семейство переехало на *Jägerstraße*, по соседству с *Gendarmenmarkt*. С этого момента в мансарде у Рахель начинается собираться общество, рождается её салон. *Jägerstraße* — центр Берлина, рядом — театр, библиотека, университет — всё, к чему её тянет. Отец заразил своих детей любовью к театру, и Рахель многие вечера проводила в театральной ложе. Она стала настоящим знатоком драмы и сценического мастерства.

Рахель в восторге и от лекций Фихте. Его ввела в еврейское общество Доротея Мендельсон. Его первое выступление в Берлине состоялось в салоне г-жи Самюзль Соломон-Леви. Философ учит: кто хочет освободиться от невежества и незрелости, нуждается в сильном «Я». Правда, Фихте утверждает, что ни женщины, ни евреи не могут обладать свободным «Я», способным к личной ответственности. Тем самым её дважды — как женщину и как еврейку — исключают из круга достойных, но Рахель готова простить почитаемому учителю его женофобию и антисемитизм. Да, это ранит, но мы ведь склонны терпеть и даже оправдывать слабости тех, кому поклоняемся. Тем более что Рахель и впрямь считает своё еврейство позором.

«Никогда, ни на одну секунду я не забываю этот позор. Я пью его с водой, я пью его с вином, я пью его с воздухом, с каждым вздохом. Еврейство внутри нас должно быть уничтожено даже ценой нашей жизни, это святая истина», — пишет она брату. Можно ли назвать её состояние «еврейской самоненавистью»? Термин принадлежит гамбургскому профессору Теодору Лессингу, который в 1930 году выпустит книгу под таким названием. Неужели Рахель почти на век опередила Отто Вейнингера, философа начала XX века, тщетно искавшего утешения в крещении и покончившего с собой в возрасте двадцати четырёх лет? Вейninger в прославившей его книге «Пол и характер» в резко негативных оценках женского начала и еврейства пошёл куда дальше Фихте, лекциями которого заслушивалась Рахель. Можно заметить некоторое сходство Рахель и Отто: оба — евреи, оба далеки от «хаоса иудейского» (выражение Осипа Манделштама), оба увлечены философией, видят мир сквозь призму интеллектуального, оба — несравненные самонаблюдатели. Наконец, оба воспринимают еврейское происхождение как трагедию. И всё же «позор» Рахель не привёл её ни к самоубийству, ни к антисемитизму. В её бунте против выпавшей ей судьбы папри не было «еврейской самоненависти».

Самонаблюдение, самоанализ, изучение своих внутренних побуждений, исследование извилин собственной души — это свойства по-настоящему

просвещённой личности. Рахель всматривалась в своё «Я» даже с некоторой болезненностью, безоглядно расчлняя его на подчас весьма несходные составляющие. Современные психологи назвали бы её рефлектирующим экстравертом. Мать считала «это никому не нужное самокопание» Рахели признаком высокомерия. Но вот Борис Пастернак определил это знакомое ему состояние иначе:

Во всём мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

За этим стремлением — большой поэт. Рахель была из той же породы. И сердечная смута не заставила себя долго ждать. В январе 1796-го она познакомилась в Королевской опере с графом Карлом фон Финкенштайном. Это была любовь с первого взгляда, о которой узнали лишь самые близкие её друзья. Граф также скрывал от своей родовитой семьи, проживавшей в Мадлице, своё чувство к Рахели. Три года, счастливых и мучительных, полных надежд и отчаяния, закончились разрывом. Мечты Рахели разбились о сословные предрассудки. Граф не решился соединить свою судьбу с женщиной, происхождение и положение которой закрывало ей вход в высшее общество. В 1799 году он отбыл на дипломатическую службу в Вену. Сколько писем за эти три года было написано любимому! Он уничтожил все до единого. Она хранила ответные.

Любовные драмы, подобные той, что пережила Рахель, составят сюжетную основу известных романов Жермены де Сталь «Дельфина» (1804) и «Коринна» (1810), которыми будут зачитываться, пока не взойдёт звезда Жорж Санд. Глубоко страдающие героини этих книг окажутся во всех отношениях выше и сильнее своих избранников, умнее и благороднее мужчин. Как и Рахель, они будут преданы возлюбленными и обречены на одиночество. Эти романы Рахель прочтёт позже, уже после того как познакомится в Париже с их автором.



В Париж Рахель отправилась летом 1800 года по приглашению своей приятельницы графини Шлабрендорф (графиня ждала внебрачного ребёнка и нуждалась в присутствии близкого человека, а на Рахель можно было положиться). Здесь

Рахель познакомилась и с принцем Пруссии Луи Фердинандом, в Париже он оказался с давней подругой Рахели, красавицей Паулиной Визель. Круг аристократических знакомцев маленькой Левин расширился. Когда она вернулась в Берлин, в её мансарду на *Jägerstraße* потянулись старые и новые друзья.

За чайным столом сходились братья Гумбольдт, Шлейермахер, Жан-Поль, братья Тик, Brentано, Шамиссо, Бринкманн, Фридрих Шлегель, дипломат Фридрих Генц, знаток античности профессор Вольф. Принц Луи Фердинанд чувствовал себя в доме Левин настолько свободно, что появлялся там не только с возлюбленной, но и с зятем, князем Радзивиллом. Часто бывал и секретарь испанской миссии дон Рафаэль д'Уркихо, с которым Рахель связывали любовные отношения. Они длились три года, но прервались, поскольку испанская ревность и её «салон» оказались несовместимы. Для неё этот разрыв был ещё одним «кораблекрушением», ей показалось, что новый её возлюбленный, будучи иностранцем, сможет «перешагнуть» через её еврейство. И вновь надежды обманули.

В 1803 году Рахель впервые увидела юного Фарнгагена, который служил домашним учителем у подруги её детства Филиппины Коэн. Она запомнила: в тот вечер играли Моцарта, а он читал стихи Виланда. Рахель обожала Моцарта, но Виланду предпочитала Гёте. Она как раз была захвачена его новой книгой «Избирательное родство». Но молоденький учитель на её восторженный отзыв не откликнулся.

Страстная театралка, Рахель зачитывается «Валленштейном» Шиллера, но всё больше и больше её влечёт к Шекспиру. Её приятель Август Шлегель подарил ей томик переведённого им «Короля Лира». Именно он дал немцам настоящую Шекспира. В Германии началась настоящая шекспиромания. В мансарде у Рахель активно обсуждали *драматические чтения* Августа Шлегеля, в которых он излагал историю комедии от древности до новых времён. По её мнению, он по заслугам восславил Аристофана, но при этом был крайне несправедлив к Мольеру.

Новаторскими были суждения Шлегеля о живописности шекспировского стиля, в противоположность пластическому стилю античной трагедии. И уж вовсе странным и непривычным казалось то, что превыше трагедий он ставил комедии Шекспира. Шлегеля завораживал шекспировский дух игры, карнавала, и он заражал им своих слушателей. Университетская аудитория была переполнена. На публику произвели сильное впечатление также его негативные оценки театра французского классицизма. В своё время против этого же направления ополчился Лессинг, но у него не было такой широкой аудитории. Престиж французского классицизма в эту пору всё ещё был высок в Европе, потому высказывания Шлегеля о Расине вызвали разброд в умах. Такова была атмосфера, в которой жила маленькая хозяйка известного салона.

Всё кончилось в одночасье. Вторжение наполеоновских войск в Европу, разгром Пруссии, триумфальное вступление Наполеона в Берлин в 1806 году

повергли Рахель в ужас. Она едва пришла в себя от известия о гибели принца Луи Фердинанда на поле боя. В то время как многие евреи смотрели на Наполеона как на освободителя, он для неё — завоеватель. Вместе с семьёй она покидает прусскую столицу. Их дом занят под постой французскими солдатами. На этом история дружеских встреч в мансарде на *Jägerstraße* заканчивается. «За чайным столом сижу я одна со своими словарями... Ни чая, ни людей... Никогда я не была столь *абсолютно* одинокой», — записывает она в дневнике в начале 1808 года. Однако вскоре в Берлине она встречает Фарнхагена, и через несколько месяцев они становятся любовниками.

Карл Август, который был на четырнадцать лет моложе Рахели, в ту пору изучал медицину, хотя больше увлекался философией и литературой. Он был вхож в литературные круги и без особого успеха пробовал себя в поэзии и прозе. Родом он был из Дюссельдорфа, но связи с семьёй уже ослабли. В момент их встречи он был никем: ни положения, ни состояния, ни особых талантов. «Нищий с большой дороги» — как он сам себя аттестовал. По мнению Ханны Арендт, «Рахель станет величайшим шансом в его жизни, она добровольно отдаст ему главное: её жизнь превратится в занимательную историю, которой он будет подпитываться до конца своих дней». Что послужило основанием для такого утверждения?

Рахель отдала Карлу Августу все свои дневники, все письма, в том числе письма Финкенштайну (она сохранила копии), письма д'Уркихо, которые маркиз ей вернул, она вручила ему даже письма от друзей и подруг — всего более трёх тысяч. Поразительная открытость! Чтобы её понять, нужно перечитать «Вильгельма Мейстера»: Рахель старалась следовать благородным героям обожаемого Гёте. Она давно доверила ему своё воспитание. Потрясение Фарнхагена после прочтения писем трудно передать. Её жизнь — духовная жизнь — лежала перед ним как на ладони. Она настолько поразила юношу, что в беседе с другом он заговорил о Рахели как о третьем светоносном проявлении духа еврейского народа (первым и вторым он назвал Христа и Спинозу). Он написал возлюбленной, что готов быть её апостолом. Но «служение» он понял по-своему: он должен стать достойным Рахели, а потому он покидает её и уезжает в Тюбинген. Это была его третья попытка завершить медицинское образование. Для Рахель его отъезд стал ударом: Фарнхаген не ответил на любовь, хотя обещал ей свою жизнь.

Его отъезд совпал с её решением обрести самостоятельность. Рахели было уже тридцать семь, когда она покинула дом брата и сняла неподалеку крошечное недорогое жильё. Её требование выделить ей долю из наследства отца было воспринято как *бунт неблагодарной чёрной овцы*. Свою зависимость от родни Рахель воспринимала очень болезненно, о чём говорит горькое письмо, адресованное матери. Это не помешало ей, когда мать заболела, преданно ухаживать за нею вплоть до кончины Хаи Левин в 1809 году. Мать не упомянула дочь в завещании, и Маркус после долгих препирательств положил ей годовое содержание в 800 талеров. Её ждала унижительная бедность, но страшнее всего оказалось равнодушие и непонимание близких, полное одиночество и надвигавшиеся болезни.

Её письма Варнхагену полны жалоб на головные боли, расшатанные нервы, ломоту в суставах, удушье и т.д. Впрочем, вывод она делает философский: «Коль мне больно, я живу».

Наиболее откровенные письма этой поры адресованы новой подруге Ребекке Фридлендер, разведённой даме, довольно-таки сумасбродной, писавшей скверные романы под именем Регины Фроберг. Безоглядная доверчивость Рахели поражает. Не хочется говорить о её неразборчивости в выборе друзей, скорее, это была редкая даже в её кругу терпимость и способность закрывать глаза на человеческие недостатки. Возможно, излияния самой Ребекки, потерпевшей неудачу в любовном увлечении, вызвали сочувствие Рахели и ответное желание поделиться своими сердечными горестями. Так или иначе, её откровенность с Ребеккой обернётся против неё же. Именно ей доверила Рахель историю своих отношений с Александром фон дер Марвицем.

Уезжая в Тюбинген, Фарнхаген «завещал» ей своего друга. Он и Марвиц — сверстники, оба — студенты, только Александр изучает не медицину, а античность. Марвиц принадлежит к высшей знати, его старший брат — известный политик, противник либерализма и реформ. Александр не интересуется политикой и равнодушен к карьере. Предложение стать статским советником он отклонил. Но вопросы дворянской чести для него — не пустой звук. Рахель разделяет его патриотический настрой. Он примет участие в освободительных антинаполеоновских войнах и падёт в бою.

Пока они оба не знают будущего. Рахель впервые обрела в Марвице друга, который, доверяя ей безгранично, открывал душу, как на исповеди. Ему льстило её искреннее внимание, ему было важно почувствовать собственную значимость в глазах Рахели, ибо её высокий интеллектуальный уровень юноша оценил сразу. Их сближало многое: разочарование в жизни, филологические пристрастия, сходство натур. Ей было забавно, что этот зелёный юнец пытается её поучать: именно он советовал ей критичнее относиться к людям, не быть столь безоглядно открытой. Он иронизировал над sentimentalностью её недавнего окружения.

Когда после первого ранения Марвиц оказался в Праге, Рахель, находившаяся там, преданно его выхаживала. Её насторожило то нетерпение, с которым ещё не оправившийся от ран её юный друг рвался вновь в бой, а стало быть, прочь от неё. Два года длился их платонический роман, пока Рахель не почувствовала, что они «перенасыщены» друг другом. Но главное было в другом. Она устала быть идеальной романтической подругой, она устала от бесконечного томления по голубому цветку, этому символу неясного счастья, завещанному Новалисом. Порывания за грань, неземные восторги больше не влекли женщину балзаковского возраста. «Он любит меня, как любят море, игру облаков, ущелье среди скал. *Мне этого мало.* Довольно! Если я люблю, пусть со мной хотят жить, остаются со мною... Все мои друзья думают, что я могу жить воздухом. Им приятно наблюдать сердечные игры вроде моей, а я должна жить без любви! Всё это позади, хватит!»

Все её подруги устроили свою жизнь: Доротея Шлегель и Генриетта Герц, её сестра Роза и Ребекка Фридендер, Сарра Майер стала графиней фон Эйбенберг, а Марианна — баронессой фон Гроттхус. А ведь они тоже еврейки! Каждая из них вышла замуж или за знатного немца, или за богатого еврея. Лишь ей не повезло. Сейчас, когда с возрастом подступили болезни, что у неё осталось, кроме воспоминаний о неудачных любовных историях?! Общение с Марвицем открыло ей глаза на многое, за что она ему благодарна. И он, сам того не ведая, подвёл её к решению: её последний шанс — Фарнхаген.

В сентябре 1814 года она вступает в брак с Фарнхагеном фон Энзе. «Я полностью свободна рядом с ним, иначе я никогда бы не смогла выйти за него замуж. Он смотрит на брак, как я. Я с ним абсолютно правдива — во всём. И за это он любит меня. Так же, как и я», — делится она с Паулиной Визель. Возможно, в тот момент она не кривила душой, но современная исследовательница Ингеборг Древиц пришла к горькому выводу: «Рахель так и не нашла достойного её партнёра».

Маленькая хозяйка опочившего салона употребляет все силы на то, чтобы помочь мужу сделать карьеру, добиться положения в обществе. Он прислушивается к её советам. Фарнхаген, будучи участником боевых действий против Наполеона, оказался под Ваграмом. Он вынес из боя тяжелораненого австрийского полковника графа Бентхайма и выходил его (занятия медициной пригодились). Спасённый полковник приблизил к себе молодого пехотинца, сделав личным секретарём. Фарнхаген сопровождал графа в Прагу и в Париж, где в австрийском посольстве впервые познакомился с влиятельными лицами, в том числе с самим Меттернихом. Благодаря этим связям Фарнхаген присутствовал в качестве секретаря на заседаниях Венского Конгресса, которым завершились войны коалиции европейских держав с Наполеоном.

В 1814 году Фарнхаген был принят на дипломатическую службу в прусское представительство. Вместе с мужем Рахель едет в Вену, затем во Франкфурт-на-Майне и в Карлсруэ. Во Франкфурте 8 сентября 1815 года их дом неожиданно, без предупреждения, посетил Гёте. Его визит был кратким. Рахель была от счастья просто в транс. Чем обязана она высочайшему вниманию? Причина, однако, была. Ровно три года назад в «Утреннем листке для образованных кругов» появилась её первая анонимная публикация: «О Гёте. Отрывки из писем». Ею она была обязана Фарнхагену. Именно ему пришла счастливая мысль собрать все письма Рахели, в которых она писала ему о Гёте и его произведениях, и на их основе, перемежая их своими ответами, сделать книгу в виде переписки между мужчиной и женщиной, которые, как известно, на одно и то же смотрят подчас по-разному. Не называя имён адресатов, он обозначил их буквами. Рахели досталась буква «Г». Вскоре рукопись легла на стол известного издателя барона Котта. Тот переслал её Гёте, которому идея понравилась, более того, суждения незнакомки оказались достаточно глубокими. Котта публикует рукопись на страницах издаваемой им газеты, и вскоре Рахель получает письмо от своего кумира. А ведь это — шаг к личному знакомству. И этого добился для неё Фарнхаген!

Она была счастлива и смущена одновременно. В её планы встреча с Гёте не входила. Он был единственным человеком, с кем она даже не пыталась познакомиться. «Это была безымянная любовь и безграничное почтение к повелителю, — пишет она Карлу Августу. — Припасть к его ногам — таково было тайное желание всей моей жизни». Тем не менее, знакомство состоялось и имело продолжение: в 1825-м, а затем в 1829 году, возвращаясь из Баден-Бадена (Рахель уже была серьёзно больна и нуждалась в курортном лечении), супруги Фарнхаген посетили Гёте в Веймаре, и он в знак расположения подарил Рахели свои перо и галстук. К этому времени супруги уже давно жили в Берлине, и Фарнхаген даже приобрёл известность как литературный критик.

В 1819 году Фарнхаген был отправлен в отставку с небольшой пенсией, причиной тому послужили его либеральные взгляды и высказывания. Рахель, успев убедиться в том, что путь в большой свет ей всё равно заказан, — и это несмотря на крещение! — не впала в отчаяние, хотя муж воспринял поначалу отставку как катастрофу. Её больше поразил разгул антисемитизма, который принял невероятный размах в Германии именно в 1819 году. Это была «настоящая антиеврейская буря», — свидетельствует Фарнхаген. Ужасно было то, что погромы учинила не чернь, а студенты многих университетов, объединённые в союзы — *Burschenschaften*. Их поощряли профессора-антисемиты. Члены «буршеншафтов» возмнили себя новыми христианскими рыцарями-крестоносцами. В Вартбурге (цитадели Лютера) студенты, собравшиеся праздновать трёхсотлетие Реформации, жгли книги, в которых содержались выступления в защиту евреев, в том числе трактат фон Дома.

Самое мерзкое, по мнению Фарнхагена, что их «клич “Хеп! Хеп!” (аббревиатура латинского: *Hierusalem est perdita!* — Иерусалим разрушен! — Г.И.) подхватили почтенные горожане». И хотя крови было пролито немного, жертвы были поражены тем, что добрые соседи и вчерашние клиенты пришли с топорами и ломиками крушить их жилища и магазины. Рахель не постеснялась назвать имена титулованных подстрекателей и среди них — посетителей её салона: «фон Арнима, фон Brentано и им подобных». «Я испытываю бесконечную печаль из-за евреев, — писала она брату. — Когда за них заступаются, они этим дорожат; но как можно мучить их, презирать, относиться к ним, как к грязным евреям, бить ногами, спускать с лестниц?! Я узнаю мою страну. *К сожалению*. Это и есть проявление стихийной немецкой отваги — нападение на евреев».

Второй салон Рахели Фарнхаген фон Энзе

В Берлине супруги поселились на *Französische Straße*, 20, угол *Friedrichstraße*, рядом с оперным театром. С конца 1819 года начинается история второго салона Рахель. «Маленькая Левин продолжается в лице г-жи Фарнхаген, — пишет Шлейермахер сестре, — и, как всегда, вызывает моё восхищение: её дух всё ещё глубок и безграничен, и она по-прежнему говорит божественные вещи».

Возможно, Рахель всё ещё та же, но Берлин изменился до неузнаваемости. На улицах зажглись масляные фонари. На глазах меняется мода. Романтический стиль уходит в прошлое, его сменяет новый — *Biedermeier*. Законодатель моды, конечно же, Париж. Его называют циферблатом Европы даже теперь, после поражения Наполеона. Берлин силится не отстать. Уже во время Мендельсона он претендовал на право именоваться *Афинами на Шпрее*. Это был город газет и крупный для того времени научный центр. Однако жизнь ещё текла в пределах Фридрихштадта, в районах, прилегающих к *Unter den Linden*. Теперь, когда население почти удвоилось, город стал расти в северном направлении. По Шпрее с натужным рёвом движут суда, оснащённые паровыми котлами. Они тянут баржи из соседнего Мотцена, где днём и ночью производят кирпич, поглощаемый новостройками прусской столицы. Город растёт: индустриализация влечёт за собой пролетаризацию. Берлин ныне — не только театральный и музыкальный рай, но и город трущоб.

Рахель волнуют не только внешние перемены: как изменился общественный климат! Оккупация немецких земель Наполеоном, борьба с ним вызвала подъём патристических чувств. Над пробуждением народного самосознания усиленно трудились романтики, в том числе приятели и знакомцы Рахели. Гёте опасался последствий, он-то понимал, что пробудившееся национальное самосознание грозит перейти в открытый национализм. В Германии националистическая экзальтация в начале XIX века переросла в германоманию, а затем в культ германской расы. Естественным следствием германомании (или её оборотной стороной) явился всплеск антисемитизма, который испугал Рахель. Она вынуждена признать, что возвышенные чаяния идеологов Просвещения, их надежды на братское единение народов не оправдались. Широкие народные массы не были знакомы с идеями просветителей, они им чужды. Народ не посещал салонов.

Но даже те, кому льстило появляться в её доме по вечерам, не воспринимали Рахель как равную, как немку. Она для них — маленькая еврейка. Напрасно она приняла имя Фридерики Антонины, для немцев она осталась навсегда Рахелью. Ей было тяжело признать поражение. «Мне никогда не освободиться от вечно длящегося и самообновляющегося несчастья моего ложного происхождения, — пишет она Паулине Визель. — Эти столь легко произносимые слова подобны смертоносным стрелам, которые поражают меня на протяжении всей жизни. Ничто не позволяет мне уклониться от них — ни способность к размышлению, ни напряжение сил, ни трудолюбие, ни смирение... Когда мне уже кажется, что я королева, оказывается, что я — ничто. Не дочь, не сестра, не любимая, не жена, даже не гражданка. Как унижительно вечно доказывать свою легитимность! Вот отчего так отвратительно быть еврейкой». Ей не хотелось быть *парией*, но чего она достигла своим браком, своим крещением? Ханна Арендт отвечает на этот вопрос однозначно: она стала в глазах света *парвеню* — выскочкой. Эта метаморфоза её унижала, и Рахель в конце концов поняла, что потерпела банкротство.

Людвиг Бёрне, с которым супруги Фарнхаген познакомились в 1819 году и который крайне редко бывает у них (он ведь ярый противник культа

Гёте), в одном всё же вторит Рахели: «Это наваждение! Я испытывал его тысячи раз, и всё же всегда оно переживалось заново. Кто-то попрекает меня за то, что я еврей, а кто-то прощает, другие же превозносят меня; но все постоянно думают об этом. Они точно зачарованы магическим еврейским кругом, и никто не может выбраться наружу».

То ли Рахель окончательно убедилась, что и ей не вырваться за пределы этого круга, то ли по другой причине, но среди гостей её второго салона довольно много евреев. Она жестоко оплакивает утрату бывших друзей. Одних уж нет: принц Луи-Фердинанд, умница, либерал, любитель авантюр, и Александр Марвиц, которому отдана частица её сердца, погибли на поле боя, умерли Унзельман, Фихте. Другие — далеко: навсегда покинули Берлин Бринкманн, Маркетти, Паулина Визель, толстяк Генцц. Ей остались воспоминания и тонкая ниточка переписки. Зато их дом открыт для её братьев, она не держит зла даже на Маркуса. Ей суждено их пережить: коммерсант Маркус умрёт в 1826 году, а литератора Людвига и его красавицу-жену Фридерiku унесёт холера, которая в 1832 году свирепствовала в Берлине.

Частые гости — её племянница Фанни Каспер с мужем, они появляются с тремя маленькими дочками. Дом наполняется шумом и гамом, смехом и весельем. В эти минуты Рахель счастлива. Когда-то она мечтала о ребёнке, но в этом ей тоже было отказано судьбой. Маленькая Элиза (одна из дочерей Фанни) — всеобщая любимица. Даже Фарнхаген обожает ребёнка и в письмах спрашивает: «Как там наша дорогая девочка?» Время от времени они все вместе отправляются на прогулку в лес. Подумать только! Престижный ныне район Шёнеберг в ту пору был лесом. А впрочем, чему удивляться?! На Елисейских полях в Париже тогда тоже разбивали огороды.



У Фарнхагена свой круг знакомых: дипломаты, офицеры, литераторы, журналисты. Бывает у них и знать: граф и графиня Йорк фон Вартенбург, графиня Хенкель с дочерью и сестрой. Нам сегодня более известны имена других гостей: Гегеля, Гумбольдта, Ранке, Грильпарцера. Кстати, Гегель тоже стал жертвой холеры. Рахель принимает всех, но душевных привязанностей у неё немного: в её возрасте трудно заводить новых друзей. У них часто бывает семья Мендельсон-Бартольди, с ними приходит и младшая дочь Моисея Мендельсона Реха. Все вместе они иногда вечерами отправляются на концерты двадцатилетнего Феликса, этой восходящей звезды и надежды музыкальной Германии.

Рахель знакома со всеми, кто задаёт тон в музыкальной жизни Берлина.

Тёплые отношения связала Рахель с большим оригиналом, владельцем ландшафтных парков и садов, заядлым путешественником, князем Пюклер-Мускау и его женой Луизой, которая тоже была много старше мужа и которую он снисходительно именовал «овдой». Несколько раз по приглашению супругов она ездила в их владения в Мускау. Князь почитал в

Рахель родственную душу, гордился тем, что он удостоился знакомства с нею. Себя он представлял учеником Фарнхагена, которому немало был обязан успехом своей первой книги «Записки умершего» (1831–1832). Фарнхаген подготовил её к печати и придумал интригующее название, приведя в надлежащий вид письма, которые князь писал своей «овце» из Англии, и превратив их в путевые зарисовки. Это был модный в ту пору жанр, начало ему в Германии положил Гейне своими «Путевыми картинами». Спустя десять лет поэт «Молодой Германии» Георг Гервег в противовес и в пику князю назовёт свой поэтический сборник «Стихи живого».

Именно князь Пюклер-Мускау познакомил Рахель с Беттиной фон Арним, вдовой известного романтика и сестрой не менее известного романтика фон Брентано. И муж, и брат её были вхожи в первый салон Рахель. Наступил черёд Беттины. В пору их знакомства Беттина была занята подготовкой к изданию книги, которая принесёт ей большую известность — «Переписка Гёте с ребёнком». Этим ребёнком была она сама, а Гёте в далёкую пору их знакомства и переписки было всего 36 лет. Первый из трёх томов «Переписки» появился в 1832 году, он стал как бы прощальным венком их общему с Рахелью кумиру. Да, Рахели было суждено оплакать и смерть Гёте.

Беттина оказалась преданным другом, и её присутствие, её письма скрасили последние годы Рахель. Беттина не боялась идти против течения, она защищала евреев, открыто поддерживала их эмансипацию, тогда как её брат и муж были настроены антиеврейски. Женщин сблизил не только любовь к Гёте, но и интерес к учению Сен-Симона. Беттина была ровесницей Фарнхагена, после смерти Рахели ей ещё доведётся подружиться с младогерманцем Карлом Гуцковым, с Бакуниным, но удивительно, что Рахель на склоне лет, измученная болезнью, не утратила интереса к общественным проблемам современности. Гейне, у которого сохранились письма Рахели, адресованные ему в Париж в 30-е годы, сообщает, что она писала ему и о сен-симонизме, и замечает: «Это самое значительное из всего, что когда-либо выходило из-под её пера».

Генрих Гейне был последней дружеской привязанностью Рахели. Они познакомились в 1821 году в Берлине, куда юноша прибыл, чтобы продолжить юридическое образование. Он чувствовал себя в душе евреем и по приезде в Берлин вступил в «Общество культуры и науки евреев», некоторые члены которого, в частности его близкий друг Мозес Мозер, частенько по вечерам заглядывали к Рахели. Рахель потянулась к молодому поэту всей душой. «Так галерные рабы узнают друг друга», — написала она ему. Рахель жаловалась Гейне на мучительную напряжённость, которую она испытывала в обществе, где никогда не забывали о её еврейском происхождении: «Во Франкфурте в 1816 году я выглядела как индюшка в чужом дворе». Гейне принадлежал к новому поколению и смотрел на ассимиляцию и эмансипацию по-иному. Он не страдал, как она, из-за своего еврейства и откровенно признавался, что принял крещение из желания получить кафедру. Кафедру он так и не получил, но к содеянному относился с вызывающей лёгкостью.

Гейне охотно посещал салон Рахели, он даже назвал дом на *Französische Straße* своим отечеством, но его отношение к салонам было снисходительно-насмешливым. Неискренность, ничтожество под маской значительности — всё это он распознавал мгновенно. Конечно, Рахель была исключением, редкостной женщиной, умом и тактом которой он не переставал восхищаться. Она видела многие его слабости, в первую очередь «отсутствие внутренней серьёзности», но была снисходительной, ибо судила о поэте *по гамбургскому счёту*. Она на правах старшей по-дружески предостерегала его от многих поспешных и неосмотрительных шагов, но при этом понимала, что натуру не изменишь.

Хотя в одном из писем Фарнхагену Гейне шутливо писал, что на его ошейнике выгравирована надпись: «Я принадлежу Рахели Фарнхаген», влюблён он был не в неё, а в жену её брата, прелестную Фридериду. Это было глубокое чувство, судя по тому, что поэт воспел Фридериду в цикле из трёх стихотворений, который он назвал её именем. А Рахель Фарнхаген фон Энзе Гейне посвятил поэтический цикл «Опять на родине», который появился сперва в «Путевых картинах», а затем вошёл в «Книгу песен». Посылая цикл «Опять на родине» берлинскому приятелю Эдуарду Гансу, философу-гегельянцу, регулярно посещавшему салон Рахели, Гейне пишет: «Самое лучшее в этой книге — это предпосланное ей имя г-жи Фарнхаген. Это имя, которое мне так мило, я прибил у входных дверей своей книги, и благодаря ему мне стало уютнее и я почувствовал себя под надёжной охраной».

Гейне признался, что под влиянием Рахели он прочитал «всего Гёте». Её восторженного отношения к Олимпийцу он не разделял, однако написал статью в сборник «Гёте в свидетельствах современников» (1823), который подготовил Фарнхаген. Рецензию Рахели на «Годы странствий Вильгельма Мейстера», опубликованную анонимно, Гейне оценил очень высоко и признался, что их мнения во всём совпали. Его готовность принять участие в войне за Гёте в качестве *вольного стрелка* глубоко тронула Рахель, тем более что это были не пустые слова. Но ещё больше её взволновало другое его обещание, которого она не могла ожидать ни от Марвица, ни от Фарнхагена: «Я буду с энтузиазмом бороться за права евреев и их гражданское равноправие, и в тяжёлые времена, которые неизбежно наступят, немецкая чернь услышит мой голос, эхо которого прогремит в немецких пивных и дворцах». После этого обещания Рахель могла спокойно умереть.

Рахель знала, что Фарнхаген готовит к печати книгу её писем, он делал это с её согласия: «Текст моего старого измученного сердца должен всё же остаться». Спустя четыре года после её смерти Гейне написал: «Эта книга, в которой Рахель раскрывается во всём своём своеобразии, пришла в самое подходящее время, как раз тогда, когда она могла... стать настоящей поддержкой и утешением... Кажется, будто Рахель знала, какая посмертная миссия была ей суждена. Она, правда, думала, что всё станет лучше, и ждала; однако когда это ожидание затянулось бесконечно, она нетерпеливо трянула голову, взглянула на Фарнхагена и вскоре умерла, чтобы вскоре же воскреснуть».

Уход Рахели совпал с концом золотого века немецкой культуры. Однако жизнь в литературных салонах Берлина продолжалась. Друзья и знакомые Рахели теперь чаще собирались в салоне её подруги Дженни Паппенхайм. Вскоре и салон Беттины фон Арним приобрёл известность, до некоторой степени сравнимую со славой, которой некогда пользовался салон Рахель. Но близилась революция 1848 года, а с ней — перемены в общественной жизни Германии. Правда, перемен в отношении к женщинам и евреям ждать предстояло ещё долго. Рахель умирала с надеждой на лучшие времена. Она сама написала себе эпитафию: «Люди добрые! Если вы дождётесь наступления хороших дней, вспомните и обо мне в своей радости!»

ГОЛГОФА ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

*Как вспомню к ночи край родной,
Покою нет душе больной.*

Гейне. «Ночные мысли»

*Он был песнью своей родины
этой ведьмы-златовласки
в проклятие обратившей
родное слово.*

Роза Ауслендер. «Генрих Гейне»

Поговорим о странностях любви! Речь пойдёт об особом чувстве — о привязанности к родине. История мировой поэзии поражает обилием примеров (от Данте до Ахматовой), когда любовь к отечеству становилась проклятием, болью и мукой, оставаясь при этом неиссякаемым источником творчества. «Люблю отчизну я, но странною любовью...» — так сформулировал это Лермонтов (вольный перевод которого из Гейне «Горные вершины...» все мы знаем). У каждого из больших поэтов природа «странной любви» своя. Случай Гейне и вовсе особенный.

«Страдая Германией»

Родившийся и укоренённый в Германии, Гейне полжизни прожил добровольным изгнанником в соседней Франции. Родина была одновременно его счастьем и проклятием. Не начать ли с жалоб «поэтиного сердца»?! Поразительно быстро завоевавший Париж, снискавший расположение французских литераторов и министров, гризеток и принцев крови, революционеров и светских дам, Генрих Гейне тем не менее страдал на чужбине:

Мне воздух Германии нужно вдохнуть,
Иль я погибну, тоскую.

Поэт провёл здесь четверть века (1831–1856), большую часть своей творческой жизни, и дышалось в столице Франции, сказать по правде, куда легче, чем в родном краю. А вот поди ж ты, чувствовал себя изгнанником, тосковал и задыхался без воздуха родины!

Тебя, Германию родную,
Почти в слезах мечта зовёт!
Я в резвой Франции тоскую,
Мне в тягость ветреный народ¹.

¹ Перевод М. Лозинского.

И это пишет человек, снискавший репутацию повесы, ветреника, насмешника, даже циника, а главное — явного французофила! С такой репутацией добиться любви немцев невозможно, а за Гейне числились и другие «грехи» (ведь он был не только евреем, но и прирождённым нарушителем спокойствия), так что его любовь к Германии осталась неразделённой, а потому и несчастной.

О сильной и рационально не объяснимой любви евреев к их немецкому отечеству написано немало, и примеров этой любви не перечесть. Чувство это было искренним, действенным, подобным цветущему и плодоносящему дереву. Нацисты это дерево выкорчевали из немецкой земли с корнем, вместе с евреями. В 1933 году Геббельс направил своего эмиссара к Ремарку в Аскону (Швейцария) с приглашением вернуться в Германию. Ремарк категорически отказался, и визитёр на прощанье спросил, не будет ли он сожалеть о своём решении, не замучает ли его ностальгия вдали от отечества. В ответ он услышал: «Помилуйте, я же не еврей!» Не все способны оценить горькую иронию этого ответа.

Несмотря на то что Гейне больно ранили антисемитизм и тупоумие сограждан (этих «христианско-германских ослов», по выражению Карла Маркса, знаконца Гейне), поэт томился по Германии, был болен ею.

А как Германия относилась к своему сыну, впрочем, не лицемера, лучше сразу сказать — ласынку? По свидетельству современника, журналиста и драматурга фон Мальтица, Гейне как поэт сделался «любимцем нации, единственным, к кому молодёжь не оставалась равнодушной». Ещё бы! Ведь он освободил поэзию одновременно от патетики и туманности, он придал ей лёгкость и изящество, остроумие и шутливость, доходящую до фривольности. Он добился безупречного синтеза лирического и интеллектуального. Однако в глазах тевтономанов перевешивало другое — ненавистное еврейство! Поэтому автор этой работы не может согласиться с мнением Мальтица: любимцем немецкой нации Гейне не стал, более того, он раздражал слишком многих. Его поздней поэзией пренебрегали, а уж Гейне-журналист просто выводил из себя. Не будем перечислять его прижизненных обидчиков — от «французоеда» Менцеля, который называл Гейне «наглым еврейшкой», до Крауса, считавшего «Книгу песен» «опереточной лирикой». Обратимся к нашим дням.

Недавно в Дюссельдорфе прошли торжества: в родном городе широко отмечали юбилей Гейне. Праздник не стал общегерманским, что неудивительно: отношение к поэту в Германии до сих пор неоднозначное. Вальтер Хинк начинает своё эссе «Генрих Гейне, или Противостояние догме» (1982) признанием: «Мы с ним так и не сладили. Ни его современники не смогли справиться, ни потомки». Ему суждено было везде оставаться чужаком, аутсайдером: в Германии он был евреем, во Франции — немцем. Веком позже такое же мучительное состояние будет переживать ещё один гений — Франц Кафка. Впрочем, одинокими и трагическими фигурами предстают в немецкой литературе и Гёльдерлин, и Клейст, и с еврейством это у них не связано.

Сто лет назад оценка Гейне на его родине не была свободна от горечи оскорблённых им когда-то патриотов и фарисеев. Это почувствовал и отметил русский поэт Иннокентий Анненский в юбилейной статье «Генрих Гейне и мы» (1906). И в наши дни писать о Гейне в Германии, по словам известного критика Марселя Райх-Раницки, — дело всё ещё затруднительное и щекотливое. Похоже, соотечественники навсегда обиделись на выходки Гейне против орла Гогенцоллернов и знамени Барбароссы. К злопаметности бюргеров прибавилась ненависть нацистов к поэту-неарийцу. Немцы пели его «*Lorelei*» («Лорелею») и во времена Гитлера, но в песенниках стояло: «слова народные». Ослам ведь не понять, что это высшая похвала для поэта.

В течение двенадцати лет нацистского режима поэт, на чьи слова Роберт Шуман сложил свои песни, именовался «неизвестным». Таковым он остался и для почтенных учёных мужей Дюссельдорфского университета, которые спустя сорок лет после падения Третьего рейха упорно отклоняли предложение дать университету имя Генриха Гейне, хотя всем известно, что Гейне родился в этом городе.

Когда в 1956 году в ФРГ был выпущен сборник Гейне по случаю столетия со дня его смерти, автор предисловия честно признался: читателю предстоит встреча с незнакомцем. Между тем этот «незнакомец» к середине XIX века радикально обновил язык поэзии и прозы, а потому смог совершить то, о чём только мечтали лучшие из его предшественников: он демократизировал немецкую литературу, преодолев разрыв между искусством и действительностью, между поэзией и жизнью. Фридрих Ницше незадолго до кончины писал: «Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки... И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка — в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы».

А ведь еврей Гейне стал не только великим немецким поэтом европейского масштаба, он был и глубоким мыслителем. Если бы до нас не дошли его стихи и поэмы и мы могли бы судить о Гейне только по его прозе, публицистике и письмам, то и этого материала хватило бы, чтобы признать его замечательным умом XIX столетия. Именно эта часть его наследия легла в основу предлагаемого эссе.

Если в нацистской Германии еврейство Гейне служило причиной его отлучения от немецкой поэзии, то в советской России его происхождение стыдливо замалчивали. Вот и Франц Петрович Шиллер, автор не только трёхтомной «Истории зарубежной литературы», но и весьма содержательной монографии о Генрихе Гейне, создававшейся в чёрные для советских евреев годы, смог уделить этому существовавшему моменту в жизни и судьбе поэта всего лишь пять строк. Но кто возьмётся осуждать автора, прошедшего школу и университеты сталинских лагерей и ушедшего из жизни в горькой нужде и одиночестве?

Однако настала пора коснуться табуированной в нашем отечестве темы (в послевоенной Германии об этом выходят интересные работы), ведь

еврейство Гейне — не только страница его биографии, оно в известной мере определило его духовный мир, сказалось на темпераменте и мироощущении, оно породило многие его темы и образы, оно определило даже по-смертное отношение к его наследию в Германии.

Обманутые ожидания

Выдающийся немецкий поэт Генрих Гейне (*Heinrich Heine*) родился в Дюссельдорфе на исходе XVIII столетия, когда на Рейне гремели барабаны и пели боевые трубы генерала Бонапарта, в ту пору первого консула Французской республики. Гейне сам позднее напишет: «Над моей колыбелью играли последние лунные лучи восемнадцатого и первая утренняя заря девятнадцатого столетия».

Мать поэта Бетти Гейне, из богатой семьи потомственных врачей ван Гельдернов, спала и видела своего первенца офицером. Усачи-французы в синих и зелёных мундирах, в ослепительно белых штанах и клеёнчатых киверах, маршировавшие по улицам Дюссельдорфа, принесли с собой свободу и равноправие. Вот почему и простой горожанин, и крестьянин, и даже еврей теперь могли мечтать о генеральских эполетах. В детстве и отрочестве Гарри Гейне дышал воздухом свободы, он чувствовал себя со своими соучениками-христианами на равных, с некоторыми дружил иверял им свои мечты и тайны. Семья не отличалась ортодоксальностью: в доме отмечались и еврейские, и христианские праздники. Эмансипация немецких евреев началась накануне рождения поэта, он принадлежал к поколению, воспитанному вне гетто, и хотя связи с традицией не были окончательно оборваны, не они уже определяли его путь.

Гарри ребёнком ещё не понимал, что значит быть евреем. Узнав, что его дед по отцовской линии был маленьким евреем с большой бородой, он поспешил поделиться удивительной новостью с одноклассниками (он посещал школу при францисканском монастыре). Что тут началось! Мальчишки хохотали, блеяли, хрюкали, лаяли, каркали, прыгали по столам и скамейкам, и учитель, примчавшийся на шум, тут же стал искать зачинщика. Гарри был изобличён: своим сообщением о дедушке он подал повод к этой кутерьме, за что и получил первые в жизни побои. Ранние впечатления детства оставляют, как известно, глубокий след. И сам Гейне признался в «Мемуарах», точнее в небольшом отрывке, который уцелел от рукописи: «Каждый раз, когда в моём присутствии заходила речь о маленьких евреях с большими бородами, у меня по спине пробегал холодок жутких воспоминаний». У него навсегда отпало желание делиться сведениями об опасном дедушке.

Детское воображение будущего поэта больше занимали истории, которые рассказывали старая бабушка и тётушки по материнской линии. Рассказы их напоминали сказки из «Тысячи и одной ночи». Оказывается, его предки в XVII веке пользовались большим почётом при дворе курфюрста и курфюрстины, владели особняками, больницей и даже замком. Старуха

живописала массивную золотую и серебряную посуду, персидские ткани на стенах, хотя к тому времени, как она вышла замуж за врача Готшалка ван Гельдерна, богатство уплыло из рук. Сам Готшалк, дед поэта, получил университетское образование и стал доктором медицины на деньги, вырученные от продажи драгоценностей, которыми был украшен молитвенник его матери. Истории, рассказанные старыми женщинами, можно было бы счесть выдумкой, но сохранилось одно материальное подтверждение, а именно фронтиспис к «Агаде» Ван Гельдернов, относящийся к XVII веку. Ныне он хранится в библиотеке Еврейского религиозного института в далёком Цинциннати (США). Репродукция помещена в книге *«Judentum in Literatur und Kunst» (Köln, 1995)*. Это — прямое свидетельство богатства и высокого культурного уровня предков Гейне.



Дядюшка Гарри, Симон ван Гельдерн, прошедший в иезуитской школе курс гуманитарных наук и пробудивший в мальчугане охоту к литературным опытам, щедро одаривший его книгами, представлялся племяннику *героем староиспанской драмы*, поскольку обладал честнейшим и благороднейшим сердцем и проявлял истинно рыцарское величие. То, что оригинал-дядюшка «вместо блестящего рыцарского плаща носил невзрачный сюртучок с фалдами, напоминавшими точь-в-точь хвост трясогузки», т.е. представлял собой фигуру отнюдь не героическую, а скорее забавную, комическую, ничего не меняло.

Неизгладимое впечатление произвела на мальчика личность его двоюродного деда, которого называли Шевалье, или Восточным человеком. Она открылась ему не только в рассказах и анекдотах, накопленных старыми тётушками, но и через его записную книжку, которую Гарри откопал в пыльных сундуках в чердачной комнате своего дяди. Позже он обнаружит в библиотеке Дюссельдорфа брошюру на французском и английском языках, изданную двоюродным дедом в Лондоне, где тот жил некоторое время. Это была оратория «Моисей на Хориве». В семейных анналах сохранился факт паломничества деда в Иерусалим, где на горе Мориа ему якобы было видение. Впечатлительный мальчик так глубоко погружался в авантюрную жизнь и полную превратностей судьбу своего двоюродного деда — завязатого путешественника, что ему начиналось казаться, что он заново проживает жизнь этого давно умершего человека. Убедительные свидетельства тому Гейне приводит в «Мемуарах», к которым мы и отсылаем читателя.

Приведённые выше сведения о родословной Гейне позволяют судить о высокой степени интеграции семьи в немецкое общество, причём началась она задолго до выступления *маскилим* — еврейских просветителей. Ван Гельдерны гордились происхождением от испанских евреев-сефардов. Родословная предков Гейне брала истоки в далёком Средневековье, развитие рода ван Гельдернов отразило историческую тенденцию: они принад-

лежали к испанским евреям (возможно, среди предков были и насильственно крещёные мараны), которые, уходя от преследования инквизиции, переселялись на север — в Нидерланды, где в Амстердаме возникла одна из крупнейших еврейских общин, а также в северную Германию (Альтону, Гамбург).

Предки Гейне были не только богаты, но и образованны, его мать владела несколькими иностранными языками, в молодости музицировала. Настойчивый интерес Гейне к Испании, к Востоку закономерен. В конце жизненного пути он только усилится. Тогда же придёт Гейне к выводу о том, что «между сменяющимися поколениями существует солидарность», что «каждое поколение — продолжение предшествующих и ответственно за их дела». Осознание этих связей — удел зрелости. Мы же пока вернёмся к его отрочеству и юности.

В октябре 1813 года французы ушли из Дюссельдорфа, а с ними сгинули и честолюбивые надежды Бетти Гейне: некрещёному еврею пути к научной деятельности и государственной службе вновь были заказаны. Доступными оставались только коммерция и финансы. Однако у её Гарри начисто отсутствуют способности к торговле. Что ждёт её мальчика? Образованная и притом практичная женщина остановила свой выбор на юриспруденции. В это время как раз был основан Боннский университет, юридические кафедры которого заняли знаменитейшие профессора. Решение созрело.

Провожая сыновей, которые покидали родной дом, чтобы учиться или работать в других немецких городах, а то и за границей (Гарри учился в Бонне, Гёттингене и Берлине, прежде чем оказался в Париже, Максимилиан стал врачевать в России, Густав осел в Вене), маленькая, хрупкая, но энергичная женщина им наказывала: «Обещайте мне никогда не искать пристанища в мелком государстве, избирайте великие города и великие страны, но везде сохраняйте немецкое сердце, верное немецкому народу». Точно так наставлял Гарри и дядя, гамбургский банкир Соломон Гейне, ссылаясь на авторитет местного раввина, который внушал пастве, что долг сынов Израиля, проживающих в Германии, быть истинными немцами, носителями благородного немецкого духа. Идеи *Хаскалы* торжествовали повсеместно, несмотря на то что после поражения Наполеона в Германии началось наступление на права евреев.

Прусские чиновники быстро навели в городе, да и во всей Пруссии новые (точнее — старые) порядки. Пройдёт несколько лет, и те, кто прежде раболепствовал перед Наполеоном, станут дружно проклинать французскую тиранию. Но поскольку французы недосыгаемы, гнев «истинных германцев» обрушится на евреев. В 1819 году в Гамбурге, куда переехало семейство Самсона Гейне, разразился погром. Хулиганский клич «Хеп! Хеп!» пронёсся по многим германским землям. А в просвещённых кругах нашлись «теоретики» антисемитизма. Профессор истории Берлинского университета Рюс опубликовал брошюру «О претензиях евреев на немецкие гражданские права», в которой настаивал на том, что враги Христовой веры должны быть отделены от всех других граждан: носить особую одежду, жить в особых кварталах. Некто «барон Х» издал памфлет «Зерцало еврей-

ства», в котором предлагал продать возможно больше евреев англичанам для работы на заокеанских плантациях, мотивируя подходящим моментом: английский парламент запретил торговлю чёрными рабами, между тем нужда в рабочей силе увеличилась. Оставшихся в Германии евреев мужского пола барон требовал кастрировать, а женщин и девиц определить в публичные дома. Такое вот решение «еврейского вопроса»!

В 1822 году в Пруссии был частично отменён эдикт 1812 года о гражданских правах евреев, и они вновь лишились возможности преподавать в университетах и школах. Можно только догадываться, сколько унижительных уколов и обид претерпел Гейне, если в письме от 14 апреля 1822 года закадычному другу Христиану Зете, с которым он учился в лицее, а затем встретился на юридическом факультете в Берлине, решился на такие строки: «Я говорю, что не могу быть больше твоим другом, только потому, что всегда был честен и прям с тобой до конца и не хочу тебя обманывать и сейчас. У меня теперь совсем особое настроение, и оно, пожалуй, главная причина всему. Всё немецкое мне отвратительно, а ты, к сожалению, немец. Всё немецкое действует на меня как рвотное. Немецкий язык режет мне ухо. Временами мне противны собственные стихи; я вдруг понимаю, что они написаны по-немецки. ... Я бы никогда не подумал, что животные, именуемые немцами, принадлежат к такой скучной и в то же время к такой коварной породе».

В берлинском Обществе науки и культуры евреев

На волне подобных настроений Гейне вступил в 1822 году в берлинское Общество науки и культуры евреев, во главе которого стояли историк еврейской литературы Леопольд Цунц и блестящий гегельянец, доктор права Эдуард Ганс, создавшие Общество в 1819 году. Гейне познакомился с Гансом в салоне Рахели и Карла Фарнхагенов, где он встретил понимание, где его поэтический талант был признан, где не сомневались в его будущем. В Обществе Гейне приобрёл близкого друга Мозеса Мозера, которого называл живым эпилогом к «Натану Мудрому», и сблизился с Йозефом Леманом, Иоэлем Вольфом (Вольвилем). Все они принадлежали к первому поколению эмансипированных евреев и были при этом, как и сам Гейне, «отчаянными гегельянцами». У Общества имелись филиалы в Гамбурге, Франкфурте и других городах, где проживали евреи. Гейне принял настолько активное участие в работе, что и сам начал вести занятия по немецкому и французскому языкам и по истории Германии, они продолжались всю осень 1822 года. Занятия проходили по утрам и после обеда на квартирах учёных мужей и филантропов, которые поддерживали Общество.

Один из учеников с благодарностью и благоговением вспоминал уроки Гейне. Особенно запомнилось ему, как тот с огромным воодушевлением и неподражаемым поэтическим вдохновением рассказывал о победе Арминия Германца над римскими легионами в Тевтобургском лесу. Его глаза блестели, лицо сияло радостью.

Двадцати лет хватило, чтобы энтузиазм угас. Поэту оказалось не по пути с домашними патриотами, которые во множестве расплодились в Германии. История первой победы германского оружия приобрела в 1844 году под пером Гейне откровенно ироническую окраску. Откройте одиннадцатую главу поэмы «Германия. Зимняя сказка»:

Вот он, наш Тевтобургский лес!
Как Тацит в годы оны
Классическую вспомним топь,
Где Вар сгубил легионы.

Здесь Герман, славный
херусский князь,
Насолил латинской собаке.
Немецкая нация в этом дерьме
Героем вышла из драки.

Когда бы Герман не вырвал в бою
Победы своим блондинам,

Немецкой свободе был бы капут,
И стал бы Рим господином.

.....
Слава Господу! Герман выиграл бой,
И прогнаны чужеземцы,
Вар с легионами отбыл в рай,
А мы по-прежнему немцы.

Немецкие нравы, немецкая речь, —
Другая у нас не пошла бы, —
Осёл — осёл, а не asinus,
А швабы — те же швабы.

Воодушевление уступило место насмешке. Но что осталось прежним — это негативная оценка жалкого положения отечества. В 1822 году он говорил своим ученикам: «Когда я смотрю на карту Германии и вижу эту уйму цветных пятен, меня охватывает настоящий ужас. Напрасно спрашивать себя, кто сегодня управляет Германией». Спустя 22 года он пишет о чудовищном зловонии 36-ти клоак (читай — 36-ти немецких государств). И воспринимает он это положение Германии как свою личную драму.

Пребывание Гейне в Берлине не было очень длительным, он вёл жизнь перелётной птицы, но связи с Обществом продолжались, и они, несомненно, были для него значимы. Молодой Гейне избегал шумных студенческих сборищ, он не стремился в этот круг по многим причинам, не последнюю роль играло опасение услышать в свой адрес пренебрежительное: «Говядина!» Так на студенческом жаргоне называли евреев. Будучи крайне щепетильным в вопросах чести, Гейне не раз дрался с обидчиками на дуэлях. Тем более он дорожил новыми друзьями-интеллектуалами из Общества, с ними на протяжении нескольких лет он состоял в активной переписке. Его письма позволяют судить о том, насколько значима еврейская ипостась Гейне.

Бесправие евреев больно задевало юношу, и он не видел иных перспектив, кроме эмансипации и пробуждения сил в самом еврействе. Фридендера и его команду (преданных последователей отца Хаскалы Мендельсона) Гейне назвал «мозольными операторами», которые «пробовали при помощи кровопускания излечить тело иудаизма от роковых нарывов, его разъедающих». Их попытки улучшить положение евреев путём «европеизации» еврейского богослужения, перевода его на немецкий язык, привнесения в него некоторых элементов католической обрядности кажутся ему несостоятельными. В Гамбурге в 1818 году открылась синагога с реформи-

рованным богослужением, органом, хором и проповедями на немецком языке. Гейне не оставил без внимания это новшество. Иронизирует он и по поводу тех единоверцев, которые хотят «уютенького евангелического христианина под вывеской иудейской фирмы: они шьют себе талес из шерсти агнца Божьего, фуфайку из перьев святого духа и кальсоны из христианской любви; и вот они терпят крах, а их наследники выступают уже под вывеской «Господь Бог, Христос и К^о».

Слабость, пассивность евреев рождает у начинающего поэта горькие чувства. В письме к Вольвилю (от 1 апреля 1823 года) Гейне пишет: «Мы больше не ощущаем в себе сил, чтобы носить длинные бороды, поститься, ненавидеть и из ненависти терпеть; вот источник нашей реформации. ...У меня тоже нет сил носить бороду, чтобы мне вдогонку кричали: "Еврейчик!", нет сил поститься и т.д. У меня даже нет сил как следует есть мацу. Я живу сейчас у еврея (напротив Мозера и Ганса), и получаю вместо хлеба мацу, и ломаю себе об неё зубы. Но я утешаю себя и думаю: "Мы ведь в изгнании"».

Чувство сопричастности к Обществу (он даже поселился рядом с его активистами) заставляет Гейне часто прибегать к этому «мы»: «...Мы, учёные евреи, постепенно совершенствовали немецкий стиль» — это из письма Цунцу. В том же 1823 году в письме Мозеру он признаётся в любви «к нашему праделу». (курсив мой. — Г.И.) В этом же письме содержится интересное признание в сослагательном наклонении: «Если бы я был немцем (но я не немец — смотри многие страницы у Рюса и Фриса), я стал бы...» Сегодня эти имена никому ничего не говорят. За ними — берлинский и йенский профессора-антисемиты, писания которых, по мнению Гейне, настолько опозорили немецкую нацию, что ему стыдно быть к ней причисленным.

Анализируя драму Михаэля Бера «Пария», которую отметил сам Гёте (он написал эссе «Три парии» и поставил пьесу Бера в своём театре в Веймаре в 1824 году), Гейне указывает на сопоставление, лежащее в основе произведения, — сходство индийского парии с евреем — как на главную неудачу автора. «Глупее и вреднее всего — поистине достойна палок — вот какая любопытная идея: пария догадывается, что предки его сами предопределили свою печальную участь, совершив какое-то кровавое злодеяние». Гейне сразу уловил, что это прямой намёк на распятие Христа, это поняли и зрители, а вот то, что парию уличает еврей Бер, это, по мнению Гейне, непростительно. Достаточно, что Церковь уже почти две тысячи лет преследовала евреев под этим предлогом. Подход Бера «не может быть для нас (курсив мой. — Г.И.) безразличным». Опять — «мы», «нас». «Я предпочёл бы, чтобы Михаэль Бер крестился, но зато и судил о христианстве резко, по-альманзоровски (Гейне к этому времени издал свою романтическую драму «Альманзор», в которой еврейская тема присутствовала в завуалированном виде. — Г.И.), вместо того чтобы трусливо щадить его и даже строить ему глазки». Сам Гейне в эту пору намерен с энтузиазмом бороться за права евреев и их гражданское равноправие. «И в тяжкие времена, которые неизбежно наступят, — обещает он, — немецкая чернь услышит мой голос, эхо которого прогремит в немецких пивных и дворцах».

Признаваясь в другом письме Мозесу Мозеру в том, что не является «энтузиастом еврейской религии», «которая первая провозгласила неравноценность людей (Гейне имел в виду объявление евреев богоизбранным народом. — Г.И.), что причиняет нам теперь столько страданий», Гейне в то же время в письме Йозефу Леману (от 26.06.1823) просит приятеля: «Поставьте меня в известность, если где-нибудь найдёте выпады против меня, особенно затрагивающие мою религию».

Отказываясь быть немцем в 1823 году, Гейне тем самым включал себя в еврейский круг. Это отнюдь не означает, что в этом кругу всё устраивает поэта. В его письмах мы находим резкие высказывания о евреях Гамбурга: «жалкая сволочь», «еврейский сброд», «эти еврейские, или, вернее сказать, только во Израиле возможные мерзости». Он чувствует себя среди них белой вороной, чужаком. Из Люнебурга он сообщает Мозеру: «Евреи здесь, как и всюду, — невыносимые торгаши и грязнули, христиане из среднего класса скучны и настроены чрезвычайно антисемитски, высший класс обдаёт теми же свойствами, только в ещё большей степени».

О еврейско-немецком симбиозе



Одиночество мучает Гейне повсюду. Из Гёттингена он пишет другу в июне 1824 года: «Смерть Байрона меня очень потрясла. Он был единственным человеком, в родстве с которым я себя ощущал, и во многом мы, вероятно, были схожи». В другом месте он называет его своим кузенком. В родстве с Байроном чувствовали себя и Пушкин, и Лермонтов, поэтов связывали духовные силовые линии, они жили примерно в одно время, но в разных измерениях, их жизненные дороги никогда не пересеклись.

Двойственность своего положения (еврей — немец) не давала Гейне покоя. В письме Мозеру в конце января 1824 года он, переходя на французский, замечает: «Ведь, собственно, я не немец, как ты, вероятно, знаешь (см. Рюс и Фрис, в ряде мест). Я бы не слишком гордился, если бы и был немцем. Oh, ce sont des barbares!»¹

Однако полтора месяца спустя в письме к Рудольфу Христиани (адвокат и литератор, женившийся на одной из кузин Гейне) молодой поэт признаётся: «Я знаю, что я одно из самых наимемецких животных; я знаю отлично — немецкое для меня то же, что рыбе вода, знаю, что для меня невозможно уйти из этой стихии и что (продолжаю рыбные сравнения) я иссохну, как треска, если (развиваю водную метафору) выпрыгну из вод немецкого патриотизма. По существу, я даже люблю немецкое больше всего на свете, я горд и счастлив тем, что грудь моя — архив немецких чувств, так же как две книги мои — архив немецких песен».

¹ О, эти варвары!

И в одном и в другом случае Гейне не лукавит. С молодых ногтей он ощущал себя немцем и хотел им быть, но довольно скоро уяснил, что это ему заказано. Как ассимилированный еврей он, конечно же, испытывал мучительное раздвоение: его интересовала и влекла еврейская традиция, но пересиливало другое: стремление к немецкой и европейской культуре, которая в XIX веке заменила многим евреям религию. Исаак Дойчер, английский историк-марксист, биограф Троцкого и Сталина, в 1967 году предложил парадоксальное определение — «нееврейский еврей» (Non-Jewish Jew). Его дочь написала об отце: «Он принадлежал, и сам себя считал принадлежащим, к тому типу евреев — не-иудеев, которые трансцендировали иудаизм и преодолели еврейское самосознание ради высших идеалов человечества». Сказанное может быть отнесено и к Гейне.

Безусловно, он стремился к симбиозу еврейско-немецкого и даже подчёркивал близость евреев и народов германской расы. В сочинении «Девушки и женщины Шекспира» (1838) он пишет на эту тему: «Поразительно, какое глубокое сродство существует между евреями и германцами, этими народами — носителями нравственности. Это сходство возникло не по ходу истории, не потому хотя бы, что великая семейная хроника евреев, Библия, служила всему германскому миру воспитательной книгой, а также и не потому, что евреи и германцы были с древнейших времён непримиримыми врагами римлян и, следовательно, естественными союзниками; сродство это коренится глубже, и оба народа в основе своей так походят друг на друга, что древнюю Палестину мы могли бы воспринимать как Германию Востока, между тем как нынешнюю Германию следовало бы считать родиной Священного Писания, землёй, породившей пророков, твердыней чистой духовности».

Проблема некоего германско-еврейского синтеза занимала не только Гейне, но и других евреев Германии. В XX веке о ней станет размышлять Стефан Цвейг, в статье о писателе Якобе Вассермане, авторе книги «Мой путь как немца и еврея» (1922), он пишет: «Вследствие таинственной поллярности напряжённых противоречий стихийная первобытная сила еврейского видения мира оказалась ближе к немецкой, чем к другим нациям, поскольку и евреи, и немцы стремились к общей конечной цели — к некоему морально-метафизическому одухотворению всей жизни; правда, стремились чрезвычайно разными методами, но с единым высшим мировоззрением, в какой-то степени соответствующим знаменательной близости Спинозы и Гёте в конечных точках их духовного состояния».

Основой еврейско-немецкого симбиоза в случае Генриха Гейне является немецкий язык, в котором он ощущал себя, как пловец в своей стихии. В своих «Признаниях» (1854) он отмечал, что Священное Писание стало для евреев диаспоры портативным отечеством, которое они в своих скитаниях повсюду таскали за собой, храня как зеницу ока. Он же вынужден был создать своё «портативное отечество» на базе немецкого языка из жизненных элементов — литературы, философии, истории. «Особое положение евреев в немецком обществе Гейне смог сублимировать и компенсиро-

вать, — как никто до него и лишь единственный после него, а именно Кафка, и обратить на пользу своему творчеству» (М. Райх-Раницки). Через стию слова Гейне смог ощутить и ощущал себя немцем.

Раздвоение личности (даже если это не предмет психиатрии) всегда мучительно. Потому-то Кафка и посочувствовал Гейне: «Несчастный человек. Немцы обвиняли и обвиняют его в еврействе, а ведь он немец, и притом маленький немец, находящийся в конфликте с еврейством. И как раз это и есть типично еврейское в нём». Гейне не стыдился своего происхождения, не отрекался от него. Еврейская самоненависть ему не была свойственна ни в малейшей степени. Даже спустя двадцать лет Гейне будет помнить своих друзей, с которыми он сошёлся в Берлине, и посвятит памяти одного из них сочинение «Людвиг Маркус. Поминальное слово», которое было анонимно напечатано в аугсбургской «Всеобщей газете» (май 1844). Некролог покойному Маркусу, духовному наследнику Мозеса Мендельсона (по странному совпадению Маркус тоже происходил из Дессау и был физически щедедушным и слабым), невольно привёл Гейне к некрологу Обществу. Он отдал дань умершим к этому часу Гансу и Мозеру, с любовью написал о Бен-Давиде и Цунце. Это обо всех них им сказано: «Духовно одарённые и глубоко чувствующие люди пытались спасти с помощью этого общества давно проигранное дело, но самое большее, чего им удалось добиться, это разыскать останки более древних борцов на полях прошлых битв».

Характеристики и оценки вышеназванных членов Общества весьма любопытны, но ещё интереснее и важнее мысли Гейне о необходимости эмансипации евреев: «Да, на эмансипацию всё-таки придётся согласиться рано или поздно, по чувству ли справедливости, по благоразумию или по необходимости. Антипатия к евреям среди высших классов не имеет уже религиозных корней, а среди низших классов она с каждым днём всё больше и больше превращается в социальную ненависть (курсив мой. — Г.И.) к господствующей власти капитала; к эксплуатации бедных богатыми. Юдофобство носит теперь совсем другое название, даже у черни. Что же касается правительства, то они, наконец, добрались до высокочудрой идеи, что государство есть организм и что последний не может быть здоровым до тех пор, пока хоть один-единственный из его членов, будь то хоть мизинец ноги, страдает каким-нибудь недугом. Да, как бы гордо государство ни поднимало свою голову и как бы ни встречало оно открытой грудью всяческие бури, — сердцу, и груди, и даже этой гордой голове всё-таки придётся разделить боль с мизинцем, если он страдает от мозолей; ограничения в правах евреев являются такого рода мозолями на ногах немецкой государственности».

Положение еврейства в Германии продолжало по-прежнему его волновать. Незадолго до смерти Гейне открывает своё авторство «Поминального слова» и дополняет сочинение «Позднейшей заметкой». В марте 1854 года он высказывает глубоко продуманную, можно сказать, выстраданную мысль о том, что еврейский вопрос в Германии — это, прежде всего, немецкий вопрос. Освобождение евреев невозможно без раскрепощения, без

эмансипации самих немцев: «Евреи... лишь тогда будут по-настоящему эмансипированы, когда христиане также полностью добьются эмансипации. *Их дело тождественно делу немецкого народа...*» (курсив мой. — Г.И.) Эти строки звучат настолько актуально (и не только в Германии!), что трудно поверить, будто они написаны 150 лет назад.

Автобиографический подтекст «Бахарахского раввина»

Перед угрозой растущего антисемитизма Гейне счёл правомерным обращение к истории и культуре евреев, установление связи между историческим иудаизмом и современной наукой. Он задумывает и начинает в начале 1824 года писать историческую повесть «Бахарахский раввин», позже он охарактеризует её как «попытку в духе Вальтера Скотта, но на еврейском материале».

Трудясь над повестью, Гейне усердно штудирует материалы, необходимые для воссоздания эпохи, в том числе и работы талантливого Цунца, они для него своего рода эталон. Он хочет внести свой вклад в «общее дело» и радостно предвкушает, что его будущую книгу «Цунцы всех веков назовут *источником*». В письмах Мозеру летом 1824 года он сообщает о том, что много занимается хрониками и еврейской историей, называет многих авторов и признаётся: «Совсем особые чувства овладевают мной, когда я перелистываю эти печальные анналы, богатые поучением и страданием. Сущность еврейской истории всё больше и больше раскрывается передо мной, и это духовное вооружение, конечно, очень пригодится мне впоследствии».

Повесть, однако, осталась незаконченной, значительная её часть, хранившаяся у матери в Гамбурге, сгорела в числе других его бумаг во время страшного пожара в 1833 году. Тем не менее, в 1840 году Гейне публикует сохранившееся начало «Бахарахского раввина» (фрагмент из 40 страниц). То, что Гейне решил публиковать фрагмент в 1840 году, — не случайность. Так он откликнулся на громкое ритуальное дело, получившего название «Дамасского» (1840). Речь шла о кровавом навете, который, как шлейф, тянулся (и ещё тянется!) за евреями. Впервые этот навет возник в немецкой Фулде в начале XIII века и оказался весьма живучим. В начале своей повести Гейне пишет: «...обвинение, которое с давних времён, на протяжении всего Средневековья, до начала прошлого столетия, стоило евреям много крови и страха, была затасканная до тошноты повторявшаяся в хрониках и легендах басня, что евреи похищают освящённые гостии (просфоры — Г.И.) и до тех пор пронзают их ножом, пока не истечёт кровь, а на еврейскую Пасху закалывают христианских детей, дабы употребить их кровь в ночном богослужении».

Взгляд Гейне устремляется к Испании, к золотому веку еврейской культуры в зоне испано-мавританского культурного влияния. Трагические события в жизни немецкого еврейства ассоциируются при этом с историей изгнания или насильственного крещения евреев Испании и Португалии,

временами инквизиции. Произведение явно связано с поиском национальных корней немецкого еврейства и духовных основ собственной родословной. Одновременно эта повесть отражает ту борьбу, которая происходила в душе и сознании поэта. Ведь когда он приступил к её написанию, он уже подумывал о крещении, осуждая при этом себя как дезертира и отступника. Религиозно-этические категории вины и греха получают в повести художественное воплощение.

Главным героем, на что указывает название, является потомственный раввин небольшого прирейнского городка Бахараха рабби Авраам, человек ещё не старый, но прославившийся учёностью. Семь долгих лет изучал он божественный закон в высшей школе Толедо. Действие происходит в XV веке. Завязкой служит страшное происшествие во время пасхального седера (ритуальной семейной трапезы). Бахаракский раввин празднует *Песах* в своём доме в окружении многочисленной родни и учеников. Перед читателем развёртывается настоящая религиозная идиллия. Внезапно появляются два незнакомца в тёмных плащах, назвавшиеся единоверцами. Никто не заподозрил беды. Их усадили за стол на почётное место рядом с Авраамом. И вдруг он случайно замечает под столом у своих ног окровавленный детский труп. Его подбросили незнакомцы. В эпоху Средневековья время от времени такие происшествия случались, и каждый раз — на *Песах*. За такое «преступление» платила жизнью вся община.



Литография
Макса Либермана,
1923

Окаменевший от ужаса раввин понял, что ночью в его доме начнётся резня. Не подав вида, что он заметил труп, Авраам продолжал читать Агаду. Улучив момент перед трапезой, он вышел из комнаты, подав знак жене следовать за ним. Лишь на берегу Рейна он объяснил ей, что им грозит смертельная опасность, заверив её, что их родичей и друзей нечестивцы не тронут, удовлетворяясь грабежом дома. С помощью соседского мальчика-рыбака им удалось уплыть далеко от Бахараха.

Новый день застал беглецов у городских ворот Франкфурта-на-Майне. Когда стражники их впустили, они направились в гетто, обитатели которого по случаю праздника собрались в синагоге. Супруги тоже вошли туда, прекрасная Сарра поднялась в помещение для женщин. Сквозь решётку она благоговейно наблюдала за обрядом выноса Торы, её восхитило пение кантора, правда, болтовня женщин отвлекала её, но всё же она услышала голос своего мужа. Она вслушалась в его молитву, и вдруг до неё дошло, что он поминает многочисленных родственников, в том числе её сестёр, маленьких племянниц и племянника, поминает как невинно убиенных. Силы покинули несчастную.

Тут мы оставим героиню и обратим внимание читателя на негативную нравственную оценку, которое получило в наши дни бегство бахаракского раввина. В 1937 году берлинский литературовед Эрих Лёвенталь в после-

словии к повести указал на «удивительную безответственность, с которой раввин в минуты опасности тайно покидает доверявшую ему общину во имя собственного спасения». Сам Лёвенталь в отличие от рабби Авраама разделил участь своих соплеменников и погиб в Освенциме в 1944 году.

Задумывался ли сам Гейне над этической стороной поступка рабби? В письме к Мозеру (от 01.07.1825 г.), где он подробно пишет о работе над «Раввином», Гейне выражает уверенность, что только он может написать эту книгу и «что создание её — дело нужное и угодное Богу». В этом же письме меня «зацепил» пассаж, где он ведёт речь о разности натур его и... Гёте. Гейне считает, что Гёте по природе лёгкий и жизнерадостный человек, для которого самое высшее — наслаждение жизнью. «Хоть он и чувствует и догадывается, что значит жить ради идеи, он не принимает её глубоко и не живёт ею». Себя Гейне оценивает как энтузиаста, преданного идее до самопожертвования. Однако он хочет быть честным до конца и признаётся: «Но в то же время я понимаю и наслаждение жизнью, я нахожу в нём удовольствие, и тогда во мне возникает великая борьба между моей ясной разумностью, которая ценит жизненные блага и отмечает как глупость всё жертвенное воодушевление, и склонностями мечтателя...» Прервав рассуждения на эту явно волновавшую его тему, Гейне мимоходом замечает: «Да, эту тему ты найдёшь и в «Раввине».

Вот слово и сказано. Не предвещает ли бегство бахаракского раввина будущего дезертирства из иудаизма самого автора? Ведь он принял крещение во время работы над повестью. Сделано это было 28 июня 1825 года — тайно, но с согласия семьи. Мотивировка этого шага была достаточно цинична: через две недели он должен был получить диплом и рассчитывать на должность. Внутренне он испытывал глубокий стыд. Мозеру он пишет откровенно: «Мне было бы очень жаль, если бы моё собственное крещение явилось тебе в благоприятном свете. Я не вижу, чтобы мне полегчало, напротив, с тех пор я ещё больше несчастлив». А потому, когда до него дошли слухи, что Ганс, крестившийся несколькими месяцами ранее, проповедует христианство и всерьёз пытается обратить сынов Израиля в новую веру, он откликнулся на эту новость следующим образом: «Если он это делает по убеждению, то он дурак; если он делает это из лицемерия, то он подлец. Я, конечно, не перестану любить Ганса, но, тем не менее, признаюсь, что мне было бы гораздо приятнее, если бы вместо этой новости я узнал, что Ганс украл серебряные ложки». А над собой он иронизирует: «Я становлюсь теперь истинным христианином, то есть состою паразитом при богатых евреях». Но его шуточки — маска, а под ней человек, переживающий глубокий кризис.

О том, что предпринятый шаг дался Гейне нелегко, говорит и стихотворение «Отступник», которому переводчик В.Зоргенфрей дал название «Отщепенцу», несколько меняющее смысл, ибо речь в нём идёт о ренегатстве.

О, как юность беззаботна!
О, как быстро ты поддался!
Как легко и как охотно
Со Всевышним столкнулся!

Малодушно и бесславно
Ухватился за распятое,
То, которому недавно
Посылал ещё проклятья!
Вот оно — читать запоем!
Шлегель, Галлер, Берк — о, бредни!
Был вчера ещё героем,
А сегодня плут последний!

Стихи были посвящены Гансу, но этот уничтожающий приговор Гейне вынес и самому себе. Ганс, его душа — это то зеркало, заглядывая в которое, поэт узнаёт себя. И он признаётся другу-исповеднику: «Я часто думаю о нём (о Гансе. — Г.И.), потому что о себе самом мне думать не хочется».

Отправляя Мозеру очередное стихотворение, Гейне представляется молодым испанским евреем, «евреем в глубине души, но из высокомерия и заносчивости принявшим крещение». В этой маске легко узнать героя «Бахаракского раввина» — молодого испанца дон Абарбанеля, который появляется на улице Франкфурта во всём великолепии рыцарского одеяния и преграждает путь героям, подступая к прекрасной Сарре с галантными комплиментами.

Вспыхнуло от боли лицо прекрасной еврейки, и ответила она жёстко: «Когда хотите вы стать моим рыцарем, то принуждены будете сразиться с целым народом и в этой борьбе сыщете мало благодарности и ещё меньше чести! И когда вы хотите носить мои цвета, то принуждены будете нашить на свой плащ жёлтые кольца или повязать фату с синими полосами, ибо это мои цвета, цвета моего дома — дома, что зовётся Израиль и весьма страждет и над которым глумятся на улице сыны счастья!»

Гордая речь еврейки-парии разрушила маскарад, и «рыцарь», краснея и запинаясь, признался, что он не хотел оскорбить Израиль, что он сам принадлежит к этому народу, ибо его дед, а возможно, и отец были евреями. Гейне дал герою благородное имя Абарбанель, представив его племянником известного сефардского богослова, дипломата и министра при португальском и испанском дворах. Исаак бен Иегуда Абарбанель (1437–1508) — фигура историческая, он прославился комментариями к Ветхому Завету, после изгнания евреев бежал из Испании в Италию. Известно, что его младший сын принял христианство. О племяннике раввина история умалчивает, Гейне его придумал. Герой этот чрезвычайно важен, ибо является своеобразным *alter ego* автора.

Из дальнейшего выясняется, что рабби Авраам и молодой дон Абарбанель знакомы. Во время учёбы в Испании рабби Аврааму довелось спасти юношу, тонувшего в водах Тахо, после чего они подружились. Теперь между ними происходит показательный разговор. Раввин стыдит молодого мара на за отступничество: «Негоже льву отрекаться от самого себя! Как в таком случае станут поступать звери послабее льва?»

«Не смотри на меня с отвращением, — отвечает молодой испанец. Мой нос не стал отступником. Когда случай завёл меня в обеденное время на эту улицу и хорошо знакомые запахи еврейских кухонь защекотали мои ноздри, тогда овладела мною та самая тоска, которую ощутили наши отцы,

когда вспомнили о горшках с мясом в Египте; вкусные воспоминания юности зашевелились во мне...» Дон Абарбанель приглашает раввина с женой отобедать в «лучшую харчевню Израиля». На этом фрагмент обрывается.

Перечисление вкусовстей еврейской кухни, память о которых сохранилась у Гейне с детских лет, даёт богатую пищу для разговора о запахах еврейства, который неизбежно приведёт нас к Розанову с его «обонятельным и осязательным», к Мандельштаму с его «хаосом иудейским», заставит вспомнить «особенный еврейско-русский воздух» Довида Кнута и Бог знает что ещё: всё, что вмещается в ёмкую формулу — «мускус иудейства». Предмет разговора безумно интересный, но уходит от главного.

Главное же заключается в признаниях Абарбанеля относительно его истинного вероисповедания. В ответ на упреки раввина он отвечает: «Да, я язычник, и равно противны мне как сухие, безотрадные иудеи, так и пасмурные, ищущие мучений назарейне... Да простит мне наша богородица из Сидона, священная Астарта, что я преклоняю колена и молюсь перед многотрадной матерью распятого... Только колена мои и язык мой славят смерть, сердце моё хранит верность жизни!..»

Нужно ли говорить, что перед нами символ веры молодого Гейне. И он не столько перешёл в христианство, сколько крестился в язычество, в «эллинизм». Впервые он заговорил о назарействе как о понятии, не связанном с религией. Оно станет ключевым в его споре с Людвигом Бёрне. А что касается «Бахаракского раввина», то он остался незавершённым, хотя Гейне собирался опубликовать его в 1825 году, включив в один из томов «Путевых картин». Даже на исходе декабря он не отказался от этого намерения, хотя и признался, что «Раввин» опять не отгадывается с места». Однако в 1825 году произошли события, которые привели к фактическому распаду Общества. Интересы, которыми он жил несколько лет, отходят на задний план, потому что работа над «Раввином» застопорилась.

Нетерпение сердца

Крещение не открыло Гейне пути к карьере. Прощение о приёме в Гамбургскую коллегию адвокатов осталось без ответа. Влиятельная родня могла бы помочь. Однако родственники смотрят на него как на позор семьи, считают бездельником и повесой, упрекают в легкомыслии, наущничая богатому дяде, провоцируют ссору, скандал. Как всё это стерпеть, как тут не сорваться?! Материальная зависимость от дяди-банкира тем более оскорбительна, что в этой семье его не принимают всерьёз, и ему это хорошо известно. Обе кузины, вначале Амалия, а затем и Тереза оставят без внимания и тем более без ответа любовное чувство Генриха. Им нравятся его стихи, но замуж каждая пойдёт за солидного человека своего круга, на которого укажет отец. А Гарри достанутся сердечные муки, горечь разочарования, любовная тоска, которые отольются в стихи цикла «Страдания юности». Сердечные раны, полученные в Гамбурге, как это бывает у поэтов, будут долго саднить и не зарубцуются до смерти, свидетельством чему — предсмертные стихи:

В их поцелуях крылся путь к изменам,
От них я пьян был виноградным соком,
Но смертный яд с ним выпил ненароком,
Благодаря кузинам и кузенам¹.

Сердечная боль поэта вызывала отклик не у каждого. По свидетельству Винбарга, одного из членов группы «Молодая Германия», тот круг людей, в котором он вращался, не был в восторге от Гейне. «Его считали там отличным поэтическим жонглёром; особенно сомневались в правдивости его чувств и любовных переживаний, и поэтому успехом пользовалась следующая эпиграмма на него:

Садовника кормит лопата,
Нищего кормит клюка,
А мне приносила дукаты
Любовная тоска»².

Но мы, помимо стихов, располагаем письмами поэта и воспоминаниями тех, кто был Гейне в ту пору близок, а потому судим иначе. Вот письмо Мозесу Мозеру:

«Проклятый Гамбург, 14 декабря 1825 г.

Вот я снова всё начинаю с азов, усталый от бесцельной беготни, чувств, мыслей, а на дворе ночь и туман, чёртова кутерьма, и все, от мала до велика, бегают по лавкам, покупая рождественские подарки... Я же подарю тебе к Рождеству нечто совсем особенное, а именно обещание, что в ближайшее время я не застрелюсь».

В мае 1826-го появился первый том «Путевых картин», куда вошли «Путешествие по Гарцу» и два стихотворных цикла «Опять на родине» и «Северное море». Книга поразила многих непривычным соединением нежности и сарказма. Подобная манера раздражала немецких читателей. Только они расчувствовались, воспарили, как поэт грубо сталкивает их с небес на землю, когда они менее всего этого ожидают. Что за несносная привычка!

Среди стихов первого цикла есть одно, где поэт представляет себя в образе мифического Атланта, принявшего на свои плечи необычный груз — бремя страданий. Стихи эти переводил Александр Блок, но мы приводим перевод В.Гиппиуса:

Атлант я горемычный! Целый мир,
Моих страданий мир, носить я должен!
Ношу невыносимое, и сердце
Готово разорваться.

Много лет спустя Гейне прибегнет к той же поэтической метафоре: «...весь мир надорван по самой середине. А так как сердце поэта — центр мира, то в наше время оно тоже должно самым жалостным образом надорваться. Кто хвалится, что сердце его осталось целым, тот признаётся только в том,

¹ Перевод М. Тарловского.

² Перевод М. Раевского.

что у него прозаичное, далёкое от мира, глухое закоулочное сердце. В моём же сердце прошла великая мировая трещина, и именно поэтому я знаю, что великие боги милостиво отличили меня среди многих других и признали меня достойным мученического назначения поэта». Ещё одна мученица. Марина Цветаева, боготворившая Гейне, справедливо заметила, что этот замечательный образ многое объясняет в нашем душевном строе, ибо великая социальная трещина в XX веке пришлась по сердцам не только поэтов.

Коль названо имя Цветаевой, следует заметить, что даже она в стихотворении «Евреям» (1920), откликаясь на роковые события в революционной России, не устояла против расхожего мнения: в трагедии русских виноваты евреи. Вид почерневших, а ещё недавно горевших золотом куполов Кремля рождает вихрь обвинений: *Попран! — Предан! — Продан!* Простой народ называет преступников-святоотцев: жида! Что же Цветаева? «В братоубийственном угаре» она повторяет это слово. Опомившись, спохватывается: «Но есть один — напрасно имя Гарри / На Генриха переменял!» Гейне — не только любимый поэт Цветаевой, но и символ еврейства. И вся система понятий «евреи», «преступление», «кровь» возникает у неё через и в связи с Гейне. Так рождается финал этого стихотворения:

Ты, гренадеров певший в русском поле,
Ты, тень Наполеонова крыла.
И ты жидом пребудешь мне, докола
Не просят купола!

Комментировать стихи, сверхнеожиданные для традиционного образа Цветаевой, не берусь. Гейне бы не смолчал. Как бы он ответил? Разве что повторил бы: *И ты, Брут?!*

Он ведь и впрямь пел гренадеров в русском поле, и не только в известном одноимённом стихотворении, но и во второй части «Путевых картин» (1827), куда вошла «Книга Ле Гран», в которой, по словам автора, «Наполеон и французская революция изображены во весь рост». Книга наделала много шума и тотчас после выхода была запрещена в Рейнландии, а также в Австрии, Ганновере и Мекленбурге. Вызывающее французофильство и симпатии к Наполеону воспринимались как предательство и измена, как государственное преступление. Они оскорбляли патриотические чувства многих сограждан. Издатель Кампе нервничал, опасаясь новых репрессий. К тому же он ревновал Гейне — и не без оснований — к мюнхенскому издателю — барону Котта.

Котта, просвещённый либерал, издатель Гёте и Шиллера, пригласил Гейне в Мюнхен участвовать в его журнале «Утренний листок» и редактировать «Политические анналы». Он обещал содействие и в получении места, а именно — должности профессора Мюнхенского университета. Однако надежды получить кафедру в Мюнхене были обмануты. Министр фон Шенк тоже ходатайствовал о нём перед королём Людвигом I, но тщетно. И чему удивляться?! Когда этот баварский король, ревностный католик, воздвиг возле Регенсбурга пантеон прославленных деятелей Германии, так на-

зываемую *Валгаллу*, он запретил устанавливать там бюст реформатора Лютера. Станет ли он дарить милостью новоиспечённого протестанта Гейне, тем более что против этого Гейне ополчились баварские клерикалы!

Поэт «раздразнил гусей», сотрудничая в мюнхенских журналах. Он был уверен, что эстетический период (или эпоха Гёте) кончился, что в литературе прослеживаются новые тенденции: «Наше время — время борьбы идей, и журналы — наши крепости». Он ориентировался на либерально мыслящих граждан, но преобладали в обществе совсем иные силы. Они-то и развязали в прессе кампанию против Гейне, обвиняя в богохульстве, издевательстве над дворянством и Церковью.

Следом за клерикалами против «вожака либералов» выступил мюнхенский поэт Август фон Платен с комедией-памфлетом «Романтический Эдип». Гейне не сомневался: за графом Платеном стояли «ночные совы из конгрегации» и «аристократические павлины». Бедный Платен, вздумавший подражать Аристофану в своей комедии, не мог предположить, какой сокрушительный ответный удар ожидал его. Он, никогда не читавший Гейне, не знал его возможностей и пристрастий (Гейне высоко ставил именно Аристофана!) и на свою беду сам подал повод оппоненту использовать средства сатиры, которыми тот владел виртуозно. Гейне в эту пору заканчивал третью часть «Путевых картин» о своём путешествии в Италию — «Луккские воды». В последней главе книги он сквитался с Платеном. Сказать, что он уничтожил незадачливого поэта — недостаточно. Кое-кто из приятелей отвернулся от Гейне, не в силах простить ему эту публичную порку. Даже верный Мозер счёл ответный удар излишне жестоким, и Гейне прервал с ним всякие отношения.

Гейне понимал, что главой о Платене он бесконечно повредил себе общественному мнению, но он просто «обязан был преподавать урок». В письме к Карлу Фарнхагену, одному из немногих, кто не только не осудил Гейне, но и поддержал его, он разъясняет причины своей резкости: «В платеновской истории я не претендую на венец гражданственности, я заботился прежде всего о себе, но источники этой заботы возникли из всеобщей борьбы нашего времени. Когда на меня впервые набросились мюнхенские попы и впервые заговорили обо мне как о еврее, я смеялся, я считал это просто глупостью. Но когда я почувал здесь систему (курсив мой. — Г.И.), когда я увидел, как нелепый призрак постепенно становится грозным вампиром, когда я разглядел цель платеновской сатиры, когда я узнал от книготорговцев о существовании подобной же рукописной продукции, пропитанной тем же ядом и расплзающейся повсюду, я препоясал чресла и ударил со всей силой, со всей быстротой».

Поэт даже не предполагал, сколь глубоко яд антисемитизма поразит сознание немцев, к каким разрушительным последствиям это приведёт, но он отважился говорить о системе, об антисемитской тенденции, опасной не только для евреев, но и для самих немцев. Одурачить апатичного и раболепного Михеля (собирательное имя немцев) не так уж сложно, тем более что «дело народа никогда не встречало широкого сочувствия в Герма-

нии». Тем не менее, он намерен сражаться за это дело, хотя его собственное здоровье (открылось кровохарканье), казалось бы, к борьбе не располагает. Едва оправившись от недуга, он начинает искать приложения своим силам. т.е. официального места в Потсдаме, в Берлине, зондирует почву в Вене, но везде встречает отказ.

Подобно некоторым животным и птицам, способным предчувствовать природные катаклизмы, Гейне полон предощущений грядущей революции. Она и впрямь разразилась в июле 1830-го, но не в Германии, а в соседней Франции. На родине поэта она отозвалась еврейским погромом в Гамбурге, волнениями в Ганновере и землях Брауншвейг, Саксония, Гессен, где возникли представительные учреждения граждан, несколько ограничившие самодержавную власть. Герцог брауншвейгский даже отрёкся от престола. Гейне, однако, подмечает, как «незримо воздвигаются ещё более крепкие непроницаемые тюремные стены вокруг германского народа». Он видит свою задачу в том, чтобы готовить соотечественников к грядущим революционным бурям. Ведь период главенства искусства пришёл к концу. «наступила эпоха энтузиазма и действия». Больше, чем когда-либо, он сосредоточен на публицистике.

Стрелы его обращены в первую очередь против дворянства и Церкви. Заканчивая «Путевые картины», он пишет: «Если в тупо религиозной Германии книга моя сможет способствовать эмансипации чувства от религии, я буду так этому рад, что охотно перенесу все страдания, которые причинят мне вопли святош. Увы! Я ведь переношу и нечто гораздо горшее». Готовность пострадать за Германию не удивительна: ведь Гейне не сомневается в своей принадлежности к немцам. Читая его прозу, то и дело наталкиваешься на выражения: «мы, немцы», «нас, немцев», «нам, немцам» и т.д. Но уже в 1830 году был вынесен вердикт: «Не немец!» А после 1871 года фон Трейчке в своей широко известной «Немецкой истории» написал со всей определённостью: «Медленно, очень медленно мы приходим к пониманию, что остроты Гейне никогда не могли быть полностью созвучны взглядам немцев. Прошло много времени, прежде чем люди осознали, что *esprit*¹ Гейне — далеко не *Geist*² в немецком смысле». Трейчке писал, немцы читали, и, как заметил Ницше, никому не было стыдно, а Гейне уже не мог ответить.

В начале 1831 года Гейне издаёт со своим предисловием брошюру «Кальдорф о дворянстве в письмах к графу М. фон Мольтке». Первая строка предисловия сразу вводит в тему: «Гальский петух прокричал теперь во второй раз, и в Германии тоже рассвело». В то время как французы занимались реальными делами, «мы грезили на наш немецкий лад, — продолжает Гейне, — то есть мы философствовали». Немцы и впрямь совершили революцию в философии. Гейне расскажет об этом в книге «К истории религии и философии в Германии» (1835), пока же он даёт сжатую оценку: «Вся наша немецкая философия есть не что иное, как сновидение французской революции». Однако эпоха философствования завершена, немцам те

¹ Дух (фр.).

² Дух (нем.)

перь предстоит перейти к политике, и сразу встаёт вопрос, насколько они готовы к этому. Характер революции, по мнению Гейне, всегда обусловлен нравственным состоянием народа и особенно его политическим развитием, а развитие это зависит от свободы печати.

В каком плачевном состоянии находилась свобода печати в Германии, можно судить по тому, что в январе 1831 года был издан приказ Прусского управления полиции о конфискации четвёртого тома «Путевых картин». Вышеназванная брошюра тоже была немедленно запрещена, поскольку она оспаривала правовые притязания дворянства. Но главной причиной запрета послужили 14 страниц предисловия. Властям достаточно было и одного абзаца: «Гражданское равенство» могло бы быть теперь в Германии, так же как некогда во Франции, первым лозунгом революции, — писал Гейне, — и кто любит отечество, тот, конечно, не должен медлить, если желает поспособствовать тому, чтобы спорный вопрос о дворянстве был улажен или решён посредством спокойного обсуждения, раньше чем вмешаются неуклюжие диспутанты со слишком решительными доказательствами, с которыми не смогут сразиться ни цепкие силлогизмы полиции, ни самые меткие доводы пехоты и кавалерии, ни даже *ultima ratio regis*¹, который легко может превратиться в *ratio ultimi regis*²».

Легко сказать: кто любит отечество, не должен медлить! Казалось бы, либерализм в Германии сразу после июльской революции неожиданно приобрёл множество сторонников, но новоявленные глашатаи свободы не шли дальше повторения изрядно затрёпанных истин, а с приходом из Польши вестей о разгроме повстанцев доморожденные либералы и вовсе притихли. Но ведь «у нас в Германии ничто не делается быстро», — иронизирует Гейне. Черепаший шаг выводит его из себя: «Я всё-таки не похож на настоящего немца!». Остаётся одно: уехать во Францию и пытаться оттуда воздействовать на ход событий на родине. Нетерпение сердца толкнуло его на отъезд. Покидая Германию, он признался, что его «тошнит от берлинских либеральных Тартюфов». Разве такое прощают? Недоброжелателей у Гейне прибавилось.

Отъезд во Францию был для поэта единственным выходом. «Мне оставался выбор между безоговорочной капитуляцией и пожизненной борьбой, — писал он Фарнхагену из Парижа в 1833 году. — Я выбрал последнюю, и, право же, не по легкомыслию. Взяться за оружие меня давным-давно принудило издевательство недругов, наглость чванных аристократов. Маршрут всей моей жизни лежал уже в моей колыбели». Эмиграция не стала для него тихой гаванью.

Один против всех

В Париже, в этой столице XIX столетия, как позже назовёт его Вальтер Беньямин, Гейне внимательно следил за борьбой политических партий, но сам не примкнул ни к одной, партийный фанатизм был ему глубоко чужд. На первых порах он посещал собрания сен-симонистов, о которых ему вос-

¹ Последний довод короля (лат.).

² Довод последнего короля (лат.).

торженно писала его берлинская приятельница Рахель Фарнхаген, бывал он и на собраниях французских республиканцев и немецких радикалов. Партия радикалов во главе с Бёрне тщетно пыталась вовлечь Гейне в свои ряды, он уклонялся: догматизм в сочетании с пафосом начётчиков он чуял за версту, политическое резонёрство его бесило. У сен-симонистов он хотя бы не слышал высокопарных, напыщенных речей. Но и последователи Сен-Симона не избавляли от сомнений, от недоверия к миру и к себе самому.

Немецких эмигрантов Гейне сторонился, подозревая некоторых — и не без оснований — в том, что они приставлены шпионить за ним и доносить: «Германия, старая медведица, напустила в Париж всех своих блох, и меня, несчастного, они совсем заели». Тем не менее, почти ежедневно захаживал он в немецкую книжную лавку «Гейделоф и Кампе» на улице Вивьенн, где встречался с немецкими литераторами, художниками, учёными, журналистами — эмигрантами и приезжими. Тут бывали его старые знакомые: поэт Михаэль Бер, композитор Феликс Мендельсон, барон Мальтиц. Здесь познакомился он с Александром фон Гумбольдтом, князем Пюклер-Мускау, которому он посвятит свою книгу «Лютеция». Здесь можно было почитать немецкие газеты (он с нетерпением ждал очередного номера аугсбургской «Всеобщей газеты» со своими корреспонденциями о политической и культурной жизни Франции), полистать книгоновинки, среди них были и его собственные.

Правда, в 1832 году «аугсбургская кумушка» (так Маркс аттестовал «Всеобщую газету») отказалась от корреспонденций Гейне, уступив требованиям фон Гентца, всесильного секретаря князя Меттерниха, прекратить публикацию статей этого «чудовища». Но «чудовище» исхитрилось донести до сограждан свою правду о французской жизни иным способом: в конце 1832 года Кампе издал корреспонденции Гейне отдельной книгой, которая называлась «Французские дела». Через год вышел первый том «Салона» со статьями о французских художниках, второй том вышел в 1835 году, туда вошла известная работа «К истории религии и философии в Германии». В том же году опубликованы очерки немецкой литературы. блестящий памфлет под названием «Романтическая школа».

«Я отошёл от злободневной политики, — писал Гейне Фарнхагену, — и занимаюсь теперь главным образом искусством, религией и философией». Но с какой страстью он ими занимается! В каждой строке бьётся сердце борца. Последние два сочинения — это живые документы литературно-общественной борьбы. Впервые эти работы были опубликованы в Париже и адресованы французам, в Германии они появятся позднее.

Он первым «выболтал тайны» немецкой классической философии, показав, что за её схоластическими формулами и тёмными словами скрываются прогрессивные, революционные идеи, имеющие колоссальное значение для развития человеческого общества. Историю немецкой философии он сопоставил с политической историей Франции: «...Кант был нашим Робеспьером... За ним пришёл Фихте со своим «Я», этот Наполеон философии... Мы пережили восстания в духовном мире, как вы — в материальном, и при ниспровержении старого догматизма мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии».

Достаточно прочесть один абзац из «Романтической школы», чтобы понять, почему этого «романтика-расстригу» ненавидели «тевтономаны» и доморощенные патриоты: «Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем всё, что нам приказывают наши государи. Под этим патриотизмом, однако, не надо понимать чувство, носящее то же имя здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается в том, что сердце его согревается, от этого нагревания расширяется, раскрывается... Патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его сужается, что оно стягивается, как кожа на морозе, что он начинает ненавидеть всё чужеземное и уже не хочет быть ни гражданином мира, ни европейцем, а только ограниченным немцем». Гейне стоял на том, что восприимчивость к общечеловеческому — признак не слабости, а, напротив, внутренней жизненной полноты и силы. Укоренённость в родной почве ведёт к расцвету духовной жизни, а широта человеческого духа делает его готовым к восприятию всего общечеловеческого. Гейне мыслил как европеец.

Когда Гейне писал «Романтическую школу», большинство её деятелей ещё были живы, потому его саркастические портреты некоторых из них, его предостережения против апологии Средневековья и политической опасности заигрывания романтиков с католицизмом и апологии Средневековья имели такие же последствия, как если бы он стал ворочать палкой в осином гнезде. Жалящих укусов было не счесть.

Каждое очередное сочинение Гейне становилось событием и бурно обсуждалось на родине. Стражам порядка в Германии они представлялись опасными. В письме к французскому критику и историку литературы Филарету Шалю от 15.01.1835 года он признаётся: «Вот уже двенадцать лет, как в Германии спорят обо мне; меня либо хвалят, либо бранят, но то и другое — страстно и непрестанно. Там меня любят, ненавидят, превозносят, ругают».

Гейне писал не только для соотечественников о Франции, но и для французов о Германии. Как сказали бы ныне, он *наводил мосты*. Одну из книг, вышедших в Париже, он так и назвал «О Германии». Ещё недавно во Франции пользовалась известностью книга Жермены де Сталь под таким же названием. Гейне сознательно бросил вызов французской писательнице, справедливо полагая, что она, путешествуя по Германии, не увидела главного. Она навязала французам свои субъективные представления о германском духе и характере, о немецком романтизме, представления поверхностные и искажающие истинную картину. Он же предложил взгляд изнутри.

Гейне посвятил свою книгу знакомому сен-симонисту Анфантену. Старый утопист был благодарен, но книга его не удовлетворила. Он считал, что задача состоит не в том, чтобы рассказать одному народу о другом, но в том, чтобы соединить «все народы в единую семью». Когда-то Шиллер мечтал о том же. «Обнимитесь, миллионы!» — взывал он в «Оде к радости». Гейне уже убедился в несбыточности и иллюзорности подобных надежд. Подумать только, ещё три года назад он слушал сен-симонистов как провозвестников истины, способной спасти человечество!

Разошёлся Гейне, как уже было сказано, и с немецкими якобинцами, вождём которых стал Людвиг Бёрне. Вождь был настроен сверхрадикально, его кумиром был Марат. Сын франкфуртского банкира, учившийся вначале медицине, Бёрне стал известным журналистом. Как и Гейне, он принял крещение. Как и Гейне, покинул Германию и умер в Париже. Бёрне считался лидером и идеологом демократического литературного течения «Молодая Германия», которое заявило о себе к началу 1830-х годов. К младогерманцам примыкали Гуцков, Лаубе, Мундт, Винбарг. А что же Гейне? Он пишет со всей определённой: «С «Молодой Германией» в целом я никак не связан; слышал, что они поместили моё имя среди сотрудников своего нового «Обозрения», на что я никогда не давал согласия. Но молодые люди, конечно, будут иметь во мне крепкую поддержку».

В письме Генриху Лаубе (от 23 ноября 1835 г.) Гейне идёт дальше: «Заклинаю вас всем, что вы любите, если и не встать в войну, которую сейчас ведёт «Молодая Германия», на её сторону, то соблюдать, по крайней мере, по отношению к ней весьма *благоприятствующий* нейтралитет и ни единым словом не задевать молодёжи». Молодёжь эта по отношению к Гейне поведёт себя не лучшим образом, и время это не за горами. Бёрне вначале старался завербовать Гейне в свои ряды, но дружба автора «Книги песен» с французскими писателями и общественными деятелями, его корреспонденции о Франции в немецкой прессе вызвали недовольство Бёрне. Он начал плести против поэта «якобинские интриги», преданные ему эмигранты обвиняли Гейне в легкомыслии, беспринципности и соглашательстве с прусскими властями. Гейне хранил гордое молчание, чем ещё больше разъярял «маленького назаря».

Крайнее неудовольствие младогерманцев вызвали циклы стихотворений, которые Гейне назвал женскими именами — «Серафина», «Анжелика», «Диана», «Гортензия», «Кларисса», «Катарина». Да, они, младогерманцы, считавшие себя великими реформаторами этики, заимствовали у сен-симонистов учение о «третьем завете», который якобы придёт на смену Ветхому и Новому и оправдает и дух, и плоть человеческую. Но ведь этот Гейне доводит «эмансипацию плоти» до настоящего эротизма! Да это настоящий разгул чувственности! Вы только послушайте его «Песнь песней»!

Женское тело — это стихи,
Они написаны Богом,
Он в родословную книгу земли
Вписал их в веселии многом.

Воистину тело женщины — песнь,
Высокая Песнь песней;
Строфы — стройные члены его,
И нет этих строф чудесней.

.....
Распуколки розовые грудей
Отточены, как эпиграмма,

И несказанна цезура та,
Что делит груди прямо.

Плавные бёдра выдают
Пластика-маэстро;
Вводный период,
 закрытый листком, —
Тоже прекрасное место.

.....
И погрузиться, о Боже, хочу
В великолепье стихов я;
И изучать поэму твою
И день и ночь готов я!

Что это, если не кощунство?! И может ли уважающий себя немец, отец семейства промолчать, закрыть глаза, пройти мимо?! И вот уже реформатор Карл Гуцков пишет Гейне увещательное письмо (от 6 августа 1938 г.), где предупреждает поэта, что этими стихами он погубит свою репутацию у немцев: «Ваше *настоящее* будет уничтожено, — будущего, разумеется, у вас отнимать нельзя ради вашего *прошлого*». Своё «дружеское послание» Гуцков вскоре опубликовал в газете Кампе «Телеграф», движимый противоречивыми желаниями: отмежеваться от распутника и в то же время спасти его из бездны греха, но главное — воспрепятствовать публикации стихов на родине.

Романтик позднего призыва Эрнст Теодор Амадей Гофман (он умер как раз (тогда), когда юный Гейне появился в Берлине) поделил человечество на истинных музыкантов и просто хороших людей, разумея под последними — обывателей. Гейне же пришел к другому выводу: «Все люди — иудеи или эллины; или это люди с аскетическими, иконоборческими, спиритуалистическими задатками, или же это люди жизнерадостные, горящиеся способностью к прогрессу, реалисты по своей природе». В поединке между назарейским (читай — иудео-христианским) спиритуализмом и жизненной радостью эллинов Гейне и Бёрне оказались по разную сторону баррикады. Неистребимая антипатия Бёрне к Олимпийцу Гёте и эллину Гейне проистекала именно из его назарейского духа.

Имена Гейне и Бёрне настолько часто звучали в одном ряду, что их стали считать чуть ли не единомышленниками. Один из гонителей Гейне, некто Эдуард Майер, объединив его с Бёрне, писал ещё в 1831 году: «Крещёные или нет — всё едино. Мы ненавидим не еврейскую религию, но множество отвратительных особенностей характера этих азиатов, и среди прочего — их обычную наглость и самонадеянность, их безнравственность и легкомыслие, их крикливую манеру вести себя и столь низменный подход к жизни». Здесь уже пахнет расовым подходом.

В 1835 году общегерманский Союзный сейм поддержал поход, начатый против «младогерманцев» Пруссией. Кампанию развязал националист

¹ Перевод Ю. Тынянова.

Вольфганг Менцель, который в своих писаниях объявил о существовании опасного тайного общества, именуемого «Молодая Германия», заражённого якобы еврейским духом, а затем произвёл Гейне, наряду с Бёрне, в главари этого союза. Когда сейм запретил издание и распространение произведений «младогерманцев», первым в проскрипционном списке оказалось имя Генриха Гейне. Даже ещё не написанные им сочинения подлежали запрету (случай небывалый!). Напрасно Гейне письменно обращался в сейм и даже поместил в аутбургской «Всеобщей газете» «Разъяснение», ответа он не дождался. В глазах защитников порядка и религии Гейне и Бёрне представлялись главами единой шайки крамольников. Демократическая оппозиция также ставила их имена рядом. Кое-кто из общих знакомых считал их разногласия печальными недоразумениями, едва ли не разномыслием близких друзей.



Людвиг Бёрне.
Мориц Оппенгейм

На самом деле ни о дружбе, ни о единстве не могло быть и речи. Действительно, их и впрямь роднили сходство немецко-еврейских судеб, талант публицистов, любовь-вражда к отечеству, ненависть и презрение к глашатаям «старогерманства», проклинавшим евреев и французов, социалистов и либералов. Но Гейне и Бёрне были несовместимыми противниками, ибо расходились в главном: в их отношении к жизни, во взглядах на историю общества, на любовь, на искусство, на стихи и на людей. Их разность укладывается в известную поэтическую формулу: «Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой». Блестящий искромётный талант Гейне сам по себе раздражал и провоцировал менее одарённого соперника. Чем демонстративнее Гейне игнорировал Бёрне, тем сильнее этот доктринёр, фанатик гильотины ненавидел поэта. Смерть Бёрне не покончила с этой враждой.

В 1840 году, через три года после смерти своего оппонента, Гейне выпустил книгу «Людвиг Бёрне», которая вызвала настоящую бурю. В своё время в связи с выходом в Париже книги «Французские дела» он жаловался на то, что в него вцепились и умеренные, и прусские шпионы, и католическая монархическая партия: «Вы представления не имеете, какой сейчас шум и гром вокруг меня». Но этот шум и гром не шёл ни в какое сравнение с тем скандалом, какой разразился после выхода книги о Бёрне. Гейне и впрямь умел наживать врагов.

Он не старался свести счёты с умершим или оправдать себя, тут действовали не мелкие чувства, но бескорыстная вражда. Гейне дал объективную оценку Бёрне как представителю породы радикалов, олицетворением которой был в его глазах Робеспьер. Поскольку он хотел писать без гнева, он и начал с признания: «Бёрне был патриот от головы до пят, и Германия была его безраздельной любовью. Да, этот человек был великий патриот, пожа-

луй, величайший, всосавший с молоком мачехи-Германии и самую жгучую жизнь, и самую горькую смерть!.. Жизнь вдали от отечества стала для него настоящей пыткой, и не одно злое слово в его произведениях было вызвано этой мукой. Кто не знал изгнания, тот не поймёт, как ярко оно окрашивает наши муки и какой яд, какую тьму оно вливает в наши мысли». Он писал о Бёрне, но сам мучился этой любовью к мачехе-Германии.

Щедро цитируя уничижительные высказывания Бёрне в свой адрес, Гейне отнюдь не хотел доказать правомерность своего ответного удара. Если бы всё сводилось к личной неприязни, книга эта не появилась бы. Суть её была куда более значительной, чем сведение счётов. Книга эта стала, как пишет Лев Копелев в своей книге о Гейне, «защитой поэзии, искусства и человеческой личности от посягательств доктринёров и фанатиков».

Со свойственной гениям пронизательностью Гейне углядел опасность в случае победы демократических радикалов, одержимых уравнилельными идеями, этих «пещерных санкюлотов»: «Придут радикалы и пропишут радикальное лечение, которое в конце концов производит только наружное действие, в лучшем случае уничтожает струпья на теле общества, но не внутреннюю гнилость... Вся унаследованная радость, вся прелесть, всё благоухание цветов, вся поэзия будут выкачаны из жизни, и не останется в ней ничего, кроме похлёбки утилитаризма».

Те из нас, кто ею досыта нахлебался в стране Советов, наблюдали, как торжествующая посредственность, нисколько ею не тяготясь, уничтожала всякое высшее дарование или норвила свести его до общего пошлого уровня. Потому-то мы способны понять Гейне и разделить его тревожные мысли, но его современники-соотечественники оказались к тому не готовы. Они уличали его в аристократическом снобизме. Нашего Пушкина тоже, кстати, попрекали аристократизмом.

Постоянный издатель Юлиус Кампе, торопивший с выходом книги и без согласия автора давший ей название «Генрих Гейне о Людвиге Бёрне», что звучало нескромно и усугубило негативную реакцию, теперь писал в полной растерянности: «Германии и немцам вы стали чужим, не знаете больше их убеждений, не знаете настроений Михеля! Берегитесь! Иначе популярность ваша пойдёт к чёрту окончательно. В Бёрне все уже видят не писателя, а мученика за германскую свободу, и он имеет шансы попасть в святые. ... Даже бывшие политические враги Бёрне перебежали к нему. Они почитают и уважают его честный, прямой и твёрдый характер. Я и сам так поступлю, и так делает каждый! Каждый!»

Ох уж этот *характер!* Именно Бёрне пустил в оборот противопоставление: у Гейне, дескать, есть талант, но он лишён характера. Гейне язвит по этому поводу: «Завистливая бездарность после тысячелетних усилий наша наконец могучее оружие против дерзости гения: она открыла антитезу таланта и характера... Пустая голова получила право ссылаться на переполненное сердце, и благонаравие стало козырной картой». А ведь характер может быть всяким. Кстати, Ницше в своей книге «По ту сторону добра и зла» утверждал, что философ как раз «имеет право на „дурной характер“». Что касается характера Гейне, то оценка Ницше представляется необычай-

но пронизательной: «Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства, — я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим их бог от сатира». Мишенью сатиры Гейне стали не только Людвиг Бёрне и его компания, но все немецкие филистеры. А такое не прощают.

Гейне сознавал, что навредил себе в общественном мнении ещё больше, чем во времена полемики с Платеном, но не раскаивался. Он остался в одиночестве, зато обрёл свободу: он перешагнул через эмигрантские и отечественные склоки политиканов, отринул укоры, сплетни интриганов, порвал мнимые связи с мнимыми единомышленниками. Единственный положительный отклик на его книгу появился в «Бреславльской газете», его автором был Фердинанд Лассаль, в ту пору шестнадцатилетний гимназист. В начале XX века Томас Манн признавался, что «Людвиг Бёрне» — его самое любимое произведение Гейне, содержание книги он оценил как всемирно-историческое, а её язык — как гениальнейший образец немецкой прозы. Но Гейне этого не услышал. Полагаю, немцы в своём большинстве — тоже.

«Привязанность к делу человечества»

Семь лет Гейне отдал прозе, публицистике. С 1840 года «Аугсбургская газета» возобновила публикацию его корреспонденций из Парижа, приостановленную в 1832 году. Цензура кромсала и «исправляла» текст, но всё равно они были важным источником, из которого читающая Германия могла узнать о политической и культурной жизни соседей. Гейне верно оценил суть происходящего во Франции после 1830 года: власть была в руках финансовой аристократии. Некоторых её представителей — Ротшильда, Фульда — он знал лично, мог кое-что и порассказать о них. Гейне объективно характеризовал новый режим с его частой сменой правительств и парламентской грызнёй, писал о соперничестве Гизо и Тьера, видных политических деятелей при короле-буржуа Луи-Филиппе, сочувственно высказывался о парижском пролетариате. Позже, возвратясь к этим корреспонденциям, он напишет: «Тот, кто уловит дух моих слов, всюду увидит строжайшее единство мысли и неизменную привязанность к делу человечества, к демократическим идеям революции».

В начале 40-х годов, не оставляя публицистику, он возвращается к поэзии. Теперь она приобретает гражданственно-политический характер, но не пафосно-торжественный, а задиристо-сатирический. Как пишет Гордон Крейг в своей книге «Немцы», «Гейне оказался сатириком среди людей, которые с трудом переваривали сатиру и ждали от литературы серьёзного подхода и почтения к явлениям, достойным уважения». Так что он опять не удовлетворил запросы немецкой публики, более того — раздражил быка.

В поэме «Атта Троль» (1842), в этом комическом эпосе, а точнее — аристофановской сатире, кипят нешуточные политические страсти. Герой поэмы — сбежавший от хозяина мятежный медведь Атта Троль. В его призывах к «справедливости звериной», к единенью и равенству «без раз-

личья веры, запаха и шкуры», угадываются программные лозунги недругов Гейне. Это тевтономаны с их тупостью, мелкобуржуазные радикалы с их уравнительными тенденциями и «назарейством», «тенденциозные» поэты начала 40-х годов с их бесплодным пафосом и напыщенностью. Националистические и псевдорадикальные черты Атта Тролля ярче всего выражены в надгробной надписи на памятнике герою:

Тролле. Медведь тенденциозный,
Пылк, нравственен и смирен, —
Развращённый духом века,
Был пещерным санколотом.

Плохо танцевал, но доблесть
Гордо нёс в груди косматой.
Иногда зело вонял он, —
Не талант, зато характер¹.

Как говорится, комментарии излишни. Беснование оппонентов обеспечено надолго.

Что двигало Гейне, когда он писал знаменитую поэму «Германия. Зимняя сказка» (1844) или «Современные стихотворения» (1840–1850)? Ответ можно найти в его письме: «Великое пристрастие к Германии гложет моё сердце, и пристрастие это неизлечимо». «Для Гейне, — писал Иннокентий Анненский в статье «Генрих Гейне и мы» (1906), — любовь к родине была не любовью даже, а тоской, физической потребностью, нет, этого мало: она была для него острой и жгучей болью, которую человек выдаёт только сквозь слёзы и сердится при этом на себя за малодушие».

Лирическое начало в поэме слетается с обличительно-сатирическим. Будучи виртуозом полемики, Гейне сражается с открытым забралом, не щадит многочисленных врагов (и не только их). Не заботясь о такте и тактике, он отпускает дурашливые шуточки и злобные остроты, дешёвые колкости и едкие намёки, язвительные насмешки, прибегая при этом к образам из области «телесного низа» (вплоть до импотенции и поноса). В ответ его недруги назвали поэта: «пачкун родного гнезда» (столетием позже, после выхода романа «Жестяной барабан», это определение соотечественники закрепят за Гюнтером Грассом). Историк фон Трейчке так оценил «Германию. Зимнюю сказку»: «Данная поэма, самое блестящее и характерное произведение, вышедшее из-под пера Гейне, показывает немцам, чем они отличаются от этого еврея. У арийских народов есть свои Терситы и Локи, но такой персонаж, как Хам, открывающий наготу собственного отца, известен лишь еврейской саге».

Страстное желание реформировать раздробленную полуфеодалную Германию толкало Гейне на путь открытой борьбы с юнкерско-бюрократическим государством. «Я советую вступить в открытую войну с Пруссией не

¹ Перевод В. Левика.

на жизнь, а на смерть. Добром здесь ничего не добьёшься», — писал он Кампе в 1842 году. Он резко меняет тональность своей лирики. Обращаясь к согражданам, он пишет:

Из-за того, что я владею
Искусством петь, светить, блистать,
Вы думали — я не умею
Грозющим громом грохотать¹.

Знакомство и частые контакты с молодыми Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, общение с давним знакомцем Мозесом Гессом, соредактором «Рейнской газеты», сказались на политических и социальных симпатиях Гейне и на характере его поэзии 1840-х годов, на критическом пафосе и историческом оптимизме поэмы «Германия». В немецкой газете «Форвертс», издававшейся в Париже, в которой Маркс после закрытия «Рейнской газеты» стал задавать тон, публикует Гейне большую часть стихотворений 1844 года, в том числе и «Доктрину»:

Возьми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии всей!

Сильнее стучи, и тревогой
Ты спящих от сна пробуди!
Вот смысл глубочайший искусства...
А сам маршируй впереди!²

Пробудить сонного Михеля нелегко, но Гейне не отступает: «Я — меч, я — пламя!» Он клянётся биться за будущее Германии в первых рядах. Его стихотворение «Силезские ткачи», опубликованное в «Форвертсе», распространяется в листовках.

Проклятье отечеству, родине лживой,
Где лишь позор и низость счастливы.

.....
Германия старая, ткём саван твой,
Тройное проклятье ведём канвой.
Мы ткём! Мы ткём!³

Прусский посол в Париже потребовал закрытия газеты, которая ведёт пропаганду в пользу политического переворота в Германии. Из Франции были изгнаны Маркс и все сотрудники «Форвертса». Тронуть Гейне Гизо не решился, опасаясь бури негодования французской общественности. К этому времени Гейне пользовался европейской известностью, в числе его друзей были Бальзак, Жорж Санд, Готье, Александр Дюма, Беранже, Жерар де

¹ Перевод С.Маршака.

² Перевод А.Плещеева.

³ Перевод В.Клюевой.

Нерваль, Шопен, историк Минье. Посвящая Гейне повесть «Принц богемы», Бальзак подчеркнул заслуги собрата-художника, который «в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии — живую и остроумную французскую критику».

В родной же Германии гений Гейне редко встречал понимание и восхищение, чаще — нападки и упрёки. Ему не прощали добродушного презрения, с каким он писал о немецкой филистерской породе. Ура-патриотов бесили его подтрунивания:

Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
А мы — воздушным царством мечты,
Там наш престиж беспспорен¹.

Зная это, Гейне в предисловии ко второму изданию «Германии» обратился к своим обидчикам: «Успокойтесь. Я люблю отечество не меньше, чем вы. Из-за этой любви я провёл тринадцать лет в изгнании, но именно из-за этой любви возвращаюсь в изгнание, может быть, навсегда, без хныканья и кривых страдальческих гримас». Будучи вне каких-либо организаций, идеологий и программ, оставаясь одиноким независимым путником, Гейне доказал возможность быть политическим поэтом, не превращаясь при этом в политика.

1848 год, год великих европейских потрясений (революция в Германии потерпела поражение), был для Гейне первым годом жестокой болезни, которая давно подбиралась к нему, а теперь накрепко на всю оставшуюся жизнь приковала к постели. Его надежды на возможность демократических преобразований на родине рухнули. Результат революции свёлся к тому, что в лоскутном ковре Германии теперь значилось не 36, а 34 государства. Гейне откликнулся на события стихотворением «Михель после марта» (1850). Оно пронизано горьким и гневным сарказмом.

Казалось, мартовские события вывели белокурого Михеля из привычной спячки. «Он стал выказывать разум» и в порыве даже кричал, «что каждый князь — предатель». Но запала хватило ненадолго. Наступает смертный час немецкой свободы. Что же Михель?

А Михель пустил и свист и храп
И скоро с блаженной харей
Опять проснулся как преданный раб
Тридцати четырёх государей².

Боль обманутых ожиданий наслаивается у Гейне на физическую боль. Именно в это время происходит поворот в его взглядах, духовное преобразование, которое озадачит многих.

¹ Перевод В.Левика.

² Перевод В.Левика.

Ослепнуть, чтобы прозреть

В письме к брату в далёкий Петербург Гейне пишет: «События в Германии очень неприятно влияют на моё настроение. Какое отвратительное ничтожество! Может быть, счастье для меня, что мне ни во что не надо вмешиваться, и мне очень приятно, что ты живёшь так далеко от сцены, где разыгрываются эти ужасы... Я совсем один, я живу в страшном одиночестве, хотя и в центре Парижа, ристалища всех страстей!» В этом же письме есть и такие строки: «В мучительные бессонные ночи я сочиняю очень красивые молитвы, которых, однако, не записываю и которые все направлены к весьма определённом Богу, Богу наших отцов».

Ещё недавно, узнав, что его биография попала в книгу «Знаменитые евреи», вышедшую в Мюнхене, Гейне кипел от возмущения, не потому что стыдился своего происхождения, негодование вызвали попытки загнать его в гетто еврейства. Как и опочивший Гёте, он считал себя в первую голову европейцем, гражданином мира. Но вот 15 апреля 1849 года он пишет в редакцию «Всеобщей газеты»: «...я больше не самый «свободный после Гёте немец», как называл меня Руте в прошлые дни, когда я был здоров... я более не жизнерадостный, толстоватый эллин, который весело трунил над печальными назарейнами, — теперь я всего лишь бедный, смертельно больной еврей, изнурённое подобие горя, несчастнейший человек!»

Этим признанием он больше всех изумил бы свою жену, доведись Матильде прочесть эти строки. Франц Кафка описывает своей возлюбленной Милене забавный эпизод, имеющий отношение к этому сюжету. Немецкий поэт Майснер, изредка посещавший больного Гейне, вспоминает, что Матильда досаждала ему своими выпадами против немцев: «и ехидны-то они, и язвительны, и самонадеянны, и мелочны, и навязчивы — короче говоря, несносный народ!» Однажды он не выдержал и возразил:

— Но вы же совсем не знаете немцев! Генрих общается только с немецкими журналистами, а они тут в Париже все евреи.

— Ах, — говорит Матильда, — всё-то вы преувеличиваете. Один-другой среди них, может быть, и найдётся, например, Зейферт...

— Нет, — возражает Майснер, — как раз он тут единственный нееврей.

— То есть как? — удивляется Матильда. — Вот Ейтелес — он что, еврей? (А это был могучий белокурый верзила.)

— Ещё какой! — отвечает Майснер.

— Но Бамбергер?

— Он тоже.

— А Ариштейн?

— И он.

Так они перебрали всех знакомых. В конце концов Матильда разозлилась и сказала:



Heinrich Heine

— Вы просто смеётесь надо мной. Вы ещё скажете, что Кон тоже еврейская фамилия, но ведь Кон — зять Генриха, а Генрих — лютеранин!

На это уже Майснеру нечего было возразить. А лютеранин Гейне возьми и объяви во всеуслышание: «Я всего лишь бедный, смертельно больной еврей»!

Что стоит за этой метаморфозой? В послесловии к новому лирическому сборнику «Романсеро» (1851), третий раздел которого составляют «Еврейские мелодии», Гейне публично заявляет, что «возвратился к Богу, подобно блудному сыну, после того как долгое время пас свиней у гегельянцев». Однако возврат к ценностям еврейства не привел его «к порогу той или иной церкви или даже в самое её лоно». Гейне и после духовного переворота остался дерзко-насмешливым скептиком, верным своей Музе, родившейся на берегах Рейна, на родине карнавала, а потому легко меняющей маски.

Вспоминал ли он в эту пору свои беседы и споры с молодым Карлом Марксом? Тот только приехал в Париж со своей очаровательной женой и, конечно же, хотел обратить в свою веру известного поэта. Говорили они тогда и о еврействе. Выходец из буржуазной ассимилированной семьи (отец Карла, Гершель Леви, взял при крещении имя Генриха Маркса, это позволило ему стать адвокатом), Карл Маркс как раз в это время написал статью «К еврейскому вопросу» (1843). Маркс определил тенденцию Нового времени: сила рыцарского меча уступила силе денег, деньги стали мировой властью. Пожалуй, Гейне согласился бы с выводом своего молодого приятеля, ему нравились парадоксы: «Практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями». Маркс намеревался спасти «объевреевшееся» человечество, упразднив эмпирическую сущность еврейства, рынок и его предпосылки. И сами евреи тем спасутся, уверял он, поскольку их сознание очеловечится. Судьбы человечества волновали уроженца Трира куда больше, нежели еврейские. Интересно, как далеко он продвинулся в своих теориях изменения мира? Первые годы ещё приходили вести из Лондона (где после Парижа поселился Маркс), а теперь...

«Признания», в которых Гейне объясняет перемены в собственных взглядах, создавались зимою 1854 года. Он сам назвал эти 55 страниц текста «важным жизненным документом», и это побуждает отнестись к этому тексту с особым вниманием. Гейне замыслил «Признания» как эпилог к новому изданию книги «О Германии», включавшей его известный очерк «К истории религии и философии в Германии». Что же это за признания? Есть шуточные, невинные, но некоторые явились настоящей сенсацией.

«Романтик-расстрига» прощался с гегельянством. Диалектику Гегеля, которая, как нас учили, стала одним из трёх источников и трёх составных частей марксизма, он уподобил серой разварной паутине. Какое святотатство! Гейне отрекался от атеизма, который оказался оборотной медалью гегельянства, в упрощённом варианте овладевшего массами. Рост безбожия в среде простонародья его напугал, как некогда Вольтера, который сказал, что если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать.

Гейне признался, что воскрешением религиозного чувства он обязан Библии. Он, прошатавшийся по всевозможным танцулькам философии, предававшийся всем оргиям ума, возомнивший себя Господом Богом, теперь находит утешение в этой священной книге. Он рекомендует «обожевсившим себя безбожникам», среди которых мелькают знакомые имена Фейербаха, Бруно Бауэра и Маркса (последнего он аттестует как своего «непримиримого друга»), почаще обращаться к библейским сказаниям для назидательного размышления.

Он ещё и ещё раз подчёркивает великую заслугу протестантизма в деле сохранения и распространения Библии. Следование её заповедям, по мнению Гейне, ведёт «к установлению великого царства духа, царства религиозного чувства, любви к ближнему, чистоты и истинной нравственности».

Признаваясь, что раньше недолголюбивал Моисея и в целом иудейское законодательство, враждебное всякой образности и пластики, Гейне делится своим новым открытием: Моисей сам был великим художником и обладал подлинным художественным духом. Из пастушеского племени он изваял народ, которому дано было преодолеть тысячелетия.

«Как о Создателе, так и о Его созданиях, еврейя, я никогда не говорил с достаточным уважением, и тоже, конечно, из-за моей эллинской природы, которую отталкивал иудейский аскетизм. С той поры уменьшилось моё пристрастие к Элладе. Я вижу теперь, — пишет Гейне, — что греки были лишь прекрасными юношами, евреи же всегда были мужами, и не только в былые времена, но и до сего дня, несмотря на восемнадцать веков гонений и страданий. С той поры я научился лучше ценить их, и если бы всякая гордость происхождением не была бы дурацкой несообразностью в борьбе за революцию и её демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его принадлежали к благородному роду Израиля, что он — отпрыск тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность и сражались и страдали на всех боевых полях мысли».

Тема национальной гордости чрезвычайно актуальна и в наши дни, но на ней легко поскользнуться. Мы знаем множество примеров, когда пробуждение национального сознания оборачивалось воинствующим национализмом, а национальная гордость — дискриминацией инородцев. Заканчивалось это катастрофически для всех. Умиравший Гейне нашёл точку опоры в своей иудейской гордости, вспомнив о царях и пророках, к которым восходит его род. Подлинная национальная гордость ведь не политична, не демагогична, она — этическая.

После смерти Гейне в его бумагах были найдены во множестве высказывания и афоризмы, которые позднее вошли в собрание его сочинений под общим названием: «Мысли, заметки, импровизации». Среди них есть и такая неожиданная запись: «Еврейство — аристократия: единый Бог сотворил мир и правит им; все люди — Его дети, но евреи — Его любимцы, и их страна — Его избранный удел. Он — монарх, евреи — Его дворянство, и Палестина — экзархат Божий». Далеко ушёл Гейне от юношеских суждений, отрицавших идею богоизбранности евреев. Уверовал ли он в избранность евреев или таким образом эпатировал, дразнил христиан?

Можно представить, как эти заметки выводили из себя немецких националистов, если советский «почвенник-славянофил» Станислав Куняев в 1979 году написал донос в ЦК КПСС на Гейне и издателей его десяти томного собрания, которое вышло в СССР в конце 1950-х годов. По прошествии двух десятилетий он сигнализировал о том, что в одном из томов опубликованы размышления поэта, «работающие на идею мессианства, на прославление «избранного народа», на национальное высокомерие».

Донос неистового ревнителя советской идеологии перепечатан в его двухтомнике, изданном в 2001 году. Сочинение Куняева звучит актуально в постсоветской России. Приведём лишь одну цитату: «Что это такое, как не националистические религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев, мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне — крупного поэта вообще, но в данном случае маленького обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а проницательные размышления Достоевского (мирового классика покрупнее, чем Гейне), которые бы работали на борьбу с сионизмом, на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?»

О выходе академического тридцатитомного собрания сочинений Достоевского в начале 1980-х годов автор цитаты, конечно же, осведомлён, но можно прикинуться незнающим, чтобы не лишиться «убойного аргумента» в борьбе с «мелким обывателем» Генрихом Гейне. Не исключено, что в 1979 году автора докладной записки в ЦК КПСС волновало и то, что «почти расист» Гейне замахнулся на ещё одну «святыню». Ведь, в «Признаниях» можно прочесть и такое: «Мы видим в победе коммунизма угрозу всей нашей современной цивилизации».

На протяжении многих десятилетий в споре коммунистов и антикоммунистов неизменно присутствует имя Гейне, обе стороны стремятся приспособить его высказывания последних лет для своих нужд. Следует условиться с самого начала, что за понятием «коммунизм», которое имеет в виду Гейне, в середине позапрошлого века стояло нечто иное, нежели сегодня. Речь не шла о марксизме, ибо его ещё не существовало. «Коммунистический манифест», в котором Маркс эскизно наметил свои идеи, только-только вышел из печати и не стал предметом пристального внимания Гейне.

Отношение Гейне к коммунизму, а точнее к коммунистическим доктринам разного толка (в основном ему были известны теории уравнилельного коммунизма), было двойственным, в чём он открыто признавался. Через год после публикации «Признаний» он диктует предисловие к французскому изданию «Лютеции», где вспоминает, что ещё в начале 40-х годов с бесконечным страхом и тоской признал: «будущее принадлежит коммунистам». Их лидеры, эти «доктора революции», по его мнению, — единственные жизнеспособные личности в Германии. И теперь, в 1855 году, он говорит: «Честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти странного чара, и я не в силах им противиться». Он приводит два довода в его пользу.

Первый: «если я не могу опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», я вынужден подчиниться и всем выводам из неё». Второе, что его привлекает, — это главный догмат коммунистов, который звучит так: «самый неограниченный космополитизм!» У нас в стране его, правда, свели к пролетарскому интернационализму. Гейне же был воплощением космополитизма. «Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов».

Гейне, несомненно, был «левым» писателем, но левый радикализм он ненавидел и презирал. «Эти когорты разрушения, эти сапёры, топор которых угрожает всему общественному зданию, бесконечно сильнее уравнителей бунтарей в других странах вследствие ужасающей последовательности их доктрины, ибо в безумии, движущем ими, есть, как сказал бы Полоний, система», — пишет он в «Признаниях». Он не на шутку был встревожен, заметив, что атеизм, которому он годами платил щедрую дань, «вступил в более или менее тайный союз с жутко оголётным, лишённым всякого фигового листка грубым коммунизмом».

Гейне, как и наш Пушкин, в молодости брал уроки «чистого афеизма» (т.е. атеизма). Однако «кошунства», доходящие до цинизма, в которых обвиняли обоих, часто бывали не более чем маской. В юношеском стихотворении «Безверие» Пушкин признался: «Ум ищет Божества, а сердце не находит». Молодому Гейне в высшей степени было знакомо это состояние, но в конце жизненного пути поиски Бога захватили его. Он всегда был одинок и уязвим, теперь же, оказавшись в «матрачной могиле», он был обречён на полное одиночество. Трагизм безверия в этой ситуации ощущался особенно остро. Отсюда — постепенный возврат к ценностям иудаизма. Как это ни парадоксально, но ещё недавно единственным источником религиозного мироощущения поэта был эротизм, чувство божественности любви и женской красоты. Он не изменил ему, даже вступив на путь духовного преображения.

Гейне не позволил поработить себя ни одной доктрине. Поразительна смелость, с которой он подошёл к вечной проблеме: народ и интеллигенция. Нигде она не стояла так остро, как в царской России. Мы вскормлены русской литературой, внушившей порядочным людям кому острое, кому смутное чувство вины перед несчастным, страдающим народом, внушившей уверенность, что человек из народа лучше, чище, нравственнее, мудрее. Не только в советской России, но и в нацистской Германии интеллектуалы из ложного стремления к единению с народом, путая народ и толпу, опускались до черни и оказывались под её каблуком. Томас Манн утверждал, что тем они обесчестили себя, ибо «свойственные черни качества не могут быть облагорожены с помощью предавшего себя духа; происходит обратное — дух унижает себя и оказывается в рабстве».

Представьте, какие чувства овладевали читателем, когда он в «Признаниях» наталкивался на такой пассаж: «Один великий демократ как-то сказал, что если бы король пожал ему руку, он поспешил бы сунуть её в огонь, чтобы очистить её. Я сказал бы подобным образом: я вымыл бы руку, если бы *самодержавный народ* (курсив мой. — Г.И.) почтил меня рукопожатием». Первая реакция читателя: «Какой отвратительный снобизм!», «Ату его!»

Однако Гейне двигал не снобизм, а беспощадная трезвость в оценке ситуации. Хор льстецов, кадивших народу, «этому бедному королю в лохмотьях», вызывал его негодование. Вступив с ними в спор, он выдвигает при этом свой план решения вопроса. «Придворные лакеи народа непрестанно прославляют его достоинства и добродетели: «Как прекрасен народ! Как добр народ! Как разумен народ!» Гейне последовательно разбивает сомнительные аксиомы. Бедный народ не прекрасен, а безобразен из-за грязи. Нужно строить общественные бани. Народ совсем не добр, он зол, поскольку голоден. Народ должен иметь хлеб насущный. Его величество народ не разумен, а глуп. «Любовью и доверием он дарит только тех, кто говорит или рычит на жаргоне его страсти, но он ненавидит всякого честного человека, говорящего с ним на языке разума для его же просвещения». Такое происходит повсеместно с незапамятных времён.

Гейне вспоминает давние события в Иерусалиме. Народу предоставили свободу выбора между праведнейшим из праведников и гнуснейшим разбойником с большой дороги. Каков был выбор толпы? «Отдай нам Вавравву!» Причина этого извращения — невежество. Необходима сеть общественных школ, где народ будет получать обучение бесплатно вместе с потребными для этого бутербродами и прочими съестными припасами. «И когда каждый человек из народа получит возможность приобретать любые знания, вы не замедлите вскоре увидеть и разумный народ».

Теперь, когда вы ознакомились с программой Гейне, думаю, желающих побить его камнями не осталось. Он, как это бывает с поэтами, намного опередил время, и те, кто побывал сегодня в Западной Европе, не могут не признать, что его программа работает. И осуществили её не коммунисты. Здесь Гейне ошибся.

Многие из его предсмертных записей посвящены Германии, до последних дней мысли его устремлялись к Рейну, уносились за Рейн. Вот лишь одно высказывание: «Немцы хлопочут сейчас над выработкой своей национальности; однако они запоздали с этим делом. Когда они с ним наконец справятся, национальное начало в мире уже перестанет существовать и им придётся тотчас же отказаться и от своей национальности, не сумев извлечь, в отличие от французов или британцев, никакой пользы из неё». Гейне не суждено было узнать, что эти хлопоты доведут немцев до национал-социализма, который свергнет его возлюбленную Германию в бездну. Но он, сумевший подняться над шаблонами мышления своего времени, предвосхитил идею объединения Европы. Нынешние тенденции глобализации, существование Европейского союза с единой валютой, куда вошла и Германия, казалось бы, подтверждают правоту Гейне, но наряду с этим действуют угрожающие миру центробежные националистические силы. Опасность, идущую с Востока от радикального ислама, даже такой ум, как Гейне, не смог предвидеть. Но он твёрдо верил в то, что познал на своём горьком опыте: *«Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа».*

Мы начали с «жалоб сердца» Генриха Гейне. Кто-то их не слышал, кто-то им не верил: Париж — циферблат Европы, с чего бы это жаловаться поэту?! Но нашлась одна душа в далёкой России, которая в год смерти Гейне откликнулась на его жалобы. Видимо, безоглядная любовь поэта-еврея к немецкой родине оказалась близка исстрадавшемуся сердцу Афанасия Фета:

Под небом Франции, среди столицы света,
Где так изменчива народная волна,
Не знаю, отчего грустна душа поэта
И тайной скорбию душа его полна.

Каким-то чуждым сном весь блеск несётся мимо,
Под шум ей грезится иной, далёкий край;
Так древле дикий скиф среди праздничного Рима
Со вздохом вспоминал свой северный Дунай.

О, Боже, перед кем везде страданья наши,
Как звёзды по небу полному горят,
Не дай моим устам испить из горькой чаши
Изгнанья мрачного по капле жгучий яд.

РИМ И ИЕРУСАЛИМ МОРИЦА ОППЕНГЕЙМА¹

Рим и Иерусалим — это как бы две ипостаси и одновременно два ориентира одного из первых еврейских художников Морица Оппенгейма, в жизни и творчестве которого, как в зеркале, отразились устремленность немецкого еврейства из гетто в большой мир, к эмансипации, и вместе с тем желание не отрываться от своих корней.

Родившийся в январе порубежного 1800 года в гетто Ханау (городок близ Франкфурта), Оппенгейм прожил долгую, наполненную трудом жизнь, сумел войти в высшее общество Германии (его называли художником Ротшильдов и Ротшильдом среди художников), при этом сохранил верность еврейству и умер восьмидесяти двух лет в окружении шестерых детей и многочисленных внуков, как подобает главе патриархальной еврейской семьи. Он оставил громадное наследие: сотни, если не тысячи картин маслом, акварелей, рисунков, графических работ.

Незадолго до смерти он написал для детей и внуков воспоминания о своей молодости. Я разыскала эту небольшую книжечку, изданную его внуком, тоже художником, в 1924 году. Она помогает понять этот феномен — эмансипированного еврейского художника XIX столетия, образно говоря, — Рим и Иерусалим в одном лице.

Маленький Мориц регулярно посещал еврейскую религиозную школу — *хедер*, изучал Тору, но при этом часто бывал с матерью и в театре. На дворе стояло наполеоновское время, и евреям Германии легче дышалось. Процесс их эмансипации набирал обороты. Родители отдали Морица в гимназию, рассчитывая на карьеру врача, но когда обнаружили его способности к живописи, это не стало трагедией, как бывало в патриархальных еврейских семьях. Они не воспротивились желанию юноши. Мориц блестяще окончил местную Академию рисунка, став любимцем ее ректора, и в возрасте 20 лет отправился продолжать образование во Франкфурт, затем в Мюнхен и наконец — в Париж. Однако в ту пору столицей художников был Рим, и вскоре Мориц переезжает туда. На берегах Тибра проведёт он четыре года, здесь завершается его становление.

В Риме Оппенгейм сблизился с группой немецких художников, которые входили в «Союз св. Луки» (Евангелист Лука издавна считался покровителем живописцев).



¹ Опубликовано в журнале: *Лехаим*.

вители живописцев, в Амстердаме можно и сегодня видеть дом XVII века с изображением этого святого над входом, полагают, что там была художественная мастерская, где работал Рембрандт). Немецкие художники, создавшие свою общину в Риме, именовали себя «назарейцами». Этим они подчёркивали свою приверженность религиозному христианскому искусству позднего Средневековья. Молодого Оппенгейма влекла к ним не только их художественная манера, ярче всего проявившаяся в скульптуре Шадова, создателя дюссельдорфской романтической школы, но и сосредоточенность на библейских сюжетах. Среди его лучших работ этого периода — «Сусанна и старцы». Не менее значительным было влияние скульптора Торвальдсена, великого классициста. Датчанин покровительствовал молодому Оппенгейму и поощрял его занятия портретной живописью, в которой тот вскоре преуспеет. Оппенгейм черпал из разных источников, его искусству присущ некоторый эклектизм, но это делает его полотна ещё более эффектными. Академический романтизм будет господствовать в немецкой живописи вплоть до 1860-х годов.

Здесь, в Италии, завязались тесные связи художника с будущим директором Франкфуртского Института искусств Филиппом Фейтом, внуком известного еврейского философа-просветителя Мозеса Мендельсона (он тоже принадлежал к общине «назарейцев»), а также с известным берлинским художником Хензелем, женатым на сестре музыканта Феликса Мендельсона-Бартольди (Феликс и Фанни — также внуки дедушки Мозеса). Но главным событием, имевшим последствия для всей дальнейшей жизни художника, стала встреча в Неаполе с бароном Карлом Майером фон Ротшильдом, финансовым советником королевской семьи.

В 1825 году Оппенгейм возвращается в Германию и поселяется во Франкфурте, где в эту пору уже жили два его брата. Здесь он женится на подруге детства. После её безвременной смерти он, оставшись с тремя малолетними детьми, женится вторично на Фанни Гольдшмидт, уроженке Франкфурта. Семья не знает нужды: Оппенгейм — модный портретист, он добивается поразительного сходства, заказы сыплются со всех сторон, от евреев и неевреев. Гёте в восторге от его иллюстраций к «Герману и Доротея». Он считает, что Оппенгейм блестяще передал немецкий дух его поэмы. Он устраивает выставку художника в своём доме и добивается от герцога Карла-Августа профессорского звания для своего протеже.

В искусстве портрета Оппенгейм всё больше отходит от романтического стиля *назарейцев*, теперь ему ближе домашний реализм стиля *бидермейер*. Этот бюргерский стиль, возобладавший в архитектуре и живописи Германии и Австрии в середине XIX века, отвечает не только новому положению художника, которому покровительствуют уважаемые состоятельные заказчики, но он соответствует его светлому, радостному мироощущению, его темпераменту.

Именно в этом стиле выдержаны многочисленные портреты представителей трёх поколений семейства Ротшильдов, связи с которым у Оппенгейма со временем упрочились. Во Франкфурт вернулся из Неаполя барон Карл Майер. Завязались отношения и с домом Акселя Ротшильда, жена ко-

того стала ученицей художника и его преданным другом. Оппенгейм не только рисует портреты членов семьи, но декорирует их особняки, он становится их главным советником в вопросах искусства, дает рекомендации по приобретению произведений искусства, получает полномочия приобретать их для них по всей Европе, имея дело как с коллекционерами, так и с музеями.

Не впадайте в меланхолию, если вам не довелось увидеть ни одного из многочисленных оппенгеймовских портретов, запечатлевших знаменитых финансовых магнатов и их родственников. Зато вы определённо видели портрет Генриха Гейне, который Оппенгейм написал в 1830 году. Молодой поэт был проездом во Франкфурте, и художник уговорил его позировать ему. Портрет не раз воспроизводили в собраниях сочинений и сборниках поэта, которые были изданы в СССР. Сам Гейне считал портрет удавшимся, одобрял за сходство. Спустя двадцать лет он обратился к Оппенгейму с просьбой позволить его другу и доверенному лицу сделать хорошую гравюру с портрета, и художник уважил просьбу поэта. Только за этот один портрет мы бесконечно признательны мастеру. Нелишне знать, что Оппенгейм написал также портрет Людвиг Бёрне, незаурядного публициста и писателя, родившегося в семье еврея-банкира и проживавшего до 1830 года во Франкфурте. Бёрне и Гейне были противниками, постоянно полемизировали. Возможно, художник не вникал глубоко в суть их споров, но знакомство с ними обоими характеризует Оппенгейма как человека, причастного к интеллектуальной жизни Германии.

Значительных успехов добился Оппенгейм и в области жанровой живописи. Ярким примером тому служат картины «Феликс Мендельсон, играющий перед Гёте» или «Визит Лессинга и Лафатера к Моисею Менделсону». На них запечатлены реальные события из жизни исторических лиц. Первой жанровой картиной на еврейскую тему стало «Возвращение еврейского добровольца с войны за освобождение в родной дом, живущий по старым традициям» (1833). На картине предстает один из еврейских добровольцев, сражавшихся за Германию в борьбе против Наполеона. Оппенгейм сознательно напомнил об участии евреев в этой войне, ибо после её окончания и решений Венского конгресса 1815 года положение евреев в Германии значительно ухудшилось. Оппенгейм смог на себе прочувствовать это ужесточение официального курса: 25 лет добивался известный художник разрешения властей свободного города Франкфурта считаться его гражданином. Он подал десять прошений, они были отклонены на том основании, что он является евреем, не рожденным во Франкфурте. Лишь в 1851 году ему было дано гражданство города, славу которого он приумножил.

Картина «Возвращение добровольца» была приобретена соплеменниками Оппенгейма и преподнесена в дар известному поборнику еврейских прав Габриелю Риссеру, издателю журнала «Еврей», который стал вице-президентом Франкфуртского учредительного парламента в 1848 году. Будучи близким другом Риссера, Оппенгейм встречался с многими реформаторами, добивавшимися равноправия евреев, но сам в этом движении участия не принимал.

Его участие в еврейской жизни проявилось иначе: последние двадцать лет были отданы картинам из серии «Еврейская семейная жизнь». В итоге в 1882 году появился большой том, содержащий 20 листов иллюстраций, с предисловием и комментариями раввина Леопольда Штайна — «Картины традиционной еврейской семейной жизни».

Для Оппенгейма и многих его современников иудаизм был не собранием религиозных догматов, а скорее организующим принципом бытия. Изображая святость еврейского дома, семьи, художник сознательно подчёркивает их главную роль в формировании религиозного чувства. В этих жанровых сценах предстает нечто более значительное, чем просто церемония бар-мицвы, свадьбы, празднования субботы или судного дня, они одушевлены патриотическим национальным чувством. Штайн назвал Оппенгейма «размышляющим художником». Еврейская любовь к семье, еврейское чадолюбие предстают у него неиссякаемым источником животворной веры в непрерывность духовной жизни.

Хронологически большинство сцен относятся к последним десятилетиям XVIII века, перед нами жизнь еврейского гетто, которого больше не существует. Бросается в глаза ностальгическое чувство, идеализация прошлого. Это заметно и в комментариях Штайна: «В гетто, где евреев по ночам запирали, превращая в городских узников, они себя чувствовали на самом деле свободными: “Что? Они нас заперли? Вовсе нет! Это мы их не выпускаем”». Невольно вспоминаются Марк Шагал и Шолом-Алейхем с их поэтизацией-идеализацией еврейских местечек царской России. Впрочем, в «Истории немецких евреев» Адольфа Кохута, появившейся на исходе XIX века, это явление предвосхищено: «Мир теперь с изумлением узнает, что в гетто были не только грязные стены и узкие закоулки, но и бездна поэзии и духовности». Мориц Оппенгейм был одним из первых, кто увидел недавнее жалкое прошлое немецких евреев в новом свете.

Сто с небольшим лет назад, в 1900 году, во Франкфурте была организована выставка Оппенгейма в честь 100-летия со дня его рождения. В каталоге числится 142 наименования, из которых почти треть составляют портреты. Сейчас такая выставка вряд ли была бы возможна. Значительная часть картин погибла во время Холокоста, часть уцелевших хранится ныне в Национальном музее Иерусалима. Мориц Оппенгейм не входит в пантеон великих мастеров прошлого, но он заслужил право на благодарную память своего народа.

У ПИРШЕСТВЕННОГО СТОЛА НИЦШЕ

Литературные гурманы на исходе XX века дорвались до лакомого. Один за другим пришли к любителям «университетской прозы» два постмодернистских романа: «Когда Ницше плакал» американца Ирвина Ялома и «Вкусная Павлова» англичанина Д.М.Томаса. Вооружившись фрагментами биографий Ницше и Фрейда, отрывками из их переписки и сочинений, писатели выстроили нечто удивительное, качественно новое, мощное, эротичное, занимательное, от чего оторваться просто невозможно. Романы читались на одном дыхании. Казалось бы, материал уже известен, героини знакомы: еврейка Анна О. (Берта Паппенхайм) — первая дама психоанализа, Лу Саломе, русская аристократка, вскружившая голову и Ницше, и Рильке, ещё одна наша соотечественница еврейка Сабина Шпильерейн, любимая ученица Юнга, убитая с двумя дочерьми нацистами в Ростове. Но как причудливо волею авторов переплетаются их пути, как волнует возможность заглянуть в потаённое! Меня эти книги вернули в молодость.

Катился к концу 1961 год, процесс высвобождения мысли в Советском Союзе только-только начинался. Новоиспечённая аспирантка по кафедре зарубежной литературы МГПИ им. Ленина, я готовилась к кандидатскому экзамену по философии и решила писать реферат о Зигмунде Фрейде. Доцент кафедры философии не возражал против моего выбора, при условии, что вчерашняя студентка вступит в полемику с апологетом подсознательного. Предстояло проследить и очертить связь психоанализа с искусством. Добыть работы Фрейда было нелегко, хотя его активно переводили в России до революции и в 20-е годы, но всё это богатство хранилось в спецхране главной библиотеки страны (Ленинки) Тем не менее, доступ туда я получила и стала смело продираться сквозь дебри под- и бессознательного. Вскоре поняла, что это была смелость невежды...

Примерно в это же время познакомилась я и с творчеством Фридриха Ницше. Единственную книгу, которую мне удалось тогда прочесть, я нашла всё в том же *спецхране* — «Так говорил Заратустра». Глубинный смысл философской поэмы мне не открылся, разве что странно волнующими оказались её афористичность, язык, его музыка. Профессор Борис Иванович Пуришев, германист первого ряда, в частной беседе порекомендовал прочесть раннюю вещь Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» («Там античность предстаёт в совершенно новом свете, — сказал он. — Греция Винкельмана и Шиллера в сравнении с его видением — гипсовая труха»). И ещё он назвал работу «Человеческое, слишком человеческое». В подзаголовке значилось: «Книга для свободных умов». К такому вы я отнеси себя не могла: процесс обретения свободы был длительным. Со временем при-

шло понимание, что Ницше у нас знают по отдельным надёрганным цитатам, иначе говоря, не знают вовсе, и обвинение в том, что он — антисемит, предтеча нацизма и чуть ли не его пособник, требует серьёзной проверки. Чудом попавшее ко мне эссе Стефана Цвейга о Ницше (перевели и издали в конце 30-х годов), представляло немецкого мыслителя трагическим одиночкой, героической личностью и воспитателем свободы — свободы духа и мысли. У Цвейга и в мыслях не было как-то связать Ницше с нацистами, а ведь в ту пору, когда он писал своё эссе, они у него в доме произвели обыск, и писатель-еврей знал поборников чистоты расы, их идеологию не понаслышке.

Одержимая зудом просветительства, я стала делиться своими открытиями со студентами. Среди курсов, которые я читала, был курс истории зарубежной литературы конца XIX — начала XX века, и мне в первой лекции предстояло нарисовать общую картину умственной жизни Европы этой поры. Без Ницше тут не обойтись.

В начале 1980-х, когда я уже обрела профессорское звание и благоволивший ко мне ректор заверил, что «теперь нам не страшен серый волк», а потому я могла позволить себе некоторые вольности на лекциях, меня пригласил декан и сообщил, что со мной хочет побеседовать наш «куратор». Навстречу поднялся мужчина лет сорока, худощавый блондин с рыбьими глазами. Декан бесшумно скрылся, мы остались вдвоём. Мой визави несколько замаялся, а затем «озадачил» меня вопросами, по большей части риторическими, смысл которых можно свести к фразе, которой начинается известная речь Цицерона против заговорщика: «Доколе, Катилина, будешь ты испытывать наше терпение?». Вот почти дословный текст его монолога:

«Уважаемый профессор, нам известно, что на лекции по античной литературе вы просто ошеломили первокурсников заявлением о том, что Иисус Христос был евреем. Допустим, это так. Факты — упрямая вещь. Но нужно ли обрушивать на неоперившуюся молодёжь подобные факты? К чему эти сенсации? Какое отношение национальность Христа имеет к литературе позднего эллинизма? Ваша лекция была посвящена ведь этой теме, не так ли?»

Мы бы не стали звать к вашему благоразумию, если бы всё ограничилось историей с Иисусом Христом, чёрт с ним (так и сказал! — Г.И.), но поступил сигнал о том, что вы реабилитируете и пропагандируете Ницше. Согласитесь, это уже перебор. Предположим, в истории с Христом вами руководило национальное чувство, но что вас связывает с этим фашистом?! Как можно обелять этого апологета! Далась вам эта белокурая bestия! И потом, что это за рассуждения о приоритете общечеловеческих ценностей?! Вас что, классовый подход уже не устраивает? Подумайте сами, до чего можно договориться! И чем всё это может кончиться?!»

На этом монолог завершился. Наш «куратор» встал и протянул мне вспотевшую руку. Его рукопожатие было вялым. Печальных последствий беседа не имела, тем более что вскоре грянула «Перестройка», и о приоритете общечеловеческих ценностей заговорили с высоких трибун. А в 1990 году в Москве в издательстве «Мысль» вышел стотысячным тиражом двух-

томник Ницше, куда вошли все главные сочинения опального философа. Составителем, редактором, автором достойной вступительной статьи и обстоятельнейших комментариев был философ К.А.Свасьян. Каждый из томов насчитывает более 800 страниц, читателя ждёт настоящее пиршество..

Воспользовавшись возможностью сказать доброе слово об этом обогланном мученике познания, хотелось бы прежде всего рассеять предвзвешенный относительно антисемитизма Ницше. Он никогда не был антисемитом и уже потому не может проходить по нацистскому ведомству. Его дружба с Вагнером закончилась разрывом отчасти из-за антисемитизма композитора. И отношения с сестрой разладились по этой причине. «Проклятое антисемитство стало причиной *радикального* краха между мною и моей сестрой», — пишет он другу Овербеку в апреле 1884 года, т.е. будучи в здравом уме и твёрдой памяти.

Брак Элизы Ницше с берлинским гимназическим учителем Фёрстером, который сделал антисемитизм чуть ли не профессией, подвёл черту в отношениях брата и сестры. «Мстительной антисемитской дурой», — назвал Ницше сестру в письме к своей давней приятельнице Мальвине фон Мейзенбург.

Спасаясь от «еврейского засилья», сестра с мужем перебрались в Парагвай, где д-р Фёрстер, запутавшись в финансовых хитросплетениях, покончил с собой. Сестра Ницше, прибравшая к рукам в 1893 году архив уже больного философа (последние десять лет его жизни были омрачены душевной болезнью), немало потрудились над фальсификацией его наследия, ударившись в махинации по подделке доставшихся ей рукописей и писем. В этом она встретила полное понимание и поддержку вдовы Вагнера Козимы и байрейтского кружка, куда вошла полноправным членом. Разоблачена она была лишь полвека спустя.

Более всего репутация Ницше пострадала в годы нацизма. О вдумчивом чтении его текстов уже давно речь не шла, тем более что они были искажены «любимой сестрой». Наступила пора, когда философия Ницше была сведена к популярному цитатнику. Фюрер возомнил себя и был провозглашён сверхчеловеком. А ницшевский Заратустра обращался к людям со словами: «*Я учу вас о сверхчеловеке*». Разве это не доказательство того, что Ницше был «предтечей», разве не он возвестил явление Фюрера?! Разве не говорил он о *воле к власти*?! Явный предтеча! Интерпретация, которой идеологи нацизма стремились обеспечить подоплёку своего движения, оказалась настолько живучей, что пережила саму причину, её породившую. Ницше оказался надолго «поражённым в правах». Жуткое пугало, в которое его превратили «ницшеанцы», почти столетие работало против него.

Однако если проэкзаменовать Ницше по трём пунктам, которые являются основополагающими принципами нацистской идеологии, а именно выяснить, как относился философ к пангерманизму, антисемитизму и славянофобии, то возникает совершенно обратная картина...

Нас интересует второй пункт (он привычно ассоциируется с пресловутым «пятым»), ограничимся им. Книга «Человеческое, слишком человеческое» состоит из множества фрагментов (их 638), один из которых — «Ев-

ропейский человек и уничтожение наций» — написан так, будто автор — наш современник. О сближении наций и превращении национальных литератур в мировую заговорил в начале XIX столетия Гёте. Ницше был настоящим гётеанцем, он вдумывался не только в суждения, но даже в обмолвки Олимпийца. Во фрагменте 475 он развивает мысль Гёте. Прочтите этот фрагмент нам, вот уже несколько лет живущим в Европейском союзе (ЕС), необходимо не только для того, чтобы подивиться провидческому дару Ницше. Он доходчиво объясняет, что угрожает европейскому единству, и эта угроза сказывается поныне: «Этой цели сознательно или бессознательно противодействует теперь обособление наций через возбуждение национальной вражды...» Указывая на опасность искусственного национализма Ницше называет и его сеятелей: правящие династии и «определённые классы торговли и общества».

И далее: «вся проблема евреев (читай — пресловутый «еврейский вопрос». — Г.И.) имеет место лишь в пределах национальных государств так как здесь их активность и высшая интеллигентность, их от поколения к поколению накапливавшийся в школе страдания капитал ума и воли должны всюду получить перевес и возбуждать зависть и ненависть; поэтому во всех теперешних нациях — и притом чем более последние снова хотят иметь национальный вид — распространяется литературное бесчинство казнить евреев, как козлов отпущения, за всевозможные внешние и внутренние бедствия».

Прервёмся на мгновение и бросим взгляд окрест себя. Хотя в Германии время от времени ведутся разговоры о «ведущей культуре» титульной нации (*die Leitkultur*) или вспыхивают дискуссии на тему, можно ли гордиться тем, что ты — немец, именно мононациональная Германия оказалась инициатором создания Европейского союза (ЕС). В то же время развалившийся «оплот пролетарского интернационализма», многонациональная Россия, вот уже который год озабоченно взращивает «спасительную» национальную идею. Вот и спроецируйте ситуацию на положение евреев в настоящий момент в этих регионах!

Ницше считал, что, если дело дойдёт до создания смешанной европейской расы, «еврей будет столь же пригодным и желательным ингредиентом, как и всякий другой национальный остаток». Как видите, Ницше продвинулся в своей приязни к иудеям куда дальше, чем его учитель — Гёте, хотя отнести его к филосемитам я бы не спешила.

Ведь известно, что когда Ницше заканчивал «Рождение трагедии» (это было начало 1971-го), он связал культурный упадок немецкого народа с «распространением либерально-оптимистического мировоззрения». Вопреки «материнскому» совету Козимы Вагнер, под обаянием которой Ницше в ту пору находился, он не назвал врага, но всем и без того было ясно, что речь шла о евреях. Ницше не избавился от расхожего стереотипа своего времени: тогда в интеллектуальных крутах уже никто не говорил о еврее-богоубийце, но все клеймили его как торговца-капиталиста. Ницше ненавидел капитализм, а заодно и Второй рейх — время бурного развития капитализма в Германии.

Замечая, что неприятные и даже опасные свойства есть у каждой нации, Ницше всё же призывал судить о евреях по их вкладу в европейскую культуру и требовал к ним благодарного отношения. И делал он это в ту пору, когда афоризм берлинского историка Трейчке уже начал овладевать умами его соотечественников. Предоставим слово Ницше: «...я хотел бы знать, сколько снисхождения следует оказать в общем итоге народу, который, не без нашей совокупной вины, имел наиболее многострадальную историю среди всех народов и которому мы обязаны самым благородным человеком (Христом), самым чистым мудрецом (Спинозой), самой могущественной книгой и самым влиятельным нравственным законом в мире».



В книге «К генеалогии морали», которая является своего рода дополнением к сочинению «По ту сторону добра и зла», Ницше говорит, что эти противоположные ценности — «доброе и злое» — бились на земле тысячелетним смертным боем. Символом этой борьбы стало противостояние Рима и Иудеи. «Евреи — народ, рождённый для рабства», — писал римский историк Тацит. Сам евреи называли себя «избранным народом среди народов». В борьбе Рима и Иудеи великий, сильный и славный Рим понёс поражение. Да, римляне разрушили Иерусалим и Храм Соломона, рассеяли народ, но они не стали победителями, если вспомнить, перед кем поклоняются нынче не только в самом Риме, но почти на половине земного шара. Ницше напоминает: «*Перед тремя евреями, как известно, и одной еврейкой (перед Иисусом из Назарета, рыбаком Петром, ковровщиком Павлом и матерью названного Иисуса, зовущейся Марией)*».

Возвращаясь к важной для него мысли о единой Европе в книге «По ту сторону добра и зла», Ницше напоминает, что все глубокие и обширные умы столетия — Наполеон, Гёте, Бетховен, Стендаль, Гейне, Шопенгауэр и даже Вагнер, не понимавший сам себя, — стремились подготовить путь для этого синтеза. Он предчувствовал губительную грозу истории, которая неотвратимо приближалась. Видел он и причину кризиса: «национальный зуд сердца и гангрену, из-за которой Европа будто карантинными отгораживает народ от народа», «национализм рогатого скота», «попытки навеки закрепить мелкодержавие Европы». По его глубокому убеждению, немецкий народ «страдает и хочет страдать национальной горячкой и политическим честолюбием», а потому не готов войти в единую Европу. Перечисляя помрачения немецкого ума и совести в 1886 году, Ницше называет антифранцузскую, антиеврейскую, антипольскую «глупости», в основе которых лежат то романтико-христианские, то вагнерианские, то тевтонские, то прусские «завихрения».

Ницше вслед Гёте считает, что то, что его современники-европейцы называют «нацией», есть «нечто становящееся, молодое, неустойчивое». «В сравнении с ними евреи выглядят *aere perennius*» (по-латыни — твёрже меди). Боже мой, более полувека назад я заучивала на латинском «Памятник» Горация: «*Exegi monument aere perennius...*», и вот — пригодилось!

Далее Ницше пишет: «Что евреи, если бы захотели — или если бы их к этому принудили, чего, по-видимому, хотят добиться антисемиты, — уже и теперь могли бы получить перевес, даже в буквальном смысле господство над Европой, это несомненно; что они не домогаются и не замышляют этого, также несомненно. Пока они, напротив, и даже с некоторой назойливостью, стремятся в Европе к тому, чтобы быть впитанными Европой, они жаждут возможности осесть наконец где-нибудь прочно, законно, пользоваться уважением и положить конец кочевой жизни, “вечному жиду”...» Стремление это в ту пору особенно сильным было у немецких евреев.

Ницше не заблуждался относительно своих соплеменников: «Я ещё не встречал ни одного немца, который относился бы благосклонно к евреям; и как бы решительно ни отрекались от истинного антисемитства все осторожные и политические люди, всё же эта осторожность и политика направлены не против рода самого чувства, а только против его опасной чрезмерности...» Должна с радостью признаться: мне сегодня встречаются немцы, благосклонные к евреям. Возможно, это одно из последствий Холокоста. Дорого заплатили евреи за благожелательность отдельных представителей немецкого народа, которому прививка толерантности тоже стоила неисчислимых жертв.

Ницше быстро реагировал на юдофобские настроения в немецком обществе в 1880-е годы. Он писал не без сарказма: «Что в Германии слишком достаточно евреев, что немецкому желудку, немецкой крови трудно (и ещё долго будет трудно) справиться хотя бы только с этим количеством “еврея”, — как справились с ним итальянец, француз и англичанин вследствие своего более энергичного пищеварения, — это ясно подсказывает общий инстинкт, к которому надо бы прислушаться».

О каком инстинкте говорит Ницше? Об инстинкте самосохранения. Немецкий народ, обладающий, по мнению философа, ещё слабой и неустановившейся натурой, тушует перед сильной расой, каковой, с его точки зрения, являются евреи. «Евреи, без всякого сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса из всего теперешнего населения Европы» — это из книги «По ту сторону добра и зла». Из неё кое-какие цитаты выхватили нацисты, но приведённых выше суждений они в упор не замечали.

Возможно, это прозвучит парадоксально (а что у Ницше не парадоксально?!), но его высокие оценки еврейского потенциала пугали немцев, служили как бы подтверждением того, что этой сильной и успешной расы нужно опасаться как явных конкурентов, а потому и способствовали усилению антисемитизма в Германии.

И всё же «прозказменовав» Ницше по одному из основополагающих принципов нацистской идеологии — антисемитизму, мы смогли убедиться, что он оказался жертвой перекройки, перестройки и фальсификации. Не признанный при жизни философ, печатавший и рассылавший свои сочинения за собственный счёт, превратился в культовую фигуру уже на заре XX века. Механизм канонизации был подчинён задаче: превратить в кумира, отвечающего запросам эпохи, того, кто сам был ниспровергателем ку-

миров. Произошёл подлог. Когда-то Ницше писал об оглушении христианской идеи в христианах. Теперь он сам претерпел невероятное оглушение в «ницшеанцах», его сочинения заменили цитатником.

Как это делалось? Вот один из примеров. «Мы должны освободиться от морали, чтобы суметь морально жить», — пишет Ницше. Вторая часть обрубается, остаётся первая, из которой следует вывод: эта «белокурая бестия» (разумеется, Ницше был идентифицирован со своим образом-символом) проповедует полную свободу от морали. Ведь сказал же он сам: «Я первый *имморалист*». Действительно, сказал. Но у Ницше важны не отдельные слова, а музыка жизни, к которой он был сейсмографически чуток.

Общим местом стало подчёркивание преимуществ еврейского интеллекта, Ницше же заговорил о евреях как о создателях морали, этики. Стойкие нравственные принципы помогли евреям выжить, в то время как «беспутные эстеты и художники, шалопаи греки, очень скоро сошли с арены истории» (Т.Манн). Говоря о том, что евреи были священническим народом, в котором «жила беспрецедентная народно-моральная гениальность», Ницше замечает: «достаточно сравнить с евреями родственно-одарённые народы, скажем китайцев или немцев, чтобы почувствовать, что есть первого ранга, а что пятого». Но возвышает ли это евреев в глазах Ницше? Отнюдь. Ещё один парадокс! Ситуация прояснится, если основательнее ознакомиться с взглядами философа на мораль, на этику, но это — предмет специального исследования и требует длительного разговора, а мы рассматриваем лишь один аспект — отношение Ницше к «еврейскому вопросу».

Итак, Ницше ненавидел антисемитизм и в письме к Овербеку дошёл до того, что призывал расстреливать антисемитов. Но был ли он филосемитом? Никак нет. Разведя инстинкт и разум, жизнь и этику, противопоставив их друг другу, считая, что мораль подавляет грандиозную энергию жизни, ослабляет силу и красоту, Ницше проникся неприязнью к евреям и иудаизму, ибо связал с ними рождение и внедрение в жизнь человечества нравственных норм. «С той минуты, когда Сократ и Платон начали проповедовать истину и справедливость, — сказал он однажды, — они перестали быть греками и сделались евреями или чем-то ещё в этом роде».

История Израиля есть процесс, «посредством которого естественные ценности лишались всякой естественности». «Евреи, — уверяет Ницше, — произвели тот фокус выворачивания ценностей наизнанку, благодаря которому жизнь на земле получила на несколько тысячелетий новую и опасную привлекательность... В этом перевороте ценностей (к которому относятся и употребление слова “бедный” в качестве синонима слов: “святой” и “друг”) заключается значение еврейского народа: с ним начинается восстание рабов в морали» («По ту сторону добра и зла»). В устах Ницше это не похвала, ибо нравственному идеалу он противопоставляет идеал силы и жизненной мощи, иначе говоря, идеал эстетического варварства (прибегнув к его символике, вырисовывается главная антитеза — *Дионис против Распятого*).

Встав в непримиримую оппозицию к христианству как к доктрине ослабляющей (см. «К генеалогии морали», «Сумерки идолов», «Антихрист. Проклятие христианству»), Ницше неизбежно должен был ополчиться и против евреев. Ведь иудаизм — колыбель христианства. В «Антихристе» читаем: «Евреи — это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, со внушающей ужас сознательностью предпочли быть какою бы то ни было ценою: и эту ценою было радикальное извращение всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего... Евреи вместе с тем самый роковой народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что ещё теперь христианин может себя чувствовать антииудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма». Парадокс на парадоксе!

Пируя с Ницше, не теряйте голову от пьянящего хмеля его фантазии! Не спешите заглатывать все его эффектные парадоксы, афоризмы, пророчества! Прислушайтесь к советам Томаса Манна, в молодости околдованного Ницше, но переосмыслившего его философию после 1945-го в свете нового опыта. Он справедливо пишет, что читать Ницше — это своего рода искусство, где совершенно недопустима прямолинейность, где необходима максимальная гибкость ума, чутьё иронии и неторопливость. Его нельзя воспринимать буквально, «взаправду». Когда-то Ницше сказал о Сенеке, что его следует слушать, но «ни доверять ему, ни полагаться на него» не стоит. С ним дело обстоит точно так же. Более того, чем дальше, тем больше он становился собственным антагонистом: одно суждение опровергало другое, как заметил Цвейг, «каждому “нет” он противопоставляет “да”, каждому “да” — властное “нет”».

Его нападки на историческое христианство, выхолостившее, по его мнению, эстетическое начало из могучей и прекрасной безнравственно-торжествующей жизни, нападки на демократию, которую он приравнивал к охлократии (т.е. власти толпы), ненависть к христианско-демократической филантропии, его презрение к человеческому, крикливые бравады аполога войны, требования путём принесения в жертву миллионов слабых и неудачников расчистить путь для сверхчеловека — всё это было, было, было... Однако не следует забывать и о высказываниях иного рода. Его Заратустра взывает к людям: «Я заклинаю вас, братья, будьте верны земле! Не сидите, зарывшись с головою в мёртвый прах небесной галиматы. Держите её гордо, свою земную голову, — она оправданье и смысл этой земли!.. Торопитесь, верните на землю отлетевшую от неё добродетель — да, верните её для любви и для жизни; и да будет добродетель смыслом земли, её человеческим смыслом!»

Можно ли игнорировать то, что Ницше, противопоставивший жизнь — духу, силу — слабости, звериное начало — святости, подписывал свои последние писания то «Дионис», то «Распятый»? Идентифицируя себя с каждым из них, он сам указал на главное противоречие своей личности и философии, которое он попытался преодолеть. В прыжке через эту бездну в поисках выхода из раздвоенности он и сорвался во мрак душевной болезни.

На пороге XX века он предчувствовал силу грядущего катаклизма нашей культуры. «Никто не слышал так явственно, как Ницше, хруст в социальном строении Европы, никто в Европе в эпоху оптимистического самолюбования с таким отчаянием не призывал к бегству — к бегству в правдивость, в ясность, в высшую свободу интеллекта. Никто не ощущал с такой силой, что эпоха отжила и отмерла, и рождается в смертельном кризисе нечто новое и мощное: только теперь мы знаем это вместе с ним» (С.Цвейг).

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА, ИЛИ ГЛЮКЕЛЬ И БЕРТА¹

Гамельн — старинный немецкий городок. Он настолько стар, что попал в сказку. Сказка страшная, просто жуткая. Наверное, вы с ней знакомы. «Крысолов из Гамельна» — так она называется. В сознании немцев Гамельн неотделим от истории, которая якобы приключилась там много лет назад. Играющий на дудочке незнакомец спас однажды Гамельн от полчища крыс. Повинуясь звукам его волшебного инструмента, крысы покинули город, кинулись в реку, и все до одной утонули. Но жадный бургомистр не уплатил обещанного, обманул, обидел крысолова. Через некоторое время незнакомец вновь посетил Гамельн. На этот раз, послушные звукам его трубочки, за ним ушли все дети города и сгинули без следа. Вернулся лишь один ребёнок, слепой и немой от рождения, так что единственный свидетель случившегося ничем не смог помочь несчастным родителям. Пропавших детей так и не смогли найти.

Всякая сказка содержит урок. В этой отразился менталитет немцев: обман, нечестность — преступны. А за преступлением неотвратимо следует наказание. Честность, граничащая с педантизмом, стала визитной карточкой немцев. Обязаны ли они этой сказке о страшном наказании за обман, трудно сказать.

А вот у немецких евреев название Гамельн вызывало совсем иное, светлое воспоминание и связано оно было с образом удивительной женщины — Глюкели фон Гамельн. Её записки, написанные почти триста лет назад, изданные в Германии на рубеже XIX–XX веков, только сейчас переведены на русский язык и вышли в московском издательстве «Лехаим». Впрочем, Глюкель в Гамельне никогда не жила. Она родилась в далёком 1646 году в семье *парнаса* (председателя) еврейской общины Гамбурга. Родом из Гамельна был её муж, фамилию которого она приняла, будучи выданной за него четырнадцатилетней. Муж её, молодой торговец драгоценностями, происходил из благочестивой еврейской семьи, некогда проживавшей в Гамельне и получившей фамилию по названию городка. Ведь было время, когда у евреев вовсе не было фамилий, а немецкий предлог *фон*, «монополизированный» дворянством, частенько указывает на место, откуда был родом тот или иной человек.

Судьба Глюкели была полна превратностей хотя бы уже потому, что принадлежала она к гонимому народу. Она была младенцем, когда евреев изгнали из Гамбурга, и они переселились в Альтону (ныне это пригород Гамбурга). Вскоре после их возвращения в городе появились евреи, бежав-

¹ Опубликовано в журнале: *Лехаим*.

шие из Польши от погромов Богдана Хмельницкого. Отец Глюкели разместил у себя десятерых несчастных. Они занесли в дом болезнь, которую подхватили члены семьи. Глюкель поправилась (ведь её имя на идише — *Счастливая*), а бабушка умерла.

В замужестве Глюкель родила четырнадцать детей, из которых выжила и вывела в люди двенадцать — целую дюжину. Её муж довольно успешно вёл дела, часто бывал в разъездах. Время было беспокойное, на дорогах пошаливали разбойники, да и сама торговля жемчугом, драгоценностями, золотом — дело рискованное. Глюкель была мужу и советчицей, и помощницей. Его внезапная ранняя смерть согнула было её, но не сокрушила. За двести лет до того, как женщины в Европе стали мечтать о карьере, судьба заставила Глюкель стать *бизнес-леди*. Она встала во главе семейного дела: руководила чулочной фабрикой, проводила биржевые операции, продолжала торговлю жемчугом. Теперь ей приходилось часто ездить по делам в различные города Германии. А ведь на её плечах оставалась ещё забота о детях, о доме, о многочисленных родственниках! Она удачно выдавала замуж дочерей, женила сыновей, породнившись со многими достойными и уважаемыми еврейскими семьями. Вот такой была Глюкель — маленькая и хрупкая еврейская женщина. Удивительно, как её на всё хватало!

Второй брак не принёс ей счастья. Её муж оказался банкротом, разорился, умер, и Глюкель лишилась всего. Одна из дочерей взяла мать к себе в Метц, доживала она жизнь на краю её семейного гнезда. Сколько нужно было иметь внутренних сил, чтобы выстоять в борьбе с обстоятельствами, не согнуться под бременем несчастий! Можно назвать её первой «железной леди» в близкий нам исторический период. И всё же вряд ли мы узнали бы о ней, если б она в 1691 году не начала писать записки о своей жизни. В них она обращалась к своим детям. Ей хотелось, чтобы они знали о своих предках, она считала полезным передать им свой немалый и нелёгкий жизненный опыт, она учила их жить по Закону, дарованному евреям свыше, и, следуя ему, добиваться успехов и благополучия в земной жизни. Записки в меру назидательны, её поучения основываются на принципах еврейской морали, завещанной Торой, и на жизненных примерах-уроках.

Семь объёмистых тетрадей оставила своим детям Глюкель. Тетради передавались из рода в род. Они стали семейной реликвией. Семья росла, ширилась. Древо потомков Глюкели было ветвистым. В основном это были коммерсанты, владельцы лавок, финансисты, банкиры, ювелиры, но встречались и раввины, учёные-талмудисты. На пороге XIX века одна из ветвей дала и вовсе удивительный побег: в семье появился поэт, и звали его Генрих Гейне!

Тетради Глюкели между тем ждали своего часа. Он наступил, когда они попали в руки будапештского профессора-литературоведа Давида Кауфмана. Его жена, Ирма Гомперц, состояла в родстве с Глюкелью, она и отыскала тетради. Профессор был потрясён: он держал в руках первое произведение еврейско-немецкой литературы подобного рода. Оно было написано до появления Мозеса Мендельсона, к тому же написано женщиной. Кауфман понял, что перед ним настоящий клад, энциклопедия жизни не-

мецких евреев второй половины XVII — начала XVIII века. Он отнёсся к запискам с пиететом и опубликовал их в 1896 году, не меняя ни слова, на том же языке, каким пользовалась Глюкель, а написаны они были на идише древнееврейскими квадратными буквами. Профессор не учёл одного: ассимилированное немецкое еврейство оказалось неспособно прочесть их. И тогда Берта Паппенхайм, представительница славного рода Глюкели, женщина из породы подвижниц, какие ныне редко встречаются, перевела записки Глюкели на немецкий и опубликовала их в 1910 году небольшим тиражом. В последующие годы «Воспоминания Глюкели фон Гамельн» были переизданы, переведены на английский язык. Теперь они пришли и к русскоязычному читателю.

В Еврейском музее в Берлине есть стенд, посвящённый Глюкели фон Гамельн. Вы там увидите большой портрет, на котором в дорогом уборе XVII века представлена... нет, не Глюкель, а Берта Паппенхайм, принявшая её образ. Меня зацепил пронизательный и взыскующий взгляд её умных глаз. Что-то было в лице Берты, говорящее о неординарности этой уже молодой женщины. На нём читались сильная воля и... затаённая печаль. И я дала себе слово по возвращении в Кёльн покопаться в анналах истории и выяснить, кто такая Берта и с чем связано её перевоплощение.

Берта Паппенхайм и впрямь оказалась личностью известной и незаурядной: настоящим борцом, выдающейся правозащитницей своего времени, лидером движения за права женщин и детей. Филантропка, основательница Союза еврейских женщин Германии (1904), в котором вскоре состояло уже 50 000 членов, многочисленных клубов для девушек, она была в первых рядах выступавших против «белого рабства», против проституции. Участница Всемирных конгрессов женщин в Лейпциге, Лондоне, Мадриде и Торонто, она отважно сражалась за права обездоленных, в первую очередь — матерей-одиночек и внебрачных детей.

Родилась она в 1859 году в Вене в богатой еврейской семье. Берту сызмальства учили музыке, иностранным языкам и хорошим манерам — всему, что подобало знать девушке её круга. Берта обожала отца, но непререкаемым авторитетом для неё была властная мать. Внезапная болезнь и кончина отца стали причиной долгой и мучительной психической болезни Берты. Мать, к этому времени потерявшая старшую дочь, отчаянно боролась за Берту и была при ней неотлучно все годы вплоть до своей смерти.

Переехав вместе с матерью из родной Вены во Франкфурт, где проживали родственники по материнской линии, Берта поначалу стала работать в детском доме для сирот. Богатые родственники материально поддерживали её социальные и педагогические проекты. К этому времени молодая женщина окончила в Карлсруэ краткосрочные курсы по уходу за больными. Первая книга, которую она опубликовала анонимно, предназначалась детям и носила название «Рассказы для маленьких детей» (1888). С 1895 года Берта руководит еврейским сиротским приютом для девочек. В 1907 году она создаёт Дом призрения Еврейского женского союза под Франкфуртом, в Нойе-Изенбурге.

Берта часто выступала в печати как публицист. Она, несомненно, была литературно одарённой, много писала, переводила, сохранилось далеко не всё из написанного ею. Она сама разработала программы воспитания и обучения девочек для Дома в Нойе-Изенбурге, где было место и религии, и эстетики, и подготовке к ведению домашнего хозяйства и семейной жизни. В 1914 году к этому детскому дому прибавился Дом для беременных и кормящих матерей. Спустя четыре года комплекс насчитывал уже четыре здания.

С просьбой о материальной поддержке Берта стучалась во многие двери и добивалась понимания и отклика. Среди её знакомцев и корреспондентов — Ротшильды и Стефан Цвейг, Бетти Гуттенхайм и Мартин Бубер, сын художника Морица Оппенгейма Йозеф, тоже художник, философ и писательница Маргарет Зусман.

В связи с погромами в России в начале XX века поднялась волна еврейской эмиграции. Путь в Америку пролегал через Европу, через Германию. Эмансипированные немецкие евреи кто с сожалением, а кто и с презрением взирали на своих восточноевропейских соплеменников, неграмотных в подавляющем большинстве, забитых людей, изнурённых голодом и болезнями, в рваной одежде какого-то немислимого покроя. Самое жалкое зрелище являли собой дети обездоленных. Берта Паппенхайм принимала в их судьбе живейшее участие, вникала во все мелочи вплоть до раздачи горячего питания. Она ездила не только в Америку и Палестину читать лекции и решать проблемы иммигрантов, но не раз побывала и в Галиции, Польше, Румынии, а в мае 1912 года добралась до России. В письмах, отправленных из гостиницы «Националь» в Москве, она упоминает о посещении Третьяковской галереи. На письмах из Петербурга указан адрес: «Гранд-отель Европейский».

Она и в Советском Союзе побывала в 1926 году, её интересовал опыт работы еврейской сельскохозяйственной колонии, поддерживаемой сионистской организацией Агро-Джойнтом. Многочисленные письма, связанные с её поездками по миру, с единственной целью помощи страждущим, она соберёт в книгу, которой даст название, отвечающее сути её подвижнической работы — «Сизифов труд».

В её активе — выпуск листков Еврейских женских союзов, женских календарей, альманахов, где публиковались еврейские поэты и мыслители, работы еврейских художников и документы, дающие представление о жизни евреев, особенно еврейских женщин.

Кипучая деятельность Берты Паппенхайм сделала её имя известным в Германии, но с приходом нацистов к власти оно перестало появляться в прессе. Однако даже во время антисемитской вакханалии, развязанной наци, Берта не ощущала себя гонимой. Германия — её родина, здесь более трехсот лет жили её предки, и все они были людьми достойными и уважаемыми. Среди них, к примеру, — Генрих Гейне и Дженни фон Паппенхайм, близкая подруга Рахель Фарнхаген, чей салон в Берлине привлекал не только знать, но выдающихся учёных вроде Гумбольдтов, там перебивали почти все немецкие романтики. И ей бежать со своей родины?!

Будучи оппонентом деятелей сионистского движения, Берта Паппенхайм оставалась противницей эмиграции немецких евреев. Ей, вовремя ушедшей из этого мира, не пришлось разделить их ужасной судьбы. Её духовная дочь Ханна Кармински, находившаяся при ней неотлучно в последние годы, её ближайшие подруги и сподвижницы были депортированы в 1942 году и погибли. Девушки Дома в Нойе-Изенбурге, у которых был выбор между депортацией в лагеря или работой в борделях, избрали третий путь: все до единой в одночасье приняли яд. Маленький домик Берты и все четыре здания приюта были подожжены в так называемую «хрустальную ночь» всегерманского погрома в ноябре 1938-го и разрушены.

Берта Паппенхайм умерла в 1936 году в возрасте 77 лет, вскоре после посещения гестапо, куда её вызвали в связи с тем, что одна из её воспитанниц назвала Гитлера предателем. Смертельная угроза нависла над всеми: над детьми, девушками, персоналом. Её же обвиняли как попечительницу заведения, ответственную за всех и всё. Она не оправдывалась. Да, возможно, Мария и сказала так, но нельзя же возлагать ответственность на всех за слова слабоумной девочки. То ли её спокойствие отрезвило гестаповцев, то ли они увидели перед собой смертельно больную старую женщину (в 1935 году она перенесла онкологическую операцию) и поняли, что она уйдет из жизни без их вмешательства, но ей было позволено беспрепятственно покинуть заведение, уже тогда наводившее ужас. Через месяц она скончалась.

Мартин Бубер в письме-соболезновании (июнь 1936) признался, что он не только уважал, но и любил Берту Паппенхайм: «Бывают люди духа, бывают люди страсти, их не так уж и много, как некоторые думают, но ещё реже встречаются люди, в которых духовность соединена со страстностью. Берта Паппенхайм была человеком *страстного духа*.

Могла ли она позволить себе не быть сильной и твёрдой, настойчивой и неотступной, и пусть бы всё шло, как шло, и оставалось, как было? Она жила в такое время, когда чистое пламя ещё не утасло, иначе она бы его никогда не познала, она бы просто не верила, что оно существует.

Ныне это высокое чистое пламя погашено (Вспомните, в какие времена написаны эти строки, и вы поймёте, что Бубер имел в виду под чистым пламенем. — *Г.И.*), и нам остался лишь его образ, который продолжает жить в сердцах тех, кто его знал. Передавайте его другим, делитесь воспоминаниями, свидетельствуйте о нём!» Да, Берта Паппенхайм всю жизнь сгорала на костре самопожертвования, сгорала, но не сгорела, ибо и впрямь была наделена пламенным духом.

В 1954 году в Германии вышла серия почтовых марок «Помощник человечества» (*Helfer der Menschheit*). Одна из пяти марок была посвящена Берте Паппенхайм. Она оказалась в одной компании с англичанкой Флоренс Найтингейл и немкой Кэте Кольвиц. Спустя восемнадцать лет после кончины она не была забыта.

В ту же пору имя этой выдающейся женщины неожиданно оказывается в эпицентре сенсационных публикаций совсем иного свойства. Один из дотошных биографов Зигмунда Фрейда, а именно Эрнст Джонс, раскапывает более чем полувекую тайну и обнаруживает имя пациентки, течение

болезни и лечение которой описаны в совместной книге Зигмунда Фрейда и Йозефа Брейера «Изучение истерии» (1895) как «случай Анны О.». Эта книга — первая работа по психоанализу. Сам Фрейд признался, что психоанализ начался со «случая Анны О.». И вдруг мир узнаёт, что Анна О., «первая дама психоанализа», — не кто иная, как Берта Паппенхайм! Уже одного этого вполне хватило бы на биографию.

Психоанализ стал после Второй мировой войны «новой религией» Запада, особенно в США. Можно представить, какой эффект имела эта публикация. Разумеется, в тайну Анны О. был посвящён очень узкий круг: сама Берта, её ближайшие родственники и сорокалетний доктор Брейер, успешно практикующий невропатолог, лечивший девушку от внезапного острого психического расстройства.

Это было психосоматическое заболевание. Сидя довольно долго у постели занемогшего отца (лёгочная болезнь протекала у него бурно), Берта впала в состояние грёз наяву. Она увидела, как со стены ползала к больному чёрная змея с намерением его ужалить. Она хотела её отогнать, но не могла пошевелиться. У неё отнялись правая нога и рука. Девушке показалось, что пальцы её онемевшей руки превратились в маленьких змеек с мертвыми головами. Змея и мёртвая голова! Эти образы стали её преследовать. Берта слегла накануне смерти отца. Ей только исполнился двадцать один год. Руки отказались ей служить, голову она поворачивала с трудом. Несмотря на сильную жажду, пить и есть она не могла, проглатывала лишь дольки апельсина. Она утратила способность говорить на родном языке и даже понимать его. Когда к ней вернётся дар речи, она заговорит по-английски (Берта знала ещё французский, итальянский, идиш и могла писать на иврите). Её голубые глаза смотрели, но не видели. Она не различала букв. Задлый книгочей, она не могла прочесть ни строчки. И постоянные ужасные головные боли, и бред, бред, бред. Ко всему добавились ещё и приступы дикого кашля. Мать Берты была в страшной тревоге. Когда-то её любимого брата унесла скоротечная чахотка. Неужто и у дочери туберкулёз?!

Доктор Йозеф Брейер, великодушный диагност, дважды в день посещавший респектабельный и роскошный дом Паппенхаймов в центре Вены, лечил Берту лёгким гипнозом, во время которого побуждал пациентку «выговаривать» её страхи, после чего симптомы болезни на некоторое время исчезали. Сама больная дала этой методике название «лечение разговором» (talking cure). Брейер же назвал эффект древнегреческим словом «катарсис» (очищение). Это понятие некогда использовал Аристотель, объясняя воздействие трагедии на душу потрясённого зрителя.

Врачу почти удалось вернуть пациентку к жизни. Лечение и их ежедневные встречи продолжались полтора года. Берта влюбилась в своего спасителя. Это пошло ей на пользу. Эротическое поле, возникшее между ними, оживило её. Доктор был уверен в исцелении пациентки, в том, что она больше в нём не нуждается. Он решает на свадебное путешествие, а уже через день ему звонит мать Берты и сообщает о сильнейшем нервном припадке дочери. Ревность и страсть его подопечной настолько испугали врача (ведь уже однажды, войдя в транс, больная имитировала родовые

схватки и кричала, что она беременна от него, но на следующий день не помнила этого), что он отказался от дальнейших сеансов терапии, от общения с Бертой и порекомендовал курорт. В течение шести лет Берта выезжала на лечение почти ежегодно и подолгу находилась в санаториях и частных клиниках особого типа. Мать неизменно сопровождала дочь.

Доктор Брейер познакомил своего молодого друга Зигмунда Фрейда, в ту пору студента последнего курса, с историей болезни Берты Паппенхайм. Фрейд пребывал весь в поисках, сомнениях, заходил в тупик и очень трудно продирался к истине. Это был «героический период» жизни учёного, в конце которого он пришёл к своему величайшему научному открытию о роли бессознательного в психической жизни человека. «Случай Анны О.» сыграл роль катализатора.

Открываю том Фрейда и нахожу текст лекций «О психоанализе», которые он читал в США в 1909 году. Они начинаются с рассказа о случае д-ра Брейера. Фрейд пишет о том, что д-р Брейер отнёсся к своей пациентке с симпатией и большим интересом, хотя и не знал сначала, как ей помочь. «Может быть, она сама помогла ему в этом деле *благодаря своим выдающимся духовным и душевным качествам* (выделено мною. — Г.И.), о которых Брейер говорит в истории болезни». Как замечательно, что оба они подтвердили наличие этих качеств у героини нашего очерка! Если её имя окружено ореолом, то не благодаря сенсации, а потому что он исходит от неё самой, от её личности.

Открытие тайны Анны О. пробудило интерес к личности Берты Паппенхайм. Отныне авторы её биографий ставят этот «случай» во главу угла и через него пытаются понять природу личности и жизнь этой необыкновенной женщины. «Тайна Анны О.» — так называется книга Люси Фриман, вышедшая в Мюнхене тридцать лет назад. «Анна О. — Берта Паппенхайм» — биографическое исследование Марты Brentцель, изданное совсем недавно, в 2002 году, в Гёттингене.

Знакомясь с этими книгами, я не могла отделаться от ощущения, что вся эта история с «тайной» мне уже знакома. Ну конечно же! Это прочитанная лет десять назад драма Жана-Поля Сартра «Фрейд», первоначально задуманная как киносценарий. Сартр писал сценарий по заказу знаменитого голливудского режиссёра Хьюстона, но тот счёл сценарий «неснимаемым».

Берта Паппенхайм выведена Сартром под именем Сесили. Хочу заметить, что французский писатель, создавая этот образ, во многом отступил от истории болезни пациентки доктора Брейера, подчинив его своему общему замыслу. Тем не менее, я её узнала. В 1962 году фильм «Фрейд, тайная страсть» вышел на экраны, но снят он был не Хьюстоном. Сартр хотел, чтобы роль Сесили играла Мэрилин Монро, но и этого не случилось. А драму свою Сартр опубликовал лишь в 1984 году.

В 1992 году американский писатель еврейского происхождения Ирвин Ялом выпускает очередной бестселлер «Когда Ницше плакал». И в этой захватывающей книге, переносящей читателя в Вену конца XIX века, ведутся разговоры об этой удивительной девушке, в которой поразительная красо-

та соединена с умом, невинность и чистота — с дремлющим эротизмом и творческим потенциалом, о девушке, имя которой доктор Брейер, как ему казалось, надёжно закодировал.

Думала ли я, стоя перед портретом Глюкели фон Гамельн, какие потрясающие открытия меня ждут, когда я начну знакомиться с историей его модели, с жизнью Берты Паппенхайм?! Самое большое чудо в истории Анны О. — это то, что эта, казалось, безнадежно больная истерией девушка (д-р Брейер поначалу даже думал, что только смерть избавит её от мучений) превратилась в привлекательную энергичную женщину, чьи достижения и заслуги с уважением признала вся Европа.

Конечно, вопросы остались. Не была ли её безудержная деятельность, направленная на совершенствование мира, стремлением убежать от самой себя? Или это был способ заполнить пустоту, в которой она себя ощущала с детских лет? Её ведь воспитывали как кисейную барышню, и даже пансион для благородных девиц она посещала. Почему свободные минуты, выпавшие ей, были для неё проклятием? И, наконец, самый главный вопрос — почему этой красивой и богатой женщине, наделённой не только живым умом, но и чувством юмора (не забывайте, она из Вены!), было отказано в семейном счастье, в радости материнства, ей, которая так любила детей?! Она посвятила себя чужим детям, она нашла себя в этом страстном служении. Но она при этом оставалась бесконечно одинокой. Одиночество и есть главная тайна Берты Паппенхайм. Лишь однажды она пожаловалась: «Мне не отпущено любви». Слова эти стали лейтмотивом никогда не публиковавшегося при жизни её стихотворения под этим же названием. Вот откуда на её портрете (в образе Глюкели) в морщинке у рта — затаённое страдание.

Но обратимся, наконец, к портрету. Известно, что он был написан маслом в 1925 году художником Пиликовским. Портрет пропал. Однако репродукции дважды появлялись в печати: в Календаре союза еврейских женщин (1925) и в Листке этого союза (1932), только благодаря этому мы смогли с ним познакомиться. Как и почему возникла у Берты идея предстать в образе Глюкели?



После смерти матери, происходившей из семьи франкфуртских банкиров Гольдшмидтов, Берта побывала в Вене у младшего брата, который стал к тому времени преуспевающим адвокатом и издателем. Разбирая семейный архив, она стала создавать генеалогическое древо семьи и окончательно удостоверилась, что по материнской линии они состоят в родстве с Глюкелью из Гамельна, родившейся в Гамбурге за пару лет до окончания кровопролитной Тридцатилетней войны. Если быть совсем точной, Гольдшмидты вели свой род от сестры мужа Глюкели.

О значимости «Воспоминаний Глюкели фон Гамельн» как литературного памятника написано немало. Берте мемуары были хорошо известны, поскольку первое их издание появилось в 1896 году именно во Франкфурте. Берта, прочитав воспоминания, сразу отметила, что между ней и Глюкелью

прослеживается некоторое сходство судеб и ситуаций. Отец Глюкели, как и её собственный, стоял во главе еврейской общины. Она, как и Глюкель, владела идишем. Обе они принимали близкое участие в судьбе гонимых восточноевропейских евреев.

Берта решает заняться переводом на немецкий воспоминаний своей далёкой родственницы. Текст она получила от жены покойного профессора Кауфмана, первого публикатора мемуаров Глюкели. Брат Берты поддержал её идею. Роскошное издание вышло в Вене в 1910 году небольшим тиражом — исключительно для родных и знакомых. Лишь несколько экземпляров было отправлено в библиотеки, в продажу книга не поступала. Она была снабжена выполненными Бертой предисловием и генеалогическими таблицами, демонстрирующими связь рода со многими другими известными еврейскими семействами. Перевод удался, единственное критическое замечание, которое сделают впоследствии исследователи, состояло в том, что он был слишком «германизированным».

Работа над переводом длилась много месяцев, и всё это время Берта была погружена в прошлое. Она сроднилась с Глюкелью, она как бы заново проживала её жизнь, с нею вместе радовалась, печалилась и страдала. Хотя ей самой не довелось рожать и воспитывать детей, Берта вывела в большую жизнь тысячи чужих. Она продолжила семейную традицию помогать бедным и гонимым. Но главное — она явственно ощутила духовную связь с Глюкелью, восприняла её как сестру по духу. Для неё Глюкель была воплощением энергии, независимости и преданности семье и своему народу. Именно это и подвигнуло Берту заказать свой портрет в образе её далёкой предшественницы.

Зная о пристрастиях Глюкели к жемчугам и украшениям из кораллов, Берта предпочла украсить себя иначе. Глюкель предстаёт в довольно-таки сложном чепце, как и подобало в то время замужней еврейке, которая не могла показываться на людях с непокрытой головой. На ней богатая меховая душегрейка. Украшением же служат гофрированный круговой воротник (их можно видеть на портретах Рубенса, Ван-Дейка, Франса Хальса) и высокие кружевные манжеты. Такие манжеты носит у Фейхтвангера современник Глюкели еврей Зюсс. Стоили они бешеных денег. Мы же их помним по стихам Гумилёва о капитанах, тех, «кто бунт на борту обнаружив, / Из-за пояса рвёт пистолет, / Так что сыпется золото с кружев. / С розоватых брабантских манжет». У Берты хранился портрет её матери в молодости, на котором Реха Гольдшмидт была представлена в тончайших брюссельских кружевах. И больше никаких украшений. Берта почитала мать и доверяла её вкусу.

Костюм, в котором позировала Берта, был стилизован под эпоху Глюкели. Но как быть с горькой складочкой у губ? Соответствует ли она душевному настрою Глюкели в возрасте Берты?

В первой книжке своих воспоминаний Глюкель рассказывает притчу о трёх птенцах, которых их отец переносил через бурное море. Берта любила её пересказывать. Когда отец нёс, выбиваясь из сил, первого, спросил он птенца, станет ли он так же заботиться о нём, когда он состарится и станет беспомощным. Птенец ответил: «Ты только донеси меня до безопасного

места, а когда ты состаришься, я стану делать всё, что ни попросишь!» И тут отец разжал когти, сказав, что не хочет спасать лгунишку. Со вторым птенцом повторилась та же история. Третий и последний птенец сказал, что благодарен отцу за то, что он рискует собой ради него, и стыдно будет ему не отплатить тем же, когда отец состарится. Но обещать ему это твёрдо он не может, а может лишь сказать, что когда у него будут свои дети, он сделает для них столько же, сколько отец делает для него. И похвалил отец сына за честный и мудрый ответ и донёс до берега.

Чему учит эта притча? Безусловно, она учит честности. Глюкель завещает своим детям жить по чести, по совести, а главное — честно вести свои дела, это — залог успеха. У многих немцев (и не только немцев) бытует предствление о евреях как о жуликах, эдаких *шахер-махерах* (существует даже такое немецкое выражение «*schachernde Juden*»). Между тем наша Глюкель из Гамельна заповедовала детям честность. Кто знает, может быть, здесь сказало влияние Гамельна, где некогда приключилась страшная история, поучительный урок из которой извлекли не только немцы, но и евреи.

Но сейчас разговор о другом. Не находите ли вы, что в той правде, которую в рассказанной притче услышал отец от своего третьего сына, есть горчинка? Знаю, знаю, что горькая правда лучше сладкой лжи. Но горькая правда причиняет боль. Глюкель не жалела сил ради детей, ибо на этом правиле держится мир. Эта женщина трезвого ума понимала, что дети не могут жертвовать собой ради родителей, это противозестественно. Почитать — да, но не жертвовать собой. Умом она всё расчислила и приняла эту истину. Но сердцу не прикажешь, а оно у стариков часто шемит, оно более ранимо.

А что уж говорить о Берте Паппенхайм?! Может быть, лучше предоставить слово ей самой? Приведём стихотворение, написанное ею в 1911 году, и поставим на этом точку. А вы, прочитав его, ещё раз посмотрите на портрет Берты в образе Глюкели и задержите на нём взгляд.

Мне не отпущено любви.
Я как растение без света.
Никто не скажет мне: живи!
Мне не отпущено любви.
Как скрипка я без скрипача,
А вы поёте, соловьи...
Мне не отпущено любви.
Как лошадь, взнузданная долгом,
К работе рвусь, лишь позови!
Мне не отпущено любви,
Как воин, я готова к смерти,
Она живёт в моей крови¹.

В том, что Глюкель из Гамельна благодаря Берте Паппенхайм пережила второе рождение, сомневаться не приходится. В начале 2000 года нью-йоркская авангардистская труппа *La MaMa E.T.C's Annex Theater* с успехом представила мюзикл «Воспоминания Глюкели фон Гамельн». Глюкель и Берта продолжают жить среди нас.

¹ Перевод Риммы Запесоцкой.

ЕВРЕЙ ЗЮСС КАК ЗНАКОВАЯ ФИГУРА¹

*Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется.*

Ф. Тютчев

Время, приоткрывшее завесу над тайнами отечественной и мировой истории, потребовало многих переоценок. Среди книг, которые нуждаются в новом прочтении, — первый и самый известный роман Лиона Фейхтвангера «Еврей Зюсс». Одна из самых любимых книг весьма почитаемого в бывшем Союзе писателя не стала до настоящего времени предметом пристального чтения филологов (предисловия и комментарии не в счёт, тем более что часть из них грешит неточностями, которые кочуют от одного издания в другое).

Этот исторический роман интересен как яркое повествование о жизни и деятельности самого знаменитого придворного немецкого еврея, жившего на рубеже XVII–XVIII веков. Придворные евреи — банкиры и маклеры — уже долгие годы служили своим немецким господам — от курфюрстов до кайзеров — и в мирное, и в военное время. Они оказывались не только кредиторами, поставщиками, но и дипломатическими посредниками, весьма полезными осведомителями и при этом чаще всего оставались в тени. Разумеется, этот аспект еврейско-немецких отношений заслуживает внимания, им не стоит пренебрегать, тем более что «случай Зюсса» по-своему уникален. Но удалось ли Фейхтвангеру сохранить верность исторической правде?

Узнав, что в 1940 году по личному указанию Геббельса и под его несусыпным контролем был снят антисемитский фильм «Жид Зюсс», я задаюсь ещё одним вопросом: есть ли в этом вина Фейхтвангера, дал ли он нацистам повод — пусть самый малый — использовать его роман для их гнусных целей? Этот вопрос стал побудительным мотивом для нового прочтения книги, воспринимаемой многими евреями как национальное достояние. А покушаться на святое опасно. Но этот вопрос не давал покоя. Лишь беспристрастный анализ поможет решить: как могло случиться, что роман о еврее, написанный евреем, привлёк внимание министра пропаганды Третьего рейха в то время, когда в Германии уже отпыляли костры из книг и шли приготовления к тому, чтобы сжигать самих евреев? Так что же в этом романе сработало в пользу юдофилов?

¹ Опубликовано в журналах: *Вестник*. Балтимора, 2003. №№ 9,10; *Nota Bene*. Иерусалим, 2005. № 7.

Скелет в шкафу, или Старая антисемитская легенда

В 1918 году Фейхтвангер опубликовал пьесу «Еврей Зюсс». Тема продолжала его занимать, и спустя четыре года он завершает роман под таким же названием. Он не был уверен в успехе, полагая, что его призвание — драматургия. Пришлось долго искать смельчака, который решился бы напечатать роман неизвестного автора. Столетием ранее молодой Генрих Гейне, вручая издателю рукопись первых стихов из будущей «Книги песен», заметил: «Я вам абсолютно неизвестен, но я надеюсь стать известным благодаря вам». Фейхтвангер отлично знал биографию поэта, ведь предметом его диссертации стал «Бахаракский раввин», неоконченное произведение Гейне. Трудно сказать, как автор «Зюсса» обольстил своего издателя: пошёл ли по стопам Гейне или придумал свой ход. Роман вышел из печати в 1925 году и принёс автору широкую известность.

Однако сразу после выхода книги на Фейхтвангера посыпались обвинения: немецкие шовинисты восприняли её как еврейско-националистическую, а евреи — как антисемитскую. Оценки эти крайние, но крайности, бывает, сходятся. Отбиваясь от нападков, Фейхтвангер написал небольшую, но достаточно путаную статью «О романе “Еврей Зюсс”» (1929). Он выражал уверенность, что ни сионисты, ни национал-социалисты на его книге капитала не приобретут. Видимо, мнение шовинистов уязвляло романиста больше, потому он в статье всячески отрицал намерение «как-нибудь выгородить этого Иосифа Зюсса или разрушить антисемитскую легенду».

О какой легенде идёт речь? Начиная со средних веков, евреи, постигшие тайну золота, изобретатели кредита, этой алгебры богатства, представлялись основной массе немцев магами и чародеями. Их не только презирали и ненавидели, их боялись, как боятся колдунов, злых демонов. Фейхтвангер не пренебрёг демонической фигурой еврея, возникшей в эпоху Средневековья в результате специфического сочетания культурных и исторических факторов, определявших жизнь христианской Европы. Этот мифический образ, вытеснивший из средневекового сознания реального еврея, был создан общими усилиями. Ранняя христианская теология трактовала еврея как дьявола во плоти. Согласно христианской «демонологии», оформившейся в писаниях отцов Церкви, эти злобные и развращённые приспешники сатаны, отвергшие и распявшие Иисуса, ожидают своего Мессию, Антихриста. Для христиан Средневековья виновность евреев была фактом очевидным, они были убеждены в их злодейской сущности, боялись и ненавидели одновременно.

Инквизиция прибавила к образу еврея обвинения в ереси, в осквернении христианских святынь, поддержала кровавый навет. Народные массы, вековые предрассудки которых подогревались клиром, распространяли легенды о евреях — колдунах и отравителях. О том, как ковался образ «врага», подробно рассказано в книге Джошуа Трахтенберга «Дьявол и евреи» (в 1998 г. издана на русском языке).

Антисемитская легенда, рождённая в глухие времена Средневековья, представляющая еврея исчадием ада, главным врагом христианина после дьявола, была в Германии в конце XIX столетия реанимирована, а в XX веке благодаря усилиям нацистских идеологов переживала второе рождение. Развенчать легенду было бы весьма своевременно, берясь за такую «горячую тему», как история Зюсса. Так ведь нет, Фейхтвангер не захотел её разрушать, о чём публично заявил в 1929 (!) году.

Племянник писателя, д-р Эдгар Фейхтвангер, профессор новейшей английской и германской истории в Саутгемптонском университете, в статье о двух фильмах, посвящённых еврею Зюссу (статья опубликована в журнале «*Damals*». 2004, № 3), высказал любопытную мысль о том, что Фейхтвангер писал роман, находясь под впечатлением от убийства министра иностранных дел Вальтера Ратенау в 1922 году. По мнению родственника писателя, судьба погибшего Ратенау определённым образом преломилась в романе в образе Зюсса. И впрямь, оба были евреями, достигли значительных высот и были убиты на почве антисемитизма. Если это так, тем более трудно понять, почему Фейхтвангер отказался разрушать легенду, подпитывавшую современный ему антисемитизм.

Назад в XVIII век, или Зюсс как лицо историческое

Путешествия в прошлое не заказаны никому. Один из способов окунуться в исчезнувший мир немецких евреев — побывать в недавно открывшемся Еврейском музее в Берлине. Продвигаясь по его залам, невозможно миновать отдел, посвящённый Йозефу-бен-Иссахару Зюскинду-Оппенгеймеру. Таково полное имя человека, вошедшего в сознание миллионов как еврей Зюсс. Еврей Зюсс — личность историческая и одновременно легендарная. Он родился в 1698 году в Гейдельберге в семье купца, настолько состоятельного, что семья никогда не жила в гетто, а арендовала дом в центре (впрочем, в Гейдельберге гетто и не было).

Зюсс с детства проявил незаурядные способности к торговым и денежным делам, готовился пойти по стопам отца, но тот умер, когда мальчику было девять лет. Мать Зюсса, красавица Михеле, дочь известного франкфуртского *хазана* (кантора), вышедшая замуж в семнадцать лет, после смерти мужа осталась с тремя детьми на руках. Кроме них было двое пасынков, достаточно взрослых и самостоятельных. Молодая вдова покинула Гейдельберг, препоручив сына и двух девочек заботам богатых родственников покойного мужа. Евреи её безоговорочно осудили. Возможно, тогда досужие языки и пустили слух о том, что Зюсс был внебрачным сыном этой беспутной красавицы. Опекуном детей стал дядя Оппенгеймер, брат известного Самуэля Оппенгеймера, главного кредитора австрийской короны.

В Гейдельберге в ту пору проживало всего 13 еврейских семей. Дядя Зюсса, избранный председателем общины, выделил в своём доме молитвенную комнату, которая стала маленькой синагогой. Дядя был коммерсантом, финансистом, управлял хозяйством двора. Зюсс прошёл у него хо-

рошую школу и к двадцати годам смог начать самостоятельную финансовую деятельность в Маннхайме, который в ту пору называли «новым Иерусалимом», ибо 12% жителей составляли евреи. Родственные связи с вездесущими Оппенгеймерами открыли ему двери многих особняков.

В 1732 году Шимон Ландау, управляющий делами австрийского наместника в Сербии фельдмаршала Карла-Александра, представил Зюсса своему господину как своего возможного преемника. Зюсс предложил Карлу-Александру, который был старше его на 14 лет, услуги советника и личного финансиста. Услуги были оценены, и, когда Карл-Август через год неожиданно унаследовал трон герцога вюртембергского, Зюсс занял пост его тайного советника по финансам и переехал в Штутгарт.



Протестантский Вюртемберг начала XVIII века — наиболее косная и отсталая немецкая глубинка, как, впрочем, и вся Швабия. Жизнь здесь провинциально-мещанская, обыватели враждебны к внешнему миру, новым знаниям и веяниям, недоверчивы к чужакам, тем более — ко всякой независимой личности. Вместе с тем конституция этого протестантского государства вручала значительную власть и финансовый контроль парламенту, ограничивая абсолютную власть герцога. В своё время англичанин Чарльз Джеймс Фокс, глава партии вигов в британском парламенте, заявил, что в Европе имеется лишь две конституции — британская и вюртембергская. Впрочем, было бы большим преувеличением считать, что эта это южногерманское государство стояло на пороге либерализма. Власть здесь находилась в руках коррумпированной клики, вовсе не заинтересованной в реформах. А пришлый реформатор Зюсс оказался ещё и евреем.

Если во Франкфурте, главном финансовом центре Германии, где в 1711 году проживало более трёх тысяч евреев (16 % всего населения), у входа в городской парк красовалась надпись: «Ни один еврей и ни одна свинья не имеют права входить сюда», то можно представить, какая атмосфера ненависти окружала Зюсса, едва ли не единственного еврея, которому было дозволено проживать в Штутгарте, где он владел двухэтажным особняком, под пером Фейхтвангера превратившимся в роскошный дворец. Евреи были изгнаны из Вюртемберга в 1498 году, больше двухсот лет они не появлялись в Швабии, пока метресса герцога Эберхарда Людвига графиня Вюрбен не пригласила в Штутгарт придворного еврея Исаака Ландауэра с его чадами и домочадцами.

У ненависти швабских патриотов к евреям была не только религиозная, но и экономическая подоплёка. Кипучая деятельность чужака Зюсса (который реформировал финансовое управление, стал чеканить монету, ввёл государственные монополии на соль, кожу, вино, табак, на игорные дома и кафе с сомнительной репутацией; основал первый банк и мануфак-

туру по изготовлению фарфора; вёл торговлю драгоценными камнями и чистокровными лошадьми, существенно пополняя герцогскую казну, но не упуская и свой интерес) представлялась гражданам враждебной. Бесконечными поборами, беззастенчивым торгом чинами и должностями (до сих пор они переходили по наследству) он восстановил против себя средние слои, хотя действовал от имени герцога.

Кроме социальной ненависти имела место и социальная зависть. Знать ненавидела Зюсса за то, что он своими нововведениями ослаблял зависимость от неё герцога. Герцогу же присутствие умного оборотистого еврея было выгодно: он всегда мог ссудить деньгами, открыть для государя новые источники дохода (в ущерб кошелькам его подданных), взять на откуп налоги или чеканку монеты, что делал с большим успехом. Да мало ли какие услуги оказывал еврей Зюсс своему господину, человеку, не обременённому нравственностью и к тому же деспотичному!

Шестым чувством чужая опасность, Зюсс решил покинуть двор вопреки воле герцога и стал готовиться к отъезду. Он намеревался вступить в брак с дочерью банкира Коэна из Метца, о чём уже велись переговоры. Карл-Август умер неожиданно, в одночасье, 13 марта 1737 года, и в ту же ночь Зюсс был арестован, заточён в каземат, скован кандалами.

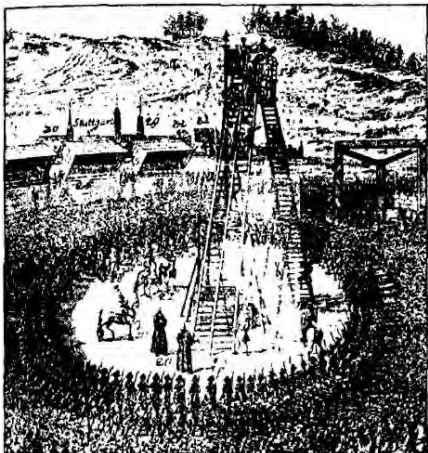
Следствие по делу Зюсса тянулось почти год. Его обвиняли в государственной измене, в участии в заговоре католиков против лютеран, в оскорблении их величеств, в противозаконности многих его действий (в частности — учреждении монополий) и даже в порче монеты (хотя его монета высоко котировалась в немецких землях). «Ты давал погубительные советы, ты имел колдовское влияние на государя», — таково было мнение судей.

В процессе следствия допрашивали женщин, которым вменялась в вину связь с иудеем. Зюсс был шармёром и пользовался успехом у женщин, галантный XVIII век не считал это предосудительным. Но длительных связей за ним не водилось. Однако грех был: Зюсс принуждал к сексуальным отношениям многих просительниц, пользуясь их зависимостью, иногда это выливалось в откровенное насилие. За полгода до ареста сошёлся он с двадцатилетней Люцианой Фишер, старшей дочерью из добропорядочной и благородной протестантской семьи, проживавшей в Бад-Кройцнахе. Зюсс познакомился с ней во Франкфурте в 1736 году, пленился её молодостью, красотой, умом и ввёл в свой дом. Она была арестована вместе с Зюссом, но отрицала сексуальную связь с ним. Это было бессмысленно: Люциана была беременна. Младенец, которого она родила в заточении, был обречён: пронизывающий холод камеры не оставил ему никаких шансов на жизнь. Зюсс узнал о рождении и смерти сына, уже стоя одной ногой на эшафоте.

По ходу следствия муссировалась легенда о внебрачном происхождении Зюсса. Его отцом называли генерала Георга Эберхарда фон Геддерсдорфа. Но в 1692 году, когда генерал командовал войсками и был военным комендантом Гейдельберга, матери Зюсса Михеле было всего тринадцать лет, к тому же проживала она во Франкфурте. Сына она родила в 1698 году, когда бывший генерал, разжалованный судом немецкого рыцарского ордена в 1693 году в Гейльбронне как предатель, за то что сдал Гейдельберг

французам без боя на поток и разграбление, был изгнан за пределы Швабии и скрывался в женском монастыре на Неккаре. Его встреча с Михеле была просто невозможной. Но легенды, как известно, живучи. На эту легенду, которую Фейхтвангер использовал в романе, «купились» многие советские критики.

Зюсс был приговорён к смерти. В приговоре не были обозначены мотивы решения, а потому и отсутствовали ссылки на законы. Всё было изначально предрешиено. 4 февраля 1738 года население Штутгарта и прилегающих деревень с утра пораньше высыпало на улицы. Магазины и лавки были закрыты. Все городские ворота находились под усиленной охраной. Пришлых евреев накануне изгнали из города. 2000 солдат окружили рыночную площадь по периметру, их шеренги стояли вдоль всего пути следования — от здания парламента до места казни. Приговор был оглашён в 9 утра. На протяжении всего пути осуждённый читал еврейские молитвы. Четыре палача ввели его на эшафот, и через мгновение Зюсс уже качался в петле. Ко дню казни местные умельцы изготовили железную клетку с откидным полом, в ней тело повешенного провисело около шести лет для устрашения евреев.



Казнь Зюсса. Старинная гравюра

Посетитель Еврейского музея в Берлине может ознакомиться с некоторыми документами, свидетельствующими о размахе деятельности Зюсса Оппенгеймера, и признать в нём личность, намного опередившую своё время. Но даже если пренебречь документами, мимо железной клетки, спускающейся с потолка, не пройти. Это — модель той, в которой Зюсс был повешен в Штутгарте в завершение своей блистательной карьеры.

Жизнь после смерти

Находясь в заключении, Зюсс предсказал, что после смерти о нём будут долго вспоминать, сочинят множество небылиц, которые разлетятся по свету, и он не ошибся. Посмертная история Зюсса — это зеркало сложных и неровных немецко-еврейских отношений, которые по сей день остаются проблематичными. Отношение к Зюссу и его судьбе — своего рода лакмусовая бумажка. Поначалу после его смерти появилось множество обличительных памфлетов и трактатов, баллад, пасквильных листков, гравюр, изображавших позорную казнь «лжеца и мошенника» Зюсса. Затем интерес к нему угас.

Спустя почти столетие молодой романтик Вильгельм Гауф, сказочник и новеллист, родом из Штутгарта, обратился к истории Зюсса. Романтики тяготели к прошлому и одновременно к экзотике, выбор Гауфа оказался удачей. К тому же процесс эмансипации немецких евреев набирал силу. В новелле Гауфа «Еврей Зюсс» (1827) герой представлен энергичным исполнителем воли герцога. Он идёт на подкуп, на хитрости и нечестие, чтобы угодить господину, удовлетворить его тиранические наклонности. При этом его собственная жажда власти также оказывается утолённой. Хотя новелла Гауфа не свободна от антисемитских клише, еврей Зюсс впервые предстаёт в ней как жертва неправого суда. К тому же Гауф придумал Зюссу сестру Лею, образ которой вдохновит других, ныне забытых, литераторов.

Эрнст Фридрих Грюневальд сочинит драму «Леа» в 1847 году, а через год с пьесой под таким же названием выступит Альберт Дульк. Пьеса «Леа» была создана этим писателем, близким к движению «Молодая Германия», на гребне революционной волны 1848 года и выразила либеральные тенденции времени, которые проявлялись в признании права евреев на эмансипацию и права немцев на сочувствие им. Показательно, что именно в это время Карл Гуцков, в недавнем прошлом лидер «младогерманцев», создаёт драму «Уриэль Акоста», герои которой — евреи.

Их современники Роберт Прутц и Карл Теодор Грисингер также воскресли образ Зюсса в своих эссе и исторических новеллах.

Фейхтвангер, принимаясь за роман о Зюссе, интересовался не столько произведениями предшественников, сколько историческим материалом. Он штудировал многочисленные памфлеты и работы юртембергских историков-антисемитов, повторявших многие небылицы о Зюссе и демонизировавших его образ. Настоящих исследований о нём, его биографий в ту пору не было. А между тем в архиве Штутгарта хранились 132 пухлые связки — материалы процесса по «делу Зюсса». Эти документы были закрыты почти 200 лет, доступ к ним стал возможен только после Первой мировой войны. Фейхтвангер к документам следствия не обращался.

Первой, кто основательно покопался в архивных бумагах, была Зельма Штерн, написавшая солидную монографию «Еврей Зюсс. К вопросу немецко-еврейской истории». Книга вышла в Берлине в 1929 году. За три года до этого в Штутгарте увидела свет беллетризованная биография «Еврей Зюсс Оппенгеймер: великий финансист и галантный авантюрист XVIII-го столетия», автором которой был Курт Эльвенспёк.

В 1994 году Хельмут Хаазис опубликовал материалы своих длительных архивных разысканий. Четыре года спустя он выпустил монографию под «говорящим» названием — «Йозеф Зюсс Оппенгеймер, по прозвищу еврей Зюсс. Финансист, вольнодумец, жертва правосудия» (*Hellmut G. Haasis. Joseph Süß Oppenheimer, genannt Jud Süß. Financier, Freidenker, Justizopfer. Reinbeck bei Hamburg, 1998.*)

Сегодня в драматическом театре Штутгарта можно увидеть пьесу Класуса Поля, а в оперном театре Бремена послушать оперу Детлефа Гламмерта

о еврее Зюссе. Интерес к этой личности не умирает, возможно, не только из-за трагической судьбы, но и в силу того, что сам тип этой сильной, незаурядной личности остаётся востребованным в наши дни. Нет-нет да и появляется новый еврей Зюсс, пусть не в Германии, так в России.

Метаморфозы в посмертной судьбе

Работы Хельмута Хаазиса положили начало неофициальной реабилитации Зюсса. «Дело» Зюсса не пересматривалось, но общественным мнением он был посмертно оправдан. Городские власти Штутгарта по случаю трёхсотлетия со дня рождения Йозефа Зюсса Оппенгеймера приняли решение увековечить его память, тем самым восстановив его доброе имя. Небольшая площадь в центре города 15 октября 1998 года была названа в его честь.

Потрясающая метаморфоза довольно быстро обрела своего Овидия: российский бард Александр Городницкий запечатлел её в песне «Штутгарт» (1998), первая строфа которой звучит так:

Был и я когда-то юн и безус,
Да не помнится теперь ничего.
В этом городе повешен был Зюсс,
Эта площадь носит имя его.
Был у герцога он правой рукой,
Всех правителей окрестных мудрей,
В стороне германской власти такой
Ни один не добивался еврей.

Представьте только, как удивился и как порадовался бы Лион Фейхтвангер, доживи он до конца века и окажись на этой площади неподалеку от старого Монетного двора! А вот чувства тех, кто в 1940 году приказал снять фильм «Жид Зюсс», кто его поставил, кто в нём играл, их чувства при известии о реабилитации и чествовании Зюсса даже не берусь описывать. Впрочем, оставим сослагательное наклонение и обратимся к реальности, то бишь к роману.

Между историей и мифом

Молодой Фейхтвангер мастерски передал в романе дух времени и «местный колорит». Прошло более полувека с тех пор, как кончилась Тридцатилетняя война, но шрамы, оставленные её беспощадным мечом, не зарубцевались. Роман начинается описанием дорог Германии: «Сетью жил вилась по стране дороги, пересекались, разветвлялись, глохли, порастая травой. Они были запущены, загромождены камнями, все в рытвинах и расщелинах, в дождь становились вязкой топью и вдобавок на каждом шагу были перегорожены шлагбаумами». Тот, кому доводилось в наши дни мчаться по немецким автобанам, просто не в состоянии поверить, что такое было когда-то возможно.

Что дороги! Население Вюртемберга сократилось за время Тридцатилетней войны в десять раз: с четырёхсот до сорока тысяч жителей. Такова страшная цена религиозных войн. Вестфальский мир 1648 года закрепил раздробленность, а стало быть, отсталость Германии, признав более трёхсот немецких государств суверенными образованиями. Отсюда — бесчисленные шлагбаумы на дорогах.

«Ухабистые, потрескавшиеся, окутанные клубами пыли в солнечную погоду и непроходимо грязные в дождливую, дороги были движением, жизнью, дыханием и пульсом страны», — завершает картину романист. Но близится час, когда наряду с транспортными артериями появятся иные, и по этим невидимым сосудам общественного организма вместо крови станут циркулировать деньги. На заре Нового времени стало очевидным, что сила рыцарского меча уступила иной силе. Золото, деньги становятся эквивалентом могущества. Иначе говоря, бьёт час еврея Зюсса.

«Тяжко вздыхала, судорожно билась страна под удушающим гнётом, — пишет Фейхтвангер. — Зрели злаки, зрели лозы, трудились и созидали ремесленники. Герцог со своим двором и войском бременем лежали на стране, и она терпела его. Двести городов, тысяча двести деревень стояли, исходили кровью. Герцог выжимал из них все соки руками еврея. И страна терпела его и еврея».

Заплатившие страшную цену за право исповедовать лютеранство, граждане Вюртемберга опасаются, что их новый герцог, перешедший в католичество ради выгодной женитьбы на прелестной представительнице баварского семейства Турн-и-Таксис (им и сегодня принадлежит значительная часть имперского в прошлом города Регенсбурга), может попытаться силой обратить их в католичество. Они не очень-то доверяют своему господину, но покорны ему. В соседнем Вюрцбурге, в его епископской резиденции плетутся интриги. Писатель передаёт тревогу, охватившую штутгартцев.

Фейхтвангер своей волей превращает Зюсса в министра двора, каким он не был, да и, характеризуя Карла-Александра как новоявленного германского Ахилла и главного оплодотворителя своей земли, несколько сгущает краски. На то он и художник. Его любимый Бальзак уверял, что «художник может хватить через край». Фейхтвангер эскизно набрасывает фигуры придворных, чиновников, учёных мужей, духовных особ обоих лагерей, горожан, их жён и дочерей, членов местного парламента — ландтага, дарованного протестантскому Вюртембергу конституцией. Они выглядят жизненно, их образы ему удаются. А рядом с немцами отъединённо, замкнуто ведёт своё загадочное существование маленькое, но неистребимое и ненавистное племя — евреи: финансисты, кабалисты, раввины, мелкие торговцы-разносчики. Некоторые евреи и впрямь прибыли в вюртембергскую землю вслед за Зюссом. Местному населению они внушают страх и недоверие. Автору удалось вдохнуть жизнь в эти фигуры, они действуют, любят, страждут, злодействуют, склочничают, интригуют, рожают, болеют, умирают...

В центре этого мира — еврей Зюсс, благодаря своим незаурядным способностям вошедший в доверие к герцогу, привязавший его к себе нерасторжимыми узами и прибравший к своим рукам всю страну. В его руках, по

замыслу автора, окажутся нити католического заговора и жизнь герцога. Он разрушит планы своего государя и погубит его, но и сам при этом взойдёт на виселицу. Такова сюжетная линия романа.

Историческая правда соединяется в романе с вымыслом, наряду с историческими фигурами в нём действуют герои, придуманные автором. По этому пути вслед за Вальтером Скоттом пошли многие романисты, это стало традицией. В романе Фейхтвангера мы сталкиваемся с разработкой как исторического материала, так и мифа. Речь идёт не о национальной мифологии — мифах древних греков или германцев. Перед нами иной миф — миф о еврее, который сложился у христианских народов Европы в средние века.

Фейхтвангер использовал оказавшийся живучим миф о сатанинской природе евреев и верности их дьяволу. Многие герои его романа думают именно так. Фейхтвангер цитирует документы: императорские приказы, резолюции консистории, завещание владетельного графа. И везде говорится, что у христиан, после дьявола, нет злее врагов, чем евреи, которые враждебны всемогущему Богу, природе и христианскому духу.

Графиня Гревениц благоволит к евреям, полагая, что « у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего ландтага вкупе». Но и она уверена, что неслыханными успехами на финансовом поприще евреи обязаны колдовству: «Тайны колдовства достались им в наследство от Моисея и пророков; а за то, что Иисус хотел открыть эти тайны всем народам и, значит, обесценить их, евреи его распяли».

Молодая герцогиня, урождённая Турн-и-Таксис, никогда не выдавшая настоящего еврея, после знакомства с Зюссом выражает удивление: «Они совсем как все люди». Бедняжка знала евреев лишь по гравюрам, где их изображали с рогами и хвостом. И ещё один их непременный атрибут — зловоние. В романе он тоже упомянут. С путливым любопытством разглядывая Зюсса, герцогиня спрашивает: «Он убивает детей?» А между тем ей симпатичен этот щеголеватый красивый мужчина, от которого исходит сила и обаяние.

Осматривая особняк-дворец Зюсса, герцогиня, казалось бы, убедившаяся в обоснованности своих страхов, лукаво спрашивает хозяина: «А где же комнаты, где убивают христианских младенцев?» И как бы в унисон вопросу звучит столетней давности история о равенбургском детоубийстве, рассказанная старым финансистом, покровителем Зюсса, Исааком Ландауэром. Кровавый навет стоил евреям многих жизней. Чёрным шлейфом тащится он за ними сквозь толщу веков.

Все эти детали, свидетельствующие о том, что демонический образ еврея отнюдь не померк с уходом средних веков, помогают писателю воссоздать эпоху, косные нравы и характер мышления немецкой провинции. Но дело в том, что не только герои романа воспринимают Зюсса и его соплеменников как дьявольское отродье, но и сам Фейхтвангер наделяет родовыми чертами этого образа-фигиции главного героя и других еврейских персонажей. Казалось бы, незначительная деталь — козлиная бородка Исаака Ландауэра. Но если знать, что козёл, по распространённому в средние века поверью, был любимым животным дьявола, то подчёркивание этой

детали в романе обретает особую значимость. Акцент на «козлиной бороде» в средние века позволял увидеть в еврее козла (дьявола) в человеческом облики. Так что эта деталь отнюдь не безобидна.

Или страсть Зюсса к драгоценным камням, торговля ими, коллекционирование (его так и похоронили с гигантским ослепительным бриллиантом-солитером на пальце) — ведь это не просто ещё одна статья его дохода. Средневековая Европа живо интересовалась сверхъестественными оккультными тайнами драгоценных камней. Даже символика «философского камня» включала изображение звезды Давида и надпись на древнееврейском языке. Считалось, что евреи посвящены в тайны магических свойств драгоценных камней. Таким образом, и Зюсс включается в сферу еврейской магии.

В романе широко использована христианская легенда о Вечном жиде, ходят слухи, что он объявился в земле швабов. Некоторые полагают, что рабби Габриэль, кабалист, дядя Зюсса, и есть Вечный жид. И герцог, и его жена уверены в том, что старик — маг и колдун. Герцог просит его прочесть по руке своё будущее. Герцогиня просит амулет, помогающий при родах. Средневековые источники часто упоминают о том, что евреи изготавливали и распространяли волшебные амулеты. Развитие сюжета подтверждает магические способности старого кабалиста, что лишь усиливает страх перед евреем и его тайным знанием.

Фейхтвангер даёт понять, что евреи и впрямь владеют тайным знанием, источником которых служит им Тора — Книга. При этом он слагает настоящий гимн в честь Книги: «Сквозь два тысячелетия пронесли они с собой Книгу. Она была им народом, государством, родиной, наследием и владением. Они передали её всем народам, и все народы склонились перед ней. Но лишь им, им одним, дано было по праву владеть ею, исповедовать и хранить её».

Шестьсот сорок семь тысяч триста девятнадцать букв насчитывала Книга. И каждая буква была исчислена и изучена, проверена и взвешена. Каждая буква была оплачена кровью, тысячи людей пошли на муки и смерть за каждую букву. И Книга стала их собственностью».

Нацисты этим гимном пренебрегли. Что такое тысячелетия еврейской истории перед тысячелетним рейхом германской нации?! Книга Фейхтвангера попала в орбиту их внимания, как только они сообразили, что её можно использовать для разжигания юдофобии. Идеологи нацизма, Геббельс, Штрассер и иже с ними, немало поработали, чтобы возбудить или пробудить дремавшие антиеврейские настроения в массах, внедрить в массовое сознание лозунг: «Евреи — наше несчастье!». Легче всего «раскачать» толпу, вызвав чувство ненависти. Чтобы разжечь пламя антисемитизма, все средства хороши. В ход идут и языческие мифы древних германцев (как это делал Вагнер), и вульгаризированные, извращённые идеи немецкого романтизма, и демонический образ еврея, плод средневекового мифологизирования. Повторяю: демонизм толковался на протяжении средних веков как родовая черта еврейства. Фейхтвангер некритически воспользовался этой трактовкой и тем самым дал повод нацистским бонзам снять в 1940 году на основе его романа антисемитский фильм.

Фейхтвангера соблазняло желание идти путём Бальзака, этого «доктора социальных наук», и в первом романе немецкого писателя следы ученичества весьма ощутимы. Достаточно познакомиться с героем второго плана, старым Исааком Ландауэром, чтобы убедиться в зависимости автора от великого француза. Вам никого не напоминает эта сухопарая фигурка в поношенном лапсердаке, эта лёгкая, скупая, ироническая усмешка на тонких губах, рассуждения о том, что наивысшее удовольствие человек получает не от демонстрации своего могущества, а от его тайного знания? Узнали?! Образ наставника Зюсса просто списан с бальзаковского Гобсека.

Бальзак создал этот образ как громадное обобщение. Внешне бесстрастный, Гобсек воплощает и характерные черты хищного племени ростовщиков, и саму философию денег. Он излагает её лаконично: «Из всех земных благ есть только одно достаточно надёжное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это — золото. В золоте сосредоточены все силы человечества». Бальзак вывел эту формулу, а Фейхтвангер ею воспользовался. Он наделяет старого Ландауэра бальзаковской мудростью: «Он знал, что в мире существует лишь одна реальная сила — деньги». Гобсек находит высшее удовольствие в мыслях о собственном могуществе: «Нет отказа тому, кто развязывает и затягивает золотой мешок». И Ландауэр упивается сознанием своей тайной власти.

Молчаливый спор между ним и Зюссом завязывается на первых же страницах. К чему стремятся оба? К власти. О чём думают оба? О деньгах, которые мостят дорогу к власти, о способах их приращения, о выгоде их быстрого оборота. «Власть» — ключевое слово в романе. Но пользуются они ею по-разному.

Красавца и модника Зюсса, в его аккуратно, со вкусом завитом парике, в ладно скроенном, отороченном серебром светло-коричневом кафтане тончайшего сукна, с легко наплюенными кружевными манжетами, цена которым верных сорок гульденов, не может не раздражать вид старика с пейсами и редкой козлиной бородкой, одетого, по еврейскому обычаю, в лапсердак и ермолку. Зюсс готов его возненавидеть за нелепые старозаветные еврейские повадки, хотя он Ландауэру многим обязан и поначалу признаёт его превосходство.

В свою очередь, старый еврей осуждает аристократические замашки и стремление Зюсса выставить напоказ своё богатство: «К чему это, реб Йозеф Зюсс? К чему непременно тридцать слуг? Вы разве лучше едите, лучше спите, когда у вас тридцать слуг вместо трёх? Я понимаю, что вы держите при себе эту девку (дочь обер-прокурора, которая короткое время открыто числилась метрессой Зюсса. — Г.И.). Но к чему вам попутай? Зачем еврею попутай?»

И действительно, зачем?! А всё тщеславие! Старому Ландауэру этого не понять. Он сам находится у истоков власти, он направляет течение событий, но он держит свою власть в тайне, находя утончённое удовольствие в сознании своих громадных возможностей. Он входит в кабинет любого государя без парика и перчаток, в лапсердаке да ещё и с отличительным зна-

ком для евреев на одеянии. Он может себе это позволить, они стерпят. Это явное свидетельство их зависимости доставляет старику глубокое удовлетворение. Нелишне заметить, что и Гобсек по происхождению был евреем. Правда, в XIX веке его уже никто не звал «еврей Гобсек». Времена изменились. Да и во Франции после наполеоновских реформ положение евреев было много лучше, чем в Германии. А герою Фейхтвангера суждено было войти в историю под именем *еврея Зюсса*.

Зюсс не отрекся от своего еврейства, хотя внешне, одеянием, манерами, речью, образом жизни стал неотличим от местной знати. Удивительно, но он и своё еврейство смог превратить в объект тщеславия. Такое по плечу не каждому. Мы-то знали многих, кто стыдился еврейства, скрывал его при возможности, но мы жили в другом мире, где даже пошедшие во власть евреи по существу отреклись от себя. Зюсс же хочет быть на равных с аристократами, оставаясь евреем.

Когда герой романа узнаёт «правду» о своём рождении (Фейхтвангер воспользовался легендой о том, что Зюсс — внебрачный сын, бастард генерала Георга Эберхарда фон Гейдерсдорфа, разжалованного и кончившего свои дни монахом-капуцином), он отказывается узаконить своё христианское происхождение. Почему?! Он сам объясняет свой отказ: тот ореол исключительности, неповторимости, необычайности, что окружает его теперь, улетучится. И в самом деле, быть христианином — значит быть одним из многих. Христианин-министр — эка невидаль! Еврей-министр — это не шутка, это «круто»!

Зюссу ведомо тщеславие парии, одолевающего сильных мира сего. Когда он вступает в борьбу за оправдание ложно обвинённого в убийстве еврея (не хотелось ввязываться, но уж очень просила депутация франкфуртских евреев), он горд тем, что способен сотворить невозможное: «еврей вырвет обречённого на смерть человека у целого христианского города». В эту минуту он напоминает ликующего Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», который сумел в прямом смысле вырвать Эсмеральду из рук палача. Отверженный, горбун, бросивший вызов всеильной Фемиде, обрёл в эти минуты истинное величие. Такие минуты выпадают и на долю еврея Зюсса.

Ключом к характеру и судьбе главного героя романа могут служить слова великого кабалиста XVI века Исаака Лурия о том, что в человеческом теле иногда не одна, а две души осуждены совершать новое странствие. Причем, одна, возможно, жила прежде в звере, а другая — в святом. А теперь они обречены быть едиными. «Они проникают и вливаются друг в друга, они взаимно оплодотворяются, они слиты, точно струи воды».

Мотив двойничества характерен для романтического искусства. Многие писатели — от Гофмана до Стивенсона — использовали его весьма эффективно. Этот мотив лёг в основу образа Зюсса. Герой Фейхтвангера неоднозначен. Ему часто снится один и тот же сон: он скользит в призрачном танце, герцог держит одну его руку, а его дядя, старый суровый еврей-кабалист, настоящий ведун, — другую. Сон достаточно прозрачен: помыслы Зюсса устремлены к власти, к земным успехам в христианском обществе, но

существует нечто заповедное, духовное — область тайного еврейского знания, которая манит его, но куда он страшится заглядывать.

Страсти, которые владеют и играют Зюссом, реализуясь в бешеной деятельности финансиста, политика, дипломата, возносят его на вершину успеха: у Фейхтвангера он становится истинным правителем государства. Властолюбие, тщеславие, вера в успех ведут его по жизни. Блеск и власть — его стихия. Он упивается властью открыто, дерзко, нагло, напоказ, чем вызывает ещё большее озлобление окружающих.

«Министров и высших чиновников он держал в рабском подчинении. Они боялись его едва ли не больше, чем самого герцога; стоило ему свистнуть, как они прибегали сломя голову. Он вызывал к себе кого хотел, и никто не смел ослушаться. При малейшем противоречии он грозил им кандалами, плетьюми, виселицей. Зюсс сам был точно вихрь. И его окружал постоянный вихрь». Вихрь, или страсть, — суть натуры Зюсса.

Образ его строится на гиперболизации и контрастах: величие и низость соединяются в одном лице. Его раздвоенность (колебания между властью-нечестием и еврейской мудростью-светом, превращение алчного хищника в любящее, чуть ли не робкое, существо перед юной дочерью и старым кабалистом) — типичная черта романтических героев («храбрые, как львы: и плачущие, как урны» — иронически заметил о них Флобер).

В биографии героя много таинственного, начиная от происхождения и кончая его любовным союзом. Загадочная возлюбленная, умершая, похоже, родами, оставившая ему дочь необычайной красоты, — откровенная дань романтизму. Дочь, которую воспитывают на стороне, вдали от отца, в уединении и в тайне. Странная связь (притяжение-отторжение) с дядей-кабалистом, чародеем и магом. Внезапное открытие знатного происхождения героя и его решение остаться изгоем. Властительный герцог, губящий юную дочь героя. Все эти повороты сюжета вызывают в памяти ультраромантические пьесы Гюго «Опасное сходство», «Король забавляется». Зеркальное повторение в судьбе Зюсса несчастливой звезды его якобы родного отца, мотивы возмездия (Зюсс разжигает похоть своего хозяина, отдаёт в его власть дочь своего противника, а затем сам оказывается в положении несчастного отца) — всё это приёмы из арсенала романтического искусства.

Да и в самом лице Зюсса, каким его изобразил художник, есть нечто демоническое (угадывается тип романтического злодея). Он легко меняет облик, в нём живёт актёр. Фейхтвангер характеризует его как человека минуты. Помимо некоторых «говорящих» деталей портрета (красный чувственный рот на белом лице, точно губы вампира-вурдалака; гипнотизирующий взгляд карих выпуклых «крылатых» глаз) созданию образа демонического героя способствует и впечатление, которое он производит на женщин — они ведь, как известно, легче поддаются чарам. Показательна первая встреча Зюсса с молодой пиетисткой Магдален-Сибиллой, в судьбе которой он сыграет поистине роковую роль. Внезапно увидев его в лесу, девушка убегает с криком: «Дьявол! Дьявол ходит по лесу!». При второй встрече с ним она теряет сознание. Такова сила его магнетического воздействия на чистую впечатлительную натуру.

Образ Зюсса строится по канону романтического героя: он претендует на исключительность, верит в своё избранничество. Романтики использовали многие способы, чтобы противопоставить своих героев обществу, миру. Усилиями поэтов-романтиков, начиная с Байрона, был создан новоевропейский литературный миф, в центре которого оказалась демоническая личность, исходящая из абсолютной свободы своей воли. Эту свободу романтический злодей воспринимает как свободу от моральных обязательств перед людьми. В противовес идеям добра и любви он выдвигает идею тотального скептицизма. Действия носителя демонизма обусловлены личной обидой на несовершенство мира и направлены на его разрушение и переустройство.

Романтический дьяволизм был явлением эпатажным, с позиций Просвещения его оценивали как упадок, как безвкусицу, тем не менее, мода на готику оттеснила классичность, на какое-то время победила мода на стихию и хаос. Демонизация главного героя не была литературной новацией Фейхтвангера, но он первым попытался навязать демонической личности активную деятельность в сфере меркантильной, прагматической, связанной с деньгами, кредитами, прибылями. Это оказалось чреватое многими издержками: романтическое и реалистическое начало отказывались мирно сосуществовать.

Необычным было и то, что он наделил демонической мощью еврея, в то время как большинство представителей этого гонимого народа предпочитало в Германии не выделяться, жить тихо, на что указывает сам Фейхтвангер: «И раньше крупным финансистам из его соплеменников приходилось решать задачи огромного масштаба и в своих руках нести полный до краёв сосуд власти. Но эти люди держались в тени или крепились, как его родной брат. Он же, еврей, один стоял перед целой Европой на опасной высоте, и улыбался, и был элегантен и самоуверен, и даже самый прозорливый взгляд не мог бы со злорадством подметить у него хоть малейшую дрожь». Это триумф изгоя, который достиг величия и обязан успеху лишь самому себе. Это месть Зюсса обществу, которое его, еврея, презирает, это своеобразный ответ на людскую несправедливость. В эту минуту мы готовы склониться перед ним.

Но стоит познакомиться с коварными и жестокими методами и способами, какими Зюсс пробивает себе путь вверх, устраняет своих конкурентов или просто неудобных, как симпатии к герою улетучиваются. Нет необходимости рассказывать обо всех, кого он разорил, довёл до петли, обесчестил за несколько лет своего полномочного правления в Вюртемберге. А мог ли он действовать иначе? Фейхтвангер здесь верен жизненной правде. Любой делец, независимо от национальности, будет мыслить и действовать так, как Зюсс, и мы знаем множество тому примеров из отечественной и мировой истории. А если вам известны иные примеры, то это — исключения из правила.

В русской литературе была попытка представить деятельного предпринимателя положительным героем. Гончаров противопоставил энергичного обрусевшего немца Штольца вконец обленившемуся Обломову. Штолец в отличие от Зюсса был человеком честным. Возможно, именно в

этом и кроется причина неудачи Гончарова: крупный делец просто не может быть нравственным человеком, а следовательно, положительным героем. Штольц как художественный образ схематичен и лишён правдоподобия.

В своё время Бальзак рассказал в романе «Банкирский дом Нусинген» историю возвышения эльзасского еврея, настоящего биржи («Наполеона биржи») (современники автора не сомневались, что его прототипом был барон Джеймс Ротшильд). Нусинген дважды объявлял себя несостоятельным банкротом, пустил по миру тысячи мелких вкладчиков, зато сам при этом остался с круглой суммой. Угрызения совести ему неведомы. Преуспевающий финансист, делец всегда будет стоять выше стесняющих его нравственных законов. Таков Зюсс, таков Фрэнк Каупервуд. Драйзер писал свою трилогию «Финансист», «Титан», «Стоик» одновременно с романом Фейхтвангера. Он создал образ нового героя своего времени — финансового монополиста, промышленного магната, преобразующего лицо Америки, участвующего своими капиталами в технической революции. Герой Фейхтвангера живёт в иную эпоху. Капитал Зюсса служит феодалу-герцогу, он не направлен на созидание, хотя объективно еврей и куёт новую рыночную экономику.

Не раз и не два возникает в романе образ гложущих червей, пагубных и несносных. Гложущими червями именуются евреи в многочисленных рескриптах немецких императоров и резолюциях князей и герцогов. Однако обидное сравнение с увёртливыми, скользкими гадами не трогает старого Ландауэра. «Они обзывают нас гложущими червями. Пусть так, а сами они разве не гложут друг друга? Всё, что живёт, — гложет. Один гложет другого». Хищные законы бизнеса интернациональны. Это только нацисты с подачи Гитлера всерьёз рассуждали о том, что существует зловредный еврейский капитал и патриотический — отечественный.

И всё же не будем забывать, что начиная со средних веков в сознании немцев с образом еврея всегда ассоциировались деньги, долговые расписки, проценты, заклад вещей и множество неприятностей подобного рода. Именно тогда начала складываться теория антисемитизма, объясняющая юдофобию экономическими факторами.

Фейхтвангер не определил чётко авторской позиции по отношению к своему герою. А мог ли? Вряд ли это было под силу писателю, который сам о себе сказал следующее: «Обыкновенно, когда меня спрашивали, к какой национальной группе следует отнести меня как художника, я отвечал: я немец — по языку, интернационалист — по убеждениям, еврей — по чувству. Очень трудно иногда привести убеждения и чувства в лад между собой». Да, у молодого писателя ум с сердцем были явно не в ладу. Левые политические симпатии побуждали его видеть в Зюссе финансового хищника, стало быть — врага трудового народа. Правда, побывав в Мюнхене, постояв у прекрасного особняка в центре, где прошло детство будущего писателя, заглянув в гимназию, которую он посещал одновременно с Катей Принсгейм, будущей женой Томаса Манна, я усомнилась в том, что Фейхтвангеру было ведомо чувство классовой ненависти. Похоже, его предки и родичи с успехом занимались коммерцией. Но очевидно и то, что писателю, художнику,

артисту в душе деятельность такого рода была и впрямь чужда. Сердце еврея, национальное чувство вынуждали Фейхтвангера искать нечто, выводящее Зюсса за рамки его нечистой деятельности.

И Фейхтвангер придумывает ход. Ему помогает от начала до конца вымышленный образ Наоми, прекрасной дочери Зюсса, его гордости и утешения, выросшей на лоне природы, в полном отъединении от людей, этакой «лилии долины». Образ Наоми — эклектичен: в нём — отголоски идей Руссо и Вольтера, но особенно сильно влияние романтизма вальтер-скоттовского образца.

Наоми воспитывает в традициях иудаизма кабалист Габриэль, он передаёт ей и свои знания. Её трагическая гибель по вине сластолюбца-герцога становится страшным потрясением для Зюсса и толчком к его перерождению. Добившийся близости к герцогу, утождавший его прихотям, пускавшийся на многие уловки, чтобы не утратить высочайшего расположения и ещё больше привязать его к себе, Зюсс превращается в мстителя, злейшего врага, жаждущего герцогской крови. Возводивший столь упорно здание своего могущества, Зюсс, войдя в роль мстителя, бестрепетно разрушает его. Смерть обидчика он оплачивает собственной жизнью. Таков финал романа, в котором писатель попытался соединить романтизм с реализмом, забыв о том, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань».

Если бы демонизм Зюсса был просто родовой чертой романтического героя, вряд ли роман Фейхтвангера привлёк бы внимание нацистов. Но демонизация героя как художественный приём, как проявление романтического метода, усиливала действие средневекового мифа о демонической природе еврея, которым не пренебрёг создатель романа о Зюссе.

Фильм «Жид Зюсс» как пролог к Холокосту

В 1940 году в нацистской Германии было снято три антисемитских фильма: «Ротшильды», «Жид Зюсс» и документальный фильм о мировом еврействе «Вечный жид». Это не простое совпадение: предстояла **АКЦИЯ**. Геббельс дал указание о съёмках фильмов в преддверии «окончательного решения еврейского вопроса». До совещания в Ванзее (20.01.1942 г.), где было принято решение об уничтожении европейского еврейства, оставалось не так уж много времени. Эти фильмы должны были быть показаны не только в Германии, но и в Польше, куда планировалось массовое «переселение» европейских евреев и где уже готовились для их приёма лагерь массового уничтожения. Расчёт был сделан на то, что фильмы настроят население против евреев и оно не станет помогать им. Геббельс зря беспокоился: антисемитизм в Польше был достаточно силён и не требовал «подогрева». Еврейский погром, учинённый поляками в Едвабне (правда всё же вышла на свет 60 лет спустя!), — прямое тому свидетельство. Но юдофобия — область, где излишнее усердие никогда не будет лишним.

Известный киновед Майя Туровская, разбиравшая сразу после окончания войны захваченный архив Геббельса, рассказала мне, что видела все

три фильма. Самое страшное впечатление на неё произвела документальная лента «Вечный жид». Что касается игрового фильма по роману Фейхтвангера, то, по её верному наблюдению, от книги в нём осталось немного. С моей трактовкой романа она согласилась, более того, сочла её очень своевременной. Вот её слова: «Демонизация — такая заманчивая вещь, она не отпускает. Посмотрите на Березовского! Ведь он явно тяготеет к самодемонизации. Вы не задумались над тем, что демонизация как способ выделиться, с одной стороны, и преодолеть пресловутый национальный комплекс, с другой, — это вообще некий архетип, существующий в еврейском сознании?!» Пришлось признаться, что так далеко моя мысль не уносилась.

Поразмыслив, я решила, что еврейское сознание в данном случае ни при чём: комплексом неполноценности страдают и одновременно «глядят в Наполеоны» не только евреи. Как быть с Гитлером, Гиммлером и иже с ними? Этим ненавистникам евреев очень хотелось казаться демоническими героями и мрачными властителями мира. Они занимались самодемонизацией и мифотворчеством. Сконструированный ими миф был подхвачен в 1960-е годы, когда многие на Западе увлеклись тайнами национал-оккультизма. Мода на «эзотерический гитлеризм» сегодня возрождается. Как пронизательно заметил Умберто Эко, «история наваждения может сама по себе превратиться в наваждение». Но мы сейчас не о том. Идея Майи Туровской заслуживает внимания психоаналитиков, а мы всё же вернёмся к нашей теме.

Фильм «Жид Зюсс», снятый режиссёром Фейтом Харланом (он был и одним из трёх сценаристов) на студии «Терра-фильм», технически совершенен. В нём сыграли известные актёры, настоящие звёзды, среди которых — красавец Фердинанд Мариан, арийская дива — шведская киноактриса Кристина Зёдербаум, бывшая жена Харлана, и блистательный Вернер Краус. На кинофестивале в Венеции в сентябре 1940-го фильм получил золотую медаль, его увидели миллионы зрителей в Германии и оккупированной Европе, а имя еврея Зюсса стало знаковым.

Лион Фейхтвангер, находившийся в эмиграции вначале во Франции, а затем в США, в апреле 1941-го опубликовал «Открытое письмо семи берлинским актёрам». Он негодовал по поводу того, что авторы сценария «похерили две трети книги, а из остатка сварганили свой мерзкий антисемитский провокационный фильм в духе Штрейхера и его “Штюрмера”, руководствуясь тенденцией, глупость и низость которой всем очевидна». Но ведь когда он писал свою книгу, эта «глупая и низкая тенденция» всю пробивала себе дорогу, а он всё старался быть «объективным по отношению к евреям», не хотел «развенчивать средневековую легенду». Ох уж эта закомплексованность ассимилированного еврея, который хочет показать себе и другим, что он нейтрален, объективен, что он вовсе не берёт сторону евреев, будто он выше этого! А что получается в итоге? Стараясь быть «объективным», Фейхтвангер помог антисемитам. Да, нацисты «похерили» две трети его книги, но и одной трети им хватило, чтобы сварганить антисемитский фильм. И никуда от этого не уйти. Сценаристы и режиссёр в угоду заказчикам выбросили из романа всё, что было там положительного о евреях, и гротескно подчеркнули всё отрицательное. «Политически это было

в высшей степени действенно, в духовном же отношении — совершенная пустота», — справедливо утверждал Фейхтвангер в статье, написанной незадолго до смерти.

Впрочем, в титрах фильма имя Фейхтвангера вообще не упоминается. Ещё чего не хватало! Чтобы сценаристы-арийцы опустились до сочинения одного из «недочеловеков»? Они сделали вид, что опирались на документы, на «исторические источники», но в фильме можно без труда узнать сцены из новеллы Гауфа (бал-маскарад, где происходит схватка между молодым швабским патриотом, женихом героини Фабером и Зюссом) и романа Фейхтвангера. Есть эпизоды, всецело придуманные постановщиками: въезд евреев в Штутгарт, празднование субботы в синагоге и ряд других. Они отвечали главной задаче тенденциозного фильма: представить евреев в крайне негативном свете, как людей чуждых и враждебных немцам, вскрыть опасность, исходящую от мирового еврейства.

Сценарий носил откровенно памфлетный характер, что подтверждает высказывание одного из его авторов, Мёллера: «Мы пытались быть объективными, и наш подход отличался от былой объективности, которая стремилась всё понять, всё простить. Мы предоставили слово истории. И она не показала, что «еврей — тоже человек», нет, она ясно продемонстрировала, что *еврей — совсем другой человек, нежели мы...* Мы не хотели представить его злым демоном, но мы хотели показать *пропасть между еврейской и арийской сущностью*».

Разность в мыслях, чувствах, поведении подчёркнуты в фильме с самого начала и визуально, и с помощью музыки. Всё построено на контрастах, которые призваны передать борьбу чуждого деморализующего еврейского духа со здоровым, народным в основе своей, германским духом. Показательна беседа двух персонажей фильма относительно еврейского ума (известно, что Гитлер признавал еврейский интеллект, но утверждал при этом, что он служит разрушению, а не созиданию). Молодой судебный писарь Фабер говорит: «Такими умными, как евреи, мы никогда не станем!» Его будущий тесть Штурм возражает: «Мы должны быть умней, много умней! Евреи вовсе не умны. Они только хитры и изворотливы».

Сам Зюсс, этот ассимилированный еврей, предстаёт как воплощение разрушительного интеллекта, как паразит на здоровом теле арийской земли: он придумывает всё новые способы обогащения герцогской казны, изводит простых людей непомерными налогами. В то время как разорённые швабы вынуждены, понурившись, покидать родной город, через те же ворота в него вступает наглая орава чужаков-евреев, бородатых, пейсатых, грязных, крикливых, в каких-то нелепых одеяниях. Они напоминают прожорливую саранчу. Вот уж поистине весь еврейский кагал обрушился на несчастных швабов!

Усиливается лейтмотив: «Еврей — наше несчастье!»

Сцены в синагоге сознательно архаизированы. По воле сценаристов и режиссёра они демонстрировали не столько ликование по поводу чудесного спасения и избавления, как трактует эту страницу еврейской истории Книга Есфирь (по сюжету которой отмечается праздник *Пурим*), но как

торжество по поводу их победы над христианами, над этими *гойми*. Абсолютный нонсенс с точки зрения истории, поскольку события эти (связанные с праздником *Пурим*) произошли за триста пятьдесят лет до рождения Иисуса и появления христианства. При этом рупор нацистской идеологии — газета «Фолькшифер беобахтер» сочла необходимым отметить, что Фейт Харлан превзошёл себя в искусстве «совершенно однозначной подачи исторического материала». Да уж, однозначнее не бывает...

Режиссёр предпринял поездку по еврейским местечкам — *штеттл* — Польши, в которых ещё можно было отыскать приметы старинного быта, посетил гетто, где нашёл интересовавшие его типажи. В архивах Кобленца сохранились материалы пресс-конференции, состоявшейся 18 января 1940 года, там говорится, что в массовках фильма снимались евреи, взятые для этой цели из одного польского гетто. Правда, пропагандистское ведомство тут же опровергло утверждение, будто евреи участвовали в фильме на ролях статистов. Но, зная лживость этого ведомства, можно предположить, что бессловесных статистов и впрямь нашли в гетто, куда они и вернулись после съёмок. Миллионы зрителей не подозревали, что в допотопных кафетанах, в смешных островерхих шляпах перед ними мелькают на экране обречённые. Недавно появилось сообщение о том, что Ленни Рифеншталь брала для съёмок своих фильмов цыган из концентрационного лагеря, куда они потом и возвращались. И с евреями такое проделали. Этой точки зрения придерживается и Доротея Хольштайн, автор книги «"Жид Зюсс" и немцы» (*Dorothea Hollstein. «Jud Süß» und die Deutsche. Gütersloh, 1983.*).

Поскольку Гитлер в книге «*Mein Kampf*», этом «евангелии» нацистов, объяснил народу, что главная опасность, исходящая от евреев, состоит в их покушении на чистоту арийской расы, этот мотив оказался главным в фильме: чистая немецкая девушка из народа становится жертвой похотливого еврея. Фильм откровенно эротичен, в нём много сцен обольщения. Героем этих сцен оказывается то герцог, то Зюсс. Зюсс в фильме Харлана не лишен привлекательности, он владеет искусством совращения, эдакая по-месь сатаны и Дон-Жуана. Влюбившись в Доротею Штурм, дочь советника ландтага, человека прямого и честного, Зюсс делает девушке предложение. Отец без обиняков отвечает, что свадьбе с евреем не быть: «Моя дочь никогда не родит еврейского ребёнка!» Тогда «грязный еврей», используя своё положение, насилует это чистое создание, целомудренного ангела. Происходит это сразу после её венчания с Фабером. Молодой супруг схвачен по приказу Зюсса, вместо брачного ложа его ждёт пыточная камера. В то время как Фабера истязают, Зюсс овладевает Доротеей, её крики сливаются с воплями юноши. Сцены сексуального насилия тянутся бесконечно долго. Несчастная сходит с ума и бросается в реку. Её самоубийства требовали и нацистские законы: лучше умереть, чем родить от еврея! Горожане поднимают стихийный бунт. Известие о бунте приводит герцога в ярость, у него случился удар, а схваченного Зюсса приговаривают к смерти не за его финансовые аферы, а за нарушение закона о чистоте расы.

Фейт Харлан в одном из интервью обратил внимание на то, что за двести лет до появления нацистских Нюрнбергских законов о чистоте ра-

сы они уже действовали в немецкой глубинке, ибо по древнейшим законам связь еврея с христианкой должна была караться смертью. Об этом и поведал его фильм. О том, что в средние века основа антагонизма между евреями и христианами была религиозной, а не расовой, знаток истории Харлан как бы «забыл».

Заглавную роль в фильме исполнял Фердинанд Мариан. Он был молод и женат на женщине, у которой была дочь от первого брака с евреем. Ему, как пишет рецензент «Фолькишер беобахтер», «не очень-то хотелось телесно и духовно вживаться в отвратительный образ раболепствующего подлизы еврея Зюсса». Это единственная фраза в рецензии, которой можно безусловно верить. Не хотелось, но пришлось: Мариан капитулировал перед Геббельсом. Но его Зюсс был в некоторых сценах настолько очарователен, что, по свидетельству другого участника фильма, Вернера Крауса, многие женщины говорили после фильма: «С евреем Зюссом? А почему бы и нет?!». Зюсс, в противоположность старому еврейству, которого в Германии уже в чистом виде не существовало, выглядел элегантным финансовым советником двора, хитрым политиком, короче — это был замаскированный еврей.



Вернер Краус был приглашён на роль рабби Леви по настоянию самого Геббельса. Однако он сыграл в фильме не только этого загадочного рабби, но и секретаря Зюсса, всех талмудистов, а также ряд эпизодических ролей, вплоть до еврейки, которая выглядывает из окна, и старика, который с ней беседует, стоя на тротуаре. Все мужские роли, сыгранные Краусом, показывают евреев в архаизированном виде, сделано это сознательно. Зритель, который ещё недавно встречал евреев, которые внешне от него ничем не отличались, должен был увидеть, от кого произошли эти так называемые «сограждане». Всеми ими движет прежде всего алчность, отприродная лживость. Краус создал отталкивающий тип еврея.

В книге воспоминаний «Спектакль моей жизни» (1958) Краус пишет, что ему помог войти в эти образы замечательный фильм «Диббук». «Диббук» — пьеса Анского, которую в своё время сыграли актёры еврейского театра «Габима», выпестованного Вахтанговым. Польки сняли фильм по этой пьесе. Он был захвачен как трофей в 1939 году после оккупации Польши. Сегодня отрывки из него можно увидеть в Еврейском музее в Берлине. «Я просто взял всех своих евреев из «Диббука», — откровенно признаётся актёр. — Все, кто занят в главных ролях, просмотрели этот фильм и были в таком восторге, что Гитлер, когда до него это дошло, запретил его показывать».

«Пусть он утрёт им нос!» — распорядился Геббельс по телефону. И Краус постарался, но, как он пишет в воспоминаниях, «не перегибал пал-



ку». Геббельс настаивал на том, чтобы актёр использовал накладной уродливый нос (вот до каких деталей простиралось внимание рейхсминистра!). Краус категорически отверг это требование, он использовал в гриме лишь бороду, и в этом его поддержал режиссёр. Харлан же подсказал ему характерный жест: когда Краус произносил главную молитву евреев «Шма, Израэль», он раскачивался и ударял себя при этом в грудь, как это делают верующие иудеи.

Хотя фильм снимался с целью разжигания антисемитизма, из канцелярии Геббельса с шифром «Секретно» вышло письмо от 27 апреля 1940 года, обращённое к органам печати, где прессу предостерегали против трактовки фильма «Жид Зюсс» как антисемитского. Зрители сами должны были проникнуться его духом и всё понять. И они прониклись. Когда на экране демонстрировались сцены въезда евреев с их скарбом в Штутгарт, из зрительских рядов неслись выкрики: «Гоните евреев с Ку`дамма!» (дело было в Берлине, Ку`дамм — это Курфюрстендамм), «Евреи, вон из Германии!»

Если признать, что Мариан — Зюсс был не лишён привлекательности, а образы евреев Крауса не были шаржированы, то чем же, каким образом фильм распал ял юдофобские страсти? Сам вид средневековых евреев раздражал своей вызывающей непохожестью. Немцы были просто потрясены. Странные одеяния, бородатые горбоносые лица, непонятная быстрая гортанная речь, их жестикация — всё было чужое. А непонятные молитвы нараспев, с вскрикиваниями и раскачиваниями! И что значат эти неразборчивые звуки, это бормотание, сопровождаемое биением в грудь? Не магические ли это заклятия, которыми евреи наводят порчу, накликают болезни и всяческие невзгоды на честных христиан? Суеверия живучи, особенно вера в колдовство, магию. Откройте сегодняшнюю газету — увидите объявления: «Снимаю порчу!», «Приворожу!», «Заговорю!». Так что не стоит удивляться реакции немецкого зрителя. Что немцы знали о евреях?! Они впервые увидели, как выглядели предки их соседей, нынешних евреев, к тому времени уже в основном выдавленных или депортированных из страны, и это зрелище не приблизило немцев к ним. Чужие! А согласно древнейшим представлениям, чужой — враг. К тому же массовый зритель прошёл соответствующую семилетнюю подготовку в духе махрового юдофобства. Все художественные средства фильма были пущены в ход, чтобы подчеркнуть несовместимость, противоположность двух народов, а следовательно, оправдать политику геноцида.

В книге Йозефа Вулфа «Театр и кино в Третьем рейхе» (1983), где собрано множество документальных материалов, в том числе и архивных, фильму Харлана уделено больше места, чем другим антиеврейским фильмам, снятым в том же 1940 году. Нацистская газета «Фолькишер беобахтер» писала: «Фильм раскрывает истинное лицо еврейства, его зловецкие приёмы и разрушительные цели». В фильме не только ожил средневековый миф о евреях, которые вредят христианству, — на заднем плане уже маячил новый: о всемирном еврейском заговоре с целью установления мирового еврейского господства.

Фильму был обеспечен массовый зритель, об этом позаботились власти. Вот распоряжение рейхсфюрера СС Гиммлера от 30 сентября 1940 года: «Все служащие СС и полиции обязаны увидеть фильм «Жид Зюсс» в течение зимы». Аналогичный приказ касался жандармерии, органов безопасности, вневедомственной охраны, подразделений пожарников, добровольного пожарного общества, различных служб. В конце стояла приписка: «Члены семей могут присутствовать на демонстрации фильма». Такая вот трогательная забота о народном просвещении!

Фильм демонстрировался не только в Германии, но по всей оккупированной Европе. Два дочерних управления кинопроката в Риге и Киеве докладывали в рейхскомисариат: к марту 1943 года фильм просмотрели 24 миллиона зрителей. К этому времени были полностью забыты прежняя экранизация романа Фейхтвангера и театральные постановки.

А ведь в 1933 году по роману Фейхтвангера в Англии был снят фильм «Еврей Зюсс». Кстати, уже тогда, чтобы сыграть в нём главную роль, популярный актёр Конрад Фейт (вершиной его мастерства была роль немецкого майора Штрассера в голливудском фильме «Касабланка», снятого в 1942 г.) вынужден был навсегда покинуть Германию. Нацисты, зная о предложении англичан, держали актёра под домашним арестом, но ему удалось ускользнуть.

Роман был инсценирован и в Берлине во времена Веймарской республики; Фейхтвангер сам был режиссёром спектакля. Английский фильм, берлинский спектакль не возбуждали антипатии к евреям. Естественно, в нацистском фильме произошла переакцентировка и перегруппировка материала, ибо заказчики преследовали иные цели. Романтическое начало служило Фейхтвангеру своеобразным противовесом тому отталкивающему впечатлению, которое производит им же описанная бурная деятельность Зюсса. Нацисты отбрасывают романтизацию. Фейхтвангер поднимается до поэтизации еврейской веры, еврейского знания, слагает гимн Книге и этим как бы уравнивает миф о дьявольской природе еврея. Нацисты, понятное дело, пренебрегают поэтизацией. Они выхватывают и многократно усиливают всё, что в романе говорит не в пользу евреев, что свидетельствует против них.

Фейхтвангер не захотел разделить с актёрами, которым адресовал своё открытое письмо, бремя вины. Он корил только их, игравших прежде в его берлинской инсценировке: «Это не помешало вам теперь вывернуть наизнанку историю этого еврея, о котором все вы знали, что он был большим человеком». Понятны его упрёки актёрам, справедливы и слова о том, что сотрудничество в подобных фильмах пагубно для таланта. Но своей ошибки, своего просчёта писатель не признал.

Когда Вернер Краус вспоминал впоследствии о своём участии в фильме «Жид Зюсс», его явно преследовали обвинения Фейхтвангера; он словно вёл с ним диалог и оправдывался: «У Харлана был совсем другой финал: когда Зюсса поднимали в клетке, он извергал страшные проклятия перед повешением, и это было очень сильно, но всё это приказали убрать, еврея заставили скулить перед смертью». «Мы должны были работать и были рады, когда всё кончилось».

Но поразительно в письме Фейхтвангера другое: предчувствие, что им всем — и ему, нынешнему эмигранту-беженцу, и актёрам, которым адресовано его письмо, — в недалёком будущем предстоит взглянуть друг другу в глаза. Письмо оказалось пророческим, а ведь на дворе стоял 1941 год, и до Сталинграда было далеко.

Однако Фейхтвангер прямо предрекает: «Придёт время, и мы встретимся с вами в Берлине, господа, и вероятно, очень скоро. Возможно, мы и не откажем себе в удовольствии, заставим вас посмотреть с нами фильмы, подобные вашему шедевру “Жид Зюсс”. К этому и сведётся возмездие».

Вернер Краус в 1958 году подтверждает, что автор письма как в воду глядел: «Я не стал смотреть фильм после его завершения, но позже я должен был трижды его просмотреть в судебном порядке, к тому же в обществе американских офицеров-наблюдателей».

Таким образом, сбылось предсказание Фейхтвангера: возмездие наступило. Запущенный нацистами бумеранг возвратился. В том самом Нюрнберге, где в сентябре 1935-го были приняты расистские антиеврейские законы, где торжественные парады демонстрировали мощь Третьего рейха и НСДАП, в 1945-м состоялся процесс над их преступными главарями.

Фейта Харлана судили дважды и дважды оправдали. Со временем был снят с него и запрет на профессию. Он сделал ещё девять фильмов, но ни одна лента не добавила ему известности. Он не отрёкся от прошлого. Гитлера он продолжал считать гением, правда, теперь *злым гением* Германии. «Войти в историю с проигрышем и с печами?! Он опозорил нацию». На газовые камеры и печи можно было бы закрыть глаза в случае победы — такова логика режиссёра. Он не раскаялся.

«Мне отмщение, и аз воздам!» — сказано в Писании. Отмщение приобретает подчас неожиданные формы. Сын Харлана Томас вскоре после войны поставил в Западном Берлине пьесу «Я сам, и никаких ангелов», драматическую хронику Варшавского гетто. Пусть его отец наотрез отказался пойти на премьеру, но разве поступок сына — не отмщение? Более того, Томас Харлан женился на женщине, пережившей Освенцим. Жить и работать в Германии он не захотел, переехал в Париж.

Недавняя реабилитация Зюсса Оппенгеймера — в этом тоже приговор Высшего Суда, перед которым рано или поздно предстаёт каждый. Лион Фейхтвангер — не исключение: каждый писатель, особенно большой, несёт бремя ответственности за сказанное им слово. Воистину, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Как часто приходится нам вспоминать эти тютчевские слова!

Post Scriptum

23 февраля 2005 года в кёльнском Доме кино нам с мужем довелось увидеть запрещённый к показу в Германии, но, как мне известно, до сих пор находящийся в прокате многих арабских стран, фильм «Жид Зюсс». Он демонстрировался в рамках двухдневного семинара, который проводила вместе с кинокритиками Теологическая академия им. Меланхтона. Семинар

вёл молодой профессор из Ахена. В нём участвовали старшекласники нескольких гимназий Кёльна, но можно было прийти и со стороны, купить билет и войти в небольшой (на 250–300 зрителей) зал. К началу сеанса свободных мест в зале не оказалось. Публика собралась пёстрая, но преобладали молодёжь. Было несколько пожилых пар интеллигентного вида. Возможно, кое-кто из них видел фильм в годы своей юности. Перед нами уселись двое коротко стриженных мужчин лет тридцати с банками пива в руках, из которых они неторопливо отхлёбывали, и я внутренне напряглась: уж не ждёт ли нас новый «пивной путч»?!

Перед началом сеанса перед рампой появился профессор, одетым смахивающий скорее на божжа, коротко рассказал о фильме, назвав его антисемитским, пообещал продолжение разговора после сеанса, но предварительно попросил зрителей подумать, правильным ли было решение о его запрете в послевоенной Германии.

А далее на небольшом экране появились чёрно-белые кадры: вначале звезда Давида, поддерживаемая двумя стоящими на задних лапах львами, а затем герб герцогства Вюртембергского. Я поначалу опасалась, что не пойму диалогов и вслушивалась напряжённо в речь героев, но потом напряжение спало, и я смотрела на происходящее довольно отстранённо. Бросались в глаза навязчивые контрасты, плакатность некоторых сцен, «лобовые» приёмы (к примеру, чужеродность Зюсса выявляется в момент его появления в Штутгарте таким путём: представляясь юной провинциалочке, он говорит ей о Вене, Париже и называет себя гражданином мира, и это сразу ставит его вне общества истинных граждан отечества). Интересно, знают ли сидящие в зале, что великий немец Гёте считал себя космополитом и что это слово стало ругательным при нацистах, а позже и в стране Советов?

Раздражала неестественность манер, ходульная положительность Доротеи и её жениха (он явно «косил» под *бурного* гения, хотя до периода «Бури и натиска» было ещё далеко). Поймала себя на том, что мне несимпатичны не только жуликоватые физиономии суетливых евреев, но и лоснящиеся лица массивных неповоротливых членов местного ландтага, с их париками и камзолами, которые, казалось, вот-вот лопнут на их кражистых фигурах. Всплыла в памяти ироническая строка из Гейне: «Они, как один, все были умны и дородны!» Да-да, крепкие задним умом дородные ослы-избиратели. Стихотворение так и называется: «Ослы-избиратели».

Я давно уже не читаю лекций студентам, но стихи помню. Представляю, как раздражал Гейне своих соотечественников. Вот они, серьёзные и честные в своём негодовании, скопившие ненависть против пролазы Зюсса, затесавшегося в их ряды, сейчас крикнут ему в лицо:

Какой ты осёл, помилуй?!
Да ты, как видно, рождён на свет
Французскою кобылой!
Ни капли крови ослов в тебе нет,

Ты весь в полосах, по-зебрёйски,
И вообще тебя с головой выдаёт
Твой выговор еврейский!

Да, «осёл останется ослом, хоть ты осыпь его звёздами», как это сформулировал ещё Державин. Но оставим их, пусть себе мирно пасутся! «Паситесь, мирные народы!» — вступает в нашу переключку сам Пушкин, которого Державин, «в гроб сходя, благословил». Как остановить этот ассоциативный поток? Только переключившись на обсуждение фильма.

Дискуссия не была бурной, но оказалась предметной. Почти все ответили на вопрос профессора-модератора однозначно: поскольку фильм антисемитский, он заслуживает запрета. «Пивного путча» не случилось, напротив, молодые люди, стрижки которых заставили меня насторожиться, приняли активное участие в обсуждении, подавали реплики, обменивались мнениями между собой. Один из них даже выступил, заметив, что коррупция, которую мы наблюдали на экране, и сейчас имеет место, но теперь нет евреев, на которых можно было бы свалить вину.

Не все немцы знают, что евреи в Германии всё же появились, нас здесь около ста тысяч (по данным Совета еврейских общин). Но нынешние евреи почти лишены той пассионарности, социальной активности, которая отличала немецких евреев XIX и первой трети XX столетия, а потому сомнительно, чтобы они сегодня выдвинули из своей среды нового Эйнштейна, Фрейда или даже еврея Зюсса.

¹ Перевод Ю.Тынянова.

ФРАНЦ КАФКА И МИЛЕНА: ПОД ЗНАКОМ СУДЬБЫ

Лаура, Беатриче, смуглая леди сонетов — эти давно опочившие прекрасные незнакомки предстают в ореоле бессмертия, которым они всецело обязаны великим поэтам. Близость к Францу Кафке обрекла на бессмертие и Милену Есенскую. Памятником ей стали его письма к ней. Она хранила их после разрыва с возлюбленным, а затем — после его смерти в 1924 году, ревниво оберегая от чужих глаз, и только в 1939-м, когда почувствовала грозящую опасность, доверила их давнему приятелю критику Вилли Хаасу, который в своё время общался и с Кафкой. После войны, когда разразился «кафковский бум», Хаас опубликовал доверенное ему сокровище — «Письма Милене» (1952). Что до писем самой Милены, которые были для Кафки вначале счастьем и утешением («дни без твоих писем ужасны» — это его слова), а вскоре стали, по его же признанию, «неизбывной мукой», то они пропали. Однако образ адресата явственно вырисовывается в письмах самого Кафки.

«Какое царственно-тяжёлое имя...»

Они познакомились, когда писателю было почти 38, а ей — 24 года. Он — лёгочный больной, страдающий бессонницей и мигренями, замкнутый, как всякий не уверенный в себе человек, молчаливый и грустный (такой автопортрет нарисовал он сам). Она же, как он её видит, твёрдо стоит у древесного ствола, молодая, красивая, и сияние её синих глаз своими лучами подавляет мирскую скорбь. Он проживает в Праге, а она в ту пору — в Вене. Их разделяют не только пространство и время, но и возраст плюс несходство натур.

Оба несвободны. Милена привязана к своему мужу, с которым она познала и высочайшее счастье, и глубочайшее страдание, а Кафка — весь во власти бесчисленных страхов («основа моего существа — страх»), к тому же он давно и навсегда обручён с письменным столом.

Тем не менее, между ними возникла удивительная духовная близость, и вспыхнула любовь, единственная любовь в жизни Кафки. Что до Милены, то она пишет: «Да, ты прав, я его люблю. Но, Ф., я ведь и тебя люблю тоже». Признаваясь Макс Броду в том, что эта женщина — вся пламя, что он никогда не встречал подобной ей, Кафка грустно добавляет: «Но пылает она для него». Он имел в виду её мужа.

Кафка и боялся встречи с Миленой, и жаждал её. Их свидание было недолгим: четыре счастливых дня в Вене и её пригородах в июле 1920 года. Однако ради Милены («какое царственно-тяжёлое имя, такая в нём полнота, что его уже и не поднять») он готов был отречься от уединения.



Кафка и его
рисунки

Расставшись с ней на перроне, он на второй день признаётся: «Странным образом я не могу писать тебе ни о чём другом, кроме того, что касается только нас, нас посреди этой мирской суеты. Нас одних. Всё чужое мне чуждо». Не успев вернуться из Вены, он отсылает ей письмо, которое написал в 1919 году отцу, но всё не решался вручить, хранил его от всех в тайне, а ей, Милене, открылся. В каждой строке «Письма к отцу» бьётся и трепещет его страдавшая душа, там открываются не только потаённые уголки и изломы психики человеческой, но настоящие бездны, провалы, ей угрожающие.

В письмах Милене Кафка часто пишет о своём еврействе, которое, несомненно, проводило между ними черту: «И потому мои

тридцать восемь еврейских лет говорят перед лицом Ваших двадцати четырёх христианских». Что означал этот «разговор» их лет? Зараза антисемитизма не коснулась Милены (её мужем был тоже еврей), она глубоко понимала все движения души Кафки, но понимание не есть переживание на собственном опыте того, что испытывал её возлюбленный. Он даёт ей почувствовать их различие косвенно, реагируя на размолвку Милены с его другом Максом Бродом: «Ты, бесспорно, права во всех своих рассуждениях, но теперь попробуй встать на его место. У тебя есть родина, и ты вольна ею пренебречь... А у него родины нет и потому нечем пренебрегать, и он всё время должен думать о том, как бы её найти и построить, — всё время: снимает ли он шляпу с гвоздя, лежит ли на солнце в бассейне или пишет книгу, которую ты будешь переводить...» Со своей чуткостью и художнической одарённостью Милена всё понимала, тем более что Кафка то и дело напоминал ей о своём еврействе:



«...говоря о будущем, не забываешь ли ты иногда, что я еврей? О, еврейство — опасная штука, даже у ног твоих».

Называя себя самым западным из западноевропейских евреев, Кафка объясняет ей, что по этой причине ему не даровано судьбой ни секунды покоя, он должен добиваться не только настоящего и будущего, но даже прошлого, которое все другие просто получают в наследство. Он жалуется, что на эти обязанности у него нет сил: «...я не могу нести мир на своих плечах, я ведь даже зимнее пальто своё с трудом выношу. Это бессилие, впрочем, факт отнюдь не обязательно прискорбный; каких сил вообще достало бы на выполнение подобных задач?



Всякая попытка пробиться в этом мире собственными силами — безумие, и безумием она вознаграждается. Потому и невозможно для меня «приехать со всем этим», как ты пишешь».

Кафка доверяет Милене всецело, беседует в письмах с ней свободно и не боится признаться в том, что основу его существа составляет страх: «...я ведь целиком из него состою, и он, возможно, лучшее, что во мне есть». Ещё до встречи с Миленой Кафка набрасывает в письме к ней свой автопортрет. Он смотрит на себя как бы со стороны, ведёт сам с собой неловкий разговор: «Тебе тридцать восемь лет, и ты так устал, как, наверное, от возраста вообще не устают. Вернее сказать, ты вовсе не устал, а стал беспокойным, ты лишнего шагу боишься ступить на этой ошетилившейся ловушкой земле, и потому у тебя фактически всё время обе ноги в воздухе; ты не устал, а только боишься страшной усталости, которая последует за этим страшным беспокойством (ты ведь еврей и знаешь, что такое страх)».

Экзистенциальный страх и чувство вины преследуют героев всех произведений Кафки, герои в этом отношении похожи на автора, а он — на своих героев. Томас Манн считал, что это ситуация «специфически еврейская, но распространённая на художника, на человека». Еврейская ситуация... Многовековые преследования и вечная неизвестность (какой палач следующий?) отложились в особом, обобщённом чувстве страха и вины, запечатлённом в еврейских генах и переходящем из поколения в поколение.

Всю жизнь Кафка ощущал страх, как «грозный подземный гул». «Смолкнет он — смолкну и я, это мой способ участия в жизни, кончится этот гул — я кончу и жизнь».

То, что Милена завоевала доверие Кафки, свидетельствует о неординарности её личности. Но уже осенью 1920 года, после нескольких месяцев лихорадочного обмена письмами (иногда он писал ей трижды в день, а она, не успев отправить письмо, посылала вдогонку телеграмму), их бурный роман закончился разрывом. Кафка счёл, что их союз для Милены — средство привязать к себе мужа, хотя она сама этого не осознаёт, и он решил прервать переписку. Но остались «Письма Милене» — поразительные по открытости и глубине чувства письма, уникальный памятник эпистолярного жанра, угасшего в конце XX столетия.

После разрыва Кафка продолжал думать о ней. В романе «Замок» (1922) знакомые узнавали её в образах Фриды и Амалии. Милена несколько раз посетила Кафку в доме его родителей. Во время последней встречи Кафка доверил ей свои дневники, все пятнадцать тетрадей, с просьбой после его смерти передать их Макс Броду.

Ум и отвага

Кем же была Милена, как сложилась её жизнь и судьба? Родилась она в 1896 году в семье преуспевающего стоматолога Яна Есенского, профессора Пражского университета. Её отец, к которому она питала сильное, но сложное чувство (немецкое понятие *Haßliebe* почти адекватно русской «любви-ненависти»), был человеком старой закалки. В чешском обществе Праги

(существовало, параллельно, и немецкое), где он играл значительную роль, он слыл «оригиналом». Дома он был строг, дочь должна была обращаться к нему на «вы» и целовать руку. Рождение младшего брата обернулось откровенным безразличием отца к Милене, а ранняя смерть мальчика, обманутые надежды вызывали вслушки отцовской ярости. Постоянно болевшая мать заступницей дочери быть не могла, напротив, девочка с младых ногтей ухаживала за нею. Ей было тринадцать, когда мать угасла.

Милене блестяще окончила женскую классическую гимназию «Минерва» с гуманитарным уклоном. Она привыкла быть во всём первой и выделялась даже среди эмансипированных подруг независимым нравом. Отец потребовал, чтобы она посвятила себя медицине. Сам он в годы Первой мировой войны увлёкся вслушки отцовской хирургией и заставлял дочь ассистировать при операциях. Вид раненых, их муки — всё это было выше её сил, она покинула медицинский факультет, попыталась заняться музыкой, но без особого успеха.

Милену влекло общество пражских интеллектуалов. Её тётушки, Мария и Ружена Есенские, одна — переводчица с английского, другая — поэтесса и романистка, были известны в литературных кругах. Но тётушки были пуританками, а Милене — вакханкой, анархисткой. Она тратила деньги без счёта на цветы, на подарки подругам, не думая, что завтра не на что будет поесть. В дружбе она была неистощима на добро, без зова бросалась на помощь, но считала само собой разумеющимся, что друзья ей ответят тем же. Она стала часто появляться с подругой в кафе «Прокоп», где собирался литературный бомонд. Их прерафаэлитские наряды в лиловых и голубых тонах кое-кому казались вызывающими, но Милене не принадлежала к богеме. Она не вписывалась в атмосферу литературных кафе и кабачков послевоенной Праги и Вены с их эротической и интеллектуальной вседозволенностью.

Вилли Хаас в послесловии к «Письмам Милене» пишет, что она напоминала аристократку шестнадцатого или семнадцатого века, стандалевский женский тип — Джину Сансеверину или Матильду де ла Моль — страстную, отважную, холодную и умную в решениях, но и безоглядную в выборе средств, особенно если речь шла о страсти.

Возможно, свободомыслие, непокорность она унаследовала на генетическом уровне. Её далёкий предок, Ян Ессениус, участвовал в восстании богемских протестантов и был казнён в 1621 году, о чём свидетельствовала памятная доска на стене старой пражской ратуши: его имя значилось среди мучеников чешского народа. Прежде чем обезглавить, ему вырвали язык. Оружием Милены тоже станет язык, слово. А может быть, и мученичество ей было предопределено?

Пророчество

Знакомство с Эрнстом Поллаком перевернуло её жизнь. Он принадлежал к литературным кругам, был собеседником и наставником многих писателей как в Праге, так и в Вене, писал докторскую диссертацию о неопозитивиз-

ме, правда, она осталась незавершённой, как и многие другие его проекты. Поллак ввёл Милену в ныне легендарный круг немецкоязычных — прежде всего еврейских — пражских писателей, среди которых были Франц Кафка и Франц Верфель, Макс Брод, друг и будущий душеприказчик Кафки, Вилли Хаас, Эгон Эрвин Киш. При этом сам Поллак был начисто лишён творческого дара, он играл роль катализатора.

Отец Милены и многие друзья дома были шокированы тем, что её выбор пал на еврея. Отец даже попытался упрятать её в психушку, но понял бессмысленность затеи: ведь в дочери женская нежность уживалась с почти мужской решимостью. Однако в материальной помощи он ей раз и навсегда отказал. Между тем Эрнст Поллак, хоть и был на десять лет старше, оказался неспособным обеспечить молодую жену, которая в прежней жизни не привыкла считать деньги. Милене, не имевшей профессии, заработать было нелегко. Оказавшись с Поллаком в Вене, она попыталась давать уроки чешского языка, а иногда, когда денег не оставалось, Милена отправлялась на главный вокзал и за гроши подносила приезжим чемоданы.

Но куда больше подобных унижений её мучила неуверенность в избраннике, который дни и ночи проводил с друзьями и приятельницами в кафе, иногда они всей компанией заваливались в дом за полночь. Эрнст изменял Милене и, наконец, предложил ей «жизнь втроём». Она пыталась покончить с собой, не в силах смириться с утратой любви мужа. Именно к этому мучительному для неё времени относится её сближение с Кафкой.

Поводом к переписке послужил её перевод «Кочегара» (будущая первая глава романа Кафки «Америка»), который Милена опубликовала в чешском литературном еженедельнике. Начиная с января 1920 года она писала для чешской «Трибуны» фельетоны из венской жизни. Это давало хоть какой-то заработок, но — главное — эти пробы пера были средством выстоять, выжить. Эрнст высмеивал переводы жены, это её больно ранило.

Кафка же, напротив, оценил перевод Милены: «Для меня непостижимо, как Вы решились взять на себя этот тяжкий труд, и я глубоко тронут тем, с какой верностью Вы его исполнили, словечко за словечком; что такая верность и та великолепная естественная уверенность, с какой Вы её сохраняете, возможны в чешском языке, я и не предполагал. Неужели немецкий и чешский так близки?» Милена перевела на чешский язык «Приговор», «Превращение» и новеллистический цикл «Созерцание».

Не только переписка, личное знакомство, но и проникновение в текст (а каждый текст Кафки глубоко автобиографичен) позволили ей настолько глубоко понять его, что она в письме к Макс Броду не просто создала его психологический портрет, но и предрекла будущее: «Для него жизнь вообще — нечто решительно иное, чем для других людей, и прежде всего: деньги, биржа, валютный банк, пишущая машинка для него совершенно мистические вещи... Для него служба — в том числе и его собственная — нечто столь же загадочное и удивительное, как локомотив для ребёнка... Человек, бойко печатающий на машинке, и человек, имеющий

четырёх любовниц, для него равно непостижимы... непостижимы потому, что они — живые. А Франк не умеет жить. Франк не способен жить. Франк никогда не выздоровеет. Франк скоро умрёт.

Конечно, мы-то все как будто приспособлены к жизни, но это лишь потому, что нам однажды удалось найти спасение во лжи, в слепоте, в воодушевлении, в оптимизме, в неколебимости убеждения, в пессимизме — в чём угодно. А он никогда не искал спасительного убежища, ни в чём. Он абсолютно не способен солгать, как не способен напиться. У него нигде нет прибежища и приюта. Он как голый среди одетых... Его книги поражают, но он сам поражает ещё сильнее».

Звезда журналистики

После смерти Кафки Милена оставляет Поллака и возвращается в Прагу. Она не одна, с ней — Франц Шафготш, обедневший немецкий граф, побывавший в русском плену и вернувшийся оттуда убеждённым большевиком. С ним она едет к его друзьям-коммунистам в Дрезден, где девять месяцев изучает теорию коммунизма. Но теория, как известно, без практики мертва, и сердце Милены она не задела. По возвращении в Прагу она вся отдаётся журналистике, к ней приходит успех. Её фельетоны почти ежедневно появляются в пражских газетах. Её внимания добиваются, со всех сторон сыплются предложения о сотрудничестве. Франц покидает Милену, оставаться в тени рядом с ней выше его сил. В 1926 году выходит книга её эссе «Путь к простоте», которую она посвятила отцу в знак примирения. Ещё больше его и тётушек ошеломило то, что Милену пригласили сотрудничать в газету националистической консервативной партии. В их глазах это была великая честь, ведь Ян Есенский долгие годы состоял в этой партии.

Летом 1926 года Милена познакомилась с архитектором Яромиром Крейчаром. Это талантливый молодой человек был одним из первых пропагандистов искусства Ле Корбюзье. По проекту Крейчара в Праге был возведён восьмизэтажный деловой центр «Олимпик», железобетонное чудо модернистского искусства. Широкое признание и успех придут к нему в 1937 году после сооружения чешского павильона на всемирной выставке в Париже. Пока же он серьёзно увлечён Миленой. В эту пору одна за другой выходят её книги, вместе с подругой она издаёт авангардистский журнал большого формата, богато иллюстрированный. Правда, через год в связи с непосильными расходами им пришлось отказаться от этой затеи. Но к этому времени у Милены уже есть имя, она — звезда журналистики.

Первый год её жизни с Яромиром был безоблачным, отношения их были гармоничны, впервые она чувствовала себя счастливой. Она ждала ребёнка. «Но за всё нужно платить», — любила повторять Милена. Болезнь подкралась внезапно, и она решила активно ей противостоять, она ведь сильный человек, не какая-нибудь неженка. Отправившись с мужем в горы, она купалась в холодном горном озере, думая, что такая встряска будет по-

лезной организму. Но случилось обратное. С высокой температурой и частично парализованную её доставили в больницу Праги. Диагноз — сепсис. Отец делал всё для спасения дочери, не отходил от её постели; поскольку боли были нестерпимы, он сам давал ей морфий. Милена родила девочку, но сил ходить за ребёнком не было. И сама Милена, и окружающие считали положение безнадежным, и отец спросил, кому она хотела бы доверить ребёнка после смерти. И смертельно больная Милена ответила, что она скорее бросит дитя в Дунай, чем доверит ему, потому что он вырастит девочку несчастной, какой стала она сама благодаря отцовскому воспитанию. Даже в отчаянном положении она не шла на компромисс.

Милена выжила, но вышла через год из больницы калекой. Дело не только в костылях, без которых ей было не двинуться, она не могла дня прожить без морфия. Она стала морфинисткой. Но Милена справилась и с этим. Она сама выбралась из тупика, без чьей-либо поддержки (у Крейчара уже была другая возлюбленная). Писательство оказалось для Милены опять спасательным кругом, да и природа взяла своё. Кафка в своё время ощутил её стихийную мощь: «Милена как море — в ней та же сила, что и в море с его водной громадой».

На короткое время она сблизилась с коммунистами (её близкие друзья были членами партии), но после московских процессов вышла из компартии.

Милену пригласили сотрудничать в известный либерально-демократический еженедельник «Современность», она становится политическим комментатором, проницательным и резким. После оккупации Чехословакии нацистами её статьи — как одинокий голос онемевшего подавленного народа.

Милена принимает активное участие в работе группы по спасению людей, которым грозит опасность. Её квартира становится местом тайных встреч и временным убежищем для преследуемых. Их затем переправляли в Польшу. Она помогла таким образом спастись обоим бывшим мужьям-евреям и многим друзьям.

Участвуя в Сопrotивлении, Милена часто действовала безоглядно, не проявляя должной осторожности, напротив, она всячески подчёркивала свою враждебность новому режиму: прикрепив к одежде жёлтую звезду, она демонстративно вышагивала по улицам Праги, надеясь побудить чешских сограждан последовать её примеру.

Отец, известный в городе антисемит, шокированный поведением дочери, позвонил ей и спросил, отчего она до сих пор на свободе. Он как в воду глядел: быть на свободе ей оставалось недолго. Гестапо уже приглядывалось к Милене. Им стало известно об её участии в издании подпольной газеты «В бой!».

Когда-то Кафка ей пророчил: «В какие глубины увлечёт тебя твоя серьёзность и твоя энергия!» Линия судьбы неотвратимо вела её к гибели. Милена чувствовала, что её вот-вот арестуют. Больше всего её волновала судьба дочери, девочки умной, не по годам развитой, но своевольной и резкой. Что станет с Гонзой, если она окажется в тюрьме?!

В концлагере Равенсбрюк

Милену арестовали ранней осенью 1939-го. Вторая мировая война уже была развязана. Вначале её, как и всех политзаключённых, содержали в тюрьме Панкрац. Она была осуждена за работу в нелегальных изданиях. Милену отправили в женский концентрационный лагерь Равенсбрюк, в деле была пометка: «Возвращение нежелательно».

Вероятно, власти концлагеря прислушались к указанию гестапо. Незадолго до смерти, рассматривая открытки, присланные отцом (это были репродукции видов Праги в стиле *бидермайер*), Милена сдавленно прошептала: «На моей родине цветут розы... Как бы я хотела вернуться...» и горько заплакала. Она умерла в мае 1944-го; официальный диагноз: от острой почечной недостаточности.

«Милену принадлежала к тем немногим, кто не смог стать равнодушным и не отупел. Она видела вокруг себя ужас и приходила в отчаяние от-



того, что не в силах помочь десяткам тысяч страдальцев. Каждый вечер она возвращалась из больничного барака и рассказывала о новых ужасах. От неё, журналистки, ничто не ускользало. Её способность впитывать впечатления лишь усилилась при жизни в постоянном напряжении. Вероятно, страх перед насильственным концом породил особую зоркость чувств», — пишет Маргарете Бубер-Нойман. Она познакомилась и подружилась с Миленой в Равенсбрюке. Милене оказалась близка полная перипетий

история новой подруги, немецкой еврейки-коммунистки. Печальный опыт её пребывания в России потряс, но не удивил Милену: её оценка советского коммунизма была ясной и негативной. Антифашистка Маргарете провела пять лет в сталинском ГУЛАГе, была передана НКВД в лапы гестапо и оказалась в немецком концлагере. Ей посчастливилось выжить. Она станет свидетельствовать против двух тоталитарных режимов. Напишет она книгу и о Милене. Там есть такие слова: «Я благодарна судьбе, что попала в Равенсбрюк, ведь там я встретила с Миленой Есенской». Вчитайтесь, вдумайтесь в них! Разве это не памятник Милене?

Гении редко ошибаются, а Кафка, не переставая думать о Милене, писал другу незадолго до кончины: «...она — живой огонь, какого я ещё никогда не видел... При этом — сама нежность, отважная, умная, и всё это она приносит в жертву или, если угодно, это благодаря жертве и выявляется». И сегодня, хотя этот огонь отпылал, отблески его ещё светят людям.

ОТ ЛОРЕЛЕИ ДО ОСВЕНЦИМА¹

Освенцим. Какая свинцовая тяжесть в этом имени! Навсегда впечатано оно в мартиролог человечества. То, что совершали нацисты в огромном лагере уничтожения, возведённом осенью 1941-го с немецкой основательностью в этом ранее безвестном польском городке недалеко от Кракова, преступно не только по отношению к евреям, это — преступление против человечества и собственного народа. Нацисты растлили народ и повязали кровавой круговой порукой. Осознание масштабов сотворённого ими зла приходит постепенно, но с годами приходит. Сегодня самое страшное слово в политическом словаре Германии — «Освенцим».

Наивысший символ страданий

Известный писатель и переводчик Лев Гинзбург признался, что при посещении Освенцима его охватило чувство непередаваемого ужаса. Этот ужас рождали не только масштабы массовых убийств, но холодная расчётливость «бухгалтерии смерти»: Освенцим поставлял ежемесячно в государственную казну около двух миллиардов рейхсмарок. Из чего складывалась эта гигантская сумма? Рабский труд узников на так называемых подсобных предприятиях приносил огромную прибыль. Кроме того, все «отходы производства» шли в дело: пепел — на удобрение, женские волосы — на матрасы, золотые коронки — в золотой запас рейха, вещи, отнятые у жертв, после дезинфекции отправлялись в Германию для нужд граждан. Одних детских колясок было отправлено 12 вагонов.

Побывавший до того в Бухенвальде и Дахау, Заксенхаузене и Равенсбрюке, Лев Гинзбург пытался определить: что же такое Освенцим? В своей последней и наиболее известной книге «Разбилось лишь сердце моё» он подвёл итог своим раздумьям: «Освенцим и есть наивысший символ страданий, конечная станция, на которую привезли человечество».

Как освобождали Освенцим...

По мере того как война катилась на Запад, ведомство Гимmlера-Эйхмана в предчувствии возмездия стало замечать следы. Большинство лагерей уничтожения, расположенных в Польше, среди которых Трeблiнка и Майданек,

¹ Сокращённый вариант опубликован в журнале: *Слово/Word*. Нью-Йорк, 2005. № 45.

были взорваны и стёрты с лица земли. Быстрое наступление Красной Армии застало немцев в Освенциме врасплох. В начале января 1945 года более 50 тысяч его узников были вывезены на Запад, в глубь Германии. Ушло несколько эшелонов. Везли их по 140 человек в положении стоя в вагонах, крыш у которых не было. К исходу недели 50% «пассажиров» стали трупами. Один из составов разбомбили британские самолёты. Уцелевшие во время бомбёжки укрылись в лесу, кое-кому посчастливилось выжить.

За отсутствием транспорта тысячи заключённых в сопровождении охраны СС 20 января погнали пешком из Освенцима в концлагерь Бухенвальд. Это был «марш смерти». Обессиленные, голодные и почти раздетые узники (некоторые из них весили не более 35–40 килограммов) умирали по пути сотнями, тех, кто не мог идти, пристреливали у обочин.

По замыслу нацистов Освенцим со всеми филиалами должен был быть уничтожен, но наступление советских войск развивалось стремительно. Поразительно, но участники Висло-Одерской операции по захвату Силезии на концлагеря наткнулись случайно. В планах январского наступления советских войск городок Освенцим и одноимённый концлагерь (он же Аушвиц) с его филиалами в качестве объектов, представляющих стратегический и оперативный интерес, не значились.

26 января воины 60-й армии на станции Лебионж обнаружили филиал концлагеря Освенцим со случайно уцелевшими узниками, которые называли огромное число уничтоженных в лагере — не менее 400 000. Цифра, показавшаяся освободителям фантастической, при окончательном подсчёте увеличится в пять раз. Подсчёт вели сами немцы, в руки освободителей попала вся документация лагеря.

В тот же день бойцы 472 стрелкового полка, которым командовал подполковник Семён Беспрозванный, в селе Бабица, что в 12 километрах от Освенцима, встретили группу бывших узников-поляков. Те и рассказали о концлагере, «где сжигают». Решено было лагерь брать. В боях за мост через речку Сола погибло 42 воина и в их числе командир полка, еврей.

О том, как шли бои за Освенцим, свидетельствует бывший командир 107-й стрелковой дивизии, генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского Союза Василий Петренко: «Аушвиц и его филиалы были хорошо укреплены, противник использовал танки и бронетранспортёры, артиллерию и миномёты. Мы же отказались от использования артиллерии, опасаясь попортить узников. Применяли лишь противотанковые орудия».

Участник боёв за Освенцим, командир орудийного расчёта, сержант Алимбеков подтверждает, что его орудие 27 января не выстрелило ни разу. По мере приближения к Освенциму резко изменился воздух, запахло палёным. «Никогда не забуду, как вошёл в лагерь и увидел живые трупы с огромными потухшими глазами. Ко мне подошли узники из Прибалтики, слов благодарности не помню, они просто обнимали нас и плакали». Ворвавшиеся 27 января 1945 года в Освенцим части 1-го Украинского фронта застали там 7 650 измождённых и больных узников, невероятно грязные бараки и ещё дымящиеся крематории.



Василий Громадский в бою за Освенцим был ранен в руку. В ту пору он был командиром роты. Его солдаты обнаружили неизвестный объект, обнесённый колючей проволокой. «Мы понятия не имели, что мы обнаружили. Мы ничего не знали о существовании концлагеря под Аушвицем и тем более не знали, что там происходило. Там были ворота на замке. Я приказал сбить замок. Прошли мет-

ров двести, видим — ковыляют к нам узники, человек триста в полосатых робах. Им-то казалось, что они бегут. Мы насторожились, нас предупредили, что немцы переодеваются... Но это были действительно узники. Они плакали, обнимали нас. Одна женщина всё совала в руку кусочек сахара — в её глазах сокровище. Они показали нам трубу крематория и сказали, что там сжигали людей. Они хотели, чтобы мы осмотрели лагерь. Я лишь заглянул в барак. Но тут прибежал связной и доложил, что в полутора километрах к северу на лагерь наступают немцы». Громадский со своим взводом направился отражать атаку. Больше он в Освенциме не был, но именно Освенцим стал его главным воспоминанием о войне.

Почему? Почему? Почему?

Солдаты и офицеры 60-й армии узнали об Освенциме накануне его штурма. Командующему фронтом маршалу Коневу доложили о нём в ходе боёв, но в Москве, в Кремле, о нём знали с конца 1943 года. НКГБ располагал показаниями двух бежавших узников, которым удалось добраться до расположения советских войск, их подробные показания были запротоколированы и снабжены грифом «Совершенно секретно». Концлагерь упоминался в советско-английской дипломатической переписке осенью 1944 года. Сталин не мог о нём не знать.

Эли Визель — румынский еврей, он провёл в Освенциме 11 месяцев и был участником «марша смерти». Он станет свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе, напишет книги, станет Нобелевским лауреатом. Пепел сожжённых будет стучать в его сердце до конца дней. Он создаст институт, который будет искать нацистских преступников по всему свету, ибо очень многим удалось уйти от возмездия. При встрече с генералом Петренко в Москве спустя многие годы после войны Визель рассказал ему, как узники ждали прихода русских, стоявших в нескольких шагах от лагеря, как надеялись. Ведь их приход мог спасти десятки тысяч человек. «Почему освободители пришли так поздно?» Вопрос Визеля остался без ответа.

Те, кто ушёл дымом в небо над Освенцимом, не задают вопросов, но немногие пережившие Холокост не находят покоя. Они недоумевают, почему американская и британская авиация, совершая «акты возмездия», превратившая в сплошное пепелище многие города Германии, начиная с Кёльна и кончая Дрезденом, почему она не разбомбила подъездные пути к лагерям Освенцима, почему не уничтожила крематории, ведь чёрный дым их труб был виден издалека. Почему?!

Несмотря на засекреченность антиеврейских акций, проводимых нацистами, в Вашингтоне и Лондоне знали о массовом уничтожении евреев. Когда летом 1944 года в Освенцим пошли транспорты с венгерскими евреями, в США и Англию стали поступать настоятельные просьбы Всемирного еврейского конгресса (Швейцария) нанести бомбовые удары. Американцы возразили, что Освенцим не является военным объектом и поэтому не может быть подвергнут бомбардировке. Если бы не знать, что тихий университетский Вюрцбург, не имевший военных объектов, был обращён в руины в одночасье (по слухам, на него якобы по ошибке сбросили бомбовый запас, предназначавшийся для Франкфурта — где Вюрцбург, где Франкфурт?! — но промышленный потенциал Франкфурта американцы решили для себя сохранить), объяснение американских «законников» можно было бы принять. Но как принять эту явную и циничную ложь, как?!

Советский Союз заявил, что наилучшим способом спасения евреев будет полный разгром нацистской Германии. В свете нашего знания политики Сталина и этот ответ понятен. Решались глобальные вопросы, спасение узников концлагерей, и тем более евреев, не было приоритетной задачей.

60 лет спустя

С момента освобождения концлагеря прошло 60 лет. 27 января 2005 года в Кракове открылся первый международный форум под девизом: «Жизнь народу моему!». Для участия в форуме приехали президенты и высокопоставленные представители более тридцати стран. Присутствовал и посланец Папы римского — французский кардинал Жан-Мари Люстиже, мать которого сожгли в Освенциме.

Работа форума началась с посещения Освенцима / Бжезинки. Лагерь встретил звенящей тишиной. Все в тягостном молчании прошли через ворота, над которыми основательно проржавевшие чёрные буквы складывались в циничный афоризм: «*Arbeit macht frei*» («Труд делает свободным»), и задержали шаг у монумента, установленного на территории бывшего концлагеря в 1967 году. У его основания на металлических досках на нескольких языках выбиты слова: «Да будет на века криком отчаяния и предостережением для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев, из разных стран Европы!»

Официальные лица были в чёрном, что придавало шествию вид похоронной процессии. Владимир Путин вышагивал рядом с английским прин-

цем, премьер-министр Италии Берлускони поспешал за королевой Нидерландов. Гости двигались вдоль рельсов узкоколейки по дорожкам из гравия, мимо бараков женского лагеря по направлению к «душевым», как здесь именовали газovní. Здесь, в сотне метров от них, и проходил траурный митинг.

Помимо высоких гостей присутствовали и те, кто этим «крутым маршрутом» проходил более шестидесяти лет назад, — уцелевшие жертвы Холокоста, прибывшие ныне из разных мест: Израиля, США, Украины, Германии, России, Англии... Многие были в полосатых шапках, а кое-кто натянул поверх пальто полосатые лагерные робы с жёлтыми шестиконечными звёздами. Прибыли по приглашению и советские солдаты и офицеры, возвратившиеся в Освенцим 27 января 1945 года, ныне глубокие старики.

На этот раз удалось избежать «полонизации» траурной годовщины, которая имела место десять лет назад, когда Лех Валенса, выступая в Бжезинке и говоря о «дороге мучений народов», лишь в самый последний момент добавил: «Прежде всего, народа еврейского». Добавил от себя, потому что в тексте, вручённом журналистам, этих слов не было. Польские власти не хотели признать, что большинство жертв понесли евреи, да и опрос общественного мнения тогда показал, что лишь 8% поляков видит в Освенциме символ истребления евреев, а 47% считает его символом страданий польского народа. Возможно, всплывшая правда о зверском убийении евреев поляками в Едвабне охладилла пыл националистов, но мероприятия, посвящённые памяти жертв Освенцима, проходили на этот раз не по «польской партитуре».

Речи выступавших далеко разносились в стьлом воздухе, легко преодолевая колючую проволоку, рядами натянутую по периметру лагеря. Слова уносились вдаль и таяли на открытом плоском пространстве: «память человечества», «глубочайшее моральное падение», «ужаснейшее место преступления», «историческая вина», «никогда больше»... Густыми хлопьями валил снег, покрывая белым одеянием стоящих в скорбном молчании людей. Вскоре элегантные чёрные регланы стали неотличимы от лагерных роб. На общем мертвеном фоне вызывающе гляделась оранжево-зелёная спортивная куртка и вязаная шапочка вице-президента США. Каждый думал о своём. Возможно, кое у кого и мелькал вопрос, как случилось, что немцы поверили Геббельсу и Штрассеру? Как они могли из народа поэтов и мыслителей превратиться в народ убийц?

Рождение расовой доктрины

Среди множества вопросов, приводящих в отчаяние, особенно мучителен один: что общего между немцами эпохи Гёте и народом Адольфа Гитлера? Неужели имеется связь между преступной сущностью нацизма и прежним духовным богатством Германии? Работая уже который год над очень широкой темой «Евреи и немцы в контексте истории и культуры», я эту *косвенную* связь нацупала и стала «вести расследование». Поддерживало то,

что в своих догадках я была не одинока. Моим единомышленником оказался Виктор Клемперер, известный немецкий филолог, еврей, чудом избежавший Освенцима.

Он выжил физически благодаря жене-арийке, которая от него не отреклась, и выжил духовно благодаря заметкам, которые вёл изо дня в день, из месяца в месяц, не теряя надежды стать свидетелем обвинения. Отлучённый от любимой работы, изгнанный из Дрезденского университета, он жил тем, что втайне вёл дневник все годы нацистского режима. Он совершал свой тихий подвиг, ежечасно рискуя быть брошенным за это в Освенцим. Название этого лагеря смерти мелькает на страницах дневника.

Жена, снабжавшая его литературой (евреям было запрещено пользоваться библиотеками, приобретать книги), выносила из дома написанное и прятала листки у подруги. На основе этих записей возникла книга Клемперера «*LTI. Lingua Tertii Imperii*», вышедшая сразу после войны.

Учёный пишет: «С тех пор как я узнал о лагере в Аушвице (Освенциме. — Г.И.) и его газовых камерах, с тех пор как я прочитал «Миф XX века» Розенберга и «Основания» Чемберлена, я уже не сомневался в том, что центральную, решающую роль в национал-социализме играли антисемитизм и расовая доктрина».

Кто создал псевдонаучную расовую доктрину? Назовём авторов поимённо. Англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен, историк и социолог, избравший Германию своей родиной, женившийся на одной из дочерей Вагнера и выпустивший на немецком языке труд «Основания XIX столетия» на исходе указанного века, отстаивал тезис о превосходстве нордической расы над прочими. Певец «вольных и верных» тевтонов, он утверждал, что немцы лучше других народов приспособлены для установления нового порядка в Европе. Чемберлен был сторонником расовой доктрины Гобино.

Граф Артур Гобино, по происхождению француз, опубликовал четырёхтомный трактат «Опыт о неравенстве человеческих рас» в середине XIX века, на полвека опередив Чемберлена. Гобино впервые утверждал превосходство арийской расы, отбросив общее понятие человечества. Он противопоставил германскую расу господ — вредоносной семитской расе, кровь которой едва ли заслуживает названия человеческой.

Идеи Гобино развивал также берлинский профессор Евгений Дюринг, создатель и вождь расового научного социализма. Мы знали о нём понаслышке благодаря работе Энгельса «Анти-Дюринг», которая входила в советские вузовские программы. Основательней познакомиться с лидером социалистического антисемитизма можно, обратившись к художественно-публицистической книге Фридриха Горенштейна «Дрезденские страсти», вышедшей в Нью-Йорке в 1993 году в издательстве «Слово/Word».

Ещё один прусский профессор-историк фон Трейчке объявил на всю страну: «Евреи — наше несчастье!» («*Die Juden sind unser Unglück!*»). Он объяснял согражданам опасность евреев, этого инородного тела в народном организме. Лозунг Трейчке станет главным лозунгом Третьего рейха. А тогда, в 1870-е годы, Бисмарк буквально завалили петициями с требо-

ванием лишить евреев гражданских прав, которые они только-только получили при основании Второго рейха. 250 тысяч немцев поставили подписи под этими петициями.

Вот эта четвёрка: Гобино, Чемберлен, Дюринг и Трейчке — и заложила «научный» фундамент германского национал-социализма. Разумеется, в XX веке у них оказались достойные продолжатели.

Голубой цветок немецкого романтизма и его ядовитые семена

При Гитлере была предпринята попытка отыскать среди немцев предшественников вышеозначенной четвёрки. Имперский институт истории новой Германии издал обширное исследование некоего Германа Бломе под названием «Расовая идея в немецком романтизме и её истоки в XVIII веке». Попытки притянуть к идеям Гобино естествоиспытателей Бюффона и А. фон Гумбольдта, философов Гердера и Канта лишь на том основании, что они выработали и использовали понятие расы, ни к чему не привели: провести этих учёных по ведомству «партайгеноссе», вернее, объявить предшественниками расовой теории мешали их гуманистические идеалы. И в самом деле, не зачеркнёшь утверждений Гердера: «Гений человечества — вне партий; нельзя иметь ни любимого племени, ни народа-фаворита на земле». К тому же Гердер в своём известном сочинении «Идеи к философии истории человечества» утверждал «неоспоримое благотворное влияние еврейских книг в истории человечества». Что остаётся делать? Разве что упрекать немецких мыслителей в идеализме, который «помешал им сделать правильные расовые выводы». Антисемитизма, опирающегося на доктрину крови, до Гобино в Германии обнаружить так и не удалось.

Что касается самого Гобино, то настоящим учёным его назвать трудно, его дарование было скорее поэтическим. Он ощущал себя аристократом духа, франком, германцем, он рано начал интересоваться ориенталистикой и германистикой и попал под обаяние немецкого романтизма. Вот и назван главный фигурант.

Когда-то на исходе XVIII столетия романтик первого призыва Новалис создал образ-символ — *Голубой цветок*. Он явился во сне средневековому миннезингеру, герою романа «Генрих фон Офтердинген». В *Голубом цветке* соединились Любовь и Поэзия, что, по мнению романтиков йенского кружка, к которому принадлежал Новалис, — одно и то же. Томление по *Голубому цветку* охватило образованную молодёжь Германии. *Голубой цветок* стал символом немецкого романтизма.

Пушкинский Владимир Ленский достойно представляет этот ранний романтизм:

Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,

Однако романтизм в Германии прошёл несколько этапов в своём развитии. Романтики второго призыва выступили в период, когда для Наполеона ярко сияло солнце Аустерлица. Оккупация немецких земель больно задевала их патриотические чувства. Все силы сопротивления сосредоточились в Пруссии, которая десять лет пользовалась французским нейтралитетом, а теперь потерпела сокрушительное поражение.

Побеждённые немцы государи, пресмыкавшиеся у ног Наполеона, заговорили о германском народном духе, об общем германском отечестве, о необходимости объединения христианско-германских племён. Кое-кто из романтиков стал трубадуром этих идей, а романтизм в Германии был шире, чем направление в искусстве, это был образ мышления. Профессура Берлинского университета, основанного Вильгельмом фон Гумбольдтом в 1811 году, занималась распространением идей патриотизма и национальной гордости среди немецкой молодёжи. Из Берлина обращался Фихте с «Речами к немецкой нации»: «Нет другого выхода: если вы не выстоите, всё человечество падёт вместе с вами, без малейшей надежды на восстановление». Спустя сто лет Гитлер тоже будет пугать немцев тем, что на землю опустится непроглядная тьма, если погибнут арийцы.

Немецкий народ, как известно, очень привержен своим государям (сомневающимся советую прочесть «Верноподданного» Генриха Манна). Однако народ не проявлял патриотического и национального энтузиазма. Главной задачей было пробудить эти чувства. Романтики немало способствовали пробуждению национального самосознания. Этим целям служило их обращение к германской старине, к *праистокам*, воскрешение германской мифологии, героического эпоса (романтики заново открыли «Песнь о Нибелунгах»).

Германомания зародилась ещё в эпоху Лютера. Об этом можно прочесть в книге Льва Полякова «Арийский миф», посвящённой исследованию истоков расизма. Уже в сочинении «Христианскому дворянству немецкой нации» (1520) Реформатор противопоставил «банде римлян» «немецкую нацию, которую все историки хвалят за благородную натуру, постоянство и верность». О каких историках толкует Лютер? Прежде всего, он имеет в виду Тацита, сочинение которого «Германия» было заново открыто европейскими интеллектуалами. Тацит оценивал германцев как варваров, но при этом не обошёл вниманием их простые добродетели, более того, противопоставил суровые нравы германцев изнеженности и развращённости римлян. Лютер вслед за римским историком подчеркнул «простоту» как национальную особенность немцев и объявил их самым христианским народом Европы, на который возложена особая миссия.

Рыцарь-гуманист Ульрих фон Гуттен, основатель национального культа племенного вождя херусков Германна-Арминия, создавая архетип германского предка, обратился к германскому дохристианскому прошлому и на первый план выдвинул мужественность, напомнив, что германская

народная сила сокрушила римского колосса. Отсюда растёт убеждённость, что Германия по праву — властительница народов.

Идеи немецкого превосходства, родившиеся в пору Реформации, разработанные немецкими гуманистами мифа «почвы», отказ от библейской генеалогии и упор, с подачи Тацита, на автохтонность (т.е. происхождение германцев от самих себя, из своей собственной почвы) — всё это получит дальнейшее развитие у романтиков.

Немецкий народ, по мысли романтиков (Новалиса, братьев Шлегелей, Шлейермахера и особенно Адама фон Мюллера), является настоящим народом Бога, и если он сумеет уберечь себя от всякого иностранного загрязнения, то его ждёт великое будущее: он станет инициатором духовного возрождения мира. Новалис не только создатель *Голубого цветка*, но и автор трактата «Христианство и Европа» (1799), написанного под впечатлением бесчинств французской Революции. Назначение Германии, по его убеждению, — в восстановлении религии, в возвращении христианству его былой славы. «Европа выжила благодаря немецкому нраву... Германия идёт впереди всех прочих европейских народов неспешным, но выверенным шагом. Тогда как те охвачены войной, спекуляцией, рознью, Германия усердно приучает себя к более высокой культуре, и это преимущество даст ей со временем превосходство».

Так создавалась немецкая национальная идея, в основе которой лежала концепция «избранности», божественной миссии, возложенной на Германию в силу её морального превосходства. Эти мечты о новом рейхе, выношенные в Германии, погружённой в собственное бессилие, увлекли в ту пору очень немногих. Во всяком случае, массами они не овладели.

В центре пропаганды патриотов — идеи *Volkstum* и *Volksgeist*, единого народного духа, который объединяет людей одной расы, одного языка, одних и тех же нравов, верований и традиций. Немецкий рейх олицетворяет для романтиков чуть ли не античную Грецию. При этом рейх мыслится и как прошлое, и как будущее Германии. Романтики создали его идеализированный образ, основанный на идеях, далёких от Реформации и Просвещения: Разум уступит в нём место вере, вместо безличного равенства — иерархия разнообразных социальных слоёв, вместо либерального индивидуализма — корпоративные отношения и дисциплина. Реставрация католического согласия, по мнению некоторых романтиков, станет подлинной немецкой революцией, которая обновит и организует приходящий в упадок мир.

Усилия немецкой профессуры (филологов, историков, этнографов) были направлены на то, чтобы вырваться из иудео-христианских пут. Традиционным для XVIII века было представление, что все люди пошли от Адама, но уже Лейбниц высказал сомнения в приоритете иврита, а Гердер опроверг представления, будто все нации происходят из земли иудеев, тем самым являясь дальними родственниками евреев. Фридрих Шлегель дал право гражданства термину «арийцы», указав на Индию как на прародину ариев, к которым он относил и древних германцев. В защиту этой версии решающее слово произнесла лингвистика.

В первые десятилетия XIX столетия воинствующий национализм захлестнул науку. Лингвистика оказывается во власти политических стратегий, становится ареной расовой антропологии. Одни возводят иудаизм к первобытному брахманизму, по этой версии Авраам-Брама и Сара-Сарасвати были браминами. Фихте договорился до того, что Иисус из Назарета не принадлежал к еврейскому роду. Тем самым, как пишет Поляков, он устранял препятствие на пути создания изначально германской религии. Из этой мешанины рождался арийский миф.

Пробуждением народа в постнаполеоновский период занимались не только романтики, но и прусские политики: министр внутренних дел барон фон Штейн, канцлер фон Гарденберг, пытавшиеся административными и социальными реформами заполнить пропасть между аристократией и другими сословиями. В итоге многих усилий народ зашевелился. «Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами», — иронически заметил Гейне, начинавший в 1820 годы уже как романтик третьего призыва.

Опасность игры на национальных чувствах не осознал никто из современников, за исключением Гёте. Когда после падения Наполеона *народно-германско-христианско-романтическая* школа праздновала победу, Гёте опубликовал статью «О христианско-патриотическом новонемецком искусстве», в которой нанёс удар по симбиозу рыцарства и клерикализма. Он не был врагом романтизма как явления, сыгравшего значительную роль в мировом искусстве и литературе, и признавал за ним немалые заслуги. Но это не помешало ему резко выступить против романтического почвенничества, апологетики древнегерманского мифа, идеализации германского Средневековья, против культа народности и одновременно преклонения перед прусской военицизмом, против игры в патриотизм и католицизм, против «лихорадки гениальности» и фамильярничания романтиков со смертью. Он справедливо предостерегал, что эти идеи могут принести вред непросвещённому сознанию масс, особенно если ими начнут манипулировать личности преступные. Его опасения оправдались: пробуждение национального сознания быстро стало оборачиваться национализмом, ведь грань между ними тонкая, проницаемая. Можно лишь удивиться прозорливости Олимпийца, который заявил в «Максимах»: «Классическое — это здоровое, романтическое — больное».

Германомания оттолкнула и Генриха Гейне, который, по собственному признанию, за волосы вытащил себя из глубин романтизма. Он любил народные песни и создал свою «Лорелею», которая вполне могла соперничать с ними. Кстати, во времена нацизма, когда его имя оказалось под запретом, немцы продолжали петь песню на стихи Гейне как народную. Но с «весёлой патриотщиной» поэту с юных лет было не по пути, он узнавал представительей этого племени, в какие бы одежды они ни рядились, пусть даже в романтические, его язвительные стрелы достигали их повсюду. В его «Мыслях, заметках, импровизациях» находим и такое высказывание: «Ненависть к евреям начинается лишь с романтической школой, с её любованием средними веками, католицизмом и дворянством, и всё это усугубляется тевтономаномии». Проницателен был «еврейчик-шалуншишка», «легкомысленный французик», как аттестовали Гейне неколебимо-серьёзные «патриоты».

Лишь один шаг отделял романтиков от выводов о привилегии германства, о его монополии на принадлежность к человечеству. Они этого шага не сделали, но дорогу для идущих вослед расчистили. Ключевые слова расовой доктрины Гитлера «кровь» и «почва» (*Blut und Boden*) во времена неоромантизма, т.е. в 1870–80 годы, уже были пущены в оборот.

Опасные тенденции, которые ощутили Гёте и Гейне в творчестве романтиков, многократно усилились у неоромантиков, ярким представителем которых стал Рихард Вагнер. Александр Блок в известном стихотворении «Скифы» обозначил сущность немецкого духа лапидарно: «сумрачный германский гений». Большим поэтам свойственны ёмкие характеристики. Нордическая мифология изначально пронизана мрачным трагизмом, солнечность античных греческих мифов ей чужда, ибо боги германцев смертны. И «Песнь о Нибелунгах» исполнена трагизма. С самого начала действие обречено на кровавую развязку. Всё завершается трагическим финалом, равного которому по масштабу нет в средневековых эпосах других народов.

Героический эпос германцев получает новое рождение в музыкальной тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунга». Сумрачность германского гения, проявившаяся в германской мифологии и героическом эпосе, отвечала мировосприятию Вагнера с его катастрофичностью и культом смерти («казус Вагнер»). В своих музыкальных драмах Вагнер сам выступал как мифотворец, усугубля мрачность и без того «нахмуренных» германских мифов.

Агрессивный характер национального мессианизма, культ смерти, взвинченная истерическая патетика, заклинание атавистических, «глубинных» импульсов души, своего рода некрофилия вкупе с поэтизацией германства: апологией национального духа, нордической прямоты, непреклонной героики — вот что завораживало в Вагнере фюрера. Его любовь к композитору не случайна. Вагнер — пусть это звучит парадоксально — выносил в своём чреве Гитлера. Вот как причудливо плетётся *времен связующая нить*.

Клемперер утверждает со всей определённой: «Немецкий корень нацизма носит название «романтизм». И далее: «Я считаю, что нацизм не мог не вырасти из немецкого романтизма, даже если бы на свете никогда не было француза Гобино, пожелавшего стать немцем... Ибо всё, что определяет сущность нацизма, уже содержится, как в зародыше, в романтизме: развенчание разума, сведение человека к животному, прославление идеи власти, преклонение перед хищником, белокурой бестией».

Хотелось бы уточнить: романтики XIX века неповинны в ужасах Освенцима и Дахау. Вот уж поистине прав поэт: *нам не дано предугадать, как слово наше отзовется*. Нацисты извратили многие положения романтиков, приспособив для своих нужд, выхолостили гуманистические идеи. Клемперер признаёт, что «это был суженный, ограниченный, извращённый, кичевый романтизм».

Новый всплеск романтических, или, что точнее, псевдоромантических настроений наблюдался в немецком обществе на рубеже XIX–XX веков. Он проявлялся в романтизации крестьянства и сельского уклада и в яростном антиурбанизме (город обличался как вместилище материализма и порока). Проклятья в адрес капитализма оборачивались проклятьями в адрес евреев. Вернер Зомбарт, к примеру, утверждал, что между иудаизмом и капитализмом имеется прямая связь. Зомбарт не любил капитализм, а поскольку евреи при капитализме якобы процветали, то он не любил и евреев. В книге «Евреи и современный капитализм» он утверждал: «Рационализация жизни приучила еврея к образу жизни, который противоречит Природе, и, следовательно, к капиталистической системе, которая тоже противоречит Природе. Что такое идея прибыли, что такое экономический рационализм, как не перенесение на экономическую деятельность тех правил, по которым еврейская религия формировала еврейскую жизнь?» Под антисемитизм активно подводился наукообразный фундамент. Чего стоят «научные» выводы Чемберлена о расовом превосходстве германской зародышевой плазмы (а попросту — спермы) над еврейской?!

В то же время «романтиков нового разлива» отличало томление (о, этот неясный *Sehnsucht!*) по новому миру и идеализация насилия, которое якобы способно помочь этот новый мир построить. Целая когорта писателей, имена которых сегодня забыты, воспитывала волю к борьбе, внушала, что пришло время дать шанс силе, воспевала примитивные страсти в противовес интеллекту, призывала к «прыжку во тьму» и готовила немецкую нацию к войне.

Тот факт, что Первая мировая война не решила проблем Германии, а лишь усугубила их, не повлиял на образ мышления масс. Трагические годы Веймарской республики продемонстрировали готовность масс вновь поставить на силу. Молодые интеллектуалы правого толка глумились над усилиями республиканских лидеров построить жизнеспособную демократию в условиях непрекращающегося кризиса. Уже прозвучал воодушевляющий призыв: *нужен Третий рейх!* Это словосочетание изобрели не нацисты, он родился в кружке молодых дарований, самыми известными из которых были Освальд Шпенглер, Отто Штрассер и Эрнст Юнгер.

Романтические националисты славили «великое упоение безумия» (*Wahnsinnsrausch*), но природу нового мира объяснить не могли: «Новые мечты о рейхе овладевают нами... Он снова придёт. Он сам себе даст начало. Новая вера — старая верность». Томление по *Голубому цветку* спустя столетие сменилось томлением по *Рейху*, т.е. по великой германской империи.

Мартин Хайдеггер, известный философ, толковал обращение Германии к Гитлеру как «упоение судьбой (*Schicksaalsrausch*)». Миф, зов крови, голос судьбы, народность, дух — всё это из лексикона «соблазнитель-совратителей» от романтизма.

Выступая в Бетховенском зале Берлина 17 октября 1930 года, после первой крупной победы Гитлера на выборах, Томас Манн во всеуслышание заявил о том, что национал-социализму была оказана помощь из духовных источников: «Может быть, вам покажется смелым ставить в связь сегодняшней радикальный национализм с идеями склонной к романтизму философии, и тем не менее, такая связь существует... Находятся и другие силы, заинтересованные в укреплении национал-социалистического движения, в том числе некая идеология филологов, эдакий романтизм профессиональных германистов и нордическая вера, распространяемая в академических кругах. С 1930 года к немцам обращаются с речами, в которых мистическое простодушие сочетается с экзальтированной безвкусицей». Манн уверен, что настойчивое повторение таких выражений, как «расовый», «народный», «единый», «героический» засоряет и парализует мозги немцев. Немудрено, что фанатизм становится принципом спасения, восхищение — эпилептическим экстазом, политика — массовым наркотиком Третьего рейха. «Разум отвратил свой лик от людей», — с горечью закончил свою речь писатель, тщетно силившийся преподать соотечественникам уроки гуманизма.

Метаморфоза Лорелеи

Златокудрая Лорелея, воспетая Генрихом Гейне, стала на века поэтическим символом Германии. Трудно даже вообразить те бездны, в которых побывала душа пережившей Холокост поэтессы Розы Ауслендер, если в коротком верлибре «Генрих Гейне» она уподобила прекрасную Лорелею (читай — Германию) злой колдунье, ведьме-златовласке и обвинила её в том, что «она в проклятье превратила родное слово». Евреи, выжившие в концлагерях, не захотели оставаться на родине: немецкая речь стала для них непереносимой. А ведь это был их родной язык!

С радикальным пересмотром отношения к Германии сталкиваемся мы и в случае Марины Цветаевой, в которой текла и немецкая кровь. От восторженного признания: «Германия — моё безумье! / Германия — моя любовь!», в котором — явный вызов, ведь написано это в годы Первой мировой войны, когда Германия и Россия сошлись как враги, — до стихотворения «Германия», этого пронзительного и пророческого отклика на аннексию Чехословакии гитлеровской Германией: «Сгоришь, / Германия! / Безумие, / Безумие / Творишь!»

Осмысление чудовищного опыта требовало от поэта новых изобразительных средств. Осип Мандельштам в знаковом для России 1937 году написал провидческие «Стихи о неизвестном солдате», на тему, какой вся прежняя поэзия не знала и не могла знать:

Миллионы убитых задёшево
Протоптали тропу в пустоте...

Этой тропой идти узникам Освенцима, и они погибнут «гурьбой и гуртом». Конечно, писать по старинке, игнорируя опыт Освенцима, невозможно. А если всё же попытаться выразить в слове неизбывный ужас? Конечно, круги нацистского ада страшнее дантовых, и звенящие гневом терцины уже не способны передать то, что вынесли мученики XX века. Но излить боль необходимо, иначе она не отпустит, задушит, однако для этого нужны новый язык, новые формы, новый синтаксис.

«Фу́га смерти» Пауля Целана, которую называют *Герникой* европейской послевоенной поэзии, была написана в 1944 году в Черновицком гетто. Её автор, потерявший там родителей, друзей и близких, навсегда лишился душевного покоя: самоубийство в 1970 году поставило точку в конце его мучительного пути.

Чёрное молоко рассвета мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром мы пьем его ночью
пьем и пьем
мы роём могилу в воздушном пространстве там тесно не будет
В том доме живет господин он играет со змеями пишет
он пишет когда стемнеет в Германию о золотые косы твои Маргарита
он пишет так и встает перед домом и блещут созвездья он свищет
своим волкодавам
он высвистывает своих иудеев пусть роют могилу в земле
он нам говорит а теперь играйте пускай потанцуют
.....
он на нас выпускает своих волкодавов он нам дарит могилу
в воздушном пространстве
он играет со змеями и размышляет Смерть это немецкий учитель
золотые косы твои Маргарита
пепельные твои Суламифь¹

Стихотворение это давно стало хрестоматийным. Исследователи поэзии Целана узнают в его необычных образах — *чёрное молоко рассвета, могила в воздушном пространстве, золотые косы Маргариты и пепельные волосы Суламифи* — осколки культурных ценностей многих эпох, соединённые в эклектическом, почти пародийном виде: тут и «Песнь Песней», и «Фауст», и Бодлер, и Рильке. Хотелось бы обратить внимание ещё на одно сходжение: золото кос Маргариты — это золото кос не только несчастной гётевской героини, но и Лорелеи (в переводе А.Блока стих Гейне звучит так: *Девушка дивной красы / Одеждой горит золотою, / Играет златом косы...*).

И в этом настойчивом рефрене:

золотые косы твои Маргарита
пепельные твои Суламифь —

выразительно и просто прочерчен путь Белокурой Девы, Германии: от Лорелеи — до Освенцима.

¹ Перевод О.Седаковой.

От исторической вины — к исторической ответственности

Тезис о коллективной вине сформулировал в 1945 году немецкий теолог Карл Барт, который сразу встал в оппозицию по отношению к нацизму и эмигрировал в Швейцарию. Его мысли о вине поддержал философ Карл Ясперс, который в книге 1947 года «*Die Schuldfrage*» («Вопрос о вине») напомнил своим согражданам: «Мы не вышли на улицы, когда убили наших еврейских друзей; мы не вопили, пока сами не оказались уничтоженными. Мы предпочли остаться в живых на том ничтожном и едва ли логичном основании, что наша смерть никому не поможет... Мы виновны в том, что живём». Моральная вина вменялась всем, кто не сопротивлялся. Однако Ясперс отрицал коллективную вину, он считал, что «морально судим всегда может быть лишь отдельный человек, коллектив — никогда».

Когда закончилась война и Германия оказалась в прямом смысле поверженной, т.е. лежала в руинах, очень немногие оказались способны если не принять на себя бремя этой вины, то хотя бы задуматься о ней. Усилия большинства были направлены на другое — на выживание.

Интеллигенция, однако, на этот раз не безмолствовала. Вопрос о вине каждого и всей немецкой нации в целом постепенно становится центральным в литературе и публицистике. На сцене настроения покаяния публично выразил гениальный актёр и режиссёр Густав Грюндгенс, в годы нацизма оказавшийся связанным с гитлеровской верхушкой, а ныне одержимый проблемой и коллизией вины. Расчёта с прошлым требовали молодые писатели из поколения «вернувшихся». Но голос «Группы 47», куда вошли Рихтер, Бёлль, Кёппен, Вальзер, Шаллюк, Грасс и другие, не был настолько громким, чтобы быть всенародно услышанным.

1947 год не только дал название влиятельной литературной группе, в этом году состоялся первый «освенцимский процесс». В ходе суда над военными преступниками в Нюрнберге преступления в Освенциме были выделены в особое дело. В 1947 году перед судом предстали сотни нацистов из обслуживающего персонала, но лишь несколько десятков из них были приговорены к смертной казни и повешены. В их числе — комендант лагеря Р.Гесс и руководитель строительства крематориев Б. Теш. Заслуженное наказание постигло лишь небольшую часть лагерных палачей, и это не должно удивлять, если знать ситуацию. Забвение прошлого было весьма желательно, чуть ли не предписывалось. Да и как могло быть иначе, если бундесканцлером Германии смог стать юрист Курт Кизингер, до этого премьер-министр земли Баден-Вюртенберг, с 1933-го по 1945 год состоявший в нацистской партии. Груз позорного прошлого его несколько не тяготил.

В конце 50-х годов в Германии было прекращено судебное преследование за преступления времён национал-социализма. Расчёта с прошлым, за который ратовали многие писатели ФРГ (члены «группы 47» в частности), так и не произошло. А германская Фемида, эдакая тяжеловесная Брунгильда с повязкой на глазах, потворствовала своим вассалам, среди

которых осталось множество (если не преобладающее большинство) законников рухнувшего Третьего рейха. Вот и поспешили служители местной Фемиды принять спасительный для них закон.

Однако благодаря усилиям выживших узников Освенцима и при активном содействии прокурора земли Гессен Фрица Бауэра (немцы ведь тоже разные и далеко не все были убийцами) к суду были привлечены 22 эсэсовца из лагерной администрации. Судебное разбирательство длилось полтора года (с конца 1963-го до середины 1965 г.).

Пройдя процесс *денацификации*, бывшие палачи тихо-мирно проживали на свободе в разных живописных уголках своей страны. Главы семейств в возрасте от 42-х до 68 лет, они ещё вчера были добропорядочными бюргерами, а сегодня должны были ответить на предъявленные обвинения в организации и осуществлении массовых убийств, в издевательствах над беззащитными жертвами. Против них свидетельствовали 211 бывших узников Освенцима, граждане 18 стран. Никогда до этого обществу не была предъявлена столь полная картина тотального преследования евреев нацистами. Немаловажно и то, что, в отличие от Нюрнбергского процесса, немцев судили немцы... Германия была в шоке.

На протяжении двадцати лет здесь молчали о преступном прошлом. Процесс денацификации прошёл формально для слишком многих основательно запятанных граждан Германии. Демонстрация многосерийного американского телефильма «Холокост» была ещё впереди. Суд над администрацией лагеря уничтожения сыграл роль катализатора в процессе покаяния немецкого общества. Чувство коллективной вины рождалось в муках. Оно и понятно: чувство-то мучительное.

В Германии существует понятие: *поколение 68-го*. Именно оно потребовало к ответу «отцов»: политиков, находящихся у власти и более двух десятилетий скрывавших правду о фашистском режиме и его злодеяниях. Дети хотели узнать правду о прошлом «предков», и они её узнали. Вынести откровенное было нелегко, но если часть их соотечественников пришла к покаянию, в этом заслуга немецкой молодёжи призыва 68-го. А наши «шестидесятники» не смогли подвигнуть ни народ, ни его правителей к покаянию.

Вот маленький, но характерный пример. Жуткую правду о строительстве Беломорканала, во время которого погубило более ста тысяч заключённых архипелага ГУЛАГ (дармовой труд миллионов Сталин использовал до Гитлера), все узнали давно. Но до сих пор в России продают и курят папиросы «Беломорканал», и ни у кого это не вызывает протеста. Посетивший Россию польский писатель, заметив в табачном киоске папиросы с этим названием, был потрясён: «Как можно курить “Беломор”?! Это же кощунство! Всё равно, что у нас выпустить сигареты “Освенцим”!»

Процесс переоценки прошлого протекал в Германии бурно и принимал подчас неожиданные формы. Кое-кто из молодых людей, увлечённых идеями перманентной революции, встал на путь «красного» террора и неизбежно оказался повязанным с международным терроризмом. Группа *Баадер-Майнхоф* держала в страхе и напряжении весь западный мир. Молодёжь Германии бурлила.

Другие молодые немцы, желая искупить вину отцов, ехали в Израиль работать в киббуцах, помогать строить еврейское государство. Мне довелось здесь в Кёльне познакомиться с некоторыми из них. Они с тех пор, конечно, изменились. Кто-то из «протестантов», «начистив чайники» полицейским, или, культурно выражаясь, расквашив физиономии стражам порядка, ушёл в политику и даже преуспел, как Йошка Фишер. Бывший адвокат террористов-леваков Отто Шили стал министром внутренних дел Германии, главным блюстителем порядка. Но кто в ту пору думал о дальнейших метаморфозах?

На волне новых настроений президентом ФРГ в 1969 году смог стать социал-демократ. Только представляя ситуацию тех лет, можно по заслугам оценить поступок лидера СПД и тогдашнего нового канцлера ФРГ Вилли Брандта, который встал на колени на месте варшавского гетто и просил простить не нацистов, нет, а немецкий народ. Это был Поступок!

Процесс над нацистским преступником Адольфом Эйхманом в Иерусалиме в 60-е годы широко освещался в прессе. А вот об «Освенцимском процессе», который проходил во Франкфурте сорок лет назад, знают немногие. Недавно в Германии прошла новая акция: во Франкфурте-на-Майне и в Берлине экспонировалась выставка, рассказывающая об уникальном «освенцимском процессе» 1963–65 гг. Я не оговорила: выставка не только показывает, но и рассказывает, ибо сохранилось 400 часов звукозаписи, документировавшей этот процесс. Выставка рождает множество вопросов: где граница между палачом и его помощником? Где предел падения? Как измерить вину тех, кто отдавал приказы, и тех, кто их исполнял? При каких обстоятельствах человек становится способен на массовое убийство? Должен ли испытывать чувство вины человек, который не участвовал в злодеяниях, но знал или догадывался о них? Должны ли чувствовать себя виновными в геноциде евреев американцы, которые могли разбомбить подъездные пути к Освенциму, его газовни, но не сделали этого? Можно ли жить, потеряв доверие к миру? А потеря доверия у тех, кто попадал в немецкий концлагерь, происходила очень быстро. Вопросы, вопросы, вопросы...

Нужно сказать, что официальные власти Германии делают немало, чтобы современная молодёжь знала правду о своей истории. В школьных учебниках нацистское двенадцатилетие преподносится однозначно — как время преступлений и позора Германии. Десять лет назад премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия доктор Иоханнес Рау (президентом ФРГ он стал позже) потребовал, чтобы все старшеклассники в обязательном порядке посмотрели фильм Спилберга «Список Шиндлера». Фильм рассматривался как своего рода прививка против ксенофобии и антисемитизма, которые нет-нет да вспыхивают в молодёжной среде. Кое-кто из родителей протестовал, вопрос дискутировался в газетах, но приказ по Министерству просвещения был выполнен: немцы законопослушны.

В прививках против неонацизма нуждаются не только немцы. В России, которая принесла неисчислимые жертвы на алтарь победы над коричневой чумой, сегодня безнаказанно публикуется и распространяется нацистская литература, молодёжные военизированные отряды общества «Па-

мать» маршируют в нацистской форме, беспрепятственно отмечают день рождения Гитлера. Похоже, с их присутствием общество смирилось. Что взять с невежественных парней, признающих лишь закон силы, закон стаи и к тому же лишённых социальных перспектив?

Но есть иные примеры: принц Гарри, член британской королевской фамилии, юноша, надо полагать, получающий неплохое образование, является на вечеринку в фашистской форме со свастикой. В Англии эта новость из скандальной хроники встречена с негодованием. Принц оправдывается: он, дескать, просто дурачился. Какова реакция королевы Елизаветы? Решено шутника-нвука отправить незамедлительно на экскурсию в Освенцим. Посещение KZ пусть станет прививкой!

Вопрос о вине не даёт немцам покоя. Гюнтер Грасс, которому часто доводилось слышать: «Немцы — убийцы!», объясняет сыновьям, что он, достаточно поздно родившийся, может считать себя незапятнанным: «И вы — не убийцы. Но только если я хотел бы забыть, а вы не хотели бы знать, как постепенно приходили к тому, к чему пришли, нас могут настичь простые слова: вина и стыд».

Эти слова звучат сегодня куда более актуально, чем в 1971 году, когда они были сказаны. Сейчас на повестке дня стоит вопрос не о коллективной вине немцев, а о коллективной памяти. Человек по своей природе не может выносить длительного траура, а здесь, в Германии, по мнению Грасса, срывает ещё и торопливая готовность стряхнуть с себя преступления национал-социализма как минутное ослепление, как иррациональное заблуждение, как нечто непостижимое, а потому извинительное.

Чувство вины по прошествии времени стало тяготить немцев настолько, что писатель Мартин Вальзер, требовавший в бо-е годы расчёта с прошлым во имя будущего Германии, на исходе века обвинил евреев в «инструментализации» Холокоста и написал эссе, в котором назвал Освенцим «моральной глубиной», «нескончаемой публичной демонстрацией нашего стыда». По этому поводу разгорелся спор между председателем еврейских общин Бубисом, ныне покойным, и Вальзером, автором скандального эссе, он до сих пор ещё у всех на слуху. Вывод, к которому невольно приходишь после этой дискуссии, парадоксален: *немцы не могут простить евреям Освенцима*.

Евреи, отношение к ним и в годы нацизма, и сейчас — это лакмусовая бумажка, особенно здесь, в Германии. Выступая на траурном митинге в Освенциме, канцлер Герхард Шрёдер сказал: «Подавляющее большинство современных немцев неповинны в Холокосте, но на них лежит груз особой ответственности... Искушение забыть велико, но мы ему не поддадимся».

Народ — понятие расплывчатое. Говорить о немецком народе в целом сложно, но я наблюдаю, как ведёт себя немецкая публика в дни поминовения жертв нацизма. Так, 9 ноября ежегодно в Германии отмечается годовщина памятной «хрустальной ночи» всегерманского погрома, устроенного нацистами в 1938 году. В минувшем году в старинном романском соборе, носящем имя *Большой Мартин*, состоялся концерт кёльнского французско-немецкого хора. На деревянных скамьях белели листки с текстом еврейской колыбельной, которую исполнил хор. Вот она в моём вольном переводе:

Опусти реснички, прилетит к нам птичка,
Покружит над колыбелькой и нырнёт в постельку.
Котомка в руке, дом наш в огне.
Бесприютны мы на земле.

Некому нам помочь, повсюду — ночь.
Караулят нас страхи, бросают в дрожь.
Настал для нас тяжелейший час.
Не ведаем, где свернуть, куда ведёт путь...

Еврейская колыбельная. В ней — тысячелетний опыт гонимого народа. Кирха переполнена, свободных мест нет. Среди слушателей немного тех, кто помнит нацистский шабаш. Многие в ту пору сами лежали в колыбельках, и мамы им тоже говорили: «Закрой глазки!». Немцы слушают песню потупившись: она воскрешает прошлое, которое хочется забыть, она напоминает о вине, от бремени которой хочется освободиться.

В огне Холокоста погибли миллионы европейских евреев и сгорел мир местечка — «штеттл». Их уже не вернуть. Остались боль и горечь одних и позор и вина других. Но боль и генетический страх отпускают евреев гораздо медленнее, нежели стыд и чувство вины — немцев. И каяться, видимо, легче, чем прощать.

ГЮНТЕР ГРАСС: УЛИТКА С ЕВРЕЙСКИМИ РОЖКАМИ¹

Когда закончилась война и Германия оказалась в прямом смысле поверженной, т.е. лежала в руинах, заговорило поколение «вернувшихся». В литературе обрёл права гражданства «маленький человек», «человек с тихим голосом». Он достойно противостоял пафосной героине, грандиозности «триумфального» искусства Третьего рейха. Рассказы Борхерта, первые повести Бёлля, книги членов «Группы 47» погружали в мир трагический, представляли героев одиноких, отчаявшихся, потерявших всё в кровавой мясорубке войны. Они взывали к состраданию, к человечности. Они были резко критичны по отношению к нацизму. Так начинался расчёт с прошлым.

Поколению Бёлля и писателям помоложе, к которым принадлежал Грасс, преграждал путь вердикт философа Теодора Адорно: «После Освенцима писать стихи — варварство». Они выступили против него, ибо не хотели и не могли молчать. В нобелевской лекции Грасс заметил: «Только становясь памятью и не позволяя прошлому окончиться, могла немецкая послевоенная литература — будь то поэзия или проза — оправдать повсеместно узаконенный канон писательства: «Продолжение следует...»

Наступил 1959 год. Руины в основном расчищены, но Германия бесповоротно разделена (1990 год — за горами. На Востоке, поспешая, куют социализм советского образца. Западные немцы готовятся пережить «экономическое чудо». Забвение прошлого многим весьма желательно, чуть ли не предписывается. И вдруг почти никому не известный Гюнтер Грасс, выкормыш «Группы 47», преподносит сюрприз — *«Жестяной барабан»*. Дробь и треск грассовского барабана повергли нацию в шок. И кто барабанит?! Карлик, зловредный гном — не иначе! Да это совсем не тот «маленький человек», к которому уже привыкли, которого приняли. А не пародия ли это на Гитлера, ведь вождь нации ещё совсем недавно объявлял себя «великим барабанщиком»? Впрочем, с фюрером герою Грасса явно не по пути. Но кто он, этот Оскар Мацерат, сознательно прекративший расти в возрасте трёх лет, но интеллектом превосходящий взрослых и получивший над ними загадочную власть? И что означают эти фантазмагии, нелепости и абсурд под маской реальности? Но не только загадки и насмешливая манера шокировали немецкое общество.

Грасс замахнулся на народ. В истории такое бывало: такое позволял себе Гёте, имя которого часто всплывает в грассовском романе. Но то, что позволено Олимпийцу, то бишь Юпитеру, не позволено никому другому.

¹ Опубликовано в журнале: *Лехаим*. М., 2003. № 2.

Нацистские кумиры повержены, но молодой писатель добирался до тех чья верноподданническая психология и шкурничество, чья серость и скудость мышления способствовали приходу нацистов к власти. Грасс ворошил обывательские гнёзда. Он был на стороне тех, кто признал вину немцев.

Грасс стал раскапывать корни этой вины. Как рушатся стёкла от пронзительного голоса Оскара Мацерата, так повергаются в романе все мыслимые авторитеты — семьи, церкви, государства. В осколки разлетается миф о немецких добродетелях — честности, верности и порядочности — как основе национального характера. Это было *тотальное* отрицание (кстати, излюбленное слово из языка Третьего рейха), и оно потрясло читателя. Роман прозвучал «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Насмешкой не только горькой, но и издевательской. Шоковую терапию Грасса смогли понять, оценить и тем более принять немногие. Разразился скандал, последовало даже судебное разбирательство. «Осквернитель святынь, нигилист, пачкун родного гнезда» — таков был «общий глас». Его отголоски слышны и поныне. Когда весь мир поздравлял писателя с присуждением ему Нобелевской премии в 1999 году, комментатор газеты «*Die Welt*» назвал решение Шведской Академии «эпохальным недоразумением» и предостерег немцев от «данайцев, дары приносящих».

Национальная самокритика Грасса пришлась не по душе немецкому большинству. Лишь единицы поначалу хотели очищения через признание вины и покаяние. Одно дело в храме по воскресеньям бить себя в грудь, повторяя затверженные с детства слова: «*Mea culpa! Mea maxima culpa!*» (Мой грех! Мой великий грех!), а другое — честно признать и свою ответственность за преступления национал-социализма.

Еврейская тема чётко обозначена в «Жестяном барабане». Она связана напрямую лишь с двумя персонажами, Сигизмундом Маркусом, владельцем магазинчика игрушек, и с господином Файнгольдом, узником Треблинки, но она звучит в подтексте: срабатывает принцип айсберга.

Поначалу кажется, что второстепенный герой Маркус — значительное лицо лишь в глазах маленького Мацерата, ибо он — хозяин жестяных барабанов, без которых малышу жизнь не в жизнь. Но вот выясняется, что тихий еврей влюблен в мать Оскара, причём настолько, что даже окрестился на случай, если она захочет покинуть с ним город перед вторжением немцев. В том, что войска войдут в вольный город Данциг, Маркус не сомневается. Стоя на коленях, сжимая в руках обе руки матушки Оскара и плача при том, он заклинает: «Поедем с вами в Лондон, фрау Агнес, у меня есть там свои люди, и есть документы, если только пожелаете уехать, а если вы не хотите с Маркусом, потому что его презираете, ну тогда презирайте... И Оскара мы тоже возьмём в Лондон, пусть как принц там живёт, как принц!» Агнес не примет предложения не потому, что презирает Маркуса, а из-за того, что душой и телом принадлежит другому. Не мужу, Мацерату, нет, а возлюбленному своему, Яну Бронски. Маркус знает об этой многолетней связи, как знает о ней маленький Оскар. Оба принимают этот союз

как данность. Преданная безответная любовь Маркуса к красавице Агнес придаёт ему нечто от Девушкина Достоевского или от несчастного Желткова из «Гранатового браслета».

Так бы и остался этот невзрачный и грустный, не включённый в любовный треугольник еврей забавной фигурой, если бы не события, которые для него завершились одним ноябрьским днём 1938 года. Но до этого дня ему довелось пережить смерть Агнес. Он идёт на кладбище проводить её в последний путь, но его оттирают от гроба и грубо изгоняют. Оскар, заметивший, как выпроваживали Маркуса, бежит за ним.

«Оскархен! — удивился Маркус. — Скажи на милость, что они хотят от Маркуса? Чего он им такого сделал, почему они так делают?»

Я не знал, что сделал Маркус, я взял его за потную руку, провёл его через чугунные распахнутые ворота, и оба мы, хранитель моих барабанов и я, возможно — его барабанщик, натолкнулись на Лео Дурачка, который подобно нам верил в существование рая».

Поскольку любая деталь у художника значима, обратите внимание на эту троицу за кладбищенскими воротами. В какую компанию включён на равных еврей Сигизмунд Маркус? В компанию городского юродивого и маленького шута (именно так воспринимают Оскара многие). И дурачок Лео, и карлик Оскар — не такие, как все, они — изгой. Еврей Маркус — тоже изгой. Но вспомните традицию! Юродивые — своего рода святые, выступающие подчас как пророки (пушкинского Николку из «Бориса Годунова» все помнят). Шуты в Средневековье пользовались при дворах привилегией: пусть в закамouflированной форме, но говорить правду властителю. И в свете традиции образ Маркуса вырастает. Это уже не только маленький, обиженный и униженный человек, достойный жалости. Он предстаёт в ореоле особой святости. И Грасс недвусмысленно даёт понять, кому он отдаёт предпочтение, на чьей стороне его маленький барабанщик.

Грасс первым в немецкой литературе рассказал о так называемой «хрустальной ночи». В этот день по всей Германии и в вольном городе Данциге горели синагоги. Писатель показал реакцию немецких обывателей на происходящее и резко осудил её. Лавочник Мацерат отправился на трамвае поглазеть на зрелище, прихватив сынишку. «Перед дымящимися развалинами люди в форме и в штатском сносили в кучу священные предметы и диковинные ткани. Потом кучу подожгли, и лавочник, воспользовавшись случаем, *отогрел свои пальцы и свои чувства над общедоступным огнём*» (курсив мой. — Г.И.). Его сынишка тем временем поспешил к магазину игрушек, ибо судьба любимых бело-красных барабанов внушала ему опасения.

Тут вступают в действие особые художественные приёмы Грасса, и заурядный торговец игрушками превращается в персонаж сказочный, на что прямо указывает характерный зачин: «Давным-давно жил да был продавец игрушек, звали его Сигизмунд Маркус...» Однако законы жанра перестают действовать, когда в сказочный мир вламываются поджигатели в коричневой форме штурмовиков. Сказка избегает деталировки, а Грасс приводит

впечатляющие, несмотря на их грубый прозаизм, детали: «Обмакнув кисточки в краску, они уже успели готическим шрифтом написать поперёк витрины “еврейская свинья”, потом, возможно, недовольные своим почерком, выбили стекло витрины каблуками своих сапог, после чего о прозвище, которым они наградили Маркуса, можно было лишь догадываться. Пренебрегая дверью, они проникли в лавку через разбитую витрину и там на свой лад начали забавляться игрушками... Некоторые спустили штаны и навалили коричневые колобашки, в которых можно было увидеть непереваренный горох, на парусники, обезьян, играющих на скрипке, и на барабаны».

Хозяин лавки сумел уклониться от встречи с погромщиками, от их ярости. Он сидел у себя в конторке, недоступный для оскорблений. «Перед ним на письменном столе стоял стакан, который нестерпимая жажда заставила его выпить до дна именно в ту минуту, когда вскрикнувшая всеми осколками витрина его лавки вызвала сухость во рту». Маркус предвидел этот визит, он к нему подготовился.

Если самоубийство счесть за благо в свете еврейского исторического опыта той поры, то законы сказочного жанра сработали до конца: добро если не победило зло, то не далось ему в руки. Быстрая смерть лучше поругания и длительных мук, а другого выбора у еврея Маркуса не было. Он ускользнул от мучителей в смерть. Естественно напрашивается вопрос: если смерть становится единственным выходом для человека, то какова жизнь? Сказка перерастает в трагедию.

Сказки, где рассказчик выступает как очевидец, заканчиваются одинаково: «И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». А наш маленький свидетель, нахлебавшись горечи на чужом пиру, завершает свою сказку иначе: «Давным-давно жил торговец игрушками по имени Маркус, и он унёс с собой все игрушки из этого мира». Со смертью Маркуса мир детства осиротел, опустел.

Покинув разгромленную лавку и мёртвого волшебника (в глазах ребёнка Маркус был хозяином волшебного царства игрушек), Оскар замечает на соседнем углу женщин из Армии Спасения, распевающих псалмы и раздающих прохожим душевспасительные брошюры, зывающие к Вере, Надежде, Любви. После всего, что он увидел в лавке, сцена эта кажется ему нестерпимо фальшивой и лицемерной. Все христианские добродетели просто девальвировались в его глазах. Грасс обвиняет Церковь в молчаливом пособничестве злодейству, хотя слова обвинения не произнесены. Он использует другие приёмы.

Стремление Грасса к обобщениям и символизации соседствует в книге с трансформацией и переосмыслением привычных образов. История Маркуса становится как бы увертюрой к трагической истории еврейства, к Холокосту. Вроде бы автор не касается этой трагедии. Но он говорит о том, что сказочный Дед Мороз, в которого верил легковёрный народ, на поверку оказался газовщиком. Поначалу он не отделяет себя от народа: «Я верил, что это пахнет орехами и миндалём, а на деле пахло газом». Газ, газовые камеры... Аллюзия из недавнего прошлого настолько прозрачна, что в

комментариях не нуждается. Обмануться можно единожды. Но если «вера в Деда Мороза оборачивается верой в газовщика», то жить по такой вере преступно. Грасс создаёт гротескный образ своих соотечественников, избравших ныне, после войны, позицию страуса. Не забываете, роман создавался в годы, когда о преступлениях нацизма помалкивали, чтобы немцы, не дай Бог, не впали в депрессию под тяжестью вины. Даже термина «Холокост» в те годы ещё не существовало. Грасс первым ударил в жестяной барабан памяти.

Глава с выразительным евангельским названием «Вера, надежда, любовь» начинается сказочным зачином: «Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе». Далее мы узнаём, что в 1936 году Мейн вступил в конные части штурмовиков. Он не щадил сил в «хрустальную ночь», поджигая синагогу и поутру очищая заранее помеченные лавки. Пути Мейна и Маркуса пересеклись, пусть даже музыкант не громил лавку игрушек, но это он изгонял Маркуса с кладбища. Мейн — обобщённый образ рядового нациста, исполнителя. Как же он чувствует себя сегодня, в послевоенной Германии? Автор не уклоняется от ответа. Глава заканчивается недвусмысленно: «Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и если он не умер, то жив и по сей день и опять дивно играет на трубе». Сказочки бывают разные...

Что касается господина Файнгольда, этого полубезумного еврея из Галиции, который появляется в доме Мацератов в Данциге после того, как там побывали солдаты маршала Рокоссовского, то своими жестами и повадками он напоминает Оскару торговца игрушками, Сигизмунда Маркуса, но живёт этот человек совсем в ином мире. В Треблинке, где в газовнях погибла его жена Люба и шестеро детей, которых он то и дело призывает, с которыми беседует, всё ещё не в силах осознать, что их больше нет, он исполнял работу дезинфектора. «Мариус Файнгольд обрызгивал лизолом дорожки в лагере, бараки, душевые, печи крематориев, узлы одежды, ожидающих, которые ещё не попали в “душ”, мёртвых, которые уже побывали в “душе”, всё, что выходило из печей, всё, что должно было попасть в печь».

Гюнтер Грасс не видел Треблинки. Но возможно, ему был знаком очерк Василия Гроссмана, который одним из первых оказался на месте событий. Очерк был напечатан в конце 1944 года в «Знамени». Это первое в мире детальное описание лагеря уничтожения. Разумеется, Грасс не мог прочесть очерка Гроссмана в советском журнале, но этот текст попал в «Чёрную книгу», набор которой на русском языке был в 1948 году уничтожен. Однако книга вышла в США на английском языке, и тысячи её экземпляров, доставленные на Нюрнбергский процесс, стали достоянием журналистов, там присутствовавших. Книга оказалась доступной заинтересованным лицам. Не исключено, что Грасс листал её.

Книгу «Из дневника улитки» (1972) отделяют от «Жестяного барабана» тринадцать лет. Годы эти были важны не только для Грасса, но и для Запада в целом. В начале 60-х годов писатель включился в политическую борьбу и активно «барабанил» в пользу СПД и своего друга Вилли Брандта,

немало способствуя их успеху. Появление Национал-демократической партии, неонацистской по взглядам и составу руководства, настолько взволновало Грасса, что он отправил новому бундесканцлеру Курту Кизингеру публичное послание, в котором спрашивал: «Как молодёжи в нашей стране найти аргументы против партии, умершей два десятилетия назад и воскресающей в виде НДПГ, если ваше бремя должности канцлера отягощено по-прежнему столь значительным грузом вашего прошлого?» Юрист Кизингер с 1933-го по 1945 год состоял членом нацистской партии, что не помешало ему стать премьер-министром земли Баден—Вюртемберг, а затем получить высшую власть в стране. Беспокойство Грасса было вполне уместно. Вторая половина 60-х — это время студенческих бунтов в Европе. Восстав против отцов-конформистов, молодёжь потребовала правды о преступном нацистском прошлом, не подозревая, насколько страшной она окажется. Вот тогда-то и заговорили о Холокосте.

Эта правда стала мощным толчком для возрождения еврейского национального самосознания. Еврейство было разобщённым. Правда о Холокосте на значительный период объединила и сплотила всех. А у немцев она пробудила чувство вины. Именно на волне этих новых настроений президентом ФРГ в 1969 году смог стать социал-демократ д-р Хайнеман, который победил перевесом в 6 (!) голосов при пяти воздержавшихся.

Вдумайтесь в эти цифры! Грасс обеспокоен таким раскладом сил. По его разумению, война с ужасным наследием, с пережитками нацизма должна быть продолжена. Но можно ли ожидать быстрой победы? В раздумьях над этим вопросом рождается книга «Из дневника улитки». Доведётся ли ему увидеть реальные перемены в сознании соотечественников? Или несколько поколений должны смениться, чтобы они наступили?

Вопросы, вопросы, вопросы... Из них и растёт книга. В ней несколько сюжетных линий, несколько временных пластов. Рассказ об участии автора в предвыборной кампании перемежается с эпизодами из прошлого. Речь идёт об уничтожении еврейской общины в родном городе Грасса Данциге. Обе истории он рассказывает своим детям параллельно. Воспоминания о гонимых евреях — не просто фон, они вторгаются в современность и звучат как предостережение. История ведь имеет обыкновение повторяться. «Нельзя допустить повторения преступного прошлого!» — эта мысль одушевляет книгу. Другой не менее важный вывод: уничтожая евреев, нацисты растлили душу народа, повязали немцев кровавой поруккой. Всё в мире взаимосвязано. События минувшего эхом отзываются в настоящем.

Откровенно публицистические размышления о нашем переходном времени ведут Грасса в глубь истории, в эпоху Лютера/Дюрера, которая тоже была временем перехода (от Средневековья к буржуазному миропорядку). Вглядываясь в гравюру по меди Дюрера «Меланхолия» (1514), Грасс находит её удивительно современной. Он приходит к заключению, что Меланхолия есть выражение нового явления — застоя в прогрессе. Не нужно рассматривать её как явление исключительно негативное. Подчас она необходима.

Дюрер видел пределы своего времени, видел, как нарождается новое, пока ещё аморфное, его угнетали слабость и бессилие человеческой мысли. И Дюрер, и гуманисты, сознавая свою беспомощность, нашли прибежище в своего рода Меланхолии. «Застой в прогрессе. Колебания и сомнения перед новым шагом. Мысли о мыслях, пока в осадок не выпадет лишь сомнение. Познание, порождающее отвращение. Всё это верно и для нашего времени».

В наши дни, когда Меланхолия разлита во всё, Грасс обнадёживает читателя открытием, к которому пришёл: прогресс меряется улиточной мерой. Он понял это, когда в Германии в 1968 году начался процесс переоценки прошлого. Он протекал бурно и принимал подчас неожиданные формы, вплоть до создания ультралевых террористических организаций, которые держали в страхе и напряжении весь западный мир. И тут завязтый нигилист Грасс неожиданно проявился как моралист. Умиротворяющий дух Гёте перевесил в художнике барочное буйство. Выступив против экстремизма и чрезвычайщины, Грасс вступил в нелёгкий спор с молодым поколением в защиту реформаторских идей. Тогда и возник в его творчестве (Грасс ещё и рисует) образ улитки и парадоксальное убеждение: «Улитка — это прогресс». Не верьте в спасительность скачков-прыжков, в резкие повороты и революции, полагайтесь на улитку: она движется медленно, но неуклонно.

Автор, заявивший о себе: «Я — штатская, ставшая человеком улитка», находит, что евреи, ведущие счёт своей истории на тысячелетия, родственны улиткам. «За рассеянными по свету евреями признаётся право на Меланхолию как на нечто врождённое или — со времени разрушения Иерусалима — как на их роковое предназначение». Их присутствие в книге Грасса органично.

Рассказ об уничтожении еврейской общины Данцига начинается со статистики. Согласно переписи 1929 года здесь проживало 10 448 евреев (всего в городе было 400 тысяч населения). Начиная с 1930 года демонстрации и митинги НСРПГ (национал-социалистической рабочей партии Германии) повсеместно проходили под девизом: «Евреи — наше несчастье!»

«Поскольку каждый боится несчастья и хотел бы его избежать, всяк рад услышать имя несчастья, узнать, наконец, в чём причина всего этого вздорожания, безработицы, нехватки жилья», — с сарказмом пишет Грасс. Поэтому пресловутый лозунг не был привязан к какому-то конкретному городу, лозунг был общегерманский.

«В Клеве, нижнерейнском городке, а также в соседних общинах Калькар, Гох и Удем в 1933 году жили, объединённые в синагогальной общине Клеве, 352 еврея. Столько несчастья граждане города не хотели терпеть».

Скучно, пунктирно и одновременно саркастично обозначает Грасс веки антиеврейской деятельности нацистов: вот закрыли газету еврейской общины, вот студенты-евреи вынуждены прервать занятия, преподавателей-евреев увольняют, а то и заключают в лагерь. Но иногда писатель вводит запоминающиеся детали, вроде этой: «В спортивном зале гимназии крон-

принца Вильгельма повесился на турнике семнадцатилетний гимназист, после того как его соученики заставили его в уборной (просто так, из баловства) показать свою обрезанную крайнюю плоть».

С марта 1933 года начался бойкот еврейских магазинов. Врачи-евреи были уволены и исключены из общества врачей. Судебные чиновники без всяких объяснений переведены на низшие должности. Артисты-евреи не допущены на фестиваль в Сопоте. Спортивному обществу Бар-Кохба было отказано в аренде городских спортзалов. Сегодня издано много воспоминаний, по ним, по «Дневнику» Виктора Клемперера можно проследить, как день за днём урезались права евреев, пока не появились в 1935 году расистские Нюрнбергские законы, а пятью годами позже не началось систематическое уничтожение людей. Дотошные исследователи подсчитали, что за первые годы нацизма было издано 1937 законов, указов, директив, циркуляров, инструкций, предписаний и распоряжений всякого рода, определивших участь евреев в Третьем рейхе. Вот уж поистине: ни дня без строчки!

Автору книги «Из дневника улитки» в 1937 году было десять лет. Он помнит, как в конце октября с базаров прогнали всех торговцев-евреев. «На всех данцигских базарах и торговых улицах разгул насилия принял общенародный размах», — свидетельствует писатель. И герой книги штудиенасессор Герман Отт (он же Скептик) фиксирует внимание на поведении рядовых обывателей. Постоянно покупавший корм для своих улиток у зеленщика Исаака Лабана, учитель страшно удивился, не обнаружив колоритную фигуру бывшего унтер-офицера на привычном месте. Молодая крестьянка, занявшая его прилавок, на вопрос о предшественнике рывкнула: «Какое мне дело до жидов?» Соседние торговки оскалились. На Отта обрушилось *всеобщее улюлюканье*.

Однажды в Бад-Киссингене немолодая немка, заметив, что я рассматриваю витрину аптеки, на стекле которой сохранилась надпись на иврите (красноречивое свидетельство, что некогда здесь был еврейский бакалейный магазин), заговорила со мной и не без гордости заметила, что её мать покупала у евреев, несмотря на всеобщий бойкот. Тогда я не поняла, почему она говорит о заурядном деле, как о героическом поступке. Но тот, кто прочтёт книгу Грасса, согласится, что это и впрямь был поступок.

Скептик нашёл Лабана в переулке, где евреям было разрешено разложить их нехитрый товар, «чтобы видно было, кто из арийских домохозяек всё ещё покупает у евреев». «Когда штудиенасессор направился со своей покупкой в обратный путь, за ним до самой остановки трамвая движущимся колоколом гремело непрерывное пронзительное “Тьфу-у!”». И прежде чем он успел войти в прицепной вагон трамвая, одна старая женщина, навстречу любящая бабушка, вытащила из своей фетровой шляпы-кастрюли булавку и воткнула её раз и ещё раз в кочан салата. “Тьфу на тебя, дьявол!” — крикнула она и вытерла шляпную булавку о рукав».

Перед нами, так сказать, обыкновенный фашизм. Разбудить тёмные инстинкты не так уж и трудно. Но и среди всеобщей вакханалии нашлись единицы, не уронившие человеческого достоинства. Когда еврейских детей

изгнали из школ, в Данциге открылась частная «Розенбаумская школа», в которой кроме Скептика работало ещё несколько учителей-немцев. Грасс говорит об этом без тени умиления, как о норме. Находились люди, которые вели себя нормально, на фоне нормы всякие отступления от неё особенно заметны. Особоно если эти отступления преобладают.

Пусть читателя не удивляет и то, что старшеклассники еврейской школы с одинаковым увлечением разыгрывают пуримшпиль и ставят спектакль по «Песне о Нибелунгах». Дети с восторгом выступают в ролях Зигфрида, Кримхильды, Брунгильды, живут страстями этих знакомых им с детства героев германского эпоса, которые уже объявлены нацистами эталонами арийства, к которым еврей не позволено даже приблизиться. Но дети не способны отделить себя от культуры, с которой сроднились не только их отцы, но деды и прадеды. Они выросли немцами иудейского вероисповедания. Немцем ощущает себя и старый зеленщик Исаак Лабан, который в годы Первой мировой войны был ранен под Верденом и получил Железный крест. Член имперского совета фронтовиков-евреев, он после смерти рейхспрезидента Гинденбурга носит траур и произносит патристические речи, даже когда вяжет лук в связки и моет морковь перед продажей. Потому лишь немногие из немецких евреев приняли всерьёз первые антиеврейские демарши штурмовиков. Потому так мучительно решались на отъезд. Всё верили, что дурман нацистской пропаганды рассеется. Неслучайно Герман Отг, предчувствуя лихие времена, говорит: «Когда всё полетит в тартарары, евреи будут последними истинными немцами».

Если читателю довелось побывать в Израиле и заглянуть в Нагарию и Гиватяим или пройтись по немецкому кварталу в Тель-Авиве, то он, конечно, сразу отметил типично немецкую архитектуру. И не только палисадники, балкончики, окна, утопающие в цветах, но и ментальность хозяев напомнит вам Германию. Не случайно израильтяне зовут их *йеки* (прозвище немцев). Потому не нужно удивляться, когда читаешь на памятнике в Бонне надпись: «Гражданам города, погибшим в годы нацизма». Да, они были немецкими гражданами, эти гонимые, а затем уничтоженные евреи. Сейчас в Германии это всячески подчёркивается.

В тот день, когда Скептику дважды прокололи кочан салата, в Данциге ещё проживало 7 479 евреев. С августа 1938 года нападения на синагоги и разбитые окна в доме прусской ложи стали повседневностью. По поводу событий 9 ноября 1938 года Скептик в дневнике высказался коротко: «Имперская “хрустальная ночь” — это вместительная метафора». Метафора сработала. В конце ноября в Данциге оставалось уже менее 4 600 евреев.

Когда 17 декабря 1938 года община приняла решение покинуть город, многие старики в зале лишились чувств. Их можно понять: чтобы купить право на выезд в неизвестность, евреи должны были продать за бесценок синагоги и земельные участки, включая кладбища. Вырученных денег на всех не хватило.

В ночь на 3 марта 1939 года пятьсот данцигских евреев в пломбированных вагонах отправились через Бреслау, Вену, Будапешт в портовый городок Рени на Чёрном море, где они должны были пересечь на корабль

под названием «Астир», который оказался грузовозом, не приспособленным для перевозки пассажиров. Наспех сбили перегородки между носовой и кормовой частью, отделив таким образом женщин от мужчин. Оставшиеся в Данциге ученики Скептика окрестили судно «Ковчегом улиток». Одиссея его скитаний описана скупо. Главное — этот ковчег достиг берегов Палестины.

Летом того же года удалось отправить в Лондон четыре партии еврейских детей — 122 человека. Лишь единицы из них смогли впоследствии увидеться со своими родителями. Из оставшихся в городе двух тысяч немногим удалось выжить. Среди них было довольно много польских евреев, застрявших тут ещё в 20-е годы, в момент массовой эмиграции в США. Они оказались обречены. По возвращению в Польшу одни попали в Варшавское гетто, другие — в Освенцим.

Через неделю после начала Второй мировой войны евреям Данцига было приказано покинуть квартиры и перебраться в еврейскую богадельню. Некоторые покончили с собой. Под гетто был переоборудован большой амбар на окраине. В конце ноября Палестинское представительство в Берлине дало разрешение на въезд в Палестину пятидесяти евреям Данцига. Вместе с тысячей чешских и венгерских евреев они добрались до югославской гавани Кладово. Здесь они застряли на девять месяцев, а затем были интернированы в Сабац. Из полусотни уцелели лишь трое, им удалось добраться до Палестины. Остальных расстреляли немецкие командос, когда захватили лагерь Сабац.

26 августа 1940 года евреям Данцига было велено собраться у портовой столовой. Пришло 527 человек. Прежде всего, им предложили сдать все имеющиеся деньги. Затем процессия медленно (старики!) двинулась к грузовой верфи, куда подходила железнодорожная ветка. Всю дорогу несчастных изгоев сопровождали насмешки, улюлюканье и плевки бывших сограждан. Евреев погрузили в двенадцать вагонов, и через сутки они оказались в Братиславе. Там их пересадили на дунайский пароходик «Гелиос». 11 сентября по прибытии в порт Тулцея им была дана возможность взойти на борт большого корабля «Атлантик», который вошёл в порт Хайфа 24 ноября. Однако на берег не сошёл никто. По решению мандатных властей все должны были перебраться на «Патрию», стоявшую на рейде. Ей предстояло принять четыре тысячи эмигрантов-евреев и доставить их в какую-нибудь британскую колонию. Когда посадка шла полным ходом, на борту «Патрии» раздался мощный взрыв. Корабль перевернулся и затонул через пять минут. 260 человек, среди которых были и данцигские евреи, погибли и утонули. Оставшиеся в живых позднее узнали, что бомба была подложена членами сионистской «Хаганы», которые намеревались таким образом воспрепятствовать депортации евреев из Палестины. Вот уж поистине благими намерениями вымощена дорога в ад! Лишь тридцати данцигским евреям удалось осесть в святой земле Израиля. Остальных выслали на остров Маврикий, где большинство погибло от малярии и тифа.

В январе 1942 года ушёл из Данцига в Терезиенштадт последний транспорт с евреями. Значительная часть (старики) умерли в пути или вскоре после прибытия в этот город, «подаренный фюрером евреям Евро-

пы» (так представлена история Терезиенштадта в рекламном пропагандистском нацистском фильме, который мне удалось увидеть здесь, в Кёльне). Кое-кто закончил свой крестный путь в Маутхаузене. Когда Данциг освободили, из щелей, подвалов, кладбищенских склепов выбралось на свет Божий двадцать выживших евреев. Двадцать из десяти тысяч...

Рассказывая о тех, кто уцелел, Грасс бегло знакомит с их послевоенными судьбами. Он отыскал всех, кого смог, ведь многих он знал, с некоторыми дружил. Живут они и их дети по большей части в Израиле, в своём государстве. И ему, Грассу, не раз доводилось там бывать. 9 ноября 1971 года, ровно через 33 года после хрустальной ночи, он читал отрывки из «Дневника» студентам Иерусалимского университета. Молодые бейтаровцы пытались сорвать выступление криками: «Немцы — убийцы!» Грасс мог бы умолчать об этом, обойти острые углы. Он не делает этого сознательно. Своим сыновьям он говорит однозначно: «Вы — не убийцы». «Вы повинны, — продолжает писатель. — И я, достаточно поздно родившийся, тоже считаюсь незапятнанным (Семнадцатилетний Грасс был призван в вермахт в 1944 году и вскоре оказался в плену у американцев. — Г.И.). Но только если я хотел бы забыть, а вы не хотели бы знать, как постепенно приходили к тому, к чему пришли, нас могут настичь простые слова: вина и стыд Их тоже, этих двух неотступных улиток, не остановишь».

Эти слова звучат сегодня куда более актуально, чем когда они были сказаны. Сейчас на повестке дня стоит вопрос не о коллективной вине немцев, а о коллективной памяти. Человек, наверное, неспособен к длительному трауру, а здесь, в Германии, срабатывает ещё и «торопливая готовность стряхнуть с себя преступления национал-социализма как мимолетное ослепление, как иррациональное заблуждение, как нечто не постижимое, а потому извинительное. Когда Вилли Брандт опустился на колени там, где прежде было варшавское гетто, рядом с ним был и Грасс. Немецкий писатель определяет этот жест как «запоздалое признание нашей неизбывной вины». Но думать, что раскаяние может стать состоянием всего общества, не следует. Раскаяние предполагает знание, потому правду о Холокосте должны знать все и помнить долгие годы. Гюнтер Грасс — один из тех, кто будоражит память.

А потому, когда в одном из номеров франкфуртской «*Jüdische Allgemeine Zeitung*» («Всеобщая еврейская газета») я прочла статью «Немецкие высококобы: от филосемитизма к антисемитизму», героем которой наряду с Мартином Вальзером оказался Гюнтер Грасс, мне стало обидно. Обидно за Грасса. Как можно было заподозрить этого писателя в повороте к антисемитизму? Несколько его критических высказываний в адрес израильских политиков — это не основание для подобных обвинений. Действительно, пропалестинская пропаганда немецких СМИ — оборотная сторона плохо скрываемого антисемитизма, но ставить знак равенства между немецкими средствами массовой информации и Грассом непростительно. Эта статья побудила обратиться к поздним произведениям Грасса. Может, и впрямь что-то изменилось в его позиции?

Вступление в новое тысячелетие нобелевский лауреат отметил книгой «*Моё столетие*», представив ушедший XX век в ста коротких новеллах, очерках, зарисовках, фиксирующих каждый его год. И в этой книге он остался верен тем принципам, которые обозначил в своей нобелевской лекции: «Писатель должен подвергнуть себя превратностям текущего бытия, вмешиваться в происходящее и принимать ту или иную сторону». В своей летописи XX столетия Грасс останавливается на событиях знаковых. Судьбы немецких евреев им не забыты. Показателен их отбор.

30 января 1933 г. Гитлер приходит к власти. Событие отмечено грандиозным маршем штурмовиков по берлинским улицам по направлению к Бранденбургским воротам, где он превращается в факельное шествие. Молодой художник, сумевший пробиться сквозь толпу и пробраться сквозь оцепление, оказывается в респектабельном особняке своего учителя, президента Прусской академии художеств Макса Либермана на Паризерплатц. С его плоской крыши вместе с хозяином дома и его женой Мартой он наблюдает за этим неудержимым, торжественным, судьбоносным шествием.

«Какой позор! С превеликим ужасом я должен признать, что это зрелище, нет, даже не зрелище, а картина грозного явления природы меня хоть и ужаснула, но в то же время глубоко взволновала. От неё исходила некая воля, которой хотелось повиноваться. Этому возвышенному движению рока ничто не противостояло. Это был поток, который увлекал за собой. И ликование, поднимающееся снизу со всех сторон, вполне могло вызвать и у меня восторженный крик «*Zigхайль*», если бы Макс Либерман не сопроводил его тем словом, которое позднее словно пароль шепотком пробежало по всему городу. Отвратив свой взор от исторической картины, как от увенчанного сверканием окорока истории, он с берлинским акцентом изрёк: «Я просто не в состоянии столько сожрать, сколько мне хотелось бы выблевать» («*Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte*»).

Грасс не рассказывает о том, как престарелого Мастера изгонят из академии художеств, о том, как после его скорой смерти реквизируют его особняк и виллу в Ванзее, о том, как Марта, получив извещение о предстоящей депортации в Терезиенштадт, покончит с собой. Всё это случится позднее, а 1933 год помечен эпизодом, о котором мы рассказали выше.

1934. Адьютант бригаденфюрера Айке, которому было поручено «заняться» заключённым концлагеря Ораниенбаум Эрихом Мюзамом, признаётся, что допустил ошибку и перепоручил грязную работу амбалу-придурку из СА с «говорящей» фамилией Шталькопф (стальная голова). «Между нами говоря, это дело можно было повернуть и поаккуратнее», — начинает незадачливый адъютант свою исповедь.

Эрих Мюзам в Веймарской республике был настолько известен (анархист, агитатор и поэт абсолютной свободы, противник любого насилия, а потому враг коммунистов), что нацист сразу его узнал, «хотя этому бывшему представителю революционных советов в бранденбургской тюрьме ножом срезали бороду, да и кроме того изрядно насажали синяков». Нацист признался, что побаивался связываться с этим евреем, который на допро-

сах отвечал на вопросы строками из стихов, за что ему выбили зубы, отбили почки и превратили уши в кровавое месиво. А стихи он читал, как со сцены, да ещё и вызывающе улыбался.

Замучив Мюзаму, нацисты имитировали его самоубийство через повешение, но сделать оглохшего с их помощью еврея ещё и немым им не удалось. «Во-первых, нетипично стиснутые судорогой руки. Потом нам так и не удалось вытянуть язык изо рта. Ну и узел на петле был вывязан слишком профессионально. Мюзаму бы ни в жизнь так не вывязать. Мало того, этот болван Шталькопф допустил и ещё одну глупость. На утренней переключке он скомандовал: “Евреи! Для отрезания петли два шага вперёд!”, чем сделал всю историю достойным общественности. Уж конечно эти господа, среди которых было двое врачей, сразу разгадали халтурную работу».

За свою ошибку младший нацистский чин был переведён в Дахау с испытательным сроком. Надо думать, грех был искуплен, второго «прокола» он не допустил.

1989. В связи с падением Берлинской стены Хёсле, учитель истории в Эслингене, этой швабской глубинке, рассказал детям о том, что произошло в Германии в этот день ровно 51 год тому назад. Ученики впервые от него узнали правду про «хрустальную ночь», но поскольку он посвятил этому печальному событию не один, а много уроков, и всё это тогда, когда по всей Германии бурно ликовали по поводу предстоящего объединения, он нервировал учеников. Вместе с тем мальчишка-рассказчик отмечает, что школьники отнеслись с большим интересом к тому, что когда-то происходило в их городе. Их взволновала, например, история, случившаяся в приюте для еврейских сирот. «Оказывается, всех детей выгнали во двор. Все их учебники, молитвенники, свитки Торы — всё-всё побросали в одну кучу и подожгли. Плачущие дети, которым пришлось всё это наблюдать, боялись, что вместе с книгами сожгут их самих. Но тогда лишь избили до полусмерти их учителя Фрица Самюэля, причём избили гимнастическими булавами из спортзала».

Родители на собрании единогласно осудили «помешательство на прошлом» господина Хёсле. Но учитель Хёсле очень хорошо защищался: «Ни один ребёнок не может правильно воспринять падение стены, если не будет знать, где и когда началась несправедливость, в конце концов приведшая к разделу Германии». И тут почти все родители кивнули в знак согласия. Но от дальнейших бесед о «хрустальной ночи» учителю пришлось на время отказаться. «Жаль, вообще-то говоря», — комментирует ученик.

Свой рассказ подросток завершает так: «Но теперь мы всё-таки знаем об этом немного больше. Знаем, к примеру, что почти все эслингенцы молча наблюдали или отводили глаза, когда случилось всё это с домом для сирот. И поэтому несколько недель назад, когда наш курдский одноклассник Ясир должен был быть выдворен вместе с родителями обратно в Турцию, у нас возникла идея направить бургомистру письмо протеста. И всё до единого под ним подписались. Но по совету господина Хёсле мы ни словом не упомянули судьбу еврейских детей в иудейском приюте “Попечение Вильгельма”».

Последняя фраза весьма примечательна, ибо характеризует отношение к теме Холокоста в определённых кругах Германии. Грасс мог бы обой-

тись без неё — не захотел. Решив говорить правду, он идёт до конца. Мне приходилось здесь слышать такое парадоксальное высказывание по адресу немцев, исходящее от евреев: «Они нам не простят Освенцима!» Грассу, судя по всему, этот парадокс тоже известен. Он не уклоняется от его анализа. А потому, зная его последние произведения, подозревать Грасса в антисемитизме — недостойно, чтобы не сказать резко.

Последняя его повесть «Траектория краба» (2002) наделала много шума, ибо писатель опять нарушил табу: рассказал о гибели корабля «Вильгельм Густлофф», который был символом Третьего рейха. Корабль был спущен на воду в 1936 году и получил имя нацистского партийного функционера, застреленного в Давосе евреем Давидом Франкфуртером. По высочайшему приказу Густлофф был объявлен «мучеником» (*Blutzeuge*) и похоронен в родном Шверине как национальный герой с великими почестями. «Вильгельм Густлофф», в мирное время прославившийся «бесклассовым» народным прогулочным лайнером, с началом войны встал на прикол и превратился в учебный центр по подготовке подводников, а под конец стал использоваться как военный транспорт. *Непотопляемый* «Густлофф» был торпедирован советской подлодкой, которой командовал Маринеско. Все три торпеды попали в цель. Стучилось это 30 января 1945 года. Кстати, реальный нацист Густлофф был застрелен тоже 30 января. Мистическое совпадение! Эта дата была знаковой: двенадцать лет назад именно 30 января Гитлер пришёл к власти. Когда корабль шёл ко дну, из всех репродукторов нёсся голос фюрера: он произносил юбилейную речь: «Провидение вверило в мои руки судьбу немецкого народа...» Затем зазвучала трагическая музыка, она заглушала вопль обречённых. Нацистская пропаганда это жуткое событие «замолчала», не желая подрывать дух нации. Ведь катастрофа была почище «Титаника»: погибло около девяти тысяч пассажиров, треть из них — дети. Десятки лет даже заикнуться нельзя было о «Густлоффе». Молчали на Западе, молчали и в Советском Союзе.

Впрочем, накануне перестройки была опубликована документальная повесть «Капитан дальнего плавания» Александра Крона. Её автор, сам в прошлом флотский офицер, хотел восстановить справедливость и вернуть из забвения Александра Маринеско. Политуправление долго не пропускало книгу, и Крон умер накануне её издания. Не вина, а беда писателя была в том, что «документы», на которые он опирался, оказались лживыми. В них говорилось, что на «Густлоффе» находились лёгчики Люфтваффе, направлявшиеся на замену и укрепление лётных частей рейха, а потому действия Маринеско, уничтожившего свежий резерв врага вместе с кораблём, квалифицировались как героические.

Прошло ещё двадцать лет, и Грасс ударил в барабан памяти. История «Густлоффа» представлена в его книге воспоминаниями старой Туллы Покрифке, одной из немногих, кому удалось спастись с тонущего корабля, и дотошным исследованием, которое провёл её несовершеннолетний внук Конрад Покрифке, её любимец Конни. Юный фанатик Интернета создал сайт, посвящённый «мученику», где можно было узнать мельчайшие подробности его биографии, всё о корабле, носившем его имя, сведения о национал-социалистической организации «Сила через радость» (*Kraft durch*

Freude — KdF), которая оплатила строительство океанского лайнера, данные о Давиде Франкфуртере и Александре Маринеско. В *Сети* Конни назвался Вильгельмом в честь своего кумира.

Отец Конни, журналист, от лица которого написана книга, родившийся в зловещую ночь 30 января 45-го, тоже собирает старые истории о погибшем корабле. Неожиданно для себя он приходит к мысли, что одиозный сервер *www.blutzeuge.de* напрямую связан с его сыном: он узнаёт в его рассказах голос своей матери Туллы. Сам он от сына далёк, после развода мальчик остался с матерью. Не на шутку встревожила отца промелькнувшая в тексте фраза: «Всемирное еврейство желает навеки пригвоздить нас, немцев, к позорному столбу...» Уж не связался ли Конни с бритоголовыми неонацистами?

Всё оказалось сложнее. Конни Покрифке, «пытаясь взрастить на коричневом дерьме новые побеги», действовал в одиночку. С примитивными наци ему было не по пути. Работал он с выдумкой, иногда даже неглупо, особенно когда упирал на социальную значимость организации «Сила через радость», но чаще он упрощал дело и повторял штампы нацистской пропаганды. Конни доказывал, что у национал-социализма были положительные стороны, а потому объявил день захвата власти Гитлером красным днём календаря. Что тут поднялось?! *Чат* превратился в настоящий базар: одни безоговорочно поддерживали Конни, другие выступали с тотальным отрицанием. Среди антифашистов выделялся голос некоего Давида, который стал постоянным оппонентом Конни. Конни признавал его осведомлённость и восхищался им как «фанатом точности».

Сигналом «“Густлофф” тонет!» сайт Конни положил начало глобальной перепалке. Стоило Давиду заявить, что убийство функционера-нациста евреем — необходимый и провидческий поступок, а победа маленькой подлодки над громадным лайнером — продолжение «извечной битвы между Давидом и Голиафом», как сайт захлестнули злобные тирады. «Еврейское отродье», «лжецы, плетущие небылицы об Аушвице» — были далеко не самой крепкой бранью.

«Если актуальной сделалась тема гибели лайнера, то не менее злободневным стал для *Сети* клич “Бей жидов!” Потоки ненависти, водовороты злости. Боже мой! Сколько же этого накопилось, сколько ищет выхода наружу, стремится стать реальным действием — это свидетельства рассказчика. Заметьте, на дворе — 1996 год.

Спор между *сетевыми* оппонентами протекает в довольно сдержанных тонах. Конни великодушно заявляет, что ничего не имеет против Израйля, выражает восхищение израильской армией, считает, что по отношению к палестинцам и другим мусульманам нельзя идти ни на какие уступки. Он за то, чтобы евреи свалили в Землю обетованную, «тогда остальной мир очистился бы от евреев».

Давид отнёсся спокойно к заявлениям Конни-Вильгельма, но судьба проживающих в Германии евреев в связи с растущим антисемитизмом его явно беспокоила: «Пожалуй, придётся скоро паковать чемоданы...» И когда Конни предложил ему встретиться и лично познакомиться до отъезда, Давид согласился.

Юноша приезжает в Шверин. Их экскурсия по городу протекает мирно и неспешно. Наконец, друзья-враги приходят к бывшему Мемориалу героев, снесённому в послевоенные годы. Конни показывает гостю место погребения Густлоффа и декламирует строки, которые некогда были высечены на мраморном монолите. После того как Давид трижды плюнул на замшелый фундамент, т.е. «осквернил святыню», прозвучали выстрелы. Конни произвёл четыре выстрела, именно так некогда Франкфуртер поразил его кумира. Подобно Франкфуртеру, он сам сообщил о происшедшем в полицию и добровольно сдался со словами: «Я стрелял, потому что являюсь немцем».

Самым неожиданным оказалось, что убитый, именовавший себя Давидом, был вовсе не евреем, а немцем во многих поколениях. Звали его Вольфганг Штремплин. Немцы, как видите, бывают разные. Довольно рано, лет с четырнадцати, Вольфганг решил называться Давидом. Чрезмерное внимание к проблеме военных преступлений и массовых убийств, о которых, по мнению его матери, говорено уже предостаточно, «настолько зациклило его на мыслях о покаянии, что всё, связанное с евреями, стало казаться ему чуть ли не святыней». Вольфганг—Давид примерил на себя еврейскую судьбу и погиб. Кони—Вильгельм вошёл в образ судьи-нациста, защитника Великого германского рейха, и стал убийцей. Как чудовищно-неотвратима расплата за эти метаморфозы!

Переоценка ценностей, которую пережил Конни в тюрьме, была, видимо, основательной. На втором году заключения он кропотливо собрал модель белоснежного «Вильгельма Густлоффа», не были забыты ни свастика, ни знамя Германского трудового фронта, ни эмблема «*KdF*». Спустя два года он на глазах отца собственноручно уничтожает модель. Из камеры исчезают рамки с фотографиями Густлоффа, Франкфуртера, Маринеско и Давида—Вольфганга. Зато на полке среди книг по истории и новым электронным технологиям появилось два томика Кафки. Впервые в этот день он назвал отца «папой». На следующий день отец Конни вошёл в *Сеть*, чтобы найти что-то подходящее для финала книги, над которой он работал. Искать пришлось долго. Но он обнаружил особый сервер на немецком и английском языке с адресом «Соратничество имени Конрада Покрифке». «Сайт агитировал поддержать того, кто служит образцом идейной стойкости, за что и брошен в тюрьму ненавистной системой. “Мы верим в Тебя, мы ждём Тебя, мы идём за Тобой...” И так далее, и так далее.

Никогда этому не будет конца. Никогда».

Не знаю, кто ещё из немецких писателей сегодня готов завершить книгу таким неутешительным, но честным финалом. А потому представляется глубоко справедливым и знаменательным название, под которым Михаэль Юргс выпустил в 2002 году в издательстве «Бертельсманн» биографию писателя: «Гражданин Грасс». Ну что ж, завещание Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — мы усвоили с детских лет. Грасс не зачитывался Некрасовым, но это не мешает ему быть Гражданином.

ЗАЛОЖНИК ВЕЧНОСТИ: ГЁТЕ У НАКОВАЛЬНИ ВРЕМЕНИ¹

Я живу в тысячелетях...

И. В. Гёте

Ушёл XX век и увёл второе тысячелетие... Миновала череда юбилеев, рассеялся фимиам, смолкли фанфары... 250-летие Гёте широко отмечалось на его родине и во всём мире: конференции, чтения, литературные вечера, спектакли, новые издания сочинений, монографии, статьи, телепередачи, фильмы. Предложены новые прочтения, намечены нестандартные подходы, предприняты попытки соскоблить «хрестоматийный глянец», но до понимания истинных масштабов этой уникальной фигуры ещё далеко. Сто раз прав Ницше, утверждавший, что Гёте в своём зрелом художественном воззрении настолько опередил ряд поколений, что влияние этого гения вообще ещё не обнаружилось и что время его ещё впереди.



В XIX веке Ницше был, пожалуй, единственным, кто увидел и оказался способным оценить масштабы личности Гёте, меру — безмерность! — его гениальности. Даже Генриху Гейне это оказалось не под силу, хотя в «Романтической школе» (1833) он уподобил Гёте божеству. Большое видится на расстоянии. Истина банальная, но — истина. Видимо, необходима временная дистанция, а Гейне был современником Олимпийца, хоть и младшим, к тому же романтиком. Тем не менее, Гейне всегда защищал «короля нашей литературы» (его определение) от язвительной хулы и резких нападок современников,

один из которых, Вольфганг Менцель, автор двухтомного сочинения «Немецкая литература» (1828), как я уже упоминала, внушал читателям, что «Гёте талант, но не гений», а другой, Людвиг Бёрне, обвинял в аполитичности и называл Олимпийца дилетантом и «рифмованным холопом» («холопом нерифмованным» аттестовал неистовый «младогерманец» Гегеля).

Нападки на Гёте в Германии начались ещё до рождения Гейне. Уже Клопшток, поэт XVIII века, чьё имя стало синонимом скуки и пустого морализаторства, читал ему нравоучения, а Гердер — немецкий просветитель,

¹ Опубликовано в альманахах: *Гамбургская мозаика*. 2002. Вып. 5; *Век XXI*. Гельзенкирхен, 2001. Вып. 1; в сокращённом виде под названием «Ровня великой действительности (Гёте на пороге третьего тысячелетия)» в журнале: *Современная книга*. Кишинёв, 2000. Вып. 2.

теоретик и историк культуры, имевший влияние на молодого Гёте, как-то даже сравнил его с Приапом (фаллический бог плодородия, не путать с Приамом, царём Трои!). Кисло-благоприятным немцам Гёте всегда казался неприличным. У Пушкина — «Гавриилиада», а у Гёте — «Гора Венеры». Молодой Гёте написал её по мотивам легенды о средневековом миннезингере Тангейзере, которому молва приписывала множество грехов. Согласно легенде, он жил в гроте Венеры и был её возлюбленным. Раскаявшись, он совершил паломничество в Рим, но Папа проклял грешника, сказав: «Как этот посох в моей руке не зацветёт, так не видать тебе прощения». Тангейзер вернулся в Венерин грот, но — о, чудо! — посох расцвёл ... Уже более века эта история, оскорблявшая ханжей, живет в музыке Вагнера, но Гёте в своё время был безоговорочно осуждён.

Он оскорбил не только христианскую мораль, но и национально-патриотические чувства соотечественников венецианской эпиграммой (1790):

Был я всегда терпелив ко многим вещам неприятным¹,
Тяготы твёрдо сносил, верный завету богов.
Только четыре предмета мне гаже змеи ядовитой:
Дым табачный, клопы, запах чесночный и +.

Что такое одна эпиграмма в многотомном наследии Гёте? Всё равно что иголка в стоге сена. Но, видимо, её укол был столь болезненным, что его не могли позабыть и простить. «Крест» глубоко запал в души немцев. Сто лет спустя Ницше, говоря о своём родстве с Гёте, замечает: «Мы сходимся также и насчёт “креста”». Большинство же с ним разошлось.

Но ведь не всё было так однозначно и с крестом. В 1784–85 гг. Гёте работал над рождественско-пасхальной поэмой «Тайны», её герой, странник брат Марк, оказывается в монастыре, над воротами которого видит крест, увитый розами — символ эзотерического (мистического) христианства, символ розенкрейцеров (теософско-мистическое тайное общество, символом которого была роза, распятая на кресте). Поэма осталась незавершённой, сохранился лишь фрагмент. Довольно долго он оставался без внимания, пока в него не вник известный антропософ Рудольф Штейнер (*Steiner*). «Тайны» Гёте, как, впрочем, и «Фауст», послужили основой для статей и лекций Штейнера об эзотерическом мировоззрении Гёте, о его «духовидении», первая из которых была прочитана в 1901 году.

На заре XX века русские символисты (Д.Мережковский, Вяч.Иванов, А.Белый, Э.Метнер, Эллис) тоже писали о «теософских безднах “Фауста”», видели в Гёте величайшего мистического поэта и «дальнего отца символизма». Идеи Штейнера стали для них катализатором. В 1914 году Метнер опубликовал книгу «Размышления о Гёте. Разбор взглядов Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма». Белый в ответ Метнеру выпустил свой том: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современников» (1917).

¹ Перевод С.Ошерова.

Штейнер (при помощи своих учеников, среди которых были Андрей Белый и Максимилиан Волошин) выстроил под Базелем в Дорнахе огромное двухкупольное здание, которое назвал *Гётеанум* (что символично) и основал в нём *свободный университет науки о Духе* — своеобразный храм Духа. *Гётеанум* — по сей день *мекка* антропософов. Но мы сейчас не о них ведём речь, а о многоликости Гёте, о неисчерпаемости его наследия, в котором может открыть для себя бездну духовного смысла каждый ищущий, независимо от его религиозных и политических убеждений.

Более всего раздражал немецких тяжеловесов-тугодумов вольный дух (не фривольный и тем более не революционный, а именно вольный, раскованный дух) поэзии Гёте. Они прозвали его «великим язычником», что не совсем верно. Романтики и Вагнер с их «почвенничеством» были куда бо́льшими язычниками, чем Гёте. Пантеизм Гёте, восходящий к Спинозе, — на свой долг этому еврею-еретику он не уставал указывать до самой смерти — был отличен от язычества. Природа, по Гёте, и есть Бог, Его воплощение.

«Гёте был Спинозой поэзии, — ещё раз процитируем Гейне. — Учение Спинозы вылетело из математической куколки и порхает вокруг нас в виде гётевской песни. Отсюда ярость наших ортодоксов и пиетистов против песен Гёте. Своими благочестивыми медвежьими лапами они неуклюже ловят этого мотылька, который неизменно ускользает от них... Песни Гёте полны дразнящего изящества, совершенно невыразимого. Слово обнимает тебя, в то время как мысль тебя целует». Тем не менее, стихи Виланда немцы ценили выше.

«Они не любят меня, — заметил Гёте в 1808 году, видимо, не без тайной горечи. — И я тоже не дорожу ими. Что бы я ни сделал, они недовольны». И то, правду сказать, кто же будет доволен, прочитав о себе в «Ксениях» двустигшие-эпиграмму вроде этой:

Нацией стать — понапрасну надеетесь, глупые немцы.
Начали вы не с того — станьте сначала людьми¹.

Гёте доставалось с двух сторон, и справа, и слева, от ортодоксов и от радикалов: «В то время как чёрный поп колотил его распятием, неистовый санкюлот лез на него с пикой».

«Поэт, не дорожи любовью народной!» Всем памятны эти строки. Кое-кто воспринимает их с негодованием, но ведь это Пушкин! И Гёте примерно тогда же, в 1828 году, в разговоре с Эккерманом признался: «*Мои произведения не могут сделаться популярными*; тот, кто думает иначе или стремится их популяризировать, пребывает в заблуждении. *Они написаны не для масс, а разве что для немногих людей, которые ищут прилизительно того же, что ищу я, и делят со мною мои стремления*».

Встречались ли Гёте такие люди? Да, был Шиллер, было, несмотря на несходство натур, образа жизни и судеб, плодотворное творческое содруже-

¹ Перевод В.Топорова.

ство, десятилетие «веймарского классицизма» (1794–1805). Уступая настойчивым просьбам Шиллера, Гёте вернулся к работе над первой частью «Фауста» и опубликовал её после смерти друга. Но даже Шиллер не смог адекватно оценить «Фауста». В письме к Гёте он указывает на несоответствие этого произведения теории веймарского классицизма, замечает, что фабула переходит «в нечто ослепительно яркое и бесформенное», настаивает на том, что реализация идеи требует целостности, и одновременно признаётся, что не видит «поэтического обруча», который связал бы массу поэтического материала. Гёте в ответном письме поблагодарил Шиллера, но сознался, что не в силах следовать его советам. «Я облегчаю себе работу над этой варварской композицией и намерен скорее приблизиться к самым высоким требованиям, нежели выполнить их». Гёте были тесны рамки любой эстетической теории. Он был шире всех мыслимых границ. Поклонение классической Греции не исключало «варварства». А потому понятен его глубокий интерес к Шекспиру, этому «великому варвару», которого он почитал как «звезду далёкой высоты».

Двадцатидвухлетний Гёте в критическом этюде о Шекспире одной фразой охарактеризовал суть его новаторства как драматурга: «Шекспировский театр — это чудесный ящик редкостей, здесь мировая история как бы по невидимой нити времени шествует перед нашими глазами». За этим пониманием не стоят годы кропотливого исследовательского труда. Он недавно открыл для себя Шекспира. За этим пониманием — родственность душ, близость гениев. «Шекспир, друг мой, если бы ты был среди нас, я мог бы жить только вблизи тебя!» Вот в каком друге нуждался Гёте! Он готов был играть при нём второстепенную роль Пилада. В союзе с Шиллером он был, конечно, Орестом. После смерти Шиллера Гёте всё чаще обращается мыслями к Шекспиру, и в статье «Шекспир, и несть ему конца!» он подчеркивает как достоинство укоренённость Шекспира в английской действительности, в жизни своей эпохи: «Шекспировские пьесы — огромная оживлённая ярмарка...» Уж он не стал бы советовать ему найти «поэтический обруч» для достижения единства и целостности. Гёте понятно, что многообразие и изменчивость мира Шекспиру дороже его единства, и он с ним согласен...

Гёте и Шиллер... Это пресловутое «и» вязнет в зубах, как рекламируемый «*Twix — сладкая парочка*». В центре Веймара поставлен памятник двум гениям немецкой и мировой литературы. Они изображены на нём плечом к плечу. В начале XIX века Шиллером восторгались больше, чем Гёте. Споры о том, кто из них выше, не утихали. «Глупые немцы, им бы радоваться, что у них есть два таких парня!» — такова была реакция Гёте. А вот Генриху Гейне было ясно, кому вручить первенство, он считал глупостью недооценивать Гёте в пользу Шиллера: «Оба — первоклассные поэты, оба — велики, превосходны, необыкновенны, и если мы отдаём некоторое предпочтение Гёте, то лишь благодаря тому незначительному обстоятельству (ну и язва этот Гейне! — Г.И.), что Гёте, по нашему мнению, ежели ему в своих творениях потребовалось подробно изобразить

такого поэта, со всеми относящимися сюда стихами, был бы способен сочинить всего Фридриха Шиллера, со всеми его Разбойниками, Пикколомини, Луизами, Мариями и Девами».

Известная писательница Жермена де Сталь, эта, по определению Белинского, повивальная бабка французского романтизма, в своём трактате «О Германии» (1810) посвятила Гёте немало проникновенных слов, но и она, умница, эрудитка, женщина с мужской хваткой, после встречи с Гёте в 1803 году разочарованно заметила: «В Гёте нет больше того зажигательно-го пламени, из которого родился “Вертер”». Видимо, даже знатоки и ценители литературы ждали от него ещё одного «Вертера». Они не понимали, что для него это — вчерашний день.

Эта небольшая книга, созданная желторотым, но уже гениальным птенцом в 1774 году всего за четыре недели, оказалась не только непревзойдённым романом о трагической неразделённой любви, но отразила тот поворот в судьбах юного поколения, который знаком каждому человеку фаустовской культуры. Роман стал предвестием романтизма. Своей исповедальной искренностью, психологизмом, страстностью («сплошные вспышки пламени») Гёте проложил дорогу романтикам. Они рассчитывали, что признанный лидер «Бури и натиска» если не возглавит, то благословит их движение. В своих ожиданиях они ошиблись. Но это другая история.

«Вертер» Гёте стал знаменем грядущего. Не случайно Наполеон не расставался с томиком Гёте и перечитывал «Вертера» во время египетского похода. Этот человек действия, антипод рефлексирующего Вертера, учуял дух этой книги, страстный и мятежный дух, как бы предвещающий исторические бури и потрясения, к которым он, Наполеон, будет причастен, во время которых высоко взойдёт его звезда. Видимо, нужно было быть гением, чтобы встать вровень с Гёте и понять его. Император Наполеон будет добиваться встречи с Гёте. Легенда гласит, что Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, после беседы с Иисусом воскликнул: «*Ecce Homo!*» (се Человек!). Наполеон же после встречи с Гёте тоже не мог сдержать восхищенного удивления: «*Voilà un homme!*» (вот это муж!).

В основе германского духа лежит мужественность. Но уже в эпоху Бисмарка—Вагнера её стали понимать как брутальность, бестиальность, как мощь Зигфрида — и только. Синонимом немецкого духа стало героическое германство. «Мир принадлежит герою, а не торговцу» — формула была найдена в 1906 году пропагандистом «нового прусского стиля» Мёллером ван дер Бруком. В наш *войнолюбивый* век (я имею в виду XX век) это представление укрепилось. Немало поработали в его пользу сторонники идеи «*Deutschland, Deutschland über alles*», «Германия превыше всего», идеологи Третьего рейха, а поэтому понятно, почему после поражения нацизма главное место в немецкой литературе занял человек «с тихим голосом», антипод сверхчеловека (*Übermensch*), «белокурой бестии» (точно так же, как после Первой мировой войны, которую Германия тоже развязала и тоже проиграла, права гражданства в немецком искусстве обрёл «маленький человек»).

Мужественность, которую ощутил Наполеон в Гёте, этом воплощении немецкого духа, — иного рода. О ней можно прочитать у Ницше в книге

«По ту сторону добра и зла». Ницше заслужил, чтобы его, наконец, прочли. Ведь долгое время в Германии и ещё более долгое в России его знали по вырванным из контекста и усечённым цитатам, т.е., по существу, не знали. Он пишет о скепсисе отважного мужественности, родственном военному и завоевательному гению и впервые ярко проявившемся в Германии в образе Фридриха Великого. Это немецкая форма скепсиса: «Этот скепсис презирает и, тем не менее, прибирает к своим рукам; он подрывает и овладевает; он не верит, но при этом не теряется; он даёт уму опасную свободу, но держит в строгости сердце»... Это ключ к пониманию Гёте.

Гёте — в высшей степени *self-made man*. Он начал ваять свой дух рано. Самовоспитание — очень немецкая черта, отличающая немецких филологов и философов XVIII века. Гёте принадлежал этому веку, рациональному и сентиментальному одновременно, и носил в себе его сильнейшие инстинкты. Он был человеком страстей, и это проявилось в его «Гёце» и «Вертере», но он сумел сам себя обуздать. «Бурный гений», *штюрмер* сознательно превращается в человека строгой самодисциплины. Он преодолел и осудил преувеличенную чувствительность, бесплодные титанические порывы, устремление к идеальному, революционному. Восходя (но не возвращаясь!) к естественности Ренессанса, Гёте опирался на историю и естествознание, на Спинозу и античность. Он стал сам для себя Пигмалионом.

«Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя в узде, уважающего самого себя человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и всё богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, обладающего терпимостью, не вследствие слабости, а вследствие силы, так как даже то, от чего погибла бы средняя натура, он умеет использовать к своей выгоде; человека, для которого нет более ничего запрещённого, разве что *слабость*, всё равно, называется она пороком или добродетелью... Такой ставший свободным дух пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, *веруя*, что лишь единичное является негодным, что в целом всё искупается и утверждается, — он не отрицает более...»

Таким Гёте виделся автору «Заратустры» в августовские дни 1888 года, когда призрак безумия стал уже посещать его. Молодой Гёте жаждал иметь в друзьях Шекспира, а молодой Ницше, едва завершивший своё первое культурно-критическое эссе «Рождение трагедии из духа музыки» (1869–71), ставшее «евангелием» русских символистов, завидует Эккерману и жалеет, что не ему суждено было стать собеседником великого старца. Когда он слышал суждения, что Гёте в свои 82 года, дескать, несовременен, пережил себя, кровь его вскипала: «А я всё-таки охотно променял бы целые возы свежих высокосовременных жизней на несколько лет “пережившего себя” Гёте». И это говорит страстный апологет дионисийства, стихийной, экстатической, оргийной Греции, которой Гёте, поклонник аполлонического, светлого, гармонического начала, явно сторонился. Конечно, Гёте знал о существовании древнейшей хтонической Греции, Греции сторуких чудищ, Медузы-горгоны, Тифона. Он знал, что мировая гармония, установленная богами-олимпийцами, была завоёвана в страшной борьбе со стихийными

силами. Её сцены, запечатлённые в античных барельефах и горельефах, откроются каждому, кто переступит сегодня порог берлинского музея Пергамон. Гёте не хотел будить заснувших бурь, он знал: «под ними хаос шевелится» (Тютчев). После «Вертера» он очень редко станет прикасаться к Дионисовой стихии, к стихии восторга и самозабвения. Но во второй части «Фауста» у него достанет сил погрузиться в неё. Даже будучи его оппонентом, Ницше склонялся перед духом Гёте.

В своей характеристике Ницше подчеркнул фаустовское начало в Гёте и отсёк мефистофельское: «Он не отрицает более». Однако Гёте наделил Мефистофеля силой отрицания, заложенной в идее саморазвития бытия. Ницше предпочёл не вникать в диалектику образа, он шёл от текста. Мефистофель же при первом знакомстве представляется так:

Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда¹.

Негативизм, нигилизм чистой воды! Прежде чем появились нигилисты (родина современного нигилизма — Россия второй половины XIX века; по уверению Уайльда, нигилиста — этого странного мученика без веры — придумал Тургенев), русская дворянско-разночинная интеллигенция (молодые Бакунин, Белинский, Герцен) некоторое время сворачивала мозги, то теряя, то обретая душевное равновесие, над диалектическими послылками ещё одного великого немца — Гегеля: «Всё действительное — разумно. Всё разумное — действительно».

Гёте был знаком с трудами философа, принимал его у себя в Веймаре осенью 1827 года и благосклонно выслушал признание автора «Феноменологии духа»: «Когда я всматриваюсь в то, как протекал мой духовный рост, я вижу Вас всюду в него влетённым, и мне хочется назвать себя Вашим сыном». Однако «великое примирение Гёте с действительностью» произошло не на почве штудий философских трудов, а посредством изучения природы, в которую Гёте входил и как в храм, и как в мастерскую. «Мы диалектику учили не по Гегелю». Он мог бы подписаться под этой известной строкой поэта, наступившего на горло собственной песне. Гёте не любил абстрактной философии, его влекли естественнонаучные горизонты. Он избрал естествознание как зону познания, и здесь опередив своё время: ведь революция в естествознании произойдёт значительно позднее. Весь корпус гётевских естественнонаучных сочинений составляет четырнадцать томов в Большом Веймарском издании. И не знаешь, чему больше удивиться — объёму ли работы или гениальности его грандиозных идей, открытий, гипотез и догадок. Но что ещё больше изумляет, так это полное отсутствие в его сочинениях формул, законов,

¹ Перевод Б.Пастернака.

следов каузального (причинного). Поражают гётевская универсальность, его могучая витальность, способность видеть первофеномены, суть вещей и явлений в самых незначительных деталях.

Природа, по мнению Гёте — средство к успокоению современной души, вечный животворящий родник. «Природа немедленно отвергает как несостоятельного всякого, кто изучает и наблюдает её недостаточно чисто и честно. К тому же, я убеждён, что она в состоянии даровать исцеление больным диалектикой», — таков был ответ Гёте поклонникам умственных вывертов. Разумеется, Гёте не противник диалектики, он враг умозрительности, которая у современных философов, по его мнению, приобрела угрожающие формы и масштабы.

Образцом гётевской диалектики могут служить стихи, в которых запечатлелось прачувство живого бытия:

Когда в бескрайности природы,
Где, повторяясь, всё течёт,
Растут бесчисленные своды
И каждый свод вырастает в свод,
Тогда звезда и червь убогий
Равны пред мощью бытия,
И мнится нам покоем в Боге
Вся мировая толчея¹.

Гёте завещал потомкам не только своё мировоззрение, но и сообразный этому мировоззрению метод познания. *Метод*, по-гречески, это *путь*. Метод Гёте — это путь его жизни, это способ, стиль его мышления. Образ мыслей и метод мыслей в совокупности составляют дух Гёте, который позволяет «погружаться во что угодно, даже в патологическое, не теряя трезвости и не заражаясь патологией, и, значит, выносить, скажем, ураганы ван-гоговской эйфории, *не отрезая себе уха*, или разводить пободлеровски “цветы зла“, *не впадая в идиотизм*, или, наконец, философствовать молотом (как Ницше. — *Г.И.*), *не сходя с ума*» (К.А.Свасьян).

Оказалось, быть гётеанцем чрезвычайно трудно. Ницше, у которого Гёте присутствует почти во всех произведениях, смог стать им лишь наполовину: разделяя мировоззрение Олимпийца, он пренебрёг его тактикой. Методу Гёте он предпочёл рефлексию и позитивистские конструкции, союз с релятивизмом и вульгарным материализмом.

И Освальд Шпенглер, о котором студенты благоговейно говорили: «Вот идёт *Закат Европы!*», тоже оказался неспособен держаться Гёте до конца, хотя в предисловии к своей книге объявил: «Философией этой книги я всецело обязан Гёте». Освоив метод Гёте с его креном в сторону естественнонаучного познания, Шпенглер механически перенёс органику Гёте на историю. Мир как история был им рассмотрен сквозь призму «Метаморфозы растений» Гёте.

¹ Перевод А.Ревича.

Книга Шпенглера, гётеанца и ницшеанца, прогремела в России в начале 1920-х годов. На неё откликнулись русские философы Бердяев, Степун, Франк, Букшпан. Их книга «Освальд Шпенглер и Закат Европы» вышла в 1922 году, вызвала гнев Ленина, после чего и отчалил от петроградской пристани в сентябре того же года корабль, на котором неугодную новому режиму интеллектуальную элиту нации вывезли в Германию. Вот какими кружными, поистине неисповедимыми путями — через Ницше и Шпенглера — вмешался Гёте в судьбу российских интеллигентов спустя почти век после своей кончины.

Гёте был в высшей степени устремлён в будущее. Прошлое его влекло и интересовало не само по себе, не как история, а как ступенька в будущее. «Нет никакого прошлого, по которому следовало бы томиться, есть только вечно-настоящее, образующееся из расширенных элементов прошлого, и подлинное томление должно всегда быть продуктивным, чтобы созидать нечто новое и лучшее». Его любимое понятие — *развитие* (*Entwicklung*). Один из основателей теории биологического эволюционизма, Гёте не мог мыслить иначе, как категорией развития, эволюции. Это не позволяло ему быть революционером. Он не стал другом Французской революции. Для сподвижников его молодости, приветствовавших падение Бастилии, его позиция оказалась загадкой и большим разочарованием. Как прикажете понимать?! Гёте, чей прославленный Гёц умирал со словами «Свобода! Свобода!» на устах, этот Гёте теперь заявляет: «Свободой и равенством мы тешимся в пылу безумия». Таков его ответ якобинцам. Жан-Поль Рихтер, поначалу апологетически настроенный к революции, признался в 1804 году: «Гёте был дальновиднее, чем весь мир, ибо начало революции он презирал уже так, как мы презираем её конец».

«Свобода, Равенство, Братство» — под этими лозунгами французские просветители готовили революцию, с этими словами на устах парижский люд шёл на Версаль. Вскоре эти слова набухнут и станут сочиться кровью. Наступит время большого террора. «Бритва революции», гильотина, станет работать бесперебойно: покончив с Бурбонами и монархистами, она примется за вождей Жиронды, а потом дойдет очередь до пламенных революционеров, последним взойдёт на эшафот Робеспьер. Гёте это предвидел. Позже он скажет: «Ни одна революция не обходится без крайностей. При революции политической обычно хотят только одного — разделаться со всевозможными злоупотреблениями; но не успеешь оглянуться, и благие намерения уже тонут в крови и ужасе». Время доказало правоту Гёте.

Нам, кому пришлось жить в стране, прошедшей через огонь, кровь и ужасы нескольких войн и революций, полезно, осмысливая наш жизненный и исторический опыт на пороге нового тысячелетия, познакомиться с мыслями Гёте о революции, свободе, об отношениях между народом и властью, с его требованиями к государственному деятелю. Мы ведь люди политизированные. Нас волнуют эти проблемы. Высказывания Гёте интересны уже тем, что это не умозрительные рассуждения великого долгожителя, а мысли человека, посетившего мир «в его минуты роковые»: он был свидетелем Семилетней войны в Германии, войны США за независимость, Французской революции и, наконец, всей наполеоновской эпопеи.

Гёте был человеком консервативных политических взглядов. Для большинства из нас консерватизм — это нечто со знаком минус. Таковы последствия советского образования. Консервативность — не синоним реакционности. Тем не менее, на Гёте часто нападали за консерватизм. Однако он категорически возражал против титула «Друг существующего порядка». Он говорил, что согласен быть его другом лишь при условии, что этот порядок разумен и справедлив. Гёте говорил, что он никогда не сочувствовал произволу власть имущих и убеждён, что ответственность за революции падает не на народ, а на правительство: «Революции невозможны, если правительства всегда справедливы, всегда бдительны, если они своевременными реформами предупреждают недовольство, а не противятся до тех пор, пока таковые не будут насильственно вырваны народом». Но где взять такие правительства?!

«Если бы я был владетельным князем, — заявил он Эккерману, — я никогда бы не делал первыми людьми в государстве тех, что выдвинулись мало-помалу, благодаря своему рождению и старым заслугам, и спокойно шагают по проторенному пути, от чего большого толку, конечно, не бывает. Будь я государем — я бы окружил себя молодыми людьми, но, разумеется, одарёнными пронзительным умом, энергией, к тому же доброй волей и по самой своей природе благородными... “Таланту — широкая дорога!” — девиз Наполеона, который обладал исключительным чутьём в выборе людей». Как жаль, что современные демагоги (первоначальный смысл этого греческого слова — вожди народа) не читают ни Гёте, ни Наполеона, а не мешало бы...

Гёте считал обязательным для владетельного князя или будущего государственного деятеля самое разностороннее образование, ибо «разносторонность — неотъемлемая составная часть его ремесла». Обратите внимание! Гёте, которого то и дело упрекали в аристократизме, как, кстати говоря, и Пушкина, говорит не о божественном праве монарха, а о ремесле! И повторяет это неоднократно: «Самое разумное, чтобы каждый занимался своим ремеслом, тем, для чего он рожден, чему он учился, и не мешал бы другим делать то, что им надлежит. Пусть сапожник сидит за своей колодкой, крестьянин ходит за плугом, а правитель умело правит народом. Это ведь тоже ремесло, которому надо учиться и за которое нельзя братья тому, кто этого делать не умеет». Но в стране, где было обещано каждую кухарку научить управлять государством (и управляют до сих пор, несмотря на катастрофические последствия), разносторонность — непозволительная роскошь. Впрочем, и вожди Третьего рейха выше среднего образования не поднимались: тоталитарному режиму большего не требуется. Кстати, Гёте они не жаловали. Но об этом ниже.

Гёте прожил долгую жизнь. Естественно, что его представления менялись. Вот как зрелый Гёте понимает личную свободу: «Странная эта штука со свободой, — её не трудно достигнуть тому, кто знает себя и умеет себя ограничивать... Пускай человек имеет столько свободы, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься своим ремеслом, и этого достаточно, а такой свободы может каждый добиться».

Всем, кому с младенчества вдалбливали: каждый должен трудиться для общего счастья, ибо такова необходимая предпосылка счастья личного, нелишне познакомиться с соображениями Гёте по этому поводу: «Я всегда считал, что каждому следует начать с себя и прежде всего устроить своё счастье, а это уж, несомненно, приведет к счастью общему. Вообще же учение Сен-Симона представляется мне абсолютно нежизненным и несостоятельным. Оно идёт вразрез с природой, с человеческим опытом, со всем ходом вещей на протяжении тысячелетий. Если каждый будет выполнять свой долг, усердно и добросовестно трудясь в сфере своей непосредственной деятельности, то и всеобщее благо будет достигнуто». Многие во времена своей студенческой юности конспектировали ленинскую статью «Три источника и три составные части марксизма». Социалист-утопист Сен-Симон проходит по ведомству третьего источника. Маркс не вынул предостережения Гёте, а мы за его самонадеянность заплатили с лихвой. Так пусть наши дети и внуки помнят завет Гёте, ведь он сработает и в новом тысячелетии.

Высокий дух предполагает широту души и взглядов. Нигде эта широта так не проявилась, как в мыслях Гёте о национальном и общечеловеческом. У Гёте, как известно, сложились далеко не простые отношения с немцами. Он не был равнодушен к судьбам Германии, хотя его попрекали именно равнодушием. Широта его воззрений, его эллинизма, его всемирная отзывчивость, интерес к культуре не только немцев, но и других народов, его способность, «страдающая Германией», ощущать себя гражданином мира — вот что являлось почвой для непонимания и упреков. Его современникам не хватало широты мышления, чтобы хотя бы попытаться понять Олимпийца. Только он в своё время мог сказать: «Теперь важно, что весит человек на весах человечества: всё остальное суета сует». Разве такое прощают ультрапатриоты всех мастей, всех времён?!

Но ведь и это не всё. Известно, что он разошелся со своей нацией во время наполеоновских войн. «У Гёте взорвалось сердце при появлении Наполеона, — оно *зашло* у него во время “войн за свободу”» (Ницше). Когда в ответ на завоевание Наполеоном многих немецких княжеств, после его блистательных побед при Прейсиш-Эйлау, под Аустерлицем, в Германии началось антинаполеоновское патриотическое движение, Гёте не поверил в его освободительный характер. Гейне также уверяет, что немцы самым спокойным образом снесли бы Наполеона. Но побеждённые немецкие государи, пресмыкавшиеся у ног Наполеона, заговорили о германском народном духе, об общем германском отечестве, об объединении христианско-германских племён, о единстве Германии. Кое-кто из романтиков стал трубадуром этих идей, а романтизм в Германии был шире, чем направление в искусстве, это был образ мышления.

Немецкий народ, как уже было замечено, очень привержен своим государям. Удручённый их позорным положением, народ зашевелился. Гёте это встревожило. Он считал объединение преждевременным, сомневался в возможности оздоровления немецкого общества при сохранении в нём

феодалных порядков. Гёте утверждал, что у немецкого народа, «столь достойного в частностях и столь жалкого в целом», будущее ещё впереди. Консерватизм Гёте был прочен, он не верил, что народ на самом деле пробудился. Его обвинили в антипатриотизме.

«Это Гёте-то — не немецкий патриот?! — бросился в контратаку Фарнгаген фон Энзе, видный берлинский публицист, переводчик и литературный критик (кстати, это он первым в Германии перевёл Пушкина и указал на его мировое значение). — В его душе давно сосредоточилась вся свобода Германии и стала там, к нашему общему благу, образцом, примером, основой нашего развития. В тени этого древа мы все. Ничьи корни не входили в нашу отечественную почву прочнее и глубже, ничьи сосуды не пили её соков истовой и упорней». Фон Энзе призывал своих соотечественников опомниться и подумать, на кого они поднимают руку.

Если ты написал «Гёца», «Фауста», «Германа и Доротею», то тебе позволено сколько угодно космополитизма, ты всё равно будешь излучением немецкой идеи, национальным поэтом. И Гёте им был. Монументально-немецкое он выражает в эстетически благословенной форме, образуя связь между Германией и миром, обходясь при этом без знаменитого принципа «весёлой патриотщины» — «*Deutschland, Deutschland über alles*».

Когда после падения Наполеона народно-германско-христианско-романтическая школа праздновала победу, Гёте нанёс удар по симбиозу рыцарства и клерикализма, опубликовав статью «О христианско-патриотическом новонемецком искусстве». Современники не поняли своего патриарха. Кое-кому его полемика с романтиками показалась брюзжанием старца, ревнующего Музу к «племени младому, незнакомому». Это даже не точка, это кочка зрения. Огонь его сердца не отпылал. Достаточно вспомнить восторг старого Гёте пред юным Байроном, этим «властителем дум» нового поколения. Во второй части «Фауста» он вывел английского барда в образе прекрасного Эвфориона, сына Фауста и Елены. В лице Эвфориона, в смертельном полёте уподобившегося падучей звезде, Гёте оплакал гибель Байрона и одновременно восславил его подвиг: «Ты не сгинешь одиноким...»

К отечественным романтикам его отношение было иным. Он не захотел благословить ни Гёльдерлина, ни Клейста, ни Гейне. Братья Шлегели, идеологи романтиков «первого призыва», теоретики «йенской школы», воскуряли Гёте фимиам. Но это не помешало ему, хотя он признавал за ними немалые заслуги, резко выступить против романтического почвенничества, против апологетики древнегерманского мифа, германского Средневековья, против их культа народности, против преклонения перед прусской женщиной, против игры в патриотизм и католицизм. Можно лишь удивиться прозорливости Гёте, который заявил в «Максимах», как отмечалось выше: «Классическое — это здоровое, романтическое — больное». Гёте никого не предостерегал. Даже ему не дано было представить масштабы и степень варварства недостойных потомков Фридриха Барбароссы и предвидеть, как «аукнутся» в середине XX века невинные увлечения и игры ро-

мантиков. Между тем идеологи нацизма активно использовали идеи немецких романтиков, перекроив, перетолковав на свой лад их наследие. Гёте не вписался в их идеологию. Признавая Гёте как классика, они не смогли его приспособить к своим нуждам.

Хочу ещё раз подчеркнуть: немецкий романтизм — прекрасная страница мировой культуры. Романтики XIX века неповинны в ужасах Освенцима и Дахау, но поражает, как Гёте чуял опасность, предвидя, что эти идеи могут принести вред непросвещённому сознанию масс, особенно если ими начнут манипулировать личности преступные.

Его опасения оправдались: пробуждение национального сознания быстро стало оборачиваться национализмом. Грань здесь очень тонкая. Гёте же по отношению к национализму всегда проявлял холодность и презрение. Он уверял, что «национальная ненависть всего сильнее, всего яростнее на низших ступенях культуры». Он звал подняться на более высокие ступени. Лишь просвещение и духовное совершенствование человечества могло, по его мнению, изменить социальные отношения. Как истинный сын века Просвещения, он в это верил. Приоритет общечеловеческого перед национальным — вот что завещал немцам Гёте. Готовы ли они были выполнить его завещание — это иной вопрос.

Размышляя о путях развития литературы, Гёте приходит к заключению: «Национальная литература сейчас мало что значит, на очереди эпоха всемирной литературы». Он предвосхищает те интеграционные процессы, которые мы ныне переживаем, которые ведут к созданию не только всемирной литературы, но и единого европейского дома с общей валютой *евро*, единого мирового информационного пространства с помощью Интернета, Международного валютного банка... Разумеется, Гёте был далёк от подобной конкретики, далеко не все прозреваемые им новации были ему по душе, но он провидел тенденцию развития, в котором общечеловеческое возьмёт верх над национальным.

В романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Гёте попытался представить пути социально-экономического развития Европы. Он разглядел будущую индустриализацию стран с аграрными традициями, технизацию жизни, господство машины, классовые конфликты, демократизацию, социализм и даже американизм, наступающий на Европу. На склоне лет Гёте очень занимали новейшие технические достижения. Узнав от Александра Гумбольдта о проекте Панамского канала, он живо им заинтересовался. Вот бы увидеть появление трёх каналов — Панамского, Суэцкого и Рейнского! Был такой проект — соединить Рейн с Дунаем. «Ради этих великих сооружений стоит прожить ещё каких-нибудь пятьдесят лет!» — восклицает восьмидесятилетний автор «Фауста». А сам Фауст, как вы помните, под конец жизни осушает болота и воздвигает мегаполит.

Однако отношение Гёте к преобразовательной деятельности его героя неоднозначно. Не случайно в его благие начинания то и дело вмешивается и, следовательно, их извращает Мефистофель. Задумав строительство каналов и маяка, Фауст поставлен перед необходимостью снести домик дружной супружеской пары, чьи имена сохранила седая древность, Филемона и

Бавкиды. Старикам предлагают другое жилище, но здесь прошла их жизнь, они приросли к своему очагу, они противятся. Картина, знакомая всем, кто пережил процессы реконструкции Москвы и других городов и весей (кому удалось этого избежать, читайте «Прощание с Матёрой» Распутина!). Старики гибнут вместе со своей хижинкой. Глубокая ирония заключена в том, что герои античной мифологии, пережившие всемирный потоп, гибнут из-за преобразовательной деятельности Фауста, «канализатора» Фауста, как назвал его А.Белый. Гёте первым ставит вопрос о дорогой цене технического прогресса, о разрушительности техницизма.

Уже завершая «Фауста», Гёте всё не может решить, что ждёт его героя — победа или поражение. Он создаёт сцену, которую можно воспринять как трагикомический фарс, в силу её жестокой парадоксальности. Ослепший Фауст вслушивается в звуки кипящей поблизости работы. Он полагает, что идёт к концу строительство вала, который отгородил отвоёванную у моря землю и обезопасил жителей. Между тем это стук заступов гробопателей. А Фауст в это время произносит вдохновенную речь, прославляя свободный труд свободно собравшихся людей. Все мы помним слова из этого монолога, их часто предлагали школьникам в качестве темы сочинения: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Фауст произносит монолог в кричащем одиночестве. Ведь это работают не люди, а лемуры, существа, то ли сотворённые, то ли призванные Мефистофелем. Этот «народ понурый» напоминает морлоков из фантастического романа Уэллса.

Лемуры роют могилу Фаусту, но он о том не подозревает. Слова его, на первый взгляд, гротескно-трагически разошлись с делом. Можно сказать, что он умирает, обманувшись. И, если принять эту версию, то следует признать, что Гёте проказал извечную «иронию истории», трагизм человеческих устремлений, их тщету. Но версия эта противоречит целому, т.е. общему замыслу «Фауста», самой природе этого героя и самой жизни Гёте. Фауст был задуман как борец, и он им остаётся до конца. Он верит, что дело его будет завершено. Ему не суждено видеть свой план осуществлённым. Лишившись зрения, он не увидит воочию прекрасного мгновенья, когда оно наступит, он прозревает его своим внутренним оком. Так стоит ли дожидаться? И Фауст решает произнести слова, за которыми последует смерть:

И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю.

Согласно всем юридическим законам, Фауст проиграл Мефистофелю. Согласно законам внутренним, законам поэзии, он выиграл.

В заключительной сцене Фауста после смерти встречает душа любящей Гретхен. Сама Богоматерь велит ей быть провожатой Фауста. Их сопровождает хор, славящий Вечную Женственность: «Здесь — заповеданность истины всей». Вечная Женственность, по Гёте, это Любовь, а Любовь есть начало Жизни. К Истине можно приблизиться через Вечную Женственность, отдавшись во власть Любви-Жизни.

Наши представления о Вечной Женственности связаны с идеями русского философа конца XIX века Владимира Соловьёва, с поэзией символистов, и прежде всего Александра Блока и Андрея Белого. Они провозгласили Вечную Женственность категорией мистической. Не берусь утверждать, что их представления вырастают из идей Гёте, но он свой гимн во славу Вечной Женственности сложил раньше них. Впрочем, если быть последовательными, то следует вспомнить предшественника Гёте Якоба Бёме, мистическое знание которого немало поражало автора «Фауста». Гимн этот одушевляет и драму «Пер Гюнт» Ибсена. Избравший в жизни Великую Кривую, успевший побывать «и тем, и сем», Пер Гюнт ищет спасения подле Сольвейг. И на мучительный вопрос, где ж он был настоящим, каким его Господь задумал, она отвечает однозначно: «В надежде, вере и любви моей!» Вот так и куются звенья всемирной литературы, время наступления которой возвестил Гёте.

Гёте работал над «Фаустом» шестьдесят лет. С течением времени пражомерность прекрасного остановленного мгновения, «стремления, мыслимого в покое», становится для него всё более проблематичной. В философском стихотворении «Одно и всё» (1821) он славит вечное движение и заканчивает его так:

Пусть длятся древние боренья!
Возникновенья, измененья —
Лишь нам порой не уследить.
Повсюду вечность шевелится,
И всё к небытию стремится,
Чтоб бытию причастным быть¹.

Сливаясь со Вселенной, человек и после смерти активно живёт в ней, участвуя в осуществлении Божественного плана мироздания. Руководители Берлинского общества естествознания начертали золотыми буквами на стене зала заседаний последние две строки стихотворения. Узнав об «этой глупости», Гёте пишет свой «Завет» (1829), который построен как бы на обратном тезисе:

Кто жил, в ничто не обратится!
Повсюду вечность шевелится.
Причастный бытию блажен!²

На самом деле «Завет» продолжает и развивает диалектическую мысль предыдущего стихотворения. Вечность бытия и твёрдость законов не исключают совершенствования, они таят «залог дивных перемен». Человеческий разум и «взыскательная совесть» — вот два ключа к познанию истин бытия и плодотворной деятельности на всечеловеческое благо. Там, где человек располагает ими —

¹ Перевод Н. Вильмонта.

² Перевод Н. Вильмонта.

В ничто прошедшее не канет,
Грядущее досрочно манит,
И вечностью заполнен миг.

Немецкому гению вторит и откликается через время-столетие и пространство Борис Пастернак, один из переводчиков «Фауста» на русский язык:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну!
Ты вечности заложник
У времени в плену.

Так и куётся цепь времён...

Можно сказать, что в битве за Германию, которую повели немецкие интеллектуалы-гуманитарии в XX веке, активно участвовал и Гёте. Настала пора назвать великого гётеанца (и ницшеанца!) XX столетия — Томаса Манна. В 1932 году, в условиях надвигающегося нацизма, отмечалось 100-летие со дня смерти Гёте. Томас Манн подготовил к юбилею два доклада — «Гёте как представитель бюргерской эпохи» и «Путь Гёте как писателя». Ситуация была тревожной, националистические страсти в Германии накалялись. Томас Манн напомнил немцам, каким нападкам подвергался Гёте более ста лет назад, в 1813 году, когда он прослыл человеком без отечества, лишённым патриотизма, чуть ли не врагом Германии.

В спорах об истинном и ложном патриотизме, которые ещё велись в 1932 году, Гёте, как видите, тоже принимал участие. Томас Манн пытался достучаться до своих соотечественников и объяснить им, что истинная любовь к отечеству состоит не в восхвалении его в противовес другим странам, не в превознесении до небес всего национального (вся эта лексика Третьего рейха: «германцы-арийцы», «кровь», «почва», «народ», «раса» — уже была в ходу и ему претила), не в трескучих лозунгах, а в осознании достоинств и слабостей своей страны, в действиях, направленных на её совершенствование, не в смертельной ненависти к соседям, а в уважении к иной культуре как части культуры общечеловеческой.

В 1939 году Томас Манн, находившийся в эмиграции в США, публикует роман «Лотта в Веймаре». Почему вдруг Гёте в такое время? Можно, конечно, ответить: для противопоставления фашизму лучших, высших традиций немецкой культуры, для противопоставления духовному убожеству величия духа. Это будет, конечно, верно. Но тут нужно ещё добавить, что Гёте понадобился Томасу Манну как единомышленник, как своего рода медиум, как рупор его собственных, выстраданных мыслей. Именно Гёте, переживший разлад с собственной нацией, подходил для этой роли более всего. В романе писатель широко использует высказывания Гёте, но параллельно вводит слова, мысли, которые могли бы принадлежать Гёте, если следовать логике этой личности, логике его опыта, логике художественной правды. Вот образчик этой прозы: «Они меня терпеть не могут — ну что ж, я их тоже терпеть не могу, так что мы квиты (вы узнали слова Гёте, ранее цитированные? — Г.И.). У меня своё немец-

кое естество — чёрт побери их вместе с их злым флистерством, которое они так именуют. Они думают, что Германия — это они, но Германия — это я, и если бы даже она вовсе погибла, она продолжалась бы во мне...»

Уже во время войны отдельные экземпляры романа «Лотта в Веймаре», тайком привезённые из Швейцарии, ходили в Германии по рукам, и враги гитлеровского режима, выбрав из седьмой главы романа, из длинного монолога Гёте, отдельные довольно-таки жёсткие, взыскательные суждения о немецком характере, размножили их и стали распространять среди населения в виде листовок под маскировочным названием «Из разговоров Гёте с Римером». Перевод этой своеобразной подделки оказался в распоряжении британского обвинителя на Нюрнбергском процессе, и он, не подозревая подвоха и соблазнившись злободневностью этих сентенций, широко оперировал ими в своей обвинительной речи. Такая ошибка не осталась незамеченной. В литературном приложении к лондонской «Таймс» появилась статья, где утверждалось, что обвинитель цитировал не Гёте, а роман Томаса Манна. Британский посол в Вашингтоне обратился к автору с просьбой дать необходимую справку. Писатель признал, что мистификация имела место. Но одновременно Томас Манн поручился за то, что не искалзил мысли Олимпийца и, следовательно, в каком-то высшем смысле Гёте был «процитирован» всё-таки верно.

В 1949 году в Германии отмечали 200-летие со дня рождения Гёте. Торжества проходили как во Франкфурте-на-Майне, на родине Гёте, так и в Веймаре, т.е. на территории, находившейся тогда под управлением советской военной администрации. Томас Манн после 16-летней разлуки с родиной приехал в Германию ради Гёте и выступил с речью и во Франкфурте, и в Веймаре. К этому времени он закончил свой знаменитый итоговый роман «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом», роман, в котором гётевское начало не лежит на поверхности (хотя на связь указывает название и отчасти содержание), но упрятано очень глубоко. В этом романе музыкант Адриан Леверкюн, отдавшийся всепожирающей страсти творчества, ради искусства решается на сделку с чёртом и в конце терпит поражение, погибает. Очень многие увидели сходство ситуации с романом Достоевского «Братья Карамазовы», тем более что Томас Манн очень высоко ставил талант Достоевского, писал о нём. Но связь этой книги с гётевским «Фаустом» бесконечно глубже и важнее. Фауст, как известно, заключил союз с Мефистофелем. Сделка с чёртом — искушение, известное уже много столетий, Гёте позаимствовал этот мотив из средневековой легенды. Он истолковал её в духе Возрождения. Томас Манн дал истолкование в духе XX века. В свете нового страшного опыта, в свете тех страданий, которые принёс в мир немецкий нацизм (причём не только народам Европы, Советского Союза, евреям — и уничтоженным, и пережившим Холокост, но и самим же немцам), нам представляется закономерным и даже в каком-то смысле неизбежным, что темой значительного немецкого послевоенного романа стала сделка, створ с дьяволом. Трагическая судьба художника Леверкюна содержала в себе намёк на судьбу общества, которое, пытаясь выйти из тулика, бросается в «объятия

чёрта», использует дьявольские саморазрушительные средства. Этот роман, подлинная эпопея модернизма, в которой явлены вершины и бездны на пути художника, по признанию автора, «выходит за рамки искусства и является подлинной действительностью». Речь идет о Германии, которая, переживая серьёзный кризис в десятилетие после проигранной Первой мировой войны, вверила себя Гитлеру в надежде спастись, не задумываясь над дьявольскими средствами «спасения», над тем, чем оно может обернуться.

В мае 1945 года Томас Манн сделал в Америке доклад «Германия и немцы», где говорил, что нет двух Германий — хорошей и плохой, доброй и злой. «Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и стоящая теперь перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощённой исторической виной, и заявить: “Я — добрая, благородная, справедливая Германия. Смотрите — на мне белоснежное платье. А злою я отдаю вам на растерзание“». Томас Манн счёл пошлым делать из Гёте представителя «доброй» Германии. Слишком он был неоднозначен и велик, чтобы быть только добрым, а в немецком величии всегда есть что-то от «злой» Германии. «Сумрачный германский гений» — это сказано Блоком не для рифмы.

Падшая Германия нуждалась в Гёте. Не случайно Гюнтер Грасс, ударивший в «Жестяной барабан» (1959), сокрушая традиционные авторитеты во имя расчёта с преступным прошлым, ввёл в свой гротескный роман Олимпийца. Пусть он фигурирует в нём лишь как символ (в конце концов, сам Гёте признал: «Всё преходящее — лишь символ»). Он — носитель здорового начала. Его присутствие в этой книге, горькой и издевательской одновременно, подаёт немцам надежду на выздоровление. От него исходит здоровая энергетика, в которой нуждается больное время.

Герман Гессе, ещё один значительный гётеанец XX века, убедительно писал о невероятной актуальности Гёте. Лучше, чем сказано им в статье «Благодарность Гёте» (1932), написанной по просьбе Романа Роллана для журнала «Эроп», мне не сказать, а в этой работе выражены мои заветные мысли, потому — слово Гессе: «По многим признакам я могу заключить, что немецкая молодёжь сегодня едва ли знает Гёте. Видимо, её учителям всё же удалось внушить к нему отвращение. Если бы я руководил средней или высшей школой, я бы вообще запретил чтение Гёте и разрешал знакомство с ним лишь в качестве высшей награды самым лучшим, самым зрелым, самым достойным. И тогда бы они с удивлением открыли, с какой непосредственностью он ставит перед сегодняшним читателем главный сегодняшний вопрос: вопрос о судьбе Европы». Хотя Гессе на рубеже 60–70-х годов на короткое время оказался кумиром «бунтующей молодёжи», ему не довелось стать ни директором школы, ни ректором университета, ни тем более министром образования и культуры. Всё осталось на своих местах. Гёте всё ещё ждёт, когда молодёжь в своих духовных поисках выберет его своим спутником, товарищем и вождём.

Последнее эссе Томаса Манна «Три гиганта» (1949) посвящено трём немецким гениям — Лютеру, Гёте и Бисмарку. Благодарные немцы изо-

бражали отца нации, «железного канцлера» Бисмарка у наковальни, в фартуке кузнеца, кующего мощь империи. Впечатляющий символ. Грохот его молота был слышен всем даже в начале XX века. Но большие поэты способны уловить тонкий звон самой маленькой наковальни. Конечно, нужно обладать слухом Манделыштама, чтобы «на каменных отрогах Пизэрии», когда «бежит весна топтать луга Эллады», услышать за хороводами Муз незамысловатую песенку, что «молоточками куют цикады»... Однако перед лицом Вечности стрекотанье цикад и гром победы — это лишь звуки, оглушительные или едва различимые, но только звуки. Гёте ощущал бесконечное и божественное в любом проявлении жизни. Обогащение жизни и есть его главная мудрость. Олимпиец Гёте ковал сокровища духа для немцев и всего человечества, но при этом он ковал ту цепь времён, которая одна и способна соединить нас с Вечностью.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Ремарк был не только кумиром, но и воспитателем нашего поколения «шестидесятников». В 1958 году вышел на русском языке с предисловием Льва Копелева роман «Три товарища» (1937), ошеломивший нас; тогда же познакомились мы с первым романом Ремарка — «На западном фронте без перемен» (1929). Роман этот при появлении стал сенсацией, бестселлером, как теперь говорят, за считанные месяцы его перевели на многие языки, и он разошелся тиражом в 8 миллионов экземпляров.

В Россию книги Ремарка пришли с опозданием, но, если вдуматься, — своевременно, после развенчания Сталина. Книги пьянили нас, как загадочные, неизвестные тогда нам *кальвадос* и *кьянти* — их героев. В них было то, по чему истосковались наши души: человечность, искренность чувств, правдивость, свободолюбие. Мы наблюдали в романах Ремарка столь знакомое нам жёсткое давление со стороны государства на маленького человека и естественное стремление освободиться от этого давления, выскользнуть из-под «железной пяты», не дать ей растоптать себя. Автор защищал право героя на личную жизнь, на духовную независимость. Ремарк способствовал нашему внутреннему раскрепощению, освобождению из-под груди лжи.

В первом романе и примыкающем к нему «Возвращении» (1931) молодой писатель, сам шагнувший в окопы Первой мировой прямо с гимназической скамьи, рассказал о судьбе своих сверстников, тех, кто погиб или был навсегда искалечен, если не физически, то духовно, в мясорубке войны, кого стали называть «потерянным поколением». В 1929 году голос этого поколения был услышан, тогда ведь одновременно вышли книги Ремарка, Хемингуэя и Олдингтона. Все они были отчасти автобиографичны и начисто лишены патетики, война предстала в них как индивидуальное переживание человека, рядового солдата, вчерашнего школьника или студента.

Пройдёт немного времени, и в гитлеровской Германии диалогию Ремарка станут жечь на кострах, а автора лишат немецкого гражданства. Ремарк не был евреем, но его «грех» был ещё более значительным: его антивоенные книги, по мнению идеологов нацизма, расхолаживали нацию, вредно влияли на её боевой дух. Его обвиняли в клевете на немецкого солдата, в поругании национальной чести. Если в первом романе Ремарк ещё славил дух фронтового товарищества, противопоставляя солдатскую солидарность развращённому тылу, то во втором романе он показал, что и «окопному братству» пришел конец, мир трещит по всем швам. Не сумев расправиться с писателем (он отверг приглашения гитлеровцев вернуться в рейх), нацисты схватили его сестру Эльфриду Штольц. В 1943 году её казнили за высказывания против режима. «Ваш брат сумел уйти от нас, — сказал ей председатель суда, — но вам это не удастся».

Ремарк — писатель, не угодный любому тоталитарному режиму, потому он был не ко двору и у нас, но во время «оттепели» его романы (кроме вышеперечисленных это «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать», «Чёрный обелиск») прорвались к российскому читателю. Ремарк умер в 1970 году, в последовавшем десятилетии пришли к нам и другие его романы, вплоть до последнего — «Тени в раю».

Сегодня в Германии Ремарка читают мало. Но в 1986 году в родном его городе Оснабрюке было создано Общество его имени, а в местном университете — исследовательский центр «Война и литература», собирающий архивные материалы о писателе. В 1991 году учреждена премия имени Ремарка. «Город и университет совместно решили оберегать наследие Ремарка и работать в духе его идей на благо гуманного мира» (из Положения о премии). В 1996 году в самом центре Оснабрюка на Ратушной площади открылся центр им. Э.М.Ремарка, объединяющий архив писателя и постоянно действующую выставку о его жизни и творчестве. На исходе ушедшего века и мне удалось там побывать.

И вдруг — новая встреча. Передо мной небольшая книжечка — «Эрих Мария Ремарк. Стихотворения». Издана на двух языках (русском и немецком), тексты даются параллельно. Знающие и любящие прозу Ремарка могли предположить, что писатель, у которого столь сильно лирическое начало, у которого тема любви присутствует в каждой книге, достигая подчас пронзительного звучания, должен был бы писать и стихи. Тем не менее и в Германии эта страница его творчества была неизвестна. Лишь к столетию со дня рождения писателя, в 1998 году в Кёльне, в издательстве «Kiepenheuer & Witsch», увидел свет пятитомник «Неизвестные произведения», куда вошли стихотворения Ремарка. Через год их перевёл на русский и издал Роман Чайковский, снабдив томик ёмким и толковым предисловием. Издана книжка в Магадане издательством «Кордис», и, что особенно приятно, издана полиграфически безупречно.

Ремарк — и каторжный Магадан! Можно только дивиться загадочной русской душе, с её тоской по нежности и любви (Ремарк способен её утолить), и энтузиазму людей, которые в этом всегда заснеженном, а ныне ещё и голодном крае пристально вчитываются сегодня в Ремарка. Вот уж поистине по Шекспиру: «что он Гекубе, что ему Гекуба?! А он рыдает...»

Возможно, читателям будет интересно узнать, что именно Магадан стал в России научным центром, где уже не один год занимаются изучением Ремарка. Роман Чайковский (сын священника, сосланного за веру в магаданскую мерзлоту, профессор, доктор филологии, декан и одновременно зав. кафедрой немецкого языка Северного международного университета) в 1998 году в связи со 100-летием со дня рождения Ремарка провёл в Магадане научную конференцию, выпустил сборник докладов и статей, снабдив его предисловием, которое дало название сборнику — «Век Ремарка». Век Ремарка — это наш с вами XX век.

Переводы стихотворений Ремарка выполнены Чайковским профессионально. Видимо, Ремарк не считал себя поэтом, потому при жизни сти-

хов не публиковал. По отношению к прозе они и впрямь вторичны, но в них он остался верен себе. Мы узнаем те нравственные истины, к которым он пришел, те заповеди, которым верны его герои: будь добр и мужествен, будь верен в любви и дружбе, непримирим к подлости, не проходи безучастно мимо людского горя, оберегай честь и достоинство человека...

Кто-то узнает в стихах отзвук личной драмы писателя: его долгий роман с Марлен Дитрих, одной из самых ослепительных и фантастических женщин XX века, закончился мучительным разрывом. *Лума*, как он называл свою возлюбленную, покинула его ради другого. Меня больше всего задело стихотворение «Он пал под Можайском». Оно вызвало в памяти пронзительное стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом», а кроме того, именно здесь, под Можайском, возможно, пересеклись наши пути: мой и героя Ремарка.

Я оказалась там летом 1957 года на педагогической практике. Пионерлагерь располагался на отшибе, вокруг — лес, почти дремучий. Давно окончилась война, но дорога, по которой сквозь чащу проходили войска и техника, ещё не заросла, земля была выбита и утрамбована, казалось, навечно. В лесу то и дело ребята натыкались на ржавеющее оружие, каски, котелки; как-то признались, что неподалеку нашли останки немецкого самолёта. Мы, молодые воспитатели, больше всего боялись, чтобы неуёмные следопыты не набрали на мину, не откопали бы ещё какой-нибудь «подарок» войны. Можайские леса поныне хранят много военных тайн.

Читая стихотворение Ремарка, я отчетливо представила, что и мы в 1957 году могли найти маленький круглый жетон Иоганна Шмидта из 3-й роты 152-го полка, которого ждала мать в далеком Гиссене и которого поглотила можайская земля. Теперь, проезжая мимо Гиссена, а иногда и делая там пересадку, я вспоминаю Ремарка и молодого павшего солдата Иоганна Шмидта. Причудливы пути и судьбы человеческие, и какое счастье, что твоим спутником, пусть даже ненадолго, может стать Ремарк, полный участия и приязни.

МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ ФРАНК¹

В Амстердам автобус пришёл ранним апрельским утром. Было пасхальное воскресенье. Солнце заливало пустынные улицы. Ветер гнал рябь по тёмной воде каналов — *грахтов*. От них тянуло холодом. На одном из многочисленных каналов стоит Дом Анны Франк. Его адрес известен многим: *Prinsengracht 265*. Мы были уже в двух шагах от дома-убежища, где Анна с семьёй и знакомыми, — всего восемь евреев, — скрывались от нацистов 25 долгих месяцев (с 6 июля 42-го по 4 августа 44-го года), когда неожиданно увидели одинокую девичью фигурку на фоне глухой каменной стены. Это была бронзовая Анна Франк, тоненькая хрупкая девочка, только вступаю-

¹ Напечатано в журнале: *Наш голос/Unsere Stimme*. Франкфурт-на-Майне, 2002. № 4.

щая в пору девичества. Анна стояла прямо перед нами. Словно выбежала из-за угла нам навстречу и внезапно замерла, а волосы её ещё были в полёте. Я сразу её узнала: ведь мы уже встречались.

Впервые я увидела Анну Франк более сорока лет назад в Москве, на сцене студенческого Театра МГУ. Спектакль, поставленный артистом театра им. Ермоловой Иваном Соловьёвым по книге «Дневник Анны Франк», стал событием в жизни столицы. Небольшой зал заполняли не только студенты и аспиранты, но и убелённые сединами граждане. Билеты добывали с бою. Сильнее всего постановка задела нас — кого позже станут называть «шестидесятниками». В ту пору в СССР ещё не говорили о Холокосте. Еврейство Анны не педалировалось. В центре спектакля был конфликт жизни и смерти, любви и ненависти, высокой человечности и грубого насилия. Злу противостояла юная Анна, почти ребёнок, дитя человеческое.

В Москве в 1956 году прошла выставка Пикассо. Среди картин и офортов гостила у нас и «Минотавромахия», программная работа художника. Сложная символика офорта передает фантасмагоричность мира, в котором господствуют тёмные, иррациональные силы. Противостоять им могут только юность и чистота, воплощённые в девочке с букетиком цветов и горящей свечой в руке, — девочке, в чью грудь направлена шпага чудовища. Вот такой девочкой и выглядела Анна Франк в спектакле. При этом она была и нежным цветком, распускающимся навстречу первой любви, и горящей свечой, источающей свет и во мраке их Убежища, и во мраке зла, в который погрузили мир нацисты. Режиссёр, говоря о трагической судьбе еврейской девочки-подростка, утверждал общечеловеческие ценности. По тем временам это уже было смелостью.

И вот я стою в Амстердаме перед Убежищем. Обычно перед этим трёхэтажным с островерхой мансардой домом толпятся люди. Чтобы попасть в Дом-музей, нужно отстоять длинную очередь. Оглядывая впереди стоящих, стараюсь угадать, уж не затесалась ли в очередь фрау Шнир. Как?! Вы с ней не знакомы? Это же мать главного героя романа Генриха Бёлля «Глазами клоуна»! Это она в феврале 1945-го послала шестнадцатилетнюю дочь сражаться с «жидовствующими янки». «Каждый должен выполнять свой долг!» — напутствовала она Генриетту, движимая заботой «о нашей священной немецкой земле».

На дворе — 1960 год, но Ганс Шнир, белая ворона в собственной семье, избравший профессию клоуна, помнит погибшую сестрёнку и не прощает матери её ханжеского лицемерия. Именно от него мы узнаём о том, как быстро и безболезненно «перестроилась» фрау Шнир применительно к обстоятельствам: «Теперь моя мать уже давно председательница Объединённого комитета по примирению расовых противоречий, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодёжи...»

Теперь вы понимаете, почему я опасалась встретить эту общественную деятельницу из Бонна на улице Амстердама перед домом Анны Франк. Мне повезло, в очереди её не оказалось. Поднимаясь по узким лестницам (чем

выше, тем уже и круче), наклоняясь на переходах, чтобы протиснуться в комнатки, почти физически ощущаешь стеснённость пространства, в котором вынуждены были ютиться добровольные узники Убежища. В этой тесноте выросла Анна. Тринадцатилетней девочкой начала она свой дневник, но очень скоро в нём станут заметны следы преждевременной зрелости. Анна сама объясняет эти метаморфозы: «мои невзгоды сделали меня старше; мне пришлось пережить такое, чего никто в моём возрасте не испытывал».

Прожив короткую жизнь (5 августа 44-го она была схвачена и вместе с остальными депортирована в концлагерь, умерла от тифа вслед за старшей сестрой в лагере Берген-Бельзен в марте 1945 года, не дожив до шестнадцатилетия), Анна сумела дорасти до мудрости, которую завещала людям: «Как бы не было велико горе, что-то прекрасное всегда остаётся, чем больше ты смотришь на эту красоту, тем больше видишь радостное начало, и в тебе самом возрождается гармония. А тот, кто счастлив сам, может сделать счастливым другого, у кого есть мужество и доверие к жизни, тот не пропадёт ни при каких бедах».

Анна Франк была одарённой девочкой, она мечтала стать журналисткой и писательницей. Начиная с мая 1944 года и вплоть до ареста она перерабатывала дневниковые записи в роман, который надеялась издать после войны под названием «Убежище». Из восьми узников *Убежища*, схваченных по доносу какого-то «бдительного гражданина», разлучённых и отправленных в различные концлагеря, выжил лишь отец Анны. Из Освенцима через Одессу и Марсель он добрался до Амстердама и там узнал о судьбе жены и дочерей. Голландская семья, прятавшая евреев, тоже пострадала. Полиция арестовала мужчин, но женщин не тронула. В день налёта немецких нацистов на Убежище и ареста прятавшихся там евреев две мужественные женщины — Мип Хис и Беп Фоскауль подобрали рассыпанные по полу листки дневника Анны и фотографии семьи и спрятали их в надёжном месте. В августе 45-го они вручили всё это Отто Франку.

В 1947 году отец опубликовал (с некоторыми купюрами) дневник дочери. «Дневник Анны Франк» тут же был переведён на 20 языков. Лишь в 1960 году усилиями Ильи Эренбурга он увидел свет в русском переводе. Книга произвела на меня ещё более сильное впечатление, чем спектакль.

«Всем известно, что гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, — писал Эренбург в предисловии. — Шесть миллионов были удушены в газовых камерах, расстреляны в ярах или на фортах, обречены на медленную смерть от голода. Они были отделены от мира стенами гетто, колючей проволокой концлагерей. Никто не знает, что они думали и чувствовали. За шесть миллионов говорит один голос — не мудреца, не поэта — обыкновенной девочки».

Детский голос Анны Франк прозвучал первым, но и сейчас, когда появилось немало свидетельств переживших Холокост, он не потерялся в скорбном хоре. Отто Франк завещал оригинал дневника Анны Государственному институту военных архивов в Амстердаме. Фонд Анны Франк в Базеле, куда переехал Отто и где он умер в 1980 году, предпринял новое пол-

ное издание дневника. И вот я держу в руках книгу «Убежище. Дневник в письмах» (М., 1994). Пользуясь этой встречей, хочу напомнить слова-размышления четырнадцатилетней Анны, ибо они обращены к каждому:

«Мы, евреи, не смеем поддаваться своим чувствам, должны быть мужественными и стойкими, должны брать на себя все неудобства и не роптать, должны делать всё, что можем, и полагаться на Господа. Кончится же когда-нибудь эта ужасная война, станем же мы когда-нибудь опять людьми, а не только евреями!

Кто возложил на нас эту ношу? Кто сделал нас, евреев, исключением среди всех народов? Кто всегда заставлял нас страдать? Это сделал Господь, но он же и вознесёт нас. И если мы терпим все эти напасти, то, если только все евреи не будут уничтожены, когда-нибудь из проклятых и отверженных они превратятся в образец для подражания. Кто знает, быть может, когда-нибудь именно наша вера научит добру всё человечество, все народы, и ради этого одного стоит пострадать».

Маленькая Анна сама пришла к девизу: «Через страдания — к радости!», которым руководствовались Бетховен, Ромен Роллан и многие, многие другие. Она прочла в нём судьбу еврейства. Не каждый из нас готов её принять, не все её достойны, но судьбы не избегнуть, остаётся одно — дорасти до судьбы.

ГЛАЗА КЛАРЫ ШЕР

Бывая в Бад-Киссингене (некогда это был знаменитый курорт и резиденция Бисмарка), всегда захожу в уцелевший дом еврейской общины. Здесь в 1959 году усилиями Йозефа Вайслера был создан маленький молитвенный зал. Многие недоумевали: зачем? для кого? Ведь евреев здесь не было с тех пор, как бургомистр города отрапортовал 29 мая 1942 года, что Бад-Киссинген *judenfrei* (свободен от евреев). Но времена меняются, и пять лет назад этот отремонтированный зал был торжественно открыт как синагога имени Вайслера. Прежняя большая синагога, разгромленная в ноябрьскую ночь 38-го, была взорвана нацистами. Это единственное разрушенное здание в городке: союзники его не бомбили.

В Еврейском доме внимание привлекает выставка «Евреи Бад-Киссингена», которую в 1988 году подготовили и организовали старшеклассники местной школы под руководством учителя-энтузиаста. Две недели она была открыта в здании Ратуши, вызвав большое волнение и неоднозначную реакцию местного населения. Затем её разместили в четырех комнатах Еврейского дома, и она стала маленьким музеем, открытым для посетителей.

Каждый раз, когда я появлялась там, меня встречали и провожали глаза Кларты Шер. Её фото висит в простенке коридора. Экспонатов на выставке много. Можно удивляться дотошности и усердию немецких школьников, по крупицам собравших этот материал. Евреи в Бад-Киссингене обосновались давно. В двух шагах от этого дома находится территория средневекового еврейского гетто (*Judenhof*). Здесь, за его воротами, жили

до 1813 года евреи, взятые под защиту местным властителем. Равные права с немцами евреи Баварии получили в 1871 году. В годы Веймарской республики они составляли 5% городского населения. Клара Шер была одной из пятисот евреев Бад-Киссингена.

Большая часть их занималась обслуживанием туристов и курортников. Были среди них и врачи, имевшие свою практику. На Ратушной площади до сих пор стоит дом Макса Киссингера, крупного торговца текстилем. (Из этой семьи вышел Генри Киссинджер, бывший государственный секретарь США.) Внимательно рассмотрев фотографии выставки, я потом легко узнавала эти еврейские дома, гуляя по улицам: вот галантерейный магазин Хайманса, вот банк Лёвентала, вот вилла Гляйснера, отель-пансион Йейдла, Дом моды Эрлиха, дом придворного ювелира Симона Розенталя... Клара Шер принадлежала к менее состоятельной прослойке. Её родители переехали в Германию из Вильно, где она родилась в 1894 году. Они поселились вначале в Вюрцбурге, а затем в Бад-Киссингене. Было это в 1903 году. Отец открыл своё дело. После смерти матери Клара вместе с отцом руководила предприятием.

С приходом нацистов к власти, после принятия антиеврейских Нюрнбергских законов в сентябре 35-го и следующих один за другим приказов об ограничении евреев в правах, после множества антиеврейских акций в этом курортном городке, 123 еврея эмигрировали, а 143 переехали в другие города Германии. Среди тех, кто эмигрировал, был местный кантор и учитель Людвиг Штайнберг со своим пятнадцатилетним сыном Хансом, который в 1988 году станет нобелевским лауреатом в области физики. Сейчас его имя носит местная гимназия, но в ней давно нет учеников-евреев.

Клара Шер не покинула город, но своё предприятие вынуждена была закрыть. Похоронив отца (на кладбище можно видеть и могилы семьи Киссингер, их памятники обновлены заботами родственников), она стала работать в еврейских домах. Но вот уже те, кто мог себе позволить иметь прислугу, покинули город. Ей было некуда и не на что уехать. Некоторое время, пристроившись к одному торговцу-еврею на рынке, она распродала свои вещи и этим жила. Но в 36-м ему было велено очистить место.

Арестована она была по ничтожному поводу. 14 мая 1940 года Клара установилась перед газетной витриной. Невероятно, но в газете было напечатано стихотворение Стефана Цвейга. Это её так поразило, что она стала его переписывать. Она не отреагировала на замечания прохожих, которые требовали, чтобы она убиралась отсюда. На основании их жалобы группенляйтер НСДРП при полиции города зафиксировал этот случай и потребовал «поставить на место эту Шер», чтобы она никому здесь впредь не мешала. В протоколе допроса её поступок вырос в преступление, после чего её препроводили в гестапо Вюрцбурга. Напрасно она оправдывалась, незнанием того факта, что ей нельзя останавливаться перед газетными витринами, и заверяла, что это никогда не повторится. 30 ноября 1940 г. она была отправлена в Равенсбрюк.

Если кому-то трудно поверить в реальность этого абсурда, советую ознакомиться с дневником Виктора Клемперера, немецкого филолога еврейского происхождения, который пережил чёрные годы нацизма и с риском

для жизни вёл дневник, записывая «только самое ужасное, фрагменты безумия, в которое мы все погружены». Свою книгу он назвал «Свидетельствовать до конца». И вот среди многих свидетельств — список издательских постановлений, которые, как удавка, затягивались на шее еврея. В этом списке — 31 пункт. Под пятым номером значится запрет выпивать или покупать газеты.

Так что Клара Шер была наказана «по заслугам».

Известно, что Клара Шер скончалась в концлагере 28.02.1942 года, согласно официальному диагнозу, от диабетической комы и сердечной недостаточности. Среди экспонатов выставки — письмо из гестапо Вюрцбурга в Страсбург: «Прошу сообщить Сарре Анне Бердичевской, проживающей в Страсбурге (адрес неизвестен), что она может получить урну с прахом сестры, уплатив соответствующий сбор». Оказывается, еврейским пеплом нацисты ещё и приторговывали.

Вскоре после гибели Клары — 25 апреля 1942 года — всех оставшихся в живых евреев Бад-Киссингена отправили в Вюрцбург, а оттуда по «крутому маршруту» в Избицу (Польша, близ Люблина). Никто из них не уцелел. Кое-кто из стариков, не дожидаясь депортации, покончил с собой. Среди них — otto Гольдштайн. Мы видим его на фото среди пяти исполненных самоуважения и достоинства членов «Имперского союза еврейских фронтовиков», одетых в парадную форму. А затем приводятся его предсмертные стихи «Моя последняя песня». Стихи бесхитроствы, каковой была и жизнь этого еврея, пошедшего добровольцем на Первую мировую войну, проливавшего кровь за родной *Vaterland*, верно служившего рейху и считавшего себя преданным немцем, а ныне потерявшего и честь свою, и свободу и превратившегося в «еврейскую свинью».

Глаза Клары Шер меня не отпускают, они смотрят с тревожной настойчивостью, словно следят за мной. Судьба этой незнакомой женщины, обыкновенной, каких было тысячи, отнюдь не героини, пересеклась с судьбами моих погибших родственников. Они смотрят на меня с фотографий семейного альбома: двадцатилетний студент красавец Илья Злотник, сложивший голову во время Керченской операции; подростки Мусенька и Греточка, сёстры-погодки 14-ти и 15-ти лет, расстрелянные в Ростове в Змеевской балке; исполненная тихого счастья молодая супружеская пара с трёхлетним сынишкой, которого они выпросили у Бога, не ведая, что скоро им всем суждено упасть мёртвыми или ещё живыми в глубокий ров на окраине их родного Бердянска; глаза моей бабушки Ривы, умершей от тифа в 1943 году в эвакуации. Кроме бабушки я никого не знаю, но я храню их фото: пусть живут в памяти. Пока кто-то помнит хотя бы их имена, они не ушли в небытие. Однако выражение их лиц не сравнить с той мукой, которая застыла в глазах Клары Шер. Они ведь ещё не знают своей страшной судьбы, а эта мученица истерзана многолетним смертельным страхом, голодом и ежечасным унижением. Снимок сделан в гестапо.



Покидала я выставку с тяжёлым сердцем. Согревало только одно: благодарное чувство к незнакомым немецким школьникам и их учителю. Я понимаю, что двигало ими. Они-то неповинны, на них нет еврейской крови, но им выпало на долю по вине отцов и дедов смотреть в глаза Клары Шер и отвечать на её немые скорбные вопросы. Многие сегодня норовят отвести взгляд, но эти мальчики заглянули в бездну человеческого страдания. Возможно, таких немецких школьников не так много, но они — совесть Германии.

Я уходила, а Клара Шер смотрела мне вслед. Обернувшись, я пообещала: «Я напишу о тебе, Клара!»

САГА О СПАСЕНИИ ЕВРЕЙСКИХ ДЕТЕЙ В АНГЛИИ

В скорбной истории Холокоста шесть миллионов страниц, и какую ни открой — везде боль и ужас. Но есть в этой истории одна глава, листовая которую, испытываешь противоречивые чувства. Как в знакомой нам песне, это — радость со слезами на глазах.

Не все знают, что в разгар нацистской антиеврейской вакханалии (конец 1938-го — первая половина 1939 года) состоялась беспрецедентная акция, результатом которой явилось спасение 10 000 еврейских детей из Германии, Австрии, Чехословакии. Убежище они нашли в Англии. Но обо всём по порядку.

После погромной «хрустальной ночи» с 9-го на 10 ноября 1938 года, когда эскалация насилия против евреев приняла всегерманский характер, несколько еврейских политических деятелей (среди них — Хаим Вейцман и главный раввин Йозеф Герц) обратились к премьер-министру Англии, требуя увеличить квоту для въезда евреев в Палестину, чтобы спасти хотя бы молодёжь. Поскольку против присутствия евреев категорически возражали арабы, кабинет министров Великобритании отклонил требование. Вместо этого было принято решение принять в самой Англии неограниченное число еврейских детей до шестнадцати лет при одном условии: их родители остаются на родине. Англия, едва оправившаяся от экономического кризиса, не могла допустить, чтобы на рынке труда беженцы конкурировали с её гражданами. За каждого въехавшего ребёнка нужно было внести 50 фунтов.

Стоит напомнить, что летом 1938 года во французском городке Эвиан по инициативе Рузвельта состоялась конференция по вопросу еврейских беженцев из Германии. Присутствовали представители 32 стран. Ни одна из них не захотела спасать евреев, и США тоже не увеличили квоту на въезд.

Сразу после заседания кабинета министров Англии жена голландского банкира Гертруда Вайсмюллер-Майер вылетела в Вену, где добилась приёма у Адольфа Эйхмана, руководившего еврейским отделом гестапо. Её настойчивость увенчалась успехом: выезд детям был разрешён. 1 декабря 1938 года, через две недели после заседания кабинета, первый транспорт, на котором было 200 еврейских детей, покинул Берлин.

Тем временем в Англии готовились к приёму детей. Сразу возникли небольшие инициативные группы, как еврейские, так и христианские, особую активность проявили квакеры. Эти группы объединились в «Движение по спасению еврейских детей». Были подготовлены общежития-приюты для приёма, но главный расчёт был на то, что беженцев примут в семьи. Премьер-министр лорд Болдуин обратился через газету «Таймс» к населению с просьбой помочь «Движению». За короткое время было собрано двести тысяч фунтов пожертвований. Радиостанция Би-Би-Си ввела ежедневные получасовые передачи, освещая положение евреев в Германии и рассказывая о прибывающих детях, об их проблемах и нуждах. Владельцы сети магазинов «Маркс и Спенсер» выступили с инициативой: обязались снабжать продуктами питания все приюты, где будут размещены дети из Германии. Дом Кристи провёл несколько аукционов в пользу беженцев.

Слух о возможности отправить детей в Англию передавался из уст в уста по еврейским общинам. Решившиеся на этот шаг подавали заявления в управление общинами. Большинство сознавало, что они расстаются с детьми навсегда, но мысль о том, что дети будут спасены, поддерживала их. Тем не менее, на вокзалах разыгрывались душераздирающие сцены. Матери не помня себя рвались в вагоны. Маленькие дети (некоторые буквально отдирали от родителей) отчаянно голосили. Утешить и успокоить их было нелегко, поскольку сопровождающих было немного, пришлось подросткам брать на себя заботу о самых маленьких. Ехали все налегке. Каждый мог взять лишь столько груза, сколько в состоянии был сам унести. В руках у малышей были их любимые игрушки, а за спиной — рюкзаки, куда родители сунули с вещичками и несколько фотографий. Для большинства эти снимки останутся единственной памятью о погибших родителях, старших братьях и сёстрах. На шею у каждого ребёнка висела бирка с номером и главными сведениями о нём.

Транспорты отправлялись из Берлина, Вены, Франкфурта, Мюнхена и Праги. В вагонах размещалось до пятисот детей. В Голландии их ждала пересадка на корабли, которые держали курс на Харвич, откуда детей доставляли в Лондон. Небольшая часть беженцев прибыла пароходами из Гамбурга в Саутгемтон. В Лондоне на Ливерпульской улице вдоль здания приюта стояли длинные деревянные скамейки, где детей поджидали те, кто намерен был их принять в семью. Были и такие, кто рассчитывал при этом задёшево получить прислугу.

Лишь немногие счастливицы попали в семьи загодя оповещённых друзей и знакомых их родителей. Это были евреи, покинувшие Германию в первые годы гитлеровского режима. Ведь своё лицо нацисты показали сразу: уже в марте 1933 был организован бойкот еврейских магазинов, в апреле появился закон об аризации государственных учреждений, откуда евреев сразу же уволили, затем посыпались запреты на профессии. Евреи исключались из студенческих обществ, а затем и из учебных заведений. С октября 1935 уже действовали Нюрнбергские законы, главный из которых — закон о защите немецкой крови. Штрайхеровский «Штюрмер» к этому времени выходил тиражом в 500 000 экземпляров. Одноимённое издатель-

ство штамповало антисемитские плакаты и книги. Появилась даже игра «Евреев — вон», её усиленно рекламировали. Игра простенькая: бросай кубик, какая цифра выпадет, столько шагов и делай, а по дороге предстоит охота на евреев, задача — кого из лавочки, кого из дома вышибить. На коробке надпись: «Шесть евреев отловил, ты — герой, ты победил!» Желающих ходить в победителях было немало: только в 1938 году распродали более миллиона экземпляров этой увлекательной игры.

К этому времени Германию покинула примерно половина проживавших в ней евреев. Остальные оказались в западне. Как сказал Вейцман, «мир теперь состоит из стран двух сортов: в одних евреям жить невозможно, в другие им запрещён въезд». Зная все эти обстоятельства, можно понять несчастных родителей, решившихся на разлуку. Что бы ни ждало детей на чужбине, они избегнут издевательств и смерти, которые были суждены всем, кто оставался. Выбора у них не было.

С началом Второй мировой войны возможность выезда исчезла, но в Англию успели вывезти десять тысяч детей. Огонь Холокоста поглотил полтора миллиона еврейских детей. На фоне этой цифры десять тысяч — малая толика, но ведь сказано в Талмуде: «Кто спасает единственную жизнь, спасает целый мир».

Долгое время к этой теме никто не прикасался. Спасённые дети и те, кто пережил Холокост, предпочитали не вспоминать, не говорить о прошлом, срабатывал инстинкт самосохранения. В психологии это называется «защитными реакциями».

Несколько лет назад немецкий филолог, германистка и славистка Аня Залевская отправилась в Англию и занялась поисками тех, кого когда-то вывезли туда из нацистской Германии. Сколько ей удалось разыскать, мы не знаем. В её книге представлены истории одиннадцати спасённых. Ныне все они — немолодые люди, кое-кто имеет внуков и правнуков. По прошествии шестидесяти лет они отважились заглянуть в страшное прошлое и рассказать о нём (считайте, заново пережить!). Залевская предоставляет им возможность высказаться, сама комментирует и дополняет. Звучат голоса одиннадцати из десяти тысячного хора. Она и в название книги вынесла слова одной из своих героинь, Евы Хейман. Стоило поезду пересечь границу и оказаться за пределами Третьего рейха, как эта четырнадцатилетняя берлинка, дочь еврея и немки, выкрикнула в окно: «*Der olle Hitler soll sterben!*» (Пусть сдохнет эта старая сволочь Гитлер!).

«Как я только представлю себе, что я свою единственную четырнадцатилетнюю дочь из-за опасностей войны должна была бы отправить на чужбину, я готова сойти с ума. И, тем не менее, я безгранично благодарна своим родителям, которые оказались в состоянии принести эту жертву. А это была, несомненно, жертва», — говорит семидесятипятилетняя Ева.

Марго Фельхаймер, родившаяся в 1922 году в Мюнхене в состоятельной семье либеральных евреев, вспоминает, что её отца, в прошлом участника Первой мировой войны, брошенного нацистами в концлагерь Дахау, неожиданно выпустили накануне рождества 1938 года. Несколько недель, проведённых в лагере, сделали ещё недавно уважаемого коммерсанта не-

узнаваемым, он вернулся седым стариком. Когда вечером собралась вся семья, отец спросил: «А что если я сейчас открою газ?» «Он не видел иного выхода для нас, кроме самоубийства, — продолжила Марго. — По лицу матери я поняла, что они уже обсудили этот вопрос и договорились. Только мы, дети (у Марго была младшая сестрёнка), ещё об этом не знали». Марго, единственной из семьи, удалось уцелеть. Родители и маленькая Лора-Луиза были депортированы в Ригу в конце 1941 года и расстреляны в лесу на краю противотанкового рва, который стал общей могилой.

«Я жила как принцесса, а потом пришёл Гитлер и сломал нашу жизнь», — говорит Лора Гумпель, дочь преуспевающего директора рекламного отдела известной и поныне существующей фирмы EDEKA. Карл Гумпель, один из двенадцати детей дортмундского кантора, не унаследовал отцовской религиозности. Четыре года он провёл в окопах Первой мировой, приехал в Берлин, где молодому солдату улыбнулась удача. Через несколько лет он женился на сестре фронтового друга, синеглазой брюнетке, которая была почти на 20 лет моложе. Карл Гумпель занимался спортом, увлекался джиу-джитсу, он был счастлив в браке, обожал красавицу-жену, она родила ему трёх девочек. Жила семья на широкую ногу. Отец Лоры был патриотом и убеждённым социал-демократом.

Когда Гитлер стал рейхсканцлером, Лоре было 10 лет. Ситуация в школе быстро изменилась. Вчерашние подружки стали сторониться её как зачумлённой. Еврейские дети оказались выключены из коллектива: они не могли участвовать в спортивных соревнованиях, их не брали в летние лагеря, в поездки. Летом 1933 года отца уволили, и он перевёз семью в Прагу. Налог на выезд евреев из рейха съел значительную часть сбережений. Чиновник, пообещавший визы в Южную Америку, взял деньги и обманул. Ту-чи сгушались: в марте 1939-го солдаты вермахта маршировали по улицам Праги. Друзья предупредили Гумпеля о готовящемся аресте, и он скрылся за два дня до прихода гестапо. Матери пригрозили, что в случае его неявки их всех возьмут заложниками. От отца не было никаких вестей, они знали лишь, что он двинулся в сторону Польши.

В июне 1939 три сестры — Лора, Лило и Роми покинули Прагу. Провожая детский транспорт, Грете Гумпель постаралась успокоить девочек, она обещала вскоре приехать к ним в Англию, и младшая спокойно простилась с ней и уселась у окошка с чемоданчиком на коленях, в то время как другие дети плакали и кричали. Но Лора, когда поезд тронулся и фигурка матери исчезла в толпе, почувствовала укол в сердце: она поняла, что больше никогда её не увидит. В Лондоне сестёр ждал сюрприз: на вокзале их встречал отец! Находясь в Кракове, он узнал, что его Грете отправляет детей в Англию. Ему удалось добраться туда живым-невредимым, но абсолютно без средств. Он жил в общежитии для чешских эмигрантов и не мог взять дочерей к себе. Но как он был счастлив их видеть!

Их приёмной матерью стала мисс Хардер, бездетная незамужняя англичанка, стеснённая в средствах. Ей было за пятьдесят, все семь дней в неделю она работала в магазинчике сладостей и табачных изделий с половины седьмого утра до половины десятого вечера. Жила она в двухкомнатной

квартирке без особых удобств, стены в комнатах были покрыты плесенью, питалась скудно. Она охотно помогала «Движению», но не думала становиться приёмной матерью. Однако случай был особый: никто не захотел брать сразу троих девочек Гумпель, а они умоляли не разлучать их. Ей было нелегко с тремя несчастливыми девочками, не говорившими по-английски. Она объяснялась с ними жестами, заглядывала в словарь, проявляла невероятное терпение и искреннюю заботу.

Лило и Роми стали посещать английскую школу, а Лора помогала мисс Хардер в магазине. Но уже в ноябре мисс Хардер слегла, в больнице диагностировали запущенный туберкулёз, и зимой её не стало. Девочек разлучили, обе младшие сестры были взяты в семьи в качестве прислуги. Лора вначале заменила мисс Хардер, а затем тоже устроилась домработницей.

Грете Гумпель удавалось переписываться с дочками и мужем, супруги жили надеждой на встречу. Последнее письмо из Праги пришло осенью 1941-го. Отец был раздавлен неизвестностью, он загрызал себя за то, что не в силах помочь жене. Он умер в 1946-м, не узнав горькой правды: его Гретьель была депортирована в Лодзь и погибла в гетто, когда и как — неизвестно. Спустя годы Лора увидела по английскому телевидению фильм о женщине, пережившей ужасы этого гетто. Она написала ей, спрашивая, не знает ли она что-либо о её матери. Ответ пришел неутешительный. Нет, женщина не знала Грете Гумпель. Она заклинала не спрашивать ни о чём — ни о гетто, ни о матери: «Никогда не спрашивайте!»

Лило и Роми после войны уехали в США, где одна стала профессором немецкой литературы, другая — учительницей. Лора вышла замуж за немецкого еврея, родители которого были уничтожены в Аушвице. Она — мать двух сыновей, медик по профессии.

«Я меня нет ненависти к Германии. Я никогда не была националисткой — ни в Германии, ни здесь. Я очень благодарна Англии. Однако мне ясно, что я нигде ни к месту. Я не англичанка, я с континента. Но где на этом континенте быть моей родине?» Кто возьмётся ответить на этот горький вопрос?

«Когда-то я была настоящим баварским ребёнком», — вспоминает своё беспечальное детство Беата Зигель, дочь преуспевающего адвоката, бюро которого находилось в самом центре Мюнхена, рядом с ратушей. После прихода Гитлера к власти родители старались скрыть от неё правду о новом режиме. Она понятия не имела о том, что по соседству создан концентрационный лагерь Дахау, где уже томятся евреи. Не знала она и о том, что приключилось с её отцом 10 марта 1933 года, когда он отправился в полицию, чтобы заявить протест против ареста и помещения в концлагерь его клиента, владельца крупного магазина. Штурмовики избили его так, что у него лопнули барабанные перепонки, выбили несколько зубов. Они обрезали ему брюки, заставили разуться и написать плакат: «Я — еврей, но не хочу жаловаться на нацистов». С этим плакатом на шее, босиком, он прошёл под их свист и улюлюканье по улицам к вокзалу, затем это действие штурмовикам наскучило, и они сказали: «Убирайся!» Американец, наблюдавший это издевательство, сфотографировал его, и

когда адвокат Зигель был отпущен мучителями, незнакомец подошёл к нему и спросил разрешения опубликовать фото. Спустя неделю снимок обошёл весь мир, но дочь его в ту пору не увидела. Правда открылась ей только после «хрустальной ночи».

Родители сумели отправить в Англию Беату и её брата Петера в июне 1939 года. Дети воспринимали поначалу свой отъезд как интересное приключение. Понимание трагедии пришло позже. С началом войны лондонскую школу, куда их поместили, решено было эвакуировать в сельскую местность Шропшира, подальше от бомбёжек. Беате и её брату повезло: их родителям удалось выбраться из Германии. В ноябре 1940 года им пришла телеграмма из Сибири: родители сообщали, что они кружным путём направляются в Перу, им посчастливилось получить визу. Встретились они через три года после войны. Мать прибыла в Ливерпуль, когда Беата, студентка университета, сама готовилась стать матерью. Десять лет разлуки сделали их едва ли не чужими, оборвались какие-то невидимые нити, которые прежде соединяли их. Каждая переживала это мучительно.

Беата и её брат более 60 лет живут в Лондоне. Её крохотная квартирка у аэропорта «Хитроу» набита английскими и немецкими книгами. В Лондоне она чувствует себя дома, но от любви к Мюнхену не излечилась. «Я люблю Мюнхен: запах пива и белых колбасок, жареных каштанов — все привычные запахи рыночной площади, они будто живут в моём желудке. Когда я сегодня в Лондоне слышу, как кто-то говорит по-баварски, я готова мчаться за ним хоть на другой конец города. Язык необычайно действует на меня, внутренне волнует». Всё-таки она была мюнхенской девчонкой.

Беата — мать троих сыновей. Её средний сын, увидев в учебнике истории фото, на котором был изображён его дедушка в момент поругания, долго не мог успокоиться и при встрече в Лиме спросил деда, о чём он думал в тот момент, когда над ним издевались нацисты. «У меня была лишь одна мысль: я вас всех ещё переживу!» Слово своё он сдержал, умер в возрасте 96 лет в Лиме в 1979 году.

Близнецы Симон и Бетти Райсс, появившиеся на свет в новогоднюю ночь 1923 года в Берлине, в отличие от Беаты, больше своих родителей не увидели. Симон, вступивший с английскими войсками в 1945 году в Любек, узнал, что его отец, Пауль Райсс, участник Первой мировой войны, депортированный нацистами в начале 1938 года в Польшу, откуда он был родом, был расстрелян в Варшавском гетто в самом начале поднятого узниками восстания, а мать погибла в Аушвице—Биркенау, т.е. в одном из отделений Освенцима. 130 членов их семьи исчезли в огне Холокоста. Лишь дедушка и бабушка, перебравшиеся в Палестину в 1936 году (дед Маркус Райсс был раввином), умерли своей смертью. Бабушка скончалась в Тель-Авиве через пять лет после войны в возрасте 98 лет, она совсем ослепла, никто не решился ей сообщить о смерти её детей и близких, она продолжала диктовать им письма, сетовала на то, что они её забыли, но и на смертном одре призывала сыновей.

Симон признался, что в течение многих лет он не мог заставить себя произнести хоть одно слово по-немецки, а ведь это был его родной язык!

Он как бы отгородился стеной от прошлого. Но, оказавшись по делам в середине 1950-х годов в Польше, он вдруг принял решение посетить Берлин. Остановившись в гостинице на Курфюрстендамм, он помчался по улицам своего детства. Родительский дом стоял на прежнем месте, будто ничего не произошло. Взглянув на него, Симон бежал прочь и после бессонной ночи на рассвете покинул Берлин, чтобы больше никогда туда не возвращаться.

Завершая свою исповедь, он признался, что с течением лет стал религиозным, и еврейство для него важнее национальной идентичности: «Я никогда не осуждал Бога. И у меня опять появилось доверие к молодому поколению немцев. Недоверие роняет человека. Кто живёт ненавистью и мыслями о мщении, будет уничтожен этими чувствами».

Мне близка позиция Симона, его признанием я и закончу этот рассказ.

ВОКРУГ ВАННЗЕЕ

Озеро Ваннзее находится между Берлином и Потсдамом, как раз на полпути. Их там много — настоящий озёрный край, но Ваннзее — самое большое. Впервые я услышала о нём полвека назад. Профессор Мария Евгеньевна Елизарова читала нам лекции о немецких романтиках. Меня поразила история Генриха Клейста, великого драматического поэта, который в возрасте Христа покончил с собой. С романтиками такое случалось. Но уж очень необычен был его способ ухода. Договорившись с недавней знакомой, неизлечимо больной женщиной, желавшей расстаться с жизнью, о совместном самоубийстве, Клейст нанял экипаж, который привёз их к берегам Ваннзее. Здесь он застрелил свою спутницу, а затем себя. Тут их и похоронили.

Эта печальная история не повредила репутации Ваннзее. На рубеже XIX–XX веков оно стало излюбленным местом отдыха берлинской творческой элиты и весьма состоятельных граждан из финансово-промышленных кругов. Вокруг озера под сенью стройных сосен и вековых деревьев выросли прекрасные особняки и виллы, некоторые могли потягаться с дворцами.

Уже будучи в Германии, вновь наткнулась я на это подзабытое название — Ваннзее. Оказалось, что именно здесь и проходило закрытое совещание нацистской верхушки по поводу окончательного решения «еврейского вопроса». Стало известно и время, когда это происходило, — январь 1942-го. Довольно долго документы этого секретного совещания не могли обнаружить. А ведь для историка главное доказательство — документ. К примеру, документы о замышляемой Сталиным депортации советских евреев в места весьма отдалённые так и не найдены. А коли так, рассуждают некоторые постсоветские историки, то и нечего возводить напраслину на Вождя и Учителя. Отсутствие документов о планировании Холокоста очень воодушевляло тех «исследователей», кто утверждал в последние десятилетия, что и Холокоста-то никакого не было, его придумали евреи.

Далеко не все в Германии сегодня знают, что документы этого секретного совещания в Ваннзее всё же были найдены. Осенью 2004-го мне довелось побывать в музее, который несколько лет назад открылся на той самой

вилле, где принималось это чудовищное преступное решение. После раздела Германии в 1945 году Ваннзее оказалось в советской зоне, а затем — на территории ГДР. Вначале в вилле, построенной на берегу озера в 1914–15 гг. архитектором Паулем Баумгартеном, разместилось какое-то ведомство, затем — школа. А теперь там музей.

От станции я направилась к нему пешком, чтобы психологически подготовиться к визиту. Огибая озеро, вначале наткнулась на виллу известного художника Макса Либермана, выстроенную тоже Баумгартеном, которая была, конечно, «аризирована» нацистами (ныне в ней — музей художника). А в двухстах метрах от неё — двухэтажный особняк за кованой оградой.

Так и видишь, как подъезжали сюда нацистские бонзы в чёрных лимузинах, как вскидывались руки офицеров охраны в приветствии, как входили прибывшие в холл, освещённый хрустальными светильниками, бесшумно ступая по мягким коврам, подходили к двери, ведущей в овальный зал, заканчивающийся полукруглым эркером, и скрывались за нею. Собиралась «арийская элита», вершители судеб.

Со стены зала смотрят фотопортреты всех шестнадцати участников совещания, лица их не отмечены печатью интеллекта, хотя девять из них имеют учёную степень. Тщетно ишу в них злодейские черты: заурядные чиновничьи физиономии. Даже нордический характер не просматривается. Прав был старина Теккерей, говоря о том, как просто было в старые времена узнать людоеда: во многих сказках имелось его описание. Теперь же людоеды ходят среди нас, и их не отличить, мы пожимаем им руки, не подозревая, кто перед нами. Вот я и стою перед стендом с портретами людоедов — почитай, перед иконостасом сатаны, а вдоль стен сидят немецкие старшекласники, их привезли сюда на экскурсию. Посещение музея входит в программу школьного воспитания в современной Германии. В молчании слушают они молодого экскурсовода.

Несколькими годами ранее побывала я на «Вилле Хюгель», во дворце (иначе не назовёшь) Альфрида Круппа, построенном его дедом в 70-х годах XIX века близ Эссена... Сейчас здесь и музей, и концертный зал, одним словом — настоящий культурный центр Рурской области. Мне было известно, хоть в проспекте об этом — ни слова, что виллу Круппа неоднократно посещал Гитлер, здесь обсуждались судьбы Германии и Европы, а ещё раньше здесь же, в гобеленовом зале, Гитлер был благословлён крупнейшими промышленниками «на царство». Но в стенах виллы Круппа меня не переполняли те чувства, которые охватили в овальном зале Ваннзее. Я на какое-то мгновение просто оглохла, не слышала речи экскурсовода, меня распирало желание закричать: «Смотрите на меня! Эти негодяи приговорили всех евреев к смерти, чтобы «очистить» немецкое жизненное пространство», а я стою перед вами! Я — жива!» Но я ограничилась тем, что демонстративно повернула к сидящим экскурсантам свой блокнот, на обложке которого — бело-голубой флаг Израиля и звезда Давида: пусть смотрят!

Возможно, подросткам известно, что с 15 сентября 1935 года в Германии действовал Закон об имперском гражданстве. Они ведь изучают родную историю. Первый параграф этого Закона гласил: «Гражданином госу-

дарства может быть только тот, в чьих жилах течёт немецкая кровь. Поэтому евреи не могут принадлежать к немецкому народу». Одновременно был издан «Закон об охране немецкой крови и немецкой чести», первый параграф которого запрещал браки между евреями и германскими подданными немецкой и немецкородственной крови. В § 5 значилось: «Нарушающий запрет, изложенный в § 1, наказывается каторгой». Быть может, сидящих в зале школьников все эти параграфы нисколько не волнуют, хотя кто поручится, что их бабушки и дедушки могли без всякого труда заполнить анкеты, доказывающее их стопроцентное арийство. У желающих вступить в брак в годы нацизма подробно исследовались предки начиная с 1800 года. Что касается меня, то я была полукровкой (*Mischling*), моего отца ждала каторга, а мне было уготовано место в лагере уничтожения по списку № 2. В список № 1 были занесены «полные» евреи.

Вместо овального стола, за которым заседали преступники, ныне в центре зала помещены стеклянные витрины, в которых демонстрируются копии документов, случайно обнаруженных в архиве министерства иностранных дел. Это письмо-приглашение к участию в совещании 20.01.42 г., на имя министерского госсекретаря Мартина Лютера (такое вот знаменательное совпадение!), оно начинается с обращения: *Lieber Parteigenosse Luther!* На первой странице — гриф шефа службы безопасности и пометка — «Лично». А далее следует 15 страниц проекта людоедского постановления, обрекающего на смерть всех европейских евреев (свыше 11 миллионов).

В зале три высоких окна, и в простенке — большой планшет, на котором план «окончательного решения» (его полное название — «план уничтожения европейских евреев») представлен в виде диаграммы с цифрами. Данные подготовлены А.Эйхманом. С немецкой педантичностью перечислен «объём работ». Приведу часть этого перечня, в котором 35 позиций:

Рейх — 131 800
Генеральное губернаторство — 2 284 000
Украина — 3 000 000
Белосток — 400 0000
Протекторат Чехия и Моравия — 74 000
Эстония — свободна от евреев
Латвия — 3500
Литва — 34 000
Франция — 700 000 (неоккупированная территория)
165 000 (оккупированная территория)
Англия — 330 000
Албания — 200
Швейцария — 18 000
Венгрия — 742 800
Румыния с Бессарабией — 342 000
СССР — 5 000 000

Масштабные акции требовали соответствующей подготовки. Она уже велась, и с размахом. Лагерный комплекс Освенцим начал создаваться в апреле 1940 года на месте бывшей польской армейской базы. Его строили 300 местных евреев, они будут уничтожены в числе первых: этого требовала

строжайшая секретность, которая окружала строительство лагеря смерти. Лагерь был рассчитан на 10 000 узников, но эти масштабы явно не соответствовали замыслам Гитлера. В начале 1941 года, в преддверии войны с Советской Россией, начинается строительство Освенцима II/Биркенау, Освенцима III/Моновиц и их многочисленных филиалов. Этот всеобъемлющий проект потребовал использовать последние достижения техники, чтобы заменить дорогое оборудование для старомодного массового отравления выхлопными газами; разрабатывалась более дешёвая и эффективная техника массового убийства здоровых людей. Немецкие учёные, изобретатели, химики, архитекторы, работники промышленности — все работали не за страх, а за совесть.

Осенью 1941 года комендант лагеря Рудольф Гесс получил приказ Гиммлера: «Всех без исключения евреев, находящихся в пределах нашей досягаемости, надо уничтожить сейчас, во время войны. Вам предстоит выполнить эту задачу. Это трудная работа, требующая полного самопожертвования. Все подробности вы узнаете от оберштурмбанфюрера Эйхмана».

Эйхман остался доволен тем, что увидел при осмотре лагеря: помещения для умертвления газом одновременно до 800 человек каждое были готовы. Он обсудил с Гессом вопрос о качестве быстродействующего газа. Незадолго до приезда Эйхмана прошло «удачное испытание» газа «Циклон Б»: первыми его жертвами стали 600 советских военнопленных и 250 других узников. Газ был последним достижением концерна «ИГ Фарбениндустри», дочерние предприятия которого расположились в Моновице, сбоев в их работе не наблюдалось. Можно было рапортовать в Берлин: гигантское «производство смерти» налажено и запущено! На совещании Эйхман подтвердил колоссальные возможности комбината смерти.

В январе 1942 года, после совещания в Ваннзее, машина массового уничтожения заработала на полную мощность. А мощность была такова: четыре крематория с газовыми камерами позволяли за пять часов умертвлять до 12 тысяч человек.

Рудольфа Гесса на совещание в Ваннзее не приглашали: не тот уровень. Молодому капитану уготовили роль исполнителя. Он оправдал надежды и доказал полную преданность делу партии. Из показаний бывшего коменданта Освенцима Рудольфа Гесса на Нюрнбергском процессе: «Мне 46 лет. Я постоянно работал в концентрационных лагерях: с 1934-го до 1938 г. — в Дахау, с 1938-го по 1940 г. — в Заксенхаузене, затем — в Освенциме. Здесь в газовых камерах было умерщвлено около полутора миллионов человек и около полумиллиона погибло от истощения и болезней. Это составляет 70–80% всех узников Освенцима, остальные 20–30% отбирались для работы на предприятиях лагеря. Среди уничтоженных было 100 тысяч немецких евреев и огромное число мирных жителей, почти исключительно евреев, из Голландии, Франции, Бельгии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Греции и других стран. Только одних венгерских евреев мы уничтожили около 400 тысяч летом 1944 года...»

В музее в нескольких залах представлены фотодокументы, воспроизводящие кошмар, о котором столь буднично поведал суду комендант Освенцима. Здесь кое-что можно узнать и о лагерях, которые не сохранились.

О Треблинке, к примеру. Наш писатель Василий Гроссман был в числе тех, кто освобождал Треблинку. Его очерк «Треблинский ад», напечатанный в конце 1944 года в «Знамени», — первое в мире детальное описание лагеря уничтожения. А поскольку порядок (*Ordnung*) был везде одинаков, предоставим слово автору: «Весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно всё, чем пользовался он от века по святому закону жизни. Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безымянный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких. Затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребёнка. Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костёр: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком — у него отняты небо, звёзды, ветер, солнце».

Этот очерк можно прочесть в знаменитой «Чёрной книге», подготовленной к печати Гроссманом и Эренбургом. В 1948 году её набор был в СССР уничтожен, и лишь в 1980 году она вышла в свет в Иерусалиме, а через 10 лет — на родине составителей, в СССР. В музее можно увидеть фотоиллюстрации к «Треблинскому аду». Созерцание их надолго лишит вас душевного покоя. Может быть, потому немецкие подростки, оказавшись в этих залах, опускают, отводят глаза и спешат поскорее выбраться на воздух, будто их преследуют запахи газа и тления.

Ваннее славится чистым воздухом: вода и сосны. Здесь дышится легко. И только на печально знаменитой вилле воздуха по сей день не хватает.

НЕ ВСЕ БЫЛИ УБИЙЦАМИ¹

Под таким названием в Германии недавно вышла и широко обсуждалась книга Михаэля Дегена. Автор — личность в Германии достаточно известная: он и режиссёр, работавший с Ингмаром Бергманом, Петером Цадеком, Жоржем Тобори, и актёр, снимавшийся в большом кино и в телесериалах. Широкой публике он запомнился как участник популярных телепередач и в ролях героев фильмов «Бомбы», «Тайное дело рейха», где он сыграл Адольфа Гитлера.

У книги «Не все были убийцами» есть подзаголовок — «Детство в Берлине» (*Michael Degen. Nicht alle waren Mörder. Eine Kindheit in Berlin.* 2001). Детство Михаэля Дегена, родившегося в 1932 году в семье евреев из Хемница, пришлось на лихие времена. Времена миновали, остались воспоминания. Книга Дегена — ещё одно свидетельство о Холокосте, хотя в ней отсутствуют бараки, переключки на лагерном плацу, газовни и печи. В концентрационный лагерь Заксенхаузен из всей семьи попал осенью 1939 года лишь отец Михаэля, владелец магазина шерсти и трикотажа, маленький шуплый человечек, отчаянный юморист и весельчак, с сумасшедшиной, свойственной многим еврейским чудакам. После зверских избиений уже в феврале 1940-го его отправят прямоком на кладбище.

¹ Напечатано в журнале: *Лехаим*, Москва, 2004. № 3.

Его красавица-жена, женщина отважная и решительная, оставшись с двумя сыновьями, находит силы бороться за жизнь. Ей удаётся весной 1940-го отправить старшего в Швецию, откуда он попадёт в Палестину. С ней в Берлине остаётся Михаэль. Вдвоём они перебиваются, как могут, оба работают, даже десятилетний Михаэль после закрытия еврейских школ моет больных, таскает парашаи и покойников в туберкулёзном отделении еврейской больницы. В книге подробно рассказано о том, как выживали Михаэль с матерью в течение двух лет, начиная с 43-го. Почему выбраны эти годы? Потому что в 1943 году состоялась последняя большая акция гестапо. Евреи Берлина в течение суток были схвачены и этапированы на Восток, где к их приёму уже всё было готово.

Михаэлю и его матери удалось избежать ареста, но они в одночасье лишились крова и имущества. Два года жизни на лезвии ножа. Ежечасный риск быть выданными, схваченными, депортированными в Аушвиц или убитыми во время непрерывных налётов союзнической авиации. В книге переданы ощущения и чувства быстро взрослеющего ребёнка. Читателю предложена необычная, особая точка зрения. Возможно, диапазон обзора у мальчика, который ограничен в передвижении, в общении, к тому же глядит на мир украдкой, чаще из убежища, из «подполья», не столь широк, но зато это непосредственный и честный взгляд. Этой книге безусловно веришь.

Как же удалось выжить еврейке Анне Деген и её сыну в эту страшную пору под носом у нацистов, у гестапо? Согласитесь, что это — чудо. Да, не раз их выручали находчивость и самообладание, часто на помощь приходил случай или удача, называйте, как хотите. И всё же чудо сотворили реальные люди, простые немцы, подчас совершенно чужие, незнакомые, помогавшие матери с сыном, рискуя собой. Все они знали или догадывались, кому они помогают. Да, не все немцы были убийцами.

Сейчас это важно знать не только евреям, но и самим немцам. Книгу эту нам рекомендовала прочесть Марианна Швенк, преподаватель курсов немецкого языка. Она принадлежит к поколению 68-го года. Именно это поколение потребовало к ответу «отцов»: политиков, находившихся в Германии в ту пору у власти и более двух десятилетий скрывавших правду о фашистском режиме и его злодеяниях. Дети хотели знать правду о прошлом «предков», и они её узнали. Вынести открывшееся было очень нелегко, но если часть их соотечественников пришла к покаянию, в этом заслуга немецкой молодёжи поколения 68-го года.

С тех пор тема Холокоста не сходит с повестки дня. Кое-кто из немцев уже ропщет: надоело. Но официальный антифашистский курс руководства страны не меняется. Сегодня, размышляя над книгой Дегена, вспоминаю своё удивление, смешанное с удовлетворением, когда по приезду в Кёльн узнала о том, что всех школьников старших классов земли Северный Рейн—Вестфалия обязывают посмотреть фильм Спилберга «Список Шиндлера». Знакомство с ним мыслится как своего рода «прививка» против антисемитизма или неофашизма. Нашу Марианну никто не уполномочил принести книгу в группу, она сама поняла, что знакомство с ней будет полезно евреям, эмигрировавшим в Германию. Всё же легче жить здесь, зная,

что не все немцы были убийцами. Думаю, что и самой Марианне, и ей подобным очень важно верить в это, иначе — как жить с чувством неизбежной вины? Потому и не иссякает в Германии поток исследований на эту страшную, трагическую тему — Холокост.

24 сентября 2003 года по каналу WDR (*Westdeutscher Rundfunk*), был показан документальный фильм «Властелин трёх колец — Бертольд Байц» (режиссёр — Бёме). Его главный герой — девяностолетний профессор, доктор наук, в недавнем прошлом руководитель филиала концерна Круппа в Эссене. В этом городе он сейчас и проживает со своей женой Эльзой. Байц — учредитель и руководитель Фонда Альфрида Круппа фон Болен и Хальбаха, последнего владельца фирмы, умершего в 1967 году. Байц был его ближайшим советчиком и доверенным лицом. Фильм снят не случайно: Бертольд Байц — не просто юбиляр, он — Праведник мира. В музее Яд-Вашем в Иерусалиме документы, удостоверяющие его помощь евреям в годы Холокоста, хранятся в «Деле № 299».

Под впечатлением от фильма отправляюсь в библиотеку и нахожу две книги, посвящённые Байцу. Бернд Шмальхаузен свою книгу «Бертольд Байц в Третьем рейхе. Человек в бесчеловечное время» выпустил в 1991 году (*Bernd Schmalhausen. Bertold Beitz im Dritten Reich. Mensch in unmenschlicher Zeit*), а шестисотстраничное исследование Томаса Зандкюлера «“Окончательное решение” в Галиции. Убийство евреев в Восточной Польше и действия Бертольда Байца по их спасению (1941–1944)» (*Thomas Sandkühler. «Endlösung» in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Berthold Beitz. 1941–1944*) появилось в 1996 году. Написаны они на основе кропотливого изучения многочисленных печатных и архивных источников, досье Байца в музее Яд-Вашем, а также бесед со свидетелями, оставшимися в живых благодаря Байцу (эти свидетельства особенно ценны). Книжки помогли восстановить события шестидесятилетней давности.

Галиция — южная часть Западной Украины — перед войной принадлежала Польше, здесь проживало более полумиллиона евреев, и число их росло по мере того, как нацисты усиливали преследования евреев в Третьем рейхе. По пакту Молотова — Риббентропа часть территории, в том числе и нефтеносный район Борислава и Дрогобыча, отошла к Советскому Союзу. Но уже через неделю после нападения на СССР немцы овладели всей Галицией. Нефтяные промыслы имели огромное значение для вермахта. Организованная немцами фирма «Карпатен-Ойл» должна была обеспечить бесперебойную добычу нефти и газа в этом районе.

Руководителем фирмы был назначен молодой инженер Бертольд Байц. Он родился в 1913 году, накануне Первой мировой войны, в которой его отец участвовал как унтер-офицер уланского полка. В мирной жизни отец был банковским служащим, и сын по окончании школы тоже выбрал банковское дело. Он был обыкновенным юношей, любил спорт и отличался от многих своих сверстников лишь тем, что не стал вступать в национал-социалистическую партию. В апреле 1939 года Байц получил хорошее место в Гамбурге в уважаемой нефтяной фирме и не имел представления, что

в июле 1941-го по поручению министерства экономики ему доведётся возглавить фирму в Бориславе. Тем более он не представлял, с какими ужасами он там столкнётся.

По мнению немецких исследователей, нигде уничтожение евреев не было таким жестоким, как в Галиции. За короткое время были расстреляны, погибли от голода, холода и непосильного труда, отправлены в лагеря уничтожения почти все пятьсот тысяч галицийских евреев. Оказавшись свидетелем злодеяний, в которых принимало участие и украинское население, Байц был потрясён: «Одно дело читать о массовом уничтожении евреев, другое — видеть, как на твоих глазах расстреливают женщину с ребёнком на руках». Ему пришлось увидеть много такого, от чего леденела кровь. Обхватив голову руками, он вечерами говорил, что его жжёт стыд за соотечественников, и предсказывал, что немецкий народ ещё за это заплатит.

И Байц начинает помогать евреям. Уже в 1942 году евреи Борислава — те, кто находился в гетто, и те, кого использовали на принудительных работах, называли двадцативосьмилетнего директора «отцом евреев». Начнём с того, что вопреки распоряжению об увольнении всех рабочих и служащих-евреев, которое появилось в июле 1941-го, Байц добился у коменданта города разрешения на работу евреев в фирме. Предложение использовать украинцев Байц отклонил. Мотивировка была «железной»: «Без евреев мы никакой нефти не добудем». Евреи работали и на нефтяных промыслах, и в различных службах. В одной конторе фирмы трудилось около 150 евреев, они являлись на работу под конвоем полицейских. Байц давал евреям работу, чтобы спасти их от депортации и смерти. С этой целью был оборудован «Белый дом», в котором еврейские служащие фирмы жили вместе с семьями. Когда являлись с проверкой из «органов», Байц объяснял, что в доме живут незаменимые специалисты. В действительности же многие из проживавших там даже не имели технического образования и занимались подсобными работами. Даже его секретарша Хильда Бергер была еврейкой по материнской линии.

Байц заботился о том, чтобы его еврейские подопечные получали дополнительные продукты. С помощью польского пекаря Морски (после войны он станет директором хлебозавода в Штеттине) он создал булочную, которая тайно снабжала хлебом евреев, проживавших в рабочем лагере Мрашница. Не забывал он и поляков Борислава и Дрогобыча, которые от немцев немало натерпелись. В 1947 году Ян Яворски вспомнит, как Байц бесплатно снабжал хлебом дрогобычский сиротский приют. Закончил поляк своё благодарственное письмо поговоркой: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся».

И в самом деле, после войны выжившие евреи Борислава начали искать Байца, чтобы выразить ему благодарность. С помощью своей бывшей секретарши Байц смог устроиться на работу в страховое общество в британской зоне оккупации. В 1948 году он стал директором страховой фирмы.

Те, кто не смог лично встретиться с ним, стали посылать свои показания в открывшийся в Израиле в 1953 году музей *Яд-Вашем*. Кристина Острайхер, проживающая в Рамат-Гане, написала: «Моего мужа (глазного вра-

ча) Байц всегда своевременно предупреждал о готовящихся акциях. Он рисковал, поскольку эту информацию получал из гестапо. Он часто давал мужу пакеты с продуктами, зная о том, что наша семья скрывается в убежище. Конторским служащим он разрешал ночевать в конторе, если узнавал, что ночью в гетто эсэсовцы готовят акцию.

Другие свидетели обращают внимание на то, что Байц находил для них доброе слово, что для несчастного еврея в условиях постоянной униженности было подчас важнее, чем кусок хлеба. Вот что пишет житель Тель-Авива Эмиль Виксель: «Во время оккупации я служил в «Карпатен-Ойл» переводчиком. Летом 43-го полицай Йозеф П. зверски избил меня, выбив одиннадцать зубов. Меня притащили едва живого в лагерный медпункт, но, тем не менее, я каждый день выходил на работу. Когда г-н Байц узнал от сотрудников об этом, он пригласил меня в кабинет. Он протянул мне руку для приветствия и сказал, что знает о случившемся. Г-н Байц извинился передо мной за такое обращение и сказал, что он, к сожалению, бессилен перед этой жестокостью. На прощанье он выписал мне бумагу, дающую право на получение большого продуктового пайка. Г-н Байц знал, что мои жена и ребёнок скрываются в убежище, и он выписал для них дополнительно лимоны и шоколад. Он сделал это не таясь, и одновременно как бы отделяя себя от наци. Такого человека, как он, в Бориславе было не встретить».

Жена Байца, Эльза, разделяла позицию мужа, и о ней тепло вспоминают жертвы геноцида. Свидетельствует Артур Бирман, в то время четырнадцатилетний помощник водопроводчика: «Однажды мне было поручено произвести небольшой ремонт в доме г-на Байца. Когда я с нарукавной повязкой еврея вошёл в их дом, семья завтракала. С ними за столом была их маленькая дочка. Они пригласили меня позавтракать с ними. Я отказывался и попросил разрешения вместо этого взять с собой чего-нибудь из еды для мамы. Фрау Байц, однако, настояла, чтобы я завтракал с ними. А когда я уходил, она дала мне пакет с хлебом, колбасой и мёдом и сказала: «Это для вашей мамы. Вы — молодец, что заботитесь о маме».

Эльза Байц укрывала в своём доме знакомых евреев, если им грозила депортация. Почти весь август 1942 года скрывались в их доме скорняк Игнац Линхард и его пятнадцатилетний сын. Игнац был через несколько месяцев расстрелян эсэсовцами, а его сын Залек выжил благодаря помощи Байцев и проживает ныне в Израиле.

Быть может, самое впечатляющее свидетельство мы нашли в книге, изданной в 1983 году Антоном-Мария Каймом «Спасители евреев из Германии» (*Anton Maria Keim (Hg.). Yad Vashem. Die Judenretter aus Deutschland*), где названо свыше двухсот немецких фамилий и среди них — фамилия Байц. Свидетельствует Леа Альтбах, работавшая уборщицей в конторе Байца: «15 февраля 1943 года в Бориславе проводилась акция. Всех работающих собрали в одно место для депортации. Среди схваченных вместе со мной были моя мать и моя сестра с детьми, множество моих родственников и друзей. Двое суток оставались мы без воды и пищи на грузовиках в ожидании приказа доставить задержанных к месту казни. Байц обратился в гестапо и добился разрешения на моё освобождение. Он сам подошёл к

машинам, остановил уже двинувшуюся колонну, чтобы извлечь меня из грузовика. Только меня одну. Мне известны другие случаи, когда Байц под разными предлогами спасал мужчин, женщин и детей из транспортов, готовых к отправке. Он также предупреждал евреев о готовящихся акциях. С помощью своей жены Эльзы он прятал евреев в своём бюро и доме. Многие, кто работал на предприятии, которым он руководил, обязаны ему своими жизнями» (из «Дела № 299»).

Добровольно приняв на себя обязанности «отца евреев» Борисполя, Байц страшно рисковал. Он подвергал опасности и свою семью. Впоследствии, когда его спрашивали об источниках его смелости и мужества, он отвечал: «Мужество часто граничит с незнанием. Если бы мне тогда было не двадцать восемь, если бы я представлял масштабы опасности, я, возможно, был бы осторожнее». Отвечая так, Байц просто уходил от разговоров о героизме, о сопротивлении. Он не считал себя участником Сопротивления, не хотел, чтобы в нём видели героя-антифашиста. Такая категория людей нам известна. У Хемингуэя в романе «Прощай, оружие!» раненый американский лейтенант, представленный к награде, на расспросы о том, как он совершил подвиг, отвечает, что, когда разорвалась мина, он ел сыр. Байц тоже из числа тех, кто не любит громких слов, а потому и говорит, что шёл на риск просто по молодости лет. Это, конечно, далеко не так.

Он хорошо сознавал, какие последствия могут иметь его действия, направленные на спасение евреев. Уже в начале 1942 года сотрудники фирмы из числа фольксдойче (немцев, проживавших вне рейха, в той же Галиции) написали на Байца донос в службу безопасности в Бреслау. Они «сигнализировали» о пропольских настроениях своего шефа и о том, что он способствует побегам евреев. Попади письмо по инстанции в гестапо — не миновать бы Байцу ареста. Но, на его счастье, руководителем службы безопасности оказался его бывший одноклассник, с которым он к тому же был дружен. Тот вызвал Байца в Бреслау, показал ему письмо, после чего оно было сожжено в камине, а другу своему он посоветовал быть впредь поосторожнее. Байц был благодарен вдвойне: мало того что письму не был дан ход, он знал теперь, кого надо опасаться в своём окружении.

Несмотря на предупреждение, Байц по возвращении из Бреслау продолжал свою рискованную деятельность по спасению евреев. Разумеется, действовать так, будучи под неусыпным наблюдением доносчиков, мог только человек большого личного мужества.

Поскольку круг деятельности Байца расширялся, возрастала и опасность вольного или невольного предательства. В начале 1943 года он вновь оказался перед угрозой ареста. По свидетельству Цви Хайлига, в Бориславе существовала подпольная еврейская группа, которая организовывала бегство евреев в Венгрию. Режим Хорти в эту пору ещё уклонялся от требований Германии депортировать евреев, а потому у беглецов были надежды на спасение. Подпольная группа снабжала их фальшивыми документами, бланки для работников арийского происхождения похищались из приёмной директора фирмы «Карпатен Ойл». Подобрал ключ к сейфу, где лежал

факсимильный штампель с подписью Байца, еврей-подпольщики по ночам проникали в кабинет и без ведома хозяина использовали штампель для своих целей. Таким образом удалось спасти многих евреев.

Но вот в начале 43-го при контроле в поезде эсэсовцы задержали двух еврейских беглянок, в документах которых значилось, что они арийки, служащие «Карпатен Ойл». Документы были заверены подписью Байца. В бюро фирмы нагрянули работники гестапо. Забирая директора в Дрогобыч, они не стеснялись в выражениях и сулили ему или штрафной батальон, или концентрационный лагерь. Это слышали сослуживцы.

Цви Хайлиг пишет: «Все мы знали, что Байц помогает евреям, мы были уверены, что гестапо это тоже было известно. И было ясно, что они считают, что это он снабдил фальшивыми документами двух еврейских девушек. Мы испытывали большую симпатию к Байцу, и мы знали, если он исчезнет, нас всех ждёт смерть. Потому мы с моим братом Матесом решили ему помочь».

Мы знаем, что немногие немцы в годы Холокоста спасали евреев, но чтобы евреи спасали немца — это случай настолько уникальный, что о нём стоит рассказать. Способ спасения был выбран столь невероятный, что никто не поверил бы Хайлигу, если бы не свидетели. Братья взяли два чистых бланка, которые у них ещё оставались, наклеили на место фотографии, удостоверяющей личность, снимок овчарки, а в графе «фамилия» написали: «Немецкая свинья». Затем, проникнув в сейф, они заверили оба документа подписью Байца и оставили их на письменном столе заместителя директора, с тем чтобы на следующее утро они были обнаружены.

Гестапо отреагировало на находку так, как и рассчитали братья Хайлиг. Логика подсказывала: Байц, находившийся под стражей, не мог этого сделать. Следовательно, тут замешан кто-то другой, кого и следует искать. Байц смог вернуться в своё бюро.

В марте 1944 года закончилась гражданская служба Байца в Бориславе, он должен был надеть мундир фельдфебеля-пехотинца и покинуть город. Впрочем, в связи с наступлением Советской армии фирма стала свёртывать свою деятельность. Оставшиеся в лагере евреи понимали, что с отъездом их главного защитника шансов уцелеть почти не остаётся. Часть из них была отправлена в Аушвиц и в концлагерь Плащёв возле Кракова, и лишь немногие дождалась освобождения. Кое-кому удалось бежать в окрестные леса. Когда 7 августа 1944 года советские войска вошли в Борислав, лагерь Мрашница был пуст, лишь несколько еле живых евреев вышли из леса, где скрывались в землянках.

«Однажды мы ещё сойдёмся за столом и попируем», — пообещал Байц своей секретарше при прощании, когда он покидал Борислав, отправляясь на фронт. Хильда Бергер, ныне живущая в Нью-Йорке, говорит, что она ему не поверила, но, оказавшись в Аушвице, часто вспоминала своего шефа и его обещание. Тридцать лет спустя Байц сдержал слово: они встретились за столом в нью-йоркском ресторане.

Байца часто сравнивают с Оскаром Шиндлером и Раулем Валленбергом. Их роднит то, что они сами сделали свой выбор и доказали, что чело-

век не песчинка в вихрях истории, не винтик в хорошо отлаженной государственной машине. Сравнение оправданно, но требует оговорки: Байц, в отличие от Шиндлера и Валленберга, не был ни владельцем фирмы, ни дипломатом, его возможности были гораздо меньше. Сколько евреев спас Байц, сколько их в его списке? Сто или более? Никто не вёл подсчётов. «Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Эти мудрые слова начертаны на выходе из Сада Праведников в *Яд-Ваашеме*, где зеленеет и тянется к солнцу дерево, посаженное в честь Праведника Мира Бертольда Байца.

— А как можно было стать Праведником? — спрашивает бабушку внучка, читая по складам имена на табличках возле деревьев.

— Как? Просто нужно было оставаться человеком в то время, когда вокруг торжествовала бесчеловечность. Это требует и смелости, и мужества, но прежде всего, моя девочка, нужно было родиться и вырасти порядочным человеком.

ГЮНТЕР ДЕМНИГ: СПОТКНИСЬ И ВСПОМНИ!¹

Лет восемь назад я заметила на тротуарах Кёльна перед некоторыми домами странные таблички: небольшой (10×10 см) латунный квадрат, на нём — еврейское имя, а под ним — годы жизни и сведения, когда и куда его владелец был депортирован, где погиб в годы нацизма. Выяснилось, что *Stolpersteine*, камни, о которые «спотыкается» память, изготавливает и устанавливает кёльнский скульптор Гюнтер Демниг (*Günter Demnig*). Это его личная инициатива, он сам придумал такую форму борьбы с забвением.

А однажды на *Roonstraße*, неподалеку от восстановленной после войны синагоги, увидела и самого героя моего очерка. Коренастый добродушного вида мужчина лет пятидесяти пяти, внешне простой работяга, только коричневая широкополая шляпа — намёк на принадлежность к сообществу художников, с помощью дрели извлекал плитку из тротуара, чтобы вмонтировать туда свой бетонный кубик с металлической табличкой. Рядом — ведро с раствором цемента, нехитрый инструмент.

«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти слова Ольги Берггольц навечно впечатаны в гранитный камень на Пискарёвском кладбище в Ленинграде. Демниц вряд ли знаком с судьбой и стихами Берггольц, но «пелел Клааса» стучит и в его сердце. Счёт уничтоженных в Германии во время нацизма идёт на миллионы: евреи и цыгане, коммунисты и социал-демократы, свидетели Иеговы, гомосексуалисты, синтоисты...

«Каждая жертва обретёт свой камень и вернёт себе имя, — говорит Демниг, — ни один человек, ни одна судьба не должны пропасть без вести. Конечно, это нереально — уложить все миллионы камней. Мой проект носит скорее символический характер». Разговор происходил в интернациональном культурном центре «*Ignis*», где часто звучит и русский язык. Встреча со-

¹ Напечатано в журнале: *Наш голос/Unsere Stimme*. Франкфурт-на-Майне, 2005. № 4.

стоялась 8 декабря 2004 года. День был выбран не случайно. В этот день в 1941 году тысяча кёльнских евреев была депортирована в гетто Риги. Это был третий большой транспорт, ушедший с вокзала *Deutz*. А всего подлежало уничтожению 11 000 граждан Кёльна иудейского вероисповедания.

Большинство попавших в Ригу умерли в гетто или в близлежащем концлагере Кайзервальд, часть была уничтожена в Саласпилсе. Осенью 1944 в связи с приближением советских войск гетто было ликвидировано. Выживших погрузили на корабль и отправили в концлагерь Штуттоф, а от туда частично — в другие лагеря. Ныне Гюнтер Демниг и его помощники-добровольцы отслеживают «крестный путь» этих жертв.

Первые полсотни памятных камней в Берлине и Кёльне скульптор уложил в 1992 году, не имея на то разрешения, на свой страх и риск. В 1996 году он предложил городскому руководству Кёльна 600 камней в виде подарка. Город согласился принять дар, но при условии, что установка *Stolpersteine* не будет стоить ни пфеннига, ибо касса пуста. Демниг стал искать спонсоров, и он их нашёл. Тогда городской совет дал зелёную улицу проекту Демнига, и сегодня в Кёльне установлено более 1500 камней.

Посетив *Эль-Де-Хаус* (Центр документации периода национал-социализма в Кёльне, один из самых посещаемых музеев рейнской метрополии, в годы нацизма там размещалось гестапо), я узнала, что личная инициатива Демнига получила основательную общественную поддержку. И от этой информации я испытала глубокое удовлетворение: мой опыт общения с чиновниками убедил, что в Германии уважают лишь Право, но оказалось, что поборников Справедливости здесь тоже немало.

В последние годы *Stolpersteine* появились не только в Берлине и Кёльне, но и в Гамбурге, Бонне, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Фрайбурге. Сотни немцев пожелали оплатить именные памятные камни (цена одного — 95 евро). Лишь немногие хотят воскресить конкретные имена своих одноклассников, коллег, знакомых, соседей, которые в одночасье исчезли при молчаливом попустительстве напуганных или даже злорадствующих сограждан. Их немного, поскольку свидетелей нацистских акций остаётся всё меньше. Большинство жертвователей не знает погибших, но считает своё участие в проекте Демнига делом совести. То, что начиналось как личный поступок, стало впечатляющим прорывом в прошлое, за которым следят не только немецкие, но и зарубежные масс-медиа: о проекте появляются статьи в газетах и журналах, телепередачи, вышел альбом-буклет.

Проект Демнига требует не только материальной поддержки, но и помощи иного рода. Необходимо рыться в городских архивах, в документации концентрационных лагерей, ибо прежде всего нужно найти следы погибших, проследить по возможности весь путь жертвы. Нужна поддержка городских властей, которые должны давать разрешение на установку каждого камня. За всем этим — бесконечная череда встреч в городских управах.

Главной помощницей Демнига является его спутница по жизни Ута Франке. Занимаясь политической публицистикой, она провела в своё время два года в тюрьмах ГДР за «враждебную государству пропаганду». Её малышу в то время было всего три года. На встрече в «Игнисе» она

тоже присутствовала, демонстрировала любительский фильм, посвящённый проекту. Ута ведёт документацию, договаривается с городскими властями. У неё очень насыщенный и жёсткий календарь. Но и ей было бы не совладать с объёмом работы, если бы не помощь добровольцев. Первыми откликнулись школьники небольших городков близ Кёльна — Левркузена и Ойскирхена. Сейчас в работу над проектом вовлечены десятки старшеклассников Дуйсбурга. Одни разыскивают сведения о жертвах, другие вербуют спонсоров-жертвователей, третьи беседуют с жильцами и хозяевами домов, перед которыми планируется установить памятный камень. Работы хватает всем.

Среди активистов проекта — житель Гамбурга Петер Гесс. Сын видного нациста Рудольфа Гесса, он не числит за собой вины, поскольку был ребёнком, но чувствует «моральную ответственность за злодеяния нацистов». Камни, естественно, никого не оживят, но, по его мнению, они являются знаком примирения.

Среди вопросов, заданных Гюнтеру Демнигу в «Игнисе», был и такой: «Не вызывают ли эти действия сопротивление в определённых кругах?» Он ответил, что сам опасался выходок со стороны правых радикалов, но, к его удивлению, их почти нет. Лишь 18 из 3 700 камней были повреждены или уничтожены. Но есть и несогласные. Один врач воспротивился установлению памятного камня перед его приёмной, мотивируя тем, что не хочет повредить своим пациентам: страшные воспоминания могут негативно сказаться на их здоровье. Один адвокат опасается, что стоимость его дома может понизиться из-за камня, напоминающего о жертвах нацизма, которые прежде в нём проживали. В Лейпциге Демнига и вовсе упрекнули в плагиате: сочли, что его затея напоминает звёзды на бульваре Голливуда в Лос-Анджелесе.

Даже в еврейской среде акция Демнига вызывает противоречивую оценку. Шарлроту Кноблах, председателя еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии, а ныне и заместителя председателя Еврейского Конгресса Европы, ранит то, что имена загубленных евреев попирают ногами прохожие. А вот в израильском *Яд-Вашеме* считают инициативу Демнига «прекрасным проектом».

Вопрос о том, почему камни монтируются в тротуар, а не в стену здания, возникал и по ходу встречи. Объяснение тому одно: дома ныне — это чья-то собственность, а тротуар — собственность города, договориться с каждым хозяином в отдельности — это непосильная задача. К тому же значительная часть зданий была разрушена во время бомбардировок, и на их месте возведены новые. «Мы помечаем не сам дом, а место: “Здесь проживали”...» — говорит Демниг. Когда он монтирует *Stolpersteine*, заинтересованные прохожие останавливаются, вступают в разговор, иногда выходят жильцы дома. Кое-кто из них выражает недовольство: «Могут подумать, что это мы выдали этих жильцов». Демниг терпеливо объясняет цели своей акции.

Это не первый его проект. Демниг — художник политически ангажированный. Ещё в 70-е годы он был арестован в Берлине за то, что на американском флаге заменил 51 звезду черепами. Это было начало, за

ним следовали другие действия. В 90-е годы он взбудоражил жителей Кёльна своими досками, стилизованными под архаику. На них первая статья Декларации прав человека была представлена на 120 языках. Учёные-филологи Кёльнского университета озвучили и записали тексты в международной транскрипции, а Демниг выбил их в таком виде на своих досках. Зная звучание, тексты можно было читать, но они оставались непонятными. Это был наглядный пример вавилонского столпотворения, своего рода зеркало нашего общества, столь многословного и в то же время немом, где один не понимает другого.

В 1990 году Демниг осуществил в Кёльне проект «По следам цыган и синтоистов». Он прочертил по улицам города их путь к вокзалу Deutz, откуда шла депортация. Вначале он обозначил путь мелом, затем покрыл его краской, но со временем и краска стёрлась. Когда он занимался этой работой, один человек, проживавший ещё до войны в районе Мюльхайма, сказал: «То, что вы делаете, прекрасно, но в этом квартале никогда не жили цыгане». Демниг помолчал и добавил: «Видимо, люди даже не знали, кто был их сосед и куда он исчез». «Цыганский проект» стал предтечей *Stolpersteine*.

Stolpersteine — своего рода лакмусовая бумажка. Отношение к ним выявляет желание и способность нынешних граждан нести или хотя бы чувствовать свою историческую ответственность за прошлое своего народа, своей страны. Обер-бургомистр Мюнхена социал-демократ Кристиан Уде, к примеру, принял решение о демонтаже двух установленных, как он выразился, «так называемых *Stolpersteine*». Речь идёт о памятных камнях Паулы и Зигфрида Йордан. Они были установлены перед домом № 13 по *Marienkirchstraße* на деньги, собранные по инициативе учащихся одной из мюнхенских гимназий. Видимо, камни помешали владельцу, человеку влиятельному, коль принималось специальное решение городского совета об их изъятии. Оба камня ныне перемещены на еврейское кладбище. Сын Зигфрида и Паулы Йордан, Петер, проживающий в Лондоне, узнав о случившемся, с горечью сказал: «Ну, что ж, родителей вторично депортировали».

А вот бургомистр Гамбурга Оле фон Бойст считает проект Гюнтера Демнига «поучительной акцией, которая напоминает, что мы расчистили путь сквозь лицемерие террора». Где конкретные люди и городские власти хотят помнить о прошлом, там будут появляться лагуны *Stolpersteine* Гюнтера Демнига.

Когда я с группой московских кинодокументалистов во главе с режиссёром Борисом Соломоновичем Шейниным (студия «Параджанов-фильм») появилась в доме-мастерской Демнига на *Richard Wagnerstraße*, он и Ута как раз готовились к поездке в Гамбург. Камни извлекались из двух лоханей и располагались на асфальте во дворе. Ута, что-то помечая в списках, называла имена, а Гюнтер располагал камни в нужном порядке. Несмотря на занятость, Демниг показал москвичам свою мастерскую и процесс изготовления *Stolpersteine*. Оператор фиксировал всё на плёнку. Засиделись мы у Демнига далеко за полночь, и это притом, что ранним утром хозяйину предстояла поездка в Гамбург на полный рабочий день. Общее мнение о мастере выразил режиссёр: «Правильный мужик! Наш человек!»



В мастерской у Демнига

На встрече со скульптором в «Игниси» прозвучал и такой вопрос: «Не кажется ли вам, что то, чем вы занимаетесь, — скорее ремесло, а не искусство?» Демниг несколько не смутился, не стал оправдываться, а откровенно признался, что чистое искусство, искусство ради искусства — это не его стихия. Невольно опять вспомнились строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» Бывают такие моменты, когда эта заповедь приобретает особую актуальность.

ЭТО СЛОВО ГОРДОЕ — ТОВАРИЩ...

Ненастным октябрьским днём 2004-го пришла я с друзьями на берлинское кладбище Фридрихсфельде, что в районе Лихтенберга. Это восточная часть города, отсюда шло наступление советских войск на Берлин. Улицу, по которой прошли советские танки, назвали улицей Освобождения, а после падения Берлинской стены ей вернули старое имя — *Altfriedrichsfelde*. Однако сохранилась и обновляется надпись на русском языке на одном из уцелевших довоенных домов. С волнением читаю: «На Берлин! Победа!», ниже — дата: 25 апреля, а рядом — пятиконечная звезда вместо подписи. Для моих друзей, для всей семьи Гюнтер-Шелльхаймер, 8 мая — это и впрямь праздник Освобождения, ибо это семья немецких антифашистов. И в этом году в память 60-летия нашей общей Победы все они — три поколения, 15 человек — собрались за праздничным столом в родительском доме в Мотцене (в 40 километрах от Берлина), и мы по телефону поздравляли друг друга.

А в тот пасмурный ветреный день, войдя на кладбище и постояв у памятника Жертвам фашизма, мы направились в дальний квартал, где похоронена мать моей подруги — Клара Шелльхаймер. «Там лежат товарищи», — пояснила Эвелина. Участок отведён уцелевшим в годы нацизма антифашистам: сейчас пришло время им уходить в мир иной. Шеренги скромных невысоких памятников — все один в один — напоминают военные кладбища. Оно и понятно: здесь покоятся солдаты небольшого немецкого воинства, борцы против гитлеризма, невоспетые герои Сопротивления.

Сегодня, когда многие немцы остро ощущают потребность избавиться от позорного прошлого, а кое-кто хочет и вовсе забыть его, в Германии заговорили о том, что не все немцы были убийцами, начали заслуженно, хотя и запоздало, вспоминать тех, кто противостоял нацизму. Во времена ГДР уцелевшие антифашисты часто выступали перед школьниками и молодыми рабочими, однако нынешние неонацистские настроения молодёжи, особенно сильные в восточных землях, свидетельствуют о том, что работа эта не дала заметных плодов (впрочем, речь идёт о другом поко-

лении). В любом случае, называть послевоенную деятельность борцов с нацизмом «организованным антифашизмом», как это делается подчас в средствах массовой информации, — неправильно и даже нечестно.

Доказательства и выводы американского историка Даниэля Гольдхагена, автора на шумевшей в Германии книги «Добровольные палачи Гитлера. Обыкновенные немцы и Холокост» (*Daniel Goldhagen. Hitler's willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust. N.Y., 1996.*), были убийственными: все виновны, все запятнаны. Но даже Гольдхаген признаёт (правда, одной строкой, взятой в скобки), что было «крошечное меньшинство, которое показало, что имелась возможность не поддаваться всеобщему угару». Так что нельзя всех немцев (ни один народ нельзя!) стричь под одну гребёнку.

Немецкая журналистка Инге Дойчкрон, носившая жёлтую звезду и пережившая Холокост, свою книгу о тех, кому обязана жизнью (среди них — Отто Островски — первый бургомистр послевоенного Берлина), назвала так: «Они остались в тени. Памятник «тихим героям». (*Inge Deutsch-kron. Sie blieben in Schatten. Ein Denkmal für «stille Helden».* Berlin, 1996.)

Сейчас много пишут о неудавшемся антигитлеровском заговоре «консерваторов» в 1944 году и его участнике полковнике Клаусе фон Штауфенберге, о Софи Шолль и её брате, членах подпольной группы «Белая роза» из Мюнхена, все они были казнены. Мы больше знали о деятельности подпольной группы «Красная капелла», поскольку в ГДР о ней было издано несколько книг. На Западе о ней говорили уклончиво. Пришла пора говорить обо всех, кто остался в тени.

Евгений Беркович, мой знакомый из Ганновера, главный редактор популярных сетевых изданий «Еврейские заметки» и «Еврейская старина», выпустил недавно книгу «Банальность добра», в которой содержится несколько историй, героями которых стали немцы, награждённые медалью Праведник мира. А мой друг, писатель Владимир Порудоминский, опубликовал в московской газете очерк об одном из «тихих героев» — о берлинце Харальде Пёльхау (*Harald Poelchau*). Он был тюремным священником в Тегеле, где сидели приговорённые к смерти. За десять лет службы Пёльхау проводил в последний путь свыше тысячи противников режима. Он помогал им как мог: проносил в камеры пишу, письма от родных, известия с воли. В своём рабочем кабинете, который он называл лавкой, Пёльхау принимал и людей с воли, нуждавшихся в его помощи. Среди них было много евреев. Принимал он и у себя на дому, где проживал с женой и сыном, которые были посвящены в его дела. Он часто укрывал людей сначала у себя, а потом отправлял их по другим надёжным адресам.

Беспримерная по самоотверженности деятельность Харальда Пёльхау не была забыта. В 1972 году, незадолго до его смерти, ему была вручена памятная медаль *Яд Вашем* «За спасение народа» и в Аллее праведников в Иерусалиме в его честь высажено дерево. На родине его тоже чтят. Одна их школ в берлинском Шарлоттенбурге носит его имя. Благодаря заботам спасённых им евреев могила Пёльхау на кладбище Целлендорф

получила статус «вечной». В 1992 году его именем были названы улица и остановка метро. Знают ли спующие мимо прохожие об этом уникальном человеке, затрудняюсь сказать.

Кое-кто из выживших евреев вспоминает, что при прощании их спасители-немцы просили: «Обещайте, что вы никому не назовёте моего имени. Не пишите мне. Удачи вам!» Нужно сказать, что с уходом Гитлера антисемитизм не исчез. Он был, есть и будет. Возможно, за нежеланием рассказывать о помощи евреям кроется мудрая предусмотрительность. История, которую я недавно узнала, думаю, поразит читателя.

В Эрнсбахе, небольшой деревушке возле живописного средневекового городка Михельштадт в Оденвальде, крестьянин Генрих Лист приютил еврейского парнишку Фердинанда Штрауса, который чудом избежал депортации в 1941-м. Фердинанд остался один на белом свете, а Генрих был порядочным человеком. Соседка донесла на него. Он был брошен в концлагерь (скорее всего, в Дахау) и погиб там. Жена арестованного Мария Лист дала понять соседям, что не одобряет действий мужа. И едва ли не каждый выразил ей сочувствие.

После войны никто не сказал соседке, выдавшей Листа, что поступок её был, мягко выражаясь, неправильным. А вдова жила себе тихо, никому ничего не рассказывая. Лет через сорок учителя гимназии из соседнего городка раскопали эту историю и сообщили о ней в *Яд Вашем*. Там всё проверили и решили наградить Листа и его жену медалью «За спасение народа». Но фрау Лист отказалась от награды, поскольку соседка была ещё жива. Лишь после смерти той, что погубила две жизни, решилась она получить медаль. Жители Эрнсбаха знали эту историю. Они знали и о том, что Лист заплатил жизнью за попытку спасти еврейского юношу. «Где же уважение и признание общества — не только соседей, а всей нации — имеющих все основание гордиться этим гражданином, где они?» Этот вопрос задаёт Рут Давид, рассказавшая эту историю в своём письме в газету «Нью-Йорк Таймс» (от 17. 08. 2000 г.). Её риторический вопрос заставляет о многом задуматься.

Мои друзья, о которых я повела рассказ, принадлежат к числу невоспетых героев. Они не рекламировали своё антифашистское прошлое, никогда им не «попользовались», но при этом и не скрывали своей позиции, своих взглядов, даже если они шли вразрез с генеральной линией времени. Вернёмся туда, где мы расстались ради небольшого отступления.

Осень одела «в багрец и золото» деревья и кустарники, ветер срывает и кружит пожелтевшие листья, но на кладбище чисто, большой участок ухожен. Постояв у могилы Клары, оставив у памятника цветы (сегодня — день её рождения), медленно бредём к выходу. Моя подруга Эвелина и её муж Эдгар, учившиеся со мной в Московском пединституте им. Ленина в середине 1950-х годов, старше меня на пять лет, им идти трудней, но у выхода они неожиданно сворачивают налево. Пройдя метров двадцать, мы оказываемся на мемориальном кладбище немецких социалистов.

Оно образует небольшой полукруг, в центре которого — могилы Карла Либкнехта и Розы Люксембург, Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта, а

также символическое надгробие Эрнста Тельмана. Трое из них, несомненно, *товарищи*, они жизнью заплатили за свои убеждения. Накануне мы на кораблике совершили экскурсию по Шпрее и её рукавам-притокам, проплывали и по Ландсвер-каналу, в мрачных водах которого нашла свой конец пламенная Роза. В голове бились строки Бродского:

Канал, в котором утопили Розу
Л., как погашенную папиросу...

Вчера плыли по каналу, в котором Розу доконали, а сегодня стоим перед её могилой. В годы Веймарской республики, с 1919-го и вплоть до 1933 года, сюда ежегодно приходили тысячи рабочих почтить память Либкнехта и Люксембург. В годы ГДР во второе воскресенье января колонны организованных демонстрантов направлялись к кладбищу. Перед памятными могилами возводилась трибуна для руководителей СЕПГ, и в 9 часов начинался митинг. С торжественной речью выступал кто-то из руководителей партии. Вид на могилы был закрыт, но можно было увидеть Хоннекера и его жену Маргот.

Традиция приходить 15 января на мемориальное кладбище сохранилась. Поныне в этот день здесь по личной инициативе бывает от 20 до 50 тысяч демонстрантов, представителей различных левых партий и групп и, конечно, *ЛДС*. Приходят сюда и граждане, не связанные партийным уставом. Странников идей социализма можно узнать в этот день на улицах и в поездах метро и электричек: в руках у них красные гвоздики.

В молчании мы совершаем круг. Проходя мимо стены, отмечаю знакомые имена: Вилли Бредель, Эрих Вайнерт, Иоганнес Бехер. В студенческие годы мы, филфаковцы, читали их произведения, они были включены в программу.

Эвелина подводит меня к длинной памятной доске розоватого мрамора, на которой высечены имена участников сопротивления нацизму, погибших в 1933–1945 гг. Среди них — имя её отца Ганса Шелльхаймера. Фабрика в Магдебурге, где он работал, до 1990 года носила его имя. Ныне она закрыта, не выдержала испытания капиталистическим рынком, почти все корпуса снесены. Но в Магдебурге по-прежнему есть и площадь, и школа имени Шелльхаймера.



Осенью 1954-го в Москве при знакомстве Эвелина рассказала мне о судьбе их семьи в годы нацизма. Её родители-коммунисты были арестованы вскоре после прихода наци к власти. Вначале, в 1933 году, взяли отца, Ганса Шелльхаймера, рабочего из Магдебурга, и отправили на два года в концлагерь. Только вышел отец — посадили мать, Клару. Начиная с 1936-го она провела три года в тюрьме, сначала в Яворе (нынешняя Польша), затем в Вальдхайме (Саксония). Эвелина оказалась полусиротой при живых родителях.

«Как же ты жила?» — «А меня брали к себе то родственники, то *товарищи*». Вновь это слово. В устах Эвелины оно имеет особый смысл. *Die Genossen* — товарищи по партии. На рубеже веков, в преддверии классовых битв оно указывало на союз единомышленников-революционеров: «Смело, товарищи, в ногу!» Романтики революции одушевили его идеей всечеловеческого братства. В поэме Маяковского «Про это» мечта о новом «человечьем общежитье» приобрела поистине вселенские масштабы:

Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
Оборачивалась земля.

Родители Эвелины тоже «болели» этой мечтой и завещали её дочери. Приютившие её *товарищи* сами жили впроголодь, неудивительно, что её в дальнейшем «догнал» туберкулёз.

В 1944 году родителей арестовали повторно. Отец был казнён в самом конце войны. В тюрьме Бранденбург-Гёрден уже была слышна канонада, советские войска стояли на берегу Одера, когда Шелльхаймера вели на казнь. Он был гильотинирован. Эвелина показала мне его предсмертное письмо, оно было опубликовано в книге «Воспрянет род людской. Краткие биографии и последние письма борцов антифашистского сопротивления».

Лишь полвека спустя Эвелина решилась рассказать то, что ей было известно со слов Клары о молодых годах Ганса Шелльхаймера. Передо мной его фото. Глядя на мужественное лицо тёмноволосого Ганса, встречаясь с его огненным взглядом, невольно начинаешь думать, что перед тобой человек необычной судьбы. И в самом деле, у Ганса, родившегося на год раньше начала XX века, было авантюрное прошлое. Совсем юным, натворив что-то в родном городке под Франкфуртом, он подался во Францию и завербовался в Иностраннный легион. Служба в африканских песках пришлась молодому легионеру не по нраву, он решил бежать. Если вам довелось видеть фильм «Легионер» с Ван Даммом в главной роли, вы представляете всю бесперспективность этой затеи. Но Гансу в ту пору везло.

В пустыне его находит и спасает от неминуемой смерти молодая бедуинка, которой этот лихой парень явно полюбился. Ему удаётся добраться до Аддис-Абебы, где он знакомится с актёрами и примыкает к их труппе. Через несколько лет, в середине 20-х годов, бронзовый от африканского солнца Ганс вместе с артистами оказывается в Берлине и начинает выступать в кабаре. Тогда их развелось в столице Веймарской республики великое множество. Однако артистическую карьеру он неожиданно меняет на место коммивояжёра известной фирмы «Зингер».

Разъезды продолжались недолго: Ганс встаёт за токарный верстак. В Магдебурге встречает он свою Клэрхен, молодую машинистку-стенографистку, жизнелюбивую и смелую, подстать ему, и в 1931 году оба вступают в КПГ. Как видите, разными путями приходили немцы к коммунистической идее.

С Кларой я познакомилась в Москве, когда мы учились уже на втором курсе. Она приехала навестить дочь и увидеть столицу пролетарского государства, о котором они с Гансом мечтали. Эвелинка привела меня к ней в гостиницу «Москва», там останавливались иностранцы. Спустя четверть века я ещё раз встретила с Кларой в Берлине, куда приехала с четырнадцатилетним сыном погостить у Эвелины. Клара уже была на пенсии, погрузнела, но дымила, как паровоз, и любила пропустить стаканчик. Она была человеком широкого сердца, не придавала значения мелочам. В её одежде, в манерах не было никаких «цирлих-манирлих», столь заметных у многих немок её возраста. Но была она очень внимательна, особенно к людям бедным, и могла отдать им чуть ли не всё, что сама имела, а ведь жила очень скромно. Отсутствием занудливого педантизма она сразу расположила меня к себе. Она смахивала на мамашу Кураж, и этим всё сказано.

Август выдался жарким, все изнывали от пекла, но она непременно хотела поехать с нами в большой магазин, в центральный универмаг Берлина, где и были куплены башмаки моему Роберту, а мне достались дорогие туфли фирмы «Саламандра». Клара радовалась покупкам, как дитя, и с чувством выполненного долга повела нас в кафе-мороженое по соседству, где, отдуваясь и пофыркивая, как морж, жадно пила минералку, которая тут же проступала струйками пота. Она утирала распаренное лицо и громко смеялась. Другая бы ворчала, Клара — смеялась. Её доброжелательность и открытость подкупали. Сейчас, прожив почти двенадцать лет в немецком окружении, могу смело говорить об уникальности Клары. И она и её дочь принадлежат к особой породе людей. Для меня они и впрямь — *товарищи*.

Спустя несколько лет после нашего переезда в Германию, почитай, на исходе века, когда я уже могла понимать немецкую речь, Эвелина показала мне видеозапись фильма, снятого в 1980 году по романам писательницы Эвы Липпольд «Помолвленные». Эва была подругой её матери, и Клара стала прототипом одной из героинь фильма.

Клара и Эва знали друг друга с юности, жили по соседству в Магдебурге, учились одной профессией — машинописи и стенографии. Обе много читали, занимались самообразованием. Только после войны Эва в своём творческом развитии обогнала подругу, она стала писательницей. Но это ничего не изменило в их дружеских отношениях. Между тем это была настолько крепкая дружба, что после смерти Клары Эва всей душой прикипела к Эвелине и искала общения с ней, несмотря на разницу в возрасте. Они были единомышленниками — антифашистами. И нацизм они знали в лицо, он для них не был умозрительным явлением, как для нынешней молодёжи.

Последние годы писательница жила «вдали от суетной толпы», как выразился английский романист, и похоронили её на сельском кладбище неподалёку от Мотцена. Накануне мы с подругой побывали на могиле Эвы, потому фильм я смотрела с особым чувством.

Мне запомнилась сцена в тюремной прачечной: в клубах пара, в мокрой одежде, с прилипшими волосами, босые на залитом водой цементном

полу, измученные женщины-заключённые в больших лоханях стирают казённое бельё. Склонившись над стиральными досками, они трут и трут простыни, мужские подштанники, рубахи, наволочки, выкручивают их и снова трут, и снова выкручивают.

Надсмотрщица приближается к героине и вроде бы незначай опрокидывает выстиранное ею бельё на грязный пол. С каким торжеством глядит эта ширококостная, коротконогая, явно малограмотная арийка на интеллигентную «политическую», стоящую перед ней на коленях и подбирающую бельё. С чем можно сравнить сладострастие ничтожества, демонстрирующего свою власть над утончённой и образованной женщиной? Свойственные черни качества проявились здесь в чистом виде. Эва Липпольд принадлежала к миру гуманитариев, защищала его ценности с риском для жизни, за что и заплатила свободой.

Наказание унижением бывает пострашнее физической боли. Клара рассказывала Эвелине, что им в тюремной швейной мастерской не разрешалось ходить в туалет по нужде, когда захочется. Приспичило — терпи, удерживайся. Когда надсмотрщица решала, что настало время, она вручала жертве красный флажок и командовала: «Под красным знаменем к параше шагом марш!»

О наступлении гуннов на образованный мир, о восстании мелкобуржуазной необразованности, о массовых сборищах духовно убогих говорил Томас Манн в 1935 году (статья «Внимание, Европа!»), призывая интеллигенцию не путать народ и толпу, демократию и охлократию. Однако ничтожества взяли верх и «получили возможность беспрепятственно осуществлять свои гнусные намерения».

В годы нацизма Эва сидела в одной тюрьме вместе с матерью Эвелины. Родом она была из многодетной семьи Рутковских, воспитывала её бабушка, она привила девочке любовь и интерес к литературе, искусству, языкам. Чуть ли не в двенадцать лет Эва стала активисткой молодёжного движения. В социалистических кругах встретила она своего будущего мужа, Липпольда. Она родила сына, но в начале 30-х годов муж сообщил ей, что вступил в национал-социалистическую рабочую партию. Фашисты заманивали рабочих, маскируясь под выразителей их интересов. Липпольд попался на эту удочку. Эва подала на развод. Суд постановил оставить ребёнка с отцом.

С приходом нацистов к власти Эва вела политическую работу нелегально. Она стала связной-курьером организации «Rote Hilfe» («Красная помощь»), которая тайно помогала семьям политзаключённых и евреям. По доносу она была схвачена в 1934 году, проходила по делу Рудольфа Клауса, приговорённого к смертной казни. Двадцатичетырёхлетнюю Эву приговорили к девяти годам заключения. Этот срок она отбывала в старинных каторжных тюрьмах в Яворе и Вальдхайме. Там она вновь встретилась с Klarой.

Эва отсидела от звонка до звонка. Её выпустили в 1943 году под полицейский надзор. Сознывая опасность, она, тем не менее, со всеми предосто-

ржностями пробиралась в квартиру Шелльхаймеров в Магдебурге. У Шелльхаймеров они тайно слушали запрещённые передачи Би-Би-Си и московского радио. Эвелина помнит эти встречи, ей в ту пору было 11–12 лет. Собиравшиеся принадлежали к разным кругам: рабочие, служащие, художники, но они были едины в одном — в неприятии бесчеловечного режима.

В июле 1944 года участники этих встреч были арестованы один за другим. Клара и Эва оказались в магдебургских тюрьмах, о казни Ганса они узнали, находясь в заключении. Они были освобождены американскими войсками 13 апреля 1945-го. Обе избежали смерти в Освенциме лишь потому, что во время бомбардировки 16 января все документы на заключённых сгорели, а советские воины, освободившие Освенцим в конце января, взорвали подъездные пути к лагерю.

Освободившись, Клара и Эва поддерживали друг друга и поначалу не расставались. Городская администрация выделила им общую пустующую квартиру сбежавшего оберштурмбанфюрера СС (он умудрился и мебель вывезти). С ними там оказалась и вконец обессиленная Херта Хайне, еврейка, сидевшая в одной камере с Эвой. Оба её мальчика находились в детском приюте в Гарце (отца их, немца, фашисты расстреляли). Помыслы несчастной устремлялись к детям, но передвигалась она по комнате, цепляясь за стены. Однофамилец несчастной, Генрих Гейне (немцы произносят его имя как Хайнрих Хайне) в молодости совершал увлекательные пешеходные прогулки по гористому Гарцу. Но ведь сколько километров до него от Магдебурга! Поезда в ту пору не ходили. И вот Эва с подружкой Люцией (освободившейся из тюрьмы антифашисткой) садятся на велосипеды и едут за детьми. Их продвижение по разбитым дорогам нисколько не напоминало велосипедную прогулку героинь известного фильма, во время которой очаровательная Дина Дурбин задорно пела: «Мы со свистом мчимся в поле чистом!» Женщины напоминали двух загнанных кляч, когда они вернулись в Магдебург, но, что самое удивительное, мальчиков они привезли. А как жили? На этот вопрос Эвелина отвечает коротко: «На полу места всем хватило».



Клара в послевоенные годы

Эва и Клара сразу включились в работу по помощи жертвам фашизма. Люди возвращались из тюрем, концлагерей. Дома многих были разрушены: ни кола, ни двора, близкие то ли погибли, то ли куда-то бежали. Подруги занимались расквартированием освобождённых узников и обеспечивали их питанием и предметами первой необходимости. Когда хаос и сумятица первых месяцев улеглись, возникли новые неотложные проблемы. Обе работали в Главном комитете жертв фашизма. Эва переехала в Берлин и вела колоссальную работу по сбору материалов о погибших антифашистах. Она собирала биографии и последние письма замученных участников Сопротивления. Перед ней скапливались горы писем, которые рвали душу и нервы, лишали сна.

Здесь в Комитете Эва встретила Кая, графа фон Брокдорффа. Он вернулся из английского плена. Его жена Эрика, графиня фон Брокдорфф, за антифашистскую деятельность была казнена в Плетцензее 13 мая 1943 года, а Кай был отправлен в штрафной батальон как пушечное мясо. Их пятилетняя дочь Саския оказалась в приюте. Предстояли длительные поиски. Своего собственного сына, оставшегося у бывшего мужа-нациста, Эва найти так и не смогла. Здесь за каждой строкой — трагедия.

Четверть века прошло, прежде чем Эва решилась описать пережитое. Она задумала трилогию. В 1971 году в ГДР вышел её роман «Дом тяжёлых ворот», а в 1974-м — «Жить, где умирают». Третью книгу она так и не завершила. Фрагменты из неё публиковались в виде небольших рассказов в журнале «*Neue deutsche Literatur*» («Новая немецкая литература») Эва неоднократно говорила о планах этого тома, который намеревалась назвать «*Die Fremde*» (это можно перевести и как «Чужая», и как «Чужбина»), желая показать своё самоощущение в минувшие страшные годы.

С превеликим трудом она нашла издателя, поскольку её политические и психологические характеристики во многом противоречили официальной идеологии. Эва Липпольд показывала, что и уголовники сохраняют человеческие качества и что тюремщики не только звери, среди тюремного персонала тоже встречаются люди, она отказывалась судить героев с позиций лишь классовой борьбы, отказывалась видеть мир только в чернотелых красках.

Лишь после того как талантливые режиссёр и оператор Гюнтер Рюкер и Гюнтер Райш в 1980 году экранизировали книги Эвы Липпольд, они приобрели известность и даже были рекомендованы для чтения учащимся 12-го класса. Фильм «Помолвленные» получил первую премию XXII кинофестиваля в Карловых Варах — *Хрустальный глобус*.

Когда я впервые побывала в Берлине в 1982 году, то заметила, что друзья мои живут в условиях такой же несвободы, как мы у себя на родине. Оба после окончания института и защиты диссертации в области педагогики работали в министерстве народного образования. Эдгар мечтал о дальнейшей работе в области макаренковедения, но ему дали понять, что это не входит в планы отдела, он может посвящать этой теме не более 10% рабочего времени. Эдгар сохранил любовь к своему герою и в 2005 году выпустил немецки основательную и одновременно душевную книгу «Макаренко в моей жизни» (*Edgar Günther-Schellheimer. Makarenko in meinem Leben. Eine Beitrag zur Makarenko-Rezeption in der DDR und im geeinten Deutschland*).

Тогда же, в 82-м, я была одержима желанием найти в Берлине своего отца (если не самого отца, то хотя бы какие-то его следы). Отыскав в теле-



Клара Шелльхаймер и Эва Липпольд. Слева направо

фонном справочнике заветную фамилию, рвалась позвонить, но останавливало незнание немецкого. На мою просьбу связаться по телефону Эвелина, посвящённая в тайну моей биографии, а потому понимавшая значение этого шага, ответила категорическим отказом. Может быть, можно из автомата? Нет и ещё раз нет. Вот тогда-то я поняла, под каким «колпаком» пребывают гэдэровцы. Их «штази» было даже оперативней наших гэбистов: мимо не проскочишь. И тут подруга призналась, что они только-только пережили полосу страшных неприятностей.

Позже я узнала, что связано это было с их младшим сыном. Андре проходил срочную службу в войсках немецкого КГБ. У него в тумбочке был обнаружен дневник, где содержались записи о бессмысленности их службы (их часть «охраняла» военный городок советских войск в Германии — Вюнсдорф) и выписки из книг китайского философа Лао-Цзы. В эту пору отношения СССР, а следовательно, и соцлагеря, с Китаем были совсем не простыми. Чтение древнего китайского философа-поэта, жившего задолго до нашей эры, в контексте с размышлениями по поводу режима службы было расценено как «нестандартное мироощущение». Да-да, именно так! Парня подвергли психиатрической экспертизе и уволили из армии. Ему обещали содействие при поступлении в вуз при условии, что он даст письменное согласие работать тайным информатором министерства безопасности ГДР. Согласия он не дал, и дорога в вуз была закрыта. Родителям было поставлено на вид за плохое политическое воспитание сына. У нас из искры раздувать умеют пламя. Так что страхи Эвелины стали мне понятны. Гэдэровский режим очень напоминал советский. В нашей «заводе» застойно-запойных времён жилось даже поспокойнее. А дышать было везде тяжело: воздуха, воздуха не хватало.

Мы с мужем оказались в Кёльне через четыре года после падения Берлинской стены. В первое же лето мои друзья навестили нас. Оба были на пенсии. Впервые стояли они на берегу Рейна (а для немца Рейн — что для русского Волга!), впервые видели следы римского присутствия на германской земле, впервые оказались перед старинными витражами под сводами кёльнского Собора. И всё же неприязнь и недоверие к Западу у них сохранялись, притом что доверие к режиму ГДР было подорвано уже давно. Они словно не чувствовали себя гражданами собственной страны, явно не хотели и не могли принять новые правила игры. На склоне лет они оказались аутсайдерами. Я их могла понять лучше многих: ведь мы тоже пережили распад Союза, поворот руля на 180°, крушение кумиров, переоценку ценностей. Моё положение в Молдавии было и того хуже: никуда не выезжая, не покидая пределов своей родины, я её в одночасье лишилась: ни гражданства, ни языка. А на заборах надписи: «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр!» Осталось мучительное ощущение кругового предательства. Это нас сблизжало.

Власти объединённой Германии не поторопились открыть объятия антифашистам. Мне и сейчас больно знать, что Эвелина не имеет никаких льгот, в то время как ими пользуются в ФРГ не только бывшие солдаты и офицеры вермахта, но и немцы с нацистским прошлым, палачи её родителей, её гонители.

На вопрос, хотелось бы ей, чтобы вернулись времена ГДР, Эвелина отвечает отрицательно, но нынешнее состояние восточных земель её тревожит, а рост неонацистских настроений в обществе даже пугает. Сохраняя верность идеалам родителей, Эвелина глубоко переживает то, что идеалы эти сегодня оплёваны, поруганы недругами, врагами социалистической идеи и — что ещё больнее — опорочены теми, кто примазался к *товарищам*, кто, не жалея громких и пышных слов, создавал себе имидж стойких и верных «геноссен — коммунистен», а при смене власти переметнулся в другой лагерь, быстро приспособился, действуя применительно к подлости. После 1989 года супруги остались членами СЕПГ, потом — той же партии под названием ПДС, но в конце 90-х из партии наконец вышли. Практическая политика ПДС, особенно её руководителей, всё больше расходилась с их убеждениями.

Никогда не ограничивавшиеся только личными интересами, Эвелина и Эдгар, расставшись с Берлином и осев в Мотцене, не замкнулись в кругу семьи (а у них два взрослых сына, внуки, внуки и даже правнук появился). Они привыкли быть полезными людям, нести им знания, а потому занялись краеведческой работой, создали местный музей, организовали библиотеку для детей и взрослых, много работают с местной школой. Оба музицируют, активно участвуют в хоре. В пору студенчества оба пели в хоре московского немецкого землячества. Репертуар сейчас иной, преобладают народные песни, но нет-нет да и тряхнут друзья стариной, и тогда над замершим озером далеко несётся песня Бертольта Брехта и Ганса Эйслера:

Drum links, zwei, drei!
Drum links, zwei, drei!
Wo dein Platz, Genosse, ist!

Post Scriptum

Сама жизнь написала послесловие к моему рассказу. На исходе июня 2005-го в Кёльн приехал с лекцией Евгений Беркович, а с ним — московский «де sant»: сценарист Борис Соломонович Шейнин, режиссёр Александр Андреев и оператор Виктор Ёркин. По заданию студии «Параджанов-фильм» они снимали документальный фильм, в основу которого легла книга Берковича «Банальность добра». По ходу дела возникли новые сюжеты. Их заинтересовали мои рассказы об Эдит Штайн, недавно канонизированной монахини кармелитского монастыря Кёльна, которую как еврейку по происхождению сожгли в Освенциме, о скульпторе Гюнтере Демниге, создателе Stolpersteine, о книге Вл. Породоминского «Планк, сын Планка» о молодом Планке, казнённом за антифашистские взгляды, а также история Эвелины и её семьи. Москвичи отправились в Мотцен, беседовали, снимали и остались премного благодарны за то, что я им «подарила» своих друзей. Фильм выходит в прокат под названием «Вопросы к Богу». Федеральное агентство по культуре и кинематографии, поддержавшее его идею, предполагает его показ на кинофестивале в Берлине в феврале 2006-го. Ждём с нетерпением!

Третье тысячелетие преподносит не только трагические, но и радостные сюрпризы. 19 августа 2005 года, несомненно, войдёт в историю иудео-христианских отношений. Впервые за двухтысячелетнюю историю евреев Германии их Дом молитвы был удостоен посещения Папы римского. Это — событие!

Евреи породили христианство, а вместе с ним — в лице христианской Церкви — своего векового врага и гонителя. Христианский антисемитизм, всячески загуманивая, а то и скрывая, что Иисус и апостолы были евреями, что Библия — это Книга евреев, закрепил в сознании миллионов образ еврея как злодея-богоубийцы. Потребовалось почти два тысячелетия, чтобы Ватикан отказался от теологического антисемитизма.

Папа Иоанн XXIII в марте 1959 года изъял из текста предпасхальной литургии обидный эпитет из фразы, которая в течение веков звучала на страстную пятницу во всех католических храмах: «Позволь нам молиться также о неверных (вероломных) евреях». Когда спустя три года один из кардиналов в присутствии Папы прочёл вычеркнутые им слова, Иоанн XXIII прервал его: «Повторите, но в новой форме». Специальной буллой «О евреях и других нехристианских народах» (1965) он положил конец преследованиям евреев со стороны католической церкви. Папа написал искупительную молитву, обращённую к Иисусу Христу: «Мы осознаём теперь, что много-много веков слепоты поразили наши очи, так что мы не созерцали красоты Тобю избранного народа и не узнавали в лицах их черт нашего брата-первенца. Мы осознаём, что чело наше заклеено Каиновой печатью. Столетия пролежал Авель в крови и слезах, ибо забыли мы про любовь к Тебе. Прости нас за то, что своим прегрешением мы во второй раз распяли Тебя».

Папа Иоанн Павел II пошёл дальше: в Иерусалиме он поклонился не только христианским святыням, но молился у Стены Плача, там произнёс он слова покаяния: — *Mea Culpa, mea maxima Culpa!* (Мой грех, мой великий грех!). Впервые в истории католицизма он посетил главную синагогу в Риме. Иоанн Павел II действовал в духе «*Nostra aetate*» — главного документа Второго ватиканского собора, прошедшего в 1965 году, на нём Папа Павел VI снял с евреев обвинение в богоубийстве. Не могу не напомнить, что более чем за сто пятьдесят лет до этого немецкий мистик Юнг-Штиллинг убедил свою паству (секта евангелистов-гернгутеров) в том, что «нынешние иудеи Царя славы не распинали» и вины на них нет. Обращаясь к евреям в Риме, Иоанн Павел II сказал чётко и ясно: «Вы — наши старшие братья». При нём прошла канонизация нескольких священнослужителей и монахов — мучеников нацистского режима, в том числе еврейки, принявшей постриг в кармелитском монастыре Кёльна, философа Эдит Штайн, погибшей в 1942 году в Освенциме.

¹ Напечатано в журналах: *Лехаим*. М., 2005. № 11; под названием «Открытый и дружественный диалог необходим» — *Партнёр/Partner*. Дортмунд, 2005. № 10.

В годы нацизма большинство католиков и протестантов Германии не сопротивлялось бесчеловечному режиму и покорно поменяло Крест на свастику. Молчание Папы Пия XII их в этом поддерживало. Как было признано на синоде, из-за его молчания «Церковь утратила невинность». Но нашлись такие, кто не молчал, за что и претерпели мучения, но не посрамили своей веры.

Баварский католический священник Карл Штайнбауэр запретил вывешивать нацистские флаги на своей церкви. На допросе в СС перед отправкой в Дахау он объяснил свои мотивы: «Мне грозит больший ужас, чем Дахау. Меня ждёт Страшный суд».

Мюнстерский епископ граф фон Дален отказался клясться в верности Адольфу Гитлеру и в своих проповедях осуждал действия его приверженцев. Его авторитет, в том числе и среди фронтовиков, был настолько велик, что нацисты не решились его тронуть. Он продолжал сопротивляться злу, его оружием было Слово. Папа Иоанн Павел II во время визита в Германию в 1987 году на коленях молился перед надгробием мятежного епископа в соборе Мюнстера.

Кардинал Ратцингер, бывший единомышленником и главным помощником опочившего Папы, став новым понтификом, Папой Бенедиктом XVI, продолжает традицию своих ближайших предшественников в деле наведения мостов между народами и конфессиями. Лучшим доказательством тому служит его визит в кёльнскую синагогу. Скажем прямо, прежнему Папе было легче переступить порог синагоги: Войтыла был сыном своего народа, а поляки страшно претерпели от нацистов. Ратцингер принадлежит к народу, повинному в Холокосте. Ребёнком он, как все его ровесники, был членом «Гитлерюгенда», а затем учился выживать в разорённой и годной послевоенной Германии.

Визит в синагогу был для Бенедикта XVI нелёгким. Он и не может быть лёгким для Папы, как, впрочем, для каждого немца. Прежде чем войти в молитвенный зал, посетитель проходит через холл мимо траурной стены из чёрного камня, на которой серыми буквами на иврите и немецком начертано: «Памяти одиннадцати тысяч еврейских жертв — мужчин, женщин и детей — кёльнской общины. Они погибли за свою веру в тёмное время 1933–1945». У этой нашей Стены плача Папа стоял в молчании, пока раввин читал *кадиш* — поминальную молитву. Потом он сказал, что склоняет голову перед всеми, кто стал жертвой этого чудовищного злодейства.

Зал приветствовал Папу и сопровождавших его кардиналов Майснера, Лемана, Каспера и Содано стоя, овациями, как посланцев доброй воли. Без мира между религиями не может быть мира на земле, это понимают евреи и неевреи. И первые слова Папы, обращённые к собравшимся и произнесённые на иврите, прозвучали так: «*Шалом лахам!*» (Мир вам!). Папа начал с уверения в том, что приложит все силы, чтобы решающие шаги, предпринятые его предшественником для улучшения отношений и дружбы с еврейским народом, были продолжены.

Отметив, что еврейская община Кёльна — самая древняя на немецкой земле, Папа выразил надежду на то, что евреи, живущие в Кёльне, сегодня и впрямь чувствуют себя здесь дома. Он признал, что отношения евреев и

немцев складывались непросто, болезненно: от изгнания евреев из города в период Средневековья — до попытки их поголовного уничтожения в середине XX века. Синагога на *Roonstraße*, которую посетил Папа, тоже пылала в ноябре 1938 года. Бомбёжки довершили её разрушение. Она была восстановлена под руководством кёльнского архитектора Хельмута Гольдшмидта, пережившего Освенцим и Бухенвальд. Её заново освятили в 1959 году в присутствии канцлера Конрада Аденауэра, который в донацистские годы был бургомистром Кёльна. Гитлеру служить он не стал. Обращаясь к евреям в 1959 году в том же зале, где сегодня держит речь Бенедикт XVI, он сказал: «Я надеюсь на хорошее совместное будущее».

Между тем Папа в своём белом одеянии одиноко стоит между двумя огромными *менорами* (светильниками), на его белой, как лунь, голове не папская тиара, а скромная белая шапочка-кипа. В синагоге очень много народу, и на Папу устремлён взгляд всех собравшихся. Он всем своим видом показывает, что готов без всяких скидок держать ответ за эту сложную и мучительную двухтысячелетнюю историю. Папа не уклоняется от темы Освенцима, с момента освобождения которого прошло уже 60 лет.

29 января, незадолго до кончины, Папа Иоанн Павел II обратился к собравшимся на площади св. Петра в Ватикане с короткой речью: «Лагерь смерти в Освенциме — одна из самых мрачных страниц в истории человечества. Бог не хочет, чтобы нам пришлось рыдать над новым Освенцимом. Будем же молиться и стараться, чтобы этого никогда больше не было. Антисемитизма больше не должно быть!» Новый Папа, говоря об Освенциме, склоняет повинную голову как глава Католической Церкви и как представитель немецкого народа, хотя и был в годы нацизма ребёнком.

В своей речи Папа подчеркнул особую значимость документа Второго ватиканского собора «*Nostra aetate*», который открыл новые перспективы в еврейско-христианских отношениях через диалог и партнёрство. «В этом документе говорится о наших общих корнях, о богатом духовном наследии, которым евреи и христиане владеют сообща... Глубоко мною чтимый мой предшественник, принимая во внимание еврейские корни христианства, так наставлял немецких епископов: “Кто почитает Иисуса Христа, почитает еврейство“».

«*Nostra aetate*» осуждает любые проявления ненависти к еврейству и антисемитские заявления, где бы и когда бы они ни имели место. Отрицая дискриминацию любого типа, Папа заявил, что она противоречит учению Христа. «Церковь же, — продолжил Папа, — обязана позаботиться, чтобы сделать Его учение достоянием подрастающих поколений, они никогда не должны стать свидетелями ужаснейших событий, которые имели место перед и во время Второй мировой войны. Эта задача имеет особое значение, ибо сегодня, к сожалению, возникают новые признаки антисемитизма и формы общей враждебности к чужакам».

Папа подчеркнул то, что католическая Церковь сегодня призывает к толерантности, уважению, дружбе и миру между народами, культурами и религиями. Он отметил деятельность Кёльнского общества христианско-еврейского взаимодействия, которое хорошо потрудились, чтобы после

1945 года евреи почувствовали себя в Кёльне, как в своём доме. «Конечно, многое предстоит ещё сделать. Нам нужно больше и много лучше узнавать друг друга. Именно потому я бы настоятельно побуждал к откровенному, исполненному доверия диалогу между евреями и христианами. Только так станет возможным прийти к приемлемой для обеих сторон интерпретации спорных исторических вопросов и, прежде всего, добиться прогресса в теологической оценке отношений между евреями и христианами. Честно говоря, в этот диалог невозможно вступить без того, чтобы преодолеть существующие различия или их преуменьшить. И всё же, как бы нас ни разводили наши глубочайшие религиозные убеждения, *мы должны уважать и любить друг друга*». (курсив мой. — Г.И.) Эта мысль была главной в речи Папы.

«Наконец, наш взгляд не может быть устремлён только в прошлое, — продолжает Папа, — он должен точно так же обращаться вперёд к сегодняшним и завтрашним задачам. Наше богатое общее наследие и наши сориентированные на доверие братские отношения обязывают нас быть в согласии и вместе практически действовать во имя защиты и поддержки прав человека и святости человеческой жизни, ценностей семьи, социальной справедливости и мира во всём мире».

Папа, безусловно, прав: человек не может жить только прошлым. Но ведь в случае с евреями мы сталкиваемся с особым феноменом. Когда Наполеон безуспешно осаждал крепость Акко, что на севере нынешнего Израиля, у него закипали слёзы яростного бессилия, но тут он заметил плачущих стариков-евреев. Он спросил, о чём они так безутешно рыдают, и ему ответили, что евреи оплакивают разрушение Храма Соломонова. «Когда это было?» — поинтересовался генерал Бонапарт. Ему объяснили. «Как?! Они оплакивают Храм, разрушенный свыше двух тысяч лет назад? — и, помолчав, изрёк: — Народ с такой памятью будет жить вечно». Память еврейского народа — это урок истории, мост между прошлым и настоящим. Забвение и прощение — это разные понятия.

Мне показалось, что Папа чувствует боль евреев, иначе не произнёс бы он слов, которые понял каждый сидящий в зале, — *«nie wieder!»* (никогда больше!). В зале присутствовали два человека, пережившие Освенцим: почётный гражданин города Кёльна г-н Симонс и г-жа Лерер, мать члена правления общины. Думалось ли ей в 1944 году в Освенциме, где она должна была стать лагерной пылью, что наступит час, и её сын будет приветствовать римского Папу в стенах синагоги, держать перед ним речь, и Бенедикт XVI пожмёт руки матери и сына и вручит им памятные медали?

Папа начал свою речь пожеланием мира всем собравшимся и закончил словами из псалма Давидова: *«Господь даст силу народу Своему; Господь благословит народ Свой миром»*. *Да услышит Он нас!*» Так хочется верить, что слова Папы будут услышаны его паствой и превратятся в дела.

Историческое значение визита Папы в том, что обе стороны продемонстрировали искреннее стремление к дружественному диалогу. Евреи принимали Папу открыто и достойно. В честь прибытия высокого гостя кантор трубил в *шофар* (трубный рог). Это — символический акт, подчёркивающий важность, значительность происходящего.

Речь председателя президиума Центральной благотворительной организации евреев Германии г-на Лерера была глубоко содержательной, откровенной, нелицеприятной. Не заискивая перед высоким гостем, он ставил острые вопросы и называл вещи своими именами, призывая всех присутствующих, и прежде всего Папу, к активному противодействию антисемитизму и враждебности к евреям. Он призвал Ватикан сделать изучение тайного ватиканского архива, открытого с февраля 2003 года, более интенсивным, чтобы понять молчание Пия XII по поводу трагедии евреев в годы нацизма. Заслужил ли он аттестацию «гитлеровского Папы»? Честные ответы на большие вопросы помогут ранам закрыться.

Г-н Лерер высоко оценил заявление «*Nostra aetate*», которое сорок лет назад покончило с главным обвинением всех евреев в смерти Иисуса. Очень важно, что к этому революционному по тем временам документу приложил руку молодой теолог Йозеф Ратцингер, ставший ныне Папой. А закончил он свое выступление таким обращением к Бенедикту XVI: «Мы видим в вас сегодня не только главу всех католиков, но и немца, который осознаёт свою историческую ответственность».

Папа, вначале державшийся со сдержанной, дипломатической вежливостью, помягчел, преобразился, когда ему стали представлять наиболее активных и уважаемых членов общины. Он улыбался, обеими руками брал руку представляемого ему человека и для каждого из шестнадцати нашёл тёплое слово. В эти минуты он казался доступным и дружественным.



Исаак Ольшанский приветствует Бенедикта XVI

Все понимают, что эта встреча — событие историческое, значимость которого ещё предстоит осмыслить. Только не нужно обольщаться и думать, что лучшее будущее уже наступило. Слова Папы Бенедикта XVI должны дойти до его паствы, стать для них важным дополнением к символу веры. Перековка сознания — процесс длительный. Моисей водил евреев по пустыне сорок лет, чтобы вытравить память о рабстве. Сейчас другие времена. В распоряжении Папы и его прелатов — современные масс-медиа. Немецкая пресса, телевидение уделили этой встрече много внимания. В течение часа шла прямая трансляция по многим немецким каналам. Полный текст речи Папы опубликован в ряде серьёзных газет. Большой интерес проявили американские и израильские масс-медиа. Разумеется, есть в этом и дань злободневности, но не станем забывать, что Папе внимал миллион молодых католиков, съехавшихся в Кёльн из разных стран. Посещение синагоги входило в программу четырёхдневного визита Папы, главной целью которого было участие в XX Всемирном дне католической молодёжи, но пресса отмечает, что визит в синагогу — центральная часть программы. Хочется надеяться, что молодёжь разнесёт слово Папы по всему миру.

Встреча Папы с евреями Кёльна станет страницей истории, наши дети и внуки будут читать о ней, а нам посчастливилось стать её живыми свидетелями.

Сама жизнь позаботилась о том, чтобы надежда на возможность дружественных отношений между евреями и немцами, которая подталкивала меня к моим изысканиям, но увядала по мере приближения к роковой черте — временам Холокоста, вновь ожила, за что я благодарна Папе Бенедикту XVI.

ОТЕЦ ЭРВИН: «ТУДА ДУША МОЯ СТРЕМИТСЯ...»

Черкассы, Фастов, Жмеринка, Золотоноша... Эти названия знакомы мне с детства. Нет, не потому что там побывала. Когда-то моя тётя, работавшая в бухгалтерии Управления одесской железной дороги, по вечерам дома делала разноску, вела подсчёты, а я помогала ей заработать копейку (её работа была сдельная, семья наша в послевоенные годы нуждалась, и взрослые цеплялись за возможность даже мизерного приработка). Названия этих железнодорожных станций впечатались в детскую память.

И вот через 60 лет, оказавшись в столице империи Круппа — Эссене, в уютном, тёплом немецко-русском доме, хозяева которого родом с Украины, я вновь слышу знакомые названия: Черкассы, Фастов, Золотоноша... Это отец Эрвин рассказывает свою одиссею.

Слухи об отце Эрвине доходили до меня давно. Удивительный немец, вроде бы католик, а ведёт службу в православной церкви Бориса и Глеба в Эссене. Говорит по-русски. Спешит навстречу всем, кто нуждается в помощи. Весь в трудах и заботах. Аскет и бессребреник. Человек совершенно уникальный!

И вот довелось встретиться. Передо мной человек, про которых говорят: пройдёт — не заметишь. Тощий, нескладный, в видавшем виде пиджачке, неухоженный, прячет лицо в седую бородёнку. Какой же это немец?! Типичный житель российской глубинки, причём явно из нуждающихся, но при этом — деликатный, как-то даже тушующийся.

Я просто ошарашена внешней негероичностью легендарного отца Эрвина, разговор поначалу не идёт; гостей приглашают отужинать, и небольшое общество (нас за столом шестеро) воздаёт должное кулинарному искусству хлебосольной хозяйки. Исподволь присматриваюсь к отцу Эрвину и сама ловлю внимательный взгляд его серых глаз, прячущихся под кустистыми бровями. Замечаю, что мой рассказ о встрече с Папой в кёльнской синагоге не оставил его равнодушным. Делюсь своими планами издать книгу о евреях и немцах, называю имена тех, о ком в ней пойдёт речь. Отец Эрвин оживляется. Наконец удаётся его «разговорить». Негромким глуховатым голосом начинает он свой рассказ.

Восемнадцатилетним юношей попал Эрвин Иммикус в начале 1943 года на Восточный фронт, там и определилась его судьба. А до того он рос в сарландской деревне в семье верующих католиков, учился в гимназии. С приходом к власти Гитлера материальное положение немецкой бедноты, и Иммикусов в том числе, улучшилось, стали выплачивать «детские» деньги. «Я

ведь даже вступил в НДСАП», — смущённо признаётся отец Эрвин. А дело было так: когда ему исполнилось восемнадцать, собрали юношей в сельсовете, стали агитировать вступать в ряды нацистской партии. Поскольку в семье понимали, что её деятельность далека от христианских заповедей, он отказался. Ему мягко объяснили, что в таком случае двери гимназии будут для него закрыты, и настойчиво допытывались о причине отказа. Юноша не придумал ничего лучшего, как сослаться на безденежье: ему нечем платить взносы. Через неделю Эрвину радостно объявили, что *Parteigenossen* согласились платить взносы и за него. Деваться было некуда. «Но я не ходил на собрания, а партийный значок носил под лацканом пиджака, не на виду, а потом меня призвали в армию», — подводит итог этой истории отец Эрвин.

Его воинская часть попала в окружение, десять немецких дивизий оказались в Черкасском котле (знаменитая Корсунь-Шевченковская операция). Выжили немногие. «Нам было приказано выбираться из окружения своими силами. Куда идти? Глубокий снег приглушал звуки, мы не слышали канонады, шли наугад. Увязли в глубоком овраге. Наступила ночь. В темноте натыкались то на трупы, то на брошенную технику». После двух бессонных ночей он уснул, облокотившись на дышло телеги, где лежали раненые. Проснулся — вокруг никого. Незнакомо откуда появился молодой эсэсовец, он предлагал драться до последнего патрона. У него выхода другого и не было. И отец Эрвин объяснил нам, что всем эсэсовцам на внутренней стороне руки, ближе к подмышке, татуировкой обозначали группу крови, заботились об элитных войсках, не допуская, что они могут оказаться в плену. А может быть, и специально клеймили их таким образом, чтобы мысль о плене как способе спасения не возникла у «меченых» ребят.

Сражаться не пришлось, поскольку трое русских солдат тут же оказались рядом и закричали: «Оружие — на землю!» и «*Hände hoch!*» Эрвин повиновался, совершенно забыв о «лимонке» в кармане. Русский гранату нашёл, но факт «сокрытия» последствий не имел. Офицер, к которому их привели, попросил закурить. Эрвин смолоду был некурящим, но это не вызвало ярости. Ярость начальства Эрвин, впрочем, вскоре смог увидеть. Их, человек десять пленных, заперли в коровнике, пить хотелось ужасно. Молоденький солдатик пожалел пленных, отлучился со своего поста и принёс им ведро воды. За отлучку офицер бил солдата по лицу до крови. Эрвин был поражён. Немецкий офицер мог пристрелить на месте, но чтобы бить — это было неслыханно.

Эрвину сегодня уже восемьдесят, но память его цепко удерживает многие детали. Он помнит, как их гнали по морозу к сахарному заводу в Умани. Он тащился из последних сил, боялся упасть. В детстве он читал книгу о походе Наполеона в Россию. Император приказал расстреливать раненых русских пленных как обузу. Неужели его ждёт такая же участь? Но в снег упал не он, а шедший рядом парнишка: «Всё! Больше не могу». Подошли двое русских солдат, но пристрелить упавшего не решились. Эрвин продолжал стоять возле него. На вопрос офицера, не брат ли он ему, ответил отрицательно, за что долго себя корил, но и отойти не отошёл. Офицер велел поднять парня, и тот дошёл-таки до завода. «Я его потом встретил уже в Германии после войны!»

Через несколько дней, когда они прибыли в Золотоношу, у Эрвина отнялись ноги. В госпитале было решено: ампутировать. Но вечером произошло нечто необъяснимое. Появились две бабушки в «хусточках» (Эрвин нет-нет да и вставит в речь украинское слово) и украли недвижимого Эрвина. Старушки в белых платочках подхватили его под руки и волоком потащили из палаты. Он выглядел моложе своих девятнадцати, личико нежное, красивое, чистый ангелок, только без крылышек и пухлых щёчек, весил не более сорока килограммов. Притащив немца в хату, они стали обкладывать его ноги распаренными конскими кизьяками. Лечили его так дней десять — и выходили.

После этого его отправили на шахты в Донецк, но там признали нетрудоспособным и направили в Умань, в госпиталь. Первый этаж занимали в нём советские раненые, а второй — немцы. Эрвин утверждает, что кормили их из одного котла и рацион был один и тот же. Он его запомнил: 600 граммов хлеба, утром пшённая каша и ложка сахара, в обед — суп и кусок американской тушёнки. Даже махорку давали, но бумага (газеты) для самокруток была дефицитом. Он считает, что у него нет права обижаться на советский народ, на советскую армию.

Добрым словом поминает отец Эрвин капитана медицинской службы, еврея, начальника госпиталя, который заставлял немецких раненых работать во дворе. «Он был прав: в мае было тепло, и на воздухе дышалось куда легче, чем на нарах в перенаселённых палатах, где лежали гнойные больные. А работу мы себе придумали сами. Во дворе лежали кучи красного и жёлтого кирпича, мы его разбивали и делали мозаику, соорудили солнечные часы, украсили их узорами».

Успел поработать юный Эрвин и на лесоповале в Черкасской области. Норму выполняли ежедневно, иногда даже до окончания рабочего дня. Видимо, нормы были не очень высокими. Конвоиры попадались сердобольные, иногда разрешали накопать и испечь картошки, местные женщины давали немного хлеба. Однажды они встретили бригаду немцев возгласами: «Гитлер капут!» Это было в день неудачного покушения на Гитлера в июле 1944 года.

Своим спасителем отец Эрвин считает врача-еврея, настолько низкорослого, что они его прозвали гномом. «Благодаря ему меня признали нетрудоспособным, комиссовали, я попал во второй транспорт в августе 1945-го и был отправлен на родину». Границу между советской и американской оккупационными зонами Эрвин перешёл 8 сентября, в день своего рождения. Ему в этот день исполнился 21 год. Мэр Гёттингена, старинного университетского города (там набирался знаний пушкинский Ленский — «с душою прямо гёттингенской»), принял группу вернувшихся военнопленных, и отец Эрвин по сей день помнит вкус пирожного, которым их угостили. А мы ведь знаем, как встречали наших солдат, возвращавшихся из немецкого плена, какое «угощение» их ожидало на родине!

Дома Эрвина считали пропавшим без вести. Более того, вернувшийся ранее однополчанин сказал отцу, что его сын погиб. И вот — радость встречи! Ещё будучи в плену, Эрвин решил, что, если уцелеет, станет священни-

ком. А потому, окончив гимназию в 1947 году, он поступает в теологическую академию под Кобленцом. Шесть лет продолжалась его учёба здесь, а затем ещё шесть лет он провёл в Риме при Ватикане. Он занимался в Русикуме, где располагался Восточный институт (в годы войны здесь прятали евреев). Россия его «не отпускала». Здесь он написал и защитил диссертацию на тему «Сельский приход в начале века по отзывам православных епископов». В начале XX века обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев (все помнят знаменитые строки Блока: «Победоносцев над Россией простёр совиные крыла») потребовал от всех епископов отзывов по деятельности епархий. Был собран огромный материал. Отец Эрвин выбрал для исследования сельский приход. По материалам диссертации вышла книга, которая читается как увлекательный исторический роман. Она написана по-немецки, но автор штудировал груды отзывов по-русски, и я свидетельствую: его русский язык просто великолепен.

Будучи рукоположен в священнический сан, он стал зваться Pater Immikus. Он и сам тогда не подозревал, что в скором времени Pater Immikus превратится в отца Эрвина. В 1958 году восточная конгрегация Ватикана заинтересовалась положением русских католиков в Германии. Во время четырёхмесячных каникул Эрвин объехал все пять епархий на Руре в поисках русских людей. Тогда-то и познакомился он с Борисом Николаевичем Донковым, в доме которого мы сегодня встретились. Он ровесник отца Эрвина. Когда Эрвина откомандировали на Восточный фронт, юного жителя Сум Борю Донкова погнали на принудительные работы в Германию. После окончания войны возвращаться на родину он не захотел. Советские эмиссары прочёсывали и западные земли в поисках соотечественников, но Бориса спрятали немцы.

За четыре месяца Эрвин нашёл немало русских, проживающих в Рурском бассейне, но католиков среди них было немного, большая часть оказалась православными. В Ватикане его спросили, хочет ли он работать с этими людьми, и он без долгих раздумий согласился. Он создал православную церковь в Эссене, сам дал ей имя Бориса и Глеба (эти братья-мученики были близки его душе). Сейчас церковь эта находится в Даттельн-Хоненбурге (в 10 км от Дортмунда). Он стал настоятелем этой церкви, оставаясь католиком. «Епископ Дюссельдорфа Лонгин признаёт мою работу, он служил обедню в моей церкви, наградил меня золотым крестом. Православный епископ наградил меня, католика!» — не без гордости говорит отец Эрвин.

В Советский Союз он начал ездить с 1966 года. «После плена у меня началась непонятная и необъяснимая тоска по этой стране, — говорит отец Эрвин, опустив глаза и чуть запинаясь. — Понимаете, у меня сложилось совсем другое представление о русских, чем нам внушала наша пропаганда. Я говорю “о русских”, имея в виду и жителей Украины, Белоруссии, куда я теперь тоже езжу. В Ватикане мои поездки не осуждают, мне разрешают три месяца проводить на Востоке. Они считаются служебными поездками, но не оплачиваются. У вас это называлось отпуском без сохранения содержания».

«Туда душа моя стремится, за мыс туманный Меганом», — мандельштамовские строки невольно вырываются у меня в ответ на признание отца Эрвина, и он оживлённо откликается, повторяя: «Туда душа моя стремится...»

Мне известно, что отец Эрвин ездит в Россию, на Украину и в Белоруссию не как турист, не только ради общения с друзьями, знакомыми и родственниками своих прихожан (а прихожан у него много, едут к нему со всей Германии), но каждый раз везёт гуманитарную помощь: вещи, медикаменты, деньги. И я решаюсь рассказать о моей знакомой, немке из Мюльхайма, которая тоже живёт благотворительной деятельностью. Познакомилась я с ней лет 15 назад в Кишинёве в доме Элли Карловны Пиларино, о которой я упоминала в эссе о гернгутерах. Фрау Шмидт ежегодно вот уже много лет приезжает с грузовым автофургоном, а то и двумя, доставляя в Молдавию гуманитарную помощь (вплоть до специальных кроватей, медицинской аппаратуры, инвалидных колясок, компьютеров) для республиканской онкологической больницы и детских домов. Эта маленькая немолодая женщина содержит небольшой склад в Мюльхайме, где собирает гуманитарный груз (однажды его разгромили и пытались поджечь: видимо, не все соотечественники одобряют её деятельность). А затем то в зной, то в холод пробивается со своим грузом через границы в Молдавию. Тот, кто проходил румынско-молдавскую или украинско-молдавскую пограничные таможи, понимает, что слово «пробивается» очень точное. Доставить гуманитарную помощь в бывший Советский Союз, пожалуй, ещё сложнее, чем её собрать. Однажды она на три дня застряла на занесённом снегом перевале в Румынии, а дома остался муж и сын-инвалид. Правительство Германии высоко оценило подвижнический труд фрау Шмидт, наградив её орденом. Правительство Молдовы не удосужилось даже поблагодарить эту женщину, спасибо, хоть перестало чинить препятствия. Кому-то из власти предержащих было невыносимо знать, что поток гуманитарной помощи течёт мимо них, ничто не прилипает к их рукам, потому и поступали указания на пограничную таможню «держатъ и не пущатъ». Сколько раз, чтобы провезти груз, фрау Шмидт зывала к помощи немецкого посольства в Молдавии! Сколько раз в сердцах говорила, что больше её ноги здесь не будет! Но проходит полгода, и в квартире Элли Карловны раздаётся звонок: «Элли, жди! Я еду!»

«Значит, я не один!» — радуется отец Эрвин. К счастью, это так, он — не один, но люди, подобные ему и фрау Шмидт, единственные в своём роде, это Божий *штучный товар*, если такое выражение не обидит их.

Маршруты отца Эрвина, как уже сказано, иные. Его автофургон хорошо знают на всех польско-белорусских, польско-украинских таможнях, ему дают зелёную улицу. Да, бывало, нападали на польских дорогах. Отец Эрвин не робкого десятка, однажды пошёл на таран, свалил в кювет машину нападавших, а сам ушёл от погони. Но однажды на автозаправке и его обчистили, как



С отцом Эрвином в доме
Б.Н.Донкова

липку: украли сумку со всеми документами и деньгами. Хорошо, хоть разрешили позвонить в Германию, воззвать о помощи. Всякое бывало...

Отец Эрвин приобщил к благотворительной деятельности и своего брата, тоже католического тюремного священника. Он теперь каждый год летает в Тверь и помогает тамошним заключённым. «И ещё двух священников я взял однажды с собой, и они тоже полюбили Россию, помогают мне теперь собирать помощь».

Я говорю отцу Эрвину о том, что моя знакомая, Катинка Дитрих ван Веринг, доктор киноведения, основавшая первый Гёте-институт в Москве и руководившая им вместе с мужем несколько лет, издала книгу писем, которые она из Москвы писала в Германию своей старенькой матери, и назвала она этот томик — «Из России — с любовью». А миссию людей, подобных отцу Эрвину, можно назвать — «В Россию — с любовью». И как это важно, что в истории столь непростых немецко-русских отношений есть и такая страница.

Да, что ни говорите, а немцы настолько разные, что в пору размышлять и писать не только о традиционно загадочной русской, но и о загадочной немецкой душе.

МЕМОРИАЛ НАД РЕЙНОМ «МААЛОТ»

Выражение «дорога к Храму» стало особенно популярно после фильма Абуладзе «Покаяние». Со временем эти слова стали употреблять как разменную монету. Со словами такое случается, они тоже ветшают, как вещи. А вот с материальным воплощением дороги, ведущей к Храму, я встрети-лась здесь, в Германии.

Всякий, кто заглядывает в Кёльн не проездом, на часок-другой, а хотя бы на денёк, осмотр главной достопримечательности, знаменитого готического Собора, 750-летие которого отпраздновали недавно, начинает с набережной. Почему с набережной? Самая старая, алтарная часть храма — сплошные каменные кружева, взмывающие ввысь, или каменный орган, — выбирайте любое сравнение! — обращена к Рейну.

Отсюда к Собору, стоящему на холме, ведёт дорога, а точнее — целый архитектурный комплекс, сооружённый в 1986 году по проекту выигравшего конкурс архитектора-израильянина Дани Каравана. Автор дал ему говорящее название «Маалот», что на священной иврите (для справки: большинство израильтян пользуется разговорным ивритом) означает — *Ступени, Восхождение* (по-немецки — *Stufen*). За этим словом — энергетика пятнадцати библейских *Псалмов* (120–134), которые Лютер называл *Песнями паломников*, Мартин Бубер, вслед за средневековым еврейским мудрецом Гершомом, — *Песнями восхождения*, а Вульгата (единственный латинский перевод Библии, одобренный и признанный Церковью) — *Песнями ступеней*. Сооружение Дани Каравана дарит воображению простор для толкований, ассоциаций, озарений.

Ректор Кёльнской теологической академии имени Меланхтона Мартен Марквардт, мой добрый знакомый, посвятил расшифровке сложной символики этого уникального сооружения большую статью. Дани Караван

построил дорогу к Храму, широко используя кабалистическую символику, и зашифровал во фрагментах ансамбля многие страницы очень непростой истории немецко-еврейских отношений. Г-н Марквардт призывает всех, стоя на этих Ступенях, слушать звучание псалмов, ибо камни тоже звучат. А эти просто вопиют, ибо кёльнский «Маалот» — одновременно ещё и памятник жертвам Холокоста. В статье об этом рассказано подробно.

Марген Марквардт просит обратить внимание на кровлю современного здания, вдоль которого проложена дорога (они сооружались одновременно и органично связаны). В этом здании — филармония и музей, которыми Кёльн гордится. Многие отмечают необычную форму крыши, подобную череде вздымающихся волн. Большинство видит в них переключку с протекающим внизу Рейном. Такое толкование я услышала от немецкого экскурсовода. Подобное прочтение возможно. Но почему этих волн пятнадцать? Марквардт объясняет: по количеству псалмов. Пятнадцать Псалмов образуют над филармонией смысловой свод, к которому взмывает каждый звук, издаваемый инструментами или певцом.

Духовные силовые линии от Храма Соломонова, на ступенях которого левиты пели псалмы, тянутся до Кёльнского собора, где они в наши дни тоже звучат. Дани Караван, подаривший Кёльну «Маалот», позволил пешешагнуть через пространство и время и ощутить эту глубинную связь. Он напомнил о ней немцам. Имеющий глаза да увидит!

Книгу о своей жизни, об отце, родных и друзьях я так и назвала: «Маалот — Ступени — *Stufen*». В этом слове на трёх языках так много выражено и ещё больше зашифровано. Воистину слово-символ! Каскад больших и малых ступеней, ведущих от Рейна вверх, переходит в необычной конфигурации площадь, вымощенную кирпичом, цвет и фактура которого повторяется в стенах здания. Площадь носит имя уроженца Кёльна — Генриха Бёлля. Нобелевский лауреат умер незадолго до начала сооружения «Маалота». Его беспокойный дух витает в этих местах.

На одной оси с Собором, там, где заканчиваются ступени, высится необычное сооружение: шесть прямоугольных глыб, водружённых одна на другую, смотря в небо. Бетонные прямые призмы чередуются с железными, их периметр уменьшается по мере движения вверх, в них есть ступенчатость. Сооружение напоминает печь. В печь ведут гранитные ступени, их тоже шесть. Ступени рассечены посередине, ведь расколотой оказалась и жизнь шести миллионов евреев, загубленных нацистами. Сквозь узкую щель-прорезь в прямоугольных монолитах виден противоположный берег Рейна и вокзал *Дойц*. Именно оттуда уходили транспорты с евреями и цыганами Кёльна напрямик в Ригу, Терезиенштадт, Освенцим.

От Собора к памятнику тянется бетонная полоса с смонтированным в неё рельсом, эдакая однопутевка, ведущая в никуда, в ничто. Немецкий экскурсовод бойко объясняла, что бетон и металл памятника переключаются с мостом Гогенцоллерна, расположенным по соседству. «А рельс?» — спросила я, запинаясь. «А рельс — это намёк на вокзал», — нашлась дама. Вокзал и впрямь почти параллелен площади Генриха Бёлля. Кое-кто из

немцев, видимо, знал правду о памятнике, они опускали глаза, но экскурсоводу никто не возразил. Мне же для спора в то время не хватило знания немецкого. Да и разговор с Марквардом был ещё впереди.

Однако теперь, когда я привожу знакомых, гостей Кёльна, к «Маалоту», я им рассказываю то, что мне открыл г-н Марквардт. Однажды пришла я сюда с Риммой Запесоцкой, моей гостьей, родом из Питера, литератором и редактором. Она с интересом слушала мой рассказ. Выйдя на площадь Генриха Бёлля, вспомнили, как зачитывались когда-то его книгами. Выяснилось, что и ей близок его герой, клоун-неудачник Ганс Шнир, напрасно требовавший от соотечественников, и прежде всего от своих родителей, расчёта с нацистским прошлым.

Обходя здание филармонии, мы заметили на крыше мальчугана с барабаном. Вначале перепугались: а вдруг свалится?! Вглядевшись, поняли, что это кукла, муляж. В эту пору я готовила лекцию о Гюнтере Грассе и его «Жестяном барабане», потому обрушила на свою слушательницу массу сведений об этом странном барабанщике. Через некоторое время Римма прислала своё новое стихотворение «Мемориал над Рейном МААЛОТ», с посвящением мне. Им я и закончу эту книгу.

Над Рейном, у подножия Собора.
Где римской был колонии форпост,
Как мирный знак космического спора
Здесь прямо в вечность переброшен мост.
Постойте тут, не проходите мимо!
Ведь каждый миг поставлен на учёт.
И клоун должен снять остатки грима —
За смех и слёзы тут предьявлен счёт.
Хотя бы на мгновенье тут замрите —
Ведь в мир содомский возвратился Лот.
Звучат здесь на торжественном иврите
Духовные ступени — *Маалот*.
Звучат высокой нотой Восхождения
Библейские Псалмы Небесных Сил.
Всевышний дал им новое рождение —
И архитектор зримо воплотил.
Прочерчен выразительно и просто
Периметром над пламенем свечей
Весь путь от райских куц до Холокоста —
Лишь волны и дорога до печей.
А в печь ступени — выше, выше, выше.
Душа взошла — и ринулась в полёт.
И барабанщик маленький на крыше
Опять тревогу палочками бьёт.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Общий список литературы

- Еврейская энциклопедия: В 16 т. Под общей ред. д-ра Л. Каценельсона. Изд-во Брокгауза—Ефрона. Ротапринт. М., 1991.
Евреи и XX век. Аналитический словарь. М., 2004.
Краткая еврейская энциклопедия: В 10 т. Иерусалим, 1996–2000.

- Безансон А.* Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность Катастрофы. М., 2000.
Беркович Е. Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста. Заметки по еврейской истории XX века. М., 2003.
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
Грец Г. История евреев с древних веков до настоящего времени. В 12 т. СПб., 1888.
Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994.
Дроз Ж. История Германии. М., 2005.
Крейг Г. Немцы. М., 1999.
Марабини Ж. Повседневная жизнь Берлина при Гитлере. М., 2003.
Рајх-Раницкий М. Моя жизнь. М., 2002.
Слѣзкин Ю. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М., 2005.
Шлѣгель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1919–1945). М., 2004.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993.
Эйнхорн Е. Избранный выжить. СПб., 1999.

- Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bänden. Wiesbaden, 1966.
Encyclopaedia Judaica. Jerusalem, 1973.
Die Juden als Minderheit in der Geschichte. 1981.
Gay, Peter. Die Republik der Aussenseiter. Geist und Kultur in der Weimarer Zeit: 1918–1933. Frankfurt am Main, 1970.
Gay, Peter. Freud, Jews and Other Germans. Masters and Victims in Modernist Culture. N.Y., 1978.
Gidal, Nachum T. Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Gütersloh, 1988.
Goldhagen, Daniel Jonah. Hitler's willing executioners Ordinary Germans and the Holocaust. London, 1996.

Herman, Jost. Judentum und deutsche Kultur. Beispiele einer schmerzhaften Symbiose. Köln, 1996.
Herzig, Arno. Jüdische Geschichte in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, 1997.
Koch, Thilo (Hrsg.). Porträts zur deutsch-jüdischen Geistesgeschichte. Köln, 1997.
Mendes-Flohr, Paul. German Jews. A dual identity. New Haven & London, 1999.
Momenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. Köln, 1963.
Reich-Ranicki, Marcel. Die verkehrte Krone. Über Juden in der deutschen Literatur. Wiesbaden, 1995.
Reich-Ranicki, Marcel. Über Ruhestörer. Juden in der deutschen Literatur. Stuttgart, 1989.
Schütz, Hans J. «Eure sprache ist auch meine». Eine deutsch-jüdische Literaturgeschichte. Zürich — München, 2000.
Sartre, Jean-Paul. Betrachtungen zur Judenfrage. Psychoanalyse des Antisemitismus. Zürich, 1948.
Sievers, Leo. Juden in Deutschland. Die Geschichte einer 2000-jährigen Tragödie. Hamburg, 1983.
Stern, Frank. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ein Jahrtausend jüdisch-deutsche Kulturgeschichte. Berlin, 2002.

Литература к очеркам и эссе

«СПОР О ЕВРЕЙСКИХ КНИГАХ» КАК ПРОЛОГ К РЕФОРМАЦИИ
Die Juden in ihrer mittelalterlichen Umwelt. Wien. Köln. Weimar, 1991.

ПРАВООЗАЩИТНИК РАББИ ЙОСЕЛЬМАН ИЗ РОСХАЙМА

Lehmann, Markus. Rabbi Joselman of Rosheim. Bd. 1,2. Frankfurt am Main, 1924.
Stern, Selma. Josel von Rosheim. Befehlshaber der Jüdenschaft im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Stuttgart, 1959.

ПАРАДОКС МАРТИНА ЛЮТЕРА

Гобри И. Лютер. М., 2000.
Мартин Лютер — реформатор, проповедник, педагог. М., 1996.
Мережковский Д.С. Реформаторы: Лютер, Кальвин, Паскаль. Томск, 1999.
Соловьёв Э.Ю. Непобеждённый еретик. Мартин Лютер и его время. М., 1984.
Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. — Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М., 1996.
Die Juden und Martin Luther — Martin Luther und die Juden. Neukirchen, 1985.
Lewin, Dr. Reinhold. Luthers stellung zu den Juden. Berlin, 1911.
Newmann, Louis Israel. Jewish Influence on Christian Reform Movements. N.Y., 1966.
Wenzel, Edith. Martin Luther und der mittelalterliche Antisemitismus. — Synagoga und Ecclesia. Tübingen, 1987.

ОЧКИ, ОТШЛИФОВАННЫЕ БАРУХОМ СПИНОЗОЙ

Гулыга А. Шеллинг. М., 1972.
Спиноза. Избранные произведения. Ростов-на-Дону, 1998.

Фёдоров А. Спиноза. Жизнь мудреца. Ростов-на-Дону, 2000.
Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte. Berlin, 1994.
Spinoza in neuer Sicht. Hamburg, 1977.

«НАТАН» ЛЕССИНГА, ИЛИ АПОЛОГИЯ ЕВРЕЙСКОЙ МУДРОСТИ

Лессинг Г.Э. Драмы. Басни в прозе. М., 1973.
Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле. М., 1986.
Чернышевский Н.Г. Лессинг, его время, его жизнь. ПСС в 15 т. Т. 4. М., 1948.
Lessing — ein unpoetischer Dichter. Dokumente aus drei Jahrhunderte. Frankfurt-am-Main, 1969.
Lessing. Epoche — Werk — Wirkung. München, 1981.

РАББИ МОЗЕС ИЗ ДЕССАУ — ОТЕЦ ХАСКАЛЫ

Schoeps, Julius H. Moses Mendelssohn. Königstein, 1979.

ГЁТЕ И НАРОД МОИСЕЯ

Гёте И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. — Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1976.
Людвиг Э. Гёте. М., 1965.
Эккерман И.П. Разговоры с Гёте. М., 1981.
Varnier, Wilfried. Von Rachel Varnhagen dis Friedrich Gundolf. Juden als deutsche Goethe-Verehrer. Wolfenbüttel, 1992.
Waldman, Mark. Goethe and the Jews. A Challenge to Hitlerism. N.Y., 1934.

НЕМЕЦКИЕ ГЕРНГУТЕРЫ, ИЛИ ПРОТОСИОНИСТСКИЕ ИДЕИ ЮНГА-ШТИЛЛИНГА

Гёте И.В.. Из моей жизни. Поэзия и правда. — Собр. соч.: В 10 т. Т.3. М., 1976.
Крюденер Ю. Валери. М., 2000.
Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000.
Hahn, Otto W. Johann Heinrich Jung-Stilling. Wuppertal, 1990.

ДОЧЬ МОЗЕСА МЕНДЕЛЬСОНА — АМАЗОНКА НЕМЕЦКОГО РОМАНТИЗМА

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996.
Новалис. Гимны к ночи. М., 1996.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. М., 1983.
Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
Stern, Carola. «Ich möchte mir Flügel wünschen». Das Leben der Dorothea Schlegel. Hamburg, 1990.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ БЕРЛИНА И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЫ

Arendt, Hanna. Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. München, 1959.
Drewitz, Ingeborg. Berliner Salons. Berlin, 1965.

ГОЛГОФА ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1957–1959.
Дейч А.И. Поэтический мир Генриха Гейне. М., 1963.

- Копелев Л.* Поэт с берегов Рейна. М., 2003.
Пронин В.А. «Стихи, достойные запрета...». М., 1986.
Шиллер Ф.П. Генрих Гейне. М., 1962.
 Das Junge Deutschland. Texte und Dokumente. Stuttgart, 1998.
Raddatz, Fritz J. Taubenherz und Geierschnabel. Heinrich Heine. Eine Biographie. Berlin, 1997.
Reich-Ranicki, Marcel. Der Fall Heine. Stuttgart, 1997.
Sternberger, Dolf. Heinrich Heine und die Abschaffung der Sünde. Frankfurt am Main, 1996.

РИМ И ИЕРУСАЛИМ МОРИЦА ОППЕНГЕЙМА

- Moritz Daniel Oppenheim.* His Life and Art. N.Y., 1998
Oppenheim, Moritz Daniel. Erinnerungen eines deutsch-judischen Malers. Frankfurt a. M., 1924.

У ПИРШЕСТВЕННОГО СТОЛА НИЦШЕ

- Манн Т.* Философия Ницше в свете нашего опыта. — Томас Манн. Художник и общество. Статьи и письма. М., 1986.
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990.
Цвейг С. Фридрих Ницше. — Собр. соч.: В 9 т. Т.8. М., 1996.
Kreis, Rudolf. Nietzsche, Wagner und die Juden. Würzburg, 1995.
Mittmann, Thomas. Friedrich Nietzsche. Judengegner und Antisemitenfeind. Erfurt, 2002.
Santaniello, Weaver. Nietzsche, God and the Jews. N.Y., 1994.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКА: ГЛЮКЕЛЬ И БЕРТА

- Глюкель фон Гамельн.* Рассказ от первого лица. М., 2001.
Сартр Ж.-П. Фрейд. Сценарий. М., 1992.
Фрейд З. Я и Оно. М., 1999.
Brentzel, Marianne. Anna O. — Bertha Pappenheim. Biographie. Göttingen, 2002.
 Die Memorien der Glückel von Hameln. Weinheim, 1994.
Freeman, Lucy. Die Geschichte der Anna O. München, 1979.
Pappenheim, Bertha. Sisyphus-Arbeit. Reisebriefe aus den Jahren 1911 und 1912. Leipzig, 1924.

ЕВРЕЙ ЗЮСС КАК ЗНАКОВАЯ ФИГУРА

- Рачинская Н.Н.* Лион Фейхтвангер. М., 1965.
Спектор А.Л. Лион Фейхтвангер. Душанбе, 1968.
Трахтенберг Д. Дьявол и евреи. М. — Иерусалим, 1998.
Фейхтвангер Л. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1988–1991.
Hollstein, Dorothea. «Jud Süß» und die Deutschen. Antisemitische Vorurteile in nationalsozialistischen Spielfilm. Berlin, 1983.
Kraus, Werner. Das Schauspiel meines Lebens. Stuttgart, 1960.
Wulf, Joseph. Theater und Film im Dritten Reich. Eine Dokumentation. Berlin–Wien, 1983.

ФРАНЦ КАФКА И МИЛЕНА: ПОД ЗНАКОМ СУДЬБЫ¹

Брод М. Франц Кафка. Узник абсолюта. М., 2003.

Кафка Ф. Сочинения: В 3 т. М.–Харьков, 1995.

Кафка Ф. Дневники. 1910–1923. СПб., 1999.

Kafka, Franz. Briefe an Milena. Frankfurt am Main, 1970.

Buber-Neumann, Margarete. Milena Kafkas Freundin. Berlin, 1998.

Jesenska, Milena. Die Fähigkeit stehenzubleiben. Prag, 1998.

Loeb, Sara. Franz Kafka. A Question of Jewish Identity. Two perspectives. Maryland, 2001.

ОТ ЛОРЕЛЕИ ДО ОСВЕНЦИМА

Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.

Горенштейн Ф. Дрезденские страсти. N.Y., 1993.

Гудрик-Кларк Н. Окультизм и корни нацизма. СПб., 1997.

Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М., 1998.

Клемперер В. Свидетельствовать до конца. Из дневников 1933–1945. М., 1998.

Манн Т. О немцах и евреях. Статьи, речи, письма, дневники. Иерусалим, 1990.

Повель Л. Бержье Ж. Утро магов (власть магических культов в нацистской Германии). М., 1992.

Поляков Л. Арийский миф. Исследование истоков расизма. СПб., 1996.

Эстетика немецких романтиков. М., 1987.

ГЮНТЕР ГРАСС: УЛИТКА С ЕВРЕЙСКИМИ РОЖКАМИ

Грасс Г. Жестяной барабан. М., 2002.

Грасс Г. Из дневника улитки. Встреча в Тельгте. М., 1993.

Грасс Г. Траектория краба. М., 2004.

Jürgs, Michael. Bürger Grass. Biografie eines deutschen Dichters. München, 2002.

ЗАЛОЖНИК ВЕЧНОСТИ: ГЁТЕ НА ПОРОГЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛИТИЯ

Гёте И.В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1975–1980.

Конради К.О. Гёте. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1987.

Свасьян К.А. Философское мировоззрение Гёте. М., 2001.

Штейнер Р. О Гёте. М., 1996.

¹ За помощь в подборе материала для этой главы, а также для глав «Сага о спасении еврейских детей в Англии» и «Не все были убийцами» выражаю благодарность Борису Львовичу Канделю.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Владимир Порудоминский. Боль памяти</i>	5
От автора.....	12
Введение. По залам Еврейского музея в Берлине.....	14

Часть первая. Историко-биографические очерки и эссе

«Спор о еврейских книгах» как пролог к Реформации.....	31
Правозащитник рабби Йосельман из Росхайма.....	38
Парадокс Мартина Лютера.....	49
Очки, отшлифованные Барухом Спинозой.....	72
«Натан» Лессинга, или Апология еврейской мудрости.....	86
Рабби Мозес из Дессау — отец Хаскалы.....	104
Гёте и народ Моисея.....	124
Немецкие гернгутеры, или Протосионистские идеи Юнга-Штиллинга....	144
Дочь Мозеса Мендельсона — амазонка немецкого романтизма.....	158
Литературные салоны Берлина и их законодательницы.....	170
Голгофа Генриха Гейне.....	192
Рим и Иерусалим Морица Оппенгейма.....	231
У пиршественного стола Ницше.....	235
Встреча через века: Глюкель и Берта.....	244
Еврей Зюсс как знаковая фигура.....	254
Франц Кафка и Милена: под знаком судьбы.....	280
От Лорелеи до Освенцима.....	288
Гюнтер Грасс: улитка с еврейскими рожками.....	307
Заложник вечности: Гёте на пороге нового тысячелетия.....	323

Часть вторая. Отклики и заметки

Неизвестный Эрих Мария Ремарк.....	342
Мои встречи с Анной Франк.....	344
Глаза Клары Шер.....	347
Сага о спасении еврейских детей в Англии.....	350
Вокруг Ваннзее.....	356
Не все были убийцами.....	360
Гюнтер Демниг: споткнись и вспомни!.....	367
Это слово гордое — товарищ.....	371
Папа римский в кельнской синагоге.....»	382
Отец Эрвин: «Туда душа моя стремится...».....	387
Мемориал над Рейном «Маалот».....	392



Грета Ионкис - доктор филологических наук, профессор, автор многих книг, статей и эссе по истории зарубежной литературы.

В 1991 году её биография включена в справочник Кембриджского биографического центра (Великобритания) "Кто есть кто в мире женщин". С 1994 года живёт в Германии.

Грета Ионкис - победитель конкурса сетевой литературы Art-Lito 2000 по номинации Non-fiction. Её статьи и эссе широко публикуются в периодике Германии и Израиля, России и США.

Книга её биографической прозы "Маалот. Ступени. Stufen" вышла в 2004 году в издательстве "Алетейя". Предлагаемая читателю книга "Евреи и немцы в контексте истории и культуры" - плод десятилетней исследовательской работы автора.

ГРЕТА
ИОНКИС
И НЕМЦЫ

Грета
ИОНКИС

Алетейя